Н. К. Михайловскій.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ

И

СОВРЕМЕННАЯ СМУТА.

Томъ I.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ

РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. № 34.

1905.

Изданія редакціи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

(*С.-Петербургъ*—контора редакціи, Баскова ул., 9; *Москва*—отдѣленіе конторы, Никитскія Ворота, д. Гагарина).

Подписчики «Русскаго Богатства», обращающіеся за книгами непосредственно въ контору журнала письменно,—пользуются даровой пересылкой, лично—уступкой въ размѣръ стоимости пересылки.

Д. Айзманъ. ЧЕРНЫЕ ДНИ. Очерки и разсказы. Ц. 1 р.

С. Ан—скій. ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Ц. 80 к.

П. Булыгинъ. РАЗСКАЗЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Діонео. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛІИ. Ц. 1 р. 50 к.

Вл. Короленко. ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. первая. *Десятое* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. вторая. *Шестое* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. третья. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 25 к.

— СЛѢПОЙ МУЗЫКАНТЪ. *Десятое* изданіе. Ц. 75 к.

— ВЪ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ. *Пятое* изданіе. Ц. 1 р.

— БЕЗЪ ЯЗЫКА. Разсказъ. *Третье* изданіе. Ц. 75 к.

Н. Кудринъ. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦІИ. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

Ек. Лѣткова. МЕРТВАЯ ЗЫБЬ. Повѣсти и разсказы. Т. I. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— ОТДЫХЪ. Повѣсти и разсказы. Т. II. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— РАБЪ. Повѣсти и разсказы. Т. III. Ц. 1 р.

Л. Мельшинъ. ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Записки бывшаго каторжника. Т. I. *Третье* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Т. II. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ПАСЫНКИ ЖИЗНИ. Разсказы. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— ОЧЕРКИ РУССКОЙ ПОЭЗІИ. Ц. 1 р. 50 к.

Н. К. Михайловскій.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ

И

СОВРЕМЕННАЯ СМУТА.

Томъ I.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ

РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. № 34.

1905.

Предисловіе къ первому изданію.

Предлагаемая книга состоитъ изъ статей, печатавшихся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сначала въ «Русской Мысли», потомъ въ «Русскомъ Богатствѣ» подъ общимъ заглавіемъ «Литература и жизнь». Самыя статьи я перепечатываю безъ сколько нибудь существенныхъ измѣненій, но заглавіе дано имъ новое, такъ какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ была уже мною издана книжка «Литература и жизнь». Что же касается новаго заглавія, то я просилъ бы читателя не видѣть въ немъ противоположенія прошлаго настоящему. Безъ сомнѣнія, и въ томъ прошломъ, къ которому относятся мои воспоминанія, было много смуты, и въ настоящемъ не все смута, но я не умѣю иначе суммировать пестрое содержаніе книги.

Ник. Михайловскій.

I *).

Вступленіе. — Мой первый литературный опытъ. — „Разсвѣтъ“. — „Книжный Вѣстникъ“. — Братья Курочкины, Ножинъ, Благосвѣтловъ, Писаревъ, Демертъ, Минаевъ.

Смерть Елисеева не идетъ у меня изъ головы. Ничего въ ней нѣтъ удивительнаго или необычайнаго: Елисееву было семьдесятъ лѣтъ, а это возрастъ вообще значительный, а для русскаго писателя и подавно. Въ нынѣшнемъ году вышли „Критическіе опыты“ Валеріана Майкова, на котораго возлагались когда-то большія надежды, въ которомъ многіе видѣли преемника Бѣлинскаго. Я не думаю, чтобы эти надежды могли быть осуществлены Майковымъ вполнѣ, но это былъ, во всякомъ случаѣ, очень даровитый и трудолюбивый юноша, который, однако, такъ юношей и умеръ. Онъ умеръ въ 1847 г., двадцати трехъ лѣтъ, проработавъ на литературномъ поприщѣ меньше полутора года. Начиная съ Лермонтова, продолжая Добролюбовымъ, Писаревымъ, кончая Гаршинымъ, Надсономъ, мы уже какъ-то привыкли къ раннимъ смертямъ даровитыхъ литературныхъ дѣятелей. Что-же можетъ быть поразительнаго въ смерти больного семидесятилѣтняго старика, давно и спокойно готовившагося къ неизбѣжному концу? И, все-таки, эта смерть неустанно гвоздитъ мой мозгъ, будя въ немъ цѣлый рой воспоминаній. Можетъ быть, тутъ виновато то обстоятельство, что я теперь занимаюсь разборкою бумагъ Елисеева, въ которыхъ значительное мѣсто занимаютъ литературныя воспоминанія; можетъ быть, особенности моихъ личныхъ отношеній къ покойному играютъ тутъ роль; можетъ быть, наконецъ, и безъ того пришла пора оглянуться на прошлое, и смерть Елисеева была только окончательнымъ толчкомъ въ этомъ направленіи. Какъ бы то ни было, но и Елисеевъ, и всѣ „Отечественныя Записки“, и все, что предшествовало

*) 1891, мартъ.

въ моей жизни „Отечественнымъ Записками“,—все это просится на бумагу. И я не вижу причины держать себя въ этомъ отношеніи на привязи. Мнѣ кажется даже, что въ настоящее время особенно полезно вспомнить и напомнить кое-что изъ прошлаго. За тридцать лѣтъ исключительнаго и постояннаго пребыванія въ литературной средѣ я ее узналъ вдоль и поперекъ, въ ея достоинствахъ, какъ и въ ея слабостяхъ, въ ея вершинахъ, составляющихъ гордость Россіи, и въ ея низменностяхъ, въ счастьи и въ несчастьи. Всего этого разсказать теперь нельзя по многимъ причинамъ, понятнымъ для каждаго читателя, но то, что можно, постараюсь разсказать правдиво.

Ручаюсь за правдивость, но не ручаюсь за послѣдовательность и аккуратность. Оставляя за собою право (которое можетъ при случаѣ обратиться даже въ обязанность) оборвать воспоминанія на любомъ моментѣ, потому-ли, что онъ мнѣ покажется щекотливымъ, или просто потому, что надоѣстъ вспоминать, я заранѣе выговариваю себѣ и другое право. Едва-ли я въ состояніи буду ограничиться буквально воспоминаніями. Читатель долженъ заранѣе примириться съ разными возможными перерывами и отступленіями въ сторону текущей минуты или какихъ-нибудь теоретическихъ соображеній. У всякаго писателя есть своя физіономія, которую поздно, да и нѣтъ надобности передѣлывать, когда доходишь до воспоминаній.

Для меня лично „литературныя воспоминанія“ — плеоназмъ. Иныхъ воспоминаній, кромѣ литературныхъ, я бы и не могъ предложить читателямъ, потому что вся моя жизнь протекла въ литературѣ. Конечно, и у меня, какъ у всякаго, были внѣ-литературныя связи и отношенія, но я не полагаю ихъ интересными для читателей. Говоря, что жизнь моя вся протекла въ литературѣ, я разумѣю жизнь профессіональную, жизнь труда. Я никогда не служилъ ни на государственной, ни на частной службѣ, никогда не носилъ мундира, кромѣ школьнаго, никогда не занимался торговлею, хозяйственными дѣлами и т. п.; я даже почти никогда не занимался педагогическою дѣятельностью, которая, въ формѣ даванія частныхъ уроковъ, можно сказать, обязательна для бѣдныхъ молодыхъ людей, пріѣзжающихъ въ столицы учиться или пробивать себѣ жизненный путь. Говорю „почти“, потому что однажды въ трудныя времена давалъ уроки русскаго языка взрослому нѣмцу и съ тѣхъ поръ закаялся. Начавъ писать на

школьной скамьѣ, я затѣмъ уже не переставалъ быть литераторомъ и только литераторомъ, за исключеніемъ, помнится, двухъ лѣтъ, когда, еще не оперившись въ литературномъ смыслѣ, снискивалъ себѣ пропитаніе чтеніемъ корректуръ. Значитъ, и тутъ былъ, все-таки, около литературы.

Да не подумаетъ читатель, что я вижу въ этомъ какую-нибудь заслугу или особенное достоинство. Я просто предъявляю фактъ, имѣющій свои очень дурныя стороны, между прочимъ, ту обидную практическую безпомощность, которою почти всегда отличаются люди, съ молодыхъ лѣтъ исключительно отдавшіеся литературѣ. Бываютъ, правда, рѣзкія исключенія, какъ, напримѣръ, Некрасовъ, но это именно исключенія. Не желаю я, однако, внушить читателю и ту мысль, что, оставаясь всю жизнь въ литературѣ, я приносилъ или приношу какую-нибудь жертву. Совсѣмъ даже напротивъ. Много горестныхъ волненій выпадаетъ на долю русскаго писателя, въ особенности журналиста, много обидныхъ внезапностей и тяжелыхъ разочарованій; въ самой жизни его много, повидимому, фатальной нескладицы. Но еслибы мнѣ теперь надлежало начинать съ начала, я все-таки выбралъ-бы литературу. И даже не *все-таки*, а *тѣмъ болѣе*. „Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы всѣ впечатлѣнья бытія“, я пошелъ въ литературу просто по безсознательному влеченію, почти по инстинкту, хотя, конечно, роль писателя рисовалась и сознанію въ неясномъ, но прекрасномъ ореолѣ. Теперь я знаю, чего стоитъ этотъ ореолъ и какъ тернистъ жизненный путь писателя. Кромѣ того, и влеченіе къ литературной работѣ утратило свою первоначальную свѣжесть. Но за всѣмъ тѣмъ для меня не существуетъ дѣла, которое давало-бы столько наслажденія и въ своемъ началѣ, при возникновеніи извѣстныхъ мыслей и чувствъ, зовущихъ къ письменному столу, и въ самомъ процессѣ своемъ и, наконецъ, въ своемъ результатѣ—въ общеніи съ читателемъ. Кто разъ глотнулъ изъ этой чаши, того развѣ какія-нибудь исключительныя обстоятельства могутъ оторвать отъ нея. Въ этомъ заключается, между прочимъ, причина многихъ драмъ, совершающихся въ литературной средѣ. Молодой человѣкъ, случайно написавшій удачную вещь, затѣмъ недурную вторую, пожалуй, третью, но уложившій въ нихъ все, что у него было за душой, лишь съ большимъ трудомъ убѣждается, что онъ попалъ на эту дорогу случайно, по ошибкѣ. А ошибки тутъ могутъ выйти

разныя. Есть умные и знающіе люди, совершенно, однако, лишенные собственно литературнаго таланта, дара письменнаго изложенія; и это бываетъ при наличности другихъ, очень, повидимому, сродныхъ талантовъ, напримѣръ, ораторскаго. Но, кромѣ таланта, писателю нужна еще способность приходить въ извѣстное настроеніе, которое случайно можетъ посѣтить каждаго человѣка, но лишь въ призванныхъ или, пожалуй, обреченныхъ достигаетъ достаточной напряженности и прочности и обращается въ нѣчто привычное. Сюда надо еще ввести игру самолюбія, которое, вообще говоря, послѣ людей эстрады и сцены, наиболѣе развито у литераторовъ, и это лежитъ въ самыхъ условіяхъ ихъ профессіи. Изо всѣхъ этихъ обстоятельствъ могутъ выходить чрезвычайно разнообразныя комбинаціи, способныя ввести неопытнаго молодого человѣка въ ошибку насчетъ своихъ силъ, способностей, даже склонностей, а сладкой отравы онъ уже попробовалъ. Онъ заставляетъ себя работать, насилуетъ себя; колеблется вверхъ и внизъ волнами надежды и разочарованія; переживаетъ минуты страшнаго нервнаго напряженія и затѣмъ реакціи; ищетъ выхода и забвенія въ разгулѣ, столь вообще свойственномъ русскому человѣку; ищетъ и, разумѣется, находитъ завистниковъ, враговъ, хотя въ дѣйствительности ихъ, можетъ быть, и въ поминѣ нѣтъ; становится, наконецъ, самъ завистникомъ и врагомъ, — врагомъ подчасъ не Ивана или Петра, а цѣлаго направленія, котораго прежде держался и которое теперь виновато тѣмъ, что не утилизируетъ его дарованій; чувствуя нравственную низменность этого мотива, онъ еще пуще грызетъ себя. А оторваться, все-таки, не можетъ. Все это, въ различныхъ сочетаніяхъ и въ различной послѣдовательности, встрѣчается, конечно, не у насъ только. Въ европейской литературѣ есть чрезвычайно яркія художественныя воспроизведенія этой житейской драмы. Такова, напримѣръ, исторія Люсьена Шардона въ „Illusions perdues“ Бальзака или Октава въ „Le Dieu Octave“ Гальта. Сравнительно съ нашими подобными драмами, исторіи Люсьена и Октава осложнены тою непосредственно-практическою политическою ролью, которую можетъ играть европейскій писатель и которая, еще обостряя жажду, обостряетъ въ такой же мѣрѣ и горечь неудовлетворенія. У насъ все это проще, площе, мельче по фабулѣ и обстановкѣ, но въ своемъ родѣ не менѣе мучительно для дѣйствующихъ лицъ. Въ повѣсти г. Потапенко

„Святое искусство“ и въ недавно вышедшей повѣсти г. Влад. Немировича-Данченко „На литературныхъ хлѣбахъ“ предѣлы этой русской драмы далеко не исчерпаны, но нѣкоторые ея моменты хорошо намѣчены. Герои обѣихъ повѣстей—молодые люди, не лишенные не то что таланта, а способности письменно излагать несложные факты и мысли; но имъ этого мало, они мѣтятъ выше и, не смотря на всѣ разочарованія, не могутъ бросить перо. Само собою разумѣется, что отъ подобныхъ и даже гораздо болѣе страшныхъ драмъ не гарантированъ и старый человѣкъ, хотя-бы уже потому, что немолодой человѣкъ можетъ оказаться въ пололоженіи начинающаго писателя. Въ январскомъ нумерѣ журнала „Артистъ“ напечатано начало разсказа г. Садовскаго „Высокое призваніе“. Немолодой уже учитель математики, Струевъ, поощряемый лестью, совершенно, впрочемъ, искреннею, пріятелей, задумываетъ написать комедію. Грубоватый юморъ г. Садовскаго слишкомъ уже подчеркиваетъ ожидающую несчастнаго неудачу и долженствующую послѣдовать за подъемомъ „высокаго призванія“ горечь разочарованія. Да и вообще это случай слишкомъ элементарный. Гораздо глубже и страшнѣе драмы, часто пересѣкающія тернистый путь писателя бывалаго, уже видавшаго виды. Въ упомянутой повѣсти г. Влад. Немировича-Данченко чуть-чуть намѣчена подобная драма въ лицѣ Тростникова. Оскудѣетъ нервно-мозговая лабораторія, гдѣ изъ впечатлѣній, чувствъ, мыслей создается спеціальное настроеніе, зовущее къ письменному столу; ослабѣетъ способность къ работѣ въ чисто-механическомъ смыслѣ; оборвется какимъ-нибудь постороннимъ, внѣшнимъ обстоятельствомъ или собственнымъ разочарованіемъ писателя его привычная уже связь съ читателемъ,—и человѣкъ такъ несчастливъ, какъ трудно и представить людямъ, не испытавшимъ или близко не видавшимъ этого. Несчастіе его тѣмъ ужаснѣе, что онъ, все-таки, пригвожденъ къ кресту своего писательства, съ котораго ему не сойти никуда и никогда. Все это я говорю о литературныхъ работникахъ или намѣривающихся быть таковыми, а не о диллетантахъ, удѣляющихъ часы своихъ досуговъ отъ иныхъ, административныхъ, хозяйственныхъ, и т. п. заботъ. Тѣ совсѣмъ особая статья. Да и то, что сказано, сказано пока вскользь, къ слову. О драмахъ, совершающихся въ литературной средѣ, мнѣ еще, вѣроятно, придется говорить въ подробности.

Здѣсь прибавлю только одно. Матеріальное положеніе рус-

скаго писателя чрезвычайно шатко. Г. Щегловъ во второмъ томѣ своей „Исторіи соціальныхъ системъ“ говоритъ о большихъ состояніяхъ, наживаемыхъ у насъ литературой, о каретахъ и лакеяхъ. Спора нѣтъ, это бываетъ, но большія состоянія наживаются, все-таки, не литературой въ собственномъ смыслѣ слова, а издательствомъ. Большинство же литературныхъ работниковъ, если они не имѣютъ наслѣдственнаго состоянія, какъ, напримѣръ, Салтыковъ или Тургеневъ, подъ конецъ жизни терпятъ всяческія лишенія и сплошь и рядомъ умираютъ нищими съ горчайшими думами о судьбѣ своихъ семей, если таковыя есть. Этого не избѣгаютъ даже крупнѣйшіе таланты, повидимому, особенно благопріятно поставленные. Достоевскій лишь за нѣсколько лѣтъ до смерти поправился, а до тѣхъ поръ бился, какъ рыба объ ледъ, попадая временами въ унизительнѣйшія положенія. Заіончковскую (В. Крестовскій-псевдонимъ) не на что было похоронить. Бѣлинскій писалъ одному знакомому: „Я ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ“. Это ли еще не драма?!

Но, конечно, ни о какихъ такихъ драмахъ я не помышлялъ, когда весною 1860 года съ трепетнымъ сердцемъ и маленькою рукописью въ карманѣ пробирался на Петербургскую сторону, въ редакцію „Разсвѣта“, „журнала для взрослыхъ дѣвицъ“, издававшагося артиллерійскимъ офицеромъ Кремпинымъ. Почему артиллерійскій офицеръ издавалъ журналъ для взрослыхъ дѣвицъ и почему я, 18—19-лѣтній кадетъ горнаго корпуса, отправился въ этотъ журналъ съ своимъ первымъ литературнымъ произведеніемъ, этого сразу не поймешь. Мнѣ впослѣдствіи „Разсвѣтъ“ никогда не попадался подъ руку, но смутно помнится, что это былъ журналъ по-своему интересный и живой, хотя просуществовалъ онъ недолго, не больше трехъ лѣтъ. Въ немъ пробовали свое перо нѣкоторыя выдавшіяся впослѣдствіи литературныя силы. Тамъ началъ свою краткую, но блестящую карьеру покойный Писаревъ. Если не ошибаюсь, тамъ писалъ и А. М. Скабичевскій. Одинъ мой товарищъ по горному корпусу, нѣкій Штильке, практическій человѣкъ, нынѣ уже умершій, смастерилъ

компиляцію о „кофе“, снесъ ее Кремпину, и тотъ напечаталъ. Другой мой товарищъ, К. А. Скальковскій, нынѣ большой чиновникъ, всемірный путешественникъ и балетоманъ, напечаталъ въ „Разсвѣтѣ“ какую-то историческую статью. Такимъ образомъ, собственно мнѣ дорога была какъ бы уже проложена, а, слѣдовательно, и мой выборъ „Разсвѣта“ можно объяснить чисто механически. Но нельзя, я думаю, такъ просто объяснить самую тему моей первой статьи. Тогда въ „Современникѣ“ появился отрывокъ изъ романа Гончарова „Обрывъ“, озаглавленный „Софья Николаевна Бѣловодова“. Этотъ-то отрывокъ и вдохновилъ меня на критическую замѣтку. Замѣтки этой я не помню. Помню только, что она была не подписана; помню почему-то, что Райскій въ ней сравнивался съ гуслями-самогудами; помню, наконецъ, одно замѣчаніе Кремпина о неловкости и ненужности употребленнаго мною выраженія „пахотинщина“ (Софья Николаевна Бѣловодова была, какъ извѣстно, урожденная Пахотина); но осталось ли это дѣйствительно ненужное и неуклюжее слово, очевидно, навѣянное „обломовщиной“, или его Кремпинъ вымаралъ,—не помню. А, главное, не помню общей мысли и содержанія статейки. Во всякомъ случаѣ, она была вызвана женскою фигурой. Въ то же время я замышлялъ статьи о нѣкоторыхъ другихъ женскихъ фигурахъ, историческихъ и поэтическихъ, чего, впрочемъ, въ исполненіе не привелъ. Статейку мою Кремпинъ нашелъ „весьма удовлетворительною“ и торжественно вручилъ мнѣ за нее 13 рублей. „По разсчету выходитъ 12 р. 90 к.,—сказалъ онъ,—но ужъ такъ, для круглаго числа“. Не смотря, однако, на этотъ добавочный гривенникъ и на снисходительное одобреніе артиллерійскаго редактора журнала для взрослыхъ дѣвицъ, статейка была, должно быть, очень курьезная. Дѣло въ томъ, что я тогда женщинъ не только не зналъ, а почти что и не встрѣчалъ. Оторванный волею судебъ съ 14-ти лѣтъ отъ всякой семейной обстановки, заключенный въ четырехъ стѣнахъ закрытаго заведенія и долго не имѣя въ Петербургѣ никакихъ знакомыхъ, я только передъ самымъ своимъ выходомъ изъ корпуса, можно сказать, увидалъ женщинъ. Отсюда слѣдуетъ заключить, что въ статейку о Софьѣ Николаевнѣ Бѣловодовой едва ли вложено особенно глубокое пониманіе, хотя тогда я, разумѣется, былъ совершенно иного мнѣнія объ этомъ своемъ первенцѣ. А, между тѣмъ, немного позже я еще и еще обращался (между про-

чимъ, помнится, въ „Современномъ Словѣ“ Писаревскаго) къ разговору о женщинахъ и даже прямо о женскомъ вопросѣ.

Этой кажущейся несообразности есть двѣ причины. Одна изъ нихъ обусловливается обстоятельствами времени. Это—та самая, по которой и артиллерійскій офицеръ Кремпинъ сталъ издавать журналъ для взрослыхъ дѣвицъ. Есть общественные вопросы, очень сложные въ своихъ подробностяхъ и развѣтвленіяхъ, но теоретически легко формулируемые, по крайней мѣрѣ, въ своихъ исходныхъ точкахъ. Къ числу ихъ принадлежитъ и такъ называемый женскій вопросъ. Основныя его положенія такъ просты и ясны, что имъ, собственно говоря, могутъ быть противопоставлены только лицемѣріе, предразсудки и насиліе. Немудрено поэтому, что женскій вопросъ получилъ у насъ чрезвычайную популярность въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда результаты крымской войны вызвали въ общественномъ сознаніи шумную волну борьбы съ лицемѣріемъ, предразсудками и насиліемъ вообще. Онъ не былъ, конечно, ни самымъ значительнымъ, ни самымъ острымъ изъ множества возникшихъ тогда общественныхъ вопросовъ, но онъ былъ самымъ общедоступнымъ. Въ сущности, онъ вовсе не такъ простъ, какъ кажется или какъ казалось тогда, но его первые элементы поражаютъ извѣстнымъ образомъ настроенные молодые умы и молодыя или помолодѣвшія общества своею простотой и ясностью. Женщина хочетъ и можетъ учиться, работать, участвовать въ жизни общества, свободно выбирать себѣ семейную и всякую другую житейскую обстановку,—словомъ, женщина хочетъ и можетъ быть человѣкомъ. Чтобы понять это и проникнуться этимъ, не требуется ни спеціальныхъ знаній, ни житейской опытности, ни вообще какой-нибудь подготовленности. Достаточно логической способности и добрыхъ чувствъ, которыя могутъ быть и у артиллерійскаго офицера, и у полувзрослаго горнаго кадета. Въ приподнятомъ тонѣ всей тогдашней общественной атмосферы женскому вопросу естественно было стать пробнымъ камнемъ для приложенія молодыхъ силъ, тѣмъ болѣе, что онъ былъ тогда новинкой. Для теперешняго хорошо настроеннаго юноши это—пройденная ступень, изъза которой онъ не станетъ огорчаться: не смотря ни на что, жизнь, все-таки, многое отвоевала. Но тогда именно на этой почвѣ были всего удобнѣе первыя стычки съ насиліемъ и свое-

корыстіемъ, а, стало быть, и первые проблески идеаловъ справедливости и свободы.

18—19-тилѣтняго юношу могло толкать въ эту сторону еще одно обстоятельство. Гр. Л. Толстой съ безпощадною и, можетъ быть, даже чрезмѣрною откровенностью разсказалъ въ „Крейцеровой сонатѣ“ про тѣ мерзостныя формы, подъ которыми, въ большинствѣ случаевъ, молодые люди практически узнаютъ такъ называемую любовь. Горькая правда, но правда все, что сказалъ объ этомъ гр. Толстой съ фактической стороны: грубо, грязно, омерзительно. Однако, это, во-первыхъ, не полная правда, а во-вторыхъ, изъ нея слѣдуютъ совсѣмъ не тѣ выводы, которые дѣлаетъ гр. Толстой. Впрочемъ, о выводахъ гр. Толстого какъ-то даже странно говорить. Только упорное холопство передъ именами можетъ искать и находить здѣсь какую-то глубину и высшую правду. Какъ-бы то ни было, но и послѣ „Крейцеровой сонаты“ любовь остается, все-таки, закономъ природы, писаннымъ для дураковъ и умниковъ, для холоповъ и баръ, и вопросъ не въ томъ, чтобы обойти его, а чтобы физіологическіе корни любви и ея психологическіе цвѣты не были оторваны другъ отъ друга. Благодаря безобразному строю нашей жизни вообще, благодаря въ особенности условіямъ воспитанія нашего юношества, эта физіологія и эта психологія живутъ сплошь и рядомъ врознь. Самый обыкновенный случай тотъ, что дѣвушка носится въ эфирныхъ волнахъ сентиментальнаго идеализма, иногда подлиннаго, а иногда лицемѣрнаго, а ея будущій мужъ купается въ это время въ грязи. Но, въ большинствѣ случаевъ, въ то-же самое время и въ его душѣ цвѣтутъ цвѣты, и только дальнѣйшее теченіе жизни окончательно опредѣляетъ характеръ его отношеній къ женщинѣ. Въ тотъ критическій моментъ развитія, когда физіологическая основа любви заявляетъ о себѣ съ непреодолимою настойчивостью, смутнымъ, но отнюдь не грязнымъ тяготѣніемъ къ женщинѣ проникается и душа юноши. Эта цѣльность настроенія, охватывающаго всего человѣка заразъ, подъ вліяніемъ среды иногда очень быстро нарушается, иногда навсегда, иногда временно, но она все-таки есть, по крайней мѣрѣ, въ видѣ задатковъ. Въ это время пишутся проникнутые голубоглазымъ идеализмомъ стихи „къ ней“, гдѣ воспѣваются разныя „ея“ блестящія качества, хотя никакой „ея“ на дѣлѣ нѣтъ, или-же блестящіе аттрибуты торопливо нацѣпляются на первую попавшуюся

женскую фигуру, къ которой они, можетъ быть, идутъ какъ къ коровѣ сѣдло. „Ея“ нѣтъ, но есть смутное представленіе о чемъ-то сложно и жизненно-прекрасномъ, чему хочется такъ или иначе послужить, помочь, защитить. Я не рожденъ поэтомъ и писалъ не стихи „къ ней“, существующей или не существующей, а статьи о женщинахъ, которыхъ совсѣмъ не зналъ.

Итакъ, первый шагъ сдѣланъ: первая статья напечатана. Тридцать лѣтъ тому назадъ это было. Тридцать лѣтъ! Ахъ, какъ это ужасно много и какъ трудно сѣдой головѣ, видавшей всякіе виды, переживать золотые дни молодости! Помню, что весна была, солнце свѣтило и грѣло, помню грязь и колеблющіеся деревянные троттуары тогдашней Петербургской стороны. Но не могу возстановить въ своей памяти то настроеніе, въ которомъ находился въ этотъ торжественный моментъ. Сотни печатныхъ листовъ, написанныхъ мною въ тридцать лѣтъ, завалили его своею тяжелою грудой. Тринадцать рублей перваго гонорара — зловѣщая „чортова дюжина“ какъ-бы предрекала, что не все розы будутъ на моемъ литературномъ пути, но настроеніе, все-таки, должно быть, было подъ стать веснѣ, — ликующее и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣсколько стыдливое. Всякая первая въ своемъ родѣ удача въ жизни сопровождается стыдливымъ чувствомъ, если, разумѣется, человѣкъ вообще къ нему способенъ. Я не мало видалъ и такихъ людей, которые непосредственно послѣ первой удачи чуть не на аршинъ выростаютъ, такъ что имъ даже очень трудно нагнуться, чтобы подать два пальца неудачливому простому смертному. Повидимому, я былъ не таковъ, потому что поконфузился подписать подъ статейкой фамилію или даже иниціалы и о торжествѣ своемъ сообщилъ лишь очень немногимъ товарищамъ, а изъ немногочисленныхъ внѣкорпусныхъ знакомыхъ рѣшительно никому.

Страннымъ образомъ я въ это время не думалъ сдѣлаться литераторомъ по профессіи. Меня манило другое. Къ сочинительству я чувствовалъ склонность съ ранняго дѣтства. И въ гимназіи, и потомъ въ горномъ институтѣ я отличался „сочиненіями“ на заданныя или самостоятельно выбранныя темы, каковыя сочиненія писалъ не только для себя, а и для другихъ. Изъ этого выходили иногда забавныя недоразумѣнія, но расположеніемъ учителей русскаго языка я всегда и неизмѣнно пользовался, не смотря на свое легкомысленное поведеніе. Помянемъ кстати

добрымъ словомъ, кажется, исчезающій, если не исчезнувшій типъ учителя русскаго языка, который, благоговѣя передъ литературой и иногда робко тая въ самомъ себѣ мечты о литературной дѣятельности, съ особеннымъ вниманіемъ относился къ зачаточнымъ проблескамъ литературнаго дарованія въ своихъ ученикахъ. Тѣмъ не менѣе, въ то время, когда моя статейка о Софьѣ Николаевнѣ Бѣловодовой увидала свѣтъ, я не о литературной профессіи мечталъ, а объ адвокатской. Горный институтъ или горный корпусъ (оффиціально онъ назывался институтъ корпуса горныхъ инженеровъ) былъ тогда закрытымъ заведеніемъ, въ которое, однако, проникали разныя вѣянія изъ взбудораженнаго уже совершившимися и предстоящими реформами общества. Я былъ особенно заинтересованъ судебною реформой, о которой, впрочемъ, долженъ признаться, имѣлъ довольно смутное понятіе. Это не мѣшало мнѣ мысленно говорить блестящія рѣчи въ качествѣ „защитника вдовъ и сиротъ“. Читатель, вспомните свою молодость и не будьте слишкомъ строги къ легкомысленнымъ мечтамъ 18—19-ти-лѣтняго мальчика. Почему я воображалъ себя ораторомъ, я не знаю. Можетъ быть, тутъ были виноваты маленькіе разговорные успѣхи въ кругу товарищей, а можетъ быть, нѣкоторая способность и въ самомъ дѣлѣ была, да атрофировалась отъ неупотребленія. Кавелинъ гдѣ-то говоритъ о „дурной привычкѣ думать съ перомъ въ рукахъ“. Эта дурная привычка, кажется, неизбѣжна для призваннаго или обреченнаго литератора. Когда такой обреченный литераторъ чувствуетъ позывъ писать, это еще не значитъ, что у него готовъ планъ работы. Бываетъ и такъ, но, можетъ быть, въ большинствѣ случаевъ бываетъ совсѣмъ иначе. Просто какое-нибудь впечатлѣніе или какая-нибудь только мелькнувшая мысль всколыхиваетъ кладовую безсознательнаго, гдѣ, невѣдомо для самого писателя, покоятся результаты предыдущаго опыта, наблюденія, чтенія, всей прошлой жизни. Уже въ процессѣ работы эти продукты безсознательной душевной дѣятельности выступаютъ на порогъ сознанія и комбинируются въ цѣпи логическихъ умозаключеній или въ опредѣленные образы и картины. Да и въ тѣхъ случаяхъ, когда общій планъ выработанъ заранѣе, въ процессѣ письменной работы является множество непредвидѣнныхъ подробностей и поправокъ. Съ теченіемъ времени процессъ работы такъ прочно ассоціируется съ процессомъ самой мысли, что дѣйствительно

становится труднымъ думать безъ пера въ рукахъ. Этимъ объясняется застѣнчивость многихъ талантливыхъ писателей въ обществѣ, ихъ ненаходчивость въ разговорѣ, отсутствіе въ нихъ, за рѣдкими исключеніями, ораторской способности. Когда, какъ можно ожидать, фонографъ вытѣснитъ письменный столъ и письменныя принадлежности, литературный персоналъ будетъ, навѣрное, очень отличаться отъ нынѣшняго.

Какъ-бы то ни было, я мечталъ объ адвокатурѣ и всего меньше прельщался предстоявшею мнѣ карьерой горнаго инженера. А тутъ произошли еще школьные безпорядки, въ результатѣ которыхъ мнѣ было такъ настоятельно любезно предложено подать прошеніе объ увольненіи изъ корпуса, что я не могъ отказаться. Я уѣхалъ въ провинцію къ роднымъ все съ тою-же тайною мечтой объ адвокатурѣ и съ намѣреніемъ поступить на юридическій факультетъ петербургскаго университета, тогда вслѣдствіе студенческихъ безпорядковъ закрытаго. Когда я вернулся въ Петербургъ, открытъ былъ только первый курсъ. Не держа экзамена и не записываясь вольнымъ слушателемъ, я попробовалъ было ходить на лекціи контрабандой (тогда это было возможно), но скоро пересталъ, рѣшивъ, что проживу и безъ диплома, да и мечту объ адвокатурѣ бросилъ.

Литературные враги не разъ попрекали меня тѣмъ, что я нигдѣ не кончилъ курса (попрекали, какъ это всегда бываетъ, больше такіе господа, которые сами развѣ только гимназію кончили и затѣмъ, почивъ на этихъ лаврахъ, самостоятельно уже ничему не учились). Люди-же благорасположенные какъ бы конфузились за меня. Однажды нѣкоторый библіографъ пришелъ ко мнѣ за біографическими свѣдѣніями для какого-то словаря. Сообщаю, между прочимъ, что учился въ костромской гимназіи, изъ четвертаго класса которой перешелъ въ горный институтъ, гдѣ, однако, курса не кончилъ, и болѣе ни въ какомъ учебномъ заведеніи не былъ. „Ну, этого я не напишу“,—сказалъ любезный библіографъ.—Отчего?—„Ну, все-таки, знаете...“—Но, вѣдь, изъ пѣсни слова не выкинешь, а это біографическій фактъ. Фактъ для меня, разумѣется, не совсѣмъ удобный, но постыднаго въ немъ, я думаю, ничего нѣтъ; тѣмъ болѣе, что, вѣдь, и Бѣлинскаго дразнили „недоучкой“, и Некрасовъ нигдѣ не окончилъ курса, и я знаю много балбесовъ, правильно окончившихъ надлежащіе курсы и снабженныхъ соотвѣтственными дипломами. Надо

замѣтить, что въ мое время горный корпусъ состоялъ изъ пяти приготовительныхъ и трехъ спеціальныхъ классовъ. Я вышелъ изъ корпуса, сдавъ экзаменъ въ 3-й спеціальный, то есть послѣдній классъ. Поэтому въ выданномъ мнѣ аттестатѣ значатся успѣхи въ такихъ наукахъ, какихъ господа, дразнящіе меня неокончаніемъ курса, можетъ быть, даже и не слыхивали. Разумѣется, я всѣ эти спеціальныя знанія давно растерялъ, но это произошло-бы и въ томъ случаѣ, если бы я благополучно дотянулъ школу до конца, какъ это бываетъ со всѣми, кто покидаетъ спеціальность, къ которой онъ готовился. А то, что и въ этихъ случаяхъ можетъ дать систематическое школьное ученіе, — извѣстную умственную дисциплину,—я получилъ. Нѣсколько мѣсяцевъ, которые мнѣ оставалось дотянуть для полученія диплома на чинъ горнаго инженеръ-поручика, въ этомъ отношеніи много не прибавили бы.

Мечтая о карьерѣ адвоката, я съ жаромъ, хотя безъ всякаго порядка, читалъ разныя юридическія сочиненія. Въ томъ числѣ былъ учебникъ уголовнаго права г. Спасовича. Въ этомъ сочиненіи есть краткій обзоръ различныхъ философскихъ системъ въ ихъ отношеніи къ криминалистикѣ. Я въ особенности поразился знаменитой тріадой Гегеля, въ силу которой наказаніе такъ граціозно становится примиреніемъ противорѣчія между правомъ и преступленіемъ. Извѣстна соблазнительность трехчленной формулы Гегеля въ ея разнообразнѣйшихъ приложеніяхъ (въ свое время я разскажу, какъ соблазнялся ею, уже будучи извѣстнымъ ученымъ, покойный Н. И. Зиберъ). Неудивительно, что я былъ плѣненъ ею въ учебникѣ г. Спасовича. Неудивительно, что затѣмъ потянуло и къ Гегелю, и ко многому другому. Языки, нѣмецкій и французскій, я, къ счастію, недурно зналъ съ дѣтства. Открылось, можно сказать, необозримое поле для чтенія, тѣмъ болѣе необозримое, что я глоталъ матеріалъ для чтенія безъ всякаго руководительства со стороны. Уголовное право и вообще юриспруденція постепенно стушевывались, блѣднѣли. А когда въ случайномъ спорѣ о томъ-же Гегелѣ мнѣ былъ указанъ Прудонъ, какъ своеобразный примѣнитель гегеліанской діалектики, и я прочиталъ его „Contradictions économiques“, — юриспруденція и совсѣмъ распрощалась со мной. Дальній отголосокъ интереса къ криминалистикѣ сказался лишь въ статьѣ по поводу сборника Любавскаго „Русскіе уголовные процессы“, напечатанной въ

1869 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и перепечатанной въ „Сочиненіяхъ“ подъ заглавіемъ „Преступленіе и Наказаніе“.

Разъ подвернулось подъ перо упоминаніе объ этой едва-ли не первой моей значительнаго размѣра статьѣ, мнѣ хочется сказать слѣдующее. Я былъ такъ счастливъ, что крутыхъ переломовъ въ моемъ міросозерцаніи съ тѣхъ поръ, какъ я выступилъ на литературное поприще, не было. Подобные переломы, для искреннихъ натуръ тяжелые вообще, для писателя отягчаются еще мучительнымъ сознаніемъ, что, дескать, не только самъ заблуждался, а еще публично проповѣдывалъ заблужденіе, распространялъ его. Я не испытывалъ этихъ мученій. Кромѣ какихъ-нибудь мелочей, которыя мнѣ сейчасъ даже въ голову не приходятъ, мнѣ не отъ чего отрекаться въ своей литературной дѣятельности. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы я явился въ литературу совсѣмъ готовый, „подобно Минервѣ изъ головы Юпитера“, какъ иронизировалъ когда-то на мой счетъ г. Чуйко, или, что то-же, былъ вполнѣ „неподвиженъ“, какъ двусмысленно любезничалъ недавно г. Волынскій. Разумѣется, я не сразу подошелъ къ правдѣ, какою она мнѣ въ настоящую минуту представляется, но я не уклонялся съ дороги къ ней. Въ частности мнѣ не отъ чего отпираться и въ упомянутой статьѣ „Преступленіе и Наказаніе“. Но, конечно, многое я сказалъ-бы теперь не такъ, какъ тогда, и не только въ смыслѣ стиля, изъ котораго уже давно выдохся юношескій эмфазъ.

Между прочимъ, въ упомянутой статьѣ говорится: „Видъ наказанія иногда не только не производитъ желаемаго устрашающаго и опозоривающаго дѣйствія, но, напротивъ, какъ будто наталкиваетъ на подражаніе палачу, вызываетъ непреодолимую жажду крови. *Уровень нашихъ психологическихъ познаній не захватываетъ этихъ явленій*, хотя тамъ и сямъ можно встрѣтить намеки на попытки ихъ объясненія... (слѣдуютъ указанія на Адама Смита, Кетле, Миттермайера). А, между тѣмъ, явленія этого порядка аналогичны, *можетъ быть*, даже съ такимъ обыденнымъ фактомъ, какъ зѣвота при видѣ зѣвающихъ. Есть много фактовъ, *ничего не дающихъ для положительнаго вывода*, но очень ясно намекающихъ на возможность широкаго отрицательнаго обобщенія“ и т. д. Много лѣтъ спустя изъ этой робко высказанной мысли выросла статья „Герои и толпа“. Другой примѣръ, въ извѣстномъ смыслѣ противоположный. Въ той-же статьѣ

о преступленіи и наказаніи развивается старое положеніе: „понять — значитъ простить“, и доказывается, что мѣрило духовной высоты человѣка есть степень его способности прощать, то есть понимать. Мысль эта высказывается категорически, рѣшительно, — столь рѣшительно, что теперь у меня не хватило-бы уже этой юной рѣшительности. Понять—значитъ простить, да; но горькій житейскій опытъ и многолѣтнія житейскія наблюденія приводятъ къ заключенію, что есть мерзости, которыхъ именно нравственно развитая личность не можетъ понять, не можетъ, значитъ, и простить.

Это, впрочемъ, пока мимоходомъ.

Время отъ времени, но очень изрѣдка, я пописывалъ статейки, которыхъ уже не помню,—между прочимъ, въ одной еженедѣльной газетѣ (если не ошибаюсь, она называлась „Якорь“), редакторомъ которой былъ Шульгинъ, впослѣдствіи отвѣтственный редакторъ Благосвѣтловскаго „Дѣла“. Упоминаю объ этомъ потому, что, на основаніи знакомства съ Шульгинымъ, я было пробовалъ потомъ работать въ „Дѣлѣ“, но неудачно, о чемъ разскажу. Такъ шло дѣло примѣрно до 1865 года, когда я черезъ одного своего бывшаго товарища познакомился съ интересными людьми и окончательно и сознательно вступилъ на литературное поприще.

Одинъ изъ этихъ новыхъ знакомыхъ былъ Николай Степановичъ Курочкинъ, братъ извѣстнаго переводчика Беранже и редактора „Искры“. Въ этой семьѣ таланты распредѣлялись точно по лѣстницѣ. Старшій братъ, Владиміръ, не обладалъ, кажется, никакими дарованіями, служилъ въ военной службѣ, содержалъ потомъ книжный магазинъ, потомъ литографію и, кажется, согрѣшилъ однажды переводнымъ водевилемъ. Младшій — Василій, редакторъ „Искры“ и переводчикъ Беранже, былъ, напротивъ, чрезвычайно талантливъ, гораздо даже талантливѣе, чѣмъ можно судить по его литературному наслѣдству. Середину между ними занималъ средній и по возрасту братъ, мой новый знакомый, Николай Степановичъ. Врачъ по образованію и, такъ сказать, оффиціальной профессіи, онъ давно бросилъ медицину, охотно смѣялся надъ нею, самъ лѣчилъ себя то рѣдечнымъ сокомъ, то крупинками Маттеи, то еще Богъ знаетъ чѣмъ. Поэтъ, если не по призванію, то по смертной охотѣ, онъ писалъ, однако, до-

вольно плохіе стихи. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ умный, въ особенности остроумный, разносторонне начитанный человѣкъ, необыкновенно преданный литературѣ и ея интересамъ. Въ свое время онъ мечталъ, вѣроятно, о большой роли въ литературѣ, и маленькая горечь несбывшихся упованій сквозила иногда въ его разговорѣ. Но онъ былъ слишкомъ добродушенъ и слишкомъ лѣнтяй и циникъ, чтобы содержать себя въ постоянномъ огорченіи. Лысый и толстый, онъ напоминалъ Силена, только съ чрезвычайно правильными и красивыми чертами лица. Много ѣлъ, много пилъ, много спалъ; могъ цѣлыми днями сидѣть немытый, въ распахнутомъ на жирной груди халатѣ, какъ-то особенно поджавъ подъ себя ноги, на манеръ Будды; при этомъ онъ крутилъ одну за другой толстыя папиросы и неустанно говорилъ, забавно картавя и мѣшая серьезныя рѣчи съ разными болѣе или менѣе остроумнымъ вздоромъ. Только разговаривать онъ и не лѣнился. Впрочемъ, лѣнь овладѣвала имъ постепенно, и въ то время, когда я съ нимъ познакомился, онъ былъ сравнительно очень бодръ и дѣятеленъ. Старшій Курочкинъ, Владиміръ, купилъ тогда книжный магазинъ Сеньковскаго, а вмѣстѣ съ нимъ журнальчикъ „Книжный Вѣстникъ“, издававшійся тѣмъ-же Сеньковскимъ, и предложилъ Николаю Степановичу редактировать его. Николай Степановичъ набиралъ сотрудниковъ; въ качествѣ такового меня и познакомилъ съ нимъ мой бывшій товарищъ, знавшій мои литературныя склонности. Особенныхъ хлопотъ по набору сотрудниковъ, впрочемъ, не было. „Книжный Вѣстникъ“ былъ ничтожный журнальчикъ, выходящій два раза въ мѣсяцъ маленькими тетрадями въ листъ или два печатныхъ. При Сеньковскомъ онъ состоялъ изъ перечня вышедшихъ за двѣ недѣли новыхъ книгъ, изъ которыхъ о нѣкоторыхъ давались коротенькіе, въ нѣсколько строкъ, отзывы. Но Курочкинъ мечталъ о расширеніи журнала и о превращеніи его въ серьезный спеціально-критическій органъ. Однако, все это было еще впереди, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, потому что средства издателя были очень скромны. Къ нѣсколькимъ библіографическимъ замѣткамъ, принесеннымъ мною для пробы, Курочкинъ отнесся чрезвычайно благосклонно и горячо убѣждалъ меня работать, работать и работать для литературы. Я не особенно нуждался въ этихъ увѣщаніяхъ, но, все-таки, всегда съ благодарностью вспоминаю Курочкина за оказанный имъ мнѣ пріемъ и за все его дальнѣйшее

отношеніе ко мнѣ. Почитаю его своимъ литературнымъ крестнымъ отцомъ. Онъ-же меня впослѣдствіи и въ „Отечественныя Записки“ ввелъ, и хотя я очень быстро занялъ въ этомъ журналѣ положеніе, гораздо болѣе вліятельное, чѣмъ то, какимъ пользовался онъ, старый литературный неудачникъ, но въ его отношеніяхъ къ моимъ сравнительно быстрымъ успѣхамъ никогда не было и тѣни завистливаго недоброжелательства. Не смотря на свою слабость ко всякаго рода матеріальнымъ благамъ, для достиженія которыхъ онъ, впрочемъ, не ударилъ-бы лишній разъ палецъ о палецъ, онъ дѣйствительно и неподкупно любилъ литературу.

На первый разъ штатъ сотрудниковъ „Книжнаго Вѣстника“, кромѣ самого Курочкина и меня, составился изъ Стойковича, старика библіотекаря въ публичной библіотекѣ, оставшагося намъ въ наслѣдство отъ Сеньковскаго, затѣмъ Зайцева, извѣстнаго критика „Русскаго Слова“, и нѣкоего Николая Дмитріевича Ножина. Это былъ совсѣмъ молодой еще человѣкъ брызжущаго ума, сверкающей фантазіи, огромныхъ способностей къ труду и обширныхъ знаній (по біологіи). Я его изобразилъ впослѣдствіи, подъ именемъ Бухарцева, въ своихъ полубеллетристическихъ очеркахъ „Въ перемежку“. Это изображеніе очень точно, за исключеніемъ, конечно, отношеній Бухарцева-Ножина къ сочиненной фабулѣ очерковъ. Курочкинъ, знавшій Ножина раньше, благоговѣлъ передъ нимъ. Желающіе познакомиться съ Ножинымъ благоволятъ обратиться къ упомянутымъ очеркамъ.

Стали мы работать въ „Книжномъ Вѣстникѣ“ съ чрезвычайнымъ усердіемъ,—по крайней мѣрѣ, мы съ Ножинымъ,—Зайцевъ былъ слишкомъ занятъ въ „Русскомъ Словѣ“, Курочкинъ, все-таки, полѣнивался, а Стойковичъ въ счетъ не шелъ. Познакомился еще я въ это время съ другимъ сотрудникомъ „Русскаго Слова“, Соколовымъ, авторомъ „Отщепенцевъ“, который нѣсколько презрительно относился къ нашей вознѣ съ „Книжнымъ Вѣстникомъ“. Все шло какъ слѣдуетъ, но въ самомъ концѣ марта 1866 года Ножинъ опасно заболѣлъ, говорятъ, тифомъ. Заболѣлъ онъ на квартирѣ у Курочкина, откуда его пришлось отправить въ больницу, и тамъ его быстро скрутило: 3-го апрѣля онъ умеръ. На другой день, 4-го апрѣля, всю Россію всполошилъ Каракозовскій выстрѣлъ. 6 апрѣля мы хоронили Ножина, даже въ умѣ не имѣя, чтобы онъ могъ состоять въ какомъ-нибудь отношеніи къ злосчастному выстрѣлу. Я и до сихъ поръ не знаю, какое это

было отношеніе и даже было-ли какое-нибудь. Въ одномъ изъ первыхъ оффиціальныхъ сообщеній слѣдственной коммиссіи имя Ножина поминалось, но всего одинъ разъ; никого изъ прикосновенныхъ къ дѣлу я никогда у Ножина не видалъ, даже фамилій ихъ отъ него хотя бы случайно не слыхалъ, равно какъ не слыхалъ отъ него никакихъ разговоровъ, которые намекали-бы на какое-нибудь его участіе въ подобномъ дѣлѣ.

Трудно описать впечатлѣніе, произведенное этимъ первымъ покушеніемъ на жизнь императора Александра II, да это и не входитъ въ мой планъ. Скажу только, что въ это трудное время далеко не всѣ органы печати вели себя удовлетворительно. Казалось-бы, назначеніе такого человѣка, какъ графъ Муравьевъ, предсѣдателемъ слѣдственной коммиссіи и предоставленіе ему чрезвычайныхъ полномочій достаточно гарантировали энергію слѣдствія и кары виновныхъ. Но нѣкоторые органы печати сами взяли на себя роль слѣдователей и производили вящшую смуту въ обществѣ, разыскивая виновныхъ направо и налѣво и даже тамъ, гдѣ ихъ, очевидно, быть не могло. Я написалъ по этому поводу статью „4-е апрѣля и русская журналистика“ и понесъ ее Курочкину. Я засталъ его въ страшномъ волненіи. Когда я сообщилъ ему названіе моей статьи, онъ только руками замахалъ; но, выслушавъ статью, нашелъ, что ее не только можно, но и должно напечатать, или, принимая въ соображеніе тревожность минуты, пожалуй, наоборотъ, не только должно, а и можно. Статья эта, впрочемъ, такъ и не увидѣла свѣта. Черезъ нѣсколько дней Курочкинъ былъ арестованъ, Зайцевъ также. Я былъ лишь призываемъ къ допросу; спрашивали о Ножинѣ, я сказалъ все, что зналъ, но оказалось, что интереснаго для слѣдствія я ничего не зналъ.

Только черезъ четыре мѣсяца выяснились недоразумѣнія, вслѣдствіе которыхъ были арестованы Курочкинъ и Зайцевъ, и они получили свободу. Все это время нашъ бѣдный „Книжный Вѣстникъ“ оставался на моемъ попеченіи. Какъ ни ничтоженъ былъ нашъ журнальчикъ, но мы возлагали на него большія надежды въ будущемъ, и, оставшись у кормила этой малой ладьи, я выбивался изо-всѣхъ своихъ юныхъ силъ, чтобы поднять журналъ. Положеніе было тѣмъ болѣе трудное, что я не могъ относиться такъ снисходительно, какъ Курочкинъ, къ водянистымъ и пустословнымъ рецензіямъ единственнаго оставшагося мнѣ въ

наслѣдство сотрудника, Стойковича. Я обратился за помощью къ В. А. Манассеину, тогда еще студенту медико-хирургической академіи, но уже извѣстному своими работами въ „Архивѣ судебной медицины и общественной гигіены“, и къ своему бывшему товарищу по горному корпусу Н. Г. Дебольскому, нынѣ извѣстному педагогу. Спеціально-литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ. Когда черезъ четыре мѣсяца Курочкинъ вышелъ на свободу, онъ очень одобрительно отнесся къ моему веденію журнала, но тутъ-же передалъ мнѣ претензію издателя, который находилъ, что обиліемъ и пространностью рецензій я уже слишкомъ вышелъ изъ предположенныхъ границъ изданія. Онъ былъ съ своей точки зрѣнія правъ, но и я съ своей стороны могъ претендовать на издателя. Работая изо всѣхъ силъ, я былъ очень доволенъ и самою работой, и ея полною самостоятельностью, тою руководящею ролью, которая выпала на мою долю хотя бы и въ маленькомъ дѣлѣ. Какъ бы, однако, даже ни преувеличенно-высоко цѣнилъ я это свое положеніе, а пить-ѣсть, одѣваться-обуваться, все-таки, надо было. Издатель, конечно, понималъ это, но не особенно горячо принималъ къ сердцу, а, впрочемъ, и его собственныя дѣла шли изъ рукъ вонъ плохо. Я жилъ тогда въ меблированной комнатѣ, въ мансардѣ дома Китнера, у Вознесенскаго моста, въ настоящей типической мансардѣ, какихъ въ Петербургѣ немного. Платилъ за комнату, помнится, рублей двѣнадцать и тутъ же обѣдалъ за девять рублей въ мѣсяцъ. По этимъ цифрамъ можно судить и объ остальномъ бюджетѣ. Какъ нищій испанскій гидальго, гордо драпирующійся въ дырявый плащъ, я, полный своего редакторскаго достоинства, каждый день шагалъ въ продранныхъ сапогахъ на Невскій проспектъ, въ книжный магазинъ издателя и сплошь и рядомъ на просьбу о заработанныхъ деньгахъ получалъ предложеніе посидѣть въ магазинѣ,—не навернется ли, дескать, покупатель: все, что при васъ наторгуемъ, ваше будетъ. Увы! покупатели приходили рѣдко и покупали мало...

Тѣмъ не менѣе, когда черезъ нѣсколько времени, вслѣдствіе плохихъ дѣлъ, закрылся книжный магазинъ Владиміра Курочкина и прекратился „Книжный Вѣстникъ“, я былъ, разумѣется, глубоко огорченъ. Я уже настолько вошелъ во вкусъ литературной работы, что жить безъ нея не могъ, а работать негдѣ было. „Современникъ“ и „Русское Слово“ не существовали. Курочкинъ попробовалъ издать колоссальный альманахъ „Невскій Сборникъ“,

куда попала и моя статья, но дальше одного выпуска это предпріятіе не пошло. Появились объявленія объ изданіи новаго журнала „Дѣло“ подъ редакціей Шульгина, и я, памятуя свое знакомство съ Шульгинымъ по „Якорю“ (?), отправился къ нему, захвативъ съ собой „Книжный Вѣстникъ“, какъ образчикъ моей работы. Шульгинъ разъяснилъ мнѣ, что онъ лишь отвѣтственный редакторъ, а ведется „Дѣло“ Благосвѣтловымъ, которому онъ и передастъ мои статьи. Познакомившись съ ними, Благосвѣтловъ встрѣтилъ меня чрезвычайно любезно, но мы очень скоро разошлись, даже не разошлись, а разскочились. Я слишкомъ мало зналъ Благосвѣтлова, чтобы составить о немъ достаточно полное и опредѣленное мнѣніе. Кратковременныя наши отношенія выяснили мнѣ только одну сторону его характера,—какую-то необыкновенную грубость, аляповатость всего, что онъ говорилъ и дѣлалъ. Аляповаты были его любезности, аляповатъ былъ, если не образъ мыслей его, то, по крайней мѣрѣ, способъ ихъ выраженія, но всего, конечно, аляповатѣе были его ядовитости, съ которыми мнѣ пришлось очень скоро познакомиться. Мы уговорились, что я буду писать въ „Дѣлѣ“ литературное обозрѣніе и возьму на себя всю библіографію. Въ одно изъ моихъ посѣщеній Благосвѣтлова, я засталъ у него молодого человѣка съ огромнымъ лбомъ, живыми глазами, быстрыми рѣчами, быстрыми движеніями. Это былъ Д. И. Писаревъ, котораго я видѣлъ тутъ въ первый и въ послѣдній разъ. Входя въ кабинетъ, я еще слышалъ конецъ какого-то запальчиваго разговора. „Ты погоди, что ты ультиматумы-то ставишь?“—говорилъ Благосвѣтловъ.—„Ты знаешь, что я всегда такъ“,—рѣзко отвѣчалъ Писаревъ. Разговоръ былъ прерванъ моимъ появленіемъ. Когда Благосвѣтловъ назвалъ меня Писареву, тотъ, пожимая мнѣ руку, быстро спросилъ: „Переводчикъ Шекспира?“ Онъ принялъ меня за моего почти однофамильца, Д. Л. Михаловскаго, извѣстнаго поэта. Я говорю „нѣтъ“.—„Такъ кто же вы?“—„Никто“.—„Какъ Одиссей?“ Вмѣшался Благосвѣтловъ и сталъ говорить въ похвалу мнѣ столь аляповатыя слова, что я затрудняюсь ихъ приводить. Можетъ быть, сверхъ своей аляповатости во всемъ, Благосвѣтловъ имѣлъ въ данномъ случаѣ еще спеціальную цѣль. Какъ я узналъ впослѣдствіи, между Благосвѣтловымъ и Писаревымъ происходили въ это время очень острыя недоразумѣнія, къ составу которыхъ относился, вѣроятно, и „ультиматумъ“ Писарева. Писаревъ уходилъ изъ „Дѣла“ и дѣй-

ствительно скоро ушелъ, о чемъ имѣется обстоятельный разсказъ въ воспоминаніяхъ Н. В. Шелгунова. Весьма возможно, что, не въ мѣру восхваляя меня, начинающаго, совершенно неизвѣстнаго писателя, и пророча мнѣ, въ присутствіи Писарева, блестящую будущность, Благосвѣтловъ имѣлъ въ виду повліять на Писарева въ нужную ему, Благосвѣтлову, сторону, или, по крайней мѣрѣ, сорвать зло: дескать, и безъ тебя найдутся талантливые сотрудники. Сколько я понимаю Благосвѣтлова, это на него похоже. Если, однако, у него и было подобное, хотя и безсознательное побужденіе, то на Писарева его слова, во всякомъ случаѣ, не произвели предположеннаго впечатлѣнія. Онъ, видимо, былъ очень занятъ какимъ-то своимъ дѣломъ и, съ любопытствомъ посмотрѣвъ на меня, безъ особенной горячности, но очень добродушно пожелалъ мнѣ успѣха; затѣмъ, заявивъ Благосвѣтлову, что будетъ ждать его отвѣта въ такой-то срокъ, ушелъ. Больше я съ нимъ не встрѣчался. Въ началѣ 1868 г. онъ помѣстилъ нѣсколько статей въ возрожденныхъ „Отечественныхъ Запискахъ“, но меня тогда еще тамъ не было, а въ іюлѣ 1868 г. Писарева не стало.

Не помню навѣрное, была ли напечатана хоть одна моя статья въ „Дѣлѣ“; во всякомъ случаѣ, если и была, то именно только одна, и безъ подписи. Не помню также, въ чемъ состояло недоразумѣніе, по поводу котораго я написалъ Благосвѣтлову письмо и получилъ отъ него отвѣтъ якобы ядовитый, а въ сущности грубости необычайной. Мнѣ оставалось только кратко увѣдомить его, что не нахожу возможнымъ продолжать работу въ его журналѣ. Позже мы у кого-то встрѣтились, и онъ началъ разговоръ на ту тему, что „вы человѣкъ горячій, я человѣкъ горячій“ и т. д. Помнится, что и свиданіе это было не совсѣмъ случайно, что насъ сводили по его желанію на нейтральной почвѣ, но, во всякомъ случаѣ, соглашенія не произошло. Благосвѣтловъ навсегда остался въ моей памяти одною изъ самыхъ несимпатичныхъ фигуръ въ литературѣ (разумѣю литературный персоналъ, мнѣ извѣстный; есть литературныя сферы, съ которыми я никогда даже не сталкивался). Его всесторонняя аляповатость слишкомъ била въ глаза даже такому молодому человѣку, какимъ я былъ тогда, а его достоинствъ за кратковременностью знакомства разглядѣть не успѣлъ. Надѣюсь, что они были, эти достоинства, но, признаюсь, мой личный опытъ не даетъ мнѣ возможности понять, какъ могли съ нимъ долго ладить нѣкоторые изъ сотрудниковъ

„Русскаго Слова“ и „Дѣла“, люди тонко-деликатные и, вмѣстѣ съ тѣмъ, полные чувства собственнаго достоинства. Дѣло не въ томъ, что онъ загребалъ жаръ чужими руками и нажилъ большое состояніе трудами даровитыхъ и убѣжденныхъ сотрудниковъ, дожившихъ или доживающихъ свой вѣкъ почти въ нищетѣ. Это обыкновенная предпринимательская исторія, да и Благосвѣтловъ, все-таки, несъ много черной работы по веденію журнала. Изъ воспоминаній Н. В. Шелгунова и изъ его же біографическаго очерка, приложеннаго къ сочиненіямъ Благосвѣтлова видно, что Благосвѣтловъ работалъ страшно много надъ чтеніемъ и выправкой рукописей, надъ корректурами, сношеніями съ цензурнымъ вѣдомствомъ и т. д. Очевидно, это былъ человѣкъ чрезвычайно энергическій, быть можетъ, въ немъ были и другія привлекательныя стороны, но я успѣлъ узнать его только съ той стороны, которую и повторительно не умѣю иначе назвать, какъ аляповатостью.

Я долженъ предупредить читателя, что, помимо отдаленности времени, о которомъ идетъ рѣчь, у меня вообще очень плохая память на цифры. Не ручаюсь поэтому за хронологическую точность и послѣдовательность моего разсказа. Помнится, лѣто 1867 г. досталось мнѣ особенно тяжело. Курочкинъ жилъ тогда на дачѣ на Черной рѣчкѣ, а мнѣ уступилъ мезонинъ въ двѣ комнаты. На томъ-же дворѣ занималъ маленькую дачу Н. А. Демертъ, впослѣдствіи (съ 1869 по 1874 г.) писавшій внутреннее обозрѣніе въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а тогда еще только намѣревавшійся стать постояннымъ литературнымъ работникомъ. У Демерта, недавно пріѣхавшаго въ Петербургъ, водились деньги, конечно, небольшія; у Курочкина ихъ было гораздо меньше, а у меня совсѣмъ не было, и если-бы не Курочкинъ, мнѣ приходилось-бы частенько голодать въ буквальномъ смыслѣ слова. Но и у всѣхъ дѣла были плохи, такъ что, когда однажды къ намъ явился П. А. Гайдебуровъ съ предложеніемъ принять участіе въ газетѣ „Гласный Судъ“, мы ухватились за это предложеніе руками и ногами. Но прежде, чѣмъ разсказать объ этомъ водевильномъ эпизодѣ, я припомню кое-что изъ времяпровожденія на Черной рѣчкѣ.

Извѣстна слабость многихъ русскихъ писателей (теперь это, кажется, уже выводится) къ хмѣльнымъ напиткамъ. Это, впрочемъ, слабость русскихъ людей вообще, и недаромъ Некрасовъ

хотѣлъ кончить свою поэму „Кому на Руси жить хорошо“ иронически-скорбнымъ отвѣтомъ: „хмѣлю“. Недавно гр. Л. Толстой старался убѣдить человѣчество или, по крайней мѣрѣ, Европу въ томъ, что пьянствуютъ люди только виноватые, и, при томъ, именно затѣмъ, чтобы заглушить чувство виноватости и угрызенія совѣсти. Я уже въ другомъ мѣстѣ говорилъ о странной аргументаціи гр. Толстого. Здѣсь скажу только, что я видѣлъ много пьянствующихъ людей, между которыми, дѣйствительно, были и такіе, что пили для заглушенія совѣсти, но большинство надо разверстать по разнымъ другимъ категоріямъ. Позволю себѣ остановиться на нѣсколькихъ пьянствующихъ литераторахъ, съ которыми я познакомился въ 1867 г. Говорить о нихъ можно безъ обиняковъ, такъ какъ всѣ они уже покойники.

Начну съ Демерта. Ему было лѣтъ тридцать съ чѣмъ-нибудь, когда мы познакомились. Изъ его прошлаго я знаю только, что онъ былъ кандидатъ казанскаго университета, служилъ мировымъ посредникомъ, былъ предсѣдателемъ, кажется, чистопольской земской управы, но давно тяготѣлъ къ литературѣ, на которой и осѣлъ, наконецъ. Его близкое практическое знакомство съ крестьянскимъ и земскимъ дѣломъ опредѣлило и характеръ его литературной работы. Его внутреннія обозрѣнія (они назывались „Наши общественныя дѣла“) въ „Отечественныхъ Запискахъ“ много уступали такимъ-же обозрѣніямъ Елисеева, который взялъ на себя этотъ отдѣлъ въ 1875 г.; Елисеевъ былъ несравненно шире, разностороннѣе, глубже. Но и Демертовскія обозрѣнія, отличавшіяся своеобразнымъ, хотя и грубымъ юморомъ, имѣли свою очень большую цѣну; они пользовались большимъ успѣхомъ и доставили Демерту массу корреспондентовъ со всѣхъ концовъ Россіи. Но въ то время, о которомъ я теперь говорю, Демертъ былъ еще новичокъ въ литературѣ, хотя небольшія его статьи уже печатались въ „Современникѣ“, „Искрѣ“, „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“. Когда пристрастился Демертъ къ хмѣльному дѣлу и были-ли этому несчастію какія-нибудь опредѣленныя, уловимыя причины, я не знаю. Знаю только, что несчастіе это все разросталось и кончилось психическимъ разстройствомъ. Нѣкоторымъ причинамъ и поводамъ этого разростанія я былъ, можно сказать, свидѣтелемъ. Демертъ имѣлъ удивительно нѣжное сердце, жаждавшее привѣта и ласки и всегда готовое на нихъ откликнуться. Я видѣлъ его отношеніе къ нѣкоторымъ род-

ственникамъ, зналъ его горе по поводу быстро слѣдовавшихъ другъ за другомъ смерти брата, самоубійства племянника, смерти матери. Я, наконецъ, очень близко видѣлъ одинъ его неудачный романъ. Къ несчастію, нѣжное сердце Демерта было облечено въ непривлекательную для женщинъ тѣлесную форму. Носатое, изрытое оспой лицо его, съ узенькими глазами, широкими скулами, рѣдкою бороденкой, было очень некрасиво. Оно было подъ стать его неуклюжей, медвѣжьей фигурѣ, его грубому, басистому голосу, его очень ужъ несвѣтскимъ манерамъ. На бѣду, судьба послала ему въ сосѣдки по меблированнымъ комнатамъ молодую дѣвушку, которая сумѣла разглядѣть подъ этою грубою внѣшностью нѣжную душу, тяготившуюся одиночествомъ, искавшую ласки. Говорю—„на бѣду“, потому что изъ этого, въ самомъ дѣлѣ, бѣда вышла. По молодому-ли легкомыслію, или по какимъ-нибудь опредѣленнымъ, никакому оправданію не подлежащимъ побужденіямъ, дѣвушка играла съ Демертомъ, какъ кошка съ мышкой. Да, этотъ большой, сильный, широкоплечій человѣкъ съ громовымъ басомъ исполнялъ роль мышки. Такъ, напр., измученный игрой, Демертъ переѣхалъ въ другія меблированныя комнаты, по-просту бѣжалъ, чтобы не терзаться ежедневными встрѣчами, но черезъ нѣсколько дней героиня его романа переѣхала вслѣдъ за нимъ и опять стала его сосѣдкой, все такой-же, то подающей надежды, то отталкивающей. Во времена надеждъ Демертъ не пилъ, какъ-то весь подбирался, даже надѣвалъ перчатки и гофрированныя рубашки, что было очень забавно, а во времена окончательнаго разочарованія и соотвѣтственной муки пилъ мрачно, дико, страшно. Въ такія времена онъ любилъ пѣть, подъ аккомпаниментъ гармоники, горькія сиротскія волжскія пѣсни (онъ былъ казанскій или нижегородскій уроженецъ), разрѣшавшіяся иногда слезами, а иногда страшною руганью по неизвѣстному, неопредѣленному адресу, или-же пропадалъ цѣлыми днями въ разныхъ трущобахъ. Этотъ неудачный романъ Демерта относится къ 1871 или 1872 г., но у него подобныхъ романовъ было, вѣроятно, нѣсколько въ жизни; не буквально такихъ, конечно, но и въ то время, когда мы съ нимъ познакомились, на немъ лежала печать сиротливаго одиночества и душевной безпріютности. Домовитый, даже до скупости (когда не загуливалъ), онъ, и кромѣ нѣжнаго сердца, имѣлъ всѣ задатки и великую охоту стать настоящимъ семьяниномъ. Слѣпая судьба рѣшила иначе, и въ

этомъ-то разладѣ между дѣйствительностью и внутренними позывами, конечно, и лежала причина пристрастія Демерта къ хмѣльному напитку. Не хорошее это дѣло, безспорно, но осудить покойника я не могу, виноватости его не вижу: не для заглушенія совѣсти онъ пилъ, а для забвенія обиды и горя.

Въ качествѣ стараго литератора, Курочкинъ имѣлъ многія литературныя связи и знакомства. У насъ на Черной рѣчкѣ бывали Василій Курочкинъ, Минаевъ, Іакинфъ Шишкинъ, забытый нынѣ, но не лишенный дарованія поэтъ Кроль, старый беллетристъ Толбинъ, одну повѣсть котораго еще Бѣлинскій похвалилъ, какъ подтрунивали его пріятели, и другіе. Всѣ поименованные теперь уже покоятся въ землѣ, и всѣ основательно выпивали. Насколько я могъ ко всѣмъ къ нимъ присмотрѣться, они, будучи очень разными людьми въ разныхъ отношеніяхъ, имѣли, однако, одну общую отрицательную черту—безхарактерность, слабость воли. Мнѣ кажется, что черта эта встрѣчается и должна встрѣчаться вообще очень часто въ средѣ русскихъ литераторовъ. Сила характера можетъ, конечно, получиться по наслѣдству, какъ и безхарактерность, но и сила, и слабость подлежатъ также воспитанію. Воспитывается-же сила характера дѣятельностью, настоящею дѣятельностью, то-есть такою, плоды которой очевидны для самого дѣятеля. Русскіе писатели очень рѣдко находятся въ такомъ положеніи, а потому, вообще говоря, довольно быстро утрачиваютъ энергію, и, въ частности, энергію сопротивленія разнымъ соблазнамъ. Мысль, слово, дѣло—такова тройственная формула полной жизни писателя, изъ которой нельзя безнаказанно вынуть ни одного звена. Бѣда не въ препятствіяхъ, борьба съ которыми только закаляетъ характеръ, если, конечно, они не чрезмѣрны, а въ большей или меньшей возможности самой борьбы. Если мысль встрѣчаетъ непреодолимыя препятствія для своего выраженія въ словѣ, а недосказанное слово не можетъ въ свою очередь претвориться въ дѣло, то равновѣсіе жизни нарушено и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ослабляется энергія. Талантъ самъ по себѣ въ этомъ отношеніи спасеніемъ быть не можетъ. Талантъ вообще часто находится въ антагонизмѣ съ волей, какъ можно судить по судьбѣ многихъ высокодаровитыхъ европейскихъ поэтовъ, мыслителей, музыкантовъ, кончавшихъ самоубійствомъ, сумасшествіемъ или пьянствомъ. Но и помимо того, чѣмъ ярче мысль или чувство, тѣмъ сильнѣе тяготѣніе ихъ къ словесному выра-

женію, а чѣмъ талантливѣе слово, тѣмъ обязательнѣе для него претвореніе въ дѣло, воплощеніе. Писатель, даже чрезвычайно талантливый, обреченный остановиться на средней ступени этой лѣстницы, на словѣ, да еще сказанномъ вполголоса, à la longue, въ большинствѣ случаевъ, долженъ ослабѣть духомъ. Бываютъ, конечно, блестящія исключенія. Бываютъ отъ природы счастливо уравновѣшанныя душевныя организаціи, которымъ живущая въ нихъ сила подсказываетъ, что не нынче, такъ завтра, не современники, такъ потомки претворятъ ихъ слово въ дѣло. Такимъ образомъ, тройственная формула нормальной жизни писателя не нарушается, а только растягивается, захватывая болѣе или менѣе отдаленное будущее. Есть горечь въ этомъ положеніи, но норма, все-таки, не разрушена. Бываютъ и другія положенія, для иллюстраціи которыхъ возьму крайній примѣръ. Репортеръ отмѣчаетъ въ своей газетѣ нечистоту какой-нибудь Затрапезной улицы и на другой день читаетъ распоряженіе по полиціи, свидѣтельствующее о томъ, что его обличеніе замѣчено, принято къ свѣдѣнію и къ исполненію. Онъ удовлетворенъ, именно потому, что тройственная формула пройдена имъ полностью: мысль нашла себѣ выраженіе въ словѣ, слово претворилось въ дѣло. Конечно, репортеръ не есть литераторъ въ настоящемъ смыслѣ слова; онъ нѣчто вродѣ литературнаго чиновника. Но подобные чиновники могутъ состоять и въ гораздо высшихъ чинахъ, быть даже „нашими уважаемыми“ или „нашими извѣстными писателями“, оставаясь, все-таки, чиновниками по своему темпераменту и по своему отношенію къ дѣлу.

Вышепоименованные наши гости на Черной рѣчкѣ не были писателями настолько значительными, чтобы утѣшаться въ невзгодахъ настоящаго твердою вѣрой въ будущее, но не были и литературными чиновниками. Всѣ они были настоящіе, „кровные“, какъ выражался Салтыковъ, литераторы, хотя и весьма различныхъ степеней дарованія; всѣ претерпѣли или претерпѣвали разныя литературныя неудачи, а на этомъ общемъ фонѣ жизнь вышила для каждаго изъ нихъ еще спеціальные узоры разнообразныхъ житейскихъ драмъ; всѣ были слабы характеромъ и всѣ пили.

Въ наше время полной распущенности, въ смыслѣ общественной дѣятельности, время позорнаго индифферентизма, предательскихъ сдѣлокъ, легкомысленныхъ скачковъ съ одного бе-

рега на другой, время забвенія лучшихъ завѣтовъ прошлаго и страшнаго суда будущаго, очень высоко цѣнятся нѣкоторыя элементарныя правила личной нравственности,—до такой степени преувеличенно-высоко, что даже подозрительно. Дальше всѣхъ въ этомъ направленіи шагнулъ гр. Л. Толстой, разгромившій не только половыя излишества или не освященныя закономъ любовныя связи, но объявившій даже самую любовь дѣломъ безнравственнымъ и, что особенно курьезно, неестественнымъ. Вслѣдъ затѣмъ гр. Толстой усвоилъ употребленіе табаку и вина исключительно людямъ, нуждающимся въ заглушеніи совѣсти и, слѣдовательно, совершившимъ болѣе или менѣе тяжкіе проступки или даже преступленія; безнравственнымъ при этомъ признается не только какое-нибудь безобразное пьянство, но и каждая выкуренная папироска и каждая передобѣденная рюмка водки, столь привычная вполнѣ благонамѣреннымъ и добродѣтельнымъ обывателямъ. Я не сомнѣваюсь въ полной искренности гр. Толстого, не сомнѣваюсь, что онъ лично бросилъ всѣ тѣ занятія, которыя признаетъ нынѣ безнравственными. Но, признаюсь, очень сомнѣваюсь въ цѣломудріи и трезвости того общества, среди котораго возможны такія преувеличенно-нравственныя проповѣди и которое имъ апплодируетъ. Какъ-то я прочелъ въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ критическій разборъ одного романа. Строгій критикъ осуждаетъ разныя пикантныя и фривольныя подробности романа, и въ числѣ этихъ пикантностей и фривольностей отмѣчаетъ „маленькую ножку“. Онъ неоднократно пускаетъ въ ходъ эту улику, печатаетъ эту безнравственную „маленькую ножку“ и въ кавычкахъ, и курсивомъ: дескать, вотъ до какихъ Геркулесовыхъ столбовъ дошелъ безнравственный авторъ, — маленькую ножку не стыдится изображать! Если-бы я собственными глазами не читалъ этого, то не повѣрилъ-бы, какъ не повѣрилъ-бы многому изъ того, что нынѣ печатается. Бѣдный Пушкинъ! Онъ такъ любилъ маленькія ножки, и какъ же сурово обошлись-бы съ нимъ за это современные критики-моралисты! Я не говорю, напримѣръ, о какой-нибудь „Пѣсни-пѣсней“, гдѣ ужъ не о ножкахъ рѣчь идетъ, и которая, однако, живетъ вѣка и, я боюсь, переживетъ даже цѣломудріе „Сѣвернаго Вѣстника“. Опять-таки я готовъ вѣрить, что строгій критикъ „Сѣвернаго Вѣстника“ безусловно цѣломудренъ и искренно возмущенъ маленькими ножками; готовъ, пожалуй, допустить, что онъ не желаетъ

видѣть маленькія ножки не только въ литературѣ, а и въ жизни, ни на яву, ни даже во снѣ. Но мнѣ очень подозрительно цѣломудріе того общества, которое выдвигаетъ изъ себя критиковъ столь преувеличенно-цѣломудренныхъ, что даже ужъ и не умно. Конечно, общество не отвѣтственно за всякую глупость, которую брякнетъ тотъ или другой писатель, тотъ или другой журналъ. Но строгій критикъ „Сѣвернаго Вѣстника"—не единственный преувеличенно-моральный человѣкъ современности. Нельзя, разумѣется, сказать, чтобы имя ему было легіонъ, но, все-таки, это граничащее съ нелѣпостью хватаніе черезъ край въ дѣлѣ личной морали чрезвычайно характерно для переживаемаго нами историческаго момента.

У насъ нашлись даже органы печати, которые злорадно отнеслись къ совсѣмъ-бы ужъ, кажется, чужой намъ исторіи Парнелля и О'Ши. За моремъ Парнелль живетъ, мужественный, искусный, неустанный борецъ за интересы ирландскаго народа. Только бы любоваться на эту блестящую фигуру, только-бы глазомъ на ней отдыхать отъ политической мелочи. Но вотъ на этой фигурѣ появляется темное пятно. Гнусная интрига устраиваетъ Парнеллю всемірный скандалъ, знаменитое своимъ лицемѣріемъ англійское общество гонитъ его съ политической арены, на которой онъ совершилъ столько трудныхъ подвиговъ. И у насъ нашлись люди, которые злорадно кричали за море: „что?! досталось за прекрасные глаза мистрисъ О'Ши?! И по дѣломъ! Не грѣши!" Вотъ мы до какой степени нравственны. Пылкій Парнелль могъ-бы сказать, да, вѣроятно, и говорилъ своимъ англійскимъ обличителямъ: „Да лжете-же вы, лицемѣры! Какіе ужасы подлинной, чудовищной безнравственности вы еще недавно замалчивали въ своей средѣ? Вы сами знаете, что тутъ было и растлѣніе малолѣтнихъ, и противоестественные пороки. Это вы заминаете, а изъ моихъ отношеній къ О'Ши, до которыхъ вамъ какъ до звѣзды небесной далеко, скандалъ устраиваете..."

Изъ-за моря домой, отъ крупнаго историческаго къ малому житейскому. Я достовѣрно знаю слѣдующій недавній, возмутительный случай, который охотно разсказалъ-бы съ именами дѣйствующихъ лицъ, если бы имѣлъ на то разрѣшеніе потерпѣвшихъ. Въ одномъ медвѣжьемъ углу цѣлымъ обществомъ было нанесено публичное оскорбленіе одной весьма извѣстной и въ высшей степени почтенной женщинѣ, единственно за то, что она прожи-

вала въ этомъ медвѣжьемъ углу безъ мужа. Фактъ этого дикаго проявленія медвѣжинской стыдливости и нравственности можетъ показаться невѣроятнымъ, но онъ несомнѣненъ. Думаете-ли вы, однако, что эта mimosa pudica, это медвѣжинское общество въ самомъ дѣлѣ столь стыдливо и нравственно? Я не думаю, а знаю, что тутъ нѣтъ ничего, кромѣ безстыднаго лицемѣрія и безпричинно-злобной интриги. Надо надѣяться, что медвѣжинскія дамы, тоже участвовавшія въ оскорбленіи, живутъ всегда при мужьяхъ, равно какъ и мужья ихъ живутъ при женахъ. Это дѣлаетъ имъ честь. Но почему-же они, все-таки, смѣютъ оскорблять уважаемаго и ни въ чемъ передъ ними неповиннаго человѣка?

Что смѣетъ, чего не смѣетъ современный русскій человѣкъ? Вопросъ любопытный. Я прочиталъ недавно въ журналѣ „Артистъ“ драму г. Ракшанина „Порывъ“. Это одна изъ тѣхъ многочисленныхъ пьесъ, которыя пишутся исключительно для сцены, съ разсчетомъ на спеціальные сценическіе эффекты, на исполненіе такой-то роли такимъ-то актеромъ Иваномъ Ивановичемъ, который хорошо руки въ карманахъ держитъ, или такой-то актрисой Марьей Ивановной, которая хорошо въ обморокъ падаетъ. Литературныхъ требованій подобнымъ пьесамъ ставить нельзя, потому что онѣ совсѣмъ и не литература. Но въ драмѣ „Порывъ“, все-таки, отразилась, мнѣ кажется, одна любопытная черта современной морали. Герой драмы, Томилинъ, помѣщикъ, прекрасный человѣкъ и очень любитъ свою жену. Но съ нимъ случился грѣхъ, онъ увлекся сосѣдкой вдовой Бецкой и встрѣтилъ съ ея стороны взаимность. Этотъ эпизодъ происходитъ еще до поднятія занавѣса. Мы присутствуемъ уже при душевныхъ мукахъ, которыми Томилинъ расплачивается за свой „порывъ“. Онъ любитъ свою жену и, горько раскаиваясь въ своей связи съ Бецкой, всячески старается отъ нея отдѣлаться, но Бецкая его любитъ и отпускать не хочетъ. Она, не смотря ни на что, увѣрена, что и Томилинъ ее любитъ, только труситъ ходячей морали. Она говоритъ ему: „Ясно я вижу, что происходитъ въ тебѣ: ты привыкъ къ такому миру, къ такому покою, что тебѣ страшно подумать о рѣзкомъ шагѣ... Ты дрожишь передъ нимъ и готовъ на всякую жертву, лишь-бы не нарушить установившейся формы“. Можетъ быть, Бецкая и не совсѣмъ не права, потому что въ интимномъ разговорѣ съ однимъ пріятелемъ Томилинъ намекаетъ на какую-то разницу между страстью,

которую онъ, повидимому, питаетъ, все-таки, къ Бецкой, и любовью, которую онъ чувствуетъ къ женѣ. Какъ-бы то ни было, онъ непремѣнно хочетъ покончить съ Бецкой, для чего, между прочимъ, ему нужно вернуть свои письма къ ней, ибо какая-нибудь случайность или злая мысль самой Бецкой можетъ подсунуть эти компрометирующія письма женѣ. Пріятель рекомендуетъ ему очень простое средство развязать этотъ мучительный узелъ,—разсказать все женѣ. Безъ сомнѣнія, это былъ-бы очень тяжелый шагъ, но онъ облегчилъ-бы совѣсть Томилина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, развязалъ-бы его съ Бецкой. Но Томилинъ боится этого шага и кончаетъ тѣмъ, что убиваетъ Бецкую. Такимъ образомъ, Бецкая, въ концѣ-концовъ, все-таки, права, утверждая, что Томилинъ „готовъ на всякую жертву, лишь-бы не нарушить установившейся формы“. Онъ не смѣетъ признаться женѣ въ нарушеніи супружеской вѣрности, а убить человѣка, да еще любимаго (хотя-бы и въ формѣ „порыва“), смѣетъ. Эта самая черта поразила меня въ процессѣ Бартенева: въ виду предразсудка относительно браковъ съ актрисами, Бартеневъ не смѣлъ просить у отца позволенія жениться на Висновской, не смѣлъ также обойтись въ этомъ дѣлѣ безъ отцовскаго позволенія, а убить Висновскую посмѣлъ. Мнѣ кажется, что это совпаденіе мотивовъ немудрой литературной драмы и кровавой житейской, въ связи со всѣмъ прочимъ, что мы видимъ, слышимъ и читаемъ, свидѣтельствуетъ о глубокой извращенности моральнаго чувства. Апологеты современности увѣряютъ насъ, что мы, утомившись будто-бы чрезмѣрнымъ вниманіемъ къ общественнымъ интересамъ, успѣшно занимаемся нынѣ выработкою идеаловъ личной нравственности, въ доказательство чего приводится успѣхъ проповѣди гр. Толстого и т. п. Неправда это. Проповѣдь неестественности любви, ужасъ передъ изображеніемъ маленькихъ ножекъ въ романѣ и т. п.—слишкомъ преувеличенно-моральны, чтобы отразиться въ жизни реальною моралью и вообще чѣмъ нибудь, кромѣ лицемѣрія. Въ дѣйствительности мы видимъ не торжество личной нравственности, а просто въявь развертывается сонъ фараона: тощія коровы пожираютъ тучныхъ, мелочи выдвигаются на первый планъ, „установившіяся формы“, осѣняя собою лицемѣріе, требуютъ себѣ буквально человѣческихъ жертвъ. Господа современные моралисты! помолитесь за упокой души рабы Божіей Висновской, рабы Божіей Бецкой и иныхъ, имена-же

ихъ Ты, Господи, вѣси. Помолитесь и за здравіе живыхъ, оскорбленныхъ и оскорбляемыхъ въ моментъ вящшаго расцвѣта идеаловъ личной нравственности...

Простите это длинное отступленіе, читатель. Я васъ предупредилъ на этотъ счетъ. Да и теперь мы, все-таки, не сразу вернемся къ лѣту 1867 года на Черной рѣчкѣ. Намъ нужно еще пройти подъ нѣкоторою, отнюдь не тріумфальною аркой, которую воздвигла для русскихъ литераторовъ „Недѣля“.

Одинъ изъ литературныхъ обозрѣвателей „Недѣли“, г. Единица, воспользовался исторіей Парнеля-О'Ши, чтобы бросить какой-то темный намекъ-упрекъ какимъ-то русскимъ писателямъ. Тутъ-же онъ выражаетъ недоумѣніе по поводу того, что о писателяхъ не принято говорить: спился, пьянствовалъ и т. п., а говорится: страдалъ извѣстною русскою слабостью, извѣстнымъ недугомъ. Г. Единица желаетъ, чтобы пороки и безнравственность русскихъ писателей предъявлялись публикѣ безъ вуаля. Такъ ужъ нынѣ все строго пошло по части нравственности. Какъ и въ предыдущихъ случаяхъ, я охотно готовъ признать, что въ прошломъ г. Единицы и всего персонала „Недѣли“ нѣтъ ни единаго грѣха вродѣ того, который такъ тяжело отозвался на Парнеллѣ. Готовъ признать также, что хоть они „немножко и дерутъ, но въ ротъ хмѣльного не берутъ“. Честь имъ и слава! Пусть они въ этихъ отношеніяхъ бѣлѣе снѣга альпійскихъ вершинъ, голубѣе небесной лазури. И, все-таки, мнѣ кажется, что размышленія г. Единицы немножко неумѣстны. У русскихъ людей есть обычай, при встрѣчѣ съ похоронами, креститься или, по крайней мѣрѣ, снимать шапку. Въ силу этого обычая вы снимаете шапку даже передъ такимъ покойникомъ, которому при жизни, можетъ быть, ни за что не поклонились-бы; тѣмъ болѣе, если почившій оказалъ обществу какія-нибудь услуги. Поэтому-то, можетъ быть, мы и говоримъ, что Полежаевъ, Помяловскій, Щаповъ, Рѣшетниковъ, Мей, Аполлонъ Григорьевъ и, къ сожалѣнію, еще многіе, многіе другіе „страдали извѣстною русскою слабостью“, очень хорошо зная, что это псевдонимъ пьянства. И потомъ вопросъ: что лучше или, пожалуй, что хуже: страдать-ли извѣстною русскою слабостью, какъ только что поименованные писатели, или систематически, въ теченіе многихъ лѣтъ сбивать съ толку читателей разными „новыми словами“ и потомъ спокойно убирать ихъ въ карманъ, какъ это случается съ „Недѣлей“? Я

очень хорошо понимаю красоту соединенія общественной, политической нравственности съ безупречною личною чистотой. Но если ужъ выбирать, то я не выбралъ-бы тѣхъ музыкантовъ, которые „въ ротъ хмѣльного не берутъ“. Потому что, видите-ли, сбивать съ толку читателей—глубоко безнравственно и даже преступно. И если фараонъ не удивлялся своему сну, такъ только потому, что во снѣ мы вообще ничему не удивляемся. Въ дѣйствительности-же, ни съ чѣмъ не сообразно, чтобы корова корову ѣла, да еще тощая тучную.

Теперь на Черную рѣчку.

Изо всѣхъ нашихъ гостей самымъ замѣчательнымъ былъ, конечно, Василій Степановичъ Курочкинъ. Я никогда не имѣлъ съ нимъ дѣловыхъ сношеній, такъ какъ въ его газетѣ „Искра“ никогда не писалъ, а въ центрѣ моей работы, въ „Отечественныхъ Записках“ онъ участвовалъ лишь случайно, переводными и оригинальными стихотвореніями и, помнится, двумя-тремя театральными хрониками. Я видѣлъ его, значитъ, не въ рабочіе будни, а въ дни праздниковъ или вольной и невольной праздности. И дни эти, не въ обиду будь сказано строгому г. Единицѣ, нерѣдко отдавались извѣстной русской слабости. По тогдашней моей молодости, я считалъ Василія Степановича очень веселымъ человѣкомъ. Можетъ быть, вино дѣйствовало на него иногда и угнетающимъ образомъ, но я его такимъ не видалъ. На моихъ глазахъ вино только усиливало его добродушную веселость и остроуміе, онъ сыпалъ каламбурами, остротами, экспромптами, смѣшилъ и самъ хохоталъ. А между тѣмъ, какъ я оцѣнилъ впослѣдствіи, съ этимъ смѣхомъ сочеталось глубокое и постоянное горе, даже не одно, а, по крайней мѣрѣ, два горя. Я отнюдь не хочу сводить все дѣло къ этимъ горямъ,—привычка омрачать сознаніе и волю виномъ, конечно, очень дурная привычка, и, какъ таковую, я охотно отдаю ее на растерзаніе моралистовъ и въ Курочкинѣ; не могу, однако, не отмѣтить тѣхъ прискорбныхъ обстоятельствъ, которыя если не вызвали, то усилили въ немъ пагубную привычку.

Я не увѣренъ, что „Искра“ въ 1867 г. существовала, но если и существовала, то во всякомъ случаѣ влачила мрачные, унылые дни. И это послѣ блестящаго успѣха въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Въ одной изъ не вполнѣ отдѣланныхъ рукописей Елисеева я нашелъ слѣдующія черты успѣха „Искры“, которыя и

привожу, какъ свидѣтельство современника, ибо самъ по наслышкѣ знаю объ этомъ успѣхѣ. Замѣчу только, что Елисеевъ пишетъ нижеслѣдующее просто къ слову, мимоходомъ, и, конечно, сказалъ-бы гораздо больше, если-бы имѣлъ въ виду характеристику дѣятельности В. С. Курочкина.

Въ „Искрѣ“,—пишетъ Елисеевъ,—„кромѣ безчисленныхъ обличительныхъ корреспонденцій во всѣхъ родахъ, и въ прозѣ, и въ стихахъ, и въ разсказахъ, замѣткахъ, подписанныхъ обыкновенно псевдонимами, существовалъ еще особый отдѣлъ „Намъ пишутъ“, составлявшійся по корреспонденціямъ, получаемымъ изъ различныхъ мѣстъ Россіи. Цензура не позволяла называть обличаемыхъ по имени, ни даже называть тѣ города, гдѣ они живутъ и гдѣ происходятъ обличаемыя дѣйствія. Поэтому образовался цѣлый словарь городовъ съ условными названіями: Краснорѣцкъ, Кутерма, Лиліенградъ, Тмутаракань, Златогорскъ, Чернилинъ, Бѣлокаменскъ и т. д., съ условленными именами дѣйствующихъ въ нихъ героевъ, въ особенности если они занимали въ нихъ выдающійся постъ по своему общественному положенію. Въ провинціи каждый городъ, о которомъ шла рѣчь, немедленно узналъ свой псевдонимъ, такъ какъ описываемое то или другое совершившееся въ немъ безобразіе было, конечно, извѣстно цѣлому городу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, узнавалось и лицо, о которомъ шла рѣчь. Въ Петербургѣ, Москвѣ и другихъ большихъ городахъ цѣль гласности такимъ путемъ не могла достигаться,—развѣ въ исключительныхъ случаяхъ, когда какой-нибудь крупный скандалъ дѣлался извѣстнымъ всему городу. Тогда дѣлу гласности помогали иногда отчасти рисунки „Искры“. Покойный Степановъ, прекрасный рисовальщикъ, давалъ изображаемымъ на этихъ рисункахъ лицамъ такое сходство съ подлинными, что цензура нерѣдко приказывала или сбривать бакенбарды съ изображеннаго лица, или поставить его не en face, а въ профиль, чтобы не такъ рѣзко бросалось въ глаза сходство. Кромѣ того, у „Искры“, вѣроятно, благодаря рисункамъ, появились совершенно неизвѣстные редакціи добровольные *словесные* сотрудники въ пользу гласности. Въ 1859 г. мнѣ нѣсколько разъ случалось обѣдать въ одномъ небольшомъ табльдотѣ на Морской, гдѣ собиралось до пятнадцати и болѣе человѣкъ, все люда интеллигентнаго,—чиновниковъ, моряковъ и т. п. И при мнѣ, въ день выхода „Искры“ или на другой, являлся молодой человѣкъ изъ

служащихъ, обѣдавшій постоянно тутъ и, повидимому, знакомый со всѣми, вынималъ вышедшій № „Искры“ изъ кармана и начиналъ излагать чуть не цѣлую лекцію объ этомъ нумерѣ, объяснялъ рисунки—кого они изображаютъ, по какому поводу они явились, говорилъ о статьяхъ, о затрудненіяхъ, которыя встрѣтились въ цензурѣ, и т. д., и т. д. Всѣ присутствующіе слушали внимательно, дѣлали возраженія, требовали поясненій. Онъ отвѣчалъ на всѣ вопросы и возраженія, давалъ требуемыя пояснения; повидимому, онъ былъ au courant всего, что дѣлалось въ „Искрѣ“. Я былъ убѣжденъ, что этотъ человѣкъ участвуетъ въ „Искрѣ“, стоитъ близко къ ея редакціи и что его обѣденные разговоры дѣлаются съ вѣдома редакціи для вящшаго распространенія журнала. Оказалось, совсѣмъ нѣтъ. Впослѣдствіи я довольно близко познакомился съ редакторомъ „Искры“, В. С. Курочкинымъ, былъ иногда на его журфиксахъ, и здѣсь познакомился и съ другимъ редакторомъ „Искры“, Степановымъ, но ни тотъ, ни другой не имѣли никакого свѣдѣнія о неизвѣстныхъ добровольцахъ, дѣйствовавшихъ въ ихъ пользу; оба они увѣряли меня, что у нихъ не было и въ мысли пользоваться подобнаго рода пропагандой для распространенія „Искры“, которая и безъ того шла очень шибко“.

Повторяю, Елисеевъ пишетъ это мимоходомъ, къ слову, имѣя въ виду совсѣмъ особыя цѣли, сообразно которымъ выдвигаетъ только одну сторону дѣла. Но и этого достаточно, чтобы видѣть, какую роль играла въ свое время „Искра“, а слѣдовательно, и ея главный руководитель. То было время обличительнаго жара, обуявшаго русское общество послѣ крымской войны. Не мало комическихъ штриховъ испещряетъ эту картину повальнаго обличенія, но изъ-за нихъ нельзя проглядѣть благородное чувство негодованія на всякій противозаконный поступокъ, на всякое насиліе надъ слабымъ, на всякое проявленіе высокомѣрнаго невѣжества, халатнаго отношенія къ обязанностямъ, „радѣнія родному человѣку“, всяческаго издѣвательства надъ правдой, честью, совѣстью. Центромъ всѣхъ этихъ обличеній стала „Искра“; общество, освѣженное приближающимся вѣяніемъ реформъ, откликнулось и создало для В. С. Курочкина или, пожалуй, вѣрнѣе, онъ самъ создалъ себѣ положеніе совершенно исключительное. Это былъ какъ-бы предсѣдатель суда общественнаго мнѣнія по множеству дѣлъ, часто очень мелкихъ и вполнѣ

личнаго характера, но иногда и крупныхъ и, во всякомъ случаѣ, захватывавшихъ, въ своей совокупности, всю грамотную Россію. Положеніе высокое, трудное и отвѣтственное. Многіе и многіе боялись „Искры“, многіе и многіе возлагали на нее надежды. Тройственная формула писательской дѣятельности,—мысль, слово, дѣло,—если не всегда и не вполнѣ осуществлялась для Курочкина, то была, все-таки, близка и возможна. Надо замѣтить, что тогда провинціальная печать не существовала и, значитъ, тѣ факты всероссійской жизни, которые нынѣ черпаются столичными газетами и журналами изъ провинціальной прессы, „Искрѣ“ приходилось получать изъ первыхъ рукъ; это создавало особенно живое общеніе между редакціей газеты и читателями, которые были или могли стать въ любую минуту также и сотрудниками. Человѣкъ жизни, Курочкинъ отдался этому живому дѣлу вполнѣ. Человѣкъ большого таланта, онъ съ веселіемъ размѣнялъ этотъ талантъ на мелочь и распустилъ свою личность въ общемъ составѣ своей газеты.

Еще не такъ давно, въ книжкѣ о Щедринѣ и потомъ въ предисловіи къ сочиненіямъ Шелгунова, я говорилъ о тѣхъ большихъ, хотя и невидныхъ публикѣ трудахъ и жертвахъ, которыя приносятся писателями-журналистами вообще, писателями-редакторами въ особенности. Получая нумеръ журнала или газеты, публика не подозрѣваетъ, какая масса труда вложена въ организацію и веденіе дѣла, ибо трудъ этотъ оставилъ по себѣ лишь духовный, невидный слѣдъ. Еще меньше можетъ оцѣнить публика ту жертву, которую приноситъ даровитый писатель, отрекаясь отъ спокойной единоличной работы, налагая на себя бремя черной работы невиднаго руководительства, растворяясь при случаѣ въ анонимѣ и псевдонимѣ, уступая свою мысль другому, болѣе свободному или въ данную минуту болѣе для исполненія пригодному и т. п. Все это принялъ Курочкинъ въ полномъ размѣрѣ. Конечно, жертвы эти искупались тѣмъ наслажденіемъ, которое онъ испытывалъ въ качествѣ одного изъ живыхъ центровъ литературы, въ качествѣ руководителя живого дѣла. Но тѣмъ горше было его существованіе, когда это живое дѣло пошатнулось, а затѣмъ и совсѣмъ пало. Попробовавъ сладкаго, не захочешь горькаго, а если ужъ неизбѣжно приходится его глотать, такъ оно кажется даже свыше мѣры горькимъ. Привычная, обратившаяся уже въ потребность непосредственная связь съ чи-

тателями, благодаря постороннимъ обстоятельствамъ, расшаталась и, наконецъ, совсѣмъ оборвалась. По пословицѣ „изъ поповъ въ дьякона“, Курочкинъ кончилъ фельетонистомъ въ газетѣ Полетики „Молва“. Все это шло съ извѣстною постепенностью, „Искра“ еще существовала довольно долго (съ перерывами), но уже давно утратила свое исключительное положеніе литературно-судебной инстанціи. И Курочкинъ топилъ свое горе въ винѣ.

Было у него и другое горе. Оно лежало въ условіяхъ его семейной жизни. Я позволилъ себѣ уже столько отступленій, что откладываю до другого раза то новое отступленіе, которое теперь просится подъ перо. Разумѣю бесѣду о причинахъ и слѣдствіяхъ несчастныхъ браковъ, очень часто встрѣчающихся въ литературной средѣ. Довольствуюсь пока голою отмѣткой несчастія Курочкина и слѣдующимъ фактомъ. Въ противоположность благодушному веселью Курочкина, выпившій Минаевъ производилъ на меня крайне непріятное впечатлѣніе. Чѣмъ-то грубымъ, плоскимъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, разнузданнымъ вѣяло отъ него, по крайней мѣрѣ, на меня. Это впечатлѣніе я получилъ въ 1867 г. и долго отъ него не избавлялся, такъ что даже избѣгалъ Минаева. Лѣтъ, должно быть, за пять до его смерти, послѣ долгаго перерыва, я случайно столкнулся съ нимъ въ Москвѣ, въ вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги. Онъ былъ съ какою-то незнакомою мнѣ дамой. Первымъ моимъ движеніемъ было уклониться отъ встрѣчи, но онъ увидалъ меня, и намъ пришлось даже ѣхать въ одномъ купе: онъ ѣхалъ въ Петербургъ, я—по дорогѣ въ Петербургъ. Съ первыхъ же словъ, которыми мы обмѣнялись, я почувствовалъ, что это не тотъ Минаевъ, что онъ точно вымытъ или „выстиранъ“, какъ выразился ѣхавшій съ нами-же Г. И. Успенскій. Перемѣна была необыкновенно рѣзкая, я такой больше не видалъ, и ключъ къ ней оказался очень простой: измѣненіе условій семейной жизни. Послѣ этой поѣздки я довольно близко сошелся съ Минаевымъ, бывалъ у него, одно время мы даже жили стѣна объ стѣну, и я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, какая благородная душа, какое нѣжное сердце систематически, въ теченіе многихъ лѣтъ заливалось виномъ. Я тщетно искалъ хоть слѣдовъ того грубаго, разнузданнаго человѣка, который былъ мнѣ такъ антипатиченъ въ началѣ нашего знакомства. Пить по прежнему онъ пересталъ, но иногда, чрезвычайно рѣдко, ему слу-

чалось, по старой памяти и попавъ въ старую обстановку, выпить лишнее; однако, и тутъ душа его оставалась просвѣтленной и умягченной, и прежній Минаевъ быльемъ поросъ. О, если-бы женщины всегда могли соображать, какой свѣтъ, но за то и какой мракъ могутъ онѣ вносить въ жизнь человѣка и, можетъ быть, въ особенности русскаго писателя! По вышеизложеннымъ причинамъ, которыя, впрочемъ, читателю предоставляется развить самому, въ персоналѣ русской литературы очень рѣдки сильные характеры, способные не сгибаться подъ тяжестью посланнаго имъ судьбой креста. Прибавьте еще къ этому усиленную нервность, по самой природѣ вещей свойственную литераторамъ, и вы поймете, какъ много значатъ въ судьбѣ русскаго писателя семейныя условія.

Послѣдніе годы жизни Минаева озарились нѣкоторымъ мягкимъ свѣтомъ, но въ смыслѣ воздѣйствія на его литературную дѣятельность это озареніе уже запоздало: какъ писатель, онъ уже сложился безповоротно. А, между тѣмъ, кое-что въ его литературной физіономіи подлежало-бы измѣненію. Человѣкъ безспорно очень талантливый, онъ, прежде всего, необыкновенно разбрасывался. Разбрасывался отнюдь не такъ, какъ Курочкинъ, который, дробя свои недюжинныя силы, сосредоточивалъ ихъ, все таки, на своемъ журналѣ. Я не знаю, что сталось бы съ Курочкинымъ, если-бы у него не было журнала, хотя уже его исключительная любовь къ Беранже свидѣтельствуетъ, что онъ выбралъ-бы себѣ опредѣленное русло въ литературѣ. Минаевъ-же ни на чемъ не останавливался вдумчиво и продолжительно,— онъ скользилъ по явленіямъ литературы и жизни. Вдобавокъ, онъ былъ виртуозъ слова, — каламбуръ, игра словъ, трудная и какая-нибудь особенно фокусная рифма всегда соблазняли его, настолько соблазняли, что заслоняли собою подчасъ мысль. Впрочемъ, на этотъ счетъ о Минаевѣ говорилось такъ много, что я предпочитаю остановиться. Думаю, что безпорядочная жизнь много способствовала этой разбросанности и этой чрезмѣрной наклонности къ разнообразной, виртуозной и мелкой игрѣ словами.

Ни В. С. Курочкинъ, ни Минаевъ не представляли для меня загадки. По своей молодой неопытности, я ошибался, видя въ В. С. Курочкинѣ какое-то ходячее заразительное веселье и не умѣя проникнуть дальше коры грубой распущенности, которая

облегла душу Минаева. Но такъ или иначе, а мнѣ казалось, что я ихъ понимаю. Совсѣмъ другое дѣло Кроль и Толбинъ. Это были типичные представители какой-то совсѣмъ другой эпохи, другого, чуждаго и непонятнаго мнѣ духовнаго склада. Типъ этотъ живо возсталъ въ моей памяти недавно, при чтеніи воспоминаній г. Фета. Я приведу нѣсколько отрывковъ изъ этихъ воспоминаній, которыя пояснятъ мое тогдашнее недоумѣніе.

Разсказывая объ одномъ семействѣ, въ которомъ было двѣ дочери, г. Фетъ говоритъ: „О меньшой, если не говорить объ ея черныхъ волосахъ, широко выведенныхъ бровяхъ и замѣчательно черныхъ и блестящихъ глазахъ, сказать болѣе нечего; но старшая, блондинка, была явленіемъ далеко не дюжиннымъ. Уже одно ея появленіе въ дверяхъ невольно кидалось въ глаза. Она не входила, а, такъ сказать, шествовала въ комнату, строго сохраняя щегольскую кавалерійскую выправку: корпусъ назадъ, затылокъ назадъ“ (Воспоминанія, I, 3).

Въ январѣ 1858 г. Кокоревъ давалъ въ Москвѣ обѣдъ, на который, въ числѣ другихъ московскихъ литераторовъ, получилъ приглашеніе и г. Фетъ. За обѣдомъ Кокоревъ сказалъ рѣчь, въ которой повторилъ сказанное имъ уже раньше въ купеческомъ клубѣ, а именно „о добровольной помощи со стороны купечества къ выкупу крестьянскихъ усадебъ“. Г. Фетъ разсказываетъ: „Помню, съ какимъ воодушевленіемъ подошелъ ко мнѣ М. Н. Катковъ и сказалъ: „вотъ бы вамъ вашимъ перомъ иллюстрировать это событіе“. Я не отвѣчалъ ни слова, не чувствуя въ себѣ никакихъ силъ иллюстрировать какія-бы то ни было событія. Я никогда не могъ понять, чтобы искусство интересовалось чѣмъ-либо помимо красоты. Тѣмъ не менѣе, за столами, покрытыми драгоцѣннымъ старинным серебромъ: ковшами, сулеями, братинами и т. д., съ великимъ сочувствіемъ находились наиболѣе выдававшіеся въ литературѣ славянофилы“ (I, 225).

„Я не встрѣчалъ человѣка, въ которомъ-бы стремленіе къ земнымъ наслажденіямъ высказывалось съ такою беззавѣтною откровенностью, какъ у Боткина (Василія). Можно было-бы подумать, что онъ древній грекъ, заставившій Шиллера въ своемъ гимнѣ „Боги Греціи“ воскликнуть:

Было лишь прекрасное священно,
Наслажденья не стыдился богъ...

„Но нигдѣ стремленіе это не проявлялось въ такой полнотѣ, какъ въ клубѣ передъ превосходной закуской. „Вѣдь это все прекрасно! — восклицалъ съ сверкающими глазами Боткинъ. — Вѣдь это надо все съѣсть!“ (II, 24).

„Неудивительно, что въ домѣ гр. А. К. Толстого, посѣщаемомъ не профессіональными, а вполнѣ свободными художниками, штукатурная стѣна вдоль лѣстницы во второй этажъ была заброшена миѳологическими рисунками чернымъ карандашомъ. Графъ самъ былъ превосходный гастрономъ, и я замѣчалъ, какъ Боткинъ преимущественно передъ всѣми наслаждался превосходными кушаньями на лондонскихъ серебряныхъ блюдахъ и подъ такими же художественными крышками“ (II, 26).

Я могъ-бы сдѣлать еще много подобныхъ выписокъ изъ воспоминаній г. Фета, но полагаю, что и приведеннаго достаточно, чтобы повергнуть, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ читателей въ недоумѣніе. Что это такое? Что это за удивительный переплетъ чистаго искусства, поклоненія красотѣ съ сладострастіемъ обжорства и оцѣнкою женщины съ точки зрѣнія „щегольской кавалерійской выправки: корпусъ назадъ, затылокъ назадъ“? „Было лишь прекрасное священно... особенно въ клубѣ передъ превосходною закускою“. „Не какіе-нибудь профессіональные художники, а настоящіе, свободные служители вѣчнаго искусства рисовали картины гр. Толстому... да онъ и самъ былъ превосходный гастрономъ“. Поразительно здѣсь не то, что люди любятъ хорошо поѣсть и, въ то же время, любятъ и цѣнятъ хорошія картины или вообще почитаютъ искусство,—поразительно то, что все это сплетается для нихъ органически, принципіально, такъ что слова „священная“ и „закуска“, „das ewig weibliche“ и „кавалерійская выправка“, „Шекспиръ“ и „стерляжья уха“ могутъ совершенно спокойно уживаться въ мозгу и на бумагѣ рядомъ, пополняя другъ друга. Вотъ эта самая черта поражала меня и въ Кролѣ и Толбинѣ. Потомъ, когда я пожилъ на свѣтѣ, повидалъ всякіе виды и вдумался въ доктрину святого чистаго искусства, я пересталъ удивляться. Я понялъ цѣльность, законченность того типа, который такъ часто мелькаетъ на страницахъ воспоминаній г. Фета. Но тогда недоумѣніе мое было тѣмъ сильнѣе, что Кроль и Толбинъ не представляли собою столь законченнаго типа. Дѣло не въ томъ, что г. Фетъ, В. Боткинъ и проч. приправляютъ свои бесѣды шампанскимъ и стерляжьей ухой, а Кроль

и Толбинъ не отказывались отъ водки съ колбасой и пива,—это просто дѣло средствъ; хотя и то надо, все-таки, сказать, что серебряныя блюда и трюфеля какъ-то больше гармонируютъ съ помѣсью „священнаго“ и „закусочнаго“. Затѣмъ, сколько я помню Толбинъ былъ просто, что называется, добрый малый, безъ всякаго опредѣленнаго образа мыслей, а Кроль грѣшилъ подчасъ нѣкоторымъ либерализмомъ. Это тоже не дѣло, тоже портитъ типъ. Г. Фетъ и многіе его собесѣдники гораздо цѣльнѣе, послѣдовательнѣе. Воспоминанія г. Фета, интересныя, если не сплошь, то во многихъ своихъ подробностяхъ, особенно цѣнны по тому документальному матеріалу, который въ нихъ въ изобиліи вложенъ. Письма Тургенева, гр. Л. Толстого, Боткина очень многое характеризуютъ и освѣщаютъ. Вотъ отрывки изъ писемъ Тургенева:

„Я говорю, что художество такое великое дѣло, что цѣлаго человѣка едва на него хватаетъ со всѣми его способностями, между прочимъ, и съ умомъ; вы поражаете умъ остракизмомъ и видите въ произведеніяхъ художества только безсознательный лепетъ спящаго“ (I, 391).

„Вѣроятно, по прочтеніи моей новой повѣсти, которая едвали вамъ понравится, вы и ея недостатки припишите уму. Дался вамъ этотъ го́нный заяцъ. Смотрите! (Въ подлинномъ письмѣ нарисованъ заяцъ, на спинѣ котораго написано: *умъ*—и настигающая его борзая собака, съ лицомъ бородатаго человѣка и съ надписью на спинѣ: *Фетъ*“) (I, 193).

„Вы — закоренѣлый и остервенѣлый крѣпостникъ, консерваторъ и поручикъ стариннаго закала“ (I, 404).

„Моя претензія на васъ состоитъ въ томъ, что вы все еще съ прежнимъ, носящимъ уже всѣ признаки собачьей старости упорствомъ нападаете на то, что вы величаете „разсудительствомъ“, но что, въ сущности, ничто иное, какъ человѣческая мысль и человѣческое знаніе“ (II, 94).

Надо замѣтить, что Тургеневъ былъ очень расположенъ лично къ г. Фету и все, только что приведенное, входитъ въ составъ вполнѣ дружеской переписки. Тѣмъ, разумѣется, цѣннѣе въ данномъ случаѣ характеристика Тургенева. Если вы прибавите ее къ „священной закускѣ“, „кавалерійской выправкѣ“, то получите чрезвычайно яркій типъ, которымъ можно, пожалуй, даже любоваться, какъ можно любоваться законченнымъ художественнымъ воспроизведеніемъ хотя бы непріятнаго сюжета. Это не помѣ-

шаетъ вамъ, конечно, отвернуться отъ самого сюжета при встрѣчѣ съ нимъ въ жизни. Такъ-бы я и поступилъ даже въ своей ранней молодости, если-бы Кроль и Толбинъ совмѣщали въ себѣ всѣ элементы типа. Но этого не было, и я рѣшительно недоумѣвалъ. Однажды мнѣ пришлось, впрочемъ, настоятельно предложить Кролю удалиться изъ моего мезонина,—до такой степени ошеломилъ онъ меня какимъ-то чудовищнымъ сплетеніемъ эстетическихъ идеаловъ съ чѣмъ-то совершенно уже некрасивымъ въ этическомъ смыслѣ. Потомъ я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, что хотя этика и эстетика весьма близкіе родственники, но между ними часто разыгрывается исторія Каина и Авеля. Въ этомъ, конечно, и заключается истинная причина того односторонняго и преувеличеннаго гоненія, которое нѣкоторыя пылкія молодыя головы воздвигли въ шестидесятыхъ годахъ на эстетику. Какъ-бы односторонно и преувеличенно ни было это гоненіе, оно имѣло свои жизненныя основанія; въ особенности, если къ этикѣ прибавить еще политику. И было въ немъ несомнѣнное зерно правды. Его можно формулировать вопросомъ: Каинъ! гдѣ братъ твой Авель?

II *).

„Гласный Судъ“, „Современное Обозрѣніе“, „Отечественныя Записки“.—Некрасовъ.—Романъ „Борьба“ и статья „Что такое прогрессъ?“—Салтыковъ, Елисеевъ, Успенскій.—Некрасовъ, какъ человѣкъ.

Продолжаю вспоминать.

Я былъ молодъ, здоровъ, силенъ, одинокъ, а извѣстно, что одна голова не бѣдна, а и бѣдна, такъ одна. И, все-таки, туго приходилось лѣтомъ 1867 года,—туго и отъ невольнаго, вынужденнаго бездѣлья, когда только что попробовалъ сладкаго яда литературной работы, туго и прямо отъ матеріальныхъ лишеній. Для воспроизведенія нашей „богемской“ жизни на Черной рѣчкѣ нужно-бы было перо Мюрже. Уже кое-что изъ мебели Н. С. Курочкина пошло на растопку плиты... Уже не разъ кухарка на вопросъ: „Въ долгъ, что-ли, въ лавочкѣ-то взять?“ получала веселый отвѣтъ: „Да, да, въ долгъ, долгъ прежде всего“. Уже не разъ

*) 1891, апрѣль.

веселое богемское житье, при которомъ, возставъ отъ сна, не знаешь, будешь-ли сегодня сытъ, или нѣтъ, становилось въ тягость. Въ особенности Курочкину, который былъ и старше, и избалованнѣе, и требовательнѣе меня. И вотъ въ одинъ прекрасный день явился вѣстникъ избавленія. Это былъ П. А. Гайдебуровъ, нынѣшній редакторъ-издатель „Недѣли“. Онъ пріѣхалъ приглашать Курочкина въ ежедневную „судебно-политическую“ газету „Гласный Судъ“, издателемъ и отвѣтственнымъ редакторомъ которой былъ нѣкто Артоболевскій. По профессіи Артоболевскій былъ не литераторъ, а стенографъ, и, при томъ, человѣкъ малообразованный. „Гласный Судъ“ онъ предпринялъ въ 1866 году, я полагаю, просто съ спекулятивными цѣлями, въ разсчетѣ на заголовокъ: новый судъ былъ тогда дѣйствительно новинкой. Сверхъ того, Артоболевскій издавалъ „Самоучитель Стенографіи“, выходившій еженедѣльно. Первый годъ газета, то есть подписка на нее, шла, кажется, бойко, но уже на слѣдующій годъ выяснилось, что на одной спекуляціи въ литературномъ дѣлѣ далеко не уѣдешь. Какъ и когда попалъ въ „Гласный Судъ“ г. Гайдебуровъ, я не знаю. Знаю только, что лѣтомъ 1867 года онъ пріѣхалъ къ Курочкину съ просьбою о сотрудничествѣ. Курочкинъ взялъ на себя отдѣлъ иностранной политики и рекомендовалъ г. Гайдебурову меня для критическаго отдѣла и, помнится, Демерта для внутреннихъ извѣстій. Въ этомъ послѣднемъ я не увѣренъ. Домовитый, хозяйственный Демертъ не выдержалъ нашего слишкомъ уже цыганскаго житья и лѣтомъ-же 1867 г. уѣхалъ въ провинцію на службу или искать службы. Но я не помню, уѣхалъ-ли онъ до или послѣ неудачной пробы съ „Гласнымъ Судомъ“. Если послѣ, то, по всей вѣроятности, и онъ участвовалъ въ этой „судебно-политической“ газетѣ, въ сущности, впрочемъ, издававшейся по обыкновенной программѣ ежедневныхъ газетъ. Но за то я хорошо помню себя и Курочкина за работой въ „Гласномъ Судѣ“. Курочкинъ, по своимъ обязанностямъ завѣдующаго отдѣломъ иностранной политики, долженъ былъ ѣздить въ городъ, въ редакцію, каждый день, я-же лишь время отъ времени. Помню, какъ мы, окончивъ дѣла въ редакціи, отправлялись, съ спокойствіемъ людей вполнѣ обезпеченныхъ, трапезовать въ греческую кухмистерскую „Афина“, на углу Троицкаго переулка и Невскаго. Не знаю, существуютъ-ли подобныя благодѣтельныя учрежденія теперь. Въ „Афинѣ“ можно было

копѣекъ за тридцать наѣсться разной дряни, до хорошаго разстройства желудка, а истративши рубль, самъ Лукуллъ остался-бы много доволенъ, особенно если-бы зналъ, какъ знали, благодаря „Гласному Суду“, мы, что и завтра, и послѣ завтра разстройство желудка вполнѣ обезпечено. Не житье, а масляница. Однако, и этой масляницѣ пришелъ конецъ и наступилъ настоящій великій постъ. Дѣла Артоболевскаго шли все на убыль. Однажды онъ предложилъ намъ сбавку гонорара, при чемъ выдалъ намъ какія-то разсчетныя или памятныя книжки, по которымъ впослѣдствіи, когда дѣла поправятся, мы могли дополучить свой заработокъ. Но дѣла не поправлялись и, какъ очень скоро съ очевидностью выяснилось, не могутъ поправиться. Прекратился-ли, за истощеніемъ средствъ издателя, „Гласный Судъ“, или мы не дождались этого конца, не помню. Произошла трогательная сцена разставанія, при чемъ Артоболевскій, въ благодарность за сотрудничество, предложилъ намъ подарокъ—„Самоучитель Стенографіи“. Онъ великодушно отдавалъ это еженедѣльное изданіе въ наше полное распоряженіе. Подписчиковъ у „Самоучителя“ было, правда, очень мало, но Артоболевскій указалъ намъ другую выгоду: такъ какъ значительная часть „Самоучителя“ печаталась не обыкновеннымъ шрифтомъ, а стенографическими знаками, то подъ прикрытіемъ ихъ мы могли совершенно свободно излагать свои мысли,—цензура ничего не пойметъ. Это была блестящая мысль, достойная стенографическаго генія Артоболевскаго, но при осуществленіи ея предстояло то маленькое неудобство, что и читатель ничего не пойметъ. Эта маленькая тучка на открывавшемся предъ нами широкомъ горизонтѣ заставила насъ отказаться отъ подарка.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. На этотъ разъ, однако, дѣло дѣлалось почти такъ-же скоро, какъ идетъ мой разсказъ. Если мнѣ не измѣняетъ память, то двумя фельетонами и одною передовою статьею исчерпывается мое сотрудничество въ „Гласномъ Судѣ“.

Приближалась и приблизилась осень, впереди была зима, а зимой бываетъ ужасно холодно въ лѣтнемъ пальто. Тутъ подошли и еще нѣкоторыя обстоятельства, и я рѣшилъ уѣхать изъ Петербурга къ роднымъ, въ деревню. Не смотря на всѣ невзгоды, у меня ни разу даже не мелькнула мысль измѣнить литературѣ для какой-нибудь другой дѣятельности. Очевидно, я былъ въ

этомъ отношеніи уже конченный человѣкъ. Въ самомъ водоворотѣ цыганской жизни мнѣ удалось, все-таки, работать, приготовляясь къ исполненію обширныхъ литературныхъ плановъ. Въ деревню я повезъ съ собою таковыхъ два.

Еще подъ вліяніемъ Ножина и отчасти подъ его руководствомъ, я заинтересовался вопросомъ о границахъ біологіи и соціологіи и возможностью ихъ сближенія. Ножинъ былъ мало свѣдущъ въ общественныхъ наукахъ, но въ области біологіи онъ, навѣрное, очень быстро занялъ-бы одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, если-бы его не подкосила ранняя смерть. Онъ много работалъ самостоятельно, между прочимъ, надъ исторіей развитія низшихъ морскихъ животныхъ, и одна такая спеціальная работа,—результатъ его личныхъ наблюденій на берегу Средиземнаго моря,—напечатанная въ бюллетеняхъ нашей академіи наукъ, обратила на себя вниманіе и въ Европѣ. Но узкая спеціальность не удовлетворяла его, онъ рвался въ даль и въ ширь. Онъ былъ ярый дарвинистъ въ біологіи и столь-же ярый противникъ дарвинизма въ соціологіи. Дарвина онъ называлъ „геніальнымъ буржуа-натуралистомъ“. Не могу достаточно высоко оцѣнить пользу, доставленную мнѣ общеніемъ съ кругомъ идей Ножина, но въ нихъ было, все-таки, много смутнаго, частью потому что онѣ въ самомъ Ножинѣ еще только развивались, частью по малому его знакомству съ областью обществознанія. Я получилъ отъ Ножина собственно только толчокъ въ извѣстномъ направленіи, но толчокъ сильный, рѣшительный и благотворный. Не помышляя о спеціальныхъ занятіяхъ біологіей, я, однако, много читалъ по указанію Ножина и какъ-бы по его завѣщанію. Эта новая струя чтенія бросала своеобразный и чрезвычайно меня занимавшій отблескъ на тотъ значительный, хотя и безпорядочный, а частью и просто негодный матеріалъ, фактическій и идейный, которымъ я запасся раньше. Постепенно, сначала въ очень смутныхъ очертаніяхъ, скорѣе угадываемыхъ, чѣмъ сознаваемыхъ, складывался планъ обширной соціологической работы. Появившіеся въ 1866 г. по русски первые томы сочиненій Спенсера придали нѣсколько болѣе опредѣленные контуры одной части этого смутнаго плана,—теоріи прогресса. Рѣзкая противоположность идей и пріемовъ Спенсера всему тому, до чего я мысленно не то что добрался, а дорабатывался, уяснила мнѣ многое. Однако, и эта часть общаго

плана была еще далеко не ясна, когда я уѣзжалъ въ 1867 году изъ Петербурга. Тѣмъ болѣе, что въ то-же самое время меня преслѣдовалъ другой литературный планъ — романъ. Изъ этого романа, еще никогда не конченнаго, я впослѣдствіи, въ 1876—77 гг., выбралъ значительную часть матеріала для полубеллетристическихъ, полупублицистическихъ очерковъ „Въ перемежку“. Перепечатывая эти очерки въ IV томѣ своихъ сочиненій *) рядомъ со статьей „Что такое прогрессъ?“, я писалъ въ предисловіи: „Не смотря на то, что обѣ эти вещи писаны въ разное время, не смотря, далѣе, на разницу формы, читатель, надѣюсь, усмотритъ ихъ внутреннее единство и, слѣдовательно, оправдаетъ такое на первый взглядъ странное сосѣдство“. Съ тѣхъ поръ я имѣлъ случай убѣдиться, что внутреннее единство обѣихъ половинъ IV тома не такъ ужъ ясно для многихъ читателей, какъ я предполагалъ. Но для меня-то оно тѣмъ яснѣе, что хотя обѣ эти половины писались въ разное время, но обдумывались или зарождались какъ разъ одновременно. Убѣдившись въ слабости своего художественнаго дарованія, я бросилъ романъ (хотя позже, въ восьмидесятыхъ годахъ, меня опять потянуло къ беллетристикѣ), но въ 1867 г. онъ меня очень занималъ. Онъ настолько подвинулся впередъ, что, вернувшись въ 1868 г. въ Петербургъ, я уже могъ подумывать о томъ, куда-бы его пристроить.

Въ 1868 г. въ петербургской журналистикѣ послѣ полуторагодового затишья, наступило значительное оживленіе. Некрасовъ взялъ въ аренду „Отечественныя Записки“ и совершенно ихъ прообразилъ. Книгопродавецъ и книгоиздатель Тибленъ открылъ новый ежемѣсячный журналъ „Современное Обозрѣніе“. Появилась „Недѣля“, издававшаяся Генкелемъ и редактировавшаяся П. Ѳ. Конради. Н. С. Курочкинъ, приглашенный Некрасовымъ для завѣдыванія библіографическимъ отдѣломъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, усиленно тянулъ меня въ этотъ журналъ, но я упорно отказывался. Громкое, дорогое намъ, тогдашней, да, надѣюсь, и теперешней молодежи имя Некрасова очень потускнѣло со времени закрытія „Современника“. Надо замѣтить, что уже въ 1864 г. „Современникъ“ сталъ терять свой престижъ, равнаго которому дотолѣ не было во всей исторіи русской жур-

*) Перваго изданія.

налистики. Нечего и говорить о насъ, тогдашней молодежи,—мы упивались „Современникомъ“. Но и гораздо болѣе солидныя и значительныя сферы испытывали на себѣ его обаяніе. Есть два рода, два характера литературной дѣятельности. Одни писатели думаютъ вліять непосредственно на ходъ государственной жизни въ ея механикѣ сегодняшняго дня. Другіе разсчитываютъ вліять лишь на общественное мнѣніе, воспитывать въ обществѣ извѣстное настроеніе, извѣстные идеалы, подлежащіе практическому осуществленію, можетъ быть, завтра, а, можетъ быть, черезъ много лѣтъ. Нѣтъ принципіальныхъ основаній для разлученія этихъ двухъ видовъ литературной дѣятельности, но жизнь то разлучаетъ ихъ, то дозволяетъ имъ сливаться въ одно теченіе. Въ Европѣ, гдѣ представители общественнаго мнѣнія могутъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и оффиціальными руководителями практической жизни, упомянутое различіе двухъ видовъ литературной дѣятельности весьма слабо. Оно опредѣляется, быть можетъ, исключительно личными вкусами и темпераментами самихъ писателей. Одинъ болѣе склоненъ къ разработкѣ общихъ идеаловъ, озаряющихъ жизнь въ ея цѣломъ и отражающихся на умственномъ и нравственномъ настроеніи всей массы общества; другой, напротивъ, по своему темпераменту, привычкамъ, воспитанію предпочитаетъ оказывать непосредственное давленіе на людей, стоящихъ у власти. Но ничто, кромѣ личныхъ склонностей, не мѣшаетъ имъ въ любой моментъ помѣняться ролями или совмѣстить ихъ въ одномъ лицѣ. У насъ дѣло происходитъ нѣсколько иначе. Бѣлинскій, напримѣръ, имѣвшій огромное вліяніе на общество и воспитавшій не одно поколѣніе, не былъ даже и послѣднею спицей въ оффиціальной колесницѣ русской жизни. Блестящимъ и едва-ли повторимымъ, по крайней мѣрѣ, въ ближайшемъ будущемъ, образчикомъ литературной дѣятельности противоположнаго характера можетъ служить Катковъ. Однако, и у насъ, въ нѣкоторые приподнятые моменты жизни, возможно до извѣстной степени сочетаніе характеровъ дѣятельности (я говорю о характерѣ, а не о направленіи дѣятельности). Таково именно было положеніе „Современника“. Это, впрочемъ, мимоходомъ.

Для насъ, молодыхъ читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаленіе Чернышевскаго произвели непоправимый изъянъ въ физіономіи „Современника“. А рядомъ съ этими тяжкими потерями въ составѣ „Современника“ поднималось значеніе

„Русскаго Слова“, въ особенности Писарева. И когда „Современникъ“, устами М. А. Антоновича, завелъ длинную и грубую полемику съ „Русскимъ Словомъ“, престижъ „Современника“ и еще поблекъ. Русскій читатель любитъ присутствовать при полемическихъ схваткахъ, но есть предѣлы и содержанія, и формы полемики, перейдя за которыя даже такой даровитый писатель, какъ г. Антоновичъ, можетъ лишь уронить свое дѣло. Такъ и случилось. Охлажденіе къ „Современнику“ вообще осложнилось еще слухами о неблаговидномъ поведеніи Некрасова въ трудное время 1866 года,—слухами, вызвавшими извѣстное посланіе „неизвѣстнаго друга“, озаглавленное „Не можетъ быть“:

Мнѣ говорятъ: твой чудный голосъ—ложь;
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словомъ лишь толпу къ добру влечешь,
А самъ, какъ змѣй, смѣешься надъ толпою.

И т. д. Извѣстную степень справедливости дурныхъ слуховъ всенародно призналъ нѣсколько позже самъ Некрасовъ въ своемъ отвѣтѣ „неизвѣстному другу“:

Не торговалъ я лирой, но, бывало,
Когда грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука...

И далѣе:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ;
Но жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ.
Я для нея не жертвовалъ собой.

Враги, которыхъ всегда много у всякаго виднаго литературнаго дѣятеля, ликовали, друзья и сторонники отшатнулись или сконфузились. Мнѣ, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: „Ну, что вашъ Некрасовъ? Хорошъ!?“ Нехорошъ, конечно, но какъ-же горько и обидно было признать это... Оскорбленіе, нанесенное моей юной душѣ Некрасовымъ, было слишкомъ велико, и немудрено, что я упирался идти въ

„Отечественныя Записки“. Тогда въ литературныхъ кружкахъ много говорили, между прочимъ, и о противоестественности союза Некрасова съ Краевскимъ, который тянулъ въ старыхъ „Отечественныхъ Запискахъ“ совсѣмъ неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я зналъ отъ Н. С. Курочкина, что никакого союза тутъ нѣтъ, а есть простая денежная сдѣлка, въ силу которой Краевскій отдавалъ на извѣстный срокъ и за извѣстную ежегодную плату свой журналъ Некрасову, обязуясь не вмѣшиваться въ литературную сторону дѣла. Дѣла „Отечественныхъ Записокъ“ при Краевскомъ шли все хуже и хуже. Ни борьба г. Страхова съ „Западомъ“ и съ „нигилистами“, ни другіе перлы не спасали журналъ отъ очевиднаго паденія. И даже послѣ 1866 г. Краевскій не могъ-бы повторить фразу Скалозуба: „Довольно счастливъ я въ товарищахъ своихъ,—тѣ, смотришь, умерли, другіе перебиты“. Прекращеніе „Современника“ и „Русскаго Слова“, благодаря которому сильно очистилось поле конкурренціи, не улучшило дѣлъ „Отечественныхъ Записокъ“. Пришелъ Некрасовъ и предложилъ Краевскому выгодныя условія. Краевскій, человѣкъ собственно говоря, совершенно чуждый литературѣ, хотя и нажившій на ней каменныя палаты, согласился отдать свой журналъ представителямъ враждебнаго ему направленія (если позволительно говорить о направленіи Краевскаго). Эта сдѣлка бросаетъ тѣнь ужъ, конечно, не на Некрасова, хотя враги Некрасова пробовали эксплуатировать и этотъ фактъ. Меня онъ, повторяю, не смущалъ. Но смущала сама личность Некрасова, котораго я когда-то такъ горячо, хотя и заочно любилъ, которымъ зачитывался до слезъ. Напрасно добрѣйшій Н. С. Курочкинъ соблазнялъ меня перспективой возрожденія „Современника“; напрасно указывалъ, что если въ новыхъ „Отечественныхъ Запискахъ“ не будетъ такихъ сотрудниковъ „Современника“, какъ гг. Антоновичъ и Жуковскій, то будутъ Салтыковъ и Елисеевъ, имена которыхъ достаточно гарантируютъ направленіе журнала; напрасно объяснялъ поведеніе Некрасова въ 1866 г. исключительностью обстоятельствъ. Самымъ тяжелымъ для меня былъ тотъ аргументъ ad hominem, который, наконецъ, пустилъ въ ходъ Курочкинъ. Онъ спрашивалъ: если онъ, Курочкинъ, старый, опытный, никогда себѣ не измѣнявшій писатель, находитъ возможнымъ работать у Некрасова, то неужели-же мнѣ, писателю начинающему и еще ничѣмъ себя не заявившему, это постыдно? И неужели я

хорошо его знающій, имѣю къ нему такъ мало довѣрія? Я могъ бы на это, конечно, многое возразить, но не возразилъ ничего. Курочкинъ былъ моимъ литературнымъ крестнымъ отцомъ, онъ пріютилъ и кормилъ меня въ трудное время, никогда ничѣмъ не давая мнѣ почувствовать, что дѣлаетъ одолженіе. Но и помимо этихъ личныхъ отношеній я, не смотря на всѣ его слабости и смѣшныя стороны, искренно уважалъ его, какъ человѣка. Естественно, что у меня не повертывался языкъ возражать на его argumentum ad hominem. Мы порѣшили на томъ, что я попробую работать въ отдѣлѣ библіографіи, которымъ онъ завѣдуетъ, а что будетъ дальше—посмотримъ.

Оставались еще „Современное Обозрѣніе“ и „Недѣля“. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, навѣянныхъ одной нелѣпою фразой въ объявленіяхъ объ изданіи „Современнаго Обозрѣнія“, я отправился весной все того-же 1868 г. въ редакцію этого журнала съ первою частью своего романа (онъ назывался „Борьба“) и со статьей публицистическаго характера „Письма о русской интеллигенціи“.

Всегдашняя моя бѣда, какъ писателя, состояла и доселѣ состоитъ въ томъ, что я никогда не могъ оградить свой сюжетъ отъ вторженій текущей жизни съ ея пестрымъ шумомъ сегодняшняго дня. Я не увѣренъ, впрочемъ, что это дѣйствительно бѣда, потому что если это обстоятельство мѣшало цѣльности и сосредоточенности работы, то взамѣнъ придавало ей, можетъ быть, извѣстную жизненность. Можетъ быть, далѣе, это совсѣмъ не моя личная особенность, а общая, воспитанная обстоятельствами времени и мѣста, черта всей той литературной среды, въ которой окончательно сложилась моя литературная физіономія. По крайней мѣрѣ, въ „Отечественныхъ Записках“ семидесятыхъ годовъ подобрались все люди, въ писаніяхъ которыхъ всегда громко билась безпокойная жилка публициста, то есть болѣе или менѣе страстнаго докладчика по дѣламъ сегодняшняго дня. Не говоря объ Елисеевѣ или Демертѣ, которыхъ обязанность именно и состояла въ освѣщеніи текущихъ событій, черта эта отразилась и въ Некрасовѣ, и въ особенности въ Салтыковѣ и Г. И. Успенскомъ. Что касается меня лично, то когда г. Слонимскій озаглавилъ одну изъ своихъ, направленныхъ противъ меня, статей „Мнимая соціологія“, онъ обнаружилъ лишь свое незнакомство съ дѣломъ, о которомъ взялся говорить. Но если-бы онъ написалъ „Публицистическая соціологія“, то каково-бы ни было со-

держаніе этой статьи, а заглавіе было-бы и довольно правдиво, и, съ извѣстной точки зрѣнія, достаточно обидно. Я-бы, впрочемъ, не обидѣлся: еже писахъ—писахъ. Когда чисто теоретическая статья, уже изрѣзанная разными публицистическими отступленіями, все-таки, не вмѣщала въ себѣ всего, что меня оскорбляло или радовало въ текущей жизни, я начиналъ, рядомъ съ ней, другія статьи, уже прямо публицистическія, и часто не доводилъ своего теоретическаго плана до конца. Такъ было еще и въ тѣ времена, когда я отправился въ редакцію „Современнаго Обозрѣнія“. Въ головѣ у меня былъ планъ статьи о прогрессѣ, на бумагѣ—первая часть романа, но въ то-же время непреодолимо хотѣлось говорить о сегодняшнемъ днѣ. Принесенныя мною въ „Современное Обозрѣніе“ „Письма о русской интеллигенціи“ (боюсь, что не совсѣмъ точно помню заглавіе) должны были служить началомъ цѣлой серіи статей и печататься ежемѣсячно.

Редакторъ-издатель „Современнаго Обозрѣнія“ Тибленъ, отставной кавалерійскій офицеръ, немножко черезчуръ развязный, но человѣкъ образованный, издавшій передъ тѣмъ нѣсколько хорошихъ переводныхъ книгъ, между прочимъ, первые томы сочиненій Спенсера, принялъ меня очень любезно, и сталъ вдвое любезнѣе, когда прочиталъ мои рукописи. Надо замѣтить, что „Современное Обозрѣніе“ началось при участіи нѣкоторыхъ бывшихъ сотрудниковъ „Современника“: гг. Пыпина и Жуковскаго, отдѣлившихся отъ Некрасова, Салтыкова и Елисеева. Но гг. Пыпинъ и Жуковскій участвовали лишь въ редижированіи программы и перваго нумера журнала. Во всякомъ случаѣ, къ тому времени, когда я пришелъ въ „Современное Обозрѣніе“, Тибленъ хозяйничалъ тамъ одинъ. Онъ рѣшилъ начать печатать „Письма“ съ іюня, а романъ съ іюля—съ тѣмъ, чтобы къ августу я приготовилъ вторую часть. Вышла іюньская книжка, печаталась іюльская. Я продолжалъ писать романъ и „Письма“. Однажды Тибленъ вручилъ мнѣ чистый оттискъ моего романа и пригласилъ къ себѣ на дачу, гдѣ-то на Невѣ, и довольно далеко. Мы ѣхали на пароходѣ. День былъ солнечный, тихій, Нева такая ласковая, носъ парохода такъ красиво и сильно рѣзалъ синюю воду, и на душѣ у меня соловьи пѣли. Немудрено: въ карманѣ моего пальто лежалъ сброшюрованный печатный оттискъ, на первой страницѣ котораго красовались слова: „Борьба. Романъ. Часть первая“. Кончены всѣ мытарства! Я у пристани! Какъ

только кончу романъ, примусь за статью о прогрессѣ, а „Письма“ пойдутъ своимъ чередомъ, а изъ-за статьи о прогрессѣ уже виднѣются неясные контуры другихъ работъ...

Одно меня немножко смущало. Статья о прогрессѣ складывалась въ формѣ критическаго разбора перваго тома сочиненій Спенсера, при чемъ мнѣ пришлось-бы очень мало въ чемъ согласиться со Спенсеромъ и очень много въ чемъ рѣшительно не согласиться. А между тѣмъ, Тибленъ былъ не только издателемъ русскаго перевода Спенсера, но частью и переводчикомъ и вдобавокъ горячимъ поклонникомъ. Въ 1866 г., когда Тибленъ задумалъ изданіе сочиненій Спенсера въ семи томахъ (это изданіе не было кончено), знаменитый нынѣ англійскій мыслитель былъ весьма мало извѣстенъ на европейскомъ континентѣ,— не существовало ни французскаго, ни нѣмецкаго перевода ни одного изъ его сочиненій. Тибленъ, такъ сказать, опередилъ Европу. Да и самъ Тибленъ, издавая для пробы опытъ Спенсера о „Классификаціи наукъ“, считалъ, какъ видно изъ предисловія, Спенсера „недавно умершимъ“. Между тѣмъ, въ томъ-же предисловіи находимъ слѣдующее пророчество: „Спенсеръ займетъ, вѣроятно, въ современной раціональной философіи такое-же мѣсто, какое заняли Бокль въ философіи исторіи и Дарвинъ въ философіи естествознанія“. Вотъ это глубокое уваженіе Тиблена къ Спенсеру и смущало меня: я боялся, что онъ не допуститъ въ своемъ журналѣ отрицательнаго отношенія ко многимъ основнымъ мыслямъ излюбленнаго имъ англійскаго писателя. Но и эта черная точка на моемъ веселомъ горизонтѣ была, все-таки, не очень страшна, въ виду нѣкоторыхъ своеобразныхъ взглядовъ Тиблена на права и обязанности редактора журнала. Онъ разсказывалъ мнѣ однажды, какъ поступилъ со статьей, которую въ общемъ не одобрялъ и авторъ которой доставилъ ее безъ своей подписи. Тибленъ ему сказалъ: „Нѣтъ, батюшка, я не могу вамъ позволить трепать восемнадцать вѣковъ философіи отъ имени редакціи; выставляйте свое имя подъ статьей, иначе не напечатаю“. Причемъ тутъ восемнадцать вѣковъ философіи, я ужъ не помню, но этотъ процентъ давалъ мнѣ надежду, что и статья о Спенсерѣ пройдетъ.

Мы провели на дачѣ Тиблена весь вечеръ вмѣстѣ, благодушно и весело бесѣдуя. Я и ночевать у него остался. Прощаясь со мной на другой день, Тибленъ просилъ меня торопиться съ

работой къ августу, спрашивалъ, не нужно-ли мнѣ денегъ впередъ и т. п. Никоимъ образомъ не могъ я думать, что вижу его въ послѣдній разъ и что черезъ какую-нибудь недѣлю всѣ мои розовыя мечты о концѣ мытарствъ и надежной пристани и проч. разсыплются прахомъ. Зайдя черезъ недѣлю въ редакцію „Современнаго Обозрѣнія“, я услышалъ die traurige Mähr, что Тибленъ бѣжалъ отъ долговъ за границу и бросилъ журналъ на произволъ судьбы... Бѣдному малому, какъ я потомъ слышалъ, очень плохо приходилось за границей. Да простятся-же ему мои разбитыя мечты!

Такъ и не увидалъ свѣтъ произведенія, на первой страницѣ котораго значилось: „Борьба. Романъ, Часть первая“,—іюльская книжка „Современнаго Обозрѣнія“ не вышла. Впослѣдствіи я былъ очень радъ гибели „Борьбы“, въ достоинствахъ которой очень сомнѣваюсь. Готовъ былъ не только простить, даже благодарить Тиблена за сюрпризъ. Но тогда этотъ сюрпризъ просто ошеломилъ меня. Опять скитальничество! Курочкинъ возобновилъ свои настоянія, да и самъ я уже съ нѣкоторою завистью поглядывалъ на книжки „Отечественныхъ Записокъ“, завоевывавшихъ все больше и больше симпатій въ обществѣ, да и во мнѣ самомъ. Однако, мысль еще все упрямилась. Отдѣлавшись опять отъ Курочкина обѣщаніемъ писать въ его библіографическомъ отдѣлѣ, я попробовалъ работать въ „Недѣлѣ“, но тамъ что-то очень скоро не поладилось, не помню уже почему. Кажется, меня задѣло за живое какое то замѣчаніе П. Ѳ. Конради, который очень мало понималъ въ дѣлѣ литературы и, будучи практическимъ врачемъ по профессіи, попалъ въ редакторы случайно, просто по знакомству съ издателемъ, Генкелемъ. Пошелъ я къ Курочкину сдаваться. Я могъ предложить „Отечественнымъ Запискамъ“ остатки отъ крушенія „Современнаго Обозрѣнія“: „Борьбу“ и статью о Кельсіевѣ, первоначально написанную въ видѣ одного изъ „Писемъ о русской интеллигенціи“. Курочкинъ обѣщалъ поговорить съ Некрасовымъ, но съ своей стороны, какъ личное свое мнѣніе, выразилъ, что писать романы совсѣмъ не мое дѣло. Мнѣ показалось, что онъ въ этотъ разъ былъ со мной холоднѣе обыкновеннаго. Можетъ быть, мнѣ это именно только показалось, потому что собственная моя совѣсть могла подсказывать Курочкину укорительную мысль: „Что?! брыкался, брыкался, да и сдался?!“

Мнѣ помнится, что этотъ день моей сдачи былъ и днемъ моей первой встрѣчи съ Гл. И. Успенскимъ. Я уходилъ отъ Курочкина. На лѣстницѣ, этажемъ ниже, стоялъ у дверей молодой человѣкъ съ неправильнымъ, но чрезвычайно оригинальнымъ лицомъ, на которомъ вниманіе не могло не остановиться. Къ удивленію моему, молодой человѣкъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: „Вы Михайловскій?“—„Да“.—„Я Успенскій. Зайдемте ко мнѣ, я вотъ тутъ живу“. Оказалось, что мы стоимъ какъ разъ у дверей квартиры Успенскаго. Онъ меня зналъ по наслышкѣ отъ Курочкина и отъ другихъ, я его зналъ, какъ автора „Нравовъ Растеряевой улицы“ въ „Современникѣ“ и разсказовъ „Будка“ и „Остановка“, только что напечатанныхъ въ 1868 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ“. По понятнымъ причинамъ, мнѣ не придется распространяться въ своихъ воспоминаніяхъ о Гл. И. Успенскомъ. Но именно поэтому мнѣ и хочется помянуть наше первое знакомство. Онъ былъ тогда холостъ и жилъ вполнѣ необыкновенно. Квартира его состояла изъ одной комнаты и кухни. Въ кухнѣ, которая, разумѣется, никогда не исполняла своего спеціальнаго назначенія, онъ устроилъ себѣ спальню, а комната изображала собою кабинетъ, салонъ, пріемную и все прочее. Прислуги не было. Разная хозяйственная утварь если и была, то въ весьма незначительномъ количествѣ. За-то была половая щетка, и когда нуженъ былъ самоваръ или что нибудь въ этомъ родѣ, Глѣбъ Ивановичъ стучалъ этою щеткою въ потолокъ. Это былъ условный знакъ, по которому изъ квартиры Курочкина являлась его кухарка, хорошо извѣстная многимъ писателямъ, ворчливая, но добродушная, иконописнаго вида старуха, Аксинья Васильевна. Кухня-спальня отоплялась плитой, а въ салонѣ было какое-то особое отопленіе, безъ топки извнутри комнаты и требовавшее аккуратнаго открыванія и закрыванія какихъ-то душниковъ или заслонокъ. А такъ какъ хозяинъ не отличался аккуратностью, то въ салонѣ было очень сыро и скверно. Это не мѣшало хозяину блистать заразительнымъ весельемъ и неподражаемымъ мастерствомъ разсказовъ...

Не знаю, что говорилъ обо мнѣ Курочкинъ Некрасову, но, должно быть, что-нибудь очень лестное. Сужу по тому, что мою „Борьбу“ не просто взяли для прочтенія, а предложили мнѣ прочитать ее самому въ присутствіи всей редакціи. Такъ обы-

кновенно не дѣлается, и я былъ сконфуженъ. Конфузъ мой достигъ высшаго предѣла, когда я въ назначенный день и часъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ Курочкинымъ въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ“ и увидалъ тамъ Некрасова, Салтыкова, Елисеева и, помнится, еще многихъ. Какъ будто и А. М. Скабичевскій тутъ былъ, и красивое, точно точеное, но, какъ маска, мертвенное лицо Слѣпцова помнится. Но въ этомъ я не увѣренъ. Внѣшнею обходительностью редакція „Отечественныхъ Записокъ“ никогда не отличалась, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда по существу была вполнѣ доброжелательна. Въ данномъ-же случаѣ смущеніе мое было тѣмъ сильнѣе, что, когда мы усѣлись за большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, возлѣ меня оказался Салтыковъ и сталъ смотрѣть въ тетрадь, по которой я читалъ, своими якобы суровыми, слегка выпученными глазами, время отъ времени покряхтывая громкимъ басомъ: э—гм! Какъ близки и понятны стали мнѣ потомъ эти якобы суровые глаза и какъ они меня смущали тогда! Между прочимъ, дойдя до одной главы, я почему-то вдругъ тутъ-же сообразилъ, что она неудачна и требуетъ такихъ-то и такихъ-то передѣлокъ. Я хотѣлъ ее пропустить и это было тѣмъ удобнѣе, что она была вводная. Я уже перевернулъ двѣ-три страницы, ища слѣдующей главы, но Салтыковъ меня остановилъ: „Что-же вы пропускаете?“—„Да тутъ передѣлать надо“.—„Нѣтъ, ужъ читайте все подрядъ!“

Чтеніе кончилось. Прочиталъ я только первую часть, такъ какъ изъ остального были лишь наброски, и я даже не захватилъ ихъ съ собой. Наступило молчаніе. Прервалъ его Салтыковъ сердитымъ басомъ: „Надо кончать! А то что-же такъ-то, безъ хвоста!“ Некрасовъ сказалъ то-же самое, но гораздо любезнѣе. Елисеевъ сидѣлъ молча, насупившись, поглаживая правою рукой лѣвый усъ и, повидимому, совсѣмъ о моей „Борьбѣ“ не думая. Курочкинъ отвелъ Некрасова въ сторону и что-то пошепталъ ему, послѣ чего Некрасовъ подошелъ ко мнѣ съ вопросомъ, не нужно-ли мнѣ денегъ. Деньги были очень нужны, но я сконфузился и отказался. Выходя вмѣстѣ со мной изъ редакціи, Курочкинъ меня очень бранилъ за этотъ отказъ, а о романѣ выразился такъ: „Бойко написано, бойко прочитано, впечатлѣніе получилось недурное, а, въ сущности, бросьте-ка вы этотъ романъ: право, не ваше дѣло!“ Я и самъ въ эту именно минуту почувствовалъ, что надо бросить, и что это не мое дѣло,

Нѣсколько позже, нуждаясь въ беллетристическомъ матеріалѣ, Некрасовъ напомнилъ мнѣ о романѣ, но я отвѣтилъ, что рѣшительно не могу его кончить, не пишется. Онъ просилъ меня, по крайней мѣрѣ, выдѣлить изъ „Борьбы“ одинъ эпизодъ,—онъ указывалъ, какой именно,—и обработать его въ разсказъ, но я и этого не могъ сдѣлать, будучи увлеченъ совсѣмъ другими работами.

Не смотря на всѣ предыдущія мытарства, не смотря на только что пережитую бѣду съ „Современнымъ Обозрѣніемъ“ и неудачную пробу съ „Недѣлей“, не смотря, наконецъ, на то, что я въ самый вечеръ торжественнаго чтенія „Борьбы“ рѣшилъ, что кончать ее не буду,—мнѣ именно въ этотъ же вечеръ стало ясно, что я дѣйствительно у пристани. Конечно, великое дѣло молодость, легко оправляющаяся отъ погромовъ и легко окрыляемая надеждой. Но на этотъ разъ дѣло было, я полагаю, не въ одной молодости. Я въ первый разъ подошелъ къ вершинамъ русской литературы, настоящимъ, несомнѣннымъ, общепризнаннымъ. Бурная жизнь Некрасова создала ему много недоброжелателей. Литературная и въ особенности редакторская его дѣятельность тоже много этому способствовала. Но какъ бы далеко ни шло въ нѣкоторыхъ сферахъ отрицаніе не только личныхъ достоинствъ Некрасова, а и достоинствъ его поэзіи, перстъ исторіи уже давно отмѣтилъ его, какъ достояніе даже отдаленнаго будущаго, а въ настоящемъ вся грамотная Россія зачитывалась его стихами. Салтыковъ также давно занималъ положеніе перваго въ своемъ родѣ человѣка. Елисеевъ былъ неизвѣстенъ въ большой публикѣ, но въ литературныхъ кружкахъ его цѣнили очень высоко, а мы, тогдашняя молодежь, не зная его лично, хорошо знали его „Внутреннія обозрѣнія“ въ „Современникѣ“. А изъ-за этихъ трехъ выглядывали еще образы Добролюбова, Чернышевскаго, Бѣлинскаго, какъ-бы передавшихъ имъ свой авторитетъ. Далѣе, всѣ трое, независимо отъ своихъ собственно литературныхъ талантовъ, были опытные и горячо преданные своему дѣлу журналисты, убѣжденные въ возвышенности задачъ журналистики. Немудрено, что отъ этихъ людей и отъ руководимаго ими дѣла вѣяло спокойною, сознающею себя силой. Примыкая къ нимъ, вы чувствовали, что вступаете на какую-то, хорошую или худую,—это какъ кто посмотритъ, но во всякомъ случаѣ прочную, смѣю сказать, историческую дорогу. Эта дорога, съ одной сто-

роны, уходила въ даль прошедшаго, гдѣ была пробита не однимъ поколѣніемъ труженіковъ и страстотерпцевъ мысли, а съ другой—разстилалась въ перспективу будущаго. Велики и ярки были таланты Салтыкова и Некрасова, крупную литературную силу представлялъ собою и Елисеевъ, но ихъ личныя силы удвоивались тѣмъ историческимъ путемъ, на которомъ они стояли. Отнюдь не связанныя преданіемъ въ томъ смыслѣ, чтобы не смѣть сдѣлать ни единаго шага за свой собственный страхъ и счетъ, они, кромѣ силы личнаго убѣжденія, еще въ своихъ связяхъ съ прошлымъ черпали увѣренность въ правотѣ своего дѣла. Чѣмъ глубже коренится идея въ прошломъ, тѣмъ спокойнѣе выноситъ она всякія бури и невзгоды, все равно какъ дерево съ глубоко сидящими корнями. Спокойная, увѣренная въ себѣ сила чувствовалась во всемъ обиходѣ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“ и давала себя знать при первомъ, даже самомъ поверхностномъ сближеніи съ нею. Я разумѣю, конечно, не спокойствіе личныхъ характеровъ. Изо всѣхъ трехъ ровно спокоенъ былъ только Елисеевъ. Некрасовъ былъ скорѣе замкнутъ и скрытенъ, чѣмъ спокоенъ, и я разскажу ниже случай, когда онъ былъ совсѣмъ выбитъ изъ сѣдла. А Салтыковъ былъ весь нервы и постоянное волненіе. Но всѣ эти индивидуальныя особенности ничѣмъ не отражались на общемъ литературномъ дѣлѣ, которое стояло не на темпераментахъ и характерахъ, а на убѣжденіяхъ. Эти-то убѣжденія, прочныя сами по себѣ, еще упрочивались сознаніемъ преемственной связи съ рядомъ предшествовавшихъ работниковъ.

Меня всегда удивляли и, признаюсь, сердили тѣ странные люди, которые время отъ времени выскакиваютъ въ литературѣ съ „новыми словами“, точно балаганный Петрушка изъ-за ширмы: выскочитъ, выкрикнетъ и опять за ширмы впредь до новѣйшаго слова. Конечно, новыя слова необходимы. Но, во-первыхъ, они говорятся гораздо рѣже, чѣмъ думаютъ люди съ легкою мыслью и легкимъ сердцемъ; во-вторыхъ, люди съ легкой мыслью и легкимъ сердцемъ для провозглашенія ихъ отнюдь не годятся; въ-третьихъ, наконецъ, только то новое слово значительно и прочно, которое не отрѣзываетъ себя отъ прошлаго. Въ наукѣ, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда дѣйствительно говорится новое слово, одна изъ задачъ авторовъ новаго слова состоитъ въ томъ, чтобы примкнуть къ одному изъ существующихъ уже теченій,

найти себѣ опору и оправданіе въ цѣломъ рядѣ предшествовавшихъ опытовъ, наблюденій, выводовъ. При этомъ о *новомъ* словѣ собственно даже не думаютъ, оно является само собой. Иначе и быть не можетъ, потому что люди науки обращаются, прежде всего, къ людямъ науки-же, и спеціалисты все равно дознаютъ мѣсто новаго слова въ литературѣ предмета и опредѣлятъ цѣну его. Въ публицистикѣ, критикѣ и т. п. отрасляхъ словесности, имѣющихъ дѣло непосредственно съ массой читателей, такого неукоснительнаго контрольнаго аппарата нѣтъ. Поэтому выходитъ, напримѣръ, слѣдующее. Среди множества курьезовъ, вычитанныхъ мною въ „Литературныхъ замѣткахъ“ г. Волынскаго въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, есть такой: „различныя письма одного и того-же корреспондента писаны не въ одномъ и томъ-же стилѣ—*гдѣ мягкимъ гусинымъ перомъ, гдѣ нѣсколько развязнымъ, размашистымъ языкомъ*“. Конечно, lapsus'ы возможны всякіе, но я могъ-бы привести множество подобныхъ удивительныхъ изреченій г. Волынскаго, только нѣтъ охоты, да и надобности возиться. Вы видите, что этому человѣку, хотя-бы только для того, чтобы стать удобопонятнымъ, чтобы стать писателемъ, надо прежде про себя, въ тиши своего кабинета рѣшить, чѣмъ ему лучше писать—гусинымъ перомъ или размашистымъ языкомъ. А онъ уже озабоченъ открытіемъ „новой мозговой линіи“. Одна „Недѣля“ столько на своемъ вѣку наоткрыла этихъ новыхъ мозговыхъ линій, что и не перечесть. Этотъ типъ открывателей новыхъ мозговыхъ линій очень любопытенъ; въ свое время я съ нѣкоторою подробностью войду въ его психологію. Типъ этотъ существуетъ не только у насъ, а и въ Европѣ, но тамъ онъ не можетъ принести большого вреда, потому что тамъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ постороннія обстоятельства обрываютъ спокойный ходъ преемственнаго развитія идей и, слѣдовательно, шарлатанскія „новыя слова“ не встрѣчаютъ, по крайней мѣрѣ, поддержки во внѣшнихъ условіяхъ жизни.

Возвращаясь къ „Отечественнымъ Запискамъ“, скажу, что, за вычетомъ горькихъ сомнѣній о личномъ характерѣ Некрасова, я былъ счастливъ примкнуть къ живымъ преданіямъ дѣйствительно новаго слова, сказаннаго самою жизнью въ эпоху пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ.

Такъ какъ „Борьбу“ свою я сразу вполнѣ и окончательно забросилъ, то первоначально мнѣ приходилось имѣть дѣло, глав-

нымъ образомъ, съ Елисеевымъ, который въ беллетристическій отдѣлъ не мѣшался, но за то тѣмъ большее вліяніе имѣлъ на прочіе отдѣлы. Да и впослѣдствіи я ближе, роднѣе всѣхъ въ редакціи чувствовалъ себя именно съ нимъ. Странно сказать, но изъ всѣхъ трехъ стариковъ редакціи я былъ, что называется, „знакомъ“ только съ Елисеевымъ, и это за все время существованія „Отечественныхъ Записокъ“. Приходилось, разумѣется, очень часто видаться и съ Некрасовымъ, и съ Салтыковымъ, но, за весьма рѣдкими исключеніями, это были свиданія по дѣлу. Складъ жизни Некрасова такъ-же рѣзко отличался отъ склада жизни Салтыкова, какъ и сами они рѣзко разнились другъ отъ друга. Но для меня и съ тѣмъ, и съ другимъ одинаково невозможны были товарищескія, пріятельскія отношенія, внѣшнимъ образомъ выражающіяся тѣмъ, что люди другъ къ другу ходятъ чайку попить, поболтать и т. п. Впослѣдствіи, уже по закрытіи „Отечественныхъ Записокъ“, Салтыковъ писалъ мнѣ однажды: „Вы были для меня однимъ изъ симпатичнѣйшихъ и любимѣйшихъ людей, хотя разность лѣтъ и моя болѣзнь препятствовали мнѣ ближе сойтись съ вами“. Но Михаилъ Евграфовичъ ошибался,—не въ разности лѣтъ и не въ его болѣзни дѣло было, по крайней мѣрѣ, не только въ нихъ. Елисеевъ былъ даже старше его и тоже человѣкъ хворый, но это не мѣшало намъ быть въ короткихъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Глубоко уважая и любя Салтыкова не только какъ литературнаго дѣятеля, но и какъ человѣка; будучи очень близокъ съ нимъ въ сферѣ идей и общественныхъ симпатій и антипатій, я, однако, даже и представить себѣ не могу, какъ-бы мы съ нимъ другъ къ другу, напримѣръ, „въ гости“ ходили. Слишкомъ ужъ велика разница была въ нашихъ привычкахъ, обстановкѣ, во всемъ складѣ жизни. Безъ дѣла я бывалъ у Салтыкова только во время его болѣзни. Еще меньше житейскихъ точекъ соприкосновенія было у меня съ Некрасовымъ, который жилъ бариномъ, имѣлъ обширный кругъ разнообразныхъ и нисколько для меня не занимательныхъ знакомствъ, шибко игралъ въ карты, устраивалъ себѣ грандіозныя охотничьи предпріятія, а я, не говоря о прочемъ, не беру картъ въ руки и терпѣть не могу охоты. Съ Елисеевымъ-же у меня было много общаго въ привычкахъ и образѣ жизни, да и просто какъ-то по душѣ мы другъ другу пришлись. Въ концѣ 1873 или въ началѣ 1874 г. одинъ безконечно-прискорб-

ный для меня случай чисто-приватнаго характера и, при томъ, не имѣвшій никакого отношенія лично къ Елисееву, оборвалъ нашу дружескую близость. Мы стали встрѣчаться только въ редакціонные дни. Но на общемъ дѣлѣ это отозвалось такъ-же мало, какъ и отсутствіе личной близости съ Некрасовымъ и Салтыковымъ. Упомянутый случай оборвалъ нашу дружбу, такъ сказать, формально, нисколько не повліявъ на наши взаимныя чувства, но въ послѣдніе годы, за отсутствіемъ „Отечественныхъ Записокъ“, и, слѣдовательно, сборнаго пункта, мы встрѣчались уже только случайно, у больного Салтыкова или на улицѣ. Въ 1890-мъ году, возмущенный удивительною затѣей отпраздновать юбилей свободы русской печати, Елисеевъ, уже очень слабый, попросилъ меня зайти къ нему поговорить объ этомъ дѣлѣ, и я пришелъ. Затѣмъ я увидалъ его уже покойникомъ. Но объ Елисеевѣ потомъ. Теперь начну съ Некрасова.

Недавно въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ я прочиталъ замѣтку подъ громкимъ заглавіемъ: „Развѣнчанный Некрасовъ“. Вотъ она:

„Извѣстно, что роль „мученика“ была одною изъ благороднѣйшихъ ролей въ либеральной комедіи, вошедшей въ моду съ начала шестидесятыхъ годовъ. Провинціальные „pauvres diables“, молодые, восторженные, наивные, увлекающіеся, съ сердечнымъ трепетомъ слушали столичныхъ „апостоловъ“, въ предположеніи, что они за меньшую братію полагаютъ душу свою. Провинціальные молодые энтузіасты рисковали всѣмъ изъ-за этой проповѣди, предполагая, что все это святая истина, что сами проповѣдники суть апостолы, люди идеи, а не наживы. И, какъ стадо овецъ, молодежь шла на этотъ призывъ, не щадя ничего.

„Но время раскрываетъ все. Любимымъ апостоломъ либерализма и до сихъ поръ считается „нашъ геніальный поэтъ“ Н. Некрасовъ. Для поддержанія его престижа, печать упорно поддерживала мнѣніе, будто Некрасовъ былъ „мученикъ идеи“, будто онъ началъ свою карьеру въ трущобахъ, и потому именно радѣлъ о меньшей братіи, что лично испыталъ всѣ стадіи нужды и нищеты. Никто не смѣлъ и подумать о томъ, что „пѣть“ о нуждахъ меньшей братіи было... просто *выгодно*“.

Далѣе авторъ замѣтки приводитъ выдержку изъ статьи г. Глинки

въ „Историческомъ Вѣстникѣ“. Г. Глинка, помянувъ извѣстныя свѣдѣнія о бѣдности или даже прямо нищетѣ Некрасова въ ранней молодости, говоритъ: „не рѣшаясь опровергать такую яркую картину, я хочу разсказать лишь о моемъ случайномъ знакомствѣ съ Некрасовымъ“. Оказывается, что Некрасовъ бывалъ у отца г. Глинки, потомъ жилъ нѣкоторое время съ его братомъ и „въ это время,—говоритъ г. Глинка,—могу удостовѣрить, ни въ чемъ особенно не нуждался“. Какъ видите, сообщеніе г. Глинки ни малѣйше не опровергаетъ общеизвѣстныхъ фактовъ крайней бѣдности юнаго Некрасова. Г. Глинка впервые увидалъ Некрасова у своего отца, который, въ свою очередь, познакомился съ поэтомъ у Полевого. Что было съ Некрасовымъ до этой встрѣчи, г. Глинка не знаетъ и потому весьма основательно „не рѣшается опровергать яркую картину“ нищеты Некрасова, имѣющуюся во всѣхъ біографіяхъ поэта. Но „Московскія Вѣдомости“ непостижимымъ образомъ усматриваютъ въ разсказѣ г. Глинки какое-то опроверженіе, разоблаченіе, даже „развѣнчаніе“, и чему-то очень радуются. Я сейчасъ вернусь къ этой радости, а теперь обращу вниманіе читателей на печатающіяся въ газетѣ „Русская Жизнь“ воспоминанія В. А. Панаева, человѣка очень близкаго Некрасову. Г. Панаевъ встрѣтился въ первый разъ съ Некрасовымъ у нѣкоего художника Даненберга. Даненбергъ и Некрасовъ жили въ одной комнатѣ, питались щами, узнавали время по солнцу, имѣли одни общіе сапоги и одно общее верхнее платье, такъ что выходили со двора поочередно. Но все это было еще роскошью въ сравненіи съ тою нищетой, отъ которой избавилъ Некрасова Даненбергъ. Передъ этимъ будущій знаменитый поэтъ жилъ въ подвальной комнатѣ, съ окнами на улицу и долженъ былъ писать, лежа на полу, такъ что проходившіе по тротуару часто останавливались посмотрѣть на оригинально примостившагося юнаго писателя. Все имущество его состояло изъ коврика и подушки, даже верхняго платья не было, питался онъ чернымъ хлѣбомъ и рисковалъ быть выгнаннымъ на улицу.

Ничего этого не было, по мнѣнію „Московскихъ Вѣдомостей“, и именно потому не было, что г. Глинка видѣлъ Некрасова въ другое время въ другомъ положеніи! А такъ какъ ничего этого не было, то Некрасовъ „пѣлъ о нуждахъ меньшей братіи“ не по внутреннему убѣжденію, а потому, что это было „выгодно“! Логика изумительная, выводы артистически лишенные всякаго смы-

сла... Для полноты надо замѣтить, что г. Глинка приводитъ слѣдующее, по мнѣнію „Московскихъ Вѣдомостей“, „весьма характерное свѣдѣніе изъ біографіи знаменитаго поэта“. „Помню еще, что въ 1848 г. въ литературныхъ кружкахъ *говорили, будто* Некрасовъ скупалъ оставшіеся экземпляры сочиненій Гоголя, стоившіе по 8 руб. за экземпляръ, и продавалъ ихъ по 25 руб.“ „Московскія Вѣдомости“ радостно спрашиваютъ по этому поводу: „*Не очевидно-ли* отсюда, насколько сильно Некрасовъ радѣлъ о просвѣщеніи меньшей братіи, изъ-за „невѣжества“ которой онъ пролилъ столько крокодиловыхъ слезъ?!“ Ну, еще-бы не очевидно! Если въ 1848 г. „говорили, будто“, то вполнѣ очевидно, что это „весьма характерное свѣдѣніе изъ біографіи“. Счастливые люди эти господа „Московскихъ Вѣдомостей“. Они въ Аркадіи родились и посейчасъ живутъ въ ней безвыѣздно, невинно играя на свирѣли, слушая соловьиныя пѣсни и украшая бѣленькихъ барашковъ розовенькими ленточками. Имъ не знакомы ни „зависть тайная“, ни „злоба открытая“, ни „друзей клевета ядовитая“. Въ невинности своей они вѣрятъ всему, когда имъ „говорятъ, будто“, потому что если и про нихъ самихъ „говорятъ, будто“, то все это такъ и есть: бѣленькіе барашки, свирѣль, трели соловья... Такіе ангелочки! Если, однако, это идиллическое незнакомство съ плодами древа познанія добра и зла украшаетъ ихъ добродѣтелью, то, съ другой стороны, лишаетъ здраваго смысла. Даже допуская достовѣрность сплетни о скупкѣ и перепродажѣ сочиненій Гоголя, только невинные жители Аркадіи могутъ приплести сюда „просвѣщеніе меньшей братіи“, потому что, вѣдь, и восьмирублевое изданіе Гоголя отнюдь не для невѣжественной меньшей братіи предназначалось. Но это безразлично для невинныхъ обитателей Аркадіи; имъ бы только наговорить на тему о „развѣнчанномъ Некрасовѣ“ побольше словъ, хотя-бы и вполнѣ безсмысленныхъ. Пробѣгая газетные столбцы, читатель не въ каждую замѣтку вчитывается и вдумывается. Отсутствіе какой-бы то ни было логической связи между посылками и выводами можетъ остаться незамѣченнымъ, а впечатлѣніе получилось: „развѣнчанный Некрасовъ“. По крайней мѣрѣ, на это разсчитываютъ добродѣтельные аркадскіе люди, хотя, къ счастью, результатъ этотъ не всегда ими достигается. Я очень прошу читателя, хотябы не ради Некрасова, а для образчика этого рода литератур-

ныхъ упражненій, внимательно прочитать замѣтку „Развѣнчанный Некрасовъ“.

Въ то время, когда Некрасовъ бѣдствовалъ, его никто не зналъ, и, значитъ, никакимъ „апостоломъ“ онъ быть не могъ. А въ то время, когда тысячи и тысячи сердецъ откликались на его стихи, онъ былъ богатъ и никогда бѣднякомъ не прикидывался. Если впослѣдствіи Некрасовъ вспоминалъ о своей былой бѣдности и если говорили о ней его біографы, то „*мученикомъ* идеи“ ни самъ онъ, никто другой его не рисовалъ. Тѣмъ не менѣе, достовѣрно, что онъ началъ свою литературную карьеру въ нищетѣ, и весьма вѣроятно, что онъ отчасти „потому именно радѣлъ о меньшей братіи, что лично испыталъ всѣ стадіи нужды и нищеты“. Чтобы радѣть о меньшей братіи, нѣтъ никакой надобности непремѣнно самому проходить школу нищеты, — великодушныя идеи доступны и баловнямъ судьбы отъ рожденія, — но у Некрасова эти идеи сплелись съ личными впечатлѣніями нищеты, и это просто фактъ, который никто никогда не думалъ ставить ему въ заслугу. Гдѣ, отъ кого слышали эти сыны Аркадіи, что Некрасовъ голодалъ ради идеи? Голодалъ потому, что безъ работы сидѣлъ. Всѣ такъ и понимаютъ, такъ что съ этой стороны и повода для „развѣнчанія“ не было. Но выводить изъ этого заключеніе, что Некрасовъ „пѣлъ“ въ извѣстномъ тонѣ только потому, что это было „выгодно“, значитъ—мѣрить людей аршиномъ, можетъ быть, и очень употребительнымъ въ Аркадіи, но отнюдь не непреложнымъ. Это даже фактически ни съ чѣмъ несообразно, потому что въ сороковыхъ годахъ стать на ту дорогу, на которую сталъ Некрасовъ, было вовсе невыгодно. Но что до всего этого за дѣло сынамъ Аркадіи, когда вся ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобы наскоро набросать какъ можно больше тѣней на Некрасова, и когда, ослѣпленные злобой, они готовы противорѣчить и самимъ себѣ, и несомнѣннымъ фактамъ! Потому что надо, наконецъ, правду сказать, нѣтъ болѣе злобныхъ людей, какъ эти добродѣтельные сыны Аркадіи. И знаете, что?—это еще хорошо, если они руководятся въ данномъ случаѣ настоящею, искреннею злобой. Представьте себѣ человѣка, который когда-то получилъ отъ стиховъ Некрасова толчокъ въ извѣстную сторону, и который потомъ, подъ давленіемъ жизни, искренно разочаровался въ золотыхъ снахъ своей молодости. Я могу себѣ представить, что при извѣстныхъ условіяхъ этотъ че-

ловѣкъ крайне враждебно относится къ своему бывшему кумиру и радъ сорвать злобу развѣнчаніемъ его. Это дѣло житейское. Очень, конечно, не хорошо, если человѣкъ при этомъ ослѣпляется злобой до забвенія предписаній здраваго смысла, логики и приличія. Очень скверно, но искренность злобнаго чувства, ничего не оправдывая, по крайней мѣрѣ, объясняетъ. Такого человѣка даже пожалѣть можно: бѣдный, молъ, бѣдный! до того озлобился, что ослѣпъ,—въ отворенную дверь свирѣпо ломится, грозно сжатымъ кулакомъ въ пустое мѣсто тычетъ, самъ себѣ ногу отдавилъ... Возможно еще болѣе некрасивое нравственное положеніе. Нѣкоторая часть нашей печати считаетъ себя представительницею и стражею „консерватизма“. Ничего она не „консервируетъ“, а, напротивъ, склонна очень многое, созданное жизнью и мыслью, разрушать. „Благонамѣренною“ она также себя почитаетъ, тогда какъ намѣренія ея частью именно не благія, а прямо злыя, а частью состоятъ просто въ томъ, чтобы пожить въ свое удовольствіе, независимо отъ какихъ-бы то ни было идей. Завтра выйдетъ новый фасонъ идей, и она спокойно перекроитъ ихъ. Немудрено поэтому, что иногда она даже не воодушевляется злобой, а напускаетъ ее на себя, притворяется. Это ужъ самое послѣднее дѣло...

„Развѣнчать“ Некрасова дѣло не хитрое. Для этого не требуется быть ни „консерваторомъ“, ни злецомъ. Какъ человѣкъ, Некрасовъ давно развѣнчанъ, и такъ развѣнчанъ, что дѣтски-смѣшными кажутся попытки ухватиться за разсказъ г. Глинки о томъ, что въ такомъ-то году поэтъ ни въ чемъ не нуждался, а въ такомъ-то про него „говорили, будто“. Я уже говорилъ о той тѣни, которая четверть вѣка тому назадъ пала на личность поэта и затуманила ее въ глазахъ самыхъ горячихъ поклонниковъ. И одна-ли она лежитъ пятномъ на его памяти! Но люди, сколько-нибудь вдумчивые, непохожіе на добродѣтельныхъ и невинныхъ сыновъ Аркадіи, не довольствуются простымъ развѣнчаніемъ. Не хитро его совершить, да не умно на немъ опочить. Уже вышеупомянутый „неизвѣстный другъ“ писалъ Некрасову въ 1866 г.:

Мнѣ говорятъ, что ты душой суровъ,
Что лишь въ словахъ твоихъ есть чувства пламень,
Что ты жестокъ, что стихъ твой весь любовь,
А сердце холодно, какъ камень!
Но отчего-жъ весь міръ сильнѣй любить

Мнѣ хочется, стихи твои читая?
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?
Не можетъ быть!

Да, не можетъ быть! Пустопорожніе волтижеры, съ легкостью перескакивающіе съ одного берега на другой, натурально должны мѣрить всѣхъ на свой аршинъ, ибо никакая другая мѣра вещей имъ недоступна. Но надо еще, кромѣ того, не имѣть ни малѣйшаго понятія о поэзіи, о процессѣ творчества, чтобы утверждать, что можно писать такіе стихи, какъ некрасовскіе, всю жизнь неискренно и ради выгоды. Такое утвержденіе могутъ подсказать только убогая мысль и пустое сердце. Понятны еще всякія увлеченія въ жару полемики, но Некрасовъ умеръ безъ малаго пятнадцать лѣтъ назадъ, для него наступила исторія. Крайняя сложность богато одаренной „музы мести и печали“ слишкомъ очевидна, чтобы ее можно было характеризовать грубыми одноцвѣтными чертами. И вотъ почему въ то самое время, когда запоздалые старатели радостно разыскиваютъ разные вздорные и непровѣренные пустяки, якобы біографическаго характера, люди, чтущіе память поэта, не боятся разсказывать подлинныя и дѣйствительно мрачныя подробности его жизни.

Напомню для примѣра разсказанный въ воспоминаніяхъ г-жи Головачевой-Панаевой случай самоубійства Піотровскаго. Слишкомъ извѣстно, что Некрасовъ былъ страстный игрокъ. Какъ у всякаго игрока, у него были разныя суевѣрныя примѣты. Молодой сотрудникъ „Современника“, Піотровскій взялъ у него однажды впередъ, въ счетъ гонорара, 200 руб., и въ тотъ-же вечеръ Некрасовъ сильно проигрался. Черезъ недѣлю Піотровскій прислалъ ему письмо съ новою просьбой о 300 руб., объясняя при этомъ, что если онъ денегъ не получитъ, то пуститъ себѣ пулю въ лобъ. Некрасовъ долженъ былъ въ этотъ вечеръ опять играть и, памятуя, что послѣ предыдущей выдачи Піотровскому онъ проигрался, что и раньше были такія-же совпаденія, отказалъ. А Піотровскій дѣйствительно въ тотъ-же день застрѣлился. Можно себѣ представить душевное состояніе Некрасова... Но г-жа Головачева-Панаева одна знала истинную причину самоубійства Піотровскаго, остальные знакомые и сотрудники приписали волненіе Некрасова простой нервности. Г-жа Головачева, съ уваженіемъ относящаяся къ памяти поэта, могла-бы и сейчасъ не включать этого ужаснаго эпизода въ свои воспоминанія.

Но она не сочла нужнымъ скрывать его, именно потому, что крупная и уже историческая фигура Некрасова не подлежитъ упрощенной операціи развѣнчанія. Съ формальной точки зрѣнія Некрасовъ отнюдь не былъ виноватъ въ самоубійствѣ Піотровскаго. Выдавать Піотровскому или кому другому деньги по всякому требованію онъ вовсе не былъ обязанъ, да и не имѣлъ-бы возможности. Но всѣ подобныя, вполнѣ здравыя разсужденія не могли, разумѣется, заглушить голоса ущемленной совѣсти въ самомъ Некрасовѣ: какъ-никакъ, а изъ-за него погибла молодая, богатая надеждами жизнь. Да и намъ, третьимъ лицамъ, невольнымъ зрителямъ этой драмы, Некрасовъ не въ ореолѣ рисуется. Не въ томъ дѣло, что онъ не исполнилъ просьбы Піотровскаго,— послѣдовавшее затѣмъ несчастіе могло быть именно только несчастною случайностью и для Некрасова, все равно какъ еслибы онъ, напримѣръ, нечаянно застрѣлилъ Піотровскаго на охотѣ: вѣчно преслѣдовала-бы его тѣнь убитаго, однако, у насъ не повернулся-бы языкъ осудить его. Въ данномъ случаѣ память Некрасова омрачается не самымъ фактомъ, а подробностями: Піотровскій погибъ собственно изъ-за неприглядной игрецкой страсти, ослѣпляющей разумъ, подавляющей волю и ставящей игрока въ рядъ рискованнѣйшихъ положеній. Въ жизни Некрасова эта несчастная страсть играла огромную роль. Онъ много проигрывалъ, много выигрывалъ, а, главное, много душевныхъ силъ тратилъ на это странное, но, должно быть, очень увлекательное дѣло. Я помню, какъ однажды въ редакціонный день мы собрались, по обыкновенію, часу во второмъ въ квартирѣ Некрасова, а хозяинъ все не выходилъ. Я думалъ, что онъ спитъ, — вставалъ онъ вообще поздно. Но вотъ является Некрасовъ не изъ внутреннихъ комнатъ, а изъ входной двери, съ шапкой въ рукахъ, свѣжій, веселый. „Откуда это, Николай Алексѣевичъ?“ Оказалось, что Николай Алексѣевичъ на этотъ разъ даже не ложился, а всю ночь и все утро игралъ въ карты и былъ въ выигрышѣ. При проигрышѣ онъ становился угрюмъ и мраченъ. Обидно было знать все это, обидно и сейчасъ вспомнить. Тѣмъ не менѣе, я вполнѣ увѣренъ, что собственно жадности къ деньгамъ тутъ не было. Разумѣется, кто играетъ, тотъ хочетъ выиграть. И когда Некрасовъ еще только выбивался изъ бѣдности, выигрышъ, по всей вѣроятности, составлялъ его главную цѣль при игрѣ. Но постепенно этотъ моментъ такъ осложнился жаждою спеціаль-

ныхъ волненій, даваемыхъ игрой, что подъ конецъ и совсѣмъ въ нихъ утонулъ. Извѣстно пророчество Бѣлинскаго: „Некрасовъ наживаетъ себѣ капиталецъ“. Онъ его дѣйствительно нажилъ, а съ другой стороны, пожалуй, что и не нажилъ Жилъ онъ въ то время, когда я съ нимъ познакомился, бариномъ, ни въ чемъ себѣ не отказывая, но послѣ его смерти денегъ не оказалось совсѣмъ. Я самъ читалъ его завѣщаніе, въ которомъ прямо говорилось, что никакихъ денежныхъ капиталовъ у него нѣтъ, а есть такое-то и такое-то движимое и недвижимое имущество, которое такъ-то и такъ-то распредѣляется между наслѣдниками. Знаю я также, что незадолго до смерти онъ взялъ на прожитіе и лѣченіе изъ конторы „Отечественныхъ Записокъ“ 1000 р. впередъ (деньги эти его сестра, благоговѣйно чтившая его память, потомъ возвратила въ контору). Вдову его я видалъ еще довольно долго спустя послѣ его смерти и знаю, что на оставшіяся у нея средства она могла жить лишь очень скромно, хотя, конечно, не нуждаясь въ помощи Литературнаго фонда.

Что же касается часто повторяемаго пустопорожними, а иногда просто презрѣнными людьми мнѣнія, будто Некрасовъ ради выгоды писалъ и издавалъ журналъ въ извѣстномъ тонѣ, то это мнѣніе не имѣетъ никакого смысла. Поистинѣ „не торговалъ онъ лирой“. Некрасовъ былъ, прежде всего, необыкновенно уменъ. Для меня нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что на любомъ поприщѣ, которое онъ избралъ-бы для себя, онъ былъ-бы однимъ изъ первыхъ людей, уже въ силу своего ума. Онъ былъ-бы, если-бы захотѣлъ, блестящимъ генераломъ, выдающимся ученымъ, богатѣйшимъ купцомъ. Это мое личное мнѣніе, которое, я думаю, однако, не удивитъ никого изъ знавшихъ Некрасова. Онъ выбралъ литературу, потому что любилъ ее; въ литературѣ онъ выбралъ извѣстное направленіе, потому что вѣрилъ въ него. Нищета и униженія, претерпѣнныя имъ въ ранней молодости, озлобили, очерствили его. Какъ онъ самъ говорилъ, онъ „поклялся не умереть на чердакѣ“ и, можетъ быть, не разъ въ жизни прибѣгалъ къ средствамъ, къ которымъ позволительно относиться съ брезгливостью. Надо, однако, сказать, что ничего такого ужаснаго, что рѣзко выдѣлялось-бы на общемъ фонѣ нашихъ тогдашнихъ нравовъ, онъ не совершалъ, онъ только не отказывался выть съ волками по-волчьи. И какъ-бы ни пригнула его судьба къ землѣ, въ немъ никогда не исчезали желаніе и способность

искать глазами небо. Благодаря своей практической ловкости, благодаря умѣнью цѣнить даровитыхъ людей и вѣрить имъ, онъ поставилъ „Современникъ“ и потомъ „Отечественныя Записки“ блестяще. Но, по крайней мѣрѣ, въ извѣстной степени онъ могъ-бы сдѣлать то-же самое и съ журналомъ совершенно другого направленія. Хорошо-же шелъ, напримѣръ, „Голосъ“, дополнившій своими доходами то огромное наслѣдство, которое осталось послѣ Краевскаго. Однако, Некрасовъ издавалъ не „Голосъ“, а „Отечественныя Записки“. Барыши-же его съ „Отечественныхъ Записокъ“ были относительно вовсе не велики. Во-первыхъ, онъ платилъ значительную и съ увеличеніемъ числа подписчиковъ все увеличивавшуюся аренду Краевскому. Во-вторыхъ, онъ самъ добровольно предложилъ своимъ ближайшимъ сотрудникамъ и соредакторамъ, Салтыкову и Елисееву, долю участія въ доходахъ изданія, на равныхъ съ нимъ правахъ. Это случай небывалый въ русской журналистикѣ, и никто, можетъ быть, даже не замѣтилъ-бы, если-бы Некрасовъ, подобно другимъ издателямъ, клалъ весь доходъ полностью въ свой карманъ. Тѣмъ болѣе, что онъ всегда могъ-бы сослаться на положеніе „Отечественныхъ Записокъ“: ихъ бюджетъ и безъ того былъ обремененъ арендною платой, которая не лежала на другихъ журналахъ и газетахъ.

Я, однако, отнюдь не думаю обѣлять или возвеличивать Некрасова, какъ человѣка. Я хочу лишь подчеркнуть сложность его натуры, не поддающейся слишкомъ ужъ простому „развѣнчанію“.

Въ книжкѣ г. Андреевскаго „Литературныя чтенія“ я нашелъ о Некрасовѣ слѣдующія умныя слова, съ которыми отнюдь не могу вполнѣ согласиться, но которыя хорошо намѣчаютъ сложность натуры поэта. Г. Андреевскій не весьма симпатично относится къ самому типу некрасовской поэзіи и находитъ въ ней много грубаго и дѣланнаго. Но онъ не аркадскій сынъ. Онъ говоритъ:

„Видна-ли любовь Некрасова къ народу въ его произведеніяхъ? На этотъ вопросъ не можетъ быть иного отвѣта, кромѣ утвердительнаго. Эта любовь, — не только къ народу, но и ко всѣмъ обездоленнымъ и голодающимъ,—течетъ у Некрасова лавою по всѣмъ его произведеніямъ. Она имѣетъ всѣ оттѣнки: раздирающей душу скорби („Морозъ“), смѣлой защиты передъ сильными міра („Парадный подъѣздъ“), доброй ласки отца („Крестьянскія дѣти“), нѣжной любви къ женщинѣ („Я не люблю“), состраданія къ животнымъ („Несжатая полоса“), — но нѣтъ ни одной строки, которая-бы говорила о любви къ природѣ. Природа для Некрасова — только фонъ, на которомъ онъ рисуетъ человѣка. Онъ не любитъ ее, какъ не любитъ ее и народъ, который, какъ извѣстно, ни разу не воспѣлъ ее въ своихъ пѣсняхъ. Некрасовъ, какъ и народъ, видитъ въ природѣ только то, что можетъ быть полезно человѣку. Онъ не любитъ ее, какъ не любитъ ее и народъ, который, какъ извѣстно, ни разу не воспѣлъ ее въ своихъ пѣсняхъ. Некрасовъ, какъ и народъ, видитъ въ природѣ только то, что можетъ быть полезно человѣку. Онъ не любитъ ее, какъ не любитъ ее и народъ, который, какъ извѣстно, ни разу не воспѣлъ ее въ своихъ пѣсняхъ. Некрасовъ, какъ и народъ, видитъ въ природѣ только то, что можетъ быть полезно человѣку.

янскія дѣти"), горячей защиты публициста („Плачъ дѣтей", „Желѣзная дорога"), вдохновеннаго увлеченія поэта („Коробейники", „Зеленый шумъ") и т. д., и т. д. Какой-же источникъ этой любви? Намъ кажется, здѣсь вліяли два фактора: во-первыхъ, эпоха общей влюбленности въ крестьянскую массу; во-вторыхъ, событія въ личной жизни поэта... Проницательный Некрасовъ не заносился въ облака, но общее тяготѣніе къ народу, съ которымъ онъ бокъ о бокъ выстрадалъ голодъ, было ему на руку. Изъ жизни этого народа онъ сталъ брать темы для своихъ потрясающихъ картинъ. Онъ увидѣлъ свой успѣхъ; эта работа его увлекла. По натурѣ сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекраснаго, человѣкъ сильный и глубокій, но изуродованный и огорченный жизнью, Некрасовъ нуждался въ отмщеніи за обиды судьбы, и онъ полюбилъ мстить самодовольнымъ за несчастныхъ. Граница между искреннимъ и искусственнымъ у него потерялась. Часто онъ любилъ только „мечту свою", часто обливался слезами надъ „вымысломъ". Но онъ чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго народнаго царства, этихъ необозримо богатыхъ владѣній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужасающаго для „сильныхъ міра". „Народъ безмолвствовалъ", но это только придавало еще болѣе трагическій оттѣнокъ пѣснямъ Некрасова. Онъ увлекался своей миссіей, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видѣлъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то грѣхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лѣтъ на глазахъ цѣлой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздѣленной, болѣзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ".

Въ этихъ послѣднихъ словахъ заключается указаніе на чрезвычайно любопытную черту всей судьбы Некрасова. Стоустая молва и печатныя инсинуаціи давно уже довели до всеобщаго свѣдѣнія, что пѣвецъ скорбящихъ и обездоленныхъ—богатый человѣкъ, что муза мести и печали обставилась довольно комфортабельно. Никто не сомнѣвался въ томъ, что Некрасовъ не „мученикъ идеи" въ смыслѣ какихъ-нибудь матеріальныхъ лишеній,

хотя въ свое время и вынесъ горькую, унизительную нищету. И, однако, надъ гробомъ его оплакивали именно „страдальца за народъ и убогихъ“ и никакія усилія добродѣтельныхъ сыновъ Аркадіи не сотрутъ этого образа ни въ общемъ сознаніи, ни со страницъ исторіи русской литературы. Дѣло въ томъ, что мыслью Некрасовъ несомнѣнно искренно страдалъ за всѣхъ обездоленныхъ, за всѣхъ неправо униженныхъ и оскорбленныхъ, и именно въ силу этой искренности „весь міръ сильнѣй любить вамъ хочется, стихи его читая“. И если личная жизнь Некрасова не совпадала съ тономъ его произведеній, то пусть бросаютъ въ него за это камнями тѣ, кто чувствуетъ себя въ этомъ отношеніи вполнѣ безгрѣшнымъ. Это разъ. А, во-вторыхъ, никто лучше самого Некрасова не сознавалъ неприглядности этого разлада, и обстоятельство это вносило въ его душу новый источникъ страданій, воспѣтый имъ тоже такими стихами, что „имъ безъ волненья внимать невозможно“.

Обращаюсь къ личнымъ своимъ воспоминаніямъ.

Первою моею статьей въ „Отечественныхъ Запискахъ“ была „Жертва старой русской исторіи“, напечатанная въ декабрѣ 1868 года. Это была передѣлка приготовленнаго для іюльской книжки „Современнаго Обозрѣнія“ второго „Письма о русской интеллигенціи“. Рѣчь тутъ шла о Кельсіевѣ, который незадолго передъ тѣмъ вернулся въ Россію, выпустилъ двѣ книжки: „Пережитое и передуманное“ и „Галичина и Молдавія“ и въ нихъ съ необыкновенною, почти наивною развязностью отрекался отъ всего своего прошлаго. Положеніе Кельсіева, какъ и всякаго ренегата, было въ Петербургѣ незавидное. Въ кругу своихъ новыхъ единомышленниковъ онъ былъ еще совсѣмъ чужой и встрѣтилъ тамъ, вѣроятно, много для себя обиднаго подъ личиною любезности, а къ старымъ знакомымъ ему, конечно, лучше было-бы совсѣмъ не являться. Но былъ-ли онъ отъ природы безтактенъ, или сбитъ съ толку новостью своего положенія, только онъ не воздержался отъ нѣкоторыхъ ненужныхъ визитовъ. Я сидѣлъ однажды у Н. С. Курочкина, когда къ нему пришелъ незнакомый мнѣ высокій, худой брюнетъ съ развязными и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-бы растерянными манерами. Замѣтивъ, при входѣ этого незнакомца, странное, недоумѣвающее выраженіе лица Ку-

рочкина и догадываясь о щекотливости предстоящей бесѣды между ними, я ушелъ въ третью комнату. Незнакомецъ сидѣлъ въ кабинетѣ, должно быть, съ полчаса. Мнѣ было видно, какъ онъ потомъ проходилъ въ переднюю. Онъ былъ красенъ, какъ ракъ. По дорогѣ онъ неловкимъ движеніемъ задѣлъ стулъ, уронилъ его и, поднимая, съ напряженною, неловкою улыбкой попробовалъ пошутить: „Александръ Македонскій былъ великій герой, но зачѣмъ-же стулья ломать?!“ Курочкинъ, тоже видимо взволнованный, объяснилъ мнѣ по уходѣ незнакомца, что это былъ Кельсіевъ...

На мою статью о Кельсіевѣ обрушился въ „Недѣлѣ“ покойный Минаевъ. Онъ находилъ, что я слишкомъ мягко и серьезно отнесся къ этому человѣку, что съ ренегатами надо поступить гораздо круче, не вдаваясь въ логическія и психологическія тонкости, что этакъ можно, пожалуй, дойти и до оправданія ренегатства. Выразилъ все это Минаевъ довольно грубо, и Некрасовъ счелъ нужнымъ меня, необстрѣленнаго еще новичка, утѣшить или ободрить. Онъ убѣждалъ меня не смущаться подобными выходками, говорилъ, что если Минаевъ нашелъ мою статью слишкомъ мягкою и серьезною, то, съ другой стороны, и Кельсіеву этотъ пріемъ покажется гораздо обиднѣе, чѣмъ голыя насмѣшки и ругань, что судя по строю моихъ мыслей и манерѣ писанія, я долженъ и на будущее время приготовиться къ нападкамъ съ самыхъ различныхъ сторонъ, но что это не бѣда,— надо, не смущаясь, вести свою линію.

Курьезно, что эту предсказанную мнѣ Некрасовымъ судьбу (на которую *я*, впрочемъ, отнюдь не жалуюсь) черезъ десять лѣтъ (въ 1879 г.) Минаевъ же воспѣлъ въ шуточномъ стихотвореніи. Случилось это такъ. В. В. Чуйко напечаталъ въ газетѣ „Новости“ статью подъ заглавіемъ „Письмо къ ученому публицисту Н. К. Михайловскому“. Я не обратилъ на нее никакого вниманія, и это показалось Минаеву забавнымъ. Онъ писалъ тогда въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ фельетоны, озаглавленные: „Чѣмъ хата богата“. Въ одинъ изъ нихъ онъ вклеилъ слѣдующее стихотвореніе:

Долго въ мрачной неизвѣстности
Прозябалъ Чуйко у насъ.
На Руси такой нѣтъ мѣстности,—
Взять хоть Тверь иль Арзамасъ,

Иль столицы обѣ русскія,
Гнѣзда „рыцарей пера“
(Умолчу о Василь-Сурскѣ я,
Объ Уфѣ et cetera),—
Гдѣ бъ столь славная фамилія
Всѣми помнилась легко...
Нѣтъ, какъ Маркова Василія,
Русь не вѣдаетъ Чуйко.
А межъ тѣмъ, не мало дѣлая,
Перевелъ онъ Тэна томъ,
Перевелъ бумаги цѣлыя
Горы,—все нѣтъ проку въ томъ.
Похудѣлъ, смотрѣть сталъ щепкою
Сей злосчастный журналистъ
И, задумавъ думу крѣпкую,
Сѣлъ за чистый бѣлый листъ:
„Тему я возьму особую,
Коль ни въ чемъ успѣха нѣтъ:
Михайловскаго попробую
Расшатать авторитетъ;
„Напишу статью бодливую,
Разведенную водой...
Михайловскій подъ счастливою
Родился у насъ звѣздой.
„Тотъ извѣстностью становится,
Кто у насъ его ругнетъ.
На крючокъ подобный ловится
Весь читающій народъ...

И т. д. — немножко длинно для шутки. Оканчивается эта шутка такъ:

Но противника подобнаго
Не замѣтилъ даже тотъ,
Кто мишенью былъ столь злобнаго
Нападенья... Въ свой чередъ
Не замѣченъ былъ отчизною
Смѣлый подвигъ... Я бѣшусь,
Обращаюсь съ укоризною
За Чуйко къ тебѣ я, Русь!..
Въ той же мрачной неизвѣстности
Онъ остался на Руси,
И донынѣ нѣтъ той мѣстности,
Хоть весь край исколеси,
Внука спрашивай въ немъ, дѣда ли
(Ахъ, скорбѣлъ я глубоко!),—
Гдѣ бы чтили, гдѣ бы вѣдали
Имя славнаго Чуйко.

Возвращаюсь къ Некрасову.

Къ начинающимъ писателямъ онъ относился съ большимъ вниманіемъ, охотно давая имъ разные совѣты. Нельзя было при этомъ не любоваться его умомъ. Онъ отлично зналъ пробѣлы своего образованія и никогда не старался ихъ скрыть. Но даже по поводу статей о совершенно незнакомыхъ ему предметахъ у него находилось умное слово, заимствованное изъ его огромной житейской и журнальной опытности. Но разговорчивъ онъ не былъ, и когда молодой сотрудникъ сколько-нибудь оперялся, онъ предоставлялъ его самому себѣ и лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ выражалъ свое удовольствіе. Благодаря безусловному довѣрію Некрасова къ своимъ главнымъ сотрудникамъ и соредакторамъ, редакціонныя дѣла „Отечественныхъ Записокъ“ шли точно сами собою, точно никто ничего и не дѣлалъ, тогда какъ, въ дѣйствительности, всѣ много работали. Какія-нибудь пререканія были величайшею рѣдкостью. Тотъ-же порядокъ былъ и потомъ, когда послѣ смерти Некрасова отвѣтственнымъ редакторомъ сталъ Салтыковъ. Только Салтыковъ, въ силу своей крайней экспансивности, не могъ удержать въ себѣ ни одной мысли, ни одного чувства, тогда какъ Некрасовъ, напротивъ, былъ до такой степени замкнутъ и скрытенъ, что иной разъ и догадаться было невозможно, что онъ думаетъ. Со мною былъ слѣдующій характерный въ этомъ отношеніи для Некрасова случай. Дѣло было въ 1874 г., когда я былъ уже вполнѣ своимъ человѣкомъ въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“. Однажды студентъ, помнится института путей сообщенія, по фамиліи Шмаковъ, принесъ мнѣ тетрадку своихъ стихотвореній. Они показались мнѣ пригодными для печати и я передалъ ихъ Некрасову, но безъ всякой, съ своей стороны, рекомендаціи: посмотрите, молъ. Черезъ нѣсколько дней получаю отъ Некрасова записку: „Вашъ поэтъ Шмаковъ вытолкнулъ меня изъ постоянно гнуснаго настроенія, въ которомъ я, чортъ знаетъ отъ чего, нахожусь уже давно,—у него есть талантъ и онъ непремѣнно будетъ хорошимъ поэтомъ, если будетъ строго работать и овладѣетъ вполнѣ формой, безъ которой нѣтъ поэта. Если онъ здѣсь, то не скажете-ли ему, чтобы зашелъ ко мнѣ“. Молодой поэтъ былъ у Некрасова, три или четыре его, дѣйствительно, недурныхъ стихотворенія были напечатаны въ томъ-же 1874 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ“, но затѣмъ онъ куда-то исчезъ и что-то я не знаю

теперь такого поэта. Некрасовъ больше о немъ не вспоминалъ. Много времени спустя, уже не задолго до своей смерти, Некрасовъ признался мнѣ въ случайномъ разговорѣ о стихахъ, что сначала онъ считалъ Шмакова псевдонимомъ, подъ которымъ укрылся я, конфузясь своихъ стихотворныхъ опытовъ, и что онъ былъ очень разочарованъ, увидавъ настоящаго, живого Шмакова. Почему онъ думалъ, что это мои стихи и что я хитрю, выдавая ихъ за чужіе, я не знаю. На мой вопросъ объ этомъ онъ отвѣтилъ только: „такъ мнѣ показалось“. Но и его предположеніе насчетъ моей хитрости, и его долгое молчаніе кажутся мнѣ очень для него характерными.

Конечно, это случай мелкій, но вообще въ Некрасовѣ было что-то загадочное, невысказанное, затаенное отъ всѣхъ постороннихъ взглядовъ. Тѣмъ поразительнѣе были случаи, когда это затаенное рвалось наружу и, все-таки, не могло вырваться вполнѣ.

Въ 1869 г. появилась брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго „Матеріалы для характеристики современной литературы“, въ которой заключались крайне ядовитыя нападки на Некрасова, на Елисеева, на „Отечественныя Записки“. Она состояла изъ двухъ частей: изъ „Литературнаго объясненія съ Н. А. Некрасовымъ“, написаннаго г. Антоновичемъ, и изъ статьи г. Жуковскаго „Содержаніе и программа „Отечественныхъ Записокъ“ за прошлый годъ“. И самая эта брошюра, и, тѣмъ болѣе, ея интимная подкладка представляютъ собою нѣчто совсѣмъ чужое большинству нынѣшнихъ читателей. Я и самъ узналъ эту прискорбную исторію во всѣхъ ея подробностяхъ только теперь, разбирая бумаги Елисеева. Покойный Григорій Захаровичъ, видимо, придавалъ ей большое автобіографическое значеніе, и потому я, можетъ быть, разскажу ее его собственными словами, когда дѣло дойдетъ до воспоминанія о немъ. Теперь скажу только, что брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго содержитъ въ себѣ много злобно выраженныхъ непріятныхъ намековъ и предположеній насчетъ Некрасова, Елисеева и „Отечественныхъ Записокъ“. Значительная часть этихъ намековъ и предположеній давно, такъ сказать, ликвидирована самою жизнью. Авторы брошюры предсказывали рѣшительное отклоненіе „Отечественныхъ Записокъ“ отъ того направленія, котораго Некрасовъ, Салтыковъ и Елисеевъ держались прежде въ „Современникѣ“, а этого, какъ извѣстно, не случилось (Салтыковъ въ брошюрѣ не поминался по имени, ему предоставлялось

узнать себя въ общей формулѣ „разной шушеры и шелухи изъ „Современника“). Авторы брошюры потратили много остроумія насчетъ объединенія Некрасова и Краевскаго, слитія ихъ въ одну литературную фирму, а такого объединенія и слитія никогда не было. Но „Отечественныя Записки“ были еще тогда вновѣ; за одинъ годъ существованія онѣ успѣли, конечно, выясниться, не настолько, однако, чтобы для нихъ были вполнѣ безразличны нападки бывшихъ сотрудниковъ „Современника“. При томъ-же, въ брошюрѣ заключалась крупица истины, хотя и вполнѣ безтактно выраженной; и это было тѣмъ непріятнѣе, что крупица истины находилась въ связи съ обстоятельствами, бросившими на Некрасова такую тѣнь въ 1866 году. Никогда, ни до, ни послѣ этой брошюры, Некрасовъ не былъ „развѣнчанъ“ такъ грубо, такъ открыто и безпощадно,—и кѣмъ-же?—не какимъ-нибудь отпѣтымъ проходимцемъ, а „своими“, людьми, объявлявшими себя истинными хранителями лучшихъ литературныхъ преданій. А за одно съ Некрасовымъ призывался къ отвѣту и весь журналъ, въ лицѣ, впрочемъ, главнымъ образомъ, Елисеева. Немудрено, что, придя въ ближайшій редакціонный день въ редакцію, я засталъ тамъ переполохъ. Салтыковъ рвалъ и металъ, направляя по адресу авторовъ брошюры совершенно нецензурные эпитеты. Елисеевъ сидѣлъ молча, поглаживая правою рукой лѣвый усъ (его обыкновенный жестъ въ задумчивости), и думалъ, очевидно, невеселую думу. Я знаю теперь эту думу: онъ ничего подобнаго не ожидалъ, если не отъ г. Жуковскаго, то отъ г. Антоновича, и былъ тѣмъ болѣе оскорбленъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ, что имѣлъ о Некрасовѣ свое особое мнѣніе. Самъ Некрасовъ произвелъ на меня истинно удручающее впечатлѣніе, и я, пользуясь тѣмъ, что не былъ еще тогда членомъ редакціи и, значитъ, не обязанъ былъ сидѣть въ ней, скоро ушелъ. Тяжело было смотрѣть на этого человѣка. Онъ прямо-таки заболѣлъ и какъ теперь вижу его вдругъ осунувшуюся, точно постарѣвшую фигуру въ халатѣ. Но самое поразительное состояло въ томъ, что онъ, какъ-то странно заикаясь и запинаясь, пробовалъ что-то объяснить, что-то возразить на обвиненія брошюры и не могъ: не то онъ признавалъ справедливость обвиненій и каялся, не то имѣлъ многое возразить, но, по закоренѣлой привычкѣ таить все въ себѣ, не умѣлъ Это просто невыносимое зрѣлище я видѣлъ еще разъ потомъ, въ

трагической обстановкѣ предсмертныхъ разсчетовъ Некрасова съ жизнью...

Крупица истины, заключавшаяся въ брошюрѣ, лучше всего выражена въ слѣдующихъ словахъ г. Антоновича, обращенныхъ непосредственно къ Некрасову: „Современникъ“ закрытъ; для предотвращенія этого оказались безсильными все ваше искусство, всѣ ваши отреченія и вся ваша литература на обѣдѣ; ваши громоотводы и щиты, купленные цѣною столькихъ моральныхъ и неморальныхъ жертвъ съ вашей стороны и удовлетворительно защищавшіе васъ въ обыкновенное время, при обыкновенной непогодѣ, не могли защитить вашъ журналъ при необыкновенно сильной, экстраординарной грозѣ“.

Это все вѣрно. Вѣрно, что для защиты своего дѣла Некрасовъ въ теченіе многихъ лѣтъ приносилъ обильныя моральныя и неморальныя жертвы; вѣрно, что онъ былъ въ этомъ отношеніи очень искусенъ; вѣрно, наконецъ, что въ 1866 г., въ моментъ экстраординарной грозы, все искусство и всѣ жертвоприношенія Некрасова не спасли дѣла. Но на всѣхъ этихъ несомнѣнно вѣрныхъ данныхъ можетъ быть построено не обвиненіе Некрасова, не развѣнчаніе его, а, напротивъ, его апологія. Такую именно апологію я нашелъ въ одной рукописной замѣткѣ Елисеева, не подлежащей, къ сожалѣнію, опубликованію. Вотъ отрывокъ: „Некрасовъ не пошелъ-бы ни на смерть, ни на страданія за дѣло новой идеи, которое онъ несъ на себѣ... Это былъ, если угодно, герой, но герой-рабъ, который поставилъ себѣ цѣлью добиться во что-бы-то ни стало свободы, упорно преслѣдуетъ эту цѣль, по временамъ, примѣняясь къ обстоятельствамъ, дѣлаетъ уступки, но на своемъ главномъ пути постоянно держитъ ее въ умѣ; онъ понимаетъ, что такимъ только образомъ можетъ ея добиться, а, кромѣ того, понимаетъ, что въ той средѣ, которая его окружаетъ, не найдется такихъ людей, какъ онъ; хотя, быть можетъ, есть не мало лицъ изъ тронутыхъ новою идеей, которыя гораздо выше, то есть самоотверженнѣе и чище, лицъ, которыя готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется такихъ героевъ-рабовъ, которые-бы такъ упорно шли въ теченіе десятковъ лѣтъ шагъ за шагомъ по тому тернистому пути, по которому идетъ онъ, подвергаясь изо дня въ день разнымъ мелкимъ мученіямъ и перенося сдѣлки со своею совѣстью. Герой-рабъ могъ писать, что его рука иногда „у лиры звукъ невѣрный исторгала“, что, „жизнь любя, къ ея минутнымъ

благамъ прикованъ онъ привычкой и средой", что онъ „къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ и для нея не жертвовалъ собой". Но дѣйствительный герой, герой въ современномъ значеніи этого слова, не могъ ни дѣйствовать, ни писать. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой долженъ оцѣниваться по условіямъ времени и цѣлямъ. Для каждаго времени является свой „мужъ потребенъ". Герой тотъ, кто понялъ условія битвы и выигралъ побѣду. Хорошъ и тотъ герой, который умираетъ за свое дѣло, такъ сказать, мгновенно, всецѣло, публично запечатлѣвая передъ всѣми своею смертью свои убѣжденія. Хорошъ и другого рода герой, герой-рабъ, который умираетъ за свое дѣло въ теченіе десятковъ лѣтъ, умираетъ, такъ сказать, по частямъ, медленною смертью, въ ежедневныхъ мелкихъ пыткахъ отъ мелкихъ гоненій и стѣсненій, отъ сдѣлокъ съ своею совѣстью, умираетъ никѣмъ не признанный въ своемъ геройствѣ и даже подъ общимъ тяжелымъ обвиненіемъ или подозрѣніемъ отъ толпы въ измѣнѣ дѣлу".

Поведеніе Некрасова въ 1866 году Елисеевъ считаетъ сознательнымъ жертвоприношеніемъ... Я не иду такъ далеко, я думаю, что Некрасовъ тогда просто растерялся, испуганный надвигавшеюся грозой, тѣмъ болѣе страшной, что неизвѣстно было, какъ и куда она направитъ свои удары. Испугался онъ, можетъ быть, частью и за журналъ, но главнымъ образомъ, я думаю, за себя лично. Такъ и самъ Некрасовъ понималъ дѣло. Однако, нарисованный Елисеевымъ трагическій образъ героя-раба въ общемъ вѣренъ дѣйствительности, да ему и не противорѣчитъ испугъ въ трудную минуту. Только для ясности этого образа надо подчеркнуть нѣкоторыя его непривлекательныя стороны.

Некрасовъ былъ человѣкъ вполнѣ убѣжденный, то есть искренно вѣрилъ въ справедливость тѣхъ принциповъ, которые исповѣдывалъ въ своей поэтической и журнальной дѣятельности. Подробности идей, развиваемыхъ въ его журналахъ, а иной разъ даже самыя идеи могли быть ему въ томъ или другомъ случаѣ чужды, вслѣдствіе пробѣловъ въ его образованіи, которое онъ, рано брошенный въ водоворотъ практической жизни, никогда не успѣлъ пополнить. Но не говоря уже о томъ, что въ практическихъ вопросахъ, обсуждавшихся въ его журналахъ, онъ оріентировался превосходно, потому что зналъ науку жизни, рѣдкій умъ и рѣдкое чутье дѣлали его отнюдь не чужимъ и относительно чисто-теоретическихъ вопросовъ. Онъ и здѣсь понималъ

или чуялъ добро и зло съ точки зрѣнія своихъ общихъ убѣжденій, потому что сидѣли они въ немъ крѣпко. Въ выработкѣ этихъ убѣжденій играли значительную роль испытанія его несчастной юности. Они очень рано начались, эти испытанія.

Я не біографію Некрасова пишу, да въ общихъ чертахъ она и довольно извѣстна. Но не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести одно воспоминаніе Достоевскаго. Въ „Дневникѣ писателя“ за 1877 г. писалъ онъ о началѣ своего знакомства съ Некрасовымъ въ 1845 г.: „Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя разъ навсегда обрисовался передо мною этотъ загадочный человѣкъ самою существенною и самою затаенною стороной своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то никогда не зажившая рана его была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь“. Не буду, впрочемъ, продолжать выписку. Достоевскій говоритъ здѣсь о впечатлѣніяхъ самаго ранняго дѣтства, которыя ему сообщалъ самъ Некрасовъ,—о любимой матери-страдалицѣ, къ которой онъ такъ часто обращался въ своихъ стихахъ. Затѣмъ слѣдовали впечатлѣнія жестокихъ сценъ старо-помѣщичьей деревенской жизни, затѣмъ личныя испытанія голода, холода и униженій петербургскаго пролетарія. Впечатлѣнія эти были столь сильны, что Некрасовъ никогда не измѣнялъ голоднымъ, холоднымъ и униженнымъ ни въ своей поэзіи, ни въ своей журнальной дѣятельности. Никогда. Сюда выпадалъ центръ тяжести и его собственной поэзіи, и тѣхъ идей, теорій, образовъ, картинъ, которые развивались и рисовались людьми, въ теченіе десятковъ лѣтъ около него группировавшимися. Но въ тѣхъ-же горькихъ впечатлѣніяхъ пролетарія лежало зерно другой стороны его развитія. Оскорбленный голодомъ, холодомъ и униженіями, онъ „поклялся не умереть на чердакѣ“. Страшная клятва! Никто не обязанъ умирать на чердакѣ, никто не имѣетъ права осуждать человѣка, не желающаго чердачной жизни и смерти, да никто ея и не желаетъ. Но для юноши, при условіи нѣкотораго энтузіазма, пожалуй, естественнѣе была-бы противоположная клятва: клянусь жить на чердакѣ, пока есть голодные и холодные! Правда, что такого рода энтузіазмъ обыкновенно довольно быстро выдыхается, но самъ по себѣ онъ, во всякомъ случаѣ, больше подходитъ юному пѣвцу голодныхъ и холодныхъ. А когда перспек-

тива жизни и смерти въ палатахъ становится съ ранней молодости задачей жизни, въ особенности, когда въ эту перспективу напряженно вглядывается человѣкъ умный, ловкій и упорный,—бѣда близка: край нравственной пропасти подъ самыми ногами. Некрасовъ и ходилъ всю жизнь по краю пропасти. „Сколько разъ я надъ бездной стоялъ... снова падалъ и вовсе упалъ“,—говоритъ онъ самъ. Но, какъ пѣвецъ голодныхъ и холодныхъ, онъ никогда не падалъ; даже тогда, когда извлекалъ изъ своей лиры „невѣрные“ звуки. Оригинально сплетались въ немъ эти двѣ стороны его жизни, исходившія изъ общаго корня—тяжелыхъ впечатлѣній ранней юности. Мало-ли путей ему предстояло для приведенія въ исполненіе своей клятвы, однако, онъ выбралъ совершенно опредѣленный путь, съ котораго не сходилъ всю жизнь. Даже въ минуту крайняго раздраженія и вполнѣ безцеремоннаго отношенія къ Некрасову г. Антоновичъ долженъ былъ признать, что Некрасовъ приносилъ „моральныя и неморальныя жертвы“ для спасенія не только себя, а и своего журнала. И мы, всѣ сотрудники его двухъ журналовъ, пользовавшіеся плодами его жертвоприношеній, а за нами и всѣ наши читатели, едва-ли имѣемъ моральное право издѣваться надъ этими жертвами, какъ-бы брезгливо мы къ нимъ ни относились. Но мы можемъ, все-таки, признать, что отъ практики этихъ жертвоприношеній къ Некрасову прилипало много нечистаго. И онъ это самъ зналъ, и въ этомъ состоялъ трагизмъ его двойственнаго существованія, разрѣшавшійся покаянными воплями („Рыцарь на часъ“, „Ликуетъ врагъ“, „Умру я скоро“ и проч.).

Некрасова часто упрекали (между прочимъ, и въ упомянутой брошюрѣ), напримѣръ, за излишнюю разносторонность знакомствъ. Онъ дѣйствительно якшался съ самыми разнообразными сферами, въ томъ числѣ и съ такими, которыя могли имѣть развѣ только отрицательное отношеніе къ „Современнику“ и „Отечественнымъ Записками“. Онъ, безспорно, находилъ въ этихъ знакомствахъ удовлетвореніе своимъ избалованнымъ вкусамъ богатаго барина и крупнаго игрока, что, пожалуй, было и не къ лицу редактору такихъ журналовъ. Но здѣсь-же онъ находилъ для этихъ журналовъ тѣ „щиты и громоотводы“, о которыхъ говоритъ г. Антоновичъ. Онъ полагалъ, впрочемъ, что литератору, какъ литератору, необходимо все знать и видѣть.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ Петербургѣ существовало

какое-то гастрономическое общество. Оно устраивало обѣды, куда знатоки гастрономическаго дѣла, люди, конечно, богатые и избалованные, а также извѣстные столичные рестораторы поставляли— кто одно блюдо изъ своей кухни, кто другое, кто одно вино изъ своего погреба, кто другое. Все это серьезнѣйшимъ образомъ смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывалъ на этихъ обѣдахъ и Некрасовъ. И не только самъ бывалъ, а и другихъ тащилъ, между прочимъ, и меня, который, вѣроятно, по своему гастрономическому невѣжеству, не могъ видѣть въ этомъ учрежденіи ничего, кромѣ до уродливости странной формы разврата. Когда я выразилъ Некрасову свое мнѣніе на этотъ счетъ, онъ со мной согласился, но привелъ три резона, по которымъ онъ на эти обѣды ходитъ: во-первыхъ, тамъ можно дѣйствительно вкусно поѣсть; во-вторыхъ, литератору нужно знать и тѣ сферы, въ которыхъ такими дѣлами занимаются; въ-третьихъ, это одинъ изъ способовъ поддерживать знакомство съ разными нужными людьми. Въ гастрономическое общество я не попалъ, но въ балетъ меня однажды Некрасовъ затащилъ-таки, и это единственный разъ въ жизни, что я былъ въ балетѣ. Боюсь, что читатель заподозритъ меня по этому поводу въ похвальбѣ тѣмъ, что французы называютъ pruderie. Отнюдь нѣтъ, не въ суровой добродѣтели тутъ дѣло, а просто въ томъ, что условныя, размѣренныя движенія танцовщицъ и танцовщиковъ показались мнѣ некрасивыми и невыносимо скучными. Но рѣчь не обо мнѣ, а о Некрасовѣ. Балетъ привлекалъ его тѣми-же тремя сторонами: это красиво, это надо знать, это почва для сближенія съ нужными людьми. Если кто вздумаетъ придраться къ этому расположенію аргументовъ, къ тому, что на первомъ планѣ стоятъ вкусная ѣда и красота балета, то это будетъ тщетная придирка. Я отнюдь не увѣренъ, что Некрасовъ располагалъ свои три резона именно въ такомъ порядкѣ. Онъ, впрочемъ, никогда не прикидывался презирающимъ „минутныя блага жизни“.

Въ числѣ другихъ видовъ общенія съ нужными людьми у Некрасова бывали, если не ошибаюсь, еженедѣльно спеціальныя собранія, на одномъ изъ которыхъ былъ и я. Это было некрасивое зрѣлище. Изъ ненужныхъ людей, кромѣ меня, былъ только Салтыковъ. Остальные все нужные. Правда, это были dii minores Олимпа нужныхъ людей, но, все-таки, значительные, почтенные

люди. Некрасовъ накормилъ насъ хорошимъ обѣдомъ, напоилъ хорошимъ виномъ, потомъ сѣли играть въ карты на нѣсколькихъ столахъ. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасовъ былъ очень милъ и любезенъ, но его тактъ избавлялъ его отъ какихъ-нибудь заискивающихъ формъ любезности. И, все-таки, мнѣ было какъ-то не по себѣ, какъ-то чуждо и жутко, точно я въ дурномъ дѣлѣ участвовалъ. Между прочимъ, игралъ въ карты и Салтыковъ, по обыкновенію, раздражаясь на неудачный ходъ партнера, на плохія карты и проч. За его спиной сталъ одинъ изъ неигравшихъ гостей, значительный сѣдобородый старецъ, и посовѣтовалъ ему какой-то ходъ: Салтыковъ проворчалъ что-то вродѣ: „Ну, да! совѣтчики!“ Однако, послушался. Но когда ходъ оказался неудачнымъ, Салтыковъ грубо выбранилъ совѣтчика и безцеремонно потребовалъ, чтобы онъ отошелъ отъ его стула и не совался въ игру. Эта вспышка, очевидно, портила политичную музыку Некрасова, но мнѣ, признаюсь, Михаилъ Евграфовичъ былъ въ эту минуту необыкновенно милъ и дорогъ. Я больше не бывалъ на этихъ собраніяхъ, и не только потому, что мнѣ на нихъ дѣлать нечего было, такъ какъ въ карты я не играю,—просто почти безсознательное чувство брезгливости протестовало.

Скажутъ, можетъ быть, что вотъ не поцеремонился-же Салтыковъ съ нужнымъ человѣкомъ, а, вѣдь, и онъ, послѣ смерти Некрасова, тянулъ лямку отвѣтственнаго редактора. Дѣйствительно, политика Салтыкова, какъ редактора, рѣзко отличалась отъ некрасовской. Но не надо забывать, что, ко времени редакторства Салтыкова, литература была уже далеко не такъ поставлена, какъ въ ту мрачную пору, когда Некрасовъ началъ свою журнальную дѣятельность и получилъ свое воспитаніе, какъ редакторъ-издатель; да и всероссійскіе нравы измѣнились. Литература наша, къ сожалѣнію, и доселѣ не пользуется довѣріемъ правительства въ той степени, въ какой это было-бы желательно намъ, писателямъ, да и не только намъ. Но каковы-бы ни были претерпѣваемыя ею неудобства и невзгоды, ихъ и сравнить нельзя съ прежнимъ положеніемъ вещей, когда самое существованіе литературы было едва терпимо. Въ наше время „щиты и громоотводы“, для сооруженія которыхъ Некрасовъ приносилъ столько моральныхъ и неморальныхъ жертвъ, утратили свое значеніе; они частью не нужны, частью невоз-

можны; но тогда нужна была необыкновенная изворотливость чтобы провести корабль литературы среди безчисленныхъ подводныхъ и надводныхъ скалъ. И Некрасовъ велъ его, провозя на немъ грузъ высоко-художественныхъ произведеній, составляющихъ нынѣ общепризнанную гордость литературы, и свѣтлыхъ мыслей, постепенно ставшихъ общимъ достояніемъ и частью вошедшихъ въ самую жизнь. Въ этомъ состоитъ его незабвенная заслуга, цѣна которой, быть можетъ, даже превосходитъ цѣну его собственной поэзіи. Но практика постоянной изворотливости, практика постояннаго исканія или сооруженія щитовъ и громоотводовъ не можетъ служить къ украшенію личнаго характера практиканта. Она непремѣнно должна положить на него болѣе или менѣе густыя тѣни, пріучивъ его ко всякаго рода компромиссамъ, житейскимъ противорѣчіямъ и непослѣдовательностямъ, сдѣлкамъ съ своею совѣстью. Это и случилось съ Некрасовымъ. А онъ былъ къ этому и безъ того слишкомъ подготовленъ основнымъ противорѣчіемъ его жизни, — противорѣчіемъ между клятвою не умереть на чердакѣ и искреннимъ сочувствіемъ къ обитателямъ чердаковъ, ко всѣмъ голоднымъ, холоднымъ и обездоленнымъ. Все это сплеталось въ Некрасовѣ въ одинъ запутанный пестрый клубокъ, многосложность и пестрота котораго тяжелѣе всего отзывалась на немъ самомъ. Поверхностные и пустопорожніе люди думаютъ, что жизнь Некрасова была, за вычетомъ горечи молодыхъ годовъ, какимъ-то сплошнымъ праздникомъ. Это—глубокая ошибка. Вѣрно, что онъ сладко ѣлъ и мягко спалъ, но, тѣмъ не менѣе, не лгалъ онъ, когда писалъ:

Что враги?! Пусть клевещутъ язвительнѣй,
Я пощады у нихъ не прошу,
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!...

Казнь, носимая имъ въ сердцѣ, была тѣмъ мучительнѣе, что въ странномъ клубкѣ его жизни черныя, бѣлыя и цвѣтныя нити переплетались тѣснѣйшимъ образомъ. Онъ сознавалъ искренность своей поэзіи, но сознавалъ и разладъ ея съ собственною его жизнью; разладъ этотъ имѣлъ, однако, въ его глазахъ извѣстное оправданіе въ обстоятельствахъ его молодости и въ той трудной роли литературнаго кормчаго, которая выпала на его долю,—онъ сознавалъ, что какой-нибудь Бѣлинскій съ своей хрустальною

нравственною чистотой не смогъ-бы сдѣлать для литературы то, что сдѣлалъ онъ своими компромиссами и уступками совѣсти; но сознавалъ онъ также, что къ нему прилипло много грязи на этой трудной житейской дорогѣ. Сознавая все это по частямъ, онъ не могъ, однако, разобраться въ цѣломъ этой смѣси добра и зла, вины и заслуги, и еще менѣе, конечно, могъ растолковать ее кому-нибудь другому даже въ тѣхъ случаяхъ, когда растолковать хотѣлось: многое грязное подлежало здѣсь обѣленію, многое доброе было загрязнено. Отсюда пасмурная замкнутость, переходившая иногда въ дѣловитую жестокость...

Еще немножко личныхъ воспоминаній...

Финансовыя мои обстоятельства поправились въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Я много работалъ и достаточно зарабатывалъ. Но частью потому, что дѣла мои были очень разстроены предыдущими невзгодами, частью по всегдашнему моему неумѣнью какъ слѣдуетъ обращаться съ деньгами, на мнѣ скоро оказался довольно значительный долгъ конторѣ „Отечественныхъ Записокъ“. На бѣду, весной 1870 г. мнѣ понадобились экстренныя средства на отправку одного близкаго мнѣ больного человѣка за границу. Я изложилъ Некрасову исключительность обстоятельствъ, но онъ очень сухо отказалъ въ деньгахъ, указавъ на мой долгъ. Я понималъ, что онъ правъ, но все-таки съ горькимъ и обиднымъ чувствомъ вернулся домой, а тутъ еще надо было статью дописывать. Дописалъ, сдалъ въ редакцію и уѣхалъ на нѣсколько дней изъ Пѣтербурга искать денегъ, потому что состоятельныхъ знакомыхъ у меня въ Петербургѣ не было. Однако, и поѣздка оказалась неудачною. Вернувшись и раздумывая, какъ быть, получаю отъ Некрасова пригласительную записку. Застаю его за корректурой моей статьи. Онъ заговорилъ со мной тѣмъ-же сухимъ, дѣловымъ, сумрачнымъ тономъ, но уже другими словами: „Вы просили денегъ, сколько вамъ надо?“—„Столько-то“.—„Такъ я вамъ дамъ записку въ контору, вы намъ человѣкъ нужный“. Хотя слова эти выводили меня изъ труднаго положенія, въ благополучномъ выходѣ изъ котораго я уже отчаялся, они все-таки оставили во мнѣ тяжелое впечатлѣніе. Опять-таки Некрасовъ былъ несомнѣнно правъ: если-бъ я не былъ нуженъ журналу, такъ не зачѣмъ мнѣ и льготы оказывать, а коли нуженъ, такъ надо обратить вниманіе. Но какъ-то ужъ очень это жестко и обнаженно вышло...

Не всегда, однако, Некрасовъ былъ такъ жестокъ и сухъ. Мнѣ кажется, что на него дѣйствовала въ этомъ отношеніи петербургская жизнь, въ особенности *его* петербургская жизнь—шумная, пестрая, но нескладная. Лѣтомъ сердце его, вѣроятно, размягчалось и уста разверзались для мягкихъ и ласковыхъ словъ. Сужу такъ частью по его писаніямъ, а частью по собственному опыту, очень,—впрочемъ, незначительному. Однажды я былъ у него на дачѣ, въ Чудовѣ, а въ другой разъ столкнулся съ нимъ за границей, въ Киссингенѣ. Онъ былъ тамъ съ женой и сестрой, подобрались и еще знакомые, въ томъ числѣ Елисеевъ съ женой. Киссингенъ, хотя и имѣлъ честь лѣчить своими водами такихъ высокопоставленныхъ особъ, какъ императоръ Вильгельмъ I и Бисмаркъ, есть одинъ изъ самыхъ мирныхъ курортовъ. Развлеченія своимъ многочисленнымъ и разноязычнымъ гостямъ онъ предоставляетъ самыя скромныя: ѣда самая умѣренно-нѣмецкая, въ гастрономическомъ смыслѣ оставляющая многаго желать; музыка ниже посредственной; скромныя ассамблеи въ „ротондѣ“, гдѣ подъ звуки той-же музыки, а то и рояля, танцуютъ нѣмчики съ нѣмочками; игорныхъ учрежденій никакихъ; театра нѣтъ,—по крайней мѣрѣ, нѣтъ постоянной труппы, а наѣзжаютъ третьестепенные актеры. Можетъ быть, во время пребыванія особъ, вродѣ Вильгельма и Бисмарка, все это измѣняется, но я видѣлъ Киссингенъ такимъ два раза, въ 1871 г. и въ 1873 г., когда столкнулся тамъ съ Некрасовымъ. И Некрасовъ, видимо, отмякалъ, если можно такъ выразиться, въ этой простой обстановкѣ.

Верстахъ въ двухъ отъ Киссингена есть развалины древняго замка Боденлаубе. Преданіе гласитъ, что замокъ этотъ былъ построенъ знаменитымъ миннезингеромъ XIII вѣка, поэтомъ-рыцаремъ Отто фонъ-Боденлаубе. Теперь въ этихъ живописно заросшихъ зеленью развалинахъ ютится элементарный ресторанчикъ, гдѣ можно получить яйца въ смятку, кофе, молоко, дешевое вино. Однажды мы сидѣли тамъ съ Некрасовымъ. Онъ разговорился, разсказывалъ про Бѣлинскаго, Чернышевскаго, Добролюбова, отзываясь о нихъ почти восторженно. Преданіе о рыцарѣ-поэтѣ, въ развалинахъ замка котораго мы теперь пьемъ скверный нѣмецкій кофе, навело разговоръ на поэзію вообще, потомъ на поэзію Некрасова. Онъ говорилъ грустно и задушевно и какъ-то вдругъ сталъ не то оправдываться, не то казнить себя. Мнѣ живо припомнился тотъ Некрасовъ, котораго я видѣлъ въ 1869 г. послѣ

брошюры гг. Антоновича и Жуковскаго. Не было того остраго волненія, но та-же затрудненная, смущенная, сбивчивая рѣчь человѣка, который хочетъ сказать очень много, но не можетъ... Я очень хорошо помню, что ни единымъ нескромнымъ вопросомъ не вызывалъ его на откровенность. Онъ самъ началъ, а я даже не поддерживалъ этого щекотливаго разговора. Мнѣ было неловко.

Но уже не неловко, а прямо жутко и страшно было слушать эти обрывистыя, затрудненныя откровенныя рѣчи, когда Некрасовъ умиралъ. Умиралъ онъ долго и мучительно; не смотря на все свое самообладаніе, временами стоналъ, прямо кричалъ и плакалъ. Но въ свѣтлые промежутки неустанно думалъ и говорилъ о литературѣ. Поводовъ для этого было много. Онъ самъ писалъ или диктовалъ послѣднія изъ своихъ „послѣднихъ пѣсенъ“. Онъ получалъ со всѣхъ концовъ Россіи множество писемъ, адресовъ, телеграммъ отъ почитателей, скорбѣвшихъ о тяжкихъ страданіяхъ любимаго поэта. Посѣщали его, конечно, главнымъ образомъ, литераторы. Посѣтилъ его и Тургеневъ, когда-то закадычный другъ, а потомъ врагъ, много несправедливаго о немъ сказавшій и отрицавшій даже его поэтическій талантъ. Это посѣщеніе, послѣ многихъ лѣтъ враждебныхъ отношеній и разлуки, разумѣется, окончательно убѣдило-бы страдальца въ близости конца, если-бъ онъ и безъ того не былъ въ этомъ увѣренъ. Я не присутствовалъ при этомъ свиданіи. Говорили послѣ, что оба бывшіе друга молча прослезились... Въ такомъ-то состояніи умирающій, худой какъ скелетъ, Некрасовъ и со мной, и со многими другими заводилъ свои затрудненныя оправдательно-покаянныя рѣчи, перемежаемыя еще вдобавокъ стонами и криками. Очевидно, было страстное желаніе выложить всю душу, уже еле державшуюся въ больномъ, изможденномъ тѣлѣ; страстное, послѣднее въ жизни желаніе раскрыть тайну этой жизни, можетъ быть даже не намъ, слушателямъ этой единственной въ своемъ родѣ исповѣди, а самому себѣ. Но умирающій не находилъ словъ для выраженія „той казни мучительной, которую въ сердце носилъ“. Онъ то хватался за какой-нибудь отдѣльный эпизодъ своей жизни, то пробовалъ подвести ей общій итогъ, запинался и опять начиналъ. Въ сравненіи съ этою страшною сценой — ничто, дѣтскія игрушки — тѣ щеголеватыя публичныя исповѣди, авторы которыхъ самодовольно заявляютъ, что они отрясли прахъ прошлаго отъ ногъ своихъ и достигли высшей ступени нравственнаго сознанія. Некрасовъ чув-

ствовалъ и понималъ, что въ его прошломъ есть большая заслуга, отъ которой отрекаться не приходится. Но она трагически-фатально забрызгалась грязью, и передъ зіяющею пропастью смерти Некрасовъ не могъ ни другимъ разсказать, ни себѣ уяснить эту смѣсь добра и зла. Онъ старался, не могъ и мучился... Дѣло происходило въ той самой комнатѣ, въ которой поэтъ вспоминалъ своихъ „унесенныхъ борьбой“ друзей:

Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты
Пали жертвою злобы, измѣнъ
Въ цвѣтѣ лѣтъ; на меня ихъ портреты
Укоризненно смотрятъ со стѣнъ...

Я не видалъ болѣе тяжкой работы совѣсти, да не дай Богъ и видѣть. А, между тѣмъ, такъ-ли уже, въ самомъ дѣлѣ, велики вины Некрасова? И не искуплены-ли онѣ благою стороной его дѣятельности и этою страшною, несказанною мукой совѣсти? Поэтъ молилъ: „прости меня, о родина! прости!“ Благодарная родина давно простила. Но есть неумолимые, которые не прощаютъ и непремѣнно желаютъ „развѣнчать“ Некрасова. Должно быть, ихъ собственная совѣсть чиста, какъ зеркало, въ которое они могутъ спокойно любоваться на свои добродѣтели и гражданскіе подвиги. Должно быть, ихъ головы увѣнчаны безспорными лаврами... Да, эта совѣсть, очевидно, спокойна; да, оспаривать эти лавры немного найдется охотниковъ. Пусть... Но мы, грѣшные, не послѣдуемъ за ними. Мы скажемъ: насъ прости, тѣнь поэта! свою родину прости,—ту родину, грѣхами которой ты самъ заразился и для просвѣтлѣнія которой сдѣлалъ такъ много...

III *).

Фетъ о Салтыковѣ.—Изъ переписки и дневника Шелгунова.—Шелгуновъ и Позднышевъ.—„Исторія новѣйшей русской литературы“, А. М. Скабичевскаго.

Въ воспоминаніяхъ г. Фета есть слѣдующій эпизодъ. Г. Фетъ встрѣтился однажды у Тургенева съ Салтыковымъ. Салтыковъ, по увѣренію маститаго пѣвца соловья и розы, „сталъ бойко расхваливать Тургеневу успѣхъ недавно возникшихъ фаланстеровъ, гдѣ мужчины и женщины въ свободномъ сожительствѣ прино-

*) 1891, іюнь.

сятъ результаты трудовъ своихъ въ общій складъ, при чемъ каждый и каждая имѣютъ право, входя въ комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги. „Ну, а какая-же участь ожидаетъ дѣтей?“—спросилъ Тургеневъ своимъ кисло-сладкимъ фальцетомъ.—„Дѣтей не полагается“,—отвѣчалъ Щедринъ“.

Надо замѣтить, что г. Фетъ имѣлъ свои причины до такой степени не любить или бояться Салтыкова, что при входѣ послѣдняго „схватилъ огромный листъ „Голоса“ и усѣлся въ углу комнаты въ вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой“. Какія именно обстоятельства побудили изящнаго поэта поступить столь невѣжливо по отношенію не только къ Салтыкову, а и къ Тургеневу, какъ хозяину, онъ не объясняетъ. Онъ говоритъ только, что не хотѣлъ „возобновлять знакомство“ съ сатирикомъ, а почему не хотѣлъ и какъ произошло первое знакомство—не сообщаетъ. Можно догадываться, что невоздержный на языкъ, экспансивный Салтыковъ позволилъ себѣ откровенно высказаться о поэтическихъ или прозаическихъ произведеніяхъ г. Фета. Послѣдніе, то есть прозаическіе опыты г. Фета, печатавшіеся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, отличались крайнею озлобленностью противъ порядка вещей, наступившаго послѣ 19-го февраля 1861 г., и Салтыковъ въ свое время не оставилъ ихъ безъ своего печатнаго клейма Какъ-бы то ни было, нельзя не пожалѣть, что г. Фетъ такъ невѣжливо удалился въ уголъ и закрылся газетой при входѣ Салтыкова къ Тургеневу. Безъ сомнѣнія, этотъ „огромный листъ“ помѣшалъ маститому поэту не только видѣть Салтыкова, а и слышать его рѣчи. Иначе я не могу себѣ объяснить рѣзкое противорѣчіе разсказа г. Фета со всѣмъ, что мнѣ извѣстно о Салтыковѣ, а зналъ я его двадцать лѣтъ.

Когда у Салтыкова родился первый ребенокъ, суровый сатирикъ до забавности сіялъ радостью и счастіемъ. Даже самые дорогіе для него въ жизни интересы, литературные, на время какъ-бы отступили на второй планъ. Въ наши понедѣльники (редакціонный день „Отечественныхъ Записокъ“), благодаря экспансивности Салтыкова, ворвалась новая и шумная струя. Со свойственнымъ ему оригинальнымъ юморомъ онъ разсказывалъ о своемъ сынѣ, о томъ, что онъ дѣлаетъ теперь (не особенно великія дѣла, какъ догадывается читатель) и чѣмъ онъ

будетъ впослѣдствіи (непремѣнно писателемъ). Это было забавно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, трогательно. Нельзя было не заражаться весельемъ этого человѣка съ нахмуреннымъ лбомъ, грубымъ голосомъ и упорными глазами, къ которому веселье, казалось-бы, такъ не шло и который такъ рѣдко веселился. И не скоро привыкъ Салтыковъ къ новому счастью, тѣмъ болѣе, что года черезъ два оно подновилось рожденіемъ дочери. А потомъ начались заботы, хлопоты и опасенія. Помню, напримѣръ, негодованіе, съ которымъ Салтыковъ разсказывалъ о непосильно-трудныхъ задачахъ, задаваемыхъ сыну въ гимназіи: „Я сегодня до трехъ часовъ ночи надъ этими проклятыми задачами сидѣлъ,— каково-же мальцу-то съ ними возиться?!—сердито говорилъ онъ. Очень возможно, что мальцу рѣшить эти задачи было даже легче, чѣмъ старику, давно отвыкшему отъ школьныхъ пріемовъ; но дѣло не въ этомъ, а въ трогательномъ образѣ этого суроваго старика, по горло заваленнаго своими собственными дѣлами и урывающаго у своей недолгой ночи часы для помощи сыну.

Мнѣ, впрочемъ, незачѣмъ, прибѣгать къ личнымъ воспоминаніямъ, чтобы убѣдить читателей, что бѣдный г. Фетъ ничего не разсмотрѣлъ и не разслышалъ въ своемъ углу изъ-за огромнаго листа „Голоса“. Да, истинно бѣдный г. Фетъ, потому что газетный листъ скрылъ отъ него или даже прямо извратилъ одну изъ тѣхъ любопытныхъ и умилительныхъ картинъ душевной жизни, какія всегда полезно знать поэту, а, впрочемъ, и прозаику. Въ „Матеріалахъ для біографіи М. Е. Салтыкова“, приложенныхъ къ первому тому сочиненій покойнаго сатирика, приведены его письма къ 7—9-ти-лѣтнимъ дѣтямъ, сообщенъ фактъ писанія имъ для нихъ сказокъ и не приведены, къ сожалѣнію, эти сказки. Но и писемъ достаточно, чтобы видѣть, какъ трогательно-нѣжно относился Салтыковъ къ своимъ дѣтямъ и до какой степени невозможенъ послышавшійся г. Фету изъ-за газетнаго листа грубый нелѣпый отвѣтъ: „дѣтей не полагается“. А любовь Салтыкова къ дѣтямъ была еще и шире, и глубже той, какая явствуетъ изъ „Матеріаловъ для біографіи“. Въ своей статьѣ „Щедринъ“, въ особенности въ главѣ „Вѣра въ будущее“, я уже указалъ на ту великую роль, которую Салтыковъ отводитъ родительской любви. Для него нѣтъ драмы страшнѣе разлада между отцами и дѣтьми, нѣтъ стимула пробужденія чести и совѣсти сильнѣе родительской и сыновней любви. Со-

гласно общей своей литературной физіономіи, въ которой сочеталась могучая непосредственность, съ одной стороны, и сила неусыпно бодрствующаго сознанія—съ другой, Салтыковъ обобщалъ личное чувство кровной связи съ своими дѣтьми до обширныхъ горизонтовъ „вѣры въ будущее“, преемственной связи съ потомствомъ вообще. Конечно, у этой несокрушимой вѣры въ будущее были и другіе корни, и, прежде всего, энергическая, дѣятельная натура самого сатирика, черпавшая въ своей собственной силѣ увѣренность въ достижимости своихъ идеаловъ. Но несомнѣнно, что дѣти, не только свои, кровно родныя, а и чужія, дѣти вообще занимали во всемъ міросозерцаніи Салтыкова исключительно видное мѣсто, которое оправдывалось для него и непосредственнымъ чувствомъ отца, и высшими теоретическими соображеніями. Читатель благоволитъ припомнить хотя-бы только „Больное мѣсто“.

Между писателями того направленія или приблизительно того, котораго держался въ своей литературной дѣятельности Салтыковъ, не рѣдкость такіе чадолюбивые отцы. Потому-ли, что они тяготѣютъ мыслью и чувствомъ къ будущему, или почему-нибудь другому, но таковъ фактъ. Только что скончавшійся Николай Васильевичъ Шелгуновъ представляетъ этому разительный примѣръ. Великій евангельскій завѣтъ: „блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ, въ нихъ-же есть царствіе небесное“, былъ яркими буквами начертанъ въ его мужественной и нѣжной душѣ.

Передо мной лежитъ цѣлый ворохъ писемъ Шелгунова къ разнымъ лицамъ, въ томъ числѣ особенно много къ женѣ и дѣтямъ. Будущій біографъ найдетъ здѣсь для себя обильный матеріалъ, я-же извлеку изъ нихъ лишь нѣсколько чертъ, характеризующихъ покойнаго писателя, какъ человѣка.

Въ 1863 и 1864 годахъ, живя въ Петербургѣ въ крайне тѣсномъ, неудобномъ помѣщеніи и въ полномъ одиночествѣ, Шелгуновъ съ напряженнымъ вниманіемъ и непередаваемою нѣжностью слѣдилъ за воспитаніемъ, развитіемъ, вообще жизнью старшаго, тогда еще единственнаго сына, проживавшаго съ матерью за границей. Въ письмѣ къ женѣ отъ 16-го мая 1863 года, по поводу того, что мальчику пришлось разстаться съ своей нянькой, Шелгуновъ пишетъ: „Бѣдный мальчикъ! Большіе обыкновенно слишкомъ заносятся съ своимъ воображаемымъ практи-

ческимъ умомъ, вѣрностью взгляда, пониманіемъ жизни и т. п. названіями ихъ тупости и потому смотрятъ такъ легко на дѣтское горе. А оно, между тѣмъ, по своему существу и боли, на дѣтское сердце дѣйствуетъ, разумѣется, не меньше, чѣмъ разныя личныя потери, которыя взрослые люди зовутъ несчастіями и страданіями, потому что они касаются лично ихъ, не желая признавать того, что касается другихъ или не подходитъ подъ узкую мѣру умниковъ. Бѣдный мальчикъ испыталъ большое горе. Можетъ быть, это его первое несчастіе для него было не менѣе чувствительно, чѣмъ Наполеону I его отреченіе. А съ другой стороны, земля не рай, и человѣка нужно пріучать къ разнымъ потерямъ и несчастіямъ съ молодости, чтобы онъ могъ потомъ переносить толчки жизни. А все-таки мнѣ жаль Мишу". Удрученный многоразличными неудобствами своего настоящаго положенія и опасеніями за будущее, Шелгуновъ, однако, неустанно держитъ въ умѣ далекаго сына и при всякомъ удобномъ, а иногда даже неудобномъ случаѣ вспоминаетъ о немъ, боится за него, старается воображеніемъ сократить раздѣляющее ихъ пространство. То ему приходитъ въ голову, что въ Швейцаріи, гдѣ живетъ его жена съ сыномъ, много мѣдянокъ, и онъ сообщаетъ въ письмѣ описаніе этой змѣи съ приложеніемъ очень тщательнаго рисунка ея характерной головы,—„портретъ врага, который гдѣ-нибудь въ-тихомолку точитъ свое жало, можетъ быть, и противъ васъ, дорогихъ для меня людей". То ему вспоминается эпизодъ изъ его заграничной поѣздки: на его глазахъ мальчикъ прищемилъ себѣ вагонною дверью пальцы, а злая и глупая нѣмка-мать его-же за это прибила. „Послѣднее,—прибавляетъ Шелгуновъ,—конечно, не можетъ случиться съ его сыномъ", но прищемленные пальчики ребенка тревожатъ его память и воображеніе. Переводя какой-то учебникъ или популярный трактатъ по физикѣ, онъ представляетъ себѣ, что гуляетъ по комнатѣ съ сыномъ, держа его за руку и разсказывая ему о законахъ физики и т. д., и т. д. Не перечислить тѣхъ иногда совершенно неожиданныхъ поводовъ, которые наталкиваютъ Шелгунова на мысль о сынѣ. Онъ посылаетъ ему картинки, сочиняетъ для него сказки, подчасъ очень замысловатыя. Одну изъ нихъ я приведу собственно для характеристики той заботливой и до мелочей обдуманной нѣжности, съ которою покойный писатель пригибался до уровня интересовъ и пониманія трехлѣтняго сына.

Сказка гласитъ, что однажды ночью „маленькій мальчикъ Миша“ услыхалъ у себя подъ кроваткой разговоръ. Разговаривали Мишины сапоги. Лѣвый сапогъ говоритъ: „Теперь намъ есть время, Миша легъ спать, сходимъ-ка къ его папѣ, къ комендантскому подъѣзду, можетъ, папа пришлетъ что-нибудь своему сынку. — Пойдемъ.—И вотъ сапоги вскочили и—топъ, топъ, топъ—побѣжали черезъ горы, лѣса и озера, распѣвая во все горло Мишину пѣсню „вiютъ вiтры“. Папа уже зналъ, что сапоги къ нему идутъ, и ждалъ ихъ у подъѣзда съ двумя дудками: въ одной былъ виноградъ, а въ другой яблоки и груши. Только что сапоги прибѣжали, папа насыпалъ въ нихъ до верху,—въ одинъ виноградъ, а въ другой яблоковъ и грушъ, и говоритъ: теперь ужъ поздно, Миша скоро проснется, отдыхать вамъ некогда, идите скорѣе домой, да, смотрите, не разсыпьте.—Ужъ будьте спокойны,—отвѣтили сапоги и поскакали домой такъ скоро, какъ воробьи. Скакали, скакали и какъ прискакали къ кроваткѣ Миши, то въ одномъ осталось всего пять виноградинокъ, а въ другомъ одно яблоко и одна груша, все остальное они потеряли дорогой, потому что ужъ очень торопились. Миша, какъ проснулся, досталъ изъ сапоговъ виноградъ и яблоко съ грушей, отдалъ ихъ нянѣ и говоритъ: няня, папа прислалъ мнѣ бомбошки, возьми и спрячь, я съѣмъ ихъ послѣ обѣда. Вмѣстѣ съ бомбошками Миша нашелъ и письмо; папа ему пишетъ: милаша Миша, если ты захочешь гостинца, то, ложась спать, вели своимъ сапогамъ идти ко мнѣ и я тебѣ пришлю“. Сказка этимъ оканчивается, а затѣмъ слѣдуетъ приписка къ женѣ: „а ты точно вложи чего-нибудь въ сапоги отъ меня“.

Я привелъ эту сказку не ради какихъ-нибудь ея достоинствъ,— она вѣдь и писалась не съ претензіей на всеобщее оглашеніе, а только для того, чтобы трехлѣтній мальчикъ улыбнулся, слушая ее изъ устъ матери, да нашелъ-бы у себя въ сапогахъ гостинцы. Но это-то и интересно, особенно, если вспомнить, что Шелгуновъ при этомъ не отъ избытка личнаго счастья удѣлялъ малюткѣ веселую минуту, а находился, напротивъ, въ чрезвычайно тяжелыхъ условіяхъ. Найти въ себѣ при подобныхъ обстоятельствахъ такой обильный источникъ нѣжности и внимательности къ ребенку, живущему за тридевять земель,—какъ хотите, а это не то, что „шопотъ, робкое дыханье, трели соловья“. А вѣдь закрывшись газетой, можно-бы было и насчетъ Шелгунова оши-

биться и приписать ему грубыя и нелѣпыя слова: „дѣтей не полагается“...

Еще большею нѣжностью и внимательностью Шелгунова пользовался его второй сынъ, Николай. И немудрено: первые годы своей жизни, чуть не съ самаго рожденія, онъ находился на исключительно личномъ попеченіи Николая Васильевича, хотя впослѣдствіи имъ не часто приходилось быть вмѣстѣ. Давнишняя и близкая знакомая Шелгунова, О. Н. Попова, живущая по лѣтамъ въ томъ самомъ селѣ Воробьевѣ, Смоленской губ., гдѣ жилъ и Шелгуновъ передъ послѣднимъ своимъ пріѣздомъ въ Петербургъ, пишетъ мнѣ слѣдующее, между прочимъ: „Ушла съ головой въ чтеніе бумагъ, оставшихся послѣ Николая Васильевича. Письма его къ Колѣ — это цѣлое море нѣжныхъ чувствъ, чувствъ матери и отца, цѣлая программа поведенія. Вновь переживаешь съ нимъ его терзанія послѣднихъ годовъ и, кажется, любишь, уважаешь и удивляешься ему больше еще, чѣмъ при жизни... Трогательна тетрадь, въ которую внесена исторія развитія Коли-ребенка“. Я могу себѣ представить, какова эта тетрадь, потому что и у меня есть подъ руками коллекція писемъ Шелгунова къ женѣ, въ которыхъ дается отчетъ чуть не въ каждомъ шагѣ ребенка, и затѣмъ писемъ къ этому самому сыну, писанныхъ въ разное время.

Какъ и Щедринъ, Шелгуновъ не ограничивалъ, однако, своихъ симпатій къ дѣтскому міру кругомъ своей семьи. Его письма 1863—64 гг. къ женѣ содержатъ въ себѣ много плановъ разныхъ изданій для дѣтей. Онъ самъ собирался писать сказки для дѣтей, имѣя при этомъ въ виду построить ихъ на основѣ русскихъ народныхъ сказокъ. Привести этотъ планъ въ исполненіе ему не удалось, вслѣдствіе сложныхъ и смутныхъ обстоятельствъ его жизни. Но плодомъ его интереса къ педагогическимъ вопросамъ и личныхъ его наблюденій и опытовъ явились впослѣдствіи „Письма о воспитаніи“. Затѣмъ, какъ опять-же у Щедрина, представленіе собственно о дѣтяхъ примыкало у Шелгунова къ представленію о грядущихъ въ жизнь поколѣніяхъ вообще, о потомствѣ, какъ о наслѣдникѣ нашихъ мыслей, чувствъ и дѣлъ. Читатели „Русской Мысли“, конечно, хорошо помнятъ тѣ его „Очерки русской жизни“, въ которыхъ такъ горячо и убѣдительно трактовался вопросъ объ „отцахъ“ и „дѣтяхъ“. Сообразно условіямъ времени, вопросъ этотъ поставленъ здѣсь

совсѣмъ не такъ, какъ въ „Больномъ мѣстѣ“, „Господахъ Молчалиныхъ“ и т. д. у Салтыкова.

Надо, можетъ быть, оговориться. Ставя имена Салтыкова и Шелгунова рядомъ, я, разумѣется, ни одной минуты не имѣю въ мысли сравнивать ихъ, какъ таланты. Салтыковъ былъ первоклассный писатель съ огромнымъ, совершенно изъ ряда выходящимъ талантомъ, Шелгуновъ—скромный журнальный труженикъ, хотя и занимавшій одно изъ видныхъ мѣстъ въ рядахъ этихъ тружениковъ. Понятно, однако, что это не мѣшаетъ сопоставлять ихъ съ точки зрѣнія ихъ отношеній къ вещамъ и идеямъ. Въ „Больномъ мѣстѣ“, въ „Господахъ Молчалиныхъ“ изображена, по выраженію самого Салтыкова, „заправская русская драма, настоящая, духъ захватывающая“. Драма состоитъ въ томъ, что „отцы“ и „дѣти“, не въ фигуральномъ смыслѣ этихъ словъ, а настоящіе, кровные отцы и дѣти, при томъ, связанные между собою узами нѣжной любви, совершенно расходятся въ понима ніи цѣлей и путей жизни. Какъ курица, высидѣвшая утятъ, тревожно бѣгаетъ по берегу и жалобно кудахтаетъ, слѣдя за страннымъ и отчаяннымъ, по ея мнѣнію, поведеніемъ своихъ дѣтищъ, лѣзущихъ въ воду, такъ и „трезвенные“ Разумовъ и Молчалинъ мучительно тревожатся за своихъ дѣтей. Сатирикъ занялъ совершенно оригинальное положеніе въ виду этого столкновенія отцовъ и дѣтей. Въ идейномъ смыслѣ онъ цѣликомъ стоитъ на сторонѣ дѣтей, а вся жизнь стариковъ Разумова и Молчалина представляется ему сплошнымъ безсознательнымъ злодѣйствомъ. Но, согласно его высокому понятію о силѣ и значеніи родительской любви, ему жаль курицу, высидѣвшую утятъ, болитъ за нее его сердце, и отсюда драма. Въ „Очеркахъ русской жизни“ Шелгунова столкновеніе отцовъ и дѣтей взято съ другой и въ нѣкоторомъ смыслѣ даже противоположной стороны, не говоря, уже, конечно, о разницѣ въ формѣ. Во-первыхъ, „отцы“ и „дѣти“ разумѣются у Шелгунова въ иносказательномъ смыслѣ, безъ отношенія къ кровному родству, а во-вторыхъ, столкновеніе ихъ занимаетъ автора исключительно въ литературной сферѣ. При этомъ представителями „трезвеннаго“ элемента являются не „отцы“, а „дѣти“, или „новое литературное поколѣніе“, какъ сами себя величали, главнымъ образомъ, критики и публицисты „Недѣли“. Этотъ ничѣмъ не оправдываемый отказъ отъ наслѣдства, это пренебрежительное, высокомѣрное, вообще отрицатель-

ное отношеніе „дѣтей“ къ лучшимъ завѣтамъ „отцовъ“ глубоко огорчало Николая Васильевича, и еще въ послѣдней, можно сказать, уже на одрѣ смерти написанной статьѣ онъ не добромъ помянулъ его Сюда, къ этому своего рода тоже „больному мѣсту“, была направлена его послѣдняя, предсмертная мысль.

Все вышесказанное кажется мнѣ поучительнымъ вотъ въ какомъ отношеніи. Въ основѣ своей родительская любовь есть инстинктъ, общій человѣку со всѣми животными. У человѣка, пожалуй, этотъ инстинктъ бываетъ иногда даже слабѣе, чѣмъ у нѣкоторыхъ животныхъ. Человѣческая природа допускаетъ паденіе далеко ниже уровня животнаго инстинкта, вслѣдствіе чего мы и видимъ вокругъ себя такую массу злодѣйствъ, невозможныхъ въ животномъ мірѣ. Но за-то человѣку доступенъ и высшій подъемъ, одухотвореніе инстинкта. Много званыхъ на это пиршество духа, но мало избранныхъ. Большинство лишь немногимъ поднимается, и то не всегда, надъ уровнемъ животнаго инстинкта и лишь избранные, сохраняя всю непосредственную, наивную, безсознательную свѣжесть и цѣльность инстинкта родительской любви, въ то-же время, углубляютъ и расширяютъ сферу своихъ симпатій силою сознанія. Ихъ дѣти для нихъ не просто плоть отъ плоти и кровь отъ крови ихъ. Это само собой. Но, въ то-же время, изъ этой голой физіологіи, а иногда даже безъ нея, разростается сложная и глубокая психологія, захватывающая своими развѣтвленіями даже отдаленное потомство, а въ настоящемъ обнимающая все молодое, всѣ ростки жизни, „въ нихъ-же царствіе небесное“. Передать этимъ новымъ росткамъ жизни все передуманное, перечувствованное, выстраданное, передать для дальнѣйшаго приращенія, расчистить имъ путь къ добру и правдѣ, увидѣть въ нихъ и черезъ нихъ осуществленіе своихъ собственныхъ идеаловъ—такова мечта и забота людей, о которыхъ я говорю. Такіе люди могутъ обладать большими или малыми талантами, могутъ даже владѣть или не владѣть секретомъ практическаго педагогическаго такта, но они, во всякомъ случаѣ, люди-маяки, на общій строй мыслей которыхъ можно смѣло положиться, какъ на руководящее начало. Такими людьми маяками были Салтыковъ и Шелгуновъ.

Маленькая отрицательная иллюстрація.

Училищный совѣтъ святѣйшаго синода издалъ циркуляръ по

вопросу о наказаніяхъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Циркуляръ рекомендуетъ учителямъ церковно-приходскихъ школъ умѣренность и гуманность въ дѣлѣ наложенія взысканій съ учениковъ. Казалось-бы, что можетъ быть проще, естественнѣе, законнѣе? И что, кромѣ сочувствія и благодарности, могла-бы выразить по этому поводу литература? Но въ нашей современной литературѣ подчасъ такое дѣлается, что серьезно думаешь, не въ сумасшедшій-ли домъ попалъ? не безнадежно-ли больные говорятъ вокругъ тебя безумныя злобныя рѣчи, кощунствуя подъ видомъ благочестія и злобствуя съ миною ханжей? „Гражданинъ“, издревле принявшій на себя роль эксперта, призваннаго контролировать дѣйствія духовныхъ властей и желающій и на этомъ поприщѣ блистать „консерватизмомъ“, разразился по поводу упомянутаго циркуляра громоносною статьей. Тутъ и „лжепрогрессъ“, и „лжегуманность“, и всѣ прочіе трагикомическіе сапоги въ смятку. Тутъ даже „отзвукъ гордой атеистической мысли“, вычитанный благочестивымъ кн. Мещерскимъ „въ томъ мѣстѣ циркуляра, которое называетъ стояніе на колѣняхъ унизительнымъ истязаніемъ“. Тутъ, наконецъ, и клевета на христіанство, потому что сорвавшаяся съ цѣпи газета поучаетъ училищный совѣтъ святѣйшаго синода, между прочимъ, такъ: „Наказаніе въ школѣ, примѣняемое къ дѣтямъ, есть, по вѣковымъ преданіямъ христіанскаго ученія о воспитаніи, такое возмездіе провинившемуся дитяти, которое должно ему причинять или тѣлесную боль, или нравственное униженіе“. Если спросить почтенную газету, гдѣ именно сдѣланы въ христіанскомъ ученіи подобныя указанія, то она очутится въ большомъ затрудненіи, ибо ничего такого христіанство не проповѣдуетъ и никогда не проповѣдывало. Христосъ лишь благословлялъ дѣтей, и трогательный евангельскій разсказъ объ этомъ эпизодѣ не разъ вдохновлялъ художниковъ, проникнутыхъ христіанствомъ.

Какой-же смыслъ въ дикой выходкѣ „Гражданина“? Смысла въ безсмыслiи искать все равно, что рѣшетомъ воду носить. Но можно найти сцѣпленіе побужденій, пришедшее къ сцѣпленію словъ. Кн. Мещерскаго оскорбляютъ „много лѣтъ твердившіяся глупости о вредѣ и безнравственности тѣлесныхъ наказаній, о какомъ-то для школы долгѣ вѣдать какое то человѣческое достоинство и какую-то гражданскую личность въ каждомъ школьникѣ и тому подобныя нелѣпости, проповѣдывавшіяся нигили-

стами и либералами, разумѣется, не изъ любви къ юношеству, а изъ желанія сдѣлать школу средствомъ скорѣйшаго развинчиванія государственнаго строя". Вотъ. Кн. Мещерскій, равно какъ и нѣкоторые другіе наши „консерваторы", составилъ себѣ о консерватизмѣ понятіе, не имѣющее ничего общаго ни съ этимологическимъ значеніемъ этого слова, ни съ общепринятымъ его политическимъ значеніемъ, ни, наконецъ, съ простымъ здравымъ смысломъ. Понятіе это составилось частью изъ элементовъ, полученныхъ по наслѣдству отъ болѣе крупныхъ литературныхъ предшественниковъ, частью изъ элементовъ чисто-отрицательныхъ. „Гражданинъ" собственно никакого опредѣленнаго политическаго образа мыслей не имѣетъ, не смотря на аляповатую яркость своихъ красокъ. Онъ, прежде всего, старается, — старается проникнуть въ мысли „либераловъ и нигилистовъ", старается оппонировать имъ во что-бы то ни стало, quand même, старается заскочить въ этомъ направленіи какъ можно дальше, если возможно, дальше далекаго. Поэтому-то онъ и радъ случаю уличить въ либерализмѣ и нигилизмѣ, въ „лжепрогрессѣ" и „лжегуманности" даже училищный совѣтъ святѣйшаго синода. При такой программѣ не до здраваго смысла, а лишь-бы попикантнѣе, да покруче вышло. Конечно, не всегда старанія „Гражданина" увѣнчиваются желаннымъ успѣхомъ, потому что для этого нужно еще кое-что, кромѣ стараній, чего въ распоряженіи почтенной газеты нѣтъ. Имѣя усердіе не по разуму, „Гражданинъ" нерѣдко бываетъ вынужденъ выслушивать рѣзкія и непріятныя отповѣди изъ компетентныхъ сферъ, какую онъ, напримѣръ, въ 1890-мъ году получилъ отъ покойнаго архіепископа Никанора. Но онъ продолжаетъ стараться, и въ результатѣ—порка дѣтей, какъ составная часть христіанскаго ученія и консервативной политической программы. „Гражданину" дѣла нѣтъ до того, что гуманное обращеніе съ дѣтьми и воспитаніе въ нихъ человѣческаго достоинства не либералы съ нигилистами выдумали, что принципы эти установлены цѣлымъ рядомъ европейскихъ педагогическихъ авторитетовъ. Онъ только старается, цѣпляя слова къ словамъ.

„Гражданинъ" есть явленіе завѣдомо патологическое, а потому собственно о немъ можно-бы и совсѣмъ не говорить. Но межа, отдѣляющая болѣзнь отъ здоровья, не всегда уловима, и въ безумныхъ рѣчахъ „Гражданина" иногда лишь до уродливо-

сти преувеличивается то, что въ нѣкоторыхъ общественныхъ и литературныхъ сферахъ составляетъ почти ходячую монету. Сюда относится, между прочимъ, и предположеніе, что „либералы и нигилисты“ такъ-то и такъ-то относятся къ молодымъ росткамъ жизни, „разумѣется, не изъ любви къ юношеству“, а ради „скорѣйшаго развинчиванія государственнаго строя“. Кто такіе эти либералы и нигилисты, по какимъ примѣтамъ ихъ узнать можно и въ чемъ состоитъ то развинчиваніе государственнаго строя, котораго добиваются обвиняемые,—не спрашивайте, потому что вѣдь вотъ и члены училищнаго совѣта святѣйшаго синода въ нигилисты и либералы попали. Казалось-бы, чѣмъ тяжелѣе обвиненіе, тѣмъ осмотрительнѣе надлежитъ его предъявлять. Казалось-бы, приведенное обвиненіе по вопросу о дѣтяхъ и „дѣтяхъ“ столь тяжко, что надо, какъ говоритъ пословица, семь разъ отмѣрить, прежде чѣмъ этакое отрѣзать. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть недостойнѣе корыстнаго выѣзжанія на спинахъ юношества подъ видомъ любви къ нему? Однако, сложилась легенда, утверждающая именно это. Легенда слѣпа и глуха. Она повторяетъ себя безъ устали, не пытаясь провѣрить свои источники, не слушая никакихъ объясненій и возраженій. Она неслышною поступью проникаетъ всюду, индѣ осѣдая такъ прочно, что ее потомъ уже ничѣмъ не выкуришь, индѣ оставляя хотя легкій слѣдъ въ видѣ подозрѣнія. Вотъ почему я пользуюсь случаемъ вывести на бѣлый свѣтъ вышеприведенныя маленькія подробности изъ жизни Салтыкова и Шелгунова. Маленькія онѣ, но въ данномъ случаѣ много говорящія. Шелгуновъ съ ужасомъ вспоминалъ о жестокихъ истязаніяхъ дѣтей, практиковавшихся въ то „страшное доброе старое время“, когда ему приходилось учиться, и въ „Письмахъ о воспитаніи“ развивалъ взгляды, не имѣющіе ничего общаго съ педагогическою теоріей кн. Мещерскаго. Салтыковъ въ „Пошехонской старинѣ“ тоже не добромъ поминалъ порку и нравственныя униженія, а изобрѣтенныя въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ какимъ-то Кунцомъ усовершенствованныя кушетки для сѣченія выводили сатирика изъ себя. Легенда, очевидно, должна захватить обоихъ писателей, какъ за эти проявленія „лжепрогресса“ и „лжегуманности“, такъ и за многое другое въ ихъ отношеніяхъ къ молодежи. Они, „разумѣется“, не „любовью къ юношеству“ руководились... Такъ нате-же, смотрите, фабриканты легендъ! Смотрите

на этихъ людей, переполненныхъ родительскою любовью, урывающихъ у своихъ нерадостныхъ дней и безсонныхъ ночей время для детальнѣйшихъ и нѣжнѣйшихъ заботъ объ урокахъ дѣтей, объ ихъ забавахъ, о грозящихъ имъ опасностяхъ, и не разстающихся ни при какой обстановкѣ съ мыслью о дѣтяхъ. Смотрите и берегите свои шапки: это зрѣлище столь высокое, и для усмотрѣнія его вамъ, малорослымъ, придется такъ задрать головы, что шапки все равно слетятъ съ нихъ, хотя-бы вы и не желали воздать этимъ людямъ должное почтительнымъ поклономъ... Уже само по себѣ любовное приклоненіе обремененныхъ дѣлами, удрученныхъ обстоятельствами немолодыхъ людей до уровня пониманія и интересовъ дѣтей составляетъ трогательное зрѣлище. Когда я, въ статьѣ „Матеріалы для литературнаго портрета М. Е. Салтыкова“, привелъ для образчика одно изъ его „прелестныхъ“ (такъ я выразился) писемъ къ дѣтямъ, то нѣкоторые жестоковыйные читатели обратили особенное вниманіе на слѣдующее мѣсто: „А еще доношу, что сегодня Арапка (канарейка), когда я вошелъ въ игральную, сѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову, и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ... Вотъ такъ сюрпризъ!“ Жестоковыйные читатели (и писатели) пожимали по этому поводу плечами и съ презрительной ироніей спрашивали: что-же тутъ „прелестнаго“ въ томъ, что канарейка невѣжество сдѣлала? Тѣхъ, кто способенъ увидать во всемъ этомъ истинно прелестномъ письмѣ только канареечье невѣжество, конечно, ничѣмъ не проймешь! Тутъ, стало быть, имъ и мѣсто, въ канареечьемъ невѣжествѣ. А я,—и не одинъ я, разумѣется,—продолжаю любоваться этимъ образомъ суроваго сатирика, къ гнѣвнымъ рѣчамъ котораго прислушивается вся читающая Россія и который въ то-же время озабоченъ мыслью вызвать улыбку на дорогихъ ему личикахъ 9-ти-лѣтняго сына и 7-ми-лѣтней дочери. Но этого мало. Не голый инстинктъ чадолюбія руководитъ людьми-маяками. Не помню, привелъ-ли я въ книжкѣ о Щедринѣ слѣдующую черту. При разговорѣ о какихъ-нибудь дурныхъ людяхъ мнѣ не разъ случалось слышать отъ него вопросъ: „да развѣ у него нѣтъ дѣтей?“ Это значило, что, по наивной, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и глубокой мысли сатирика, самый фактъ существованія дѣтей, „малыхъ сихъ“, въ которыхъ должно повториться наше собственное существованіе и которымъ мы должны оставить незапятнан-

ное имя, самый этотъ фактъ долженъ-бы воздерживать людей отъ подлостей. А съ другой стороны, припомните знаменитый конецъ сказки „Пропала совѣсть“. Совѣсть, послѣ долгихъ мытарствъ, попадаетъ въ сердце „маленькаго русскаго дитяти“: „И будетъ маленькое дитя большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть. И исчезнутъ тогда всѣ неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всѣмъ сама“. Пусть это фантазія, мечта, которой еще долго предстоитъ передаваться отъ поколѣнія къ поколѣнію. Но вы видите, во всякомъ случаѣ, что между родителями и дѣтьми, въ мысли Салтыкова, существуетъ взаимодѣйствіе, въ которомъ животный инстинктъ кровной связи одухотворяется и расширяется въ историческую перспективу. И фабриканты легендъ хотятъ насъ увѣрить, что подобные люди симулируютъ любовь къ юношеству!.. Безстыдники! Кто такъ понималъ родительскую любовь, что трагически скрасилъ ею даже безсознательныхъ злодѣевъ Разумова и Молчалина, кто такъ терзался за своего сына, какъ Шелгуновъ, тѣмъ можно повѣрить. Это во-истину люди-маяки. Сильное непосредственное чувство играетъ въ нихъ роль якоря или фундамента въ житейскомъ грунтѣ, а на этомъ фундаментѣ высится зданіе, увѣнчанное озаряющимъ даль путеводнымъ свѣтомъ сознанія.

О писателяхъ того лагеря, къ которому принадлежали оба вышеупомянутые покойника, вообще много легендъ ходитъ, самыхъ фантастическихъ, и меня всегда занималъ вопросъ: откуда онѣ берутся? Какъ слагаются? Такъ, однако, я этого вопроса и не рѣшилъ. Не понимаю. Дѣло въ томъ, что здѣсь мало общей механики клеветы и сплетни. Ей вѣдь подлежитъ лишь частная жизнь писателя, и хотя это, конечно, обширное поприще для любителей, но затѣмъ остается еще публичная, литературная дѣятельность, часто поглощающая всего человѣка, такъ что у него и частной-то жизни никакой нѣтъ. А литературная дѣятельность есть нѣчто открытое, громогласное, нѣчто такое, къ чему всякій Ѳома можетъ съ полнымъ удобствомъ приложить свои персты. Казалось-бы, эта очевидность и громогласность должны хотя отчасти парализовать возникновеніе и распространеніе фантастическихъ легендъ. А вотъ подите-же! Брякнетъ какой-нибудь кн. Ме-

щерскій о симуляціи любви къ юношеству, поддержитъ какой-нибудь г. Фетъ удивительнымъ сообщеніемъ о томъ, что „дѣтей не полагается“, прибавится что-нибудь съ больной головы на здоровую, а тамъ — чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ; снѣжный комъ ростетъ, ростетъ и превращается, наконецъ, въ страшную лавину, которую уже ничѣмъ удержать нельзя и которая не задумается (на то вѣдь она и лавина, чтобы не задумываться) раздавить человѣка и даже цѣлую группу людей.

Между прочимъ, извѣстная часть нашей литературы, та именно, которая совершенно неосновательно приписываетъ себѣ наименованіе „консервативной“, часто уличаетъ своихъ противниковъ въ нетерпимости. Юмористическіе образчики собственной терпимости господъ обвинителей столь многочисленны, столь многообразны и столь переполняютъ литературу въ теченіе многихъ лѣтъ даже до сего дня, что я не считаю нужнымъ распространяться объ этихъ больныхъ головахъ. Но откуда взялись и чѣмъ поддерживаются обвиненія противъ здоровыхъ головъ?

Та самая нянька, разставаніе съ которой причинило, по мнѣнію Шелгунова, его малюткѣ-сыну столько-же горя, сколько Наполеону I отреченіе отъ престола, пожелала соблюдать за границей постъ, чѣмъ, вѣроятно, вызвала какія-нибудь насмѣшки или нареканія. Шелгуновъ писалъ по этому случаю женѣ: „Ѳеню считаю молодцомъ, что она не отстаетъ отъ обычаевъ и правилъ, которые считаетъ хорошими; это не то, что тѣ наши либералишки, которые вчера—крѣпостникъ, а сегодня—ярый якобинецъ; вчера революціонеръ, а на завтра—сикофантъ. Эти люди—несчастіе всякой страны, и потому, разумѣется, нужно цѣнить такихъ людей, какъ Ѳеня. Пусть соблюдаетъ постъ—хорошо, но только чтобы она не слишкомъ отощала, пожалуй, захвораетъ. Кланяйся ей“.

Это мѣсто письма очень характерно не только лично для Шелгунова, но и для всѣхъ представителей литературы приблизительно одного съ нимъ направленія. Согласно этому взгляду, люди искреннихъ убѣжденій, въ чемъ-бы эти ихъ убѣжденія ни состояли, заслуживаютъ бережнаго и почтительнаго къ себѣ отношенія. И чѣмъ опредѣленнѣе, настойчивѣе, ярче выражаются эти искреннія убѣжденія, тѣмъ лучше. Съ ложными убѣжденіями можно и должно бороться, но какъ-бы ни была горяча борьба, личности носителей убѣжденій остаются почтенными, если только

они въ самомъ дѣлѣ искренни и если, само собою разумѣется, убѣжденіе ихъ не въ томъ состоитъ, чтобы заставлять молчать другихъ. „Живи и жить давай другимъ“, а тамъ уже логика, знаніе и сама жизнь рѣшатъ споръ. Презрѣнны не какія-бы то ни было убѣжденія сами по себѣ, а, напротивъ, ихъ отсутствіе, ихъ легковѣсность, ихъ подмѣнъ лицемѣрными и корыстными суррогатами. Одно и то-же мнѣніе можетъ быть выражено и убѣжденнымъ человѣкомъ, и, какъ презрительно говоритъ Шелгуновъ, „либералишкой, который вчера—революціонеръ, а на завтра—сикофантъ“. И всегда будетъ разница въ нашихъ отношеніяхъ къ этимъ двумъ сортамъ людей, совсѣмъ независимо отъ самаго содержанія выраженнаго ими мнѣнія или совершоннаго ими поступка. Каково-бы ни было мое личное мнѣніе о постахъ, но Ѳеня, соблюдающая ихъ при самыхъ неудобныхъ условіяхъ единственно потому, что таково ея убѣжденіе, во всякомъ случаѣ, достойна уваженія, а человѣкъ, который вздумаетъ поститься для того, напримѣръ, чтобы зарекомендовать себя съ выгодной стороны передъ начальствомъ (это бываетъ), никакого уваженія не достоинъ. Лицемѣрный или легковѣсный другъ всегда хуже честнаго врага. Хуже и опаснѣе потому, что въ немъ всегда сидитъ зародышъ предательства, и въ сношеніяхъ съ нимъ, иногда неизбѣжныхъ — потому что вѣдь онъ вашъ единомышленникъ, по крайней мѣрѣ, сегодня! — всегда нужно держать камень за пазухой, что вовсе не пріятно. Честный врагъ можетъ быть очень грозенъ своими талантами или знаніями, вообще своими большими силами, направленными, по вашему убѣжденію, въ дурную сторону, но онъ не готовитъ вамъ сюрпризовъ въ видѣ подлой измѣны или предательскаго удара изъ-за угла. Онъ знаетъ цѣну убѣжденія, какъ такового, и, стоя на своемъ, умѣетъ уважать и чужое. Понятно, что нравственно-низменный врагъ, не разбирающій средствъ борьбы, хуже и лицемѣрнаго или легковѣснаго друга, и честнаго врага. Ни самъ онъ не заслуживаетъ уваженія, ни къ другимъ не умѣетъ его питать. Онъ даже не имѣетъ понятія о томъ, что такое искреннее убѣжденіе, и съ наивною тупостью вѣритъ, что душу человѣческую, какъ и все на свѣтѣ, можно купить златомъ или взять булатомъ. Естественно, что онъ можетъ возбуждать,—только негодованіе, и вотъ это-то вполнѣ естественное и законное негодованіе легенда обзываетъ нетерпимостью.

Шелгунову не разъ и не два приходилось очутиться въ исключительно трудныхъ обстоятельствахъ. Случалось ему быть наканунѣ полнаго отчаянія, того отчаянія, при которомъ люди вѣшаются или стрѣляются или, по крайней мѣрѣ, безсильно складываютъ руки, предоставляя волнѣ событій разбить себя въ дребезги и нести эти дребезги куда она сама знаетъ. Но дальше кануна смущеніе не шло. Въ письмахъ его—и самыхъ раннихъ, и самыхъ позднихъ—часто попадаются чьи-то неуклюжіе стихи, прельщавшіе его ужъ, конечно, не своимъ художественнымъ достоинствомъ: „Безумный плачетъ лишь отъ бѣдства, а умный ищетъ средства, какъ дѣломъ горю пособить“. И вотъ образчики.

Въ концѣ 1863 г., находясь въ Петербургѣ, но въ исключительныхъ условіяхъ и будучи въ полной неизвѣстности относительно своего будущаго, Шелгуновъ пишетъ женѣ: „Перейры (должно быть, банкиры) хотятъ издавать энциклопедію въ 200 томахъ; каждый будетъ написанъ извѣстнымъ ученымъ. Если это не утка, то хорошо-бы тебѣ взяться за переводъ и изданіе этой энциклопедіи по-русски, или сговориться съ кѣмъ-нибудь. Дѣла на 10 лѣтъ... Теперь просьба: выучись у Ганца фотографіи теоретически и практически... Я думаю, Ганцъ согласится и не возьметъ дорого. Это — во-первыхъ. А во-вторыхъ, такъ какъ Швейцарія славится своими кондитерскими, то научись дѣлать пирожное, конфекты и разныя печенья, а также и булочному дѣлу. И затѣмъ всѣ эти искусства: кондитерское, булочное и фотографію передай мнѣ,—это будетъ намъ кусокъ хлѣба, гдѣ-бы мы, т.-е. собственно я, ни жили. Я прошу объ этомъ *весьма серьезно* (подчеркнуто въ подлинникѣ), пожалуйста, отвѣть“.

Въ 1866 г., проживая въ городѣ Никольскѣ, Вологодской губ., Шелгуновъ пишетъ женѣ: „Что „Русское Слово“ существовать не будетъ, я въ этомъ увѣренъ. Литературное дѣло, которое я сначала такъ полюбилъ, начинаетъ мнѣ теперь противѣть. Я бы съ удовольствіемъ промѣнялъ его на такое занятіе, гдѣ видишь, что дѣлаешь, и будь я въ большомъ городѣ, я постарался-бы пріискать что-нибудь. Въ Никольскѣ нельзя найти никакого дѣла... Совѣтъ М. Ѳ. неосуществимъ; я не могу писать больше ни по лѣсоводству, ни по технологіи, ибо я сказалъ все, что зналъ, и новаго больше ничего сказать не могу.

На повторенія-же, особенно когда они никому не нужны, не поднимается рука. Однимъ словомъ, моя лѣсоводственная литературная дѣятельность кончилась и воскреснуть ей невозможно. Всякой вещи свое время". Когда въ томъ-же 1866 г. предсказаніе Шелгунова исполнилось, и „Русское Слово" было закрыто, онъ писалъ: „Предлагая мнѣ обратиться къ Краевскому, ты, должно быть, смѣешься надо мной. Ужъ лучше я пойду служить. Я писалъ тебѣ свою программу. Самое пріятное было-бы бросить журнальную работу и приняться за какое-нибудь занятіе распорядительнаго характера. Въ Петербургѣ ты можешь это сообразить, уладить и устроить". Въ другомъ письмѣ: „Такъ какъ жизнь вышибла меня изъ колеи, то нужно мнѣ опять создать себѣ дорогу, опять взобраться на гору и подготовить тебѣ и себѣ спокойную старость, а Колѣ и Мишѣ дать образованіе. Вступилъ я было на литературный путь и даже утвердился на немъ, такъ что если бы не было помѣхъ, можно-бы идти и устраивать свое будущее. Но и съ этого пути обстоятельства сбили меня. Нужно покинуть журнальное поприще. Итакъ, съ двухъ путей я уже сбитъ—служба и журналистика. Куда идти, гдѣ искать и пробовать еще? Вотъ-бы чѣмъ я могъ быть и готовъ хоть сейчасъ: я бы съ великой охотой занялся экономическою статистикой Россіи, ибо въ сей моментъ наша экономическая (финансовая, торговая, промышленная), внутренняя и внѣшняя политика страдаетъ больше всего отъ недостатка точнаго знанія современныхъ экономическихъ условій страны. И я полагаю, что дѣльный, обширный трудъ, на который-бы я охотно посвятилъ 5 лѣтъ, былъ-бы дѣйствительно полезенъ и далъ-бы мнѣ имя въ ученой литературѣ. Къ подобной работѣ я совершенно подготовленъ всею предыдущею дѣятельностью. Но вотъ въ чемъ помѣха. Заняться такимъ дѣломъ можно только въ центральномъ статистическомъ комитетѣ м. в. д., а меня туда не возьмутъ. Учиться медицинѣ и стать докторомъ не дурно: въ 2 года можно успѣть; но нужно эти 2 года чѣмъ-нибудь жить. А какъ пойдетъ потомъ практика? Этотъ путь наиболѣе скользкій и невѣрный. Есть еще одна дорога: служить по акцизу у Грота. Думаю, что новыхъ доказательствъ моихъ служебныхъ способностей и честности мнѣ представлять не нужно. Что-же касается моего общаго и политическаго міровоззрѣнія, то я думаю, что при опредѣленіи крѣпости спирта и учетѣ винокуренныхъ

заводовъ міровоззрѣніе не играетъ никакой роли и никому оно не нужно. Если придумаешь болѣе вѣрное и лучшее, уполномочиваю тебя дѣйствовать за меня". Въ концѣ все того-же 1866 г. Благосвѣтловъ затѣялъ новый журналъ „Дѣло", и Шелгуновъ опять оживился, но цензура относилась на первыхъ порахъ къ новому журналу съ чрезвычайною строгостью. 20-го сентября Шелгуновъ пишетъ: „Моихъ статей, которыя пробовали провести въ книжку, пропало на 600 цѣлковыхъ. Съ этимъ бы я еще помирился. Но у меня пропало время. Я разсчитывалъ, что напишу еще три статьи, и тогда на весь нынѣшній годъ комплектъ статей выполненъ и я могу заняться мѣсяцъ или два другой работой, а, между прочимъ, и Шлоссеромъ (переводомъ). Теперь начинай снова. Лучше-бы я провалялся все время на диванѣ, задравъ ноги въ потолокъ, — по крайней мѣрѣ, отдохнулъ-бы. Вѣдь это камень Сизифа. Я не плачу и не охаю, потому что „безумный плачетъ лишь отъ бѣдства, а умный ищетъ средства какъ дѣломъ горю пособить". Но нахожу, что такой порядокъ жизни глупъ, и нельзя же тратить свои силы безъ всякаго полезнаго результата. Я знаю, что сообразить все и выйти на дорогу—дѣло трудное; но знаю также, что тому, кто въ Петербургѣ, дѣло это легче, чѣмъ тому, кто въ Никольскѣ".

Въ январѣ 1876 г. Шелгуновъ, между прочимъ, пишетъ М. К. Цебриковой изъ Выборга: „Есть еще огорчающее обстоятельство чисто денежнаго свойства: хозяинъ обижаетъ въ разсчетѣ. Тяжело было мнѣ сказать это! Прежде, еще два года назадъ, даже годъ назадъ, языкъ не повернулся бы на такой цинизмъ; мы были носители священнаго огня, теперь же мы поденщики и батраки. Душа вся выворачивается,—такъ обидно".

Въ іюнѣ 1884 г., изъ Парголова — сыну: „Самое скверное, что у меня ни гроша и до сихъ поръ я еще не получалъ гонорара за майскую книжку. Скверно это потому, что мнѣ не на что уѣхать; а уѣхать я рѣшилъ на мельницу, ибо не ходить же по улицамъ и протягивать руку. Въ Петербургѣ мнѣ мѣста нѣтъ и дѣлать нечего. Начну молоть муку, разводить пчелъ да сажать капусту. Огорчаться всѣмъ этимъ нечего, ибо каждому человѣку наступаетъ въ жизни пора отставки. Ну, и въ нынѣшнемъ 1884 году наступаетъ моей журнальной службѣ ровно 25 лѣтъ. Все это, какъ видишь, въ порядкѣ вещей и даже по закону".

Какъ извѣстно, вскорѣ послѣ этого Шелгуновъ сталъ посто-

янно работать въ „Русской Мысли“, и „пора отставки“ наступила для него лишь въ день смерти. Мнѣ кажется, что этими немногими выписками изъ писемъ на значительный промежутокъ времени (1863—1884 гг.) хорошо характеризуется образъ только что скончавшагося писателя. Но въ поясненіе, для незнающихъ или не обратившихъ вниманія на подробности газетныхъ некрологовъ, не мѣшаетъ, можетъ быть, прибавить, что Шелгуновъ родился въ 1824 г. и воспитывался въ лѣсномъ институтѣ, въ которомъ впослѣдствіи былъ выдающимся профессоромъ. Его спеціальныя сочиненія: „Лѣсоводство для частныхъ владѣльцевъ“, „Исторія русскаго лѣсного законодательства“, „Лѣсная технологія“ и разныя мелкія статьи въ свое время высоко цѣнились свѣдущими людьми. Такимъ образомъ, предлагавшееся ему кѣмъ-то возвращеніе на путь учено-технической лѣсной литературы гарантировало ему кусокъ хлѣба, успѣхъ и почетъ, но онъ не хотѣлъ и думать объ этомъ. Онъ готовъ былъ стать кондитеромъ, булочникомъ, фотографомъ, акцизнымъ чиновникомъ, статистикомъ, готовъ былъ въ сорокъ слишкомъ лѣтъ приняться за изученіе медицины,—словомъ, не боялся никакого честнаго труда и никакимъ не брезгалъ (мимоходомъ сказать, онъ былъ недурнымъ столяромъ и любилъ это дѣло). Но къ труду литературному онъ относился съ особенными требованіями, которыя нынѣ многими признаются чрезмѣрными, свидѣтельствующими о нетерпимости. Литература была для него, какъ и всякій трудъ, ремесло, но не только ремесло. Онъ пошелъ бы, можетъ быть, къ Краевскому въ конторщики, какъ сталъ бы снимать въ своей фотографіи портреты съ Краевскаго и его сотрудниковъ, или печь для нихъ булки въ своей булочной, или доставлять имъ капусту изъ огорода; но предложеніе писать у Краевскаго оскорбляетъ его,—онъ принимаетъ его за насмѣшку. Въ литературѣ онъ не просто работникъ, а „носитель священнаго огня“. Я знаю, что по нынѣшнему времени слова эти кажутся многимъ напыщенною фразой, лишенною содержанія. Но что содерженіе въ нихъ было, объ этомъ свидѣтельствуетъ вся жизнь Шелгунова, и, выбирая изъ двухъ золъ меньшее, я радуюсь, что они кажутся безсодержательными и напыщенными только многимъ, а не всѣмъ. Многіе прейдутъ, я въ этомъ увѣренъ, а „священный огонь“ опять займетъ свое мѣсто.

Въ фельетонѣ „Новаго Времени“ я прочиталъ слѣдующія

строки: „Мы, старики шелгуновскаго возраста, гордо (но, въ скобкахъ сказать, необычайно глупо) ставимъ молодому поколѣнію свое постоянство въ убѣжденіяхъ. Вотъ, молъ, жилъ и писалъ около сорока лѣтъ и какъ въ первый, такъ и въ послѣдній моментъ писалъ одно и то-же". Затѣмъ фельетонистъ отъ имени „современной практической молодежи" объясняетъ, что она, эта молодежь, извѣрилась въ „Бѣлую Арапію", ибо таковой не существуетъ, и предъявляетъ еще много глубокомыслія, за которымъ, пожалуй, и любопытно было-бы прослѣдить, но это отвлекло-бы насъ далеко въ сторону. Я остановлюсь только на странномъ недоразумѣніи, заключающемся въ словахъ, поставленныхъ въ кавычкахъ. Если-бы человѣкъ въ теченіе сорока лѣтъ какъ въ первый, такъ и въ послѣдній моментъ, твердилъ, вопреки очевидности, что, напримѣръ, дважды два—стеариновая свѣчка, то было-бы дѣйствительно необычайно глупо ставить его въ образецъ, достойный подражанія. Мѣсто такого человѣка не въ переднемъ углу, который отводится уважаемымъ людямъ, а въ какомъ-нибудь пріютѣ для неизлечимыхъ больныхъ. Бываютъ, однако, случаи, когда сказать: „необычайно глупо"—еще не значитъ показать свой необычайный умъ, и даже напротивъ того. Таковъ именно данный случай. Автору фельетона не предстояло никакой надобности употреблять столь энергическое выраженіе, потому что Шелгунову воздаютъ должное не за то, что онъ твердилъ всю жизнь одинъ и тотъ-же очевидный вздоръ, и даже не за то, что онъ вообще одно и то-же твердилъ, а за то, что онъ всю жизнь оставался вѣренъ правдѣ. Не такой правдѣ, какъ дважды два—четыре, которая, въ качествѣ безспорной, очевидной, общепризнанной истины, не только безпрепятственно, а даже обязательно пропагандируется школьными учителями. Есть иная правда, въ которой очевидности, сложныя и сами по себѣ, осложняются еще возможностями, въ выработкѣ которой замѣшаны человѣческіе интересы, отстаивающіе себя даже вопреки всякимъ очевидностямъ. Гоббсъ говорилъ, что если-бы математическія аксіомы затрогивали человѣческіе интересы и страсти, такъ онѣ и до сихъ поръ составляли-бы предметъ горячихъ споровъ. И тутъ уже ничего не подѣлаешь. Мѣрило правды есть здѣсь внутреннее убѣжденіе, мѣрило нравственнаго достоинства—вѣрность этому убѣжденію. Подъ давленіемъ житейскаго опыта и критики, убѣжденія могутъ измѣняться (въ част-

ностяхъ они измѣнились и у Шелгунова); но если человѣкъ всецѣло и безкорыстно отдается своей новой правдѣ, онъ чистъ передъ людскимъ судомъ. Такъ понималъ дѣло и самъ Шелгуновъ, такъ понимаютъ его и тѣ, кого фельетонистъ энергически, но не вполнѣ умно обзываетъ необычайными глупцами. Если Шелгуновъ презиралъ „либералишекъ", мѣняющихъ свои убѣжденія, какъ дамы мѣняютъ модные костюмы, то не за самыя эти измѣненія, а за то постыдное легкомысліе или за тѣ корыстныя соображенія, по которымъ они совершаются. Откуда и куда такой либералишка перескочилъ,—изъ крѣпостниковъ въ якобинцы или, наоборотъ, изъ революціонеровъ въ сикофанты,—это безразлично. Важны мотивы и обстановка скачка. Точно такъ-же важны они и при оцѣнкѣ человѣка, всю жизнь вѣрнаго одной и той-же правдѣ. Въ этомъ отношеніи люди, чтущіе память Шелгунова, могутъ съ справедливою гордостью сказать: смотрите сами! Вы можете какъ угодно оцѣнивать ту правду, которой всю жизнь служилъ покойникъ, можете обзывать ее и „Бѣлою Арапіей", и просто вздоромъ,—это ваше дѣло. Мы можемъ когда-нибудь объ этомъ поспорить. Но извините меня, если я употреблю ваше собственное выраженіе, только болѣе умѣстно:—необычайно глупо издѣваться надъ такимъ высокимъ образчикомъ твердости убѣжденій, искренность которой засвидѣтельствована цѣлою жизнью. Поучитесь у Шелгунова хотя терпимости: онъ хвалилъ Ѳеню, а не издѣвался надъ ней...

Человѣкъ, придающій такое значеніе искренности и твердости убѣжденій, конечно, долженъ былъ смотрѣть на литературу какъ на носительницу „священнаго огня". Онъ могъ на старости лѣтъ выучиться шить сапоги и стать поставщикомъ обуви для Краевскаго и работавшихъ у него гг. Страхова, Щеглова, Вс. Крестовскаго и... какъ они еще тамъ назывались, но писать съ ними въ одномъ журналѣ не могъ, ибо для этого ему пришлось бы поступиться своими убѣжденіями, отказаться отъ своего свободнаго слова. Я разумѣю, конечно, не цензурныя условія, которыя были для Краевскаго съ гг. Страховымъ, Щегловымъ, Вс. Крестовскимъ и проч. сравнительно очень благопріятны. Русское печатное слово поставлено правительствомъ въ извѣстныя рамки, расширенія которыхъ мы можемъ желать, но которыя должны принять какъ данныя, не отъ насъ зависящія. Но есть еще другая сторона истинно свободнаго слова, которую, —

по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени,—мы, писатели, можемъ сами осуществить. Это—свобода внутренняя, свобода отъ всѣхъ сторонніхъ соображеній, кромѣ тѣхъ, которыя повелительно рекомендуются цензурнымъ уставомъ и цензурною практикой и которыя, какъ сказано, не отъ насъ зависятъ. Не свободно мое слово, если я вынесъ его на рынокъ и продаю тому, кто дастъ больше,—купившій такъ или иначе, прямо или косвенно, наложитъ на него свою руку, и тяжела бываетъ рука купившаго. Не свободно мое слово, если я изъ какихъ-бы то ни было видовъ желаю угодить властнымъ-ли людямъ, или безвластной толпѣ въ ея сегодняшнемъ настроеніи,—я могу, при извѣстныхъ благопріятныхъ условіяхъ, имѣть чрезвычайно свободный видъ, но это именно только одна видимость. Не свободно мое слово, если я подобенъ флюгеру, поворачивающемуся въ ту сторону, куда дуетъ вѣтеръ,—развѣ флюгеръ свободенъ, развѣ онъ, напротивъ того, не покорнѣйшій изъ рабовъ? Не свободно, наконецъ, мое слово, если оно направляется завистью, личною враждой, самолюбіемъ, легкомысленнымъ желаніемъ сказать непремѣнно „новое слово“, когда его нѣтъ въ запасѣ, или желаніемъ перещеголять всѣхъ конкурентовъ „консерватизмомъ“ и т. п. Въ самомъ дѣлѣ, припомните, напримѣръ, замѣтку „Развѣнчанный Некрасовъ“, о которой я говорилъ выше. Кажется, ужъ какъ свободно отнесся человѣкъ къ знаменитому поэту: что только его душенькѣ хотѣлось, то и навалилъ на гробъ покойника, не соображаясь ни съ дѣйствительными фактами, ни съ логикой, ни съ простымъ здравымъ смысломъ,—на что ужъ свободнѣе! А, между тѣмъ, возможно, что его истинныя убѣжденія, тамъ, въ глубинѣ души сидящія, не до такой уже степени нелѣпы, но его position oblige (я чуть-чуть не написалъ noblesse oblige, что было-бы большою ошибкой); совершенно постороннія обстоятельства обязываютъ его сказать что-нибудь покруче о Некрасовѣ, и потому вовсе онъ не свободенъ. Можетъ быть, даже кн. Мещерскій, столь, повидимому, свободно отнесшійся къ циркуляру училищнаго совѣта святѣйшаго синода, въ сущности, не убѣжденъ, что христіанское ученіе и консервативная политическая программа предписываютъ пороть дѣтей; но желаніе заскочить дальше далекаго мѣшаетъ ему свободно изложить свои истинныя убѣжденія. Позволю себѣ привести еще одинъ примѣръ, нѣсколько личнаго характера. Я прочиталъ въ одной изъ „Книжекъ Недѣли“ статью г. Единицы

о Глѣбѣ Успенскомъ. Очень тоже, повидимому, свободно написанная статья. Но это только такъ кажется, что видно уже изъ того, что въ статьѣ удѣлено мнѣ, пожалуй, столько-же мѣста, какъ и Успенскому. А обо мнѣ пространно излагается, что я глупъ, бездаренъ, невѣжественъ и не умѣю писать по-русски. Я почти увѣренъ, что это не есть истинное убѣжденіе „Недѣли“ и что, въ данномъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, слово почтенной газеты отнюдь не свободно отъ соображеній совершенно постороннихъ.

Свободное, въ указанномъ смыслѣ, слово почти неосуществимо, какъ общее правило, потому что слабъ человѣкъ. Но большее или меньшее приближеніе къ нему возможно, что доказывается фактами исторіи русской литературы, примѣрами людей, болѣе или менѣе послѣдовательно осуществлявшихъ своею жизнью свои высокія понятія объ обязанностяхъ литературы. И эти люди по-истинѣ могутъ называться „носителями священнаго огня“. Въ доброе старое дореформенное время быть такимъ носителемъ священнаго огня въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ было легче, чѣмъ въ наши многосложные, многотрудные дни. Конечно, и тогда существовали человѣческія слабости, вродѣ зависти, личнаго озлобленія, чрезмѣрнаго самолюбія, алчности,—существовали и отражались въ литературѣ, о чемъ слишкомъ хорошо свидѣтельствуютъ не только такія позорныя пятна на исторіи нашей литературы, какъ Булгаринъ, Гречъ, Сенковскій, но и другія, не столь явственно клейменныя, но въ своемъ родѣ не менѣе прискорбныя явленія. Существовала, однако, группа людей, достаточно привилегированная, матеріально обезпеченная и образованная, которая, посвящая себя литературѣ, уже самымъ положеніемъ своимъ была застрахована, по крайней мѣрѣ, отъ нѣкоторыхъ оскорбленій священному огню свободнаго слова. Обезпеченные наслѣдственнымъ добромъ, эти люди не знали работы изъ-за куска хлѣба и связанныхъ съ нею унизительныхъ условій рынка. Не было имъ надобности и угождать кому-бы то ни было, а обезпеченная готовыми хлѣбами, значительная, иногда даже блестящая образованность дозволяла имъ, еще до выступленія на литературное поприще, настолько оріентироваться въ вещахъ и идеяхъ, чтобы потомъ уже не шататься отъ дуновенія зефировъ и аквилоновъ. Но увы! всѣ эти благопріятныя для истинно-свободнаго слова обстоятельства коренились въ готовыхъ хлѣбахъ

крѣпостного права, борьба съ которымъ составляла высшую задачу тѣхъ самыхъ людей, которымъ она гарантировала священный огонь. Это внутреннее противорѣчіе не могло не дѣйствовать разлагающимъ образомъ. Были, однако, и въ то время люди, лишенные благопріятной обстановки, и, тѣмъ не менѣе, высоко державшіе знамя литературы. Таковъ Бѣлинскій. Вотъ человѣкъ истинно-свободнаго слова, даже въ противорѣчіяхъ своихъ идеально-благородно умѣвшій сочетать ремесло съ несеніемъ священнаго огня! Но для большинства такое сочетаніе не подъ силу. И потому, когда съ паденіемъ крѣпостного права, съ одной стороны, сократились рессурсы бывшихъ господъ, а съ другой— на общественную, въ томъ числѣ и на литературную арену хлынула масса новыхъ людей, и литература стала для многихъ ремесломъ, профессіональнымъ источникомъ пропитанія, образовались два теченія. Явились новые люди свободнаго слова, матеріально хуже предыдущаго литературнаго поколѣнія обставленные, но за-то и безъ наслѣдственнаго рабовладѣльческаго пятна; однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, рыночная конкурренція даетъ свои обычные непріятные эффекты, и даже болѣе, чѣмъ обычные, вслѣдствіе особенныхъ условій литературнаго рынка: нѣкоторые товары время отъ времени съ него удаляются внѣшними обстоятельствами. При этомъ многимъ и многимъ, мало талантливымъ или нравственно-нестойкимъ, или распаленнымъ чрезмѣрными аппетитами, оказывается не до священнаго огня, не до свободнаго слова. Нѣкоторые изъ нихъ не имѣютъ никакихъ убѣжденій, а только „владѣютъ перомъ“; это—чистокровные наемники, безъ всякой внутренней борьбы, безъ всякаго насилія надъ собой строчащіе по заказу того или другого поставщика печатныхъ произведеній на рынокъ. А поставщики эти въ свою очередь обдѣлываютъ свои собственныя дѣлишки при помощи литературы: кому нужно шести-этажный домъ выстроить, кому — консерватизмомъ или „новымъ словомъ“ ослѣпительно блеснуть и т. д. Есть, однако-же, и такіе, въ которыхъ сохранились убѣжденія или нѣчто подобное имъ, но слово ихъ не свободно, благодаря все той-же сложной сѣти условій литературнаго рынка. Такъ или иначе, они продались, и „горе грѣшнику, на двѣ стези ходящу!“ Если они, на поверхностный взглядъ, чрезвычайно свободно изрыгаютъ хулу на свои былыя вѣрованія, въ негодности которыхъ они, однако, вовсе не убѣждены, и громогласно, стараясь пере-

кричать всѣхъ конкуррентовъ, поютъ хвалу идеямъ и вещамъ, въ достоинствахъ которыхъ тоже не убѣждены,—такъ развѣ это свобода? Пользуясь обстоятельствами, напримѣръ, тѣмъ, что ихъ былыя вѣрованія находятся нынѣ не въ авантажѣ, они срываютъ свою личную злобу и вообще обдѣлываютъ свои маленькія дѣлишки, но это не свободное слово, а растлѣніе нравовъ. Негодовать на это растлѣніе, брезгливо сторониться отъ него—не значитъ быть нетерпимымъ. Нетерпимость прямо враждебна свободѣ слова, а тутъ, какъ видите, все дѣло именно въ требованіи свободнаго слова какъ отъ себя, такъ и отъ другихъ.

Мнѣ хочется извлечь изъ писемъ Шелгунова еще одну любопытную черту, болѣе личнаго свойства, но хорошо его характеризующую, какъ человѣка, да и не лишенную нѣкотораго общаго значенія.

Въ моемъ распоряженіи есть нѣсколько тетрадей писемъ покойнаго писателя къ любимой дѣвушкѣ, ставшей потомъ его невѣстой и, наконецъ, женой. Первыя тетради относятся еще къ сороковымъ годамъ. Нѣкоторыя изъ нихъ состоятъ не собственно изъ писемъ, а изъ дневниковъ или „журналовъ“ въ эпистолярной формѣ. Въ большинствѣ, это обыкновенныя любовныя посланія, переполненныя страстными признаніями, ласковыми словами, обѣщаніями и требованіями вѣрности и проч. Я, конечно, не трону этихъ столько-же обыкновенныхъ, сколько интимныхъ сторонъ переписки. Я прошу только читателя помнить, что это писано въ сороковыхъ годахъ и совсѣмъ молодымъ человѣкомъ.

Въ одной изъ тетрадей, между прочимъ, написано: „Супружескія обязанности, налагаемыя Богомъ и закономъ людей на супруговъ, меня пугаютъ; я слишкомъ уважаю невинность и дѣвственную чистоту и полагаю, что первое сближеніе супруговъ, которое, по моему физическому и нравственному устройству, никогда не можетъ лишить меня сознанія и отуманить совершенно мою голову, испугаетъ меня; мнѣ кажется, что это сближеніе оскорбитъ нѣкоторымъ образомъ женщину, не въ ея собственныхъ понятіяхъ, а во взглядѣ на нее мужчины, который видитъ въ ней не женщину-человѣка, а женщину-ангела; матеріальное сближеніе прямо говоритъ: это женщина-плоть, а не женщина-духъ, а я ищу духа, а не плоти. Что дѣлать мнѣ? Какъ согласить свои понятія съ закономъ? А, между тѣмъ, не забудьте борьбу духа и плоти, которую мнѣ придется испытывать по-

стоянно. Не надобно быть пророкомъ, чтобы угадать, что плоть восторжествуетъ надъ духомъ, и тогда... что тогда? И тогда нужно понимать непремѣнно, что связь супруговъ выражается хотя и въ матеріальномъ ихъ сближеніи, однако духовность есть начало, причина и вина всего,—нужно понимать, что не духъ живетъ для плоти, а плоть для духа,—и сближеніе супруговъ совершается не для ихъ лица, а для выполненія закона божескаго, слѣдовательно, для цѣли болѣе высшей, чѣмъ обыкновенное безсознательное сближеніе многихъ людей и всѣхъ животныхъ. Л—а, я не извиняюсь передъ вами за сегодняшній журналъ, потому что я пишу къ вамъ не какъ къ Л—ѣ дѣвственницѣ, а какъ къ Л—ѣ женѣ. Вамъ должны быть извѣстны мои взгляды на бракъ, цѣль котораго заключается въ высокой обязанности человѣка произвести себѣ подобнаго и сдѣлать его достойнымъ имени человѣка, существа духовно-разумнаго".

Мотивъ этотъ еще повторяется въ „журналахъ";—очевидно, этотъ щекотливый пунктъ очень мучилъ юнаго Шелгунова. Сквозь наивнодоктринерскій тонъ и запутанную неумѣлую аргументацію, изъ этихъ строкъ смотритъ на васъ такая чистая душа, съ которою очень полезно познакомиться всѣмъ, смущеннымъ „Крейцеровою сонатой". Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь есть какъ-будто нѣчто общее съ рѣчами Позднышева,—то-же опасливо-брезгливое отношеніе къ плотской любви. Но какая, вмѣстѣ съ тѣмъ, огромная, неизмѣримая разница! Начать съ того, что Позднышевъ есть, по его собственному сознанію, развратникъ, многое въ жизни испытавшій и никогда ничего, кромѣ чисто-животнаго влеченія, къ своей женѣ не питавшій. Онъ опомнился только послѣ страшной катастрофы и, можетъ быть, уже на склонѣ лѣтъ, когда въ немъ уже совсѣмъ потухъ огонь животной страсти и когда ему, значитъ, было очень легко превратиться въ того diable qui prêche la morale. А еще хвалится, что добрался до высшей моральной истины! Въ сущности, онъ съ высоты этой моральной истины дѣлаетъ то-же самое, что дѣлаетъ человѣкъ, отказывающійся отъ наслѣдства, на которомъ лежатъ долги, въ суммѣ превышающіе цѣнность самаго наслѣдства,—не особенно великодушный поступокъ. А, между тѣмъ, обжегшись на своемъ молокѣ, Позднышевъ дуетъ и на чужую воду,—обвиняетъ все человѣчество поголовно въ развратѣ, а природу—въ неестественности, и не находитъ лучшаго выхода, какъ уничтоженіе человѣческаго рода...

Уже въ первомъ изъ предлагаемымъ набросковъ я говорилъ о томъ, что хотя въ фактическихъ показаніяхъ Позднышева много горькой правды, но, во-первыхъ, это не полная правда, а во-вторыхъ, изъ нея слѣдуютъ совсѣмъ не тѣ выводы, которые дѣлаетъ Позднышевъ. И вотъ подтвержденіе. Шелгуновъ, еще молодой офицеръ, недавно разставшійся со школьною скамьей, при томъ страстно влюбленный въ свою невѣсту, умѣетъ-же подчинить свою физику своей психикѣ и, отнюдь не проклиная животнаго инстинкта, одухотворить его. Я не говорю, разумѣется, чтобы это было очень обыкновенное явленіе. Напротивъ, условія нашей жизни вообще и нашего школьнаго воспитанія въ особенности дѣлаютъ его рѣдкостью. Но если фактъ существованія немногихъ праведниковъ могъ повести къ спасенію цѣлаго грѣшнаго города, то хотя-бы и немногіе факты того разряда, къ которому относится приведенное письмо Шелгунова, могутъ, по крайней мѣрѣ, оградить человѣческую природу отъ хулы, въ особенности отъ хулы со стороны пресыщенныхъ развратниковъ, вродѣ Позднышева. Не правда, что человѣкъ есть безнадежное животное, которому только и остается, что освободить лицо земли отъ своего позорнаго существованія. Возможны пышные и яркіе психологическіе цвѣты на стеблѣ, выросшемъ изъ физіологическихъ корней. Не смѣетъ всякій развратникъ или просто несчастный человѣкъ обобщать свой личный опытъ до размѣровъ клеветы на человѣчество...

И еще маленькая разница. Маленькая! Шелгуновъ видитъ цѣль брака въ томъ, чтобы „произвести себѣ подобнаго и сдѣлать его достойнымъ имени человѣка, существа духовно-разумнаго“. Я не раздѣляю этого мнѣнія. Цѣли природы намъ неизвѣстны, неизвѣстно даже, существуютъ-ли онѣ, а съ человѣческой точки зрѣнія потомство есть не цѣль, а послѣдствіе брака,— послѣдствіе, которое должно быть встрѣчено съ подобающимъ сознаніемъ его огромнаго значенія. Но мнѣніе, высказанное въ сороковыхъ годахъ юнымъ офицеромъ Шелгуновымъ и, конечно, многими и многими гораздо раньше его, было еще не такъ давно повторено гр. Л. Н. Толстымъ. Особенность графа состояла лишь въ томъ, что онъ именно женщинѣ усвоивалъ функцію дѣторожденія, какъ единственную и исключительную цѣль жизни. Впрочемъ, и это давно сказано, отнюдь, впрочемъ, не Шелгуновымъ, который предоставлялъ женщинѣ широкую дѣя-

гельность. Сказано это разными книжниками добраго стараго времени, да и всѣмъ этимъ добрымъ старымъ временемъ въ его цѣлокупности. Какъ-бы то ни было, Позднышевъ не хочетъ знать приведеннаго мнѣнія графа Толстого. Идеалъ женщины для него не мать, всецѣло поглощенная своими материнскими обязанностями, а, напротивъ того, старая дѣва. Что-же касается потомства, то его не нужно, а нуженъ, напротивъ, рѣшительный отказъ отъ дурной и „неестественной" привычки производить дѣтей, нужно прекращеніе человѣческаго рода...

Я кончилъ съ письмами Шелгунова. Теперь не время продолжать изъ нихъ извлеченія, какъ-бы они ни были поучительны. Я не прощаюсь, однако, съ этимъ милымъ моему сердцу, благороднѣйшимъ человѣкомъ и еще вернусь къ нему, когда позволятъ обстоятельства.

А теперь, разъ зашелъ разговоръ о Позднышевѣ, мнѣ хочется его кончить или, по крайней мѣрѣ, продолжить собственно для выясненія одной подробности. Подробность эта такова, однако, что охватываетъ собою если не вселенную, то земной шаръ и человѣчество.

Не отступая передъ мыслью о прекращеніи человѣческаго рода, Позднышевъ мотивируетъ эту свою храбрость, между прочимъ, тѣмъ, что вѣдь многія философскія и многія научныя теоріи разсуждаютъ либо объ исчезновеніи человѣческаго рода съ лица земли, либо о прекращеніи бытія этого самаго лица земли; почему-же ему, Позднышеву, отступать предъ этимъ фактомъ будущаго, неизбѣжность котораго признается съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія? Дѣйствительно, физики, астрономы, философы разныхъ системъ и оттѣнковъ, наконецъ, простые люди, чуждые всякой наукѣ, говорятъ о концѣ міра. И какъ-же, спрашивается, быть со всѣми нашими идеалами въ виду этого конца міра, какъ подойти къ нему? Есть люди, возлагающіе въ трудныхъ вопросахъ всѣ надежды на успѣхи техники: дескать, изобрѣтемъ такія смертоносныя орудія, что страшнѣе страшнаго, и войны прекратятся; откроемъ способъ искусственнаго приготовленія бѣлковины, и аграрный вопросъ упразднится, и т. п. Какъ-бы мы ни относились къ этимъ надеждамъ, но въ данномъ случаѣ на техническій идеалъ разсчитывать не приходится. Трудно, въ самомъ дѣлѣ, допустить, чтобы техника, какъ-бы далеко она ни пошла, сумѣла предотвратить конецъ міра; этотъ техниче-

скій идеалъ недостижимъ. Но вовсе не трудно представить себѣ, что человѣчество встрѣтитъ свой конецъ въ доспѣхахъ общественнаго идеала, воплощенія правды. Это именно и имѣетъ въ виду Позднышевъ: онъ хочетъ, чтобы человѣчество подошло къ своему неизбѣжному концу путемъ нравственнаго ученія, зиждущагося на преодолѣніи половой страсти. Въ этомъ онъ полагаетъ свою оригинальность. Но онъ ошибается. Я думаю даже, что онъ втайнѣ почитываетъ кое-какія книжки, изъ которыхъ и почерпнулъ свою общую идею, уснастивъ ее нѣкоторыми собственными украшеніями. А можетъ быть, впрочемъ, онъ и своимъ умомъ дошелъ до открытія Америки. Это тоже бываетъ. Укажу для примѣра на Прудона, который въ „Системѣ экономическихъ противорѣчій“ утверждаетъ, что напряженность половой страсти и способность дѣторожденія должны, вмѣстѣ съ развитіемъ общественности, постепенно ослабѣвать. Мысль эта играетъ существенную роль въ его опроверженіи теоріи Мальтуса. А въ книгѣ его „Объ искусствѣ“ есть слѣдующія поэтическія слова: „Человѣчество когда-нибудь кончится, говорятъ нѣкоторые; земля, служившая ему колыбелью, сдѣлается для него гробницей. Я могу допустить, что планета наша можетъ состариться, хотя я этого и не знаю; я допускаю это потому, что планета—не духъ, не совѣсть и не свобода; но, въ такомъ случаѣ, человѣчество, постепенно уменьшаясь вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій почвы, уничтожится, такъ сказать, добровольно, не истощившись, а перейдя въ высшую духовность. Достигнувъ совершенства, человѣкъ кончится. Достигнувъ высшей ступени сознанія, пониманія свободы и своего достоинства, въ виду истощенной, дряхлой природы, ставшей ниже его, одухотворенный человѣкъ, безъ сожалѣнія къ своей неудавшейся судьбѣ, долженъ будетъ согласиться съ необходимостью и завѣщать свою душу болѣе юному міру“.

Мнѣ кажется, что мысль Прудона, въ связи съ вышесказаннымъ, станетъ яснѣе, если мы прибѣгнемъ къ аналогіи съ судьбами единичнаго человѣка. Никакая техника не въ состояніи сдѣлать человѣка безсмертнымъ въ прямомъ смыслѣ этого слова, и технической идеалъ можетъ состоять въ этомъ отношеніи только въ большемъ или меньшемъ отдаленіи момента смерти. Но идеалу нравственному нѣтъ до этого никакого дѣла. Онъ долженъ выработать такое общее направленіе жизни, которое, удовлетворяя требованіямъ чести и совѣсти, вмѣстѣ съ тѣмъ

дозволило-бы встрѣтить неизбѣжный смертный конецъ спокойно и непостыдно, безъ страха и упрека. Я теперь говорю это только въ видѣ иллюстраціи и постараюсь когда-нибудь вернуться къ этому любопытному сюжету.

Что касается постепенной убыли способности дѣторожденія, то объ этомъ читатель можетъ найти хорошо сгруппированныя указанія въ послѣднихъ главахъ „Основаній біологіи“ Спенсера. Позволю себѣ также напомнить мою „Борьбу за индивидуальность“, гдѣ говорится объ убыли не только способности дѣторожденія, но и половой страсти, при условіи ослабленія общественнаго раздѣленія труда вообще, раздѣленія труда мужского и женскаго въ частности. Я полагаю, что преувеличенный жаръ половой страсти долженъ убывать по мѣрѣ того, какъ мужчина будетъ утрачивать тѣ спеціальныя черты „мужественности“, которыя завѣщаны періодомъ исключительно боевой жизни, а женщина, путемъ образованія и сознательнаго участія въ общественной жизни, отдѣлается отъ столь-же спеціальныхъ чертъ „женственности“,—по мѣрѣ того, словомъ, какъ и мужчина, и женщина будутъ становиться людьми.

Итакъ, я ничего не имѣю противъ общей идеи Позднышева. Напротивъ, считаю ее вполнѣ правильною и плодотворною. Но, кромѣ тѣхъ общихъ причинъ, которыя Позднышеву все дѣло портятъ и о которыхъ я говорилъ уже въ другомъ мѣстѣ, а потому теперь распространяться не буду, теорія нравственнаго подготовленія къ концу міра испорчена грубѣйшею ошибкой исторической перспективы.

Тотчасъ вслѣдъ за мыслью о возможности прекращенія человѣческаго рода и въ связи съ ней, Позднышевъ выражаетъ свое негодованіе по поводу отношенія общества къ положенію старой дѣвы. Ему кажется, что это положеніе прекрасно, — лучшее и счастливѣйшее, какое только возможно для женщины. Въ частности онъ негодуетъ на то, что дѣвушки выходятъ замужъ „за негодяевъ“, лишь-бы не остаться дѣвой, то есть „высшимъ существомъ“. Безъ сомнѣнія, очень прискорбно, когда дѣвушки выходятъ замужъ не потому, что любятъ, а потому единственно, что боятся остаться „въ дѣвкахъ“. Дѣлается-ли это въ виду злыхъ и глупыхъ насмѣшекъ надъ старыми дѣвами, или ради обезпеченія себѣ куска хлѣба,—оно во всякомъ случаѣ прискорбно. И сугубо прискорбно, когда дѣвушки выходятъ при

этомъ еще „за негодяевъ“, а не за порядочныхъ людей, которые вѣдь все-таки существуютъ на бѣломъ свѣтѣ. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы положеніе старой дѣвы было лучшее и счастливѣйшее. Нѣтъ, вообще говоря,—потому что есть, конечно, исключенія,—оно очень печально и совершенно ненормально. До такой степени печально и ненормально, что всякіе комплименты этому положенію звучатъ оскорбительною и, при томъ, незаслуженною насмѣшкой,—въ особенности въ устахъ Позднышева, который не вѣритъ даже тому, что дѣвушка можетъ хотѣть учиться безъ задней мысли о женихахъ. Поневолѣ опять и опять вспомнишь Салтыкова, который, по крайней мѣрѣ, не хуже Позднышева понималъ терніи современнаго брака и семьи, но понималъ также, что положеніе старой дѣвы отнюдь не лучшее и счастливѣйшее. Въ разсказахъ „Христова невѣста“, „Полковницкая дочь“ онъ отнесся къ этимъ неудачницамъ съ такою теплою и гуманною скорбью, въ сравненіи съ которою комплименты Позднышева поражаютъ своимъ холоднымъ безсердечіемъ.

Но главное дѣло для насъ здѣсь не въ нравственныхъ качествахъ Позднышева, а въ той будто-бы логической связи, которую онъ устанавливаетъ между нравственнымъ ученіемъ, долженствующимъ подготовить насъ къ концу міра, и положеніемъ старой дѣвы въ теперешнемъ обществѣ. Въ этомъ-то и состоитъ грубая ошибка исторической перспективы. Одно дѣло постепенная убыль напряженности половой страсти въ ряду поколѣній и при извѣстныхъ благопріятствующихъ этому соціальныхъ условіяхъ и совсѣмъ другое дѣло отказъ отъ любви сейчасъ, когда она составляетъ для огромнаго, подавляющаго большинства людей естественную потребность, настоятельно и правомѣрно ищущую удовлетворенія. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ ожиданіе и историческую выработку извѣстнаго измѣненія человѣческой природы, во второмъ—прямое насиліе надъ ней, грубое, ничѣмъ не оправдываемое и, въ концѣ-концовъ, просто недостижимое. Позднышевъ можетъ ставить эти двѣ столь различныя вещи за одну скобку, собственно потому, что онъ, какъ развратникъ, не представляетъ себѣ возможности любви, одухотворенной нравственнымъ единеніемъ. Но для всякаго, въ комъ разумъ и сердце не выѣдены развратомъ, ясно, что положеніе старой дѣвы въ теперешнемъ обществѣ не имѣетъ рѣшительно ничего общаго съ тѣмъ идеальнымъ общественнымъ строемъ далекаго будущаго, въ

которомъ половая страсть доведена до возможнаго minimum'а. Для достиженія этого идеала нужно не насильственное подавленіе естественной потребности, — напротивъ, „жизнью пользуйся живущій“, настояще пользуйся, не впадая ни въ мрачный аскетизмъ, ни въ необузданный развратъ. Если исковеркана жизнь Позднышева и его жены, взаимныя отношенія которыхъ исчерпывались животною страстью, то въ своемъ родѣ не менѣе искалѣчена жизнь старой дѣвы, не испытавшей радостей, которыми Позднышевъ, по развращенности своей, злоупотребилъ. И если онъ, ad majorem gloriam старой дѣвы, ссылается на отдаленное будущее, когда любовь утратитъ теперешнее свое острое значеніе, то это не болѣе, какъ грубая ошибка исторической перспективы.

Въ одномъ періодическомъ изданіи я прочиталъ обѣщаніе подробно поговорить о моихъ „воспоминаніяхъ“ „послѣ ихъ окончанія“. Милостивые государи, если мои „воспоминанія“ настолько обратили на себя ваше вниманіе, что вы предполагаете подвергнуть ихъ своему страшному или милостивому суду, то вы можете сдѣлать это немедленно, не дожидаясь окончанія, ибо не только этого окончанія, а, можетъ быть, и продолженія ихъ не будетъ.

Если благосклонный читатель припомнитъ, я былъ натолкнутъ смертью Г. З. Елисеева на литературныя воспоминанія, но тогда-же оговорился, что отнюдь не обязуясь только вспоминать.

„Много еще похоронъ вы увидите“, — писалъ мнѣ однажды Салтыковъ, опасаясь за жизнь Елисеева, который былъ въ то время очень боленъ. Не знаю, много-ли еще похоронъ мнѣ остается увидать, но знаю, что я ихъ за послѣднее время видѣлъ уже слишкомъ достаточно, чтобы почувствовать, кромѣ горечи личныхъ потерь, живѣйшую скорбь за сиротѣющую русскую литературу. Да простятъ мнѣ молодые и только числящіеся молодыми (есть и такіе) писатели, но ихъ присутствіе не разубѣждаетъ меня въ сиротствѣ литературы. Дѣло не въ талантахъ, которые есть, пожалуй, и теперь, но которые сами по себѣ не въ силахъ измѣнить печальное положеніе вещей. Есть между нынѣшними талантами и довольно крупные. Въ другое время они, вѣроятно, расцвѣли-бы яркимъ цвѣтомъ. Но такова нынѣ общая атмосфера, что они или зря разбрасываются, или вянутъ, не

успѣвши расцвѣсть. А эта мертвящая общая атмосфера послѣднихъ годовъ характеризуется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что литература и жизнь обнаруживаютъ, каждая съ своей стороны, рѣзкую тенденцію отлучиться другъ отъ друга, разорвать ту естественную цѣпь, которая въ принципѣ должна ихъ связывать. Есть факты болѣе печальные сами по себѣ, чѣмъ это взаимное отлученіе, но, можетъ быть, нѣтъ факта болѣе чреватаго печальными послѣдствіями. Многое здѣсь опредѣляется чисто внѣшними неблагопріятными условіями и можетъ измѣниться лишь съ измѣненіемъ этихъ условій. Но слишкомъ часто бываетъ, что элементы, страдающіе отъ внѣшнихъ условій, съ холопскою торопливостью сами забѣгаютъ впередъ, на встрѣчу своему несчастью, позору или безсилію. И если біеніе пульса жизни все слабѣе и слабѣе чувствуется въ литературѣ, а сообразно этому блѣднѣетъ и роль литературы въ жизни, то значительная часть отвѣтственности за этотъ ненормальный порядокъ вещей лежитъ на насъ, писателяхъ. Какъ-бы ни были тяжелы обстоятельства, но всегда можно, по крайней мѣрѣ, бережно относиться къ наслѣдію прошлаго, дабы хоть его передать въ неприкосновенности будущему. Если кто чувствуетъ себя въ силахъ приростить это наслѣдство новыми, оригинальными вкладами, — прекрасно. Но это возможно лишь на почвѣ общенія литературы и жизни, каковое общеніе уже было достигнуто. Убыль людей, воспитанныхъ на этой почвѣ, а частью даже создавшихъ ее, или, по крайней мѣрѣ, вложившихъ въ нее весь трудъ своей жизни, естественно вызываетъ воспоминанія. Но та-же убыль, и столь-же естественно, наводитъ на разныя размышленія о явленіяхъ текущей литературы и жизни. Одинъ рецензентъ попрекнулъ меня обиліемъ отклоненій отъ моей задачи, которая, дескать, состоитъ въ литературной автобіографіи. За-то другой рецензентъ обвинилъ, напротивъ, въ обиліи мелочныхъ автобіографическихъ подробностей. На всѣхъ не угодишь, и я меньше всего думаю о томъ, чтобы угодить кому-бы то ни было.

Въ предисловіи къ своей, мало у насъ извѣстной, но достойной всякаго вниманія „Geschichte der russischen Literatur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit“, Рейнгольдтъ говоритъ, между прочимъ: „Въ послѣдніе годы интересъ Европы къ русской духовной культурѣ достигъ почти баснословныхъ размѣровъ. Юліанъ Шмидтъ, Георгъ Брандесъ, де-Вогюэ, де-Губерна-

тисъ и множество другихъ корифеевъ европейской критики въ пламенныхъ выраженіяхъ изливаютъ свое изумленіе и восторгъ. Особенно поразительно слѣдующее признаніе серьезнѣйшаго и осторожнѣйшаго изъ французскихъ критиковъ, де-Вогюэ: „Начало XIX вѣка возбудило въ насъ новыя потребности. Но всѣ наши собственные фонды оказались уже изсякшими. Мы сдѣлали займы въ Англіи и Германіи, и литература вновь оживилась. Теперь для Франціи опять наступило время голода и анеміи. Русскіе во-время пришли къ намъ на помощь. Тѣмъ, кто стѣсняется заимствовать что-нибудь у „варваровъ", напомнимъ, что міръ есть гигантское общество взаимной поддержки и любви. Въ коранѣ есть превосходное указаніе: „По какому признаку можно будетъ узнать приближающійся конецъ міра? Въ тотъ день ни одна душа не будетъ способна помочь другой душѣ". Пусть-же русская душа помогаетъ нашей!" И не по случайному совпаденію другой французъ, Сарсэ, говоритъ то же самое: „Еще никогда не оправдывались въ такой мѣрѣ слова, часто повторявшіяся въ XVIII вѣкѣ: съ сѣвера идетъ къ намъ свѣтъ". Все это относится спеціально къ новѣйшимъ тріумфамъ русскаго реалистическаго романа (которому, мимоходомъ сказать, уже тридцать лѣтъ отъ роду). Этотъ романъ, конечно, можетъ быть названъ украшеніемъ всемірной литературы. Но изученіе русской литературы открываетъ ея тріумфы и на другихъ поприщахъ. „Колеблющаяся русская душа,—превосходно говоритъ де-Вогюэ,—прошла черезъ всѣ философскія ученія и заблужденія. Она остановилась на нигилизмѣ и пессимизмѣ... Но этотъ нигилизмъ никогда не принимался безъ горечи, эта душа никогда не оставалась нераскаянной. Она стонала и искала"... „Если,—продолжаетъ Рейнгольдтъ,—намъ удалось въ нашей книгѣ прослѣдить этотъ процессъ исканія истины, невольныхъ заблужденій и дѣятельной любви, то мы достаточно вознаграждены за свой трудъ".

Очень лестный букетъ поднесенъ нашей литературѣ Рейнгольдтомъ. Но все очень лестное, вмѣстѣ съ тѣмъ, немножко страшно, потому что налагаетъ большія обязанности, а сможемъ-ли и захотимъ-ли мы ихъ выполнить? Въ словахъ де-Вогюэ заключается какъ-бы подтвержденіе того противопоставленія мощи русскаго духа „гнилому Западу", которое когда-то играло большую роль въ нашей литературѣ. Слава Богу, сколько-нибудь громкихъ и вообще значительныхъ голосовъ на эту тему не слы-

хать нынѣ. Слава Богу, потому что нѣтъ ничего хуже самообмана, преувеличенной оцѣнки своихъ собственныхъ силъ. Чрезмѣрное самовосхищеніе не прошло даромъ даже такому красавцу, какъ Нарцисъ, а вѣдь не красавцы-же мы, въ самомъ дѣлѣ. Самообманъ въ свое время дорого намъ обошелся. Съ другой стороны, Западъ, конечно, нисколько не гніетъ и нравственные фонды его отнюдь не изсякли. Напротивъ, все заставляетъ думать, что эти фонды находятся наканунѣ новаго, вполнѣ самостоятельнаго, изъ нѣдръ самой европейской жизни истекающаго подъема. Въ ожиданіи его, литературы великихъ европейскихъ народовъ дѣйствительно переживаютъ кризисъ, при чемъ не безъ вліянія оказываются оригинальныя явленія чуждыхъ литературъ, каковы нѣкоторые русскіе писатели или норвежецъ Ибсенъ. Но принимать расточаемыя намъ любезности à la lettre было-бы очень рискованно, въ особенности любезности французовъ, запутанныхъ искусственными и временными международными отношеніями. Но и помимо этого щекотливаго спеціальнаго пункта, большинство вліятельныхъ европейскихъ критиковъ, будучи плотью отъ плоти и кровью отъ крови извѣстнаго общественнаго слоя, при всѣхъ своихъ талантахъ, далеко не всегда вѣрно оцѣниваютъ всѣ рессурсы европейской жизни, такъ что со стороны даже виднѣе.

Несомнѣнно, однако, что русская литература не лыкомъ шита, что ей есть чѣмъ гордиться передъ цѣлымъ міромъ. Не только свѣта, что въ окошкѣ, не только то русская литература, что гаерски кувыркается, злобно клевещетъ, живетъ въ лѣсу, молится пенью и надъ святымъ издѣвается, и „Христа своего распинаетъ, и отчизну свою продаетъ“. Есть въ русской литературѣ не только брилліанты-солитеры огромной цѣнности, одиноко блещущіе несравненною красотой своихъ граней, а и цѣлыя теченія, въ которыхъ принимали участіе и большія, и среднія, и малыя силы, и которыя, конечно, не посрамятъ земли Русской. „Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку „Отечественныхъ Записокъ“. Я литераторъ, говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ рассейской моя жизнь и моя кровь“. Такъ писалъ Бѣлинскій въ одномъ частномъ письмѣ и всею своею жизнью засвидѣтельствовалъ, что это не фраза была. Европа, конечно, никогда не узнаетъ сочиненій Бѣлинскаго такъ, какъ знаемъ

или, по крайней мѣрѣ, можемъ и должны знать мы, да и незачѣмъ ей знать. Но мы и ей можемъ съ гордостью показать самого Бѣлинскаго и разсказать тотъ процессъ его „исканія истины, невольныхъ заблужденій и дѣятельной любви“, о которомъ говоритъ Рейнгольдтъ. Бѣда, однако, въ томъ, что мы часто сами не знаемъ работниковъ, мучениковъ и героевъ своей литературы, не знаемъ ея исторіи. Говорю это не только о массѣ читателей, но и о многихъ писателяхъ. Отсюда и происходитъ, что въ текущей литературѣ такъ часто комически-развязно открываются давно открытыя Америки и нагло третируются такія явленія давняго или недавняго прошлаго, которыя заслуживаютъ самаго почтительнаго отношенія. Нерѣдки также огульныя сужденія, уже самою своею огульностью свидѣтельствующія о маломъ знакомствѣ автора съ предметомъ его бесѣды. Это непозволительное незнаніе исторіи родной литературы особенно сказывается по отношенію къ новой литературѣ, къ той, которая, по своей ли новости, или по другимъ причинамъ, еще не попала въ школьные учебники. Со старою литературой мы хотя и плохо, но все-таки кое-какъ знакомимся въ школахъ; сегодняшнюю литературу не то чтобы знаемъ, но все-таки почитываемъ, а вчерашняго дня уже совсѣмъ не знаемъ. Частью это объясняется тѣми катаклизмами, которыя у насъ нерѣдко отдѣляютъ вчерашній день отъ сегодня. Для массы читателей это, пожалуй, даже не только объясненіе, а и оправданіе. Но для писателей такое оправданіе не существуетъ. Они обязаны знать своихъ предшественниковъ на литературномъ поприщѣ; знать не диллетантски, а съ проникновеніемъ въ самую суть ихъ духовной жизни и во всѣ подробности той иногда очень тяжкой внутренней борьбы и борьбы съ обстоятельствами, которую имъ пришлось вытерпѣть при выработкѣ идей, ставшихъ, можетъ быть, теперь ходячею размѣнною монетой. Знать это, конечно, не мѣшаетъ и не писателямъ по профессіи, а просто читателямъ.

Заимствую изъ недавно вышедшей книги г. Скабичевскаго „Исторія новѣйшей русской литературы (1847—1890)“ слѣдующія біографическія, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и историко-литературныя подробности объ А. Н. Островскомъ.

Въ 1847 г. была напечатана въ „Москвитянинѣ“ пьеса Островскаго „Свои люди — сочтемся“. Первоначально она называлась „Банкротъ“, но это названіе почему-то не понравилось цензурѣ,

Пьеса произвела большое впечатлѣніе. Садовскій чуть не ежедневно читалъ ее въ обществѣ; но о постановкѣ ея на сцену не было, повидимому, и рѣчи, потому что и безъ того „московскіе купцы сильно оскорбились пьесою, пожаловались Закревскому (тогдашнему генералъ-губернатору), который призналъ ее вредной и оскорбительной для цѣлаго сословія, донесъ куда слѣдуетъ, и автора взяли подъ надзоръ полиціи, а о комедіи запретили говорить въ журналахъ“. По весьма вѣроятному предположенію г. Скабичевскаго, эта опала сильно смутила драматурга, потому что онъ, обнаружившій впослѣдствіи такую плодовитость, на нѣсколько лѣтъ замолкъ послѣ неудачи съ „Банкротомъ“. Въ 1853 г. написана комедія „Не въ свои сани не садись“. Когда предстояла постановка этой пьесы на петербургской сценѣ, „въ администраціи возбужденъ былъ вопросъ, не слѣдуетъ-ли снять ее со сцены, такъ какъ въ ней опозоривается дворянство на счетъ купечества, и театральное чиновничество сильно перетрусило, когда на первое представленіе явился самъ императоръ съ своимъ семействомъ. Но императоръ Николай Павловичъ спасъ пьесу: она такъ ему понравилась, что онъ выразился о ней: „очень мало пьесъ, которыя доставили бы мнѣ такое удовольствіе,—ce n'est pas une pièce, c'est une leçon“. Такимъ образомъ, комедія, составляющая одно изъ украшеній русской литературы, была спасена лишь благодаря высокому одобренію самого императора. Въ 1856 г. „Доходное мѣсто“ было запрещено наканунѣ представленія и лишь впослѣдствіи дозволено. „Воспитанница“ тоже не была одобрена къ представленію, а затѣмъ дозволена лишь благодаря счастливой случайности, а именно благосклонности генерала Анненкова, временно исправлявшаго должность шефа жандармовъ. И все это только одна сторона дѣла. Островскому, кромѣ того, было суждено долго нести тяжесть матеріальныхъ лишеній и нравственныхъ униженій. Онъ жалуется на нихъ въ письмѣ къ актеру Бурдину уже будучи сорока слишкомъ лѣтъ, написавъ двадцать пять оригинальныхъ пьесъ, имѣвшихъ огромный успѣхъ и на сценѣ, и въ литературѣ. Подъ конецъ жизни фортуна повернулась къ Островскому лицомъ: его заслуги передъ родною литературой и сценой были признаны, онъ сталъ хозяиномъ излюбленнаго имъ театральнаго дѣла въ Москвѣ, а до извѣстной степени и во всей Россіи. Но смерть не ждетъ, и на Островскомъ лишній разъ оправдалась старая

язвительная сказка-притча о бѣлкѣ, которой достался мѣшокъ орѣховъ, когда у нея уже не было зубовъ...

Теперь Островскій спокойно помѣщается въ храмѣ славы, и мы безпрепятственно любуемся его пьесами, въ томъ числѣ и той, для спасенія которой въ свое время понадобилось доброе слово могущественнѣйшаго монарха. Нынѣшніе драматурги, развязные критики, утверждающіе, что Островскій „устарѣлъ“, да и многое множество простыхъ зрителей и читателей многому безсознательно научились у Островскаго, и научились-бы еще большему, если бы дѣлали это сознательно, хотя-бы руководствуясь „устарѣвшею“ тоже критикой Добролюбова. Для большинства Островскій есть блестящій авторъ пьесъ: „Гроза“, „Не въ свои сани не садись“ и проч., пріятно волнующихъ, вызывающихъ то веселый смѣхъ, то „внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица“. Иные готовы, впрочемъ, признать его знаменитостью былыхъ временъ, которую надлежитъ почтительно (хорошо еще, что почтительно!) сдать въ архивъ, дабы очистить мѣсто для новѣйшей драматургіи. Есть, конечно, люди, извлекающіе изъ Островскаго нѣчто, кромѣ извѣстной эстетической эмоціи и извѣстнаго скоропреходящаго настроенія. Но развѣ лишь очень немногимъ приходитъ въ голову, что Островскій есть не просто высоко-талантливый драматургъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, одинъ изъ выразителей извѣстнаго историческаго момента; и что исторія, подобно женщинѣ, „въ болѣзняхъ родитъ чада“, „со скрежетомъ носитъ, со стономъ родитъ“. Высоко поучителенъ тотъ путь всякаго рода борьбы и препятствій, не всегда, какъ у Островскаго, перемежаемыхъ счастливыми случайностями, которымъ судьба даже своихъ любимцевъ ведетъ въ храмъ славы. Любимый писатель только тогда станетъ вамъ вполнѣ ясенъ, когда вы, не довольствуясь отвлеченною его оцѣнкой, вдвинете его въ историческій процессъ и уразумѣете многочисленныя и многообразныя его связи съ жизнью. Не говоря о томъ, что его сильныя и слабыя стороны выступятъ при этомъ рельефнѣе, онъ станетъ вамъ ближе, роднѣе, дороже, когда вы узнаете, какой цѣной куплено то удовольствіе или та польза, которую вы получаете, читая его книгу или статью; какія радости и горести волновали самого писателя; какое наслѣдство получилъ онъ отъ своихъ предшественниковъ, съ кѣмъ изъ современниковъ дѣлилъ его, кому изъ потомства завѣщалъ.

Само собою разумѣется, что исторія не одни благосклонные приговоры изрекаетъ; она „добрыхъ прославляетъ и клеймитъ злодѣя и глупца“. И на историческомъ фонѣ, въ общей связи съ идеями и дѣлами своего времени, при наличности хорошо обслѣдованныхъ, вещественныхъ и невещественныхъ доказательствъ злодѣйства и глупости, они опять-таки выступаютъ рельефнѣе. Судъ исторіи — страшный судъ. Конечно, далеко не всѣ раздѣляютъ мнѣніе Салтыкова, что непріятно попасть въ исторію съ клеймомъ злодѣя или глупца. Многимъ на судъ исторіи „вполнѣ и исключительно наплевать“, какъ выражается кто-то въ одномъ изъ разсказовъ Успенскаго, ибо вѣдь насъ не будетъ къ тому времени: пожилъ, потомъ умру, а тамъ хоть и совсѣмъ трава не рости, а не то, чтобы еще разбирать—такая или этакая трава. Бываютъ, однако, случаи, когда судъ исторіи застаетъ насъ еще въ живыхъ...

Я, однако, отнюдь не хочу этимъ сказать, что вышеупомянутая „Исторія новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго представляетъ собою судъ исторіи. Нѣтъ, это только судъ г. Скабичевскаго. Тѣмъ не менѣе, книга полезная, и авторъ совершенно основательно провидитъ въ предисловіи „слѣдующія изданія своей книги“. За ними, конечно, дѣло не станетъ. Мнѣ кажется, однако, что въ этихъ слѣдующихъ изданіяхъ автору надлежитъ озаботиться не только тѣми поправками и дополненіями, которыя онъ, судя по предисловію, имѣетъ въ виду, а и еще кое-какими. Г. Скабичевскій сожалѣетъ, что ему „обо многихъ писателяхъ какъ умершихъ, такъ и въ особенности живыхъ, пришлось дать самыя скудныя біографическія данныя или-же и никакихъ не дать, по неимѣнію ихъ“. Эти пробѣлы онъ и обѣщаетъ восполнить въ слѣдующихъ изданіяхъ. Это хорошо, конечно, но, повторяю, не въ скудости только нѣкоторыхъ біографическихъ данныхъ состоятъ пробѣлы книги г. Скабичевскаго.

Начну съ подробностей. „Исторія новѣйшей русской литературы“ появилась какъ разъ около времени смерти Н. В. Шелгунова; получивъ книгу, я, натурально, сталъ искать въ ней страницъ, посвященныхъ покойнику, литературная дѣятельность котораго занимаетъ добрыхъ три четверти періода, избраннаго г. Скабичевскимъ для своего изслѣдованія. Къ величайшему моему удивленію, я даже имени Шелгунова не нашелъ въ книгѣ. Объясненія этому надо, повидимому, искать въ слѣдующихъ сло-

вахъ предисловія: „Пришлось въ значительной степени сузить задачу и ограничиться тѣсными рамками исторіи „изящной литературы“ и находящейся въ тѣсной связи съ нею „критики“... О нѣкоторыхъ литераторахъ умолчано, по ихъ ничтожному значенію въ литературѣ, отсутствію оригинальной физіономіи и своего собственнаго слова; другіе-же не подлежатъ исторіи, потому что физіономія ихъ еще не выяснилась, и они, не имѣя за собою никакого прошедшаго, принадлежатъ всецѣло будущему“. Шелгуновъ былъ, между прочимъ, и литературнымъ критикомъ (далеко не всѣ его литературно-критическія статьи вошли въ послѣднее изданіе его сочиненій), правда, не блестящимъ и не оригинальнымъ. Но хотя, такимъ образомъ, какъ будто до извѣстной степени и оправдывается оговорка предисловія, я думаю, не мнѣ одному кажется страннымъ полное отсутствіе Шелгунова въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“, и это указываетъ на какой-то пробѣлъ въ самомъ планѣ сочиненія. Страннымъ кажется также отсутствіе г. Пыпина, который, правда, никогда не занимался собственно литературною критикой, но имѣетъ къ ней большое отношеніе, во-первыхъ, своими трудами по исторіи литературы и, во-вторыхъ, статьями по вопросу, спеціально занимающему г. Скабичевскаго въ отдѣлѣ „Беллетристы-народники“. Г. Буренину, какъ-бы кто на него ни смотрѣлъ, также слѣдовало-бы отвести мѣсто въ исторіи новѣйшей литературы. Изъ беллетристовъ почему-то совсѣмъ пропущенъ покойный Кущевскій, чрезвычайно талантливый романъ котораго „Николай Негоревъ“, кромѣ талантливости, еще и очень характеренъ для своего времени. Сильное, хотя и неровное дарованіе г. Мамина (Сибиряка) заслуживало-бы гораздо большаго вниманія, чѣмъ то, какое ему удѣлилъ г. Скабичевскій, въ особенности по сравненію кое съ кѣмъ изъ другихъ современныхъ беллетристовъ. Съ другой стороны, напримѣръ, г. Потапенко, при несомнѣнной талантливости, развѣ къ одному изъ слѣдующихъ изданій книги г. Скабичевскаго достаточно выяснитъ свою литературную физіономію, и я не думаю, чтобы выясненіе это подтвердило характеристику г. Скабичевскаго.

Послѣднее, конечно, дѣло спорное, и я не навязываю своего мнѣнія г. Скабичевскому. Что-же касается указанныхъ пробѣловъ (число которыхъ можно было-бы увеличить), то они находятся въ связи съ однимъ большимъ изъяномъ въ самомъ планѣ

„Исторіи новѣйшей русской литературы“. Авторъ устранилъ изъ своего труда „разсмотрѣніе движенія наукъ, публицистики, прессы (т. е. возникновенія, паденія различныхъ органовъ печати и ихъ взаимныхъ отношеній между собою)“. Онъ сосредоточился на изящной литературѣ и литературной критикѣ. Такъ онъ объясняетъ въ предисловіи. На дѣлѣ, однако, ему тамъ и сямъ приходится говорить и о вещахъ болѣе или менѣе удаленныхъ отъ изящной литературы и литературной критики, и о „возникновеніи, паденіи и взаимныхъ отношеніяхъ различныхъ органовъ печати“. Но все это отрывочно и безъ системы. Дѣло въ томъ, что журналистика играла столь важную роль въ избранный г. Скабичевскимъ періодъ времени, что обойти ее нѣтъ никакой возможности въ исторіи новѣйшей литературы. Не будетъ даже чрезмѣрною смѣлостью утверждать, что вся эта исторія есть собственно исторія журналистики. Журналъ, а потомъ и газета опредѣляли собою нерѣдко и форму, и содержаніе произведеній даже выдающихся талантовъ, въ журналахъ и газетахъ группировались большія и малыя силы для общаго дѣла; журналы и газеты клали или старались класть свои штемпеля на произведенія даже такихъ писателей, которые стояли, повидимому, внѣ всякихъ отношеній къ „возникновенію, паденію и взаимнымъ отношеніямъ различныхъ органовъ печати“, на журнальную или собственно редакторскую работу тратилась значительная часть силъ выдающихся писателей. Какъ оцѣнить значеніе въ новѣйшей русской литературѣ Чернышевскаго, Каткова (котораго, мимоходомъ сказать, въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ совсѣмъ нѣтъ), Салтыкова, Курочкина, Шелгунова и проч., и проч., безъ отношенія къ ихъ роли руководителей періодической печати? Но журналы и газеты служили, кромѣ того, точкою приложенія для работы второстепенныхъ и третьестепенныхъ силъ, въ массѣ имѣвшихъ, однако, большое значеніе и выражавшихъ собою извѣстное литературное теченіе. Я говорю въ прошедшемъ времени—„имѣли“, „служили“ и проч. потому, что рѣчь идетъ объ исторіи. Но вотъ, напримѣръ, г. Скабичевскій счелъ возможнымъ ввести въ свою книгу г. Чехова, о которомъ справедливо говоритъ, что это писатель съ большимъ талантомъ, тратящійся, однако, на поверхностное и безцѣльное творчество оборванныхъ картинокъ калейдоскопическаго характера. Справедливо также полагаетъ г. Скабичевскій, что этотъ

моментально-фотографическій родъ искусства выработанъ требованіями газетъ и иллюстрированныхъ еженедѣльныхъ изданій. Но этого мало. Разъ уже г. Чеховъ попалъ въ исторію литературы, должны въ нее попасть и тѣ критики и публицисты, которые, указывая на г. Чехова, восклицаютъ: се человѣкъ! — и затѣмъ громятъ направо и налѣво все, что не похоже на г. Чехова и не желаетъ быть на него похожимъ. Не изъ тучи этотъ громъ, конечно, не великіе критики излагаютъ эти мысли, но, при всей своей малости, они для переживаемаго нами момента характернѣе, быть можетъ, самого г. Чехова.

Повторяю, исторія новѣйшей русской литературы можетъ быть сведена на исторію журналистики. И я не устоялъ-бы передъ соблазнительностью этого плана, если-бы взялся за обширную и трудную задачу, принятую на себя г. Скабичевскимъ. Почтенный авторъ можетъ со мной не соглашаться, но полагаю, что, по крайней мѣрѣ, новая глава о значеніи и роли журналистики въ новѣйшей русской литературѣ будетъ отнюдь не лишнею въ послѣдующихъ изданіяхъ. Подобная глава объединитъ книгу, въ которой, къ сожалѣнію, составныя части и не совсѣмъ пропорціональны, и часто отрывочны. Исторія такого обширнаго и сложнаго предмета, какъ литература, и особенно наша литература 1847—1890 гг., требуетъ установленія какой-нибудь центральной оси, около которой располагались-бы отдѣльныя явленія въ порядкѣ ихъ важности по отношенію къ этой оси. Разумѣю какой-нибудь принципъ, какую-нибудь идею, которая или сама по себѣ, или по обстоятельствамъ времени и мѣста представляется историку настолько значительною, что ее можно взять за центръ изслѣдованія и отношеніемъ къ ней мѣрить значеніе отдѣльныхъ литературныхъ явленій — писателей и ихъ произведеній. Такую центральную идею легче всего найти тамъ, гдѣ различныя мнѣнія группируются, сталкиваются, отталкиваются, другъ друга поправляя и дополняя, — то-есть въ журналистикѣ. Возможно, что г. Скабичевскій сумѣлъ-бы установить такую центральную идею, и не занимаясь журналистикой вплотную. Но, во всякомъ случаѣ, она въ его почтенномъ трудѣ и недостаточно ясно установлена, и недостаточно послѣдовательно проведена. Оттого-то, несмотря на всѣ оговорки предисловія, отдѣльныя составныя части „Исторіи новѣйшей русской литературы“ не имѣютъ той связи, какая имъ приличествуетъ.

IV *).

П. Д. Боборыкинъ и его отношенія къ „Отечественнымъ Запискамъ“.—Еще объ „Исторіи новѣйшей литературы“ А. М. Скабичевскаго.

Дѣло было въ самомъ началѣ семидесятыхъ годовъ—въ 1871 или 1872. Однажды, придя, по обыкновенію, въ понедѣльникъ въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ“, помѣщавшуюся тогда въ квартирѣ Некрасова, я увидѣлъ тамъ новаго, незнакомаго человѣка. Это былъ мужчина трудно опредѣлимаго возраста, въ очкахъ, выше средняго роста, съ коротко остриженными бѣлокурыми волосами, нисколько не скрывавшими выпуклостей оригинальной формы черепа, съ подстриженною тоже бородой; одѣтъ онъ былъ, съ бросавшеюся въ глаза тщательностью, во что-то очень короткое и очень узкое. Въ противоположность большинству вновь появлявшихся въ редакціи лицъ, приходившихъ съ рукописями или за справками о рукописяхъ, незнакомецъ говорилъ очень громко, сильно и рѣзко жестикулируя. Онъ ходилъ вдоль большой, въ четыре окна, редакціонной комнаты съ поэтомъ Д. Л. Михаловскимъ и говорилъ съ нимъ о журналѣ Литтре и Вырубова „La philosophie positive“. Нельзя, впрочемъ, сказать: „говорилъ съ нимъ“,—говорилъ собственно одинъ незнакомецъ, я не слышалъ ни одной реплики молчаливаго и скромнаго поэта на быструю и громкую рѣчь незнакомца. Подойдя къ стоявшему въ углу комнаты секретарскому столу, гдѣ обыкновенно группировались постоянные сотрудники, я узналъ отъ кого-то, что незнакомецъ есть только что прибывшій изъ-за границы П. Д. Боборыкинъ. Черезъ нѣсколько времени и онъ подошелъ къ тому же столу уже прощаться, и насъ познакомили. Когда Петръ Дмитріевичъ услышалъ мою фамилію, на его лицѣ изобразилось чрезвычайное изумленіе. „Кто же авторъ такихъ-то и такихъ-то статей?!“—воскликнулъ онъ. Оказалось, что онъ принялъ Д. Л. Михаловскаго за меня и столь энергически сталъ излагать ему то, что хотѣлъ изложить мнѣ, какъ автору такихъ-то и такихъ-то статей, что поэтъ не могъ устранить недоразумѣніе и даже, можетъ быть, догадаться о немъ.

Такъ на этотъ разъ мнѣ и не удалось побесѣдовать съ П. Д.

*) 1891, іюль.

Боборыкинымъ, но потомъ я имѣлъ эту честь, и меня всегда поражала быстрота и точность его воспріятій, каковыми качествами отличаются, впрочемъ, и его литературныя произведенія. Разносторонне образованный и живой умъ г. Боборыкина отличается отъ прочихъ подобныхъ умовъ, именно, необыкновенною быстротой и точностью воспріятій. Здѣсь лежитъ корень и сильныхъ, и слабыхъ сторонъ этого писателя. Отсюда, во-первыхъ, его рѣдкая плодовитость. Между болѣе молодыми беллетристами найдется, пожалуй, нѣсколько человѣкъ, не менѣе плодовитыхъ, но что съ ними будетъ къ тридцатилѣтнему юбилею ихъ дѣятельности—неизвѣстно; а г. Боборыкинъ и послѣ тридцати лѣтъ неустанной литературной работы все такъ же обиленъ. И послѣднее его произведеніе вызываетъ рѣшительно ту же степень интереса, какъ и первое. Отсюда, далѣе, его отзывчивое отношеніе къ явленіямъ быстро текущей жизни. Отзывчивостью этою г. Боборыкинъ еще недавно блеснулъ въ прекрасной и только немножко растянутой повѣсти „Поумнѣлъ“, напечатанной въ „Русской Мысли“. Но отсюда же, то-есть изъ той же необыкновенной быстроты и точности воспріятій, проистекаютъ и нѣкоторыя слабыя стороны г. Боборыкина, а именно: отсутствіе яркой оригинальности, поверхностность и фотографичность творчества. Ни для кого не тайна, что г. Боборыкинъ нерѣдко воспроизводитъ въ своихъ повѣстяхъ и романахъ не художественныя обобщенія своихъ наблюденій, а самыя эти наблюденія во всей ихъ конкретной случайности,—не типы, а совершенно опредѣленные, цѣликомъ съ натуры списанные экземпляры. Творчество его состоитъ при этомъ подчасъ лишь въ томъ, что онъ ставитъ портреты, которые очень легко узнать, въ такія положенія, въ какихъ соотвѣтственные оригиналы никогда не бывали. Понятны многоразличныя неудобства такого пріема, а, между тѣмъ, съ легкой руки г. Боборыкина онъ значительно привился въ нашей литературѣ. Я знаю случаи, когда беллетристы, точно и подробно описавъ наружность, обычный костюмъ, всю обстановку своихъ героевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, приписывали имъ вполнѣ гнусные поступки, которыхъ, однако, ихъ оригиналы никогда въ дѣйствительности не совершали. Утвердившись, этотъ пріемъ можетъ превратить литературу въ орудіе клеветы, пасквиля, всякихъ мерзостныхъ цѣлей. Спѣшу, однако, оговориться, что самъ г. Боборыкинъ былъ всегда далекъ отъ подобныхъ цѣлей. Въ немъ источникомъ неудобной фотографич-

ности картинъ и портретовъ являются, повидимому, коренныя свойства его природы. Онъ столь быстро и точно воспринимаетъ попадающіяся ему на жизненномъ пути явленія, что ему, въ большинствѣ случаевъ, некогда проникать въ ихъ глубину: они сразу запечатлѣваются въ его мозгу своею внѣшностью и такъ и переходятъ подъ его перомъ на бумагу. Другое дѣло—общій фонъ его произведеній: онъ обыкновенно очень обдуманъ, хотя это и не всегда замѣтно, благодаря загроможденію его массой мелочей чисто-внѣшняго характера—описаніями наружности дѣйствующихъ лицъ, ихъ обстановки, костюма и проч. Въ этомъ отношеніи я позволю себѣ не согласиться съ выраженнымъ въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго мнѣніемъ, будто у г. Боборыкина не найдешь „серьезно обдуманныхъ и законченныхъ сюжетовъ“. Въ нѣкоторыхъ большихъ произведеніяхъ г. Боборыкина, какъ, напримѣръ, въ „Дѣльцахъ“, въ „Китай-городѣ“, фабула дѣйствительно расплывается въ массѣ вводныхъ лицъ и ихъ отношеній. Но на эти произведенія, мнѣ кажется, и надо смотрѣть какъ на картины нравовъ, намѣренно лишь слегка между собою связанныя. И это, конечно, не мѣшаетъ имъ быть „серьезно обдуманными“. А затѣмъ хоть бы та же повѣсть „Поумнѣлъ“ или „Въ усадьбѣ и на порядкѣ“ (одна изъ лучшихъ вещей г. Боборыкина) и многія другія отличаются и полною „законченностью сюжета“. Бѣда г. Боборыкина состоитъ въ томъ, что въ серьезно обдуманный планъ его произведенія врывается, помимо его воли, множество вводныхъ лицъ и внѣшнихъ мелочей. Если въ сферу его наблюденій попалъ, напримѣръ, человѣкъ въ сѣромъ суконномъ халатѣ съ красною выпушкой, сидящій въ вольтеровскомъ креслѣ, обитомъ зеленымъ сафьяномъ, съ газетой въ рукахъ, съ очками на носу и проч., и проч., то онъ не можетъ не ввести въ свой романъ и этотъ сѣрый суконный халатъ, и эту красную выпушку и все прочее. Все это такъ отчетливо, точно и быстро имъ воспринято, что если ему не удастся, по плану романа, одѣть своего героя въ сѣрый халатъ съ красною выпушкой, то онъ долженъ ввести особое лицо, которому этотъ костюмъ и вообще данная обстановка приличествуютъ. Понятно, что не всегда удается найти дѣйствительно подходящаго носителя халата; понятно также, что, подгоняя въ такихъ случаяхъ, въ противность поговоркѣ, не шапку къ Сенькѣ, а Сеньку къ шапкѣ, г. Боборыкинъ долженъ часто эксплуатировать, между прочимъ, и „черты

знакомаго лица". Понятно, наконецъ, что быстрота и точность воспріятій сами по себѣ не только не гарантируютъ глубины проникновенія въ смыслъ даннаго явленія, а иногда, напротивъ, даже мѣшаютъ ему. Художнику нужно нѣсколько сеансовъ, чтобы написать вашъ портретъ, то-есть нужно вдуматься въ вашу физіономію, выбрать изъ ея выраженій въ разныя времена наиболѣе характерное, изучить ея игру, а фотографія даетъ вамъ вашъ портретъ черезъ нѣсколько секундъ, и чрезвычайно точный... Смѣшавъ меня, благодаря сходству фамилій, съ Д. Л. Михаловскимъ, г. Боборыкинъ адресовалъ изложеніе своихъ мыслей о журналѣ Литтре и Вырубова совсѣмъ не туда, куда намѣревался адресовать, но я увѣренъ, что быстрота и жаръ его рѣчи не мѣшали ему, въ то же время, до мельчайшихъ подробностей замѣтить черты лица, цвѣтъ волосъ, форму бороды, покрой сюртука, цвѣтъ панталонъ собесѣдника. Но то, что г. Боборыкинъ хотѣлъ сказать мнѣ и сказалъ, по ошибкѣ, Д. Л. Михаловскому, было, навѣрное, очень обдуманно, хотя, можетъ быть, и не самостоятельно. Г. Боборыкинъ есть безспорно одинъ изъ самыхъ образованныхъ и самыхъ мыслящихъ нашихъ беллетристовъ.

Физіономія г. Боборыкина, какъ талантливаго беллетриста, при томъ, именно съ только что приведенными особенностями таланта, достаточно установилась и достаточно общеизвѣстна. Недалеко ходить,—въ книгѣ г. Скабичевскаго, за вычетомъ сдѣланной выше оговорки, физіономія эта обрисована, въ сущности, тѣми же штрихами, съ прибавленіемъ еще нѣкоторыхъ чертъ, о которыхъ сейчасъ рѣчь будетъ. И если я заговорилъ о г. Боборыкинѣ, такъ не затѣмъ, чтобы лишній разъ повторить то, что всѣмъ извѣстно. Я хочу, напротивъ, записать одинъ мало извѣстный эпизодъ, который, въ свою очередь, можетъ служить удобнымъ введеніемъ въ одну изъ любопытныхъ страницъ новѣйшей русской литературы.

Г. Скабичевскій относитъ въ своей „Исторіи новѣйшей русской литературы" г. Боборыкина къ группѣ „беллетристовъ-публицистовъ" и къ подгруппѣ „тенденціозныхъ беллетристовъ либеральнаго лагеря". Въ ту же подгруппу зачисляетъ онъ еще гг. Евгенія Маркова, Василія Немировича-Данченко, Терпигорева, Салова, Ахшарумова и Лейкина. Какъ и большинство рубрикъ г. Скабичевскаго, эта общая скобка представляется мнѣ недостаточно обоснованною. Переходя отъ г. Боборыкина къ г. Маркову, почтенный критикъ, между прочимъ, пишетъ: „Въ совершенную

противоположность Боборыкину, который является въ своихъ романахъ рьянымъ западникомъ, смотрящимъ на русскую жизнь съ точки зрѣнія парижской культуры, Евг. Марковъ въ своихъ романахъ смотритъ съ народнической точки зрѣнія: онъ до извѣстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портитъ людей, нравственно калѣчитъ ихъ и растлѣваетъ, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы можетъ спасти человѣка, возстановивъ равновѣсіе его силъ и давъ имъ благотворный исходъ".

Да проститъ мнѣ почтенный авторъ „Исторіи новѣйшей русской литературы", но въ этихъ словахъ я вижу слѣдъ недоразумѣнія, особенно прискорбнаго въ устахъ бывшаго сотрудника „Отечественныхъ Записокъ". Объ этомъ, однако, ниже. Теперь скажу лишь, что если подъ „народническою точкой зрѣнія" разумѣть недовольство городскою жизнью и приглашеніе „въ деревню или въ родную усадьбу, на лоно природы", то былъ, по крайней мѣрѣ, одинъ моментъ, когда и г. Боборыкинъ оказался не чуждъ народничества.

Въ повѣсти г. Боборыкина „Въ усадьбѣ и на порядкѣ", напечатанной въ „Вѣстникѣ Европы" въ 1875 г., фигурируетъ, между прочимъ, нѣкто Ванъ-деръ-Гильзенъ, личность довольно противная, которой авторъ усвоилъ такъ называемое „позитивное" міросозерцаніе. Озабочиваясь возможными на этотъ счетъ кривотолками, г. Боборыкинъ, бывшій тогда въ Вѣнѣ, написалъ мнѣ письмо. Я отвѣтилъ. Г. Боборыкинъ отвѣтилъ въ свою очередь, и въ этомъ его отвѣтѣ содержатся, между прочимъ, слѣдующія автобіографическія подробности: „Когда я впервые, въ 1865 г., попалъ въ Парижъ, во мнѣ были всѣ данныя и почти вся подготовка того, что французы называютъ libre penseur на подкладкѣ нѣмецкаго матеріализма, на который я, однако, и тогда смотрѣлъ уже не снизу вверхъ, а сбоку, видя, что онъ и нетерпимъ, и узокъ, и несостоятеленъ, *какъ система*, что онъ даже совсѣмъ не міровоззрѣніе. Нечего говорить, что припадки *нашего нигилизма* я продѣлалъ еще студентомъ въ Дерптѣ, когда всѣ „лиловыя" и другія книжки воспринялъ въ оригиналѣ и 6-ю годами раньше ихъ распространенія въ Петербургѣ. Я искалъ и жаждалъ широкаго и, главное, *научнаго*, объективнаго, твердаго обобщенія. Бывшій „естественникъ" сидѣлъ во мнѣ, да и теперь сидитъ еще. Нашелъ я это обобщеніе въ системѣ Конта. Она, *на первыхъ по-*

рахъ, отвѣтила на мой запросъ. На ея изученіе и усвоеніе ушло два-три года. Но, познакомившись съ нею, еще въ 1868 г., когда я напечаталъ первую свою статью въ „Philosophie positive“, я уже былъ самый лѣвый изъ всѣхъ лѣвыхъ позитивистовъ оттѣнка Литтре. Я уже сильно и ясно чувствовалъ неполноту и даже просто недостаточность системы въ жгучихъ, безотлагательныхъ вопросахъ дня. Въ это время какъ разъ я, въ званіи корреспондента и по своей охотѣ, столкнулся съ цѣлымъ рядомъ соціальныхъ и политическихъ явленій, очень много видѣлъ и впервые *почувствовалъ* значеніе и дѣйствительную жгучесть разныхъ общественныхъ силъ и стремленій. Былъ даже одинъ моментъ, на одномъ изъ конгрессовъ, когда я испыталъ ударъ вродѣ того, какой озарилъ Павла на дорогѣ въ Дамаскъ. Съ этимъ я вернулся въ Россію въ 1871 г. Какъ беллетристу и журналисту, мнѣ не было ни повода, ни свободы высказываться насчетъ своего profession de foi; но оно сложилось не въ сухой и формальный компромиссъ съ дѣйствительностью, какъ у г. Вырубова или г. Стронина (я его лично не знаю), какъ у всѣхъ систематическихъ позитивистовъ-доктринеровъ, а въ ученіе, гдѣ на основѣ научно-философской лежитъ неустанное стремленіе: отзываться на явленія жизни активно, бороться со всѣмъ, что только стоитъ на пути къ благу, какъ долженъ понимать его живой человѣкъ, работающій на все культурное и некультурное человѣчество. Разладъ, указанный вами, существуетъ и мнѣ вѣдомъ, какъ вы видите, давнымъ-давно. И если доктринеры будутъ сидѣть съ своими катехизисами, ихъ жизнь оставитъ за штатомъ. Мой же комическій позитивистъ есть чиновничье, диллетантское отраженіе сухости и бездушія школы. Бездушіе это, если хотите, не намѣренное, но все-таки бездушіе. Вы первый (сколько я замѣтилъ) стали указывать на это,—вотъ почему я сразу призналъ въ васъ человѣка мнѣ симпатичнаго“.

Но не одинъ я пользовался симпатіями г. Боборыкина. Находя нѣкоторые недостатки въ „Отечественныхъ Запискахъ“, онъ писалъ, однако: „Я искренно преданъ „Отечественнымъ Запискамъ“, но нельзя мнѣ быть имъ на что-нибудь годнымъ безъ постоянныхъ сношеній“. Въ другихъ письмахъ г. Боборыкинъ неоднократно выражалъ желаніе не просто помѣщать въ нашемъ журналѣ время отъ времени свои романы и повѣсти, но стать его постояннымъ сотрудникомъ, при томъ, въ „воинственномъ

отдѣлѣ", какъ онъ выражался. Такой даровитый, плодовитый и разносторонній сотрудникъ, конечно, всегда желателенъ въ многосложномъ журнальномъ дѣлѣ. Но почему-то постоянное сотрудничество г. Боборыкина не устраивалось. Что касается собственно моего участія въ этомъ дѣлѣ, то первоначально я не могъ оказать г. Боборыкину сколько-нибудь значительныя услуги, такъ какъ журналъ находился въ рукахъ „патроновъ", какъ г. Боборыкинъ называлъ Некрасова, Салтыкова и Елисеева. Но съ 1878 г. я самъ сталъ однимъ изъ „патроновъ", а дѣло все-таки не налаживалось. Причины этому заключались, можетъ быть, все въ той же необыкновенной быстротѣ воспріятій талантливаго беллетриста. Въ сентябрѣ 1875 г., сообщая мнѣ о посылаемой имъ повѣсти, онъ писалъ: „Тема повѣсти отвѣчаетъ на то, что съ такою смѣлостью и логикой развивалъ въ одной изъ лѣтнихъ книжекъ внутренній обозрѣватель „Отечественныхъ Записокъ"— мизерабельность русскихъ писателей во всѣхъ смыслахъ. Кто этотъ обозрѣватель, и какъ такая филиппика прошла подъ носомъ у патроновъ? Пора, тысячу разъ пора взяться за умъ!" Я съ особеннымъ удовольствіемъ сообщилъ г. Боборыкину имя заинтересовавшаго его писателя, — это былъ Елисеевъ, то-есть одинъ изъ „патроновъ". Что-то мѣшало г. Боборыкину вглядѣться въ духовный складъ и образъ мыслей „патроновъ", настолько мѣшало, что въ статьѣ, писанной однимъ изъ нихъ, онъ увидалъ нѣчто, если не прямо враждебное имъ, то, помимо ихъ воли, случайно проскользнувшее въ журналъ. На такой, исполненной недоразумѣній почвѣ, конечно, мудрено было установиться прочнымъ и постояннымъ отношеніямъ. Тѣмъ не менѣе, время отъ времени въ „Отечественныхъ Запискахъ", хотя и очень рѣдко, появлялись и нѣкоторыя публицистическія и критическія статьи г. Боборыкина, больше по иностранной литературѣ и жизни. Между прочимъ, онъ, не помню ужъ, самъ-ли перевелъ, или доставилъ переводъ, снабженный его сочувственнымъ предисловіемъ, „Записокъ дурака". Это произведеніе одного французскаго позитивиста, въ которомъ съ чрезвычайною рѣзкостью и опредѣленностью проводится мысль, усваиваемая г. Скабичевскимъ г. Евг. Маркову въ прямую противоположность г. Боборыкину, — та именно мысль, которую г. Скабическій называетъ „народническою точкой зрѣнія". Помнится, что въ предисловіи г. Боборыкинъ указалъ на аналогію тенденціи „Записокъ дурака" съ нѣко-

торыми тогдашними теченіями русской жизни. И очень возможно, что самъ онъ видѣлъ въ этомъ французскомъ произведеніи „народническую точку зрѣнія“. Не имѣя подъ руками „Отечественныхъ Записокъ“, не могу припомнить ни имени автора „Записокъ дурака“, ни ихъ подробностей. Знаю только, что „дуракъ“ есть названіе ласково-ироническое, потому что герой, отряхши отъ ногъ своихъ прахъ городскихъ улицъ, отрекшись отъ всѣхъ благъ цивилизаціи и въ частности именно „парижской культуры“, въ посрамленіе умниковъ превосходно устраивается „на лонѣ природы“, гдѣ „возстановляетъ равновѣсіе своихъ силъ и даетъ имъ благотворный исходъ“. Эта сама по себѣ не дурная и, во всякомъ случаѣ, интересная вещица не противорѣчила направленію „Отечественныхъ Записокъ“, но отнюдь не совпадала съ его сущностью, хотя г. Боборыкину это, можетъ быть, и казалось.

Прошло десять лѣтъ. Въ 1884 г. „Отечественныя Записки“ прекратились, а въ 1885 г. Боборыкинъ напечаталъ въ журналѣ Де-Губернатиса „Revue Internationale“ этюдъ подъ заглавіемъ „Le culte du peuple dans la litterature russe contemporaine“. Въ этюдѣ этомъ „культу народа въ современной русской литературѣ“ достается жестоко. Культъ этотъ исполненъ „претенціознаго мистицизма“, „шовинистской самонадѣянности“, „враждебности къ общечеловѣческой наукѣ, къ законамъ соціологіи и великой человѣческой культурѣ“. Онъ не хочетъ ничего знать, кромѣ русскаго мужика, и призываетъ своихъ адептовъ къ „опрощенію“ и отрицанію всѣхъ благъ цивилизаціи; онъ смѣшиваетъ въ одну кучу (un seul tas) „соціалистическія идеи и дурно направленное соціальное чувство“. Главнымъ представителемъ этого культа и вродѣ какъ бы его первосвященникомъ является г. Златовратскій. Около него группировались въ „Отечественныхъ Запискахъ“ его corréligionnaires'ы въ лицѣ беллетристовъ меньшаго таланта, а также „этнографовъ, экономистовъ, хроникеровъ“. Закрытіе „Отечественныхъ Записокъ“, измѣна одного изъ corréligionnaires'овъ, а именно г. Гл. Успенскаго, и основательный критическій разборъ догматовъ „культа“, представленный г. Пыпинымъ въ „Вѣстникѣ Европы“,—эти три обстоятельства много способствовали очищенію горизонта русской литературы, но отзвуки культа еще слышались г. Боборыкину въ 1885 г. въ „Русской Мысли“ (это я разсказываю содержаніе этюда г. Боборыкина). Что же касается происхожденія культа, то оно таково. Около времени освобожде-

нія крестьянъ существовавшія дотолѣ враждебныя школы—славянофильская и западническая—начали сближаться, по крайней мѣрѣ, на одномъ пунктѣ. „Наиболѣе радикальные представители западническаго лагеря все болѣе и болѣе сходились съ славянофилами во всемъ, что касалось крестьянъ, способа ихъ освобожденія, сельской общины, какъ ее выработалъ въ теченіе вѣковъ русскій народъ. Журнальная полемика того времени достаточно доказываетъ это. Съ одной стороны, московскіе славянофилы, съ другой—петербургскіе радикалы единодушно требовали для народа права на землю, сохраненія поземельнаго владѣнія, которымъ крестьяне пользовались до освобожденія, и въ особенности сохраненія древней общины, какъ основы русскаго коллективизма“. Въ другихъ отношеніяхъ обѣ школы расходились болѣе или менѣе рѣзко, но радикальные западники, можетъ быть, сами того не замѣчая, все-таки продолжали склоняться къ славянофильскимъ идеямъ по вопросамъ о народѣ. Молодежь чувствовала себя какъ бы виноватою передъ массой народа; сложился типъ „кающагося дворянина“, пришедшаго къ полному отрицанію всѣхъ своихъ правъ и преимуществъ, даже просто какъ члена интеллигентнаго класса. Романъ Тургенева „Новь“ представилъ иностраннымъ читателямъ достаточно ясную картину этого теченія идей и симпатій... Студенты, отставные офицеры, молодые землевладѣльцы, семинаристы, женщины всѣхъ сословій „шли въ народъ“, чтобы „опроститься“ и почерпнуть живительную силу. Такимъ образомъ, два первоначальныя теченія (то-есть славянофильское и западническое) способствовали образованію въ литературѣ школы, которая въ продолженіе послѣднихъ двадцати лѣтъ незамѣтно овладѣла вниманіемъ общества и стала, въ концѣ-концовъ, воинствующею литературой момента“...

Не пестритъ-ли у васъ въ глазахъ, читатель? Не кажется-ли вамъ вся совокупность вышеизложеннаго нѣкоторою путаницей? У меня, признаюсь, у самого пестритъ—до такой степени, что я даже затрудняюсь, съ чего начать, чтобы эту путаницу распутать. Нѣкоторыя второстепенныя фактическія неточности устранить, конечно, не трудно. Не трудно, напримѣръ, доказать, что г. Успенскій никакой измѣны не совершилъ, или что г. Златовратскій, будучи однимъ изъ желаннѣйшихъ сотрудниковъ „Отечественныхъ Записокъ“, никогда, однако, не былъ ихъ руководителемъ или центромъ. Это можно усмотрѣть уже изъ тѣхъ

отрывковъ переписки г. Боборыкина со мной, которыя я привелъ, равно какъ изъ нихъ же видно, что „Отечественнымъ Запискамъ“ было доступно и уваженіе къ „общечеловѣческой наукѣ“, и многое другое, что, по словамъ г. Боборыкина, исключалось „культомъ“. Впрочемъ, редакторскія подписи Некрасова и Салтыкова и сами по себѣ достаточно выразительны. Вообще этюдъ г. Боборыкина даетъ удовлетворительное понятіе не столько о предметѣ, которому онъ посвященъ, сколько о самомъ его авторѣ. Но въ этюдѣ затронута любопытная страница исторіи новѣйшей русской литературы...

Если мы обратимся за разъясненіемъ къ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго, то не то что не найдемъ въ ней этой страницы совсѣмъ, но найдемъ столь разбросанною по различнымъ частямъ книги и столь все-таки неполною, что едва-ли тоже получимъ искомое удовлетвореніе.

Уже въ самомъ началѣ книги г. Скабичевскій замѣчаетъ, что все движеніе сороковыхъ годовъ исчерпывается однимъ словомъ—„народность“. „Слова: *народность*, *народъ*, *народное благо*, *народные идеалы*—въ концѣ сороковыхъ годовъ сдѣлались самыми популярными въ литературѣ и начали употребляться на каждомъ шагу не однимъ какимъ-либо кружкомъ, а въ одинаковой степени сдѣлались завѣтными лозунгами всѣхъ литературныхъ партій. Правда, каждый кружокъ по-своему понималъ народные идеалы и по-своему стремился къ нимъ, но, во всякомъ случаѣ, считалъ это своею святою обязанностью“. Затѣмъ мѣстами г. Скабичевскій говоритъ о „демократизаціи русской мысли и тягѣ къ народу“, какъ о характеристическихъ чертахъ русской литературы „въ послѣднія сорокъ лѣтъ“. Но, за исключеніемъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ главъ и бѣглыхъ, мимоходомъ сдѣланныхъ указаній относительно нѣкоторыхъ отдѣльныхъ писателей, г. Скабичевскій излагаетъ судьбы русской литературы внѣ всякаго ихъ отношенія какъ положительнаго, такъ и отрицательнаго, къ упомянутымъ характеристическимъ чертамъ. Мѣстами г. Скабичевскій руководствуется совсѣмъ другими критеріями для опредѣленія мѣста въ исторіи литературы того или другого писателя, того или другого произведенія; а мѣстами его книга сбивается просто на справочный біографическій словарь. Мнѣ кажется одно изъ двухъ: или „демократизація русской мысли и тяга къ народу“ не составляютъ характеристическихъ и важ-

ныхъ чертъ нашей литературы за послѣднія сорокъ лѣтъ, и тогда надо выбрать какую-нибудь другую руководящую нить, которая давала бы возможность разобраться во множествѣ явленій литературы; или, напротивъ, признавъ именно ихъ руководящею нитью, приводить съ нею въ связь, близкую или далекую, прямую или косвенную, положительную или отрицательную, всѣ отдѣльные моменты исторіи литературы. Конечно, руководящая нить для этого должна быть дѣйствительно руководящею, то есть должны быть точно установлены ея настоящій смыслъ и историческое значеніе. Г. же Скабичевскій, хорошо знающій, что слова: „народность", „народное благо", народные идеалы" и т. п. изстари понимались весьма различно, думаетъ, повидимому, что его формула: „демократизація русской мысли и тяга къ народу"—не требуетъ никакихъ дальнѣйшихъ разъясненій. А, между тѣмъ, онъ и самъ, какъ мы скоро увидимъ, впадаетъ на этомъ пунктѣ въ странное недоразумѣніе, усвоивая г. Евг. Маркову „народническую точку зрѣнія", въ которой тотъ совершенно неповиненъ. Съ другой стороны, образу или типу „кающагося дворянина", который г. Боборыкинъ совершенно справедливо ставитъ въ связь съ „тягой къ народу" (г. Боборыкинъ называетъ это „культомъ народа"), г. Скабичевскій даетъ совершенно иное и, кажется, вполнѣ произвольное толкованіе. Сказавъ (въ главѣ XXI) нѣсколько словъ о реакціи, которою завершилось движеніе шестидесятыхъ годовъ, г. Скабичевскій продолжаетъ о семидесятыхъ годахъ: „Вмѣстѣ съ тѣмъ явился и новый герой времени, совершенно не похожій на всѣхъ прежнихъ. Окончательно сошли со сцены и отважный Инсаровъ, и гордый и ликующій своимъ отрицаніемъ Базаровъ, и практическій Соломинъ; мѣсто ихъ всѣхъ занялъ „кающійся дворянинъ", но, собственно говоря, это былъ не столько „кающійся", сколько „обнищалый" дворянинъ. Изъ полуразрушенныхъ усадебъ, изъ голодныхъ дворянскихъ семей, проѣвшихъ всѣ выкупныя свидѣтельства, вышло новое поколѣніе, худосочное, тщедушное, словно несущее на своихъ плечахъ всѣ грѣхи отцовъ и дѣдовъ и обреченное расплачиваться за нихъ... Одни изъ нихъ ударились въ мрачный пессимизмъ чисто-гамлетическаго характера, доводившій ихъ до безнадежнаго отчаянія и самоубійствъ. Другіе же махали рукой на всѣ идеалы и высокія стремленія, предавались теченію и старались забыться и утопить свою совѣсть въ угарѣ чувственныхъ наслажденій, что было имъ

тѣмъ легче, что они отъ отцовъ и дѣдовъ наслѣдовали наклонность ко всяческимъ чревоугодіямъ".

Всякій, кто внимательно прочтетъ хотя бы одну только XXI главу книги г. Скабичевскаго, увидитъ, что въ приведенныхъ словахъ есть какое-то недоразумѣніе. Изъ беллетристовъ, изображавшихъ „кающихся дворянъ", г. Скабичевскій ставитъ на первомъ мѣстѣ чрезвычайно талантливаго, но рано умершаго и потому мало написавшаго и мало извѣстнаго Новодворскаго (онъ печатался въ „Отечественныхъ Запискахъ" подъ псевдонимомъ Осиповича). Извлекши изъ нѣсколькихъ повѣстей Новодворскаго черты „худосочія, тщедушія" и прочей дрянности, г. Скабичевскій замѣчаетъ, однако, что Новодворскій пытался рисовать и другіе типы, положительные, которые выходили, однако, очень туманны по цензурнымъ условіямъ. Значитъ, можетъ быть, „отважные Инсаровы, гордые Базаровы, практическіе Соломины" или какіе-нибудь иные не худосочные и не тщедушные не исчезли со сцены жизни въ семидесятыхъ годахъ, а только не могли появиться на сцену литературы. Но и то надо сказать, что, по крайней мѣрѣ, „практическій Соломинъ" появился на сцену литературы, именно, въ семидесятыхъ годахъ, такъ какъ романъ Тургенева „Новь" былъ напечатанъ въ 1876 году.

Отвѣтственность за „кающагося дворянина" лежитъ на мнѣ. Конечно, не за самое явленіе, а за слово, терминъ. Но отвѣтственность предполагаетъ и извѣстныя права. Всякій, разумѣется, можетъ сочетать прилагательное „кающійся" и существительное „дворянинъ" въ какомъ ему угодно смыслѣ. Но если это сочетаніе ставится въ кавычкахъ и тѣмъ указывается, что оно уже было кѣмъ-то и когда-то употреблено, то позволительно, мнѣ кажется, желать, чтобы ему придавался именно тотъ смыслъ, въ которомъ оно было впервые сказано. Это вѣдь цитата, съ нею и надо поступать какъ съ цитатой. Другое дѣло—отношеніе къ явленію, указываемому цитатой. Каждый вправѣ одобрять или не одобрять, хулить, славить, презирать, ненавидѣть это явленіе, вообще относиться къ нему въ мѣру своего разумѣнія и своей совѣсти.

Въ противность мнѣнію, высказанному г. Скабичевскимъ въ XXI главѣ (въ другихъ главахъ можно найти кое-какія поправки, къ сожалѣнію, не связанныя во-едино), въ семидесятыхъ годахъ жилось шибко. А потому и литературѣ, въ отведенныхъ ей пре-

дѣлахъ, было много работы: приходилось оріентироваться и во множествѣ теоретическихъ вопросовъ, и въ практическихъ требованіяхъ дня. Я говорю, жилось шибко, а не то, чтобы очень хорошо. Жизнь выдвигала, напротивъ, много горькаго, даже прямо страшнаго, изъ слезъ и крови слитаго, что будетъ въ свое время помянуто и оцѣнено исторіей уже не литературы русской, а русской жизни. И понятно, что многіе не выдерживали всей этой сложности и трудности. Прискорбныя явленія, отмѣченныя г. Скабичевскимъ, несомнѣнно имѣли мѣсто въ семидесятыхъ годахъ (они, впрочемъ, и теперь найдутся),—и „мрачный пессимизмъ гамлетическаго характера“, и выбрасываніе всякихъ идеаловъ за бортъ въ видахъ легкаго плаванія по житейскому морю. Не только то и другое было въ отдѣльности, но сочеталось иногда въ особый типъ, который я тогда же предложилъ назвать „гамлетизированнымъ поросенкомъ“, за что, между прочимъ, получилъ лестное одобреніе отъ одного начинающаго литератора. Онъ писалъ мнѣ по этому поводу: „Какъ вы хорошо это написали — гамлетизированный поросенокъ; такъ хорошо, что я даже обидѣлся“. Теперь это литераторъ уже вполнѣ опредѣлившійся, и именно въ томъ смыслѣ, въ какомъ опредѣляется всякій поросенокъ, когда приходитъ въ возрастъ. Я еще когда-нибудь вернусь къ этому любопытному типу. Весьма возможно, что и „гамлетизированные поросята“, и тѣ, кто искренно отчаявался, добѣгая въ своемъ отчаяніи до самоубійственнаго конца, и, наконецъ, тѣ, кто, не рисуясь никакою гамлетизаціей, прямо и просто облегчалъ себѣ плаваніе по житейскому морю, — весьма, говорю, возможно, что всѣ эти люди были въ свое время „кающимися дворянами“. Но, именно, *были* и переставали быть таковыми, когда вступали на одинъ изъ означенныхъ путей. Исключеніе можетъ быть сдѣлано только для отчаявшихся вслѣдствіе искренняго и глубокаго сознанія своего безсилія, своей непригодности. Но эта черта все-таки не составляетъ чего-нибудь характеристическаго для кающихся дворянъ, — она есть лишь случайное осложненіе типа.

„Кающіеся дворяне“ спорадически появлялись очень давно, но en masse обнаружились лишь въ сороковыхъ годахъ, а замѣтными историческими факторами стали лишь въ эпоху реформъ, когда смѣшались съ „разночинцами“, то-есть съ разнаго званія и состоянія людьми, вызванными къ дѣятельности эпохою ре-

формъ изъ низшихъ слоевъ. Въ семидесятыхъ годахъ теченіе это лишь ярче и рѣзче обозначалось. Вообще, семидесятые годы были чужды той борьбы между „дѣтьми“ и „отцами“, которая, по старинному мнѣнію нѣкоторыхъ писателей, составляетъ какое-то необходимое условіе нашего движенія впередъ. Симпатіи и антипатіи шестидесятыхъ годовъ и ихъ общій умственный и нравственный обликъ мы, болѣе позднее литературное поколѣніе, откровенно приняли къ своему руководству, дополняя и развивая ихъ сообразно обстоятельствамъ времени. Что касается собственно „Отечественныхъ Записокъ“, въ которыхъ,—не думаю, чтобы подлежалъ за эти слова обличенію въ хвастовствѣ, — наиболѣе ясно бился пульсъ жизни въ семидесятыхъ годахъ, то въ самомъ центрѣ ихъ стояли и люди сороковыхъ годовъ, какъ Некрасовъ и Салтыковъ, и люди лѣтъ на двадцать, а то и больше, моложе ихъ; примыкали къ этому центру и такіе давно опредѣлившіеся писатели, какъ Островскій, и такіе талантливые юнцы, какъ Гаршинъ или Надсонъ. Поколѣніями не считались, юные таланты охотно прибывали въ гнѣздо, свитое стариками. Поэтому, говоря о литературѣ семидесятыхъ годовъ, надо, прежде всего, опредѣлить, что она получила въ наслѣдство отъ своихъ предшественниковъ и какъ этимъ наслѣдствомъ распорядилась.

Но сначала нѣсколько личныхъ словъ по поводу „кающихся дворянъ“.

Въ семидесятыхъ годахъ мнѣ приходилось, кромѣ теоретическихъ статей по философіи общества, писать иногда въ мѣсяцъ по два и даже по три обозрѣнія текущей литературы и жизни подъ разными заглавіями: „Литературныя замѣтки“, „Записки профана“, „Письма о правдѣ и неправдѣ“, „Дневникъ и переписка Ивана Непомнящаго“, „Письма къ ученымъ людямъ“, „Въ перемежку“. Разница была не только въ заглавіяхъ, а и въ формѣ обозрѣній, которую я мѣнялъ частью просто по своему вкусу, а частью по различнымъ соображеніямъ. Иныя вещи удобнѣе было излагать въ такой-то именно формѣ, между прочимъ, даже беллетристической, вообще мнѣ мало свойственной. Если читатель припомнитъ, я явился въ „Отечественныя Записки“ съ первою частью романа „Борьба“. Какъ и у большинства молодыхъ людей, впервые принимающихся за беллетристику, въ этотъ романъ было вложено много автобіографическаго,—откуда же и черпать мало знающимъ жизнь молодымъ писателямъ свой матеріалъ, какъ не изъ

себя и около себя? Какія именно побужденія толкали меня въ 1867—68 г. писать романъ, я теперь не могу себѣ дать отчета. Вѣроятно, дѣло было въ какихъ-нибудь обстоятельствахъ чисто-личнаго, интимнаго характера, которыя привели меня въ художественное настроеніе, если можно такъ выразиться. Черезъ десять почти лѣтъ нѣкоторые эпизоды „Борьбы", отъ которой у меня не сохранилось ни оттиска, ни корректуры, ни рукописи, воскресли въ моей памяти, но уже въ сочетаніи съ наблюденіями въ довольно большомъ кругѣ явленій жизни и безъ всякой художественной претензіи. Я рѣшилъ ими воспользоваться, какъ введеніемъ въ рядъ образовъ и картинъ изъ жизни одной группы „кающихся дворянъ" и „разночинцевъ", при чемъ разрѣшилъ себѣ всякія отступленія, комментаріи, перерывы. Такимъ образомъ и вышли очерки „Въ перемежку", печатавшіеся въ „Отечественныхъ Запискахъ" въ 1876—77 годахъ. Я вполнѣ сознаю, что это нѣчто очень нескладное, но я не о складности и думалъ, а о правдѣ, — не о той, однако, правдѣ, которую многіе желали видѣть въ „Перемежкѣ". Очерки эти написаны въ видѣ разсказа, перемежаемаго публицистическими комментаріями, а разсказъ ведется отъ лица нѣкоего кающагося дворянина Григорія Темкина. Нѣкоторые предполагали, что это моя подлинная автобіографія, а иные изъ собратовъ по перу строили на этомъ предположеніи такіе выводы, что мнѣ пришлось, наконецъ, напечатать „Письмо къ неучамъ" и изложить въ немъ, что Григорій Темкинъ — не я и я—не Григорій Темкинъ. Дѣйствительно, „Въ перемежку"— отнюдь не автобіографія, а развѣ Wahrheit und Dichtung. Такъ, напримѣръ, хотя я и дворянскаго происхожденія, но никакихъ князей въ числѣ моихъ предковъ нѣтъ, и называть себя, подобно Григорію Темкину, „родственникомъ Владиміра Святого" я основаній не имѣю. Эпизоды съ Яковомъ и „братомъ мужикомъ" — настоящая Wahrheit, но позднѣйшая встрѣча съ Яковомъ-медіумомъ столь же настоящая Dichtung и т. п. Не смотря на мою художественную бѣдность въ „Перемежкѣ", за исключеніемъ Бухарцова-Ножина, о чемъ я уже говорилъ, нѣтъ ни одного портрета, снятаго съ натуры. Соня, Апостоловъ Сицкій, Нибушъ, Башкинъ, — все это чистая Dichtung, но Dichtung, основанная на пристальныхъ наблюденіяхъ подлинной жизни, и въ этомъ смыслѣ Wahrheit. Господа неучи, не стыдившіеся печатно дѣлать, на основаніи „Перемежки", разные обидные

выводы и предположенія не только относительно меня, но и относительно моихъ родственниковъ, сами того не подозрѣвая, оказывали мнѣ величайшую честь, на какую только можетъ претендовать художникъ: принимали мою сказку за быль. Но и помимо того я имѣлъ случай убѣдиться, что въ „Перемежкѣ“ извѣстное, довольно широко распространенное настроеніе, а именно, настроеніе „кающихся дворянъ“ въ семидесятыхъ годахъ, схвачено и обрисовано вѣрно...

Итакъ, что-же мы получили въ наслѣдство отъ своихъ предшественниковъ и какъ этимъ наслѣдствомъ распорядились? Это большой вопросъ, а потому не взыщите, если отвѣтъ выйдетъ длинный.

Въ очень старые годы у насъ былъ возможенъ такой типъ, какъ Мордвиновъ, высокопросвѣщенный и свободолюбивый человѣкъ, дѣятельно проводившій въ жизнь, гдѣ только было возможно, начало свободной личности, поклонникъ европейскихъ конституціонныхъ порядковъ и, въ то-же время, отстаивавшій крѣпостное право. Это было противорѣчіе настолько ясное, что даже и гораздо менѣе умный и просвѣщенный человѣкъ, чѣмъ Мордвиновъ, не могъ-бы впасть въ него незамѣтно для себя, по случайной ошибкѣ мысли. Мордвиновъ имѣлъ свое объясненіе. Онъ не видѣлъ въ крѣпостномъ правѣ вѣчнаго, безусловно справедливаго института, онъ предлагалъ лишь „потерпѣть“ съ освобожденіемъ, пока помѣстное дворянство воспитывается въ идеяхъ свободы и законности и настолько окрѣпнетъ экономически, чтобъ уже болѣе не нуждаться въ даровомъ трудѣ. „Сей есть единственный путь къ свободѣ“,—говорилъ онъ, указывая на Европу. Такихъ просвѣщенныхъ, умныхъ и энергическихъ людей, какъ Мордвиновъ, у насъ никогда не бывало много, но, конечно, было не мало такихъ, которые, подобно ему, сочетали либерализмъ съ крѣпостничествомъ. Однако, къ сороковымъ годамъ они, можно сказать, исчезли. Къ этому времени и европейскія либеральныя вѣянія значительно осложнились элементами, готовившими февральскую революцію. Результаты революціонной бури, пронесшейся въ концѣ прошлаго столѣтія изъ Франціи по всей Европѣ, подорвали довѣріе къ доктринѣ чистаго либерализма. Выяснилось, что начало безусловной свободы

личности, какъ оно выразилось въ философіи, политикѣ, экономикѣ, этикѣ, заключаетъ въ себѣ какое-то недоразумѣніе. Теперьто мы уже очень хорошо знаемъ, въ чемъ тутъ дѣло, но въ сороковыхъ годахъ мысль не только у насъ, а и въ Европѣ должна была очень напрягаться, чтобы, во-первыхъ, констатировать самый фактъ недоразумѣнія и затѣмъ найти выходъ изъ него. Лишь съ большою постепенностью и послѣ долгой борьбы выяснилось (а для многихъ и посейчасъ неясно), что, освободившись отъ разнообразныхъ узъ, наложенныхъ на нее еще въ средніе вѣка, личность еще не становится дѣйствительно свободною; что безусловной свободы, какъ и вообще чего-бы то ни было безусловнаго, нѣтъ для человѣка; что личность, для достиженія возможной степени свободы, должна наложить на себя новыя узы взамѣнъ тѣхъ, которыя она только что сбросила, потому что переросла ихъ. Въ нѣкоторыхъ областяхъ мысли и жизни этотъ результатъ былъ достигнутъ сравнительно легко, зато въ другихъ не давался очень долго. Въ области философіи мысль, сбросивъ съ себя оковы супранатурализма и теологическихъ преданій, ринулась въ метафизическую высь въ гордой надеждѣ объяснить все сущее и долженствующее быть изъ самой себя, изъ чистой личной мысли. Оказалось, однако, и сравнительно довольно быстро, что ничего путнаго изъ такого совершенно свободнаго полета выйти не можетъ, и философская мысль сознательно надѣла на себя новыя узы—узы опыта и наблюденія. Гораздо труднѣе и медленнѣе шелъ аналогичный процессъ въ области экономическихъ отношеній. Здѣсь личность, тоже сбросивъ съ себя оковы феодальныхъ отношеній, цеха, гильдіи, общины, осталась на всей своей вольной волѣ, что и было закрѣплено знаменитою формулой laissez faire и теоріей гармоніи интересовъ. Двусмысленность этой свободы и необходимость для личности какихъ-нибудь новыхъ узъ, которыя гарантировали-бы ей дѣйствительно возможную свободу, окончательно для всѣхъ выяснились только въ наши дни. Во всякомъ случаѣ, къ сороковымъ годамъ кризисъ въ европейской жизни уже назрѣлъ и скоро разразился новою революціонною бурей. Европа отнюдь не думала отказываться отъ того, что было уже ею завоевнно,—отъ свободы личности,—но оказались нужными реальныя гарантіи этой свободы, ибо безъ нихъ выгоды свободы выпадали на долю не личности, а извѣстныхъ общественныхъ группъ, по-

ставленныхъ въ выгодныя условія. Нужно было выбрать центромъ теоретическихъ изслѣдованій и практическихъ заботъ такой общественный элементъ, интересы котораго никоимъ образомъ не могли-бы встать въ противорѣчіе съ интересами личности. Такимъ элементомъ оказался трудъ, собственная цѣлесообразная, полезная дѣятельность личности, или, говоря конкретно, совокупность трудящихся классовъ общества, народъ.

Такъ шли дѣла въ Европѣ, отражаясь всѣми своими перипетіями и у насъ,—не на практикѣ, конечно, а лишь въ теоріи, въ средѣ небольшой группы мыслящихъ людей. Къ сороковымъ годамъ стали уже немыслимы Мордвиновы. Основнымъ догматомъ русскаго либерализма стало освобожденіе крестьянъ, а не свобода и преуспѣяніе личности въ средѣ высшихъ классовъ насчетъ дарового труда и рабства многомилліонной массы народа. Вмѣстѣ съ тѣмъ народились и „кающіеся дворяне“, люди, такъ или иначе отрицательно относившіеся къ выгодамъ своего привилегированнаго положенія. Характерны слѣдующія слова Тургенева: „Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ... Мнѣ необходимо было удалиться отъ моего врага, съ тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться. Это была моя аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда“. Какъ именно боролся Тургеневъ съ своимъ врагомъ, достаточно-ли были сильны его нападенія—это другой вопросъ. Я говорю лишь о настроеніи, которое, конечно, не въ немъ одномъ звучало, и въ настроеніи этомъ уже слышалась нота покаянія, признанія грѣха и отвѣтственности передъ народомъ. Но Тургеневъ справедливо говоритъ, что подъ именемъ крѣпостного права онъ „собралъ и сосредоточилъ“ многое. Дѣло было не въ одномъ крѣпостномъ правѣ, а во всѣхъ развѣтвленіяхъ той жизни, которая была на немъ построена. Вся она, очевидно, требовала перестройки, новыхъ устоевъ гражданственности, новой цивилизаціи. А такъ какъ европейская цивилизація переживала въ это время кризисъ, то и у насъ образовался знаменитый расколъ людей мысли на славянофиловъ и западниковъ. И тѣ, и другіе

одинаково желали свободы личности, стѣсненной не только крѣпостнымъ правомъ, но и всѣмъ строемъ нашей тогдашней жизни. Но славянофилы искали гарантій этой свободы въ древне-русскихъ или славянскихъ и византійскихъ чертахъ быта; западники же или совершенно отрицали надобность въ какихъ бы то ни было подобныхъ гарантіяхъ, или въ поискахъ за ними слѣдовали по стопамъ ищущей тоже Европы. Но уже Герценъ, сходясь въ этомъ отношеніи съ славянофилами и будучи совершенною имъ противоположностью во всемъ остальномъ, не постѣснился признать русскую крестьянскую общину именно такою гарантіей возможной свободы личности, которой недоставало Европѣ. Этимъ онъ вызвалъ извѣстную желчную и несправедливую выходку Карла Маркса, будто „полурусскій и вполнѣ москвичъ Герценъ“ пропагандируетъ „обновленіе Европы посредствомъ кнута и насильственнаго смѣшенія европейской крови съ калмыцкою“.

Къ шестидесятымъ годамъ славянофилы подошли, ничего не прибавивъ къ своему символу вѣры и ничего изъ него не вычеркнувъ, со всѣми своими свѣтлыми и тусклыми сторонами. Изъ нихъ только выдѣлилась небольшая, межеумочная группа „почвенниковъ“, о которой не стоитъ и говорить. Что же касается западниковъ, то они вскорѣ раскололись на-двое. Одни остались при чистой доктринѣ либерализма, въ предположеніи, что кризисъ, пережитый Европою въ концѣ сороковыхъ годовъ, былъ лишь случайною вспышкой, вызванною нѣсколькими неразумными и горячими головами. Во главѣ этой партіи въ литературѣ стоялъ покойный Катковъ, привѣтствовавшій всѣ освободительныя реформы и мечтавшій о водвореніи у насъ англійскаго политическаго и экономическаго строя жизни. Съ этого пути Катковъ окончательно сошелъ лишь ко второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Во главѣ другой партіи западниковъ стоялъ „Современникъ“. Но едва-ли справедливо называть эту партію западническою, такъ какъ она, во-первыхъ, не останавливалась передъ критикой самыхъ основъ европейской цивилизаціи, а, во-вторыхъ, не отказывалась признать доброе, подлежащее дальнѣйшему развитію и въ основахъ русской жизни. Если, однако, названіе „западнической“ не подходитъ къ этой партіи, то сближенія съ славянофильствомъ, которое г. Боборыкинъ усматриваетъ въ этихъ „петербургскихъ радикалахъ“, тоже не было. Вѣрнѣе сказать, что на этомъ пунктѣ исторіи русской литера-

туры произошло полное упраздненіе обѣихъ доктринъ съ ихъ односторонностями. Сложилось новое, цѣльное міросозерцаніе, значительность котораго до извѣстной степени уже a priori гарантировалась не только высокими дарованіями людей, вырабатывавшихъ его, а и величіемъ того историческаго момента, подъ давленіемъ котораго оно складывалось. Собственно для характеристики отношеній этого міросозерцанія къ обѣимъ доктринамъ, которыя оно призвано было замѣнить, приведу слова Чернышевскаго (въ „Замѣткахъ о журналахъ“ 1857 г., цитируемыя и въ книгѣ г. Скабичевскаго). Оговоривъ тѣ элементы славянофильства, „которые находятся въ противорѣчіи и съ идеями, выработанными современною наукой, и съ характеромъ нашего времени“, Чернышевскій замѣчаетъ, что, кромѣ этихъ заблужденій, „есть въ славянофильствѣ элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія. *И если уже должно дѣлать выборъ*, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, которая часто покрывается эгидой вѣрности западной цивилизаціи, при чемъ подъ западною цивилизаціей понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукой, и факты наиболѣе прискорбные въ западной дѣйствительности, не говоря уже о замѣненіи общинной поземельной собственности полновластною личною“.

„Если ужъ должно дѣлать выборъ“. Но на самомъ дѣлѣ и не приходилось дѣлать какой-нибудь выборъ, потому что, повторяю, и славянофильство, и западничество упразднялись, теряли свой raison d'être, уступая свои мѣста новому міровоззрѣнію. Къ этому міровоззрѣнію примкнули и мы въ семидесятыхъ годахъ (оговариваюсь разъ навсегда: говоря *мы*, я разумѣю, конечно, не всю литературу семидесятыхъ годовъ, а лишь ту часть ея, къ которой я имѣлъ честь принадлежать. И еще: говорю *мы*, хотя я лично началъ писать еще въ шестидесятыхъ годахъ; но я тогда слишкомъ мало и слишкомъ урывками работалъ, чтобы имѣть право причислять себя къ литературѣ шестидесятыхъ годовъ).

Вернемся на минуту къ *аннибаловской клятвѣ* Тургенева. Знаменитый романистъ клялся не только не мириться съ крѣпостнымъ правомъ, но и активно бороться съ нимъ; и не только съ нимъ, а и со всѣмъ, что въ немъ находило свой центръ. По своему темпераменту, склонностямъ, по роду своего ярко выраженнаго дарованія, наконецъ, по всѣмъ условіямъ какъ своей личной жизни, такъ и русской жизни вообще, Тургеневъ имѣлъ

въ распоряженіи только одно орудіе борьбы—искусство, беллетристику. Значитъ, онъ обрекалъ свое искусство на служебную роль, подчинялъ его извѣстной нравственно-политической цѣли. Это ставитъ передъ нами вопросъ о предѣлахъ и задачахъ искусства, а, слѣдовательно, и литературной критики, занимающей въ нашей новѣйшей литературѣ такое значительное мѣсто. Дѣйствительно, едва-ли гдѣ-нибудь и когда-нибудь пререканія по этому вопросу достигали такой напряженности и страстности, какъ у насъ. За „чистое“ искусство, съ одной стороны, за „тенденціозное“ съ другой—ломалось множество копій, исповѣдываніе той или другой программы собственно искусства и литературной критики обращалось даже какъ-бы въ политическій догматъ, служило признакомъ принадлежности къ той или другой политической партіи. И не безъ основанія. Вопросъ о задачахъ и предѣлахъ искусства возникъ у насъ еще во времена Бѣлинскаго, когда, съ одной стороны, условія печати, а съ другой—малая развитость массы читателей естественно выдвигали беллетристику на первое мѣсто: беллетристическая форма была сравнительно безобидна и, вмѣстѣ съ тѣмъ, общедоступна. Тѣ-же причины выдвигали литературную критику, придавая ей исключительно важное значеніе. „Если-бы вы знали,—говорилъ Бѣлинскій Панаеву,—какое мученіе повторять зады, твердить одно и то-же, все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамъ, все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ? Я рожденъ памфлетистомъ—и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло на душѣ, отъ чего сердце болитъ!“ Бѣлинскій ошибался,—онъ былъ настоящимъ литературнымъ критикомъ съ тонкимъ художественнымъ чутьемъ и блестящимъ анализомъ. Но что онъ былъ-бы, можетъ быть, еще болѣе блестящимъ памфлетистомъ (то-есть публицистомъ), это вѣрно, судя хотя-бы только по его знаменитому, столь-же пламенному, сколько и убѣдительному, истинно-уничтожающему письму къ Гоголю. Но обстоятельства держали его на привязи литературной критики, и очень натурально, что онъ страстно хотѣлъ имѣть дѣло, по крайней мѣрѣ, съ художественнымъ отраженіемъ жизни, если ужъ не съ самою жизнью. Однако, кромѣ личной склонности, у него были и другіе мотивы. Въ 1841 году онъ писалъ Боткину: „Что мнѣ въ томъ, что *я* понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исто

ріи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними по Христѣ, но кто мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь-же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими!.. И послѣ этого имѣетъ-ли право *человѣкъ* забываться въ искусствѣ, въ знаніи!“ Въ 1843 г. онъ писалъ въ частномъ-же письмѣ: „Мнѣ стыдно вспомнить, что нѣкогда я думалъ видѣть на головѣ моей терновый вѣнокъ страданія, тогда какъ на ней былъ просто шутовской колпакъ съ бубенчиками. Какое страданіе, если стишонки Красова и Клюшникова были фактомъ жизни и занимали меня, какъ вопросы о жизни и смерти? Теперь иное: я не читаю стиховъ (и только перечитываю Лермонтова, все болѣе и болѣе погружаясь въ бездонный океанъ его поэзіи), и когда случится пробѣжать стихи Фета или Огарева, я говорю: оно хорошо, но какъ же не стыдно тратить времени и чернилъ на такіе вздоры?“ (См. Пыпина. Бѣлинскій, его жизнь и переписка).

Какъ видите, мотивы тѣ-же, что и у *аннибаловской клятвы* Тургенева, только болѣе ярко и страстно выраженные. Отъ Мордвинова, предлагавшаго „потерпѣть“ съ освобожденіемъ рабовъ, пока не освоятся со свободою и не преуспѣютъ господа, до Бѣлинскаго, отвергающаго „блаженство, если оно достояніе одного изъ тысячъ“,—пространство неизмѣримое. Въ страстныхъ письмахъ Бѣлинскаго уже вполнѣ сказался зародышъ того всероссійскаго, можно сказать, покаянія, которое развернулось въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, послѣ крымской войны, но довольно скоро остыло, чтобы вновь воскреснуть, въ чрезвычайно своеобразной формѣ, въ семидесятыхъ годахъ.

Итакъ, Тургеневъ клялся подчинить свое художественное дарованіе нравственно-политической цѣли, сдѣлать изъ искусства орудіе, средство борьбы съ крѣпостнымъ правомъ. Бѣлинскій шелъ еще дальше въ этомъ направленіи, объявляя вздоромъ, не стоющимъ потраченныхъ чернилъ и времени, плоды „чистаго“ вдохновенія, не имѣющаго отношенія къ „меньшимъ братьямъ“. Чтобы оцѣнить истинное значеніе этого взгляда на задачи искусства, надо прислушаться къ противоположному мнѣнію. Нѣсколько позже (въ 1856 г.) Дружининъ, доказывая въ „Библіо-

текѣ для Чтенія“ вредъ, нанесенный нашей литературѣ критическими пріемами Бѣлинскаго, писалъ, между прочимъ: „Большая часть пишущихъ людей понимала необходимость жизни и примиренія съ жизнью, сознавала необходимость всего того, отъ чего ее отвращала новая критика, то-есть необходимость свѣтлаго взгляда на вещи, веселаго простодушнаго смѣха, необходимость беззлобнаго отношенія къ дѣйствительности, необходимость любящаго, симпатическаго взгляда на людей и на дѣла людскія“. Но, дескать, „дидактическія требованія“ критики Бѣлинскаго налагали на художниковъ „стѣснительныя узы“, въ которыхъ они и задыхались.

Эту послѣднюю цитату я заимствую у г. Скабичевскаго, который справедливо замѣчаетъ, что Дружининъ оказался въ этомъ случаѣ послѣдовательнѣе и откровеннѣе всѣхъ противниковъ проповѣдываемаго Бѣлинскимъ „искусства для жизни“ (въ противоположность пресловутому искусству для искусства). Но г. Скабичевскій извлекъ, мнѣ кажется, изъ словъ Дружинина далеко не все поучительное. Поучительно, во-первыхъ, сопоставить исповѣдываніе вѣры Дружинина съ тѣмъ „новымъ словомъ“, которое такъ упорно твердила въ послѣднее время „Недѣля“ отъ лица „новаго литературнаго поколѣнія“. Какъ видите, это „новое слово“ было провозглашено весьма второстепеннымъ критикомъ ни больше, ни меньше, какъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ: Дружининъ говорилъ о „необходимости свѣтлаго взгляда на вещи“, „Недѣля излагала теорію „свѣтлыхъ явленій“; Дружининъ требовалъ „примиренія съ жизнью“, „Недѣля“ хлопотала о „реабилитаціи дѣйствительности“. Даже и слова-то почти одни и тѣ-же. Должно быть, и въ самомъ дѣлѣ ничто не ново подъ луною; даже „новое слово“—и то не ново... Любопытна, далѣе, слѣдующая черта. Если та борьба съ дѣйствительностью, въ которой клялся Тургеневъ и которой такъ страстно желалъ Бѣлинскій, есть „дидактизмъ“ и паденіе искусства критики, то почему-же не заслуживаетъ этихъ обвиненій противоположная задача—примиреніе съ дѣйствительностью, ея „реабилитація“? Вѣдь это противоположности, лежащія, такъ сказать, на одной плоскости. При помощи художественныхъ картинъ и образовъ или критическихъ къ нимъ комментаріевъ одинъ взываетъ къ борьбѣ съ дѣйствительностью, положимъ съ крѣпостнымъ правомъ. При помощи тѣхъ-же самыхъ средствъ другой хочетъ примирить читателей

съ тою-же самою дѣйствительностью, реабилитировать ее Почему первый—„дидактикъ“, „тенденціозенъ“, извращаетъ задачу искусства, а второй, напротивъ, представляетъ собою служителя „чистаго искусства“?

Со временъ Бѣлинскаго условія, въ которыхъ находится русская литература, много измѣнились къ лучшему. Въ эпоху реформъ печать получила бо́льшую свободу, нѣкоторый доступъ къ прямому обсужденію вопросовъ жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и масса читателей стала способнѣе интересоваться окружающею ее жизнью и вопросами болѣе или менѣе отвлеченными. Однако, обстоятельства, выдвинувшія на первый планъ беллетристику и литературную критику: ихъ сравнительная безобидность и ихъ общедоступность,—все таки оставались въ силѣ, да остаются, пожалуй, въ извѣстной степени, и теперь. Поэтому-то вопросъ о предѣлахъ и задачахъ искусства и литературной критики и занимаетъ такое видное мѣсто въ исторіи новѣйшей русской литературы. Немудрено, что ему посвящено не мало страницъ въ книгѣ г. Скабичевскаго. Къ сожалѣнію, собственные взгляды на этотъ предметъ почтеннаго автора „Исторіи новѣйшей русской литературы“ страдаютъ нѣкоторою расплывчатостью и неопредѣленностью.

Повидимому, г. Скабичевскій признаетъ за критикой Бѣлинскаго большія заслуги, но не совсѣмъ доволенъ его теоретическою постановкой самыхъ основаній критики. Онъ говоритъ: „Бѣлинскій установилъ въ критикѣ „принципъ искусства для жизни“, но этотъ принципъ въ статьяхъ великаго критика словно висѣлъ въ воздухѣ, такъ какъ въ эстетическихъ воззрѣніяхъ своихъ Бѣлинскій продолжалъ держаться старыхъ метафизическихъ теорій, не замѣчая, что онѣ по самому существу своему находились въ полномъ разладѣ съ новымъ принципомъ“. Г. Скабичевскому кажется именно, что опредѣленіе „прекраснаго“, котораго будто-бы Бѣлинскій держался до конца дней своихъ, находилось въ противорѣчіи съ новымъ, утилитарнымъ принципомъ. Я не думаю, чтобы это было справедливо, но останавливаться на этомъ не вижу надобности. Г. Скабичевскій думаетъ, что нужную поправку къ воззрѣніямъ Бѣлинскаго сдѣлалъ Валеріанъ Майковъ, даровитый и многообѣщавшій юноша, умершій въ 1847 г. (собраніе сочиненій его вышло въ нынѣшнемъ году). 'Поправка эта была какъ будто подготовленіемъ дѣятельности Добролюбова“ (стр. 54).

Говорю: „какъ будто“—потому, что въ дальнѣйшемъ изложеніи г. Скабичевскаго дѣло принимаетъ совсѣмъ другой видъ. Свои размышленія о диссертаціи Чернышевскаго, „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“, г. Скабичевскій резюмируетъ такъ: „Это отождествленіе искусства съ наукой и приданіе искусству служебной роли иллюстрированія научныхъ, философскихъ и публицистическихъ изысканій было роковою ошибкой, которая повела за собою весьма крупныя послѣдствія. Первымъ дѣломъ, она вывела критику изъ той роли, которая наиболѣе ей свойственна, какъ цѣнительницѣ художественныхъ произведеній, и которую критика исполняла съ такимъ блестящимъ успѣхомъ въ эпоху Бѣлинскаго. Теорія Майкова, если-бы она была вполнѣ развита и утвердилась-бы въ литературѣ“ и т. д. (слѣдуетъ объясненіе значенія теоріи Майкова). „Совсѣмъ иныя требованія вытекаютъ изъ теоріи Чернышевскаго“, а именно получается критика не художественная, а публицистическая. А такъ какъ тутъ подоспѣла эпоха реформъ, то „подобная критика пришлась какъ нельзя болѣе ко времени и кстати и была осуществлена въ блестящей дѣятельности Добролюбова“. Чернышевскій самъ былъ лишенъ критическаго или эстетическаго чутья и потому „смиренно“ уступилъ свое мѣсто литературнаго критика Добролюбову, который оказался ученикомъ, затмившимъ своего учителя, потому что учителемъ-то его Чернышевскій былъ. Что же касается Добролюбова, то, при многихъ прекрасныхъ качествахъ ума и сердца, онъ „былъ вовсе не критикъ, а публицистъ“. Тоже относится и ко всѣмъ послѣдующимъ критикамъ „передового лагеря движенія“ или „либеральнаго лагеря“, какъ выражается г. Скабичевскій.

Сожалѣнія достойно, что г. Скабичевскій остановился на критикахъ лишь этого лагеря, да и то не всѣхъ помянулъ. Но у насъ было и другое теченіе литературной критики, о представителяхъ котораго г. Скабичевскій либо упоминаетъ вскользь, либо совсѣмъ не говоритъ. У критиковъ временъ упадка литературы—Дружинина, Анненкова—были свои продолжатели. Критическія упражненія гг. Страхова, Н. Соловьева, Эдельсона, Авсѣенка и др. заслуживаютъ вниманія уже просто какъ факты исторіи новѣйшей русской литературы. Но эти факты находятся, кромѣ того, въ извѣстной связи съ другими, между прочимъ, и съ тѣми, которые занимаютъ г. Скабичевскаго. Онъ думаетъ, что эстети-

ческая теорія Чернышевскаго, впослѣдствіи „воспринятая молодыми и незрѣлыми умами, послѣдовательно, по наклонной плоскости, должна была дойти до полнаго отрицанія искусства, что мы и видимъ въ публицистахъ „Русскаго Слова“ съ Писаревымъ во главѣ“. Что въ литературной дѣятельности Писарева и его сотрудниковъ было много неправильнаго и чрезмѣрнаго, это вѣрно. Но приписывать всѣ эти неправильности и чрезмѣрности вліянію эстетической теоріи Чернышевскаго, да молодости и незрѣлости умовъ,—это, по малой мѣрѣ, неосмотрительно. Чрезмѣрности Писарева и другихъ писателей его лагеря могутъ быть правильно освѣщены только при сопоставленіи ихъ съ противоположнымъ теченіемъ, которое сказалось и въ беллетристикѣ, и въ литературной критикѣ, а слѣдовательно, входитъ и въ предѣлы плана сочиненія г. Скабичевскаго. Но, даже вполнѣ соглашаясь на этомъ пунктѣ съ г. Скабичевскимъ, немножко трудно ориентироваться въ его воззрѣніяхъ на ходъ развитія нашей литературной критики. Теорія Валеріана Майкова, съ одной стороны, была „подготовленіемъ дѣятельности Добролюбова“, а съ другой стороны—учителемъ Добролюбова былъ Чернышевскій, на пагубу литературы отступившій отъ пути, намѣченнаго Валеріаномъ Майковымъ. Добролюбовъ не былъ критикомъ, но Чернышевскій предоставилъ ему этотъ отдѣлъ, потому что самъ былъ лишенъ критическаго чутья, которое, поэтому, въ Добролюбовѣ, надо полагать, было. Признаюсь, я не умѣю во всемъ этомъ разобраться.

Но въ чемъ-же состоитъ та спасительная теорія Валеріана Майкова, которая, впрочемъ, ничего не спасла? Валеріанъ Майковъ, безспорно, очень даровитый юноша, былъ въ свое время выдвигаемъ какъ-бы въ пику Бѣлинскому (который, впрочемъ, и самъ возлагалъ на него надежды), но, не успѣвъ, собственно говоря, ничего осязательнаго сдѣлать, сорокъ пять лѣтъ спокойно лежитъ въ могилѣ. Нынѣ его желаютъ извлечь оттуда не только какъ интересный, хотя и одиноко стоящій фактъ исторіи нашей литературы, но и въ судъ и въ осужденіе цѣлому теченію этой литературы. Въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, въ разборѣ собранія сочиненій Майкова, я нашелъ примѣрно тѣ-же мысли, что и въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго, а именно, что наша литературная критика, въ лицѣ Майкова, поднялась было на высшую, сравнительно съ Бѣлинскимъ, ступень, но потомъ, въ лицѣ Чернышевскаго и Добролюбова, пала еще ниже

прежняго, да такъ съ тѣхъ поръ и не можетъ поправиться. Не имѣя подъ руками сочиненій Майкова, я изложу его „теорію“ по книгѣ г. Скабичевскаго.

„Когда мы наблюдаемъ окружающую насъ дѣйствительность, все, что мы видимъ, мы сравниваемъ съ собою (это пересказъ г. Скабичевскаго), и все то, въ чемъ мы не усматриваемъ ни малѣйшаго сходства съ собою, что намъ, поэтому, совершенно ново, чуждо и непонятно, все это для насъ *занимательно*, мы стремимся *изучить* это невѣдомое, усвоить его, найти въ немъ общее съ нами; а разъ этого мы достигаемъ, предметъ открывается намъ съ другой своей стороны—*симпатичной*, то-есть все то, что мы находимъ въ немъ общаго съ нами, возбуждаетъ въ насъ сочувствіе“. Далѣе г. Скабичевскій дѣлаетъ цитату изъ самого Майкова, изъ которой видно, что не то, что наблюдаемая дѣйствительность вообще, а „каждый предметъ, доступный нашему познанію, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины“: одна—подстрекаетъ лишь нашу любознательность, другая—вызываетъ симпатію или антипатію. Г. Скабическій продолжаетъ: „Изъ этого отличія занимательнаго отъ симпатичнаго проистекаетъ отличіе науки отъ искусства. Все, что не возбуждаетъ въ насъ никакихъ эмоцій, а только одно любопытство, входитъ въ область науки; все-же симпатичное, въ чемъ мы находимъ частичку себя, все, что, такъ или иначе, относится къ намъ, что насъ волнуетъ, радуетъ, приводитъ въ негодованіе или пугаетъ, все это входитъ въ область искусства“. Это, опять-таки, пересказъ г. Скабичевскаго, а затѣмъ слѣдуютъ подлинныя слова Майкова: „Художественная мысль зарождается въ формѣ любви или негодованія, и тайна творчества—въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатичной стороны. Иными словами, художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)“.

Такова теорія Майкова, по крайней мѣрѣ, въ томъ ея видѣ, въ какомъ г. Скабичевскій полагаетъ ея достоинство и спасительность. Прежде всего, ясно, что различеніе „занимательнаго“ и „симпатичнаго“ не представляетъ ничего новаго, такъ какъ оно и Бѣлинскому было хорошо извѣстно подъ именемъ различенія „объективнаго“ и „субъективнаго“ отношенія къ данному предмету. Затѣмъ, на основаніи этого различенія, никоимъ образомъ

не можетъ быть произведено то размежеваніе областей науки и искусства, которому г. Скабичевскій придаетъ особенную цѣну. Приведу лишь одинъ примѣръ, хотя ихъ можно было бы набрать тысячи. Если дѣянія Ивана Грознаго, Калигулы, Нерона, меня „волнуютъ, приводятъ въ негодованіе или пугаютъ“, то значитъ-ли это, что они должны быть отданы цѣликомъ въ вѣдѣніе искусства, а наукѣ такъ ужъ нечего дѣлать съ ними? Я отнюдь не хочу этимъ сказать, что области науки и искусства не подлежатъ размежеванію. Я говорю лишь, что ихъ нельзя размежевать при помощи того принципа, который г. Скабичевскій нашелъ у Майкова. И наука, и искусство оперируютъ надъ однимъ и тѣмъ-же матеріаломъ; и та, и другое должны, по однимъ воззрѣніямъ, сами служить себѣ цѣлью (наука для науки, искусство для искусства), а по другимъ — возводить свой матеріалъ „въ міръ человѣческихъ интересовъ“. Но, во всякомъ случаѣ, искусство достигаетъ своихъ эффектовъ не только при помощи эмоцій вообще, а еще при помощи спеціальной эстетической эмоціи, о которой у Майкова нѣтъ помину. Если правда, что грѣхъ всей послѣдующей критики состоялъ въ томъ, что она была не критика, а публицистика, то теорія Майкова едва-ли могла предотвратить этотъ грѣхъ. „Художественная мысль зарождается въ формѣ любви или негодованія“, „художественная дѣятельность возводитъ дѣйствительность въ міръ человѣческихъ интересовъ“—отъ этихъ положеній не отказались-бы ни Чернышевскій, ни Добролюбовъ. И, въ концѣ-концовъ, я недоумѣваю, чего именно требуетъ г. Скабичевскій отъ литературной критики. Онъ вѣдь и самъ литературный критикъ, каковымъ является и въ „Исторіи новѣйшей русской литературы“, характеризуя, критически освѣщая цѣлый рядъ беллетристовъ. Тѣмъ, казалось-бы, легче уловить его требованія, такъ какъ они могли-бы быть подтверждены его собственнымъ примѣромъ. Но до какой степени трудно уловить собственные принципы г. Скабичевскаго, видно уже изъ самаго оглавленія его книги, изъ заглавій и подзаглавій ея отдѣловъ. Г. Скабичевскій группируетъ свой матеріалъ то хронологически („школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ“, „беллетристы восьмидесятыхъ годовъ“), то по родамъ и видамъ формъ творчества („драма и комедія“, „поэзія“), то по нравственно-политическому содержанію („беллетристы-народники“, „общая характеристика тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря“,

„общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаблонъ"), то, наконецъ, по принадлежности писателей къ тому или другому полу („женщины-беллетристки"). Позволю себѣ напомнить по этому случаю поговорку: у семи нянекъ дитя безъ глазу.

Простите, читатель, за это отступленіе въ сторону книги г. Скабичевскаго. Простите и за будущія отступленія, которыхъ я предвижу не мало. Простите, наконецъ, за тысячу первый разговоръ о роли и задачахъ искусства. Тѣмъ болѣе простите, что тема эта давно упразднена самою жизнью и держится въ литературѣ единственно по недоразумѣнію, которое вонъ даже Валеріана Майкова тащитъ изъ сорокапятилѣтней могилы. Г. Скабичевскій говоритъ, что, „подъ вліяніемъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, русская критика передового лагеря движенія до сихъ поръ сохраняетъ публицистическій характеръ разсмотрѣнія художественныхъ произведеній съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго значенія и анализа воспроизводимыхъ ими фактовъ съ цѣлью рѣшенія тѣхъ или другихъ общественныхъ вопросовъ или проведенія какихъ-либо политическихъ идей". Это вѣрно не только относительно тѣхъ писателей, которыхъ г. Скабичевскій приводитъ для образца (М. А. Антоновича и меня) и которые, какъ на грѣхъ, сравнительно мало занимались собственно литературною критикой, но и относительно самого г. Скабичевскаго, принадлежащаго или, по крайней мѣрѣ, принадлежавшаго къ тому-же „передовому лагерю движенія" и литературнаго критика по преимуществу. Мало того. Это вѣрно относительно всѣхъ „лагерей". „Ангелъ чистой красоты" отлетѣлъ отъ русской литературы. Если онъ и блеснетъ иногда, „какъ мимолетное видѣнье", въ стихахъ, напримѣръ, г. Фета, такъ, во-первыхъ, его уже не встрѣчаютъ съ священнымъ трепетомъ, а, во-вторыхъ, въ насъ, наученныхъ опытомъ и размышленіемъ, закрадывается ядовитое сомнѣніе: подлинный-ли это ангелъ чистой красоты, не гусиныя-ли у него крылья, не тѣхъ-ли, именно, крестьянскихъ гусей крылья, которые нѣкогда такъ безпокоили г. Фета, на что онъ и жаловался „презрѣною прозой" въ „Русскомъ Вѣстникѣ"? Старая это исторія, и мало кто ее теперь помнитъ, а была такая „сконапель истоаръ". Да и мало-ли какихъ „истоаръ" мы насмотрѣлись. Давно-ли, напримѣръ, читали мы тенденціознѣйшія произведенія гг. Авсѣенка, Орловскаго, Маркевича,—произведенія,

въ которыхъ явственно доказывалось, что „нигилисты“ и разные прочіе „исты“ суть частью дураки, а частью злодѣи, тогда какъ князь Аполонъ Загорскій и графиня Діана Заморская преисполнены, напротивъ того, ума, добродѣтели и любви къ отечеству? Произведенія эти печатались въ журналахъ, въ критическомъ отдѣлѣ своемъ поклонявшихся ангелу чистой красоты, которому, дескать, чужды „житейскія волненья, корысть и битвы“, а приличествуютъ лишь „вдохновенье, звуки сладкіе и молитвы“. Однако, и въ этомъ критическомъ отдѣлѣ поклоненіе ангелу чистой красоты совершалось лишь „вообще“, теоретически, а когда дѣло доходило до дѣла, то-есть до критическаго разбора того или другого произведенія, то господа критики не только свои „политическія идеи“ проводили (все больше насчетъ доблестей князя Загорскаго и графини Заморской), а и прямо-таки открытые доносы на неблагонамѣренность своихъ противниковъ писали. Ангелъ чистой красоты на дѣлѣ отдавался на службу. даже очень сквернымъ цѣлямъ. И теперь то-же самое дѣлается

Дѣло очень простое. Литературный критикъ есть толкователь художественныхъ произведеній. Успѣхъ или не успѣхъ его толкованія, правильность или неправильность его пріемовъ зависятъ какъ отъ его личныхъ свойствъ, такъ и отъ свойствъ произведенія, подлежащаго критикѣ. Критикъ можетъ быть лишенъ эстетическаго чутья и вкуса, и потому либо не обратитъ вниманія на художественныя красоты и изъяны произведенія, либо неправильно ихъ освѣтитъ, но возможно, что онъ при этомъ лучше всякаго другого понимаетъ другія стороны произведенія, которыя вѣдь тоже требуютъ толкованія или оцѣнки. Таковъ именно и былъ Чернышевскій. Въ 1856 г. Тургеневъ, взаимныя отношенія котораго съ „Современникомъ“ скоро послѣ того стали открыто враждебными, писалъ Дружинину: „Мертвечины я въ Чернышевскомъ не нахожу,—напротивъ, я чувствую въ немъ струю живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встрѣтить въ критикѣ. Онъ плохо понимаетъ поэзію: знаете, это еще не великая бѣда; критикъ не дѣлаетъ поэтовъ и не убиваетъ ихъ, но онъ понимаетъ... какъ это выразить? — потребности дѣйствительной современной жизни. И въ немъ это не есть проявленіе разстройства печени, какъ говорилъ нѣкогда милѣйшій Григоровичъ, а самый корень существованія. Впрочемъ, довольно объ этомъ; я почитаю Чернышевскаго полезнымъ; время покажетъ, былъ-ли я правъ“

(„Собраніе писемъ Тургенева“, 26). Бываетъ, однако, и такъ, что художественныя достоинства и недостатки произведенія, сравнительно съ другими его сторонами, мало или вовсе не нуждаются въ оцѣнкѣ или толкованіи. Тогда критикъ, даже отличающійся такимъ значительнымъ эстетическимъ чутьемъ, какимъ обладалъ Добролюбовъ, естественно ограничивается лишь бѣглыми замѣчаніями спеціально литературно-критическаго характера и налегаетъ на другія стороны произведенія. Критикъ, который вздумалъ-бы ограничиться художественными красотами или ошибками сочиненій даже такихъ первоклассныхъ беллетристовъ, какъ Левъ Толстой, Достоевскій, оставилъ-бы безъ оцѣнки слишкомъ многое и важное. И немудрено, что еще не нашлось ни одного критика, который не оказался бы, говоря о Толстомъ и Достоевскомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и публицистомъ. Какъ отказаться отъ публицистической критики, когда вотъ даже г. Скабичевскій, повидимому, ею неудовлетворяемый, вынужденъ отмѣчать существованіе „тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря“ и „реакціонной беллетристики“? Трактовать ихъ исключительно съ художественной стороны, — не значитъ-ли это мѣрить пространство пудами или вѣсъ аршинами? Никто этого въ дѣйствительности и не дѣлаетъ. Всякій литературный критикъ, къ какому бы лагерю или партіи онъ ни принадлежалъ, по мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія, оцѣниваетъ художественную сторону произведенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизбѣжно становится и публицистомъ, то есть, опять таки, по мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія трактуетъ объ идеяхъ и явленіяхъ жизни, такъ или иначе отразившихся въ произведеніи. А если при этомъ нѣкоторые какъ „либеральные“, такъ и „реакціонные“ критики считаютъ нужнымъ вздохнуть по утраченномъ раѣ, въ которомъ безмятежно виталъ ангелъ чистой красоты, такъ это говорится обыкновенно только во вступленіи къ статьѣ, да и то по недоразумѣнію: жизнь ворвалась и въ беллетристику, и въ литературную критику, — ворвалась она такою, какова она есть на самомъ дѣлѣ, со всѣмъ, что въ ней грязнаго и свѣтлаго, гнуснаго и возвышеннаго.

Такимъ образомъ, признаніе за искусствомъ служебной роли и отрицательное отношеніе къ такъ называемому чистому искусству или къ искусству для искусства составляетъ наслѣдіе еще сороковыхъ годовъ, достигшее своего полнаго расцвѣта въ шестидесятыхъ годахъ. И досталось это наслѣдіе не семидесятымъ

только годамъ или какой-нибудь части литературы семидесятыхъ годовъ, а всѣмъ, и надолго, если не навсегда. Насколько возможно провидѣть будущее, искусство останется будильникомъ не одной спеціальной эстетической эмоціи, а и сложныхъ чувствъ и мыслей нравственно-политическаго порядка. Только тамъ, вдали, на самой грани осуществленнаго идеала, когда водворится „на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе“, быть можетъ, вновь расцвѣтетъ искусство для искусства. Ахъ, читатель, мы съ вами не доживемъ до этого, — ни мы, ни дѣти наши, ни дѣти дѣтей нашихъ! А потому и для нихъ искусство останется однимъ изъ самыхъ могучихъ орудій борьбы. Конечно, и теперь возможны въ минуты отдыха „звуки сладкіе“, безъ всякой иной приправы, кромѣ художественной сладости, и вполнѣ законно наслажденіе ими, но я говорю объ общемъ и главномъ руслѣ искусства. И повторяю, оно для всѣхъ лагерей и партій одинаково. Разница лишь, во-первыхъ, въ степени откровенности или сознательности. Всѣ употребляютъ искусство какъ орудіе борьбы, какъ средство для достиженія извѣстныхъ цѣлей, лежащихъ внѣ предѣловъ искусства. Но одни говорятъ: такъ есть, и иначе быть не можетъ. А другіе, дѣлая то-же самое, по лицемѣрію-ли, или по недомыслію, трагически восклицаютъ: какое униженіе святого искусства!.. Вторая разница лежитъ въ области тѣхъ цѣлей, къ которымъ искусство относится какъ средство, которымъ оно служитъ или должно служить. Искусство для искусства есть миѳъ, „искусство для жизни“ — не миѳъ, но эта формула слишкомъ общая, потому что и собака живетъ, и мышь живетъ, какъ замѣчаетъ король Лиръ. Но, конечно, не интересамъ собачьей или мышиной жизни должно служить искусство, а интересамъ жизни человѣческой, интересамъ человѣка, человѣческой личности.

Выше было уже упомянуто, что ходъ развитія европейской мысли привелъ ее къ признанію труда такимъ общественнымъ элементомъ, интересы котораго не могутъ противорѣчить интересамъ человѣческой личности. Но этотъ результатъ не сразу дался европейской мысли. Когда, въ концѣ прошлаго столѣтія, подъ звуки гимновъ свободѣ, равенству и братству, были провозглашены „права человѣчества“, среди всеобщаго энтузіазма и кровавой борьбы было не до того, чтобы вскрывать ножомъ анализа понятіе „человѣка“, провозгласившаго свои „права“. Лишь съ теченіемъ времени обнаружилось, что этотъ „человѣкъ“ есть

собственно „буржуа“. Тогда политическій вопросъ осложнился вопросомъ соціальнымъ, и выступили на сцену права представителей труда и, главнымъ образомъ, именно фабричныхъ рабочихъ. У насъ въ шестидесятыхъ годахъ тоже произошло освобожденіе личности отъ нѣкоторыхъ оковъ, но наиболѣе яркое выраженіе оно получило въ формѣ освобожденія крестьянъ. Тѣнь отъ этого огромнаго историческаго событія раскинулась далеко и надолго, все собою окрашивая. Ожидались и осуществлялись дальнѣйшія реформы, слишкомъ быстро, какъ казалось однимъ, слишкомъ медленно, по мнѣнію другихъ. Всѣ онѣ имѣли въ виду дать нѣкоторый просторъ личности въ печати, въ земскомъ самоуправленіи, въ путяхъ къ достиженію образованія, въ дѣлѣ промышленности, въ сферѣ юстиціи; но всѣ онѣ меркли по сравненію съ основною реформой освобожденія крестьянъ, утопали въ ней. Поэтому, понятія личности и представителя труда, и именно мужика, готовы были отождествиться, да до извѣстной степени и отождествились. Это обстоятельство имѣло многія чрезвычайно важныя послѣдствія.

V *).

Въ одной изъ толстовскихъ колоній. — Изъ прошлаго и настоящаго гр. Л. Н. Толстого.—Полемика съ нимъ И. И. Мечникова.

Въ „Смоленскомъ Вѣстникѣ“ печатаются чрезвычайно интересные очерки быта „Шавѣевской колоніи“, маленькой общины послѣдователей гр. Л. Н. Толстого, осѣвшихъ на землю и практически осуществляющихъ теоріи учителя. Дѣла „андреевцевъ“ (такъ авторъ-очевидецъ называетъ колонистовъ по имени иниціатора предпріятія) идутъ плохо. Происходитъ много разговоровъ нравственно-богословскаго характера, но работаютъ неважно; евангельскій завѣтъ о любви къ ближнему тоже больше дебатируется, чѣмъ проводится въ жизнь. А одна попытка его практическаго осуществленія повела даже къ совершенно неожиданнымъ результатамъ, очень смутившимъ колонистовъ. Собственно объ этой только попыткѣ я и хочу сказать нѣсколько словъ.

*) 1892, январь.

Въ числѣ догматовъ, исповѣдуемыхъ колонистами, не послѣднее мѣсто занимаетъ знаменитое непротивленіе злу. О непротивленіи говорилось такъ много, что и окрестные крестьяне узнали и оцѣнили эту черту своихъ оригинальныхъ сосѣдей. Крестьяне говорятъ: „Вѣра у нихъ такая,—дѣлай ты съ ними, что хочешь, въ судъ не пойдутъ; люди смирные, тихіе, а что они промежъ себя дюже громко орутъ, словно за горло другъ дружку схватить хотятъ, такъ это у нихъ манеръ такой, а ссоры тутъ никакой нѣтъ: глядишь—опять пошло по-старому, начнутъ весело разговаривать. Народъ хорошій, только въ хозяйствѣ пути никакого нѣтъ". Однажды вышелъ такой казусъ. Взяли андреевцы къ себѣ на воспитаніе изъ сосѣдняго города уличнаго мальчишку лѣтъ тринадцати, который не имѣлъ близкихъ родныхъ, попрошайничалъ и уже былъ значительно испорченъ, а мальчикъ былъ впечатлительный, способный и смѣлый.

Вотъ, видитъ онъ, что зипунишка на немъ сталъ разваливаться, а на толстовцахъ пиджаки и поддевки все здоровые; всталъ утромъ пораньше всѣхъ, выбралъ себѣ поддевочку по росту и надѣлъ, а зипунишко свой забросилъ. Проснулись андреевцы и видятъ этотъ случай. Хозяинъ поддевки обращается къ мальчишкѣ:

— Ты зачѣмъ надѣлъ мою поддевку?

— Потому что моя развалилась, а твоя мнѣ понравилась.

— Ну, ну, скидавай! Что бобы-то разводить.

— Зачѣмъ я буду скидавать? Эта поддевка моя.

— Скидавай, говорятъ тебѣ! А то самъ сниму.

— Ну-ка, попробуй! Что-же ты вѣру свою хочешь смѣнить? Сказано: злому не противься.

Впечатлѣніе получилось довольно сильное: нѣкоторые искренно разсмѣялись, другіе серьезно и вдумчиво вперили свои взоры въ оригинальнаго мальчика; хозяинъ поддевки не зналъ что дѣлать,—стоялъ сконфуженный и недовольный такимъ казусомъ.

— Ну, ну, Петька, довольно шутить; мнѣ на работу нужно идти,—сказалъ онъ.

— Какія тутъ шутки! Вотъ еще что выдумалъ! Сказано, не дамъ. А если станешь снимать, такъ и тресну! Что ты мнѣ сдѣлаешь? Драться тебѣ нельзя.

Женщины возмутились и стали читать мальчику нотаціи.

— Какъ тебѣ не совѣстно такія глупости дѣлать? Тебя пріютили, обмыли, накормили, одѣли, и ты за это ругаешься, да и еще бить хочешь; неужели у тебя стыда нѣтъ никакого?

— Эка чѣмъ вздумала хвалиться: напоили, накормили! Вы и должны это дѣлать, потому что вѣра ваша такая; сколько разъ сами говорили: голоднаго накорми, нагого одѣнь; то-то! Говорите одно, а дѣлаете другое: поддевки жалко стало. Сказано, не отдамъ, а если полѣзете, такъ я васъ...

Колонисты были очень смущены. И это совершенно понятно. Петька вѣдь прожилъ въ колоніи нѣсколько мѣсяцевъ и ничего не воспринялъ ни изъ поученій, ни изъ примѣра толстовцевъ. И какъ-же теперь съ нимъ поступить? Но если бы даже и оказался удовлетворительный способъ такъ или иначе немедленно разрѣшить вопросъ о Петькѣ практически (изъ статьи „Смоленскаго Вѣстника“ не видно конца этого грустно-комическаго эпизода), то передъ колонистами возникалъ рядъ болѣе общихъ вопросовъ укоризненно-смущающаго свойства. „Смоленскій Вѣстникъ“ справедливо говоритъ, что, въ виду эпизода съ Петькой и нѣкоторыхъ другихъ обстоятельствъ, толстовцы должны были сознать, что въ Шавѣевской колоніи „идетъ какое-то броженіе мыслей, чувствъ, поступковъ, что тутъ нѣтъ организованнаго дѣла и послѣдовательной жизни. Наговорено было много о любви къ Богу и ближнему, но въ чемъ тутъ проявилась фактическая сторона евангельскаго ученія? Гдѣ дѣла любви, состраданія, милосердія? Въ чемъ сказалась жизненная сторона этой толстовской колоніи?“

Признаюсь, я не питаю добрыхъ чувствъ къ толстовскимъ колоніямъ, равно какъ и вообще къ ученію гр. Толстого. Но не съ злорадствомъ отмѣчаю я эпизодъ съ Петькой и вообще неудачу Шавѣевской колоніи, а, напротивъ, съ грустью. Я убѣжденъ, что „андреевцы“ въ общемъ прекрасные люди, искренно ищущіе добра, правды, свѣта. А въ томъ, что они желаютъ сѣсть на землю и жить трудами рукъ своихъ, ужъ, конечно, нѣтъ ничего дурного, смѣха или порицанія достойнаго. Но именно потому, что въ этихъ людяхъ и въ ихъ дѣлѣ такъ много хорошаго, нельзя безъ грусти думать о томъ удивительномъ сумбурѣ, который господствуетъ въ умахъ толстовцевъ. Уже одинъ эпизодъ съ Петькой показываетъ, что прежде, чѣмъ приниматься за практическое дѣло, надо покончить съ теоретическимъ сумбуромъ, иначе цѣлая группа образованныхъ и благожелательно-настроенныхъ молодыхъ людей можетъ оказаться безпомощною передъ нахальствомъ тринадцатилѣтняго испорченнаго мальчишки. А то ли еще бываетъ въ средѣ толстовцевъ! Разсказываютъ, напр., о такихъ, которые торопятся разжениться, слѣдуя „Крейцеровой сонатѣ“, точно такъ же, какъ недавно еще торопились жениться и выходить замужъ, слѣдуя предписанію того-же гр. Толстого, нынѣ имъ взятому назадъ. Можно себѣ

представить, какія драмы разыгрываются на этой почвѣ. А вѣдь гр. Толстой, пожалуй, опять передумаетъ или что-нибудь новое придумаетъ...

Недавно г. Гольцевъ познакомилъ читателей „Русскихъ Вѣдомостей“ съ содержаніемъ книжки женевскаго профессора Эдуарда Рода Les idées morales du temps present, точнѣе говоря, съ содержаніемъ той главы книжки, которая трактуетъ объ идеяхъ гр. Толстого. Между прочимъ, по мнѣнію Рода, какъ его передаетъ г. Гольцевъ, „мысль гр. Толстого все время развивалась прямолинейно, съ неуклонною и безстрашною логикой“. Затѣмъ Родъ намѣчаетъ двѣ или три (это не совсѣмъ ясно) дѣйствительно очень послѣдовательныя стадіи, которыми будто-бы исчерпывается ходъ развитія идей гр. Толстого. Изъ дальней Женевы дѣло можетъ, конечно, представляться въ такомъ видѣ, но мы, соотечественники гр. Толстого, имѣемъ возможность поправить ошибку женевскаго профессора. Въ дѣйствительности мысль графа Толстого не только не „развивалась прямолинейно, съ неуклонною и безстрашною логикой“, а, напротивъ того, мудрено и представить себѣ что-нибудь болѣе капризное. Будущій біографъ графа разберетъ это сложное дѣло, а я пока выберу кое-что изъ воспоминаній г. Фета, одного изъ близкихъ друзей гр. Толстого.

Къ 1857 году относятся воспоминанія г. Фета объ увлеченіи гр. Толстого щегольствомъ и свѣтскою жизнью. 29-ти-лѣтній графъ, уже признанный восходящимъ литературнымъ свѣтиломъ и окруженный, вдобавокъ, ореоломъ одного изъ защитниковъ Севастополя, только что сбросившаго мундиръ, широко пользовался удовольствіями свѣтской жизни. Его старшій братъ, Николай, „обожалъ“ его, „но надо было слышать, съ какою ироніей онъ отзывался о его великосвѣтскихъ похожденіяхъ: „а Левочка опять надѣлъ фракъ и бѣлый галстукъ и отправился на балъ“. „Въ то время,—продолжаетъ г. Фетъ,—у свѣтской молодежи входили въ моду гимнастическія упражненія, между которыми первое мѣсто занимало прыганье черезъ деревяннаго коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во второмъ часу дня, надо отправляться въ гимнастическій залъ на Большой Дмитровкѣ. Надо было видѣть, съ какимъ одушевленіемъ онъ, одѣвшись въ трико, старался перепрыгнуть черезъ коня, не задѣвши кожанаго, набитаго шерстью конуса, поставленнаго на спинѣ этого коня“.

Эти черты изъ жизни гр. Толстого не составляютъ какой-нибудь неожиданной новости, но приведенныя маленькія подробности любопытны, какъ образчики того увлеченія, съ которымъ графъ отдавался той или другой захватывающей его волнѣ. Сила этого увлеченія равняется развѣ только той быстротѣ и рѣзкости, съ которыми мѣнялись предметы увлеченія.

Подъ 1858 годъ записанъ у г. Фета разсказъ гр. Н. Н. Толстого: „Левочка усердно ищетъ сближенія съ сельскимъ бытомъ и хозяйствомъ, съ которыми, какъ и всѣ мы, до сихъ поръ знакомъ поверхностно. Но ужъ не знаю, какое тутъ выйдетъ сближеніе: Левочка желаетъ все захватить разомъ, не упуская ничего, даже гимнастики. И вотъ у него подъ окномъ кабинета устроенъ баръ. Конечно, если отбросить предразсудки, съ которыми онъ такъ враждуетъ, онъ правъ: гимнастика хозяйству не помѣшаетъ; но староста смотритъ на дѣло нѣсколько иначе: „придешь,—говоритъ,—къ барину за приказаніемъ, а баринъ, зацѣпившись одной колѣнкой за жердь, виситъ въ красной курткѣ головой внизъ и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось,—не то приказанія слушать, не то на него дивиться“. Понравилось Левочкѣ, какъ работникъ Юфанъ растопыриваетъ руки при пахотѣ. И вотъ Юфанъ для него эмблема сельской силы, вродѣ Микулы Селяниновича. Онъ самъ, широко разставляя локти, берется за соху и юфанствуетъ“.

Къ тому-же 1858 году относится шутливое письмо гр. Л. Н. Толстого къ г. Фету, не смотря на шуточную форму, хорошо отражающее его внутреннія колебанія. Вотъ отрывки изъ него: „Повѣсти писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй, пишите: но любить хорошаго человѣка очень пріятно. А, можетъ быть, противъ моей воли и сознанія, не я, а сидящая во мнѣ еще не назрѣвшая повѣсть заставляетъ любить васъ. Что-то иногда такъ кажется. Что ни дѣлай, а между навозомъ и крапивой нѣтъ-нѣтъ, да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себѣ не позволяю и не позволю... Дружининъ проситъ по дружбѣ сочинить повѣсть. Я, право, хочу сочинить. Такую сочиню, что ужъ ничего не будетъ. Шахъ персидскій куритъ табакъ, а я тебя люблю. Вотъ она штука-то! Безъ шутокъ, что вашъ Гафизъ? Вѣдь, какъ ни вертись, а верхъ мудрости и твердости для меня, это — только радоваться чужою поэзіей, а свою собственную не пускать въ люди въ уродливомъ нарядѣ, а са-

мому ѣсть съ хлѣбомъ насущнымъ. А иногда такъ вдругъ захочется быть великимъ человѣкомъ и такъ досадно, что до сихъ поръ еще это не сдѣлалось. Даже поскорѣе торопишься вставать или доѣдать обѣдъ, чтобы начинать".

Въ 1860 г. въ письмѣ гр. Толстого встрѣчаемъ первый намекъ на его увлеченіе педагогическою дѣятельностью. Поговоривъ о литературныхъ новостяхъ, о „Наканунѣ" Тургенева и „Грозѣ" Островскаго („Гроза" есть, по его мнѣнію, „плачевное сочиненіе"), графъ прибавляетъ: „Другое теперь нужно. Не намъ нужно учиться, а намъ нужно Марѳутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что́ мы знаемъ". Впослѣдствіи, въ педагогическихъ статьяхъ, этотъ взглядъ гр. Толстого потерпѣлъ кое-какія измѣненія, а еще позже и опять измѣнился. Но въ письмахъ къ г. Фету,—по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ, которыя послѣдній счелъ нужнымъ напечатать,—педагогическія идеи гр. Толстого и его взгляды на народное образованіе представлены очень скудно. Видно только, что графъ открылъ школу у себя въ Ясной-Полянѣ, потомъ закрылъ ее, потомъ опять открылъ, а нынѣ, кажется, она опять не существуетъ, или, во всякомъ случаѣ, гр. Толстой не принимаетъ въ ней того горячаго непосредственнаго участія, какъ прежде.

Въ февралѣ 1860 г., неизвѣстно по какому поводу, Тургеневъ писалъ г. Фету: „А Левъ Толстой продолжаетъ чудить. Видно, такъ ужъ написано ему на роду. Когда онъ перекувыркнется въ послѣдній разъ и станетъ на ноги?"

Въ октябрѣ 1860 г. гр. Толстой пишетъ г. Фету чрезвычайно мрачное письмо, въ которомъ говоритъ, между прочимъ, что „искусство есть ложь". Это крайне пессимистическое письмо есть, однако, выраженіе не какого-нибудь продуманнаго міросозерцанія, а лишь настроенія, вызваннаго острымъ горемъ (смертью горячо любимаго брата). Неудивительно поэтому, что черезъ два года графъ пишетъ: „Фетушка, дяденька, и просто милый другъ Аѳанасій Аѳанасьевичъ! я двѣ недѣли женатъ и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человѣкъ сталъ".

Въ дальнѣйшихъ письмахъ графъ сообщаетъ о своихъ хозяйственныхъ дѣлахъ и о своихъ писаніяхъ. Пишетъ онъ „Войну и миръ" и очень интересуется впечатлѣніями публики. Все идетъ болѣе или менѣе ровно, и только въ 1869 г. мы встрѣчаемся съ новою вспышкой. Графъ пишетъ: „Знаете-ли, что было для меня

нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ я никогда не испытывалъ... Не знаю, перемѣню-ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ—геніальнѣйшій изъ людей... Читая его, мнѣ непостижимо, какимъ образомъ можетъ оставаться имя его неизвѣстнымъ? Объясненіе только одно, то самое, которое онъ такъ часто повторяетъ, что, кромѣ идіотовъ, на свѣтѣ почти никого нѣтъ".

Въ 1870 г.: „Цѣлую зиму нынѣшнюю я занятъ только драмой вообще. И какъ это всегда случается съ людьми, которые до 40 лѣтъ никогда не думали о какомъ-нибудь предметѣ, не составили себѣ о немъ никакого понятія, вдругъ съ 40-лѣтнею ясностью обратятъ вниманіе на новый, не нанюханный предметъ, имъ всегда кажется, что они видятъ въ немъ много новаго. Всю зиму наслаждаюсь тѣмъ, что лежу, засыпаю играю въ безикъ, хожу на лыжахъ, на конькахъ бѣгаю и больше всего лежу въ постели (больной), и лица драмы или комедіи начинаютъ дѣйствовать. И очень хорошо представляютъ".

Въ маѣ того-же 1870 г.: „Я получилъ ваше письмо, любезный другъ А. А., возвращаясь потный съ работы, съ топоромъ и заступомъ, слѣдовательно за 1,000 верстъ отъ всего искусственнаго и въ особенности отъ нашего дѣла. Развернувъ письмо, я первое прочиталъ стихотвореніе, и у меня защипало въ носу, я пришелъ къ женѣ и хотѣлъ прочесть, но не могъ отъ слезъ умиленія... Я только что отслужилъ недѣлю присяжнымъ, и было очень, очень для меня интересно и поучительно".

Въ октябрѣ все того-же 1870 г.: „Получилъ ваше письмо уже съ недѣлю, но не отвѣчалъ, потому что съ утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь... Какъ я счастливъ, что на меня Богъ наслалъ эту дурь. Во-первыхъ, я наслаждаюсь; во-вторыхъ, убѣдился, что изо всего истинно-прекраснаго, что произвело слово человѣческое, я до сихъ поръ ничего не зналъ, какъ и всѣ—и знаютъ, но не понимаютъ; въ-третьихъ, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану... Ради Бога, объясните мнѣ, почему никто не знаетъ басенъ Эзопа, ни даже прелестнаго Ксенофонта, не говоря уже о Платонѣ, Гомерѣ, которые мнѣ предстоятъ?.. Можете торжествовать: безъ знанія греческаго—нѣтъ образованія". Этотъ отрывокъ получаетъ особенный интересъ, если сопо-

ставить его съ тѣмъ, что графъ за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ писалъ въ статьѣ: „Воспитаніе и образованіе“: „Сколько бы признанныхъ всѣмъ міромъ мудрецовъ и почтенныхъ по характеру людей ни утверждали, что для развитія человѣка полезнѣе всего выучить латинскую грамматику, греческіе и латинскіе стихи въ подлинникѣ, когда ихъ можно читать въ переводѣ, я не повѣрю этому такъ же, какъ не повѣрю тому, что для развитія человѣка нужно стоять три часа на одной ногѣ“.

Въ 1872 г. гр. Толстой писалъ: „Азбука моя не даетъ мнѣ покоя для другого занятія. Печатаніе идетъ черепашьими шагами, и чортъ знаетъ, когда кончится, а я все еще прибавляю, убавляю и измѣняю. Что изъ этого выйдетъ—не знаю; а положилъ я въ него всю душу“.

Въ 1875 г.: „Урожай у насъ былъ средній, но цѣны на работу огромныя, такъ что въ концѣ только сойдутся концы. Я два мѣсяца не пачкалъ рукъ чернилами и сердца мыслями. Теперь же берусь за скучную, пошлую А. Каренину съ однимъ желаніемъ: поскорѣе опростать себѣ мѣсто—досугъ для другихъ занятій, но только не педагогическихъ, которыя люблю, но хочу бросить. Они слишкомъ много берутъ времени“.

Между Тургеневымъ и гр. Толстымъ происходили постоянныя недоразумѣнія, доходившія даже до вызова на дуэль, которая, къ счастью, не состоялась. Но, наконецъ, они разошлись совсѣмъ. Въ іюнѣ 1878 г. гр. Толстой внезапно помирился съ Тургеневымъ. У г. Фета это записано такъ: „По своему теперешнему религіозному настроенію онъ признаетъ, что смиряющійся человѣкъ не долженъ имѣть враговъ, и въ этомъ смыслѣ написалъ Тургеневу“.

Въ 1879 г. гр. Толстой рекомендуетъ г. Фету „книгу, которую еще никто не читалъ и я,—прибавляетъ графъ,—на-дняхъ прочелъ въ первый разъ и продолжаю читать и ахать отъ радости; надѣюсь, что и эта придется вамъ по сердцу, тѣмъ болѣе, что имѣетъ много общаго съ Шопенгауэромъ: это „Соломона Притчи“, „Экклезіастъ“ и „Книга Премудрости“,—новѣе этого трудно что-нибудь придумать“. Любопытно, что письмо это оканчивается такимъ сообщеніемъ: „У насъ были гость на гостѣ, театръ и дымъ коромысломъ, 34 простыни были въ ходу для гостей, и обѣдало 30 человѣкъ, и все сошло благополучно, и всѣмъ, и мнѣ въ томъ числѣ, было весело“.

На этомъ кончаются сообщаемыя г. Фетомъ письма гр. Толстого, сколько-нибудь характеризующія его внутреннюю жизнь. Можетъ быть, маститый поэтъ хранитъ у себя еще много писемъ маститаго романиста, между прочимъ, и такихъ, которыя относятся къ послѣднимъ, интереснѣйшимъ моментамъ развитія гр. Толстого, но онъ не счелъ нужнымъ или удобнымъ ихъ опубликовать. Во всякомъ случаѣ, приведенные отрывки очень характерны и сами по себѣ, и въ сопоставленіи съ кое-какими чертами жизни гр. Толстого, извѣстными намъ отъ него самого и изъ другихъ источниковъ. Было, напримѣръ, время, когда гр. Толстой съ удовольствіемъ сообщалъ г. Фету о томъ, что онъ исполнялъ обязанности присяжнаго засѣдателя, и было другое время, когда графъ торжественно и публично отказался отъ исполненія этой обязанности. Было время, когда графъ считалъ классическое образованіе просто вздоромъ и выражалъ это мнѣніе съ свойственною ему рѣзкостью; и было другое время, когда онъ рѣшалъ: „безъ знанія греческаго—нѣтъ образованія“; и было, наконецъ, третье время, когда, кажется, всѣ системы образованія равномѣрно покрылись его презрѣніемъ. Быть можетъ, нѣкоторыя изъ этихъ перемѣнъ возможно подвести, въ качествѣ второстепенныхъ мелочей, подъ двѣ или три крупныя ступени развитія, отмѣченныя Эдуардомъ Родомъ. Но это невозможно относительно большинства перемѣнъ, пережитыхъ гр. Толстымъ, да и нельзя всѣ ихъ назвать второстепенными мелочами. Еще недавно гр. Толстой, находясь уже на послѣдней, высшей ступени своего развитія, утверждалъ, что „идеальная женщина“ есть та, которая „родитъ, выкормитъ и воспитаетъ наибольшое число дѣтей, способныхъ работать“. А теперь графъ объявляетъ идеальною женщиной ту, которая не родитъ ни одного ребенка. Надѣюсь, это не мелочи.

Обаятельная личность гр. Толстого создала ему толпу слѣпыхъ поклонниковъ, отказывающихся отъ собственнаго разума и только исполняющихъ приказанія, отданныя въ Ясной-Полянѣ или Хамовническомъ переулкѣ. Есть у графа еще quasi-почитатели, которые не только не думаютъ какъ-нибудь измѣнить свою жизнь въ направленіи идей, вырабатываемыхъ въ хамовнической лабораторіи, но втайнѣ смѣются надъ ними, а, между тѣмъ, считаютъ нужнымъ выражать свое удивленіе передъ каждымъ новымъ словомъ графа. Одинъ изъ такихъ quasi-почитателей про-

говорился было насмѣшливымъ и не лишеннымъ остроумія словомъ, печатно назвавъ графа „во Христѣ барствующимъ“, но вслѣдъ затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ опять кадить графу. Это люди вполнѣ равнодушные, вполнѣ беззаботные насчетъ какихъ бы то ни было нравственныхъ идей, и руководятся они частію холопствомъ передъ громкимъ именемъ гр. Толстого, частію другими побочными соображеніями. Но есть и иные почитатели колоссальнаго художественнаго таланта гр. Толстого и нѣкоторыхъ другихъ драгоцѣнныхъ чертъ его духовной физіономіи. Они со скорбію и недоумѣніемъ слѣдятъ за капризными скачками этой крупной умственной силы. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, не скорбѣть, когда видишь, что эта огромная сила даже не пропадаетъ для общества, а наноситъ ему ущербъ распространеніемъ странныхъ мнѣній, не имѣющихъ даже достоинства прочности и подготовляющихъ либо разочарованіе, либо лицемѣріе. Нѣкоторыя изъ мыслей, пущенныхъ гр. Толстымъ въ оборотъ, до такой степени явно неосновательны, что не будь онѣ высказаны именно имъ, ихъ бы или не замѣтили, или осмѣяли. Поневолѣ приходится, наконецъ, останавливаться не на мысляхъ графа, а на его личности, что собственно и дѣлаетъ большинство читателей какъ произведеній самого графа, такъ и многочисленныхъ печатныхъ сообщеній о его времяпровожденіи.

Попробуемъ вывести какія-нибудь общія заключенія изъ приведенныхъ отрывковъ изъ писемъ къ г. Фету. Должно же быть что-нибудь общее во всѣхъ этихъ противорѣчивыхъ увлеченіяхъ; должны, по крайней мѣрѣ, существовать общіе признаки этихъ увлеченій.

Прежде всего, мы видимъ здоровую, сильную духомъ и тѣломъ, дѣятельную натуру, постоянно требующую разносторонней работы. Мускулы графа, подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ, подъ тѣмъ или другимъ теоретическимъ освѣщеніемъ, постоянно работаютъ. Въ періодъ увлеченія щегольствомъ и свѣтскою жизнью графъ занимается гимнастикой и, одѣвшись въ трико, прыгаетъ черезъ деревяннаго коня. Отправившись въ деревню для занятій сельскимъ хозяйствомъ, онъ смущаетъ старосту своими упражненіями на трапеціи, и затѣмъ „юфанствуетъ“, т.-е. подражаетъ работнику Юфану за сохой. Въ 1870 г., то-есть задолго до нынѣшняго своего превознесенія физическаго труда, онъ распечатываетъ письмо г. Фета, „возвращаясь потный съ работы, съ топоромъ и

заступомъ". Такимъ образомъ, физическія упражненія всегда составляли, такъ сказать, органическую потребность гр. Толстого. Мѣняются лишь мотивы, которыми графъ освѣщаетъ себѣ и другимъ эту органическую потребность. Но столь же велика въ немъ потребность духовной дѣятельности. Не говоря уже о томъ, что сорока слишкомъ лѣтъ онъ получаетъ отъ чтенія Шопенгауэра „рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ никогда не испытывалъ", а вслѣдъ затѣмъ преодолѣваетъ греческій языкъ; не говоря о той изумительной работѣ, которую ему пришлось совершить для созданія „Войны и мира" и проч.; не говоря обо всемъ этомъ, гр. Толстой усиленно работаетъ головой даже тогда, когда въ сказкѣ объ Иванѣ дуракѣ грубо и антихудожественно издѣвается надъ „головною работой" „чистаго господина". Къ сожалѣнію, есть въ этой необычайно богато одаренной натурѣ что-то такое, что ей самой мѣшаетъ свести свои концы съ концами и заставляетъ ее, по выраженію Тургенева, „кувыркаться".

Быть можетъ, это отъ того зависитъ, что гр. Толстой ужъ слишкомъ полонъ собой. Въ его умственныхъ скачкахъ поражаетъ та самоувѣренность, съ которою онъ всякій разъ „открываетъ Средиземное море", какъ говорилъ о немъ, по сообщенію г. Фета, В. Боткинъ. Прочитавъ Шопенгауэра, онъ изумляется, отчего этотъ мрачный философъ „неизвѣстенъ" и находитъ объясненіе въ томъ, что, „кромѣ идіотовъ, на свѣтѣ почти никого нѣтъ". Ему даже въ голову не приходитъ, что если франкфуртскій философъ былъ неизвѣстенъ ему, гр. Толстому, такъ это еще не значитъ, чтобы онъ былъ вообще неизвѣстенъ. Преодолѣвши греческій языкъ, онъ рѣшаетъ, что „никто не знаетъ басенъ Эзопа" и „прелестнаго Ксенофонта". Прочитавши „Притчи Соломона", онъ объявляетъ, что „этой книги еще никто не читалъ", а причину такого рѣшительнаго заявленія надо искать въ томъ, что графъ „самъ на дняхъ въ первый разъ прочиталъ". Такъ и впослѣдствіи графъ заявлялъ, напримѣръ, что „всѣ ученые проглядѣли" изъяны теоріи Мальтуса, а, между тѣмъ, дѣло просто въ томъ, что самъ графъ только додумался до того, что другими было уже давно и хорошо выражено. Вообще предшественниковъ у графа Толстого нѣтъ, если не считать Ветхаго и Новаго Завѣта,—онъ, именно онъ, открылъ Средиземное море. Теоретически онъ, какъ мы видѣли, понимаетъ, что людямъ, „которые до 40 лѣтъ не думали о какомъ-нибудь предметѣ", только „кажется, что они

видятъ въ немъ много новаго". Но на дѣлѣ, какъ только ему попадается на глаза Средиземное море, ощущеніе радости или величія этого зрѣлища до такой степени его переполняетъ, что мысли о предшественникахъ не остается и мѣста. Не можетъ быть, чтобы кто-нибудь когда-нибудь достигалъ такой полноты и ясности пониманія, тутъ и справляться нечего...

На самомъ дѣлѣ, однако, справляться очень и очень не мѣшаетъ, потому что ясность и полнота пониманія достигаются преемственною работой, и тотъ, кто игнорируетъ эту преемственную работу, непремѣнно рискуетъ, будь онъ семи пядей во лбу, всю жизнь „кувыркаться". Такой человѣкъ легко поддается волнѣ увлеченія и столь же легко мѣняетъ ее на другую волну, какъ бы ни было, повидимому, рѣшительно и безповоротно его предыдущее мнѣніе. А привычка къ этой постоянной смѣнѣ волнъ увлеченія воспитываетъ непрочность убѣжденій и въ самыхъ простыхъ житейскихъ дѣлахъ.

Г. Фетъ просилъ гр. Толстого въ 1869 г. „дозволить снять съ него живописный портретъ". Графъ отвѣчалъ ему: „Насчетъ портрета я прямо говорилъ и говорю: нѣтъ. Если это вамъ непріятно, то прошу прощенія. Есть какое-то чувство сильнѣе разсужденія, которое мнѣ говоритъ, что это не годится". Всѣ снимаютъ съ себя портреты, не видя въ этомъ ничего предосудительнаго, да и что же, въ самомъ дѣлѣ, можно тутъ осудить? Если это нескромность, такъ вѣдь и скромнѣйшій въ мірѣ человѣкъ можетъ, по крайней мѣрѣ, уступить желаніямъ людей, его любящихъ и уважающихъ, и дать имъ возможность имѣть у себя передъ глазами черты любимаго лица. Снимался когда-то и графъ Толстой,—мнѣ случалось видѣть его фотографическія карточки еще въ офицерскомъ мундирѣ. Но вотъ онъ доходитъ какимъ-то, ему самому неяснымъ процессомъ мысли до убѣжденія, что снимать съ себя портреты „не годится". И онъ рѣшительно, безповоротно отказываетъ не какому-нибудь случайному знакомому или человѣку, желающему спекулировать на извѣстность графа и наживаться отъ снимковъ съ его портрета, а г. Фету, какъ видно изъ писемъ, избранному изъ избранныхъ въ числѣ его друзей. Повидимому, какъ ни странно убѣжденіе гр. Толстого, но оно непоколебимо, какъ скала, о которую тщетно бьются морскія волны. И, однако, теперь существуютъ портреты гр. Толстого, живописные, литографическіе и фотографическіе, въ кар-

тинныхъ галлереяхъ, на художественныхъ выставкахъ и въ витринахъ магазиновъ канцелярскихъ принадлежностей, графъ позировалъ и для Крамского, и для г. Ге, и для г. Рѣпина, имѣются его изображенія и за сохой, и съ книгой, и съ открытыми, и съ закрытыми глазами, и въ русскихъ, и въ европейскихъ, и въ американскихъ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Конечно, многое изъ этого дѣлается помимо воли и даже безъ вѣдома гр. Толстого. Но онъ, во всякомъ случаѣ, измѣнилъ свой взглядъ, и любопытно знать мотивы этой перемѣны. Въ 1873 году онъ писалъ г. Фету: „У меня каждый день, вотъ уже съ недѣлю, живописецъ Крамской дѣлаетъ мой портретъ въ Третьяковскую галлерею, и я сижу и болтаю съ нимъ, и изъ петербургской стараюсь обращать въ крещеную вѣру. Я согласился на это потому, что самъ Крамской пріѣхалъ, согласился сдѣлать другой портретъ очень дешево для насъ, и жена уговорила". И больше ничего. Неизвѣстно, какъ отнесся къ этой мотивировкѣ г. Фетъ, но, признаюсь, если бы мнѣ мой лучшій, ближайшій другъ рѣшительно отказалъ въ какой-нибудь просьбѣ, а потомъ исполнилъ бы ее для другого только потому, что дешево, да жена уговорила,—я бы не чувствовалъ себя удовлетвореннымъ. Очевидно, что непоколебимость скалы была только кажущаяся, и что самыхъ незначительныхъ толчковъ достаточно было, чтобы ее опрокинуть. При такихъ условіяхъ едва ли можно говорить объ убѣжденіяхъ. Просто: sic volo—sit pro ratione voluntas.

Это изреченіе могло бы быть поставлено девизомъ жизни и дѣятельности гр. Толстого. Не смотря на свою демократическую блузу и на упражненія въ земледѣльческихъ трудахъ, гр. Толстой есть баринъ,—умный, изумительно талантливый, всячески желающій отдѣлаться отъ своего барства, и все-таки баринъ. Я говорю не о внѣшнемъ положеніи богатаго и родовитаго человѣка, хотя и оно имѣетъ извѣстное, весьма даже большое значеніе. Все въ тѣхъ же драгоцѣнныхъ письмахъ гр. Толстого къ г. Фету есть слѣдующая подробность. Въ 1871 г. графъ чувствовалъ себя нехорошо и ему было предписано лѣченіе кумысомъ. Онъ уѣхалъ въ Самарскую губернію, откуда писалъ, между прочимъ: „Край здѣсь прекрасный, по своему возрасту только что выходящій изъ дѣвственности, по богатству, здоровью и въ особенности по простотѣ и неиспорченности народа. Я, какъ и вездѣ, примѣриваюсь, не купить ли имѣніе. Это мнѣ занятіе и лучшій

предлогъ для узнанія настоящаго положенія края". Впослѣдствіи графъ и дѣйствительно купилъ въ Самарской губерніи имѣніе, и, вѣроятно, дѣйствительно хорошо узналъ настоящее положеніе края. Но согласитесь, что это истинно-барскій способъ знакомиться съ какимъ бы то ни было дѣломъ. Нашъ братъ, обыкновенный труженикъ, не имѣющій средствъ гр. Толстого, долженъ, если пожелаетъ изучить хоть тотъ же самарскій край, искать тамъ мѣста, взять на себя какую-нибудь службу или вообще работу, можетъ быть, очень тяжелую и непріятную; а гр. Толстой можетъ бросить нѣсколько десятковъ тысячъ, прибавить, по библейскому выраженію, домъ къ дому и землю къ землѣ, и, въ своемъ новомъ имѣніи, пожалуй, „юфанствовать", землю пахать, трудомъ ближнему помогать, и пожалуй, и греческимъ языкомъ или теоріей драмы заниматься, а вдобавокъ попутно и край изучить.

То обстоятельство, что гр. Толстой, въ придачу къ высокимъ умственнымъ дарованіямъ, обладаетъ еще значительными матеріальными средствами, само по себѣ еще не объясняетъ скачковъ его мысли, но оно, очевидно, очень облегчаетъ, предоставляя огромный досугъ для всякаго рода экспериментовъ. Имѣетъ оно, однако, и нѣкоторыя дальнѣйшія слѣдствія. Пусть гр. Толстой пашетъ землю совершенно такъ же, какъ Юфанъ, шьетъ сапоги, какъ настоящій сапожникъ, складываетъ печи, какъ заправскій печникъ,—всѣмъ этимъ онъ только удовлетворяетъ свою органическую потребность въ физической дѣятельности. Когда-то онъ искалъ этого удовлетворенія въ упражненіяхъ на трапеціи и въ прыганіи черезъ деревяннаго коня, потомъ въ работѣ „съ топоромъ и заступомъ" около своего хозяйства и безъ всякихъ нравственно-соціальныхъ идей, теперь тотъ же топоръ и тотъ же заступъ получили для него идейное освѣщеніе. Удовлетвореніе личной потребности здороваго, сильнаго человѣка только, такъ сказать, переодѣвается. Но ни въ одно изъ этихъ переодѣваній существованіе графа и его семьи не было обезпечено трудомъ. Графъ потѣетъ, какъ Юфанъ, быть можетъ, даже обильнѣе, усерднѣе Юфана, но онъ не зарабатываетъ, какъ Юфанъ, въ потѣ лица хлѣбъ свой. Ему знакомъ здоровый аппетитъ, вызываемый физическимъ трудомъ и недоступный какому-нибудь канцелярскому труженику, но онъ не знаетъ даже опасеній голода, которыя всегда недалеки и отъ канцелярскаго труженика, и отъ

Юфана, и отъ ихъ семей. Онъ не знаетъ и никогда не зналъ, что такое нужда, что значитъ возможность остаться завтра безъ куска хлѣба или думать, что семья твоя пойдетъ послѣ твоей смерти по міру, очутится въ омутѣ нищеты и почти обязательнаго порока и разврата. И да будетъ благословенна судьба, не допустившая „великаго писателя Русской земли“ до этого горькаго знанія. Но—и за это уже нельзя благословлять судьбу—въ этомъ великомъ писателѣ сидитъ баринъ, неисправимый баринъ, привыкшій ничѣмъ не стѣсняться въ своихъ рѣшеніяхъ и сообразовать ихъ только съ своимъ сегодняшнимъ настроеніемъ. Не совсѣмъ справедлива пословица „сытый голоднаго не разумѣетъ“. Нѣтъ надобности самому голодать, чтобы проникнуться положеніемъ голоднаго человѣка, и, казалось бы, гр. Толстой съ его чуднымъ даромъ проникновенія въ чужія души, засвидѣтельствованнымъ цѣлымъ рядомъ безсмертныхъ художественныхъ произведеній, болѣе, чѣмъ кто-нибудь, способенъ пережить жизнь голоднаго, холоднаго, безпріютнаго. Онъ же такъ много говоритъ о любви къ ближнему. На самомъ дѣлѣ, однако, между графомъ и этимъ міромъ нуждающихся въ любви и помощи лежитъ цѣлая пропасть, при томъ, все расширяющаяся.

Когда выяснилась огромность послѣдствій неурожая, въ „Новостяхъ“ были опубликованы отрывки изъ письма гр. Толстого „къ одному старому петербургскому литератору“. Въ письмѣ этомъ гр. Толстой много распространяется о необходимости любить ближняго всегда, а не только во время голода, о томъ, что любить важнѣе, чѣмъ кормить, и т. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ, графъ утверждалъ, что пожертвованія не нужны, даже вредны („ничего, кромѣ вреда, не произведетъ“), и обдавалъ будущихъ собирателей пожертвованій презрѣніемъ. Письмо это многихъ, въ томъ числѣ и почитателей гр. Толстого, непріятно поразило, надо сказать, извилистостью своей мысли и своею доктринерскою черствостью. Въ нѣкоторыхъ столичныхъ и провинціальныхъ газетахъ появились, по адресу гр. Толстого, разныя непріятныя и непріязненныя замѣчанія. Онъ попалъ и въ юмористическіе листки, при чемъ его каррикатурное изображеніе было снабжено стихотворною подписью на тему: люблю, денегъ не даю. Долженъ признаться, что хотя все это и совпадало съ моимъ предполо-

женіемъ о пропасти, существующей между гр. Толстымъ и тѣмъ, кто нуждается въ любви и помощи, но мнѣ было обидно и горько за него,—слишкомъ онъ крупная фигура и слишкомъ многое въ его прошломъ дорого мнѣ, наравнѣ съ другими читателями, и можетъ быть, дороже, чѣмъ многимъ и многимъ другимъ. Я мысленно хватался за одно противорѣчіе письма, которое, какъ и всякое очевидное противорѣчіе, не дѣлало чести логикѣ гр. Толстого, но за то, какъ это часто бываетъ, выгораживало человѣка. Всегда оскорбительное для логики, противорѣчіе можетъ быть, смотря по обстоятельствамъ, оскорбительно или, напротивъ, утѣшительно для нравственнаго чувства. Письмо гр. Толстого оканчивается пожеланіемъ, чтобы „старому петербургскому литератору“ удалось написать что-нибудь такое, что „тронуло бы сердца богатыхъ“. Графъ прибавляетъ, что онъ хотѣлъ бы, чтобы и ему, гр. Толстому, „Богъ велѣлъ“ написать нѣчто подобное. Спрашивается, какъ связать эти пожеланія съ утвержденіемъ ненужности и вредности пожертвованій и съ презрѣніемъ къ тѣмъ, кто вызываетъ и собираетъ пожертвованія? Зачѣмъ трогать сердца именно богатыхъ, если пожертвованія не нужны и даже вредны? Впослѣдствіи гр. Толстой собственнымъ примѣромъ показалъ, что богатые могутъ помочь голодающимъ не только денежными пожертвованіями, а и инымъ путемъ—организаціей даровыхъ столовыхъ. Но вѣдь эта организація возможна только при пожертвованіяхъ, а для самаго дѣла организаціи нужно быть не богатымъ, а умѣлымъ. Какъ-бы то ни было, противорѣчіе въ письмѣ гр. Толстого очевидно, и за него-то я и хватался. Я не сомнѣвался въ правильности своего итога, приведеннаго въ предыдущей главѣ. Да, девизъ гр. Толстого — „sic volo“. Но онъ можетъ velle сегодня одного, завтра другого, какъ оно и было съ нимъ всю жизнь. И нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что, начавъ за здравіе, онъ кончаетъ за упокой, начавъ съ рѣшительнаго отрицанія пожертвованій, кончаетъ практическимъ ихъ утвержденіемъ и собираніемъ. Но могло бы быть и иначе.

„Доктринерская черствость письма гр. Толстого“... Это, какъ будто, не вяжется съ нравственнымъ обликомъ графа, повидимому, хорошо всѣмъ извѣстнымъ по его сочиненіямъ и разнымъ свѣдѣніямъ о немъ, частью его собственнымъ, біографическаго характера. Между тѣмъ, это совершенно вѣрно. Возставая противъ пожертвованій, гр. Толстой находился во власти доктрины,

которую онъ не разъ излагалъ и въ жизни своей осуществлялъ и которая особенно ярко выражена имъ въ сказкѣ „Два брата и золото“. Одинъ изъ двухъ добродѣтельныхъ братьевъ, найдя на дорогѣ кучу золота, съ ужасомъ отскочилъ отъ нея, а другой подобралъ золото и употребилъ его на добрыя дѣла, — на прокормленіе голодныхъ, лѣченіе больныхъ, уютъ бездомныхъ. Себѣ онъ ничего не взялъ и, устроивъ дѣло помощи неимущимъ и сирымъ, вернулся домой въ той же старой одеждѣ, съ утѣшительнымъ сознаніемъ, что помогъ людямъ. Но явившійся ему на пути грозный ангелъ разъяснилъ ему, что онъ былъ соблазненъ дьяволомъ, который нарочно насыпалъ кучу золота. И тотъ человѣкъ „позналъ, что не золотомъ, а только трудомъ можно служить Богу и людямъ“. Какъ и въ большинствѣ новѣйшихъ сказокъ гр. Толстого, мораль здѣсь крайне натянута и двусмысленна. Какой, въ самомъ дѣлѣ, разсчетъ дьяволу способствовать устройству больницъ, пріютовъ для вдовъ и сиротъ странноприимныхъ домовъ? Все это называется, обыкновенно, „богоугодными“, а не дьяволоугодными заведеніями, и дьяволъ, съ своей точки зрѣнія, поступилъ бы гораздо умнѣе, если бы разсыпалъ золото передъ такимъ человѣкомъ, который настроилъ бы кабаковъ и публичныхъ домовъ. Но дѣло не въ сказкѣ, а въ иллюстрируемой ею доктринѣ. Даже, пожалуй, не въ самой доктринѣ; какова бы она ни была сама по себѣ, но держаться ея при нынѣшнихъ трудныхъ обстоятельствахъ — настоящее доктринство. И, однако, на этой именно доктринерской точкѣ зрѣнія пробовалъ установиться гр. Толстой, когда возставалъ противъ пожертвованій. Къ счастію, онъ не выдержалъ, — какъ извѣстно, онъ не отказывается отъ пожертвованій, стекающихся въ его даровыя столовыя въ значительномъ количествѣ.

Да пошлетъ судьба гр. Толстому много удачи на этомъ добромъ пути. Да не явится ему грозный ангелъ сказки о двухъ братьяхъ. Но не могу все-таки не пожалѣть, что ему до сихъ поръ не удалось сдѣлать то, что онъ, въ противорѣчіе съ доктринерскою частію своего письма, предполагалъ сдѣлать — написать такое, что тронуло бы сердца богатыхъ. Статья его, обѣщанная журналомъ „Вопросы Философіи и Психологіи“, не появилась. А статья, напечатанная въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, при всемъ представляемомъ ею интересѣ, далеко ниже того, что мы вправѣ были бы отъ него ожидать при нынѣшнихъ исключи-

тельныхъ обстоятельствахъ. Я, по крайней мѣрѣ, ожидалъ не того. Мнѣ казалось, путемъ литературы гр. Толстой можетъ двоякимъ образомъ тронуть сердца богатыхъ, и оба эти способа одинаково приличествуютъ литературной физіономіи графа.

Гр. Толстому не разъ и не два случалось безпощадно вычеркивать изъ своего прошлаго многое, что въ свое время казалось ему истиннымъ или нравственнымъ. Онъ доходилъ и до публичной „исповѣди“, всенароднаго покаянія. Значитъ, и теперь онъ, по бывшимъ примѣрамъ, могъ бы торжественно и безпощадно отречься отъ своей проповѣди противъ всякаго рода денежной помощи нуждающимся. Проповѣдь эта, повидимому, вяжется у него съ нѣкоторыми политико-экономическими взглядами на значеніе денегъ, какъ мѣновыхъ знаковъ. Мнѣ неизвѣстно его сочиненіе, спеціально посвященное деньгамъ, но я знаю, что такое есть. Если не ошибаюсь, деньги въ немъ отрицаются въ принципѣ, отрицается ихъ надобность, какъ орудія обмѣна. Но, какъ бы оно тамъ ни было, а пока мы съ гр. Толстымъ живемъ среди денежнаго хозяйства, мы платимъ деньгами большіе или малые налоги государству, деньгами же расплачиваемся со священникомъ, который крститъ нашихъ дѣтей и хоронитъ нашихъ отцовъ, на деньги покупаемъ сюртуки и блузы, мясо и картофель и т. д. Если бы мы съ графомъ во всѣхъ этихъ случаяхъ отказались платить деньги на томъ основаніи, что, дескать, деньги—зло, ненужная и вредная вещь, то насъ ожидали бы многія непріятныя послѣдствія, и потому мы безпрекословно платимъ. За отказъ въ денежной помощи нуждающимся намъ, правда, ничто не грозитъ, по крайней мѣрѣ, осязательнымъ образомъ, но изъ этого, мнѣ кажется, никакъ не слѣдуетъ, чтобы такое наше поведеніе было одобрительно въ нравственномъ смыслѣ. Не могу утверждать рѣшительно, но, соображая человѣческія слабости, очень боюсь, что эта часть проповѣди гр. Толстого пришлась какъ разъ по плечу многимъ неискреннимъ людямъ. Такъ вѣдь это удобно ссылаться на грознаго ангела, осудившаго употребленіе денегъ на больницы, странноприимные дома и пріюты для вдовъ и сиротъ,—гораздо, дескать, лучше деньгамъ лежать тамъ, гдѣ онѣ и прежде лежали. Великое народное несчастіе пошатнуло это убѣжденіе гр. Толстого, онъ уже отказался отъ него фактически, онъ не бѣжитъ съ ужасомъ отъ кучи если не золота, то кредитныхъ бумажекъ, доставляемыхъ для его

даровыхъ столовыхъ. Такъ что отнынѣ люди, желающіе, чтобы деньги лежали тамъ, гдѣ онѣ и прежде лежали, не могутъ, по крайней мѣрѣ, прятаться за спину гиганта нашей литературы. Ему остается только закрѣпить свое отреченіе тѣмъ прочувствованнымъ словомъ покаянія, къ которому онъ уже не разъ прибѣгалъ. Я убѣжденъ, что это слово пристыдитъ и растрогаетъ многихъ.

Но у гр. Толстого есть подъ руками еще другое, лучшее средство—его несравненный художественный талантъ. Въ статьѣ „Трудолюбіе или торжество земледѣльца“ есть слѣдующія прекрасныя строки: „Я прошу тебя, читатель, хоть на время останови дѣятельность твоего ума, не спорь, не доказывай, а спроси только твое сердце. Кто бы ты ни былъ, какъ бы ни былъ одаренъ, какъ бы ты ни былъ добръ къ людямъ, окружающимъ тебя, въ какихъ бы ты ни былъ условіяхъ,—можешь ли ты быть спокоенъ за своимъ чаемъ, обѣдомъ, за своимъ государственнымъ, художественнымъ, ученымъ, врачебнымъ, учительскимъ дѣломъ, когда ты слышишь или видишь у своего крыльца голоднаго, холоднаго, больного, измученнаго человѣка? Нѣтъ. А вѣдь они всегда тутъ, — не у крыльца, такъ за 10 саженъ, за 10 верстъ. Они есть, и ты знаешь это“.

Строки эти написаны гр. Толстымъ не нынче, не по поводу голодовки, а въ обыкновенное, спокойное время, и играютъ роль одной второстепенной ноты въ аккордѣ, призывающемъ насъ къ „хлѣбному труду“. Я думаю, однако, что они гораздо умѣстнѣе теперь, когда дѣйствительно можно не спорить и не доказывать, а нужно только ясно представить себѣ голоднаго, холоднаго человѣка, который, если не у крыльца, такъ за 10 саженъ, за 10, за 100 или за сколько тамъ верстъ. Намъ, далекимъ, не слыхать, не видать голоднаго, и, безъ сомнѣнія, поэтому самому мы слишкомъ много мудрствуемъ, споримъ, доказываемъ. Пусть же великій художникъ, творецъ „Войны и мира“, пододвинетъ силою своей волшебной кисти этого голоднаго и холоднаго къ самому нашему крыльцу. Пусть мы его тутъ, возлѣ себя увидимъ. Пусть великій художникъ самъ оставитъ доктрины и споры, теоріи и доказательства, и нарисуетъ намъ картину народнаго несчастія такъ, чтобы тронулись „сердца богатыхъ“. Онъ самъ знаетъ, что это нужно, но ждетъ, чтобы ему „Богъ велѣлъ“... Не такое теперь время, чтобы возноситься гордынею до ожиданія спеціаль-

наго велѣнія Божія лично и непосредственно гр. Толстому или кому иному. Тургеневъ справедливо писалъ графу: „Этотъ даръ вашъ (художественный) оттуда же, откуда все другое“...

Не такое теперь время... Мнѣ кажется, съ этимъ никто не станетъ спорить. Но эти слова напоминаютъ мнѣ другое. Мнѣ говорятъ: не такое теперь время, чтобы говорить о гр. Толстомъ все, что о немъ думаешь, хотя-бы и увѣренъ былъ въ своей правотѣ. Вотъ съ чѣмъ я согласиться не могу. О, я слишкомъ старый литераторъ, чтобы не знать, что не всегда слѣдуетъ говорить правду (даю эту фразу необузданно-благонамѣреннымъ публицистамъ; они, столь извѣстные своею правдивостью, сумѣютъ обдѣлать ее перлами и адамантами благороднѣйшаго негодованія). Но, во-первыхъ, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что надо говорить неправду, а во-вторыхъ, я не думаю, чтобы гр. Толстой былъ въ такомъ положеніи. Нѣкоторые необузданно-благонамѣренные публицисты, которыхъ не разберешь,—не то они не въ своемъ умѣ, не то слишкомъ себѣ-на-умѣ,—провозгласили гр. Толстого чуть не крамольникомъ. На него сыплются нападки и съ разныхъ другихъ сторонъ. Не годится (говорятъ мнѣ) приставать къ этому хору, въ особенности въ такую минуту, когда графъ дѣлаетъ завѣдомо доброе дѣло. Но позвольте. Я высоко чту не только то доброе дѣло, которое гр. Толстой сейчасъ дѣлаетъ, а и многое въ его прошломъ, а къ „хору“ я уже потому не собираюсь приставать, что никакого хора нѣтъ. Я слышу разноголосицу, а не хоръ. Необузданно-благонамѣренные публицисты дописались до такого колоссальнаго вздора, который уже по самой своей колоссальности вполнѣ безвреденъ. Какое же мнѣ до нихъ дѣло? Какое мнѣ, далѣе, дѣло до смѣшливыхъ людей, ищущихъ карикатуры и куплетовъ? Они сами по себѣ, я тоже самъ по себѣ. Ученые спеціалисты по естествознанію или богословію, опять-таки, сами по себѣ. Я знаю одно: гр. Толстой — большой человѣкъ, слишкомъ часто мѣняющій свои мнѣнія и, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, иногда, впадающій въ заблужденія. Тѣмъ не менѣе, дѣлаетъ-ли онъ доброе дѣло, какъ сейчасъ, или нехорошее дѣло, какъ это съ нимъ бывало, люди идутъ за нимъ слѣпо. Я желалъ-бы, чтобы они шли не слѣпо, а единственное средство для этого вижу въ томъ, чтобы воздавать графу должное. Вотъ и все. При этомъ я могу оказаться не только не

въ единогласіи съ другими критиками гр. Толстого, а и въ полномъ разногласіи со многими изъ нихъ.

Въ сентябрьской книжкѣ „Вѣстника Европы“ была напечатана статья нашего извѣстнаго ученаго, г. Мечникова, „Законъ жизни“. Статья эта представляетъ, по мнѣнію многихъ, уничтожающую критику нѣкоторыхъ воззрѣній гр. Толстого. Я этого не думаю. Я начну сопоставленіемъ мнѣній г. Мечникова и гр. Толстого по одному любопытному вопросу.

„Женщина, проводящая большую часть своей жизни въ свойственномъ исключительно ей трудѣ рожденія, кормленія и возращенія дѣтей, будетъ чувствовать, что она дѣлаетъ то, что должно, и будетъ возбуждать уваженіе и любовь другихъ людей, потому что исполняетъ то, что предназначено ей по природѣ“. Таково одно изъ частныхъ положеній гр. Толстого, съ которыми полемизируетъ г. Мечниковъ. Мы сейчасъ увидимъ и оцѣнимъ тѣ общіе принципы, изъ которыхъ вытекаетъ полемика г. Мечникова. А теперь замѣтимъ только, что почтенный ученый не отрицаетъ спеціальной приспособленности женщины къ дѣторожденію. Напротивъ, онъ ее усиленно подчеркиваетъ и ищетъ въ ней объясненія отсталости женщины въ дѣлѣ умственнаго развитія. Но,—говоритъ онъ,—у женщины уже давно пробиваются иного рода инстинкты: по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя женщины стремятся къ умственному развитію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, питаютъ отвращеніе къ брачной жизни. „Весьма возможно,—продолжаетъ г. Мечниковъ,—что съ этого начался процессъ обособленія въ человѣческихъ обществахъ, сходный съ тѣмъ, который гораздо далѣе подвинулся у насѣкомыхъ, и что современемъ установится, хотя не столь рѣзкое, раздѣленіе людей на наименѣе и наиболѣе плодовитыхъ или даже и вовсе безплодныхъ. Послѣдніе, имѣя возможность посвятить себя исключительно высшимъ сферамъ человѣческой дѣятельности, будутъ служить обществу, главнымъ образомъ, умственнымъ трудомъ“. Не только въ видахъ иллюстраціи, а съ цѣлями научнаго обоснованія, г. Мечниковъ ссылается на общественные распорядки у муравьевъ, пчелъ, термитовъ, особенно останавливаясь на примѣрѣ одного вида осы. Онъ считаетъ этого рода факты цѣнными потому, что „у людей мы находимъ еще незаконченныя, часто только зачинающіяся явленія, тогда какъ у животныхъ, которыхъ мы беремъ для сравненія, процессы представляются въ ихъ готовой, окончательной формѣ“.

Если критика г. Мечникова многимъ показалась уничтожающею, то, съ другой стороны, и у гр. Толстого явились защитники, жестоко напавшіе на г. Мечникова. Никто изъ нихъ, однако, сколько я помню, не замѣтилъ, что, пока г. Мечниковъ обдумывалъ будущее человѣческаго общества примѣнительно къ идеаламъ осъ и пчелъ, гр. Толстой успѣлъ, съ своей стороны, додуматься какъ разъ до тѣхъ самыхъ идеаловъ. Въ „Крейцеровой сонатѣ“ читаемъ: „Высшая порода животныхъ, людская, для того, чтобы удержаться въ борьбѣ съ другими животными, должна сомкнуться вое-дино, какъ рой пчелъ, а не безконечно плодиться; должна такъ-же, какъ пчелы, воспитывать безполыхъ, то-есть стремиться къ воздержанію, а никакъ не къ разжиганію похоти, къ чему направленъ весь строй нашей жизни“ (XIII, стр. 299).

О чемъ-же споръ? Предлагая женщинамъ плодиться и только плодиться, гр. Толстой естественно негодовалъ на тѣхъ женщинъ, которыя „ходятъ на разные курсы и говорятъ о психомоторныхъ центрахъ и дифференціаціи и стараются избавиться отъ рожденія дѣтей съ тѣмъ, чтобы не препятствовать своему одуренію, которое онѣ называютъ развитіемъ“. Затѣмъ, предлагая женщинамъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторымъ, напротивъ, совсѣмъ обезплодиться, графъ утверждаетъ, что всѣ эти курсы и психомоторные центры только новомодная, но не менѣе подлая, чѣмъ прежнія, приманка для ловли жениховъ. Такъ что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ „курсы“—вещь скверная. Г. же Мечниковъ полагаетъ, что „курсы“ вещь прекрасная, но только для одной половины женскаго рода, для той именно, которая обезплодится. За всѣмъ тѣмъ и гр. Толстой, столь необычно стойкій въ своей ненависти къ „курсамъ“, и г. Мечниковъ, такъ благоволящій къ нимъ, въ концѣ-концовъ, вполнѣ сходятся въ желаніи превратить человѣческое общество въ пчелиный рой. Они даже выражаются почти одними и тѣми-же словами, только у г. Мечникова они расположены въ соблазнительно-логическомъ порядкѣ и поддержаны научными иллюстраціями, а у гр. Толстого въ нѣкоторомъ живописномъ безпорядкѣ.

Этотъ безпорядокъ господствуетъ и въ другихъ quasi-научныхъ разсужденіяхъ гр. Толстого, чѣмъ, конечно, г. Мечниковъ пользуется. Между прочимъ, онъ подчеркиваетъ „приписываніе гр. Толстымъ дарвинизму нелѣпости, будто изъ роя пчелъ можетъ сдѣлаться одно животное“. Гр. Толстой, дѣйствительно,

этими самыми словами формулируетъ мысль, которую приписываетъ дарвинистамъ, хотя ни одинъ дарвинистъ этого не говорилъ. Очевидно, гр. Толстой получилъ свои свѣдѣнія на этотъ счетъ откуда-нибудь изъ вторыхъ рукъ, да еще не дослышалъ хорошенько. Тѣмъ не менѣе, графъ что-то слышалъ или мелькомъ прочиталъ, и въ словахъ его есть зерно, недалекое отъ истины. Изъ роя пчелъ не можетъ „сдѣлаться одно животное“,— это пустяки; пустяки и то, будто такова мысль кого-бы то ни было изъ дарвинистовъ. Но, исповѣдуя и не исповѣдуя принципы дарвинизма, можно утверждать, что рой пчелъ, благодаря господствующему въ немъ раздѣленію труда между плодовитыми самками, трутнями и безполыми рабочими, находится на пути къ образованію единаго организма. Онъ такъ и останется на этомъ пути и никогда не достигнетъ его конечнаго пункта, однако, и сейчасъ въ немъ есть нѣкоторые зачатки признаковъ настоящаго организма, а именно столь сильно объединенное, концентрированное коллективное сознаніе, что отдѣльныя группы индивидовъ играютъ въ немъ роль совершенно подчиненныхъ органовъ. Г. Мечниковъ зоологъ, и ему хорошо извѣстно, что на болѣе низкихъ, чѣмъ насѣкомыя, ступеняхъ жизни организмы складываются или складывались именно такимъ путемъ. Г. Мечниковъ, не находя въ человѣческомъ обществѣ безплодныхъ или безполыхъ индивидовъ, обращается къ обществамъ насѣкомыхъ, на томъ основаніи, что „у людей мы находимъ еще незаконченныя, часто только зачинающіяся явленія, тогда какъ у животныхъ, которыхъ мы беремъ для сравненія, процессы представляются въ ихъ готовой, окончательной формѣ“. Это пріемъ совершенно правильный. Но его-же можно приложить и къ рою пчелъ, ибо и въ немъ есть незаконченныя явленія, которыя у ниже стоящихъ животныхъ представляются въ готовой, окончательной формѣ.

Я говорю, что пріемъ г. Мечникова совершенно правиленъ. Но изъ того, что человѣческому обществу можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, предстоять будущее, приблизительно сходное съ тѣмъ, что дѣлается въ пчелиномъ роѣ, — изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы мы должны были къ этому стремиться, что таковъ долженъ быть нашъ идеалъ. Для меня, напримѣръ, пріемъ, употребляемый г. Мечниковымъ, важенъ, напротивъ, какъ способъ указанія на тѣ опасности, которыя грозятъ людямъ и человѣческому обществу и которыхъ слѣдуетъ избѣжать. Г. Мечни-

ковъ и гр. Толстой, такъ чудно сошедшіеся на пчелиномъ роѣ, какъ на идеалѣ, не первые открыли эту Америку. Много у нихъ было предшественниковъ. Изъ нихъ особенно любопытно отмѣтить ярую дарвинистку Клемансъ Ройе: она давно уже изложила свою мечту о подобіи пчелинаго царства, какъ о вѣроятномъ и желательномъ будущемъ для человѣческаго общества. Признаюсь, кто бы ни излагалъ подобныя мысли,—г. Мечниковъ, Клемансъ Ройе, гр. Толстой или Ренанъ, или еще кто,—и во имя какихъ бы принциповъ и доктринъ онѣ ни излагались, дарвинистскихъ или анти-дарвинистскихъ, въ защиту „курсовъ“ или во вредъ имъ и проч., онѣ мнѣ всегда одинаково возмутительными представляются.

У Тургенева въ „Дымѣ“ есть, между прочимъ, такая сцена. Въ маленькомъ загородномъ ресторанѣ происходитъ пикникъ. Собралась fine-fleur русско-баденскаго общества, — все сановные, самоувѣренные, самодовольные люди и соотвѣтственныя дамы. Какъ и подобаетъ высшему русско-баденскому обществу, всѣ говорятъ по-французски, кто—хорошо, какъ настоящій французъ, а кто—плохо, какъ французъ нижегородскій, но и эти, по крайней мѣрѣ, стараются хорошо говорить, потому что питаютъ къ французскому языку традиціонное уваженіе и видятъ въ немъ нѣкоторую свою привилегію, отличающую ихъ отъ простыхъ смертныхъ. Нѣкоторые, въ видѣ уже особаго исключенія, разговариваютъ между собою по-англійски, и тоже въ серьезъ, по-настоящему. Но, хотя дѣйствіе происходитъ въ Германіи, бѣдный нѣмецкій языкъ въ загонѣ. Потребовали пива. Кельнеръ подалъ. „Байришъ биръ?—спросилъ генералъ съ бакенбардами, нарочно бася и притворяясь изумленнымъ.—Гутенъ моргенъ“.

Это маленькая, но чрезвычайно тонкая черточка, достойная такого художника, какъ Тургеневъ. Мнѣ самому случалось видать въ Германіи русскихъ баръ и барынь, которые, бойко говоря по-французски и стараясь щегольнуть самыми отборными словечками и оборотами на этомъ языкѣ, въ то-же время, щеголяютъ своимъ презрѣніемъ къ нѣмецкому языку, котораго они часто и въ самомъ дѣлѣ не знаютъ. Дескать нà тебѣ, нѣмецъ,—не знаю твоего дурацкаго языка и знать не хочу, и перевираю его, и ломаюсь, надъ нимъ, какъ хочу: „изумляюсь“, что есть такія слова, какъ „байришъ биръ“, и безъ всякаго смысла говорю „гутенъ моргенъ“; такъ мнѣ хочется, и ничего ты со мной

не подѣлаешь,—я русскій баринъ, а ты нѣмецъ! Я не знаю, отчего это зависитъ, — отъ воспоминаній-ли дѣтства, въ которомъ былъ смѣшной и приниженный учитель нѣмецкаго языка или бонна нѣмка; отъ ассоціаціи-ли представленія о нѣмцѣ съ какимъ-нибудь сапожникомъ или садовникомъ Карломъ Ивановичемъ, у котораго „жилетка пике и носъ въ табакѣ“ и ночной колпакъ на головѣ; или это отзвукъ раздробленности Германіи, всѣхъ этихъ Рейсъ-Грейцъ и Рейсъ-Шлейцъ, Саксенъ и Баденъ, жители которыхъ, дескать, вполнѣ достойны презрѣнія гражданъ такого обширнаго государства, какъ наше; или мы безсознательно отплачиваемъ нѣмцамъ какія-нибудь старыя обиды. Не знаю, только такъ было. Теперь, когда нѣмцы стали „великимъ“ народомъ и когда наша барственность получила нѣкоторые ущербы и барамъ приходится по одежкѣ протягивать ножки, мы, можетъ быть, уже не ломаемся надъ „байришъ биръ“ и „гутенъ моргенъ“.

Совершенно такъ-же барственно, какъ Тургеневскій генералъ съ бакенбардами къ нѣмецкому языку, относится гр. Толстой къ наукѣ, въ особенности къ естествознанію, — къ его содержанію, пріемамъ, терминологіи. „Психомоторные центры? Байришъ биръ. Въ крови бѣгаютъ какіе-то лейкоциты? Гутенъ моргенъ“. Графъ не удостоиваетъ познакомиться съ тѣмъ, что́ такъ презрительно третируетъ и надъ чѣмъ во всеуслышаніе ломается. Лейкоциты, это просто смѣшно и „ненужная глупость“, совершенно такъ-же, какъ Тургеневскому генералу кажутся смѣшными и ненужными и глупыми слова „байришъ биръ“. А, между тѣмъ, въ нихъ нѣтъ ничего смѣшного и глупого, и кажутся они такими генералу только потому, что онъ не знаетъ нѣмецкаго языка и получилъ свое презрѣніе къ нему какимъ-то темнымъ, ему самому невѣдомымъ путемъ. Но Тургеневскому генералу можно, конечно, гораздо больше простить, чѣмъ гр. Толстому. Къ словамъ графа почтительно прислушиваются многочисленные читатели, между которыми есть и мало свѣдущіе, и мало опытные въ дѣлѣ критической мысли. Гр. Толстой слишкомъ большой человѣкъ и долженъ-бы понимать, какую страшную отвѣтственность, какой тяжкій грѣхъ беретъ онъ на душу своимъ легкомысленно-барственнымъ отношеніемъ къ вещамъ и идеямъ, которыхъ онъ не успѣлъ или не захотѣлъ продумать. Очень вѣроятно, что въ самомъ непродолжительномъ времени онъ измѣнитъ свое презрительное отношеніе къ наукѣ вообще, къ естествознанію въ осо-

бенности. Теперь онъ говоритъ: „медицина ложная наука, доктора мерзавцы, гутенъ моргенъ“. Поработавъ надъ даровыми столовыми въ мѣстахъ, постигнутыхъ неурожаемъ, голодомъ и его слѣдствіемъ — повальными болѣзнями, графъ, можетъ быть, придетъ къ заключенію, что медицина есть истинная наука, что между докторами нерѣдко попадаются хорошіе люди, и погонитъ своихъ послѣдователей въ медицинскіе факультеты, академіи, курсы съ такою-же рѣшительностью, съ какою ихъ теперь отгоняетъ. Но каковъ же долженъ быть сумбуръ въ головѣ его послѣдователей, которыхъ онъ истинно по-барски толкаетъ то въ одинъ бокъ, то въ другой, то въ шею, и хочетъ—съ кашей ѣстъ, хочетъ—во щи льетъ!

Гр. Толстой проповѣдуетъ смиреніе и показываетъ образецъ его. Въ статьѣ „О назначеніи науки и искусства“ онъ разсказываетъ, что когда-то онъ былъ гордъ своими достоинствами, имѣлъ высокое о себѣ мнѣніе, но потомъ покаялся и, „вмѣсто полезности и серьезности своей дѣятельности, призналъ ея вредъ и пустяшность; вмѣсто своего образованія, призналъ свое невѣжество; вмѣсто своей доброты и нравственности, призналъ свою безнравственность и жестокость; вмѣсто своей высоты, призналъ свою низость“. О, зачѣмъ такъ много?! Кто такъ много обѣщаетъ, тотъ рѣдко даетъ хоть что-нибудь. „Вмѣсто своего образованія, признавъ свое невѣжество“, графъ тутъ-же, въ этой-же статьѣ, съ чрезвычайною развязностью судитъ и рядитъ о предметахъ, ему дѣйствительно совершенно незнакомыхъ. Какое ужъ тутъ невѣжество, когда смиренно сознающійся въ немъ графъ двумя-тремя строками объясняетъ глупостью многолѣтніе труды цѣлыхъ поколѣній людей науки! Онъ, напротивъ, лучше всѣхъ все знаетъ и относительно самыхъ установившихся въ мірѣ науки теорій утверждаетъ, что въ нихъ „что ни слово, то ошибка мысли или выраженія“. Онъ не доказываетъ этого, конечно, онъ какъ настоящій баринъ, которому должны повиноваться безъ разсужденій, только презрительно вычеркиваетъ то, что ему не нравится: sic volo! Это, конечно, очень величественно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и смѣшно нѣсколько, такъ что г. Мечниковъ въ полномъ правѣ отвѣтить снисходительною улыбкой.

Но этого мало. Г. Мечниковъ, какъ спеціалистъ, говоритъ, что онъ „только потому и рѣшился заговорить объ ученіяхъ гр. Толстого, что въ основу ихъ положенъ имъ чисто-раціонали-

стическій, естественно-историческій принципъ". Это не совсѣмъ справедливо. Въ ученіяхъ своихъ гр. Толстой часто ссылается то на велѣніе Божіе и законъ Христа, изложенный въ Евангеліи, то на независимый. ничѣмъ и никѣмъ внѣшнимъ не опредѣленный внутренній голосъ разума и совѣсти. Но извѣстная часть его ученія построена, дѣйствительно, на естественно-историческомъ принципѣ. Опять-таки, подобно Тургеневскому генералу съ бакенбардами, онъ хотя и издѣвается надъ „байришъ биромъ" и изумляется, какъ можно было такія глупыя слова выдумать, но отъ употребленія „байришъ бира" не отказывается. Онъ прибѣгаетъ къ естествознанію не только въ такихъ частныхъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, при разсужденіи о вредѣ табака и алкоголя, но и въ наиболѣе общихъ своихъ положеніяхъ. Естественно-историческій принципъ, лежащій въ основаніи практической философіи гр. Толстого, г. Мечниковъ формулируетъ такъ: „Человѣкъ есть животная машина, своеобразно устроенная и пригодная для совершенно опредѣленныхъ дѣйствій. Если послѣднія строго соотвѣтствуютъ механизму этой машины, то въ результатѣ получается счастіе, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, чувство довольства и удовлетворенія; если-же такого соотвѣтствія нѣтъ и отправленіе недостаточно отвѣчаетъ устройству механизма, то получается несчастіе, сопровождающееся тягостными ощущеніями". Изъ этого слѣдуетъ, что каждый существующій въ человѣкѣ органъ долженъ совершать предназначенное ему отправленіе, а весь человѣкъ долженъ вести естественную, свойственную его природѣ, жизнь. Но для того, чтобы знать, что̀ естественно, что̀ свойственно природѣ, надо изучать естество, природу. Этого пути слѣдовало-бы держаться и гр. Толстому, или-же построить свое ученіе на какомъ-нибудь другомъ принципѣ. Послѣднее вполнѣ возможно. Мы знаемъ, что существовали и существуютъ этическія ученія, цѣликомъ и открыто построенныя на борьбѣ съ природными влеченіями, на подавленіи естества, какъ чего-то низкаго, грязнаго, мѣшающаго человѣку подняться на высоту нравственной чистоты. Гр. Толстой самъ нерѣдко платитъ дань этому воззрѣнію и сдѣлалъ это съ особенною рѣзкостью въ „Крейцеровой сонатѣ", предавъ поруганію половую любовь. Однако, и здѣсь онъ хочетъ удержаться на почвѣ „естественности" и выбирается изъ затрудненія отчаяннымъ заявленіемъ, что любовь „не естественна". Если гр. Толстой полагаетъ для себя возможнымъ учить есте-

ствознанію самую природу, то и подавно, конечно, можетъ учить изучающихъ природу. У Мольера въ „Жеманницахъ“ маркизъ Маскариль утверждаетъ, что „порядочные люди знаютъ все, ничему не учившись“. Оставимъ-же графа торжествовать надъ наукой, но постараемся извлечь изъ его примѣра урокъ.

Когда гр. Толстой утверждалъ, что женщина должна рожать, и только рожать, онъ ссылался на „естественность“ этого порядка, на особенности женской природы. Когда въ „Крейцеровой сонатѣ“ онъ пришелъ къ заключенію, что женщина не должна рожать, онъ, опять-таки, ссылается на „естественность“ и въ частности на то, что, „вѣдь недаромъ же *природа* сдѣлало то, что это мерзко и стыдно“. Это поучительно не только для характеристики гр. Толстого, а и относительно судебъ слова „естественный“. Повидимому, подъ него можно подвести что угодно. Въ исторіи человѣческой мысли не разъ наступали такія времена, когда слово „естественный“ играло роль меча Бренна: vae victis! „Естественный“ значило хорошій, безспорный, желательный, справедливый, законный. И, тѣмъ не менѣе, это магическое слово на дѣлѣ ничего не рѣшало и споровъ не прекращало. Немудрено, потому что въ извѣстномъ смыслѣ все на свѣтѣ естественно и ничего неестестественнаго даже быть не можетъ. Мы употребляемъ это растяжимое до безсодержательности слово въ очень разныхъ смыслахъ, и потому тотъ, кто желаетъ на немъ что-нибудь основать, долженъ-бы точно опредѣлить его значеніе. Г. Мечниковъ это дѣлаетъ въ своихъ возраженіяхъ гр. Толстому. Для этого онъ, между прочимъ, прибѣгаетъ къ опредѣленію разницы между естественнымъ и искусственнымъ подборомъ и приводитъ слѣдующія слова Дарвина: „Подборъ (искусственный) производится методически въ томъ случаѣ, когда заводчикъ старается улучшить или измѣнить породу, согласно предвзятому *идеалу*“. Это маленькое, но великое слово „идеалъ“ составляетъ для г. Мечникова грань, предѣлъ „естественности“, и такая, отнюдь, впрочемъ, не новая въ русской литературѣ постановка вопроса представляетъ большія удобства. Совершенно естественнымъ путемъ образовалось въ такой-то мѣстности болото, но эта естественность ни мало не мѣшаетъ человѣку, во имя сельско хозяйственнаго, гигіеническаго или экономическаго идеала, осушить болото. И точно такъ-же онъ наводняетъ естественно образовавшіяся степи, вырубаетъ лѣса и засаживаетъ

безлѣсныя пространства, естественную силу своего зрѣнія усугубляетъ телескопомъ въ одну сторону и микроскопомъ въ другую, естественную силу слуха—телефономъ, естественную силу своихъ мускуловъ—рычагомъ, паромъ и проч., и проч. Смѣшно было-бы и думать перечислить здѣсь даже главнѣйшіе изъ случаевъ, когда человѣкъ, явно ослушаясь естественности, путемъ цѣлесообразной дѣятельности измѣняетъ природу во имя своихъ идеаловъ. Это не значитъ, конечно, что цѣлесообразная, направленная къ извѣстному идеалу дѣятельность человѣка представляетъ собою что-нибудь сверхъестественное, неестественное или противоестественное. Возвращаясь къ искусственному подбору, скажемъ вмѣстѣ съ г. Мечниковымъ: „Установленіе идеала не есть дѣло простой фантазіи или прихоти; для того, чтобы намѣтить идеалъ, который былъ-бы осуществимъ, необходимо точное знаніе природы организма и достаточная инициатива. Идеалъ этотъ никогда не будетъ простою копіей съ дѣйствительности, а всегда результатомъ синтеза послѣдней съ человѣческимъ воображеніемъ и мышленіемъ“.

Такъ и съ прочими нашими идеалами, въ томъ числѣ и съ идеалами нравственно-политическаго характера. Они вѣдь представляютъ собою искусственную комбинацію элементовъ естества, плодъ вмѣшательства нашего сознанія въ естественный ходъ вещей. Естественность сама по себѣ, какъ таковая, для нихъ не указъ, а только матеріалъ, безъ котораго, однако, обойтись нельзя. Чтобы идеалъ не висѣлъ на воздухѣ и не былъ праздною игрой фантазіи, мы, конечно, должны хорошо знать этотъ матеріалъ. Знать и признать. Эта оговорка гораздо важнѣе, чѣмъ, можетъ быть, кажется. Повидимому, если человѣкъ знаетъ фактъ, то какъ же ему его не признавать? Однако, это часто бываетъ. Гр. Толстой многаго не знаетъ изъ того, о чемъ говоритъ, но онъ не можетъ не знать, что плотская любовь есть нѣчто естественное. Но онъ такъ огорченъ нѣкоторыми своими наблюденіями, что, вмѣсто того, чтобы воспользоваться имя, какъ матеріаломъ для нѣкоторой идеальной комбинаціи, объявляетъ любовь неестественною, вычеркиваетъ ее изъ инвентаря естества. Отрицаніе факта столь-же неразумно, какъ и идолопоклонство передъ нимъ. Познавательная потребность человѣка подлежитъ въ такой-же мѣрѣ удовлетворенію, какъ и творческая, и послѣдняя не можетъ быть удовлетворена безъ удовлетворенія первой. Можно

знать факты и безстрашно признавать ихъ во всей ихъ, можетъ быть, отвратительной или огорчительной наготѣ, и, въ то-же время, держать свою творческую способность на привязи или даже не имѣть ея. Но нельзя творить, не зная или не признавая фактовъ, умышленно отъ нихъ отворачиваясь. То-есть, пожалуй, и можно, но это будетъ карточный домикъ, который можетъ быть и очень привлекателенъ на видъ, но жить въ немъ нельзя.

Есть, однако, идеалы и идеалы. Вполнѣ соглашаясь съ г. Мечниковымъ относительно степени зависимости нашихъ идеаловъ отъ „естественности“, я никоимъ образомъ не могу склониться передъ его собственнымъ идеаломъ, насколько онъ обнаруживается въ статьѣ „Законъ жизни“. Не могу склониться и передъ нѣкоторыми пріемами его постановки идеала. Въ этомъ отношеніи я во многомъ сталъ-бы на сторону гр. Толстого, если-бы можно было стать, не слѣпотствуя и не холопствуя, на сторону человѣка, который самъ колеблется изъ стороны въ сторону и постоянно заметаетъ свои собственные слѣды.

Г. Мечниковъ—ученый человѣкъ. Про него нельзя сказать, что онъ не знаетъ того, о чемъ пишетъ. Онъ даже слишкомъ роскошествуетъ въ дѣлѣ предъявленія читателю фактическихъ, научно изслѣдованныхъ данныхъ. Онъ, напримѣръ, заимствуетъ изъ *Archiv fur pathologische Anatomie* 1886 г. свѣдѣніе объ одной физически уродливо развитой или недоразвитой женщинѣ, которая владѣла, однако, всѣми умственными способностями. Женщина эта заинтересовала ученыхъ спеціалистовъ, которые изслѣдовали ея анатомическое уродство и затѣмъ сдали въ архивъ *für pathologische Anatomie*... Она тамъ вполнѣ умѣстна, но какая надобность была г. Мечникову извлекать ее въ данномъ случаѣ изъ архива? Рѣшительно никакой. Тератологическія явленія заслуживаютъ самаго тщательнаго изученія. Но вѣдь нельзя-же, напримѣръ, въ философскомъ трактатѣ объ уединеніи ссылаться на сіамскихъ близнецовъ, которые, дескать, отъ рожденія и до смерти, ни днемъ, ни ночью, не знали уединенія и, однако, прожили до шестидесяти слишкомъ лѣтъ, женились, дѣтей имѣли и проч. Нельзя, говоря о вторичныхъ половыхъ признакахъ у человѣка и въ частности о мужской бородѣ, что-нибудь строить на существованіи Юліи Пастраны. Архивная старушка г. Мечникова есть въ данномъ случаѣ научное излишество, потому что она

ровно ничего не доказываетъ, и такихъ излишествъ въ статьѣ „Законъ жизни“ не мало. Я не буду за ними слѣдить. Но не могу не замѣтить, что у г. Мечникова какое-то странное пристрастіе къ уродамъ въ смыслѣ прирожденнаго или пріобрѣтеннаго уклоненія отъ нормальнаго типа. Онъ съ торжествомъ указываетъ на то, что у Пастера слишкомъ двадцать лѣтъ парализована вся лѣвая половина тѣла. Человѣкъ, вообще, есть, по мнѣнію г. Мечникова, „обезьяній уродъ съ непомѣрно развитымъ мозгомъ, лицомъ и кистями рукъ“. Наконецъ, и идеалъ будущаго основывается имъ на уродствѣ—на отвращеніи нѣкоторыхъ женщинъ отъ брачной жизни, отъ любви.

Пристрастіе г. Мечникова къ уродамъ не случайно. Г. Мечниковъ—убѣжденный дарвинистъ, внесшій въ это ученіе нѣчто свое, оригинальное. Съ особеннымъ вниманіемъ относится онъ, съ дарвинистской точки зрѣнія, къ группѣ явленій, которыя Геккель назвалъ дистелеологическими (нецѣлесообразными), а г. Мечниковъ предпочитаетъ называть дисгармоническими. По ученію Дарвина, случайное уклоненіе отъ извѣстнаго типа, если оно въ какомъ-нибудь отношеніи полезно уклонившимся, подхватывается естественнымъ подборомъ: приспособленные, отмѣченные полезнымъ уклоненіемъ, переживаютъ въ борьбѣ за существованіе неприспособленныхъ. Дѣло, значитъ, начинается съ уродства, съ уклоненія отъ установившагося типа. Если средство вредно, мѣшаетъ приспособленію, носители его болѣе или менѣе быстро погибаютъ; если оно полезно, они становятся родоначальниками новаго вида. Этимъ путемъ сложилось, по Дарвину, все безконечное разнообразіе животныхъ и растительныхъ формъ. Дарвинъ и его ближайшіе, первые ученики склонны были любоваться не только разнообразіемъ, но и совершенствомъ этого міра, выработаннаго тысячелѣтіями борьбы, побѣды приспособленныхъ, пораженія неприспособленныхъ. Эта оптимистическая тенденція и до сихъ поръ сохранилась между дарвинистами, но, тѣмъ не менѣе, ближайшее изученіе фактовъ показало, что отнюдь не все „добро зѣло“ въ мірѣ торжества однихъ, гибели другихъ. Г. Мечниковъ не принадлежитъ къ числу оптимистовъ. Онъ охотно признаетъ многочисленныя несовершенства органическаго міра и съ этой именно точки зрѣнія протестуетъ противъ излишняго довѣрія къ „естественности“. Это вообще. А затѣмъ онъ останавливается на одномъ частномъ случаѣ этого довѣрія—на фор-

мулѣ гр. Толстого, отнюдь, впрочемъ, не исключительно ему принадлежащей или имъ изобрѣтенной: счастливую, нормальную жизнь человѣку можетъ гарантировать только всесторонняя дѣятельносгь его организма, работа всѣхъ органовъ, упражненіе всѣхъ способностей, свойственныхъ ему. Г. Мечниковъ еще въ одной изъ прежнихъ своихъ статей, безъ всякаго отношенія къ доктринамъ гр. Толстого, напоминаетъ, что таковъ былъ идеалъ древнихъ грековъ, которые, во имя гармоніи, настаивали на соединеніи умственнаго труда и наслажденія съ тѣлесными упражненіями. Г. Мечниковъ рѣшительно отрицаетъ этотъ идеалъ, даже не то, что отрицаетъ, а вырываетъ или стремится вырвать изъ подъ него всякую почву. Онъ говоритъ, что типъ человѣка не установился, что, подобно прочимъ животнымъ организмамъ, человѣкъ выработался, постепенно видоизмѣняясь, и что ему и въ будущемъ предстоятъ новыя видоизмѣненія. Въ этомъ процессѣ видоизмѣненія у него наростали и отпадали разныя способности, атрофировались и вновь образовывались разные органы, и потому нѣтъ никакого смысла требовать равномѣрнаго упражненія, гармоническаго развитія.

Г. Мечниковъ перечисляетъ, по Видерсгейму, органы человѣческаго тѣла: прогрессирующіе (головной мозгъ, мускулы рукъ и лица, сѣдалищные мускулы и проч.), клонящіеся къ упадку, хотя и способные еще совершать свои отправленія, и, наконецъ, рудиментарные, почти или совсѣмъ недѣятельные. Тутъ мы находимъ остатки и хвоста съ его мускулами, и нѣсколько паръ лишнихъ реберъ, а также ушныхъ и затылочныхъ мышцъ и нервовъ, червеобразный отростокъ слѣпой кишки, зубы мудрости и придаточные зубы, остатки шерсти и проч. Все это остатки тѣла низшихъ животныхъ ступеней, по которымъ человѣкъ проходилъ въ исторіи своего развитія, все это „естественно“, „свойственно“ человѣческому организму. И, однако, если-бы мы, согласно формулѣ всесторонняго гармоническаго развитія, вздумали упражнять всѣ эти клонящіеся къ упадку или совсѣмъ бездѣятельные органы, то мы спустились-бы внизъ по той лѣстницѣ, по которой человѣчество постепенно въ теченіе вѣковъ поднималось. „Низшее животное сидитъ въ человѣкѣ еще далеко не заглушеннымъ, а способнымъ, напротивъ, вырваться наружу. Предоставьте только ему свободно развиваться на томъ основаніи, что оно составляетъ „естественное свойство“ нашего организма, и оно не замедлитъ

вырваться". Организмъ человѣка не есть нѣчто установившееся разъ навсегда, онъ прошелъ рядъ измѣненій, подлежитъ дальнѣйшему измѣненію, и потому строить правила поведенія на естественныхъ свойствахъ организма невозможно. „Моралистъ не долженъ останавливаться рабски передъ готовыми формами, какъ-бы „естественны" или „свойственны природѣ" онѣ ни казались. Онъ долженъ стараться перешагнуть черезъ эти границы, чтобы идти по направленію къ идеалу, намѣченному на основаніи всѣхъ данныхъ дѣйствительности".

Послѣднее совершенно справедливо. Но, что касается аргументаціи г. Мечникова, то мнѣ думается, что онъ бьетъ мимо цѣли. Никто никогда не хлопоталъ въ пользу упражненія зачаточныхъ ушныхъ мускуловъ или остатковъ хвоста. И не потому, чтобы мы не знали о существованіи этихъ органическихъ воспоминаній о нашемъ далекомъ прошломъ, а именно потому, что они вовсе не составляютъ необходимой принадлежности человѣческаго типа: пусть они совсѣмъ атрофируются, и, съ позволенія сказать, чортъ съ ними,—отъ этого человѣкъ не перестанетъ быть человѣкомъ. Мало того, по крайней мѣрѣ, въ этомъ отношеніи типъ человѣка до такой степени установился, что еслибы, въ силу какъ-нибудь обстоятельствъ, у людей и выросли хвосты и подвижныя уши, то это частное возвращеніе къ типу далекихъ предковъ само по себѣ не заслуживало-бы тѣхъ страшныхъ словъ, которыя говоритъ г. Мечниковъ: сидящій въ человѣкѣ звѣрь, низшее животное ждетъ только случая, чтобы вырваться наружу. Ушные и хвостовые мускулы играютъ въ человѣческомъ организмѣ до такой степени не то что ничтожную, а чужую роль, что есть-ли они, нѣтъ-ли ихъ, это не можетъ ничѣмъ отразиться на человѣческомъ типѣ. И то-же самое слѣдуетъ сказать обо всѣхъ перечисляемыхъ г. Мечниковымъ органахъ, клонящихся къ упадку или заглохшихъ. Недаромъ г. Мечниковъ нѣсколько пристальнѣе останавливается только на одномъ изъ нихъ—на мускулахъ ноги и ступни. Человѣческая нога несомнѣнно произошла изъ рукообразнаго органа. Съ теченіемъ времени сгибательныя и хватательныя движенія этого органа утратились отъ неупотребленія или, по крайней мѣрѣ, ослабѣли, и получилась сравнительно неподвижная ступня, служащая за-то твердою опорой при характерномъ для человѣка вертикальномъ положеніи. Зачаточныя способности сгибанія и хватанія сохра-

нились, однако, и могутъ, въ случаѣ надобности (у безрукихъ), быть доведены путемъ упражненія до высокой степени развитія. И вотъ г. Мечниковъ предлагаетъ гр. Толстому обратить на это вниманіе, потому что вѣдь сгибательныя и хватательныя движенія нашей ногѣ „свойственны", заложены въ ея анатомическомъ устройствѣ. Г. Мечниковъ продолжаетъ: „Обувь-же, которая сковываетъ стопу, мѣшая движенію ея частей, является, такимъ образомъ, противоестественнымъ изобрѣтеніемъ культуры, которое необходимо устранить. Знаменитые сапоги, о которыхъ такъ часто говорилось по поводу сапожной дѣятельности гр. Толстого, должны быть безусловно забракованы, на основаніи его-же собственнаго ученія".

Это, можетъ быть, и остроумно, но совершенно не идетъ къ дѣлу. Гр. Толстой могъ-бы отвѣтить: сгибательныя и хватательныя движенія, правда, сохранились у человѣка въ зачаточномъ видѣ, но для человѣческаго типа характерны не они, а, напротивъ, сравнительная неподвижность спины, какъ опоры при вертикальномъ положеніи. Въ ту далекую пору, когда еще только вырабатывалось это вертикальное положеніе, насмѣшка г. Мечникова могла-бы быть умѣстна, но теперь объ этомъ и рѣчи быть не можетъ. Я забочусь о человѣческомъ счастьѣ, а не объ обезьяньемъ, а человѣческое если не счастье вообще, то здоровье несомнѣнно требуетъ упражненія ноги, какъ она сложилась,— объ этомъ вамъ каждый докторъ скажетъ.

Дѣйствительно, это всякій докторъ скажетъ, и г. Мечниковъ, разумѣется, это очень хорошо знаетъ. Но ему почему-то хочется ссылаться на безногую архивную старушку, которая, однако, благополучно жила, на Пастера, которому параличъ половины тѣла не мѣшаетъ жить и совершать великія открытія. Я говорю, что г. Мечникову почему-то хочется ссылаться на эти примѣры, что онъ этими ссылками удовлетворяетъ какому-то своему капризу, потому что онѣ ровно ничего не доказываютъ, какъ ничего не доказываютъ сіамскіе близнецы, двухголовый соловей и проч. Медицинская статистика, имѣющая дѣло не съ исключительными единицами, а съ массами и средними цифрами, совершенно уничтожаетъ примѣры г. Мечникова. Такъ что объ этой части его разсужденій даже и говорить не стоитъ: она ни мало не колеблетъ теоріи гармоническаго всесторонняго развитія. Го-

раздо, можетъ быть, смутительнѣе нѣкоторыя другія соображенія г. Мечникова.

Нѣкоторые жуки океаническихъ острововъ безкрылы, хотя ихъ ближайшіе материковые родичи снабжены крыльями. Фактъ этотъ, по весьма вѣроятному предположенію Дарвина, объясняется тѣмъ, что жуки, летавшіе вблизи океана, часто заносились въ воду и тамъ погибали; поэтому на океаническихъ островахъ выживали и передавали свои качества потомству преимущественно такіе жуки, которые, по словамъ Дарвина, „либо отъ малѣйшаго недостатка въ развитіи крыльевъ, либо отъ *прирожденной лѣни* (курсивъ г. Мечникова) подвергались въ меньшей мѣрѣ опасности быть занесенными въ море“. Таковъ фактъ, чрезвычайно и во многихъ отношеніяхъ поучительный. Указавъ его, г. Мечниковъ дѣлаетъ предположеніе, что жуки могутъ разсуждать о своихъ поступкахъ такъ-же, какъ люди. „Если-бы,— говоритъ онъ,—между ними находились послѣдователи ученія гр. Толстого, то они должны-бы были рѣшить, что такъ какъ у нихъ есть крылья и они, слѣдовательно, „такъ устроены, что имъ необходимо летать“, то „неестественно“ воздерживаться отъ воздушныхъ странствованій и нужно предпринимать ихъ безъ дальнѣйшаго размышленія. Въ результатѣ большинство этихъ послѣдователей было-бы занесено въ море, а болѣе счастливыми оказались-бы жуки, находившіеся въ оппозиціи и рѣшившіе, что, не смотря на ихъ природное устройство, имъ нужно какъ можно менѣе пользоваться своими крыльями“.

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ-же счастіе, обѣщанное теоріей всесторонняго развитія? Не такъ ужъ, однако, побѣдоносны комментаріи г. Мечникова къ указанному имъ факту. Напротивъ, фактъ этотъ, равно какъ и другіе подобные, частью говоритъ противъ г. Мечникова, а частью указываетъ неправильность или, по крайней мѣрѣ, неполноту постановки вопроса какъ у гр. Толстого, такъ и у г. Мечникова.

Прежде всего, очевидно, что типъ жука океаническихъ острововъ понизился по сравненію съ его крылатыми предками и современными материковыми ихъ родичами. Существуетъ, правда, точка зрѣнія, признающая мѣриломъ высоты развитія организма степень его приспособленія къ условіямъ существованія. Съ этой точки зрѣнія островные жуки, напротивъ, усовершенствовались, подвинулись впередъ, лишившись крыльевъ. Но именно такого

рода факты, какъ исторія островныхъ жуковъ, показываютъ несостоятельность критерія приспособленности. Можно-бы было найти еще болѣе рѣзкіе примѣры. Г. Мечникову лучше, чѣмъ мнѣ, извѣстны случаи, напримѣръ, утраты нѣкоторыми паразитами органовъ зрѣнія и движенія. Это—результаты приспособленія, но вѣдь никто же не рѣшится сказать, что такое полное упрощеніе организаціи есть шагъ впередъ. Ясно, что должно быть выработано другое мѣрило, другой критерій совершенствованія или прогрессированія. Да его незачѣмъ и вырабатывать, потому что такое мѣрило давно выработано и прочно установлено въ наукѣ; это—степень сложности организаціи, степень раздѣленія труда между органами. Высшія животныя не потому выше низшихъ, что они лучше приспособлены къ условіямъ существованія,—напротивъ, они сплошь и рядомъ приспособлены гораздо хуже, и никому еще не приходило въ голову положить въ основаніе классификаціи животныхъ степень ихъ приспособленности. Высшія животныя выше низшихъ своею сложностью, разнообразіемъ своего строенія, и уже въ эмбріологическомъ фазисѣ своего развитія проходятъ ступени относительной простоты организаціи своихъ низшихъ предковъ. Такъ по наукѣ, такъ и по здравому смыслу. Островные жуки изъ двухъ способовъ передвиженія—ползанія и летанія—остались при одномъ, и не видно, чтобы эта убыль чѣмъ-нибудь компенсировалась, а если справедливо подчеркнутое г. Мечниковымъ предположеніе о *прирожденной лѣни* родоначальниковъ безкрылыхъ жуковъ, то мы имѣемъ, кромѣ того, и общую убыль жизненной энергіи. Это—процессъ оскудѣнія, вырожденія. Правда, онъ вызванъ обстоятельствами вполнѣ естественными, но г. Мечниковъ, справедливо настаивающій на томъ, что естественность сама по себѣ намъ не указъ, позволитъ, по крайней мѣрѣ, назвать процессъ его настоящимъ именемъ,—именемъ вырожденія, обусловленнаго именно тѣмъ, что крылья перестали функціонировать.

Мечниковъ, ради удобства аргументаціи, предположилъ, что островные жуки разсуждаютъ по-человѣчески, и что между ними есть послѣдователи гр. Толстого. Воспользуюсь и я этимъ предположеніемъ, но сперва возьму примѣръ прямо изъ человѣческой и именно текущей жизни. Крестьяне постигнутыхъ неурожаемъ мѣстностей, въ виду невозможности прокормить лошадей, бьютъ ихъ на мясо, продаютъ за безцѣнокъ, изъ-за кожи, а то и да-

ромъ отдаютъ. Они приспособляются къ обстоятельствамъ и, очевидно, не могутъ иначе поступать, потому что не могутъ прокормить лошадей; но вѣдь это не мѣшаетъ намъ признавать безлошадное хозяйство вполнѣ оскудѣлымъ. Жизнь нерѣдко ставитъ передъ людьми подобныя альтернативы, и, какъ-бы мы ихъ ни рѣшали на практикѣ, а называть вещи ихъ настоящими именами все-таки слѣдуетъ. Такъ и съ островными жуками. Тѣ изъ нихъ, которые были настолько крылаты, что залетали слишкомъ далеко, погибали, но они были выше тѣхъ, которые уцѣлѣли. И если-бы жуки разсуждали по-человѣчески, то имъ предстояла-бы дилемма: или сохранить свое достоинство и погибнуть, или цѣною униженія купить жизнь. И если-бы между ними были ученики гр. Толстого... Да нѣтъ, впрочемъ, мнѣ не нужна зоологическая иллюстрація г. Мечникова,—дѣло и безъ нея достаточно ясно. Возьмемъ прямо человѣческое общество, положимъ, въ средніе вѣка. Духовныя крылья, крылья мысли были связаны у человѣка; свободное изслѣдованіе, каково-бы оно ни было, клеймилось страшнымъ и презрительнымъ названіемъ ереси; еретиковъ вздергивали на дыбу, сажали на испанскаго осла, ввергали въ убійственныя объятія нюренбергской дѣвицы, жгли на кострѣ. Отъ этихъ ужасовъ можно было избавиться, отказавшись, подобно островнымъ жукамъ, отъ крыльевъ, признавъ, что, дескать, не наше дѣло мыслить, на то есть особые авторитеты. Большинство, конечно, такъ и поступало, да еще, пожалуй, въ такъ называемой „святой простотѣ“ выставляло волонтеровъ по части подкидыванія дровъ въ костры. Но мы, поздніе потомки, съ уваженіемъ и благодарностью поминаемъ не это безкрылое большинство, а тѣхъ крылатыхъ, которые погибли.

Странное дѣло! Рѣчь идетъ о правилахъ поведенія, въ томъ числѣ и поведенія нравственнаго. И вдругъ, среди этого разговора, погибель и „невзгоды“, какъ выражается въ другомъ мѣстѣ г. Мечниковъ, выставляются, какъ свидѣтельство изъяна въ нравственной теоріи, свидѣтельство ея неосновательности. Это все равно, какъ если-бы мы осудили христіанскую мораль собственно на томъ основаніи, что существовали христіанскіе мученики, которыхъ отдавали на растерзаніе дикимъ звѣрямъ, разстрѣливали, побивали камнями, распинали, жгли. Если-бы г. Мечникову грозили какія-нибудь „невзгоды“ за распространеніе теоріи фагоцитовъ, которая по гр. Толстому представляетъ собою вполнѣ глу-

ный и смѣшной „байришъ биръ“, а, въ сущности, имѣетъ высокую научную цѣнность, то поведеніе нашего почтеннаго ученаго могло-бы быть двояко: или онъ, убоявшись „невзгоды“, отрекся-бы отъ того, что считаетъ истиной, или, напротивъ, претерпѣлъ-бы невзгоды ради истины. Полагаю, что только послѣднее рѣшеніе и можетъ быть названо нравственнымъ, какой-бы теоріи морали г. Мечниковъ ни держался. Право, вѣдь это труизмы. Ихъ стыдно писать. И если приходится писать, то мы, должно быть, вертимся въ какомъ-нибудь кругѣ недоразумѣній. Такъ оно и есть въ дѣйствительности.

Справедливо говоря, что теорія упражненія всѣхъ органовъ не есть открытіе гр. Толстого, г. Мечниковъ упоминаетъ, между прочимъ, нѣмецкаго естествоиспытателя Зейдлица, который въ 1875 году выставилъ слѣдующее положеніе: „Въ удовлетвореніи всѣхъ отправленій тѣла въ должной степени и взаимномъ отношеніи другъ къ другу заключается *раціональная и нравственная* жизнь“. Гр. Толстой утверждаетъ собственно то-же самое, и если-бы онъ не презиралъ „байришъ бира“, то ему не было бы надобности, какъ онъ самъ разсказываетъ, „цѣлымъ рядомъ сомнѣній, исканій, длиннымъ ходомъ мысли приходить къ той необыкновенной истинѣ, что если у человѣка есть глаза, то затѣмъ, чтобы смотрѣть ими, и уши, чтобы слышать, и ноги, чтобы ходить, и руки и спина, чтобы работать“. Но дѣло въ томъ, что категоріи *раціональнаго* и *нравственнаго* поведенія у гр. Толстого не совпадаютъ, не обнимаются единымъ принципомъ. Правила раціональнаго поведенія онъ строитъ, какъ справедливо говоритъ г. Мечниковъ, на естественно-историческомъ принципѣ, а правила нравственнаго поведенія — любовь къ ближнему, непротивленіе злу и проч. — стоятъ особо и покоятся на совершенно иныхъ основаніяхъ. Отсюда рядъ недоразумѣній, для разбора которыхъ у меня на этотъ разъ уже не остается ни времени, ни мѣста.

VI *).

Личныя воспоминанія о гр. Толстомъ. — Гр. Толстой и г. Мечниковъ, какъ гигіенисты.

Не одинъ листъ бумаги изорвалъ я, принимаясь за продолженіе бесѣды о полемикѣ г. Мечникова съ гр. Толстымъ, — начиналъ и бросалъ, чтобы попробовать другой приступъ, и опять бросалъ. Это бываетъ, что никакъ не соберешься съ мыслями, и даже не знаешь почему. Но на этотъ разъ я, кажется, знаю, почему это такъ трудно выходитъ. Зависитъ это не только отъ обширности и сложности вопросовъ, затронутыхъ г. Мечниковымъ,— обширности и сложности, еще увеличиваемыхъ прикосновенностью гр. Толстого съ его рѣзкими и быстрыми поворотами мысли. Уже и эти условія задачи дѣлаютъ ее весьма нелегкою, а къ нимъ присоединяются еще особенности личнаго моего отношенія какъ къ кругу идей, представляемыхъ статьей г. Мечникова, такъ и къ гр. Толстому. Для меня предметъ статьи г. Мечникова не просто группа интересныхъ вопросовъ, какимъ онъ долженъ быть для всякаго, желающаго не о единомъ хлѣбѣ жить и думать. Когда-то, въ молодости, именно съ этой группы вопросовъ начинались мои попытки самостоятельной мысли, и тѣ результаты, къ которымъ я тогда пришелъ и отъ которыхъ и теперь не отступаюсь, имѣетъ для меня, вслѣдствіе этого, особую цѣну: слишкомъ много моей души въ нихъ вложено. Не мало ея вложено и въ гр. Толстого, къ которому я, опять-таки, съ давнихъ поръ приглядывался то съ глубочайшимъ почтеніемъ, почти граничившимъ съ восторгомъ, то съ рѣзко-отрицательнымъ чувствомъ, мнѣ самому причинявшимъ боль послѣ почтенія и восторга. Такимъ образомъ, всѣ элементы предстоящей бесѣды съ читателемъ мнѣ близки и съ давнихъ лѣтъ знакомы. Но, кажется, въ этомъ-то и состоитъ трудность. Я не знаю, съ чего начать, — не то вспоминать, не то разсуждать, не то о гр. Толстомъ вспоминать, не то о своихъ первыхъ попыткахъ самостоятельной мысли, не то о теоріяхъ гр. Толстого разсуждать, не то о г. Мечниковѣ. Благодаря статьѣ г. Мечникова, посвященной, съ одной стороны, извѣстнымъ нравственно-политическимъ вопросамъ, а съ другой— гр. Толстому,—все это свилось въ одинъ клубокъ, и я пробовалъ

*) 1892, февраль.

начинать его разматывать то съ одного конца, то съ другого. Хочется, разумѣется, размотать такъ, чтобы объявилось все цѣнное изъ пережитаго и передуманнаго, то есть, конечно, то, что я, можетъ быть, и ошибочно, считаю цѣннымъ. А, между тѣмъ, надо вѣдь не только начать, надо продолжать и кончать

Да проститъ-же мнѣ благосклонный читатель, если настоящая моя бесѣда будетъ особенно страдать отсутствіемъ опредѣленнаго архитектурнаго стиля. Въ концѣ-то-концовъ, вѣдь не въ архитектурѣ же дѣло...

Въ 1874 г. гр. Толстой обратился къ Некрасову съ письмомъ (оно у меня сохранилось), въ которомъ просилъ, чтобы „Отечественныя Записки“ обратили вниманіе на его, гр. Толстого, пререканія съ профессіональными педагогами въ московскомъ комитетѣ грамотности. Графъ выражалъ лестную для нашего журнала увѣренность, что мы внесемъ надлежащій свѣтъ въ эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбудило въ редакціи большой интересъ. Собственно Некрасовъ не особенно высоко цѣнилъ споръ о пріемахъ преподаванія грамотѣ въ народныхъ школахъ, но гр. Толстой обѣщалъ отплатить за услугу услугой, разумѣя свое сотрудничество по беллетристическому отдѣлу, и Некрасовъ, какъ опытный журналистъ, хорошо понималъ значеніе сотрудничества автора „Войны и мира“. Впечатлѣніе, произведенное этимъ гигантскимъ твореніемъ, было еще тогда очень свѣжо, и ему нисколько не мѣшали нѣкоторыя рискованныя подробности философско-исторической части романа. Извѣстно, что философско историческіе взгляды гр. Толстого были первоначально вплетены въ самый текстъ „Войны и мира“, а затѣмъ выдѣлены въ прибавленіе или въ особую часть. Читатели мысленно совершили эту операцію гораздо раньше самого автора: наслаждались несравненными красотами художественной части и пропускали, такъ сказать, сквозь пальцы часть философско-историческую. Въ связи съ разсказами о гр. Толстомъ Некрасова, который его давно и хорошо зналъ, какъ-то сама собой установившаяся плохая репутація филофско-исторической части „Войны и мира“ заставляла опасаться, что въ педагогической распрѣ мы окажемся, пожалуй, не на сторонѣ графа (за самою распрей никто изъ насъ не слѣдилъ). Въ концѣ-концовъ, порѣшили на томъ, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и мѣсто въ „Отечественныхъ Запискахъ“: онъ, дескать, достаточно крупная

и, при томъ, внѣ литературныхъ партій стоящая фигура, чтобъ отвѣчать самому за себя, а редакція оставляетъ за собой свободу дѣйствія. Но гр. Толстому этого было мало. Въ новомъ письмѣ къ Некрасову онъ повторялъ увѣренность, что у него съ „Отечественными Записками“ никакого разногласія быть не можетъ, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивалъ на томъ, чтобы нашъ журналъ предварительно самъ высказался. Я взялъ на себя трудъ познакомиться съ дѣломъ, и мы обмѣнялись по этому случаю съ гр. Толстымъ нѣсколькими письмами. Я взялся сначала именно только познакомиться съ дѣломъ, отнюдь не обязываясь писать о немъ, и взялся не потому, чтобы очень интересовался вопросомъ о методахъ преподаванія грамоты, а просто въ качествѣ горячаго почитателя гр. Толстого, какъ художника, который вдобавокъ не задолго передъ тѣмъ, въ 1873 г., завоевалъ себѣ новое право на общую симпатію непечатаннымъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ письмомъ о самарскомъ голодѣ. Но ни красоты „Войны и мира“, ни прочувствованныя строки о голодномъ мужикѣ не могли, конечно, служить ручательствомъ за правильность педагогическихъ взглядовъ гр. Толстого. При томъ же, и мнѣ самому приходилось еще только знакомиться съ педагогическими вопросами. Я откровенно изложилъ гр. Толстому свое положеніе: такъ и такъ, преподавательскимъ дѣломъ никогда не занимался, съ литературой предмета совершенно не знакомъ, но постараюсь изучить ее, а для этого нужно время. Дѣйствительно, я добросовѣстно принялся за разные методики, учебники, статьи, посвященные вопросамъ о методѣ звуковомъ, буквослагательномъ и проч., въ томъ числѣ и за старыя педагогическія статьи гр. Толстого, составляющія четвертый томъ его сочиненій. На все это, при обиліи другихъ занятій, потребовалось столько времени, что гр. Толстой меня не дождался: статья его „О народномъ образованіи“ была напечатана въ сентябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1874 г. и вызвала цѣлую бурю какъ въ общей, такъ и въ спеціально-педагогической литературѣ. Я же могъ утилизировать плоды своего педагогическаго изученія только въ январѣ 1875 г. Да и то я рѣшился говорить только отъ лица и имени „профана“.

Впрочемъ, собственно техническая сторона дѣла, вопросъ о методѣ обученія грамотѣ, въ которомъ я чувствовалъ себя настоящимъ профаномъ, отошелъ для меня на самый задній планъ.

Изучивъ четвертый томъ сочиненій гр. Толстого, на который я прежде, вмѣстѣ съ большинствомъ читателей, обращалъ очень мало вниманія, я былъ пораженъ смѣлостью, широтою, искренностью взглядовъ автора, весьма далекихъ отъ элементарной педагогической техники. Для меня это было цѣлое открытіе, и легко было убѣдиться, что не для одного меня. Надо сказать, что свое соблазнительное обѣщаніе „Отечественнымъ Запискамъ“ услуги за услугу графъ такъ и не привелъ въ исполненіе: „Анну Каренину“ онъ, если не ошибаюсь, въ томъ-же 1874 г. и самое позднее въ 1875 г., отдалъ не намъ, а Каткову, въ „Русскій Вѣстникъ“. Критика Катковскаго лагеря превозносила „Анну Каренину“ выше лѣса стоячаго, выше облака ходячаго, въ самую высь подзвѣздную. Сверхъ всякой мѣры восторгаясь мельчайшими художественными подробностями романа, эта критика радовалась и его общему тону и содержанію. Она радовалась тому, что графъ такъ глубоко интересуется блестящимъ міромъ салоновъ, будуаровъ, модныхъ ресторановъ, конскихъ ристалищъ. Она восхваляла графа,—какъ выразился одинъ критикъ,—за „умѣнье находить людей, сохраняющихъ среди новыхъ общественныхъ наслоеній лучшія преданія стараго культурнаго общества... верхній слой, живущій чисто-человѣческими интересами, доступный благороднымъ чувствамъ и романическимъ порываніямъ... людей, у которыхъ изящество жизни не считается развратомъ, культурныя формы общежитія не разсматриваются какъ продуктъ крѣпостного права“ и т. д., и т. д. Словомъ, гр. Толстой оказывался какимъ-то спеціальнымъ пѣвцомъ благоуханныхъ и блестящихъ сферъ такъ называемаго высшаго общества. Между тѣмъ, въ четвертомъ томѣ сочиненій гр. Толстого можно прочесть, между прочимъ, такія, напримѣръ, строки: „въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ, профессоровъ и лордовъ“. Или: „требованія народа отъ искусства законнѣе требованій испорченнаго меньшинства, такъ называемаго образованнаго общества“. Да и весь четвертый томъ проникнутъ такимъ бурнымъ и глубокимъ демократизмомъ, такимъ „культомъ народа“, какъ сказалъ-бы, не совсѣмъ, впрочемъ, правильно, г. Боборыкинъ, что упомянутые восторги критики можно было объяснить только незнакомствомъ съ подлинными взглядами гр. Толстого. Обнаружить эти подлинные взгляды, оповѣстить ихъ чи-

тающему люду, который только по прискорбному недоразумѣнію отворачивается отъ четвертаго тома, такъ сказать, отнять великаго художника у людей, ничего, кромѣ „изящества жизни“, не признающихъ, — такая цѣль представлялась мнѣ необыкновенно заманчивою. Съ другой стороны, однако, фактъ чрезвычайнаго интереса къ благоуханнымъ и блестящимъ сферамъ былъ налицо: этотъ Вронскій, въ сущности, центравъ какой-то, въ которомъ не разберешь, гдѣ кончается превосходный кровный жеребецъ и гдѣ начинается человѣкъ, „доступный благороднымъ чувствамъ и романтическимъ порываніямъ“, этотъ Облонскій, легкомысліе котораго заслуживало бы не такихъ мягкихъ, милыхъ, добродушныхъ красокъ, и т. д.,—все это какъ будто не идетъ къ автору четвертаго тома. Судя по нѣкоторымъ его рѣзкостямъ по адресу благоуханныхъ и блестящихъ сферъ, можно бы было ожидать или столь полнаго презрѣнія къ этому міру, что и разговаривать о немъ не стоитъ, или же явственно и рѣзко-сатирическихъ нотъ. Нашлись и еще кое-какія противорѣчія въ извѣстной мнѣ тогда дѣятельности гр. Толстого. Они мучили меня какъ загадка. Но, наконецъ, при помощи все того же четвертаго тома, въ которомъ я нашелъ ключъ къ уразумѣнію и „десницы“, и „шуйцы“ гр. Толстого, загадка разъяснилась. Я думаю, что до извѣстной степени разъясненіе это и сейчасъ остается вѣрнымъ, но съ тѣхъ поръ такъ много воды утекло и такъ много гр. Толстой новаго сказалъ, и такъ много про него новаго мы узнали...

Когда я разгадывалъ загадку „десницы“ и „шуйцы“ гр. Толстого, я не зналъ, разумѣется, того, что оповѣстилъ недавно г. Фетъ,—тѣхъ скачковъ отъ гимнастики къ драмѣ, отъ греческаго языка къ Шопенгауэру, отъ земледѣльческихъ упражненій къ Экклезіасту, въ которыхъ графъ проводилъ свое время. Отъ Некрасова и другихъ сверстниковъ графа я слыхалъ о нѣкоторыхъ его „чудачествахъ“, но не придавалъ имъ значенія. Свѣдѣній же печатныхъ о личности гр. Толстого, какія теперь имѣются даже въ чрезмѣрномъ изобиліи, тогда не было, кромѣ тѣхъ необыкновенно-увлекательныхъ страницъ четвертаго тома, гдѣ онъ разсказывалъ о своихъ занятіяхъ въ народной школѣ. Существовало, правда, еще одно автобіографическое показаніе гр. Толстого, сильно меня смущавшее, но и его я съ грѣхомъ пополамъ вставилъ въ рѣшеніе своей загадки, хотя, изъ глубокаго уваженія къ графу, предпочелъ тогда обойти этотъ фактъ

молчаніемъ. Теперь, когда каждый шагъ гр. Толстого публикуется, частью имъ самимъ, можно и эту старину вспомнить.

Въ курьезной книгѣ покойнаго Погодина „Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ“ записанъ слѣдующій разсказъ гр. Толстого, относящійся ко временамъ его молодости: „Проигравшись въ карты, я передалъ зятю имѣніе, съ тѣмъ, чтобъ онъ уплачивалъ мои долги и присылалъ мнѣ на содержаніе по 500 р. въ годъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я далъ ему слово не играть болѣе въ карты. Но на Кавказѣ я опять сталъ играть, спустивъ все, что у меня было, и задолжалъ Кнорррингу 500 р. на вексель. Срокъ подходилъ, денегъ у меня не было, а зятю писать не смѣлъ о своемъ позорѣ и былъ въ отчаяніи. Жилъ я тогда въ Тифлисѣ, чтобы держать юнкерскій экзаменъ. Я не спалъ ночей, мучился, обдумывалъ, что мнѣ дѣлать, и вспомнилъ о молитвѣ и силѣ вѣры. Я сталъ молиться отъ глубины души, считая свою молитву испытаніемъ силы вѣры; молился, какъ молятся юноши, и легъ спать будто успокоенный. Поутру, лишь только я проснулся, подаютъ мнѣ пакетъ отъ брата изъ Чечни. Первое, что я увидѣлъ въ пакетѣ, это былъ разорванный вексель. Братъ писалъ мнѣ: Садо (мой кунакъ, молодой малый, чеченецъ, игрокъ) обыгралъ Кнорринга, выигралъ твой вексель, привезъ ко мнѣ и ни за что не хочетъ брать съ тебя денегъ“.

Я не затѣмъ, разумѣется, привелъ этотъ автобіографическій разсказъ гр. Толстого, чтобы помянуть грѣхи его молодости, въ которыхъ онъ давно и всенародно покаялся. И въ свое-то время, задолго до „Исповѣди“, приведенный эпизодъ не тѣмъ меня смущалъ, что гр. Толстой въ молодости сильно въ карты игралъ. Быль молодцу не укоръ, а вѣдь это, въ самомъ дѣлѣ, быль,— нѣчто былое, быльемъ поросшее, давно прошедшее, давно искупленное. Да и такіе-ли еще грѣхи найдутся у каждаго изъ насъ на душѣ! Но если быль быльемъ поросла, то не исчезла и до сихъ поръ та странная складка въ умѣ гр. Толстого, которая сквозитъ въ разсказѣ о чудесномъ финалѣ исторіи съ проигрышемъ. Графъ, очевидно, увѣренъ, что благополучный исходъ дѣла достигнутъ силою его молитвы, а, между тѣмъ, радостное извѣстіе пришло изъ Чечни въ Тифлисъ всего черезъ нѣсколько часовъ послѣ молитвы, и, слѣдовательно, Садо обыгралъ Кнорринга и разорвалъ вексель гр. Толстого гораздо раньше, чѣмъ графъ вздумалъ обратиться къ Богу. Все на свѣтѣ совершается, конечно,

по Божію повелѣнію, соизволенію или попущенію, но графъ-то обратился къ Богу только post factum. Тѣмъ не менѣе, гр. Толстой увѣренъ. Теперь я склоненъ былъ-бы объяснить эту увѣренность тѣмъ самымъ смиреніемъ гордости, съ которымъ онъ ждетъ или ждалъ, чтобы ему „Богъ велѣлъ“ написать о голодѣ. Это смиреніе гордости не разъ доводило очень крупныхъ людей до полнаго ослѣпленія. Но тогда, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, мнѣ и въ голову не приходило ничего подобнаго. И я спрашиваю себя: какъ же можетъ человѣкъ такого большого, проницательнаго и, такъ сказать, безпощадно-правдиваго ума, какимъ гр. Толстой является почти во всѣхъ своихъ поэтическихъ и во многихъ теоретическихъ произведеніяхъ, какъ можетъ этотъ человѣкъ писать столь явныя несообразности? Въ виду моего нѣсколько даже страстнаго отношенія къ гр. Толстому, мнѣ, признаюсь, было стыдно останавливаться тогда на эпизодѣ съ проигрышемъ, за графа стыдно, а, между тѣмъ, разсужденіе его объ этомъ эпизодѣ очень для него типично; и не столь уже рѣзко выразительныя формы этого типа я не могъ, да и не хотѣлъ скрыть отъ читателей. Я суммировалъ эти удивительные обороты мысли въ „шуйцѣ“, гр. Толстого, которая, какъ-бы слѣдуя евангельскому завѣту, не знаетъ, что дѣлаетъ его „десница“.

Я не буду, конечно, переизлагать здѣсь всѣ выводы, къ которымъ пришелъ тогда. Въ общихъ чертахъ дѣло состоитъ въ томъ, что въ гр. Толстомъ сидятъ два разные человѣка, имѣющіе очень мало общаго между собою. Одинъ („десница“)—смѣлъ, рѣшителенъ, жаждетъ дѣятельности, не принимаетъ ничего на вѣру, и всякій фактъ, какъ бы онъ ни былъ освященъ преданіемъ или другимъ какимъ авторитетомъ, готовъ подвергнуть самому безпощадному допросу; не выдержалъ фактъ допроса разума и совѣсти, и гр. Толстой отмѣтаетъ его, какъ никуда негодную ветошь, хотя бы за него горы горой стояли. Другой („шуйца“) — робокъ, боится отвѣтственности или, по крайней мѣрѣ, сильно не любитъ тѣхъ, кто рѣшается дѣйствовать на свой страхъ, видитъ въ фактахъ какую-то таинственную и непреодолимую мощь и силу, которымъ нельзя и не слѣдуетъ противиться ни словомъ, ни дѣломъ, ни помышленіемъ. Образчикомъ такого отношенія къ фактамъ можетъ служить разсказъ о кавказскомъ проигрышѣ. Графъ такъ пораженъ, такъ придавленъ фактомъ случайнаго совпаденія обстоятельствъ, не имѣющихъ между

собою никакой причинной связи, что даже не пытается замахнуться на него критическою мыслью. Пятнадцатилѣтній мальчикъ способенъ бы былъ сообразить время, требуемое для полученія въ Тифлисѣ письма изъ Чечни, а гр. Толстой, своего рода колоссъ, этого сообразить не можетъ. Это случай уже изъ ряда вонъ выходящій по своей наглядной несообразности. А съ другой стороны, графъ все-таки помолился, совершилъ извѣстное дѣйствіе, и только тогда (т. е. по мнѣнію графа, тогда) Богъ устроилъ его карточныя дѣла при посредствѣ игрока чеченца Садо. Въ другихъ случаяхъ неприкосновенность факта обставляется иначе. Я помню, что въ одной изъ статей гр. Толстого о народномъ образованіи меня особенно поразила слѣдующая фраза: „не случайно, а цѣлесообразно окружила природа земледѣльца земледѣльческими условіями, горожанина—городскими". Это былъ одинъ изъ аргументовъ въ пользу неприкосновенности данныхъ условій жизни, съ которыми, дескать, воспитатель или учитель долженъ сообразоваться. Аргументъ, очевидно, очень плохой, потому что, спрашивается, какими же иными условіями могла окружить природа земледѣльца, какъ не земледѣльческими? Иначе бы вѣдь онъ и земледѣльцемъ не былъ. Поэтому противоположеніе „случайности" и „цѣлесообразности" есть здѣсь не болѣе какъ философскій клякса. Но интересна и характерна для гр. Толстого не эта, можетъ быть, случайная запутанность мысли. Интересно, что аргументъ исключаетъ самого земледѣльца, самого горожанина: не они своимъ трудомъ создали окружающія ихъ условія—вырубили лѣсъ, распахали пашню, посѣяли хлѣбъ, построили дома и проч., а какая-то внѣшняя сила, имѣющая свои особыя, собственныя цѣли; ходъ дѣятельности этой внѣшней силы и представляется неприкосновеннымъ для человѣческаго вмѣшательства. Эта точка зрѣнія часто пробивается въ статьяхъ гр. Толстого о народномъ образованіи, но съ особенною силой она развита въ философско-исторической части „Войны и мира". Я не стану ее разбирать въ этомъ смыслѣ и только напомню давно уже указанную критикой нелюбовь гр. Толстого къ людямъ вродѣ Наполеона, Растопчина, Сперанскаго и многихъ другихъ дѣйствующихъ лицъ „Войны и мира", желающихъ внести въ ходъ событій что-то свое, личное. Этихъ людей гр. Толстой, именно за это, независимо отъ другихъ ихъ свойствъ, хорошихъ или дурныхъ, явно не любитъ, презираетъ или смѣется надъ ними, и,

напротивъ, почтительно относится къ Кутузову, бездѣятельно присутствующему при событіяхъ, отнюдь не думая ими управлять или направлять ихъ. Смирить свой разумъ передъ ходомъ вещей, направляемыхъ могущественною внѣшнею силой,—такова задача.

Совсѣмъ она, однако, не такова въ большинствѣ статей гр. Толстого по народному образованію. Рядомъ съ разсужденіями о неприкосновенности условій, въ которыя „природа“ цѣлесообразно поставила крестьянскихъ ребятишекъ, можно найти взрывы негодованія противъ людей, полагающихъ, что не слѣдуетъ давать этимъ ребятишкамъ „чувства и понятія, которыя враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ“. Въ статьѣ „Прогрессъ и опредѣленіе образованія“ гр. Толстой самымъ рѣзкимъ образомъ противополагаетъ личное убѣжденіе и личную энергію роковымъ силамъ „историческихъ условій“, „среды“, „потребностей времени“. Онъ говоритъ: мое личное убѣжденіе, моя личная энергія, мое желаніе направить событія въ ту или другую сторону,—все это тоже продукты историческихъ условій, но цѣнны они для меня не поэтому, а потому, что они мои, кровные, и отказаться отъ нихъ я не могу и не хочу. Приведенный ходомъ своей аргументаціи къ анализу европейской цивилизаціи, выработанной вѣками и вѣками, онъ уже не говоритъ о цѣлесообразности, разумности, неприкосновенности хода вещей. Напротивъ, онъ рѣзко отрицаетъ разумность стихійнаго теченія исторіи и приглашаетъ насъ, русскихъ, *во имя разума и совѣсти*, такъ направить свою жизнь и дѣятельность, чтобы избѣжать темныхъ пятенъ европейской исторіи. Я подчеркиваю слова: *во имя разума и совѣсти*, потому что отрицаніе европейскаго строя жизни практиковалось у насъ и съ точки зрѣнія нашихъ, русскихъ или славянскихъ, или византійскихъ преданій, къ которымъ гр. Толстой никогда не апеллировалъ.

Итакъ, шуйца гр. Толстого воспрещаетъ человѣку, личности, вмѣшиваться въ ходъ вещей, управляемый постороннею внѣшнею силой. Этотъ ходъ вещей неприкосновененъ и для критической мысли, которая можетъ лишь констатировать „цѣлесообразность“, „разумность“ всего совершающагося, и для практическаго воздѣйствія. Десница же графа подвергаетъ смѣлому анализу тысячелѣтній ходъ цивилизаціи и настаиваетъ на активномъ вмѣшательствѣ въ цѣпь событій. Какъ уже сказано, я не

могъ знать, что гр. Толстой мѣняетъ свои интересы и свои взгляды съ тою быстротой и рѣзкостью, какія явствуютъ изъ его переписки съ г. Фетомъ. Я видѣлъ только одну шуйцу и одну десницу и искалъ объясненія только этимъ періодическимъ приливамъ и отливамъ энергіи и смѣлости мысли.

Анализъ европейской цивилизаціи, сдѣланный гр. Толстымъ, далеко не исчерпываетъ предмета и далеко не новъ,—онъ давно сдѣланъ въ самой Европѣ, хотя графъ уже и тогда не имѣлъ привычки указывать своихъ предшественниковъ и предпочиталъ самолично открывать Америку. Но многія изъ его замѣчаній очень мѣтки, смѣло и оригинально выражены и получаютъ еще особенное значеніе въ виду его собственной личности. Гр. Толстой—богатый, родовитый, образованный, высокоталантливый человѣкъ, имѣющій возможность пользоваться всѣми благами цивилизаціи. Всѣ пути передъ нимъ открыты; ему съ ранней молодости доступна вся чаша наслажденій, начиная съ низшихъ, покупаемыхъ за деньги, и кончая высшими, даваемыми процессомъ критической мысли и творчества, со включеніемъ всего, что такъ или иначе тѣшитъ самолюбіе. Казалось бы, пей, ѣшь и веселись, при чемъ вовсе нѣтъ надобности понимать эту формулу въ грубомъ смыслѣ: веселіе можетъ быть разное. Но гр. Толстой—избранная натура. Въ числѣ даровъ, которыми онъ осыпанъ судьбой отъ рожденія, есть предательскіе, способные отравить все остальное. Это—чуткая совѣсть и пытливый умъ, столь же склонный къ анализу движеній собственной души, какъ и къ обобщеніямъ. Судя по его собственнымъ, прямымъ и косвеннымъ показаніямъ и по другимъ свѣдѣніямъ, графъ не отказывался пить полными глотками изъ предоставленной ему баловницей-судьбой чаши наслажденій. Но уже очень рано ощутилъ онъ въ этомъ напиткѣ горечь какой-то отравы. Всякая богатоодаренная натура жадно ищетъ счастія или, по крайней мѣрѣ, въ ней эта жадность ярче обрисовывается, чѣмъ въ другихъ: ее разжигаетъ успѣхъ, ей доступнѣе рискъ, въ ней просятся наружу крупныя силы. Но счастье счастью рознь, и соединеніе чуткой совѣсти съ пытливымъ умомъ дѣлаетъ человѣка очень разборчивымъ въ вопросѣ о счастіи,—все не то и не то, все не удовлетворятъ либо ума, либо сердца, либо того и другого. Совершенно явственные слѣды этой скептической работы есть въ произведеніяхъ гр. Толстого, написанныхъ *сорокъ* лѣтъ тому на-

задъ, напримѣръ, въ повѣсти „Казаки“. Герою этой повѣсти, Оленину, 23—24 года, ровно столько же, сколько было тогда автору. Авторъ служилъ тогда юнкеромъ и жилъ въ казачьей станицѣ на Терекѣ; Оленинъ тоже юнкеръ и тоже жилъ въ казачьей станицѣ на Терекѣ. Оленинъ „жилъ всегда своеобразно и имѣлъ безсознательное отвращеніе къ битымъ дорожкамъ“,—та же черта всякому бросается въ глаза въ гр. Толстомъ. Было бы, конечно, очень рискованно идти дальше по пути сближеній біографическаго характера. Да это и не нужно. Съ насъ довольно того, что гр. Толстой въ 23—24 года понималъ и принималъ близко къ сердцу душевныя волненія Оленина и вложилъ въ него кое-что такое, что впослѣдствіи излагалъ уже прямо отъ себя въ своихъ теоретическихъ статьяхъ.

Оленинъ позналъ пустоту, ничтожество, плоскость обычнаго времяпровожденія богатаго, свѣтскаго молодого человѣка, онъ не нашелъ счастія ни въ кутежахъ и цыганкахъ, ни въ блестящей праздности, ни въ любви и ѣдетъ на Кавказъ. Тамъ онъ находитъ нѣкоторое успокоеніе въ общеніи съ природой и простыми, грубыми людьми. Затѣмъ онъ „дошелъ до того, что написано въ азбукѣ. Для того, чтобы быть счастливымъ, надо одно—любить, и любить съ самоотверженіемъ, любить всѣхъ и все, раскидывать на всѣ стороны паутину любви: кто попадется, того и брать“. Оленинъ и любитъ, и ищетъ случаевъ совершать подвиги самоотверженія, и даже, въ мѣру своего роста, совершаетъ ихъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ замѣчаетъ, что онъ совершенно чужой окружающимъ его людямъ, что ему, изломанному и исковерканному предыдущею жизнью, не сойтись съ этими грубыми, простыми, но цѣльными дѣтьми природы. Онъ, вскормленный цивилизаціей, готовъ даже завидовать полнотѣ и простотѣ ихъ жизни, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ему претитъ ихъ грубость. Вдобавокъ, его охватываетъ страстная любовь къ полудикой красавицѣ-казачкѣ, и онъ рѣшаетъ, что „самоотверженіе—все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастія, спасеніе отъ зависти къ чужому счастію. Жить для другихъ, дѣлать добро... зачѣмъ? когда въ душѣ моей одна любовь къ себѣ и одно желаніе—любить ее (казачку) и жить съ нею ея жизнью“. Но и это желанное счастье не сбывается, благодаря обстоятельству, правда, случайному, но ясно свидѣтельствующему, что Оленинъ—чужакъ среди дѣтей природы...

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, за вычетомъ, конечно, романической исторіи, о которой и предполагать ничего не приходится, гр. Толстой самъ бѣгалъ по дорожкамъ, исхоженнымъ Олениннымъ; онъ самъ объ этомъ въ разныхъ своихъ произведеніяхъ разсказалъ. Въ статьяхъ по народному образованію и вопросамъ, къ нему прикосновеннымъ, мы имѣемъ осѣвшіе, такъ сказать, кристализованные результаты этого броженія. Но броженіе еще не совсѣмъ улеглось, а потому и результаты получаются колеблющіеся, противорѣчивые. Приведенный работой совѣсти и пытливаго ума къ убѣжденію въ несостоятельности той жизни, которую онъ велъ среди такъ называемаго „общества“ или „незанятыхъ классовъ“, гр. Толстой обращался къ нетронутому цивилизаціей народу. Прежде всего, онъ останавливается на самомъ фактѣ этой нетронутости. Мы гордимся своею наукой, своимъ искусствомъ, колоссальными богатствами, скопленными въ нашихъ городахъ, улучшенными путями сообщенія, разнообразными и поразительными открытіями и изобрѣтеніями въ области техники, но всѣ эти роскошные плоды цивилизаціи находятся въ пользованіи маленькой горсти, а народу отъ нихъ ни тепло, ни холодно. Мало того, скорѣе холодно, чѣмъ тепло, потому что цивилизація взращивается на счетъ народнаго труда, и чѣмъ пышнѣе ея цвѣты, тѣмъ больше, значитъ, они высосали соковъ изъ народа. Какъ же быть человѣку, сознавшему это страшное соціальное противорѣчіе и, по своимъ душевнымъ свойствамъ, не способному закрывать глаза передъ очевидностью, какъ бы ни была эта очевидность для него невыгодна или ужасна? А гр. Толстой въ этомъ отношеніи такъ смѣлъ и послѣдователенъ, что даже свою литературную дѣятельность, стяжавшую ему всемірную славу и доставившую ему, конечно, много наслажденія самымъ процессомъ своимъ, открыто призналъ „однимъ изъ видовъ искусной эксплуатаціи народа“. Какъ же быть? Одна изъ особенностей гр. Толстого состоитъ въ томъ, что онъ каждый нравственный вопросъ ставитъ и каждое сомнѣніе разрѣшаетъ для себя лично. Въ этомъ его сила и его слабость: сила, потому что за рѣшеніемъ немедленно слѣдуетъ практическое примѣненіе: слабость, потому что рѣшеніе оказывается слишкомъ спеціальнымъ, слишкомъ приноровленнымъ къ исключительнымъ обстоятельствамъ жизни гр. Толстого. Вышеупомянутый вопросъ графъ рѣшилъ такъ. Онъ, гр. Толстой, отпрыскъ „десяти не забитыхъ работой

поколѣній", пріобрѣлъ на счетъ народа извѣстныя знанія и дошелъ до извѣстныхъ идей, которыя считаетъ истинными и справедливыми. Онъ долженъ внести свѣтъ этихъ знаній и идей въ темную массу народа; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ долженъ урѣзать свои потребности, удовлетворяемыя, собственно говоря, на чужой счетъ. И вотъ гр. Толстой поселяется въ деревнѣ и со страстью отдается дѣлу народнаго образованія. Надо, однако, замѣтить, что къ урѣзанію потребностей, къ упрощенію жизни влекло гр. Толстого нѣчто кромѣ соображеній о томъ, что наслажденія „не занятыхъ классовъ" оплачиваются народомъ. Гр. Толстой очень рано усмотрѣлъ искусственность, пустоту, ничтожество этихъ наслажденій, совершенно независимо отъ того, кому и во что они обходятся. Онъ просто не нашелъ въ нихъ удовольствія, подобно герою „Казаковъ", и отрѣзалъ себя отъ нихъ. Казалось бы теперь, удалившись отъ дразнящихъ, но не удовлетворяющихъ соблазновъ и отдавшись дѣлу, окруженному ореоломъ истины и справедливости, графъ долженъ былъ успокоиться. И дѣйствительно, спокойствіемъ и увѣренностью вѣетъ отъ нѣкоторыхъ его статей по народному образованію, — спокойствіемъ и увѣренностью человѣка, выбравшагося изъ болота на сухое мѣсто,—онъ силенъ, бодръ, смѣло беретъ на себя отвѣтственность за свое дѣло. Но временами его посѣщаютъ новыя сомнѣнія и тревоги, разростающіяся до того, что руки безсильно опускаются и жизнь не красна становится. Дѣло въ томъ, что отрѣзать-то себя отъ прошлаго онъ отрѣзалъ, да не совсѣмъ. Жилъ онъ все-таки какъ подобаетъ помѣщику, а, кромѣ того, какъ мы знаемъ, его тянуло и къ греческому языку, и къ Шопенгауэру, и къ разнымъ другимъ вещамъ, отвлекавшимъ его отъ дѣла, признаваемаго имъ обязательнымъ. Да если-бы мы даже этого и не знали, то одной „Анны Карениной" достаточно, чтобы понять, какая смута должна была происходить въ душѣ гр. Толстого въ то время. Такую большую художественную вещь, какъ „Анна Каренина", надо вѣдь выносить, надо долго держать въ умѣ и сердцѣ своемъ всѣхъ этихъ центавровъ-Вронскихъ, сухарей-Карениныхъ, беззаботныхъ Облонскихъ со всѣми ихъ радостями, горестями, приключеніями, затрудненіями. А это свидѣтельствуетъ, что гр. Толстой далеко не отрѣзалъ себя отъ своего прошлаго. И графъ, съ своею чуткою совѣстью и пытливымъ умомъ, самъ сознавалъ это. Поэтому-то въ исторію Анны Карениной и вплелась другая,

совершенно самостоятельная и насильственно вставленная въ ту же рамку исторія Константина Левина. Поэтому то Константинъ Левинъ такъ хочетъ и такъ не можетъ жить общею съ народомъ жизнью. Левинъ—тотъ же Оленинъ, а „Анна Каренина“ написана слишкомъ двадцать лѣтъ послѣ „Казаковъ“, и, значитъ, гр. Толстой черезъ двадцать слишкомъ лѣтъ вернулся къ своей исходной точкѣ.

Между прочимъ, и Оленинъ, и Левинъ завидуютъ той грубой, невѣжественной средѣ, къ которой они, по такимъ или другимъ причинамъ или побужденіямъ, подошли; а гр. Толстой, въ своихъ статьяхъ по народному образованію, комментируетъ и мотивируетъ эту зависть. Завидуютъ они всѣ трое, конечно, не грубости и невѣжеству мужика или терскаго казака, а отсутствію той раздвоенности, которая ихъ самихъ, какъ червь, точитъ, отсутствію душевной сумятицы. Они, отпрыски „десяти не забитыхъ работой поколѣній“, мятутся духомъ и никакъ не могутъ вполнѣ оторваться отъ того, что признали грѣхомъ или, по крайней мѣрѣ, ничтожнѣйшими пустяками, а мужикъ на какихъ-то нелѣпыхъ устояхъ стоитъ—не колышется. Да полно, нелѣпы-ли эти устои? Не выше-ли они тѣхъ, на которыхъ стоимъ мы, гордые своею цивилизаціею? Да, выше. Мужикъ не развращенъ тою червоточиной, которою страдаютъ Оленины, Левины, гр. Толстые. Мужикъ, никогда никакими привилегіями не пользовавшійся, никогда на чужой счетъ не жившій, можетъ правильнѣе смотрѣть на вещи, чѣмъ тѣ, кто, подобно Оленину, провелъ свою молодость въ веселой праздности. Да и вообще „въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ, профессоровъ и лордовъ“. Я уже приводилъ эти подлинныя слова гр. Толстого. Но подлинныя-же его слова говорятъ объ обязанностяхъ передъ народомъ людей, имѣющихъ за плечами „десять не забитыхъ работой поколѣній“. Какія-же это могутъ быть обязанности? Что, кромѣ вреда, могутъ эти люди принести своимъ вмѣшательствомъ въ народную жизнь? Для характеристики этого скептицизма гр. Толстого достаточно припомнить заглавіе одной изъ статей четвертаго тома: *Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ?* Въ минуту такихъ сомнѣній у гр. Толстого опускаются руки, онъ робѣетъ, отказывается проводить въ народъ то, что считаетъ истиннымъ и

справедливымъ; въ утѣшеніе себѣ, онъ прибѣгаетъ къ вѣрѣ въ какое-то внѣ насъ лежащее могущественное, цѣлесообразное и разумное начало, которое помимо нашего вмѣшательства и вопреки ему приведетъ все къ наилучшему, а если не къ наилучшему, то, во-всякомъ случаѣ, предопредѣленному концу.

Таковы приливы и отливы энергіи воли и смѣлости мысли въ гр. Толстомъ; таковы его десница и шуйца, два сидящихъ въ немъ разныхъ человѣка. Но такъ какъ эти разные люди заключены въ одну оболочку и переплетены между собою множествомъ тонкихъ, чувствительныхъ нитей, то въ душѣ гр. Толстого должна была происходить страшная драма. Быть можетъ, она именно была причиной того мрачнаго настроенія, доходившаго до помысловъ о самоубійствѣ, о которомъ вскользь вспоминаетъ графъ въ „Исповѣди“. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ его только какъ писателя. Художникъ онъ первоклассный, міровой, при томъ, матеріально вполнѣ обезпеченный, а потому творитъ исключительно по внутреннему побужденію, когда не можетъ не творить, и именно того, что неотвязно рисуется передъ его воображеніемъ. И этотъ великій и свободный художникъ, вынашивая Анну Каренину и предавая ее тисненію, отравленъ ядовитою мыслью, что это только одинъ изъ видовъ „искусной эксплуатаціи народа“; а онъ любитъ народъ, и не только не желаетъ его эксплуатировать, но признаетъ свой долгъ ему. Вмѣстѣ съ тѣмъ, авторъ „Войны и мира“ приходитъ къ такому заключенію: „*Страшно сказать*, я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по музыкѣ и поэзіи, все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ требованіями и даже произведеніями тѣхъ искусствъ, образчики которыхъ мы находимъ въ народѣ“...

Въ подробности входить теперь не буду. Но и сказаннаго довольно, чтобы читатель понялъ тотъ глубокій интересъ, съ которымъ я присматривался къ проявленіямъ драмы, совершавшейся въ гр. Толстомъ. Эти колебанія, эти противорѣчія сами по себѣ, конечно, нежелательны, потому что и самому графу должны были дорого стоить, и читателей сбивали съ толку. Но въ нихъ отражалось біеніе пульса такой искренней и сильной жизни, что они вызвали невольную симпатію. Поэтому, независимо даже отъ той, весьма значительной доли истины, которая заключается въ педагогическихъ статьяхъ гр. Толстого, я съ глубочайшимъ по-

чтеніемъ относился къ этой удрученной противорѣчіями, но искренно и смѣло ищущей свѣта личности. Мнѣ особенно пріятно вспомнить это теперь, когда необузданно-благонамѣренные публицисты дошли до открытыхъ доносовъ на гр. Толстого и до наименованія его прямо-таки „антихристомъ“... О! эти столь-же ничтожные, сколько и злобные анонимы и псевдонимы непремѣнно хотятъ попасть на страницы исторіи. И попадутъ... Къ счастію, въ настоящемъ-то они уже черезъ край хватаютъ, и мы можемъ продолжать разговоръ о гр. Толстомъ, какъ будто и не было этихъ людей и какъ будто ихъ глупыя и злобныя слова никогда не позорили печатнаго станка. Пусть тамъ исторія отмѣчаетъ ихъ, какъ знаетъ, по заслугамъ ихъ, а мы, по крайней мѣрѣ, въ данномъ случаѣ, по отношенію къ гр. Толстому, можемъ, кажется, спокойно презирать этотъ кимвалъ бряцающій.

Въ 1881 году гр. Толстой сдѣлалъ новую честь „Отечественнымъ Записками“, еще разъ предложивъ свое сотрудничество. У меня нѣтъ письма графа, въ которомъ онъ дѣлалъ намъ это лестное предложеніе; но вотъ что, въ своемъ обыкновенномъ, шутливо-ворчливомъ тонѣ писалъ по этому поводу Салтыковъ Елисееву, бывшему тогда за границей: „Я получилъ отъ Льва Толстого диковинное письмо. Пишетъ, что онъ до сихъ поръ пренебрегалъ чтеніемъ русской литературы, и вдругъ, дескать, открылъ цѣлую *новую* литературу, превосходную и искреннюю — въ „Отечественныхъ Запискахъ“! И это такъ его поразило, что онъ отнынѣ намѣренъ писать и печатать въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Я, разумѣется, отвѣтилъ, что очень счастливъ, и журналъ счастливъ, и сотрудники счастливы, что будемъ ждать съ нетерпѣніемъ, а условія предоставляемъ опредѣлить ему самому. Но покуда еще отвѣта отъ него нѣтъ“. Сколько я помню, отвѣта такъ и не послѣдовало. Въ 1882 г. мнѣ нужно было быть въ Москвѣ, и Салтыковъ просилъ меня заѣхать къ гр. Толстому и напомнить ему его собственное предложеніе. Тогда въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ ходили слухи о какой-то повѣсти, которую гр. Толстой уже написалъ или пишетъ. Это былъ, вѣроятно, „Холстомѣръ“, а можетъ быть „Смерть Ивана Ильича“. Я былъ очень радъ случаю явиться къ гр. Толстому съ дѣломъ, а не просто съ желаніемъ познакомиться.

Графъ жилъ тогда еще не въ собственномъ домѣ въ Хамов-

никахъ, а гдѣ-то на Арбатѣ, равнымъ образомъ и сапоговъ еще не шилъ, и „Исповѣди“ не писалъ. Это не мѣшало ему производить впечатлѣніе простого, искренняго человѣка, не смотря на свѣтскій лоскъ. Какъ ни страннымъ можетъ показаться это послѣднее выраженіе по отношенію къ гр. Толстому, но оно вполнѣ умѣстно. Настоящая свѣтскость состоитъ вѣдь не въ перчаткахъ и не во французскомъ языкѣ. Свѣтскій человѣкъ сказался, прежде всего, въ томъ непринужденномъ и увѣренномъ спокойствіи, съ которымъ графъ отклонилъ дѣловую часть нашего разговора. Когда я ему сказалъ, что такъ, молъ, и такъ, слышали мы, что вы повѣсть написали или пишете, такъ не дадите ли ее намъ,—онъ отвѣтилъ: „О, нѣтъ! у меня ничего нѣтъ, это просто Н. Н. Страховъ нашелъ въ моихъ старыхъ бумагахъ разсказъ и заставилъ его отдѣлать и кончить, — ему уже дано назначеніе“. И затѣмъ графъ легко и свободно перешелъ къ разговору объ „Отечественныхъ Запискахъ“, сказалъ много пріятныхъ для насъ вещей, ни однимъ словомъ, однако, не упоминая о своемъ предложеніи и тѣмъ какъ бы приглашая и меня не говорить о немъ. Я, разумѣется, послѣдовалъ этому невыраженному приглашенію. Такъ для меня и до сихъ поръ остаются невыясненными какъ мотивы вышеупомянутаго письма гр. Толстого къ Салтыкову, такъ и мотивы его уклоненія отъ исполненія собственнаго обѣщанія или предложенія. Повидимому, и то, и другое сдѣлалось просто *вдругъ*, какъ многое у гр. Толстого. Въ этотъ разъ мы бесѣдовали съ графомъ о литературѣ и о кое-какихъ житейскихъ дѣлахъ, между прочимъ, объ одномъ приватномъ, но имѣвшемъ общественное значеніе, въ высокой степени симпатичномъ поступкѣ графа въ тотъ страшный 1881 г. Я былъ радъ выслушать разсказъ объ этомъ дѣлѣ отъ самого графа и еще болѣе радъ былъ тому, что разсказъ этотъ, своею простотою и задушевностью, вполнѣ соотвѣтствовалъ тому представленію о гр. Толстомъ, которое я себѣ заочно составилъ.

Тогда мнѣ довольно часто случалось бывать въ Москвѣ, и я всякій разъ доставлялъ себѣ удовольствіе заѣзжать къ гр. Толстому. Это былъ одинъ изъ пріятнѣйшихъ собесѣдниковъ, какихъ я когда-либо встрѣчалъ. Намъ случалось много и горячо спорить, и какъ теперь слышу голосъ графа: „Ну, мы начинаемъ горячиться, это нехорошо, давайте выкуримъ по папиросѣ, отдохнемъ“. Мы закуривали папиросы, и это, конечно, не прекра-

щало спора, но, дѣйствительно, самымъ фактомъ пріостановки на нѣсколько секундъ придавало ему спокойный характеръ. Читатель видитъ, какъ все это давно было. Теперь гр. Толстой не только бросилъ курить, но и разъяснилъ своимъ многочисленнымъ читателямъ, зачѣмъ и почему онъ когда-то курилъ. Если руководствоваться теперешними взглядами графа, то онъ предлагалъ мнѣ (и, конечно, многимъ другимъ) закурить папиросы среди спора потому, что „живой критикъ внутри его, не отуманенный табачнымъ дымомъ", упрекалъ его въ нелогичности, несостоятельности аргументаціи; а заглушивъ „совѣсть" табакомъ, графъ могъ уже „относиться слегка къ выраженіямъ". Это было-бы косвеннымъ доказательствомъ моей правоты въ спорѣ, но, увы! я охотно слѣдовалъ приглашенію графа, и, значитъ, тоже дурманилъ свою совѣсть. Во всякомъ случаѣ, у меня осталось чрезвычайно пріятное воспоминаніе объ этихъ якобы антрактахъ спора, и если не курить безспорно лучше, чѣмъ курить, то, по крайней мѣрѣ, курящимъ я смѣло рекомендую старый, но, кажется, не опубликованный еще рецептъ гр. Толстого, на случай слишкомъ горячихъ споровъ.

Однажды я обѣдалъ у графа, и послѣ обѣда мы пошли наверхъ, въ небольшую, просто убранную или, вѣрнѣе, всякаго убранства лишенную собственную комнату графа (это было уже въ его домѣ въ Хамовникахъ). Мы пили чай и бесѣдовали. Явился лакей и доложилъ, что пришелъ какой-то Тимоѳей или Матвѣй,— не помню имени. Графъ велѣлъ сказать этому Тимоѳею, что сегодня, ради пріѣзжаго гостя, онъ заниматься не будетъ. На мое замѣчаніе, что я не хочу мѣшать, графъ отвѣтилъ, что этотъ Тимоѳей обучаетъ его сапожному мастерству, что никакой бѣды отъ пропуска одного урока не будетъ, и просилъ меня остаться. Я уже раньше слышалъ, что графъ Толстой учится шить сапоги, и нисколько не былъ удивленъ этимъ. Мнѣ случалось знавать людей своего круга, которые, ради здоровья или въ виду возможныхъ черныхъ дней, занимались какимъ-нибудь мастерствомъ. Такъ, Шелгуновъ, напримѣръ, былъ очень недурнымъ столяромъ. Не остановила на себѣ моего вниманія и блуза гр. Толстого, — я и самъ такія нашивалъ и на многихъ другихъ видывалъ. Съ моей точки зрѣнія все это было настолько обыкновенно, что доходившіе до меня слухи о какой-то эксцентричности, въ которую начинаетъ впадать графъ, я просто мимо ушей пропускалъ. Что же, въ самомъ дѣлѣ, особеннаго въ томъ, что человѣкъ захотѣлъ,

выучиться сапожному мастерству и находитъ рабочую блузу, подпоясанную ремнемъ, костюмомъ болѣе удобнымъ, чѣмъ пиджакъ или сюртукъ? И хвалить тутъ не за что, и укорять не въ чемъ, да просто дѣло разговора не стоющее; эти маленькія черточки сами по себѣ даже вовсе не подчеркивали извѣстныхъ мнѣ демократическихъ идей гр. Толстого; не станетъ же серьезный человѣкъ собственно изъ демократизма носить блузу, это—была-бы слишкомъ дешевая вывѣска. Въ числѣ близкихъ мнѣ людей былъ такой, напримѣръ, прирожденный и безповоротно убѣжденный демократъ, какъ Елисеевъ, который, однако, ни блузы, ни рубахи на выпускъ не носилъ. Ну, а гр. Толстой носитъ и сапоги шьетъ. Его дѣло. Однако, мало по-малу я убѣдился, что если эти маленькія черточки и не знаменуютъ чего-нибудь особеннаго, какого-нибудь серьезнаго и глубокаго поворота въ гр. Толстомъ, то, во всякомъ случаѣ, съ нимъ совпадаютъ. Не помню уже, въ какомъ хронологическомъ порядкѣ шли разныя газетныя свѣдѣнія о графѣ, его „Исповѣдь“, его торжественный, нѣсколько театральный отказъ отъ обязанности присяжнаго засѣдателя, нѣкоторыя статьи его и мои собственныи наблюденія. Знаю только, что я постепенно пересталъ понимать гр. Толстого, и необыкновенно привлекательный образъ человѣка, разрываемаго внутреннимъ противорѣчіемъ, но искренно и смѣло ищущаго свѣта, поблекъ.

По понятнымъ причинамъ я не стану приводить всѣхъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“ личнаго характера, которыя заслонили для меня стараго, любимаго гр. Толстого. Припомню лишь одинъ вечеръ, проведенный у графа. Кромѣ меня, у него былъ еще молодой человѣкъ (назову его Z), котораго я видѣлъ въ первый разъ, но который явственно состоялъ къ графу въ отношеніяхъ ученика къ учителю. Разговоръ зашелъ о непротивленіи злу; гр. Толстой и Z высказывали надежды, въ ближайшемъ будущемъ достижимыя приложеніемъ этой теоріи къ практикѣ, — надежды, показавшіяся мнѣ, признаюсь, просто ребяческими. Предлагался именно до поразительности простой рецептъ для прекращенія войнъ, а надежды возлагались на тотъ принципъ, по которому будто-бы и Москва отъ копѣечной свѣчки загорѣлась. Но дебатировались и основанія теоріи.

— Простите, Левъ Николаевичъ — сказалъ я, между прочимъ,—если я задамъ вамъ вопросъ самый элементарный и для

васъ настолько ясный, что даже и отвѣчать смѣшно, но мнѣ, несвѣдущему, нельзя его обойти. Представьте себѣ, что я вижу, какъ большой, сильный человѣкъ бьетъ ребенка; какъ я долженъ поступить?

— Вы должны убѣдить его, что онъ дурно дѣлаетъ.

— Да; но если я истощилъ, наконецъ, всѣ средства убѣжденія, могу я взять драчуна за шиворотъ и оттащить его?

Графъ снисходительно улыбнулся.

— Конечно, нѣтъ,—сказалъ онъ.—Когда тотъ человѣкъ билъ ребенка, онъ дѣлалъ зло, а когда вы его самого прибьете, вы сдѣлаете второе зло. Это ариѳметика!

— Не ариѳметика, а удовлетвореніе нравственнаго чувства, да и драчунъ въ другой разъ поостережется.

Графъ возражалъ въ томъ смыслѣ, что все то огромное и широко развѣтвленное зло насилія, среди котораго мы живемъ, началось именно съ попытки якобы защищать слабаго,—попытки, въ сущности, лицемѣрной и имѣвшей въ виду совсѣмъ другія цѣли. Доводы графа были остроумны и оригинальны, но мнѣ казалось, что они отклоняютъ насъ отъ поставленнаго, дѣйствительно, можетъ быть, слишкомъ элементарнаго, но неизбѣжнаго вопроса. Я долженъ былъ согласиться, что, подъ предлогомъ защиты слабаго, насиліе принимаетъ иногда отвержденную форму, но, тѣмъ не менѣе, зло со зла и началось, то есть съ обиды слабаго сильнымъ. Вмѣшался Z съ аргументомъ, настолько неожиданнымъ и оригинальнымъ, что я его запишу, хотя гр. Толстой, конечно, не отвѣтственъ за аргументацію своихъ учениковъ.

— Допускаете ли вы, — обратился ко мнѣ Z, — что въ женщинахъ, вообще говоря, больше, чѣмъ въ насъ, мужчинахъ, сохранилось чувство справедливости?

— Нѣтъ, не допускаю, и не знаю, чѣмъ бы вы могли это доказать.

— Мы, мужчины, изъ поколѣнія въ поколѣніе воюемъ, разными гешефтами занимаемся, кутимъ, развратничаемъ, а женщины стоятъ въ сторонѣ отъ всего этого...

— Я думаю, что косвеннымъ образомъ, а иногда и прямымъ, женщины принимаютъ во всемъ этомъ большое участіе, а если разсуждать по вашему, такъ вѣдь онѣ, въ такомъ случаѣ, не принимаютъ участія въ тѣхъ добрыхъ дѣлахъ, которыя муж-

чины иногда все-таки совершаютъ. Женщины вообще въ сторонѣ отъ общественной жизни стоятъ, и многія изъ нихъ, какъ вамъ извѣстно, тяготятся этимъ. Но все равно, допустимъ, что вы правы; что вы этимъ хотите сказать?

— А вотъ что. Представьте себѣ, что двое мужчинъ, положимъ, мы съ вами, добиваемся благосклонности одной и той же женщины, а она колеблется въ выборѣ между нами. Я держусь въ жизни теоріи непротивленія злу, а вы — обыкновеннаго мірского ученія. Между нами естественно происходятъ недоразумѣнія, непріятности, споры, и вы, наконецъ, наносите мнѣ въ присутствіи этой любимой женщины оскорбленіе, то, что считается у насъ величайшимъ оскорбленіемъ,—пощечину, а я молча переношу это и удаляюсь. Какъ вы думаете, на чьей сторонѣ будетъ женщина? Кому изъ насъ отдастъ предпочтеніе?

Я не могъ не засмѣяться отъ неожиданности этого вопроса и сказалъ, что затрудняюсь отвѣтить: вообще-то говоря, думаю, что на моей, но тутъ можетъ быть столько осложненій... Здѣсь вмѣшался гр. Толстой, которому, видимо, была не по нутру странная иллюстрація ученика, и направилъ разговоръ въ другую сторону.

Z скоро ушелъ, а мы продолжали бесѣдовать о непротивленіи злу. Гр. Толстой кончилъ разговоръ слѣдующимъ разсказомъ: „Знаете что,—сказалъ онъ, добродушно улыбаясь,—мы вотъ споримъ, споримъ, а въ жизни-то все иногда само собою очень просто разрѣшается. Шелъ я какъ то по улицѣ и вижу—ѣдетъ мужикъ въ розвальняхъ, а сзади мальчишка хотѣлъ вскочить въ розвальни, да и застрялъ одною ногой въ веревочномъ переплетѣ: мальчишка скачетъ на одной ногѣ, поспѣвая за лошадью, а мужикъ его возжами хлещетъ. Пока я, знаете, раздумывалъ, что мнѣ дѣлать, а мальчишка-то высвободилъ ногу и убѣжалъ. Тѣмъ и дѣло кончилось“.

Тѣмъ и разговоръ нашъ кончился. Я узналъ ту давно уже знакомую мнѣ, но непомѣрно разростуюся шуйцу гр. Толстого, которая робко отказывается отъ вмѣшательства въ ходъ вещей, полагая, что онъ самъ собой, помимо насъ, приведетъ все къ наилучшему концу. Но дѣло здѣсь не въ одной робости, оправдываемой опасеніемъ, какъ бы еще не напортить дѣла своимъ вмѣшательствомъ, а и въ нѣкоторой безучастности. Я понимаю, что можно растеряться при видѣ сцены, разсказанной графомъ,

не сразу найтись и невольно дождаться, чтобы дѣло само собой кончилось. Но совсѣмъ другое дѣло успокоиться на этомъ теоретически и придать этому случаю какъ бы руководящее значеніе.

Я не буду припоминать разнообразныя художественныя (сказки) и теоретическія произведенія гр. Толстого, въ которыхъ явственно сквозитъ эта граничащая съ безучастностью робость, изрѣдка, впрочемъ, перемежающаяся приливомъ энергіи, смѣлости мысли и настоящей, а не словесной только любви къ ближнему. Я лучше остановлюсь на томъ, чего прежде не замѣчалъ, да отчасти и знать не могъ.

Ни для кого не новость, что, даже помимо писемъ гр. Толстого, опубликованныхъ г. Фетомъ, въ самыхъ сочиненіяхъ его можно найти цѣлую коллекцію рѣзко противорѣчивыхъ взглядовъ на вещи и идеи. Приглядываясь ко всей ихъ совокупности, я уже не могу свести ихъ, какъ въ старые годы, къ той внутренней борьбѣ между десницей и шуйцей, о которой шла сейчасъ рѣчь. Да и вообще нельзя свести къ одному знаменателю эти, собственно говоря, даже не противорѣчія, а постоянныя самоотрицанія. При такой скачкообразной выработкѣ идей не былобы ничего удивительнаго въ томъ, что гр. Толстому приходится часто каяться въ прошлыхъ заблужденіяхъ или вообще въ отклоненіяхъ отъ истиннаго пути. Но въ этихъ покаяніяхъ много странностей. Такъ, напримѣръ, въ статьѣ „Такъ что же намъ дѣлать“, относящейся къ 1884—85 годамъ, графъ говоритъ: „Я понялъ, что человѣкъ, кромѣ жизни для своего личнаго блага, неизбѣжно долженъ служить и благу другихъ людей... что человѣкъ, не говоря уже о вложенной въ него любви къ ближнему, и разумомъ, и самою природою своей призванъ къ служенію другимъ людямъ и общей человѣческой цѣли. Я понялъ, что это естественный законъ человѣка, тотъ, при которомъ только онъ можетъ исполнить свое назначеніе и быть счастливъ. Я понялъ, что законъ этотъ нарушался и нарушается тѣмъ, что люди освобождаютъ себя отъ труда и пользуются трудомъ другихъ, направляя этотъ трудъ не къ общей цѣли, а къ личному удовлетворенію разростающихся похотей“. Всѣ эти „я понялъ“ относятся къ моменту, тогда, въ 1884 г., только что пережитому гр. Толстымъ (послѣ московской переписи). Между тѣмъ, онъ все это понималъ (и даже называлъ „азбукой“) частью уже въ „Казакахъ“, то-есть за тридцать лѣтъ до московской переписи

1882 - 83 г., частью въ тѣ болѣе позднія, но все-таки отдаленныя времена, когда жилъ въ деревнѣ, училъ крестьянскихъ ребятъ и писалъ свои педагогическія статьи. Зачѣмъ же онъ самъ у себя отнималъ три десятка лѣтъ сознанія великой истины?

Можетъ быть, этими „я понялъ", „я не понималъ", „если-бы я не былъ гордъ своимъ знаніемъ" или „своею добродѣтелью" и т. п. гр. Толстой хочетъ сказать, что онъ теперь не просто усвоилъ себѣ извѣстныя нравственныя истины, какъ отвлеченную правду, но проникся ею до необходимости практическаго осуществленія. Онъ, дескать, напримѣръ, и прежде теоретически понималъ обязательность служенія другимъ людямъ и общей человѣческой цѣли, но на практикѣ постоянно отходилъ отъ этого пути, а теперь утвердился на немъ. Онъ и прежде понималъ значеніе физическаго труда и даже, будучи еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, „юфанствовалъ", но тогда это былъ диллетантизмъ, перемежаемый разными другими занятіями, а теперь онъ уже серьезно и настояще землю пашетъ. Я не думаю, чтобы всѣ самообвиненія гр. Толстого покрывались этимъ объясненіемъ, но возьмемъ его, за неимѣніемъ другихъ. Да оно и въ самомъ дѣлѣ въ значительной степени вѣрно. Гр. Толстой и до сихъ поръ рѣзко мѣняетъ свои рѣшенія по нѣкоторымъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ жизни, какъ, напримѣръ, по вопросу о семьѣ и на значеніи женщины. Но внутренней раздвоенности между десницей и шуйцей теперь, повидимому, уже нѣтъ; графъ идетъ твердою и рѣшительною походкой и отъ другихъ того-же требуетъ. Онъ говоритъ: „Меня всегда удивляютъ часто повторяемыя слова: да, это такъ по теоріи, но на практикѣ-то какъ? Точно какъ будто теорія—это какія-то хорошія слова, нужныя для разговора, но не для того, чтобы вся практика, то-есть вся дѣятельность, неизбѣжно основывалась на ней. Должно быть, было на свѣтѣ много глупыхъ теорій, если вошло въ употребленіе такое удивительное разсужденіе. Теорія вѣдь это то, что человѣкъ думаетъ о предметѣ, а практика это то, что дѣлаетъ. Какъ же можетъ быть, чтобы человѣкъ думалъ, что надо дѣлать такъ, а дѣлалъ-бы навыворотъ? (XII, 344).

Увы! это бываетъ, однако. И причинъ этому надо искать, кажется, не въ существованіи „глупыхъ теорій", хотя ихъ, дѣйствительно, много гуляетъ по бѣлому свѣту. Причины—въ слабости человѣка и въ трудности житейскихъ обстоятельствъ. Въ

семидесятыхъ годахъ, по собственной теоріи гр. Толстого, которую онъ, конечно, не можетъ считать глупою, онъ не долженъ былъ писать „Анну Каренину“, и, однако, онъ написалъ. И даже слабость, вслѣдствіе которой происходитъ отступленіе практики отъ теоріи, не всегда ужъ заслуживаетъ рѣзкаго порицанія. Или, по крайней мѣрѣ, едва-ли много найдется между нами людей, которые имѣли бы право швырять во всѣ стороны камни осужденія собственно за неполное согласованіе практики съ теоріей. Гр. Толстой слишкомъ ужъ строгъ въ этомъ отношеніи. Ему, наприм., „очень удивительно то оправданіе, которое часто слышишь отъ родителей: „мнѣ ничего не нужно,—говоритъ родитель,—мнѣ жизнь эта тяжела, но, любя дѣтей, я дѣлаю это для нихъ“. То есть я несомнѣнно, опытомъ знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому... я воспитываю дѣтей такъ, чтобъ они были такъ же несчастливы, какъ и я. И для этого я, по своей любви къ нимъ, привожу ихъ въ городъ, полный физическихъ и нравственныхъ заразъ, отдаю ихъ въ руки чужихъ людей, имѣющихъ въ воспитаніи одну корыстную цѣль, и физически, и умственно, и нравственно старательно порчу своихъ дѣтей. И это-то разсужденіе должно служить оправданіемъ неразумной жизни самихъ родителей“ (XII, 327).

Гр. Толстой не признаетъ этого оправданія,—ни семейныя, никакія другія соображенія не должны становиться между нашею теоріей и нашею практикой; никакого снисхожденія къ слабости, никакого вниманія къ сложной житейской обстановкѣ. Это строго. Конечно, не мало есть людей, не по совѣсти ссылающихся на жену или дѣтей, ради которыхъ они будто только и не соглашаютъ свою практику съ своей теоріей, и именно даже въ тѣхъ выраженіяхъ, которыя приводитъ графъ: „самому мнѣ ничего не нужно, а это жена, дѣти“. Но вѣдь есть же и правдивые люди. При томъ же, приведенное разсужденіе относится только къ тѣмъ, кто можетъ „привозить дѣтей въ городъ“, а вѣдь есть и такіе, для которыхъ выбора нѣтъ, которымъ не на что привозить дѣтей въ городъ, а просто податься изъ города некуда. Они могутъ отлично понимать разсказы гр. Толстого о прелестяхъ деревенскаго воздуха, о здоровомъ трудѣ въ лѣсу и въ полѣ, но это для нихъ теорія, а практика приковываетъ ихъ къ душному смрадному городу, и ихъ, и дѣтей ихъ. И у меня не хватило бы мужества осудить ихъ за этотъ разладъ между теоріей и практикой.

Мало того, легко представить себѣ обстоятельства, при которыхъ такой разладъ нравственно обязателенъ.

Если откинуть въ полемикѣ г. Мечникова съ гр. Толстымъ нѣкоторыя, въ сущности, второстепенныя подробности, то можно бы было подумать, что мы присутствуемъ при спорѣ двухъ гигіенистовъ. Гр. Толстой развиваетъ свою извѣстную теорію четырехъ „упряжекъ“ или „запряжекъ“, то-есть раздѣленія дня на четыре рода занятій, требуемыхъ, по мнѣнію гр. Толстого, для здоровья и успѣшной дѣятельности. Г. Мечниковъ доказываетъ, что такое дѣленіе, въ тѣхъ же видахъ здоровья и успѣшной дѣятельности, совсѣмъ не нужно. Гр. Толстой иллюстрируетъ свои положенія, между прочимъ, такимъ примѣромъ: членъ одной знакомой ему общины, стоявшей выше другихъ по образованію, читалъ своимъ товарищамъ по вечерамъ лекціи и долженъ былъ днемъ къ нимъ готовиться въ то время, какъ товарищи работали въ полѣ. „Онъ дѣлалъ это съ радостью,—разсказываетъ гр. Толстой,—чувствуя, что онъ полезенъ для другихъ и дѣлаетъ дѣло хорошее. Но онъ усталъ отъ исключительно умственной работы и здоровье его стало хуже. Члены общины пожалѣли его и попросили идти работать въ поле“. Но и у г. Мечникова есть въ запасѣ примѣръ совершенно противоположнаго свойства. Онъ зналъ одного молодого русскаго ученаго, который еще въ шестидесятыхъ годахъ,—значитъ, задолго до проповѣди гр. Толстого,—устроилъ свою жизнь если не по „упряжкамъ“, то все таки съ соединеніемъ умственнаго и физическаго труда. Послѣдствія оказались очень печальными: „Не смотря на то, что уже вскорѣ стали сказываться очень чувствительныя неудобства отъ такого „соединенія труда“, тѣмъ не менѣе, молодой естествоиспытатель оставался вѣрнымъ принципу и крѣпился, сколько было силъ. Но однажды, глубокою осенью, онъ серьезно захворалъ и, находясь въ безпомощномъ состояніи, былъ перевезенъ друзьями въ ихъ квартиру и принятъ на ихъ доброе попеченіе. Съ тѣхъ поръ онъ уже не возвращался къ „естественному“ и „гармоническому“ образу жизни“.

Мнѣ думается что, независимо отъ подробностей, конечно, спорныхъ, гр. Толстой, какъ гигіенистъ, ближе къ правдѣ, чѣмъ г. Мечниковъ. Но кому бы изъ нихъ мы ни предоставили пальму

первенства, оба они, во всякомъ случаѣ, являются передъ нами въ роли гигіенистовъ, тогда какъ мы ожидали разговора на нравственно-политическія темы. Правда, г. Мечниковъ, какъ мы видѣли, говоритъ и объ общественныхъ идеалахъ. Но мы видѣли также, что на этомъ пунктѣ между нимъ и гр. Толстымъ, въ концѣ-концовъ, разногласія нѣтъ,—оба сошлись на пчелиномъ роѣ, какъ на идеалѣ общественныхъ отношеній. Полемизируютъ же они по вопросамъ гигіеническимъ. Правда, полемизируетъ собственно только г. Мечниковъ, потому что мы не знаемъ возраженій гр. Толстого. Но мы имѣемъ все-таки его подлинныя слова и видимъ, что значительная часть его нравственнаго ученія дѣйствительно сводится къ гигіенѣ или макробіотикѣ, артабіотикѣ и т. п. Поэтому-то г. Мечниковъ и счелъ себя вправѣ указать на островныхъ жуковъ, которыхъ употребленіе крыльевъ ведетъ къ гибели, а неупотребленіе—къ благополучному и продолжительному житію. Ясно, однако, что такая точка зрѣнія, можетъ быть, вполнѣ пригодная для установленія правилъ „раціональнаго“ поведенія, даже не затрогиваетъ правилъ поведенія „нравственнаго“. Нечего и говорить о г. Мечниковѣ. Самый выборъ судьбы островныхъ жуковъ, какъ иллюстраціи, и въ особенности освѣщеніе, даваемое почтеннымъ ученымъ этой иллюстраціи, уже свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ находится за тридевять земель отъ вопросовъ морали: жуки руководятся въ своихъ полетахъ не нравственными мотивами или, по крайней мѣрѣ, мы этихъ мотивовъ не знаемъ. А если бы они таковыми руководствовались, то смѣлость летающихъ жуковъ, безусловно неодобрительная съ точки зрѣнія макробіотики, еще подлежала бы переоцѣнкѣ съ точки зрѣнія морали, въ зависимости отъ тѣхъ идеаловъ и принциповъ, во имя которыхъ ими совершались рискованные полеты. Но обратимся къ примѣру гр. Толстого, къ тому молодому человѣку, который, заболѣвъ отъ исключительно умственной работы, перешелъ на полевую работу. Послѣ этого, судя по разсказу гр. Толстого, молодой человѣкъ поправился. Это, конечно, прекрасно, и дай ему Богъ добраго здоровья и напредки. Но, во-первыхъ, доктора, хотя и „мерзавцы“, но все таки больше насъ въ этомъ дѣлѣ свѣдущіе, можетъ быть, отправили бы его не на полевую работу, а куда-нибудь на воды или въ теплый климатъ, предписали бы ему полное спокойствіе и т. п., и не видно, почему молодой человѣкъ долженъ бы былъ отвергнуть эти со-

вѣты,—дѣло вѣдь идетъ о здоровьѣ. А затѣмъ надо взять данный случай во всей его возможной сложности. Гр. Толстой разсказываетъ, что молодой человѣкъ былъ лекціями „полезенъ другимъ и дѣлалъ хорошее дѣло“. Подчеркнемъ же эти слова и представимъ себѣ, что лекторъ былъ незамѣнимъ, а лекціи были безусловно необходимы. Имѣлъ ли бы этотъ человѣкъ нравственное право отказаться отъ лекцій единственно на томъ основаніи, что „здоровье его стало хуже“? Неужели забота о своемъ здоровьѣ есть дѣло столь священное, что какъ только „здоровье стало хуже“, такъ и надо бросать „полезное и хорошее дѣло“? Я полагаю, что это чисто-барская точка зрѣнія, отвергающая обязанности, признающая лишь права и только прикрытая демократическою блузой или рубахой человѣка, работающаго „въ полѣ“. Молодой человѣкъ возстановилъ свое здоровье за сохой, плугомъ, косой, топоромъ. Но другой на его мѣстѣ получилъ бы, можетъ быть, облегченіе въ какой-нибудь прекрасной дали, среди „роскоши, прохладъ и нѣги“, и въ предѣлахъ спора г. Мечникова съ гр. Толстымъ нѣтъ мотива, который не дозволялъ бы ему бѣжать отъ обязанностей лектора въ Каиръ, какъ онъ бѣжалъ отъ нихъ, ради своего здоровья, на полевыя работы.

Но, скажутъ мнѣ, въ томъ-то и дѣло, что предѣлы спора, намѣченные г. Мечниковымъ, не исчерпываютъ всего круга мыслей гр. Толстого. Это совершенно вѣрно. Если, однако, г. Мечниковъ неправильно выдѣлилъ извѣстную часть практической философіи гр. Толстого и на ней сосредоточилъ свое вниманіе, презрѣвъ все остальное, то въ этомъ въ значительной степени повинна позиція, занятая самимъ графомъ. Г. Мечниковъ, въ качествѣ естествоиспытателя, остановился исключительно на томъ, что онъ не безъ основанія называетъ „естественно-историческимъ принципомъ“ гр. Толстого. Къ нему графъ часто присоединяетъ авторитетъ Ветхаго и Новаго Завѣта, и натурально, что почтенный ученый уклонился отъ всей той части ученія графа, которая опирается на эти авторитеты,—объ этомъ пусть судятъ люди свѣдущіе, болѣе убѣжденные. Такое строгое опредѣленіе границъ спора было бы очень полезно, если бы г. Мечниковъ дѣйствительно опредѣлилъ ихъ, а затѣмъ указалъ бы, какіе именно отдѣлы практической философіи гр. Толстой отводитъ въ вѣдѣніе „естественно-историческаго принципа“ и какіе въ вѣдѣніе авторитетовъ божественныхъ. Г. Мечниковъ этого, къ сожалѣнію, не сдѣлалъ.

Въ той самой статьѣ гр. Толстого, изъ которой г. Мечниковъ привелъ примѣръ человѣка, промѣнявшаго, въ видахъ здоровья, умственный трудъ на полевыя работы, есть слѣдующія строки: „Дѣятельность научная и художественная въ ея настоящемъ смыслѣ только тогда плодотворна, когда она не знаетъ правъ, а знаетъ однѣ обязанности. Только потому, что она всегда такова, что ея свойство быть таковою, и цѣнитъ человѣчество такъ высоко эту дѣятельность. Если люди дѣйствительно призваны къ служенію другимъ духовною работой, то они въ этой работѣ будутъ видѣть только обязанность и съ трудомъ, лишеніями и самоотверженіемъ будутъ исполнять ее“. Или: „Спеціальное занятіе (передъ тѣмъ перечислялись спеціальныя занятія сапожника, машиниста, писателя, музыканта) не есть преимущество, а есть жертва, которую приноситъ человѣкъ своему влеченію и своимъ братіямъ“. Съ этой точки зрѣнія, поведеніе человѣка, бѣжавшаго отъ обязанностей лектора на полевыя работы, освѣщается уже нѣсколько иначе. Вопросъ о томъ, поступилъ ли онъ „раціонально“, отступаетъ на второй планъ; онъ, пожалуй, и по гр. Толстому долженъ бы былъ не торопиться на полевыя работы, а оставаться на своемъ посту лектора, хотя бы и въ ущербъ своему здоровью. Всѣ подобные штрихи въ писаніяхъ гр. Толстого г. Мечниковъ оставилъ безъ вниманія, оттого-то и получается странное впечатлѣніе спора двухъ гигіенистовъ, тогда какъ предполагается обсужденіе нравственно-политической темы. Нѣтъ и не можетъ быть нравственно-политическаго ученія, которое не налагало бы на человѣка обязанности, не обязывало бы при случаѣ приносить извѣстныя жертвы. Нельзя сказать, чтобы эта часть практической философіи гр. Толстого была построена исключительно на авторитетѣ Св. Писанія; но можно утверждать, что ей придаетъ ясность только этотъ авторитетъ. Внѣ его лучей разсужденія гр. Толстого о жертвахъ и обязанностяхъ чрезвычайно скудны и въ особенности смутны. Взять хотя бы только что приведенное. Художественная и научная дѣятельность „не знаетъ правъ, а однѣ обязанности“, и „она всегда такова, ея свойство быть таковою“. Спрашивается, о чемъ же и толковать, если она въ самомъ дѣлѣ „всегда такова“? Далѣе, понятна жертва, приносимая „своимъ братьямъ“, но что такое „жертва, которую человѣкъ приноситъ своему влеченію“? Если меня влечетъ къ музыкѣ и я ею именно, а не чѣмъ-нибудь

другимъ занимаюсь, то какая же тутъ жертва? Эта смутность мысли вовсе не составляетъ всегдашней принадлежности гр. Толстого. Она совершенно исчезаетъ, когда онъ вступаетъ въ область разсужденій о личномъ благополучіи. Вы можете соглашаться или не соглашаться, напримѣръ, съ его теоріей четырехъ „упряжекъ", долженствующихъ дать вамъ спокойствіе, здоровье, силу, но все здѣсь ясно, все точно на графленой бумагѣ написано или по рубрикамъ бухгалтерской книги разнесено. Въ другомъ мѣстѣ графъ перечисляетъ условія счастья. Ихъ оказывается пять: 1) „жизнь подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, общеніе съ землей, растеніями, животными"; 2) трудъ „дающій аппетитъ, и крѣпкій успокаивающій сонъ"; 3) семья; 4) „свободное любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра" и 5) „здоровье и безболѣзненная смерть". Какъ бы мы ни относились къ этимъ пяти рубрикамъ, какъ бы ни смотрѣлъ на нихъ теперь самъ гр. Толстой (семью онъ послѣ „Крейцеровой сонаты" долженъ вычеркнуть изъ числа условій счастья), но опять-таки здѣсь все ясно,—рядъ точныхъ и даже занумерованныхъ опредѣленій.

Многіе моралисты краснорѣчиво зовутъ своихъ адептовъ къ страданію въ борьбѣ со зломъ, яркими красками рисуютъ имъ прелесть жертвы, обѣщая вознаграждающее блаженство или въ загробной жизни, или въ сознаніи исполненнаго долга, или въ торжествѣ правды на землѣ. Общимъ тономъ своей практической философіи гр. Толстой рѣзко отличается отъ этихъ моралистовъ. Онъ зоветъ насъ прямо сейчасъ къ вполнѣ для всѣхъ осязательному земному счастью. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ мотивируетъ свою проповѣдь физическаго труда. Онъ спрашиваетъ: „Что же будетъ изъ того, что я буду 10, 8, 5 часовъ работать физическую работу, которую охотно сдѣлаютъ тысячи мужиковъ за тѣ деньги, которыя у меня есть?" И отвѣчаетъ: „Будетъ первое, самое простое и несомнѣнное то, что ты будешь веселѣе, здоровѣе, добрѣе, и узнаешь настоящую жизнь, отъ которой ты прятался самъ или которая была спрятана отъ тебя. Будетъ второе то, что если у тебя есть совѣсть, то не только она не будетъ страдать, какъ она страдаетъ теперь, глядя на трудъ людей, значеніе котораго мы всегда, по незнанію его, преувеличиваемъ или уменьшаемъ, но ты будешь постоянно испытывать радостное сознаніе того, что съ каждымъ днемъ ты все больше и больше

удовлетворяешь требованіямъ твоей совѣсти". Какъ видите, никакихъ страданій, никакихъ жертвъ не нужно, напротивъ, сейчасъ обѣщаются веселье, здоровье и вообще полный гигіеническій идеалъ, потому что спокойствіе духа вообще, спокойная совѣсть въ частности въ хорошихъ курсахъ гигіены настоятельно рекомендуется. Не то, чтобы гр. Толстой думалъ только о себѣ или всѣмъ другимъ рекомендовалъ о себѣ думать. Но центръ тяжести его ученія несомнѣнно составляетъ личное благополучіе, понимаемое, конечно, не въ скотскомъ смыслѣ. Онъ еще разъ спрашиваетъ: „Что выйдетъ изъ того, что я и другой, третій десятокъ людей, мы будемъ не брезгать работою физической и будемъ считать ее необходимой для нашего счастья и спокойствія совѣсти? Выйдетъ то, что будетъ одинъ, другой, третій десятокъ людей, которые, не входя въ столкновеніе ни съ кѣмъ, безъ насилія правительственнаго или революціоннаго, *для себя разрѣшатъ страшный вопросъ, стоящій передъ всѣмъ міромъ*, и разрѣшатъ его такъ, что имъ станетъ лучше жить, что ихъ совѣсть станетъ спокойнѣе и что имъ нечего бояться; выйдетъ то, что и другіе люди увидятъ, что благо, котораго они ищутъ вездѣ, тутъ, около нихъ самихъ".

Если читатель хорошенько вдумается въ подчеркнутыя мною слова, то придетъ, можетъ быть, даже въ нѣкоторый ужасъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшить *для себя* страшный вопросъ, стоящій передъ *всѣмъ міромъ*, и на этомъ успокоиться, и предаваться веселью безъ угрызеній совѣсти, въ сознаніи достигнутаго вами физическаго и духовнаго здоровья,—это ужасно успокоиться. Это въ такой степени ужасно, что даже невѣроятно. Невѣроятно, во-первыхъ, чтобы человѣкъ съ чуткою совѣстью могъ такъ легко. Невѣроятно, далѣе, чтобы гр. Толстой не представилъ какихъ-нибудь поправокъ и дополненій къ этому пункту своего ученія. Они и есть эти поправки и дополненія. Мы сейчасъ ихъ увидимъ, а теперь поищемъ объясненія для удивительной постановки вопроса у гр. Толстого.

Робкая, слабая, дрожащая шуйца гр. Толстого, въ противоположность его энергической и смѣлой десницѣ, всегда сторонилась, какъ мы уже видѣли, отъ вмѣшательства въ „естественный" или „историческій" ходъ вещей. Сторонилась подъ разными предлогами: то потому, что этотъ ходъ вещей предопредѣленъ, и мы измѣнить его не можемъ; то, напротивъ, потому, что мы

можемъ испортить дѣло своимъ вмѣшательствомъ; то, наконецъ, потому, что „насиліе правительственное или революціонное“ должно быть избѣгаемо, какъ насиліе. Въ сущности, здѣсь происходитъ то же самое, что и съ наклонностью гр. Толстого къ физическимъ упражненіямъ: въ теченіе своей жизни онъ занимался ими то изъ подражанія модѣ, то для гимнастики, то около своего хозяйства и въ подражаніе Юфану, то, наконецъ, подъ освѣщеніемъ нравственной обязанности. При всѣхъ этихъ обстоятельствахъ неизмѣнно остается прирожденная склонность къ физическимъ упражненіямъ. Такъ и съ невмѣшательствомъ въ естественный и историческій ходъ вещей: мотивы отрицанія мѣнялись, а неизмѣнною оставалась робкая, слабая шуйца, и когда, по одному изъ тѣхъ необъяснимыхъ скачковъ, которые такъ обыкновенны въ графѣ, шуйца смѣнялась десницей, онъ легко опрокидывалъ всѣ свои собственные доводы противъ вмѣшательства. Но бывали и переходныя комбинаціи. Одна изъ нихъ любопытна. Въ „Войнѣ и мирѣ“ гр. Толстой развивалъ, между прочимъ, ту мысль, что жизнь наша рѣзко раздѣляется на личную, въ которой мы можемъ устроиваться болѣе или менѣе какъ хотимъ, и общественную, историческую, „роевую“, которая идетъ какъ-то помимо насъ, повинуясь чуждому намъ, разумному и цѣлесообразному плану. Изъ этой половинчатой теоріи, пожалуй, уже и не трудно сдѣлать тотъ выводъ, котораго мы сейчасъ ужасались: лично можно, а слѣдовательно, и должно устроиться наилучшимъ образомъ,—ну, а „стоящій передъ всѣмъ міромъ страшный вопросъ“ какою-то внѣ насъ лежащею міровою силой и разрѣшится.

Римскій эпикуреецъ Лукрецій говоритъ въ своей знаменитой поэмѣ: „Когда вѣтры волнуютъ великое море, пріятно смотрѣть съ берега на чужія усилія въ трудной борьбѣ,—не то пріятно, что другіе страдаютъ, а пріятно чувствовать себя избавленнымъ отъ бѣды... О, жалкій человѣческій разумъ! О, ослѣпленіе! Въ какомъ мракѣ, въ какихъ опасностяхъ проводимъ мы свою жизнь! А, между тѣмъ, чего требуетъ природа?—чтобы тѣло наше не испытывало страданій, чтобы духъ нашъ былъ веселъ, свободенъ отъ безпокойства и страха“.

Это довольно близко къ тому, что проповѣдуетъ гр. Толстой, но онъ говоритъ о совѣсти, а совѣсть нашего современника не можетъ, конечно, удовлетвориться тѣмъ, чѣмъ удовлетворялась

совѣсть римлянина I вѣка до Р. Х. Гр. Толстому не можетъ быть „пріятно смотрѣть съ берега на чужія усилія въ трудной борьбѣ“, даже съ тою оговоркой, которою Лукрецій сопровождаетъ эту „пріятность“. Гр. Толстой очень аппетитно разсказываетъ, какой онъ сталъ здоровый, сильный, спокойный, ясно понимающій вещи, когда обратился къ физическому труду. Но онъ не можетъ спокойно смотрѣть на тѣхъ, кто остался въ волнахъ болѣзней, безпокойства, умственнаго мрака, угрызеній совѣсти. Ему нужно утѣшеніе, что и они выберутся на берегъ. Утѣшеніе является въ видѣ вѣры въ силу проповѣди и примѣра, которые постепенно сдѣлаютъ всѣхъ причастниками испытываемаго имъ счастія. Въ этомъ состоитъ первая поправка къ жестокому индивидуализму рѣшенія для себя задачи, отъ которой болѣетъ весь міръ. Вторая поправка состоитъ въ механической приставкѣ евангельскаго ученія. Оно приставлено механически, потому что легко представить себѣ человѣка, который никогда не слыхалъ о христіанствѣ и ни изъ какихъ другихъ источниковъ не почерпнулъ ученія любви, составляющаго основу христіанской морали, и который, однако, рѣшаетъ для себя задачу жизни по рецепту гр. Толстого. Приставка христіанскаго ученія придаетъ этому глубоко-эгоистическому или, въ лучшемъ случаѣ, узко-сектантскому рецепту отсутствующій въ немъ самомъ моральный блескъ призыва къ любви, жертвѣ, подвигу, страданію ради любви. Но механичность приставки даетъ себя знать. Обязательность помощи ближнему гр. Толстой основываетъ на Евангеліи, но изъ видовъ этой помощи рѣзко вычеркиваетъ (или вычеркивалъ) помощь денежную. Между тѣмъ, Христосъ на этотъ счетъ выразился вполнѣ опредѣленно въ противоположномъ смыслѣ: „продай имѣніе свое и раздай нищимъ“. Гр. Толстой, конечно, избѣгаетъ приводить этотъ текстъ, и, въ то же время, требуетъ, чтобы не было никакого разлада между христіанскою теоріей и практикой, не взирая ни на какія сложныя и трудныя обстоятельства семейнаго ли, или какого другого характера.

При такихъ условіяхъ, то-есть съ произвольными вычетами, христіанское ученіе, единственно придающее моральный блескъ проповѣди гр. Толстого, въ свою очередь нѣсколько тускнѣетъ отъ соприкосновенія съ нею. Исполненіе завѣтовъ Христа кажется графу не труднымъ подвигомъ, а, напротивъ, дѣломъ чрезвычайно простымъ. Да оно и въ самомъ дѣлѣ значительно упрощается. Гр. Толстой даже удивляется: какъ это такъ? — ученіе

Христа просто, а ему мало кто слѣдуетъ до конца, „а ученіе міра сказало: брось домъ, поле, братьевъ, уйди изъ деревни въ гнилой городъ, — и никто не находитъ, что это трудно“. Оно, можетъ быть, и было бы достойно удивленія, если бы все дѣло дѣйствительно состояло въ „ученіи міра“. Но не ученіе міра гонитъ людей отъ ихъ домовъ, полей и братьевъ въ „гнилой городъ“, и не все съ легкимъ сердцемъ уходятъ люди отъ своихъ домовъ и полей. Иной разъ и плачутъ, да идутъ, какъ, напримѣръ, теперь, когда тысячи народу бредутъ куда попало за работой и хлѣбомъ. Не ученіе міра гонитъ ихъ, а нужда, сложная сѣть общественныхъ условій, отъ которой гр. Толстой предлагаетъ отвернуться, разрѣшая общую задачу *для себя*. Правда, существуютъ ученія міра, которыя подводятъ теоретическій фундаментъ подъ это уже готовое зданіе. И гр. Толстой одушевленъ, по крайней мѣрѣ, несомнѣнно благими намѣреніями, когда борется съ этими ученіями. Но я боюсь, что къ графу придутъ люди и скажутъ: учитель! я не знаю никакого ученія міра, но голодъ противъ моей воли гонитъ меня изъ полуразвалившагося дома и съ оголеннаго поля,—какъ мнѣ быть, учитель? И придутъ другіе люди и скажутъ: учитель! мнѣ ненавистно ученіе міра, но у меня нѣтъ ни дома, ни поля, мнѣ не отъ чего уходить, и я прикованъ, вмѣстѣ съ дѣтьми своими, къ гнилому городу, какъ каторжникъ къ тачкѣ,—какъ мнѣ быть, учитель?.. И я боюсь, что у графа не найдется отвѣтовъ.

Гр. Толстой выразился съ необыкновенною и многостороннею точностью, говоря, что онъ *для себя* разрѣшилъ волнующую весь міръ задачу жизни. Именно только для себя и для людей, находящихся въ одинаковомъ съ нимъ положеніи. Я очень вѣрю, что онъ здоровъ, силенъ, спокоенъ духомъ, какъ онъ самъ о себѣ недавно печатно разсказывалъ, и очень радуюсь за него. Но не всѣ могутъ слѣдовать его примѣру, да и изъ тѣхъ, кто можетъ, не всѣ, пожалуй, захотятъ, хотя бы и раздѣляли теоретическіе взгляды графа. Когда я смотрю на извѣстную картину г. Рѣпина, изображающую гр. Толстого за плугомъ, мною овладѣваетъ какое-то смущеніе; мнѣ, признаюсь, становится неловко за нашего великаго писателя. Не потому, разумѣется, что онъ сталъ рабочимъ человѣкомъ, а, напротивъ, потому, должно быть, что это не настоящій земледѣлецъ, а декорація земледѣльца,—декорація, безспорно, очень эффектная, но, все-таки, только декорація. Съ настоящаго земледѣльца подати и недоимки взыскиваются, настоящій

при случаѣ „въ кусочки“ идетъ, настоящему бываетъ холодно, голодно, за семью жутко, а декорація отъ всего этого и еще многаго другого гарантирована, она только красивую сторону дѣла на себѣ носитъ. Свободный отъ всѣхъ тяжелыхъ условій, въ которыхъ находится трудъ, графъ съ удивительною даже наивностью восклицаетъ: какъ радостенъ земледѣльческій трудъ! и зачѣмъ только люди бѣгутъ отъ него?! Я не думаю, чтобы это положеніе было достойно великаго писателя и искренняго человѣка. Если-бы графъ просто „приносилъ жертву своему влеченію“ къ земледѣльческому труду, если-бы онъ пахалъ, косилъ и рубаху-косоворотку или блузу носилъ просто потому, что ему такъ нравится, да и чувствуетъ онъ себя за плугомъ и косой здоровѣе, такъ не о чемъ было-бы и разговаривать. А если графъ получаетъ еще при этомъ успокоеніе смущенной совѣсти, такъ тѣмъ лучше для него. Тѣмъ лучше для него, но, можетъ быть, не для насъ, не для русскаго общества, а въ виду всемірной извѣстности гр. Толстого, пожалуй, и иныя, далекія страны можно привлечь къ этому убытку. Спокойная совѣсть есть одно изъ желаннѣйшихъ личныхъ благъ, и гр. Толстой, навѣрное, не преувеличиваетъ его значенія, когда ставитъ его на одну линію со здоровьемъ. Но спокойная совѣсть не всегда себѣ равна; мысленно можно построить своего рода градусникъ совѣсти, съ отмѣтками разныхъ высотъ, на которыхъ она успокоивается. Спокойна совѣсть того, „кто дѣлъ своихъ цѣною злата не взвѣшивалъ, не продавалъ, не ухищрялся противъ брата и на врага не клеветалъ“. Спокойна совѣсть командира, погибшаго въ морѣ судна, если онъ, преодолѣвъ естественное чувство самосохраненія, послѣднимъ сошелъ съ корабля, погружающагося въ разъяренныя волны. Спокойна совѣсть сознательнаго мученика за идею. Но, съ другой стороны, извѣстная сказка Щедрина „Пропала совѣсть“ наглядно показываетъ, что совѣсть можетъ успокоиваться и при нравственной температурѣ ниже нуля. Жалкій пропоецъ, кабатчикъ Прохорычъ, квартальный Ловецъ, биржевой дѣлецъ Самуилъ Давыдычъ и прочіе, кому разными путями изъ рукъ въ руки переходитъ совѣсть, испытываютъ, при полученіи ея, непереносныя мученія и тотчасъ-же успокоиваются, какъ только имъ удается сбыть ее съ рукъ. Но именно тогда, когда ихъ непереносно сверлитъ совѣсть, окружающимъ становится легче жить. Спокойная совѣсть... Да развѣ она не составляетъ существенной

принадлежности всякаго негодяя и злодѣя? Можетъ быть, это именно и хотѣлъ сказать Гамлетъ своею загадочно-безумною фразой: „каждый въ Даніи злодѣй есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и плутъ негодный“. Спокойная совѣсть, будучи великимъ личнымъ благомъ, сама по себѣ есть все-таки не болѣе, какъ одна изъ составныхъ частей гигіеническаго идеала. Нравственная-же ея цѣна зависитъ отъ той высоты градусника совѣсти, достигнувъ которой, совѣсть успокоилась. Совѣсть больная, ущемленная, всегда будучи мучительна для своего носителя, сплошь и рядомъ въ нравственномъ отношеніи несравненно выше спокойной совѣсти. Больная, ущемленная совѣсть ищетъ, достигаетъ и, можетъ быть, достигнетъ самыхъ верхнихъ дѣленій градусника; передъ ней будущее, хотя, конечно, темное; спокойная совѣсть не достигаетъ, потому что уже достигла, и цѣна ей написана на градусникѣ. Человѣкъ можетъ совершенно искренно и убѣжденно говорить: я праведникъ, я достигъ, совѣсть моя спокойна. И все-таки, можетъ быть, отъ него расходится кругомъ гораздо меньше нравственнаго тепла и свѣта, чѣмъ отъ грѣшника съ ущемленною совѣстью. Я не говорю, есть, конечно, и люди спокойной совѣсти, сіяющіе и грѣющіе, но это тѣ рѣдкіе, которые достигли верхнихъ дѣленій градусника. О, когда-нибудь, будемъ вѣрить, всѣ люди сравняются на этой высотѣ и больная совѣсть исчезнетъ изъ человѣческаго лексикона. Но теперь, знаете-ли, читатель, кто достигъ верхнихъ дѣленій градусника совѣсти? Я не скажу: тотъ, кто умеръ во имя долга, потому что мертвые срама не имутъ, не имутъ и спокойной или ущемленной совѣсти, но тотъ, кто былъ на волоскѣ отъ такой смерти и не отступилъ. Передъ этими людьми мы, грѣшные, должны преклоняться, какъ передъ высшимъ выраженіемъ человѣчности, какъ передъ высшею, доступною человѣку точкой спокойствія совѣсти. Вплоть до этой послѣдней, страшной пробы мы можемъ смотрѣть съ спокойной совѣстью на то или другое частное свое дѣйствіе, но успокоиться совѣстью на рѣшеніи задачи жизни... Нѣтъ, предоставимъ это безсовѣстнымъ. Вы помните отвѣтъ апостола: „вѣрю, Господи, помоги моему невѣрію“. Такъ-же ненасытима должна быть и совѣсть. И не могу я повѣрить, чтобы совѣсть гр. Толстого, когда-то, въ его грѣшныя времена, столь безпокойная, навсегда успокоилась на... декораціи! Да, повторяю, декорація— этотъ картинный старикъ, картинно-идущій за плугомъ, хотя па-

шетъ онъ не только на картинѣ г. Рѣпина, а и живьемъ въ Ясной Полянѣ. Декорація—эта помощь ближнему трудомъ складыванія печки или рубки дровъ. Декорація—это изумленіе передъ разладомъ между теоріей и практикой, не взирая ни на какія условія. Декорація—это недавнее предоставленіе въ общую собственность сочиненій, написанныхъ послѣ 1881 г. И очень плохая декорація. Почему только этихъ, а не всѣхъ, въ числѣ которыхъ есть гораздо болѣе цѣнныя? Въ чемъ тутъ причина—въ теоріи или въ практикѣ? Все это было-бы не декораціей, а очень простымъ дѣломъ, если-бы дѣлалось не въ видѣ успокоивающаго совѣсть разрѣшенія задачи жизни.

Въ одной изъ своихъ статей гр. Толстой разсказываетъ, какъ онъ открылъ „первый и несомнѣнный законъ Бога или природы“ и какъ онъ „былъ пораженъ легкостью и простотою разрѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ, которые ему прежде казались столь трудными и сложными“. „На вопросъ, что нужно дѣлать?—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я могу самъ дѣлать. На вопросъ: не странно-ли это будетъ передъ людьми, дѣлавшими это?—оказалось, что странность эта продолжалась только недѣлю“. Таковы были первые шаги, потомъ графъ отправился въ деревню пахать. Но остановимся на минуту на первыхъ шагахъ. Несомнѣнно, что мы наваливаемъ слишкомъ много работы на прислугу и что это нехорошо. Но одно изъ двухъ: или это такой огромный, въ своихъ развѣтвленіяхъ, вопросъ, что его нельзя разрѣшать „для себя“, или-же это такая простая вещь, ради которой не стоитъ тревожить „первый и несомнѣнный законъ Бога или природы“. Я помню, что прочиталъ эту статью гр. Толстого при нѣкоторыхъ особенныхъ условіяхъ: я жилъ не въ Петербургѣ и, при томъ, почти „по-толстовски“,—самъ себѣ дрова носилъ, печку топилъ, самоваръ ставилъ, платье и сапоги чистилъ. Не то, чтобы я все это дѣлалъ вполнѣ добровольно и какъ-нибудь изъ принципа, а такъ пришлось, но я не тяготился. Прочитавъ статью графа, я попробовалъ было возгордиться, однако, не могъ,— совѣсть не позволила, ибо я чувствовалъ, что вопросы, которые мнѣ прежде казались трудными и сложными, такъ трудными и сложными и остались. Они остались таковыми и послѣ того, какъ графъ сталъ землю пахать...

Пусть читатель проститъ мнѣ ту, можетъ быть, желчную

ноту, которая иногда пробивается въ моихъ разговорахъ о гр. Толстомъ. Это—хоть и своеобразная, но все-таки дань уваженія къ человѣку, которому такъ много дано, что съ него, натурально, должно много и требовать, да и самъ онъ не долженъ удовлетворяться малымъ—декораціей. А графу много дано. Ему дана власть надъ людьми. Въ эту минуту графъ бросилъ декорацію и занялся настоящимъ дѣломъ помощи ближнему, и можно надѣяться, что, отвѣдавъ настоящаго горькаго, онъ не вернется къ поддѣльному сладкому. А, вмѣстѣ съ тѣмъ, кончится, можетъ быть, и та обуявшая насъ манія рѣшать общія задачи „для себя“, послѣднимъ крупнымъ представителемъ которой былъ гр. Толстой. Давно пора. Если мы даже этого результата не купимъ цѣною постигшаго народъ страшнаго бѣдствія, такъ, право-же, самимъ намъ грошъ цѣна...

И еще пусть проститъ мнѣ читатель, что я на этотъ разъ не договорилъ о г. Мечниковѣ.

VII *).

О естественномъ и неестественномъ. — О задачахъ науки. — О будущемъ женщинъ и женскаго вопроса.

Обратимся къ г. Мечникову.

Признавая, уже въ качествѣ естествоиспытателя, всю фактическую мощь естества, естественно-научныхъ данныхъ, г. Мечниковъ отказывается, однако, признать за ними исключительное руководящее значеніе въ практической жизни, въ дѣлѣ общественнаго творчества. Здѣсь нужны иныя руководящія начала, во имя которыхъ естество можно и должно гнуть, измѣнять въ желательномъ направленіи, даже истреблять. Человѣкъ не рука объ руку идетъ съ природой вообще, съ собственною своею природой въ частности, а, напротивъ, борется и долженъ бороться съ ней во имя идеаловъ. Таковъ основной принципъ г. Мечникова, высказываемый имъ не въ первый разъ. Онъ развивалъ этотъ взглядъ въ напечатанныхъ въ томъ-же „Вѣстникѣ Европы“ статьяхъ: „Воспитаніе съ антропологической точки зрѣнія“ (1871 г.), „Возрастъ вступленія въ бракъ“ (1874 г.), „Очеркъ воззрѣній на человѣческую природу“ (1877 г.). Человѣку, по-

*) 1892, мартъ.

чему-нибудь не вдумывавшемуся въ вопросъ объ отношеніяхъ человѣка къ природѣ, не легко сразу оцѣнить такую его постановку. Она можетъ показаться либо слишкомъ простою, обыденною, такъ что и разговаривать не объ чемъ, либо, напротивъ, слишкомъ мудреною. Значеніе-же ея состоитъ въ томъ, что она объединяетъ и текущія мелочи обыденной жизни, проходящія почти безъ контроля нашего сознанія, и случаи высшаго напряженія сознанія и воли. Въ этомъ мы сейчасъ убѣдимся. Надо, однако, замѣтить, что такая постановка вопроса еще ни мало не предрѣшаетъ формы и содержанія тѣхъ идеаловъ, во имя которыхъ утверждается или рекомендуется борьба съ природой. Люди, вполнѣ согласные въ этомъ послѣднемъ отношеніи, могутъ совершенно расходиться во взглядахъ на тѣ пути, по которымъ должны быть, по ихъ мнѣнію, направлены подлежащія воздѣйствію силы природы. Въ этомъ мы тоже сейчасъ убѣдимся, при томъ, наглядно, потому что, вполнѣ раздѣляя основную точку зрѣнія г. Мечникова, я полагаю, однако, что оспариваемые имъ идеалы гр. Толстого несравненно болѣе соотвѣтствуютъ справедливости и человѣческому достоинству, чѣмъ собственные идеалы нашего почтеннаго ученаго. А къ этому разногласію могутъ примыкать еще и другія, въ своемъ родѣ не менѣе важныя. Возможны разногласія относительно предѣловъ доступнаго человѣку воздѣйствія на природу и относительно того, что̀ именно въ природѣ должно быть измѣнено и что оставлено неприкосновеннымъ. Благодаря всѣмъ этимъ осложненіямъ, вопросъ не легко давался человѣческой мысли и имѣетъ свою длинную, колеблющуюся исторію.

Въ одной изъ своихъ старыхъ статей, а именно въ „Очеркѣ воззрѣній на человѣческую природу“, г. Мечниковъ взялся разсказать эту исторію въ общихъ чертахъ. Предѣлы темы точно указаны заглавіемъ статьи. Г. Мечниковъ имѣетъ въ виду только отношенія человѣка къ его собственной природѣ и оставляетъ совершенно въ сторонѣ вопросъ о нашемъ отношеніи къ внѣшней, окружающей природѣ. И неудивительно, потому что здѣсь дѣло уже слишкомъ ясно: болота мы осушаемъ, хотя они естественно образуются на своихъ мѣстахъ, лѣса вырубаемъ, животныхъ приручаемъ, громоотводы строимъ, отъ пыли, дождя, холода, жара себя разными способами ограждаемъ и т. д., и т. д. Вся наша культура есть не что иное, какъ дѣйственное выра-

женіе нашего недовольства природой и желанія измѣнить ее согласно нашимъ эстетическимъ, нравственнымъ, промышленнымъ идеаламъ. Тутъ и спору никакого быть не можетъ. Сложнѣе представляется дѣло по отношенію къ нашей собственной природѣ.

Г. Мечниковъ приводитъ группу характерныхъ фактовъ, свидѣтельствующихъ, что человѣчество издревле стремилось измѣнить свою внѣшность сообразно извѣстнымъ идеаламъ, частію эстетическимъ, частію этическимъ, и, значитъ, внести нѣкоторыя поправки въ свою физическую природу. Сюда относятся часто очень замысловатыя прически дикарей, искусственныя сдавливанія головы, женской груди, обрѣзаніе, татуировка, инфибуляція и проч. Г. Мечниковъ приходитъ къ такому заключенію: „Не смотря на отсутствіе опредѣленныхъ философскихъ воззрѣній у первобытныхъ народовъ, на основаніи только многочисленности и распространенности пріемовъ для усовершенствованія человѣка въ практическомъ и эстетическомъ отношеніяхъ, можно уже утверждать, что народы эти смотрятъ на человѣческую природу какъ на нѣчто несовершенное и способное измѣняться подъ вліяніемъ человѣческой воли“.

Перечисленіе фактовъ, приведшихъ г. Мечникова къ этому выводу, можно-бы было продолжать далеко за предѣлы первобытныхъ народовъ. Любая вывѣска на парикмахерской напоминаетъ, что и теперь вполнѣ цивилизованные люди, помимо какихъ-бы то ни было опредѣленныхъ философскихъ воззрѣній, стригутъ, брѣютъ и завиваютъ себѣ волосы; кромѣ того, они красятъ волосы, румянятся, бѣлятся, духами душатся, въ корсеты затягиваются, ногти стригутъ, шлифуютъ и придаютъ имъ извѣстную форму, разнообразными ухищреніями одежды и обуви гдѣ прибавляютъ, гдѣ убавляютъ себѣ тѣла и проч. Всѣ эти факты показываютъ, что люди и теперь въ подробностяхъ обыденной жизни обнаруживаютъ недовольство тѣмъ, что имъ дано отъ природы, а нѣкоторыя изъ перечисленныхъ манипуляцій говорятъ и объ убѣжденіи въ способности человѣческой природы измѣняться подъ вліяніемъ воли: тонкія таліи европейскихъ цивилизованныхъ женщинъ, маленькія руки и ноги высшихъ классовъ вообще представляютъ собою осязательные результаты этого убѣжденія. Въ сферѣ воздѣйствія собственно на физическую природу человѣка эта черта, пожалуй, у насъ менѣе

замѣтна, чѣмъ у первобытныхъ народовъ, но за то тѣмъ ярче она въ сферѣ выработки умственнаго и нравственнаго характера. Все наше воспитаніе, какой-бы системы оно ни придерживалось, построено на необходимости и возможности развить въ ребенкѣ такіе-то природные задатки и подавить такіе-то. Вся наша общественная система, каковы-бы, опять-таки, не были ея устои, стремится къ тому же по отношенію къ взрослымъ, частію косвенно, а частію прямо, при посредствѣ уголовной юстиціи. Религіозныя системы, нравственныя и политическія теоріи всякаго рода, то въ повелительномъ наклоненіи правилъ и предписаній то въ поэтической, художественной формѣ, имѣютъ въ виду поднять извѣстную группу природныхъ инстинктовъ до степени сознательнаго поведенія, придавить другую даже до полнаго уничтоженія. Короче говоря, въ нашей обыденной жизни мы на каждомъ шагу и въ самыхъ разнообразныхъ формахъ боремся съ природой во имя тѣхъ или другихъ, возвышенныхъ или низменныхъ, идеаловъ, стараемся ее исправить, улучшить, вообще измѣнить. И такъ всегда было. При этомъ самымъ вопросомъ объ отношеніи человѣка къ природѣ мы обыкновенно не задаемся,—мы просто живемъ, какъ находимъ лучше.

Тѣмъ не менѣе, когда этотъ вопросъ возникаетъ въ его теоретической отвлеченности, являются рѣшенія „жить согласно природѣ“, удовлетворять „естественнымъ склонностямъ“, вообще такъ или иначе искать въ природѣ образцовъ и руководящихъ нитей для поведенія. Эти рѣшенія, никогда вполнѣ послѣдовательно не проводимыя въ жизнь, окрашиваютъ, однако собою иногда философскую мысль цѣлыхъ эпохъ. Такъ было въ древней Греціи, такъ было въ концѣ прошлаго столѣтія въ Европѣ. Наоборотъ, другія эпохи окрашиваются въ мрачный цвѣтъ полнаго презрѣнія къ естеству, къ природнымъ инстинктамъ, какъ къ источникамъ грѣха. Насколько древній грекъ обожалъ человѣческую природу, настолько же средневѣковый европейскій или восточный аскетъ презиралъ ее, какъ порожденіе и источникъ грѣха, и стремился подавить ея требованія въ самомъ корнѣ. „Всѣ природные человѣческіе инстинкты извратились до послѣдней возможности“, — справедливо говоритъ г. Мечниковъ объ этомъ времени. Эти два противоположныя теченія оспаривали затѣмъ, а частію и доселѣ оспариваютъ другъ у друга первенствующее мѣсто въ практической философіи. Сдѣлавъ быстрый обзоръ этимъ

колебаніямъ, г. Мечниковъ приступаетъ къ оцѣнкѣ того и другого воззрѣнія и говоритъ: „Если мы нѣсколько поднимемся надъ уровнемъ обѣихъ теорій и, вооружившись результатами современнаго естествознанія, спросимъ себя: какая же изъ нихъ болѣе соотвѣтствуетъ истинной природѣ человѣка, то, по разсмотрѣніи дѣла, должны будемъ придти къ заключенію, что воззрѣнія второй категоріи по существу своему естественнѣе". Не ошибитесь, читатели: второй категоріи, то-есть тѣ именно, въ силу которыхъ „всѣ природные инстинкты извратились до послѣдней возможности". Чтобы вполнѣ оцѣнить смѣлую оригинальность этого вывода, надо привести хоть одну изъ тѣхъ формулъ нашего отношенія къ своей природѣ, меньшую естественность или даже неестественность которыхъ особенно подчеркиваетъ г. Мечниковъ. Возьмемъ формулу Гумбольдта: „Конечная цѣль человѣка, то-есть та цѣль, которая ему предписывается вѣчными, неизмѣнными велѣніями разума, состоитъ въ наивозможно гармоническомъ развитіи всѣхъ его способностей въ одно полное и самостоятельное цѣлое". Г. Мечниковъ приводитъ еще нѣсколько подобныхъ, неодобрительныхъ съ его точки зрѣнія формулъ, античныхъ, прошлаго столѣтія и современныхъ, не спуская при этомъ и своему учителю, Дарвину. Авторъ „Происхожденія видовъ" тоже оказывается повиннымъ въ неправильномъ пониманіи требованій природы, каковыя, однако, были уловлены тѣми, кто „извращаетъ природные человѣческіе инктинкты до послѣдней возможности". Изъ совокупности этой части разсужденія г. Мечникова видно, что его оскорбляютъ не метафизическіе аксессуары формулы Гумбольдта вродѣ „конечной цѣли" и „вѣчныхъ, неизмѣнныхъ законовъ разума", или, по крайней мѣрѣ, не столько они, сколько реальная мѣра формулы: гармоническое развитіе всѣхъ природныхъ силъ и способностей въ одно полное и самостоятельное цѣлое. Такимъ образомъ, г. Мечниковъ давно уже выразилъ свое неодобреніе теоріи гармоническаго развитія и въ статьѣ о гр. Толстомъ только воспользовался новымъ поводомъ для изложенія своего стараго, хорошо продуманнаго взгляда.

Здѣсь все чрезвычайно любопытно. Любопытно, прежде всего то, что, отрицая возможность и надобность строить теорію поведенія на требованіяхъ или указаніяхъ природы, г. Мечниковъ, при оцѣнкѣ разныхъ теорій, апеллируетъ все-таки къ природѣ-же какъ въ высшую инстанцію: одно изъ двухъ воззрѣній на чело-

вѣческую природу онъ отвергаетъ потому, что оно менѣе, чѣмъ другое, соотвѣтствуетъ „истинной природѣ человѣка“ и результатамъ современнаго естествознанія. Если такъ, то о чемъ-же говорить по существу-то? Ясно, повидимому, что самъ г. Мечниковъ ищетъ образцовъ и указаній въ природѣ и, слѣдовательно, является представителемъ именно тѣхъ воззрѣній, которыя имъ отрицаются. Онъ только лучше другихъ уразумѣлъ истинную природу человѣка и лучше другихъ вооружился результатами современнаго естествознанія. Но вѣдь это свойственно думать каждому, выступающему съ собственнымъ рѣшеніемъ вопроса. Такъ, безъ сомнѣнія, и Гумбольдтъ о себѣ полагалъ, и Дарвинъ. Слѣдовательно, по существу нашъ почтенный ученый ничѣмъ не отличается отъ всѣхъ другихъ теоретиковъ, ищущихъ въ природѣ руководящихъ нитей для дѣятельности. Правда, онъ склоняется въ пользу рѣшенія, объявлявшаго природѣ войну не на животъ, а на смерть. Но средневѣковый аскетизмъ ошибался, полагая, что онъ борется съ естествомъ, идетъ противъ требованій природы: съ высоты результатовъ современнаго естествознанія оказывается, что онъ-то именно и соотвѣтствовалъ „истинной природѣ человѣка“. Начавъ за здравіе, почтенный ученый кончилъ за упокой, или, вѣрнѣе, начавъ за упокой природы, какъ нашей руководительницы, кончилъ за здравіе.

Однако неужели-же, въ самомъ дѣлѣ, „истинная природа человѣка“ требуетъ или даже только разрѣшаетъ „извращеніе природныхъ человѣческихъ инстинктовъ до послѣдней возможности“? Логическое противорѣчіе здѣсь слишкомъ очевидно, чтобъ оно могло быть не замѣчено самимъ г. Мечниковымъ. Противорѣчіе это получитъ еще болѣе яркое освѣщеніе, если мы припомнимъ, что средневѣковый аскетизмъ былъ тѣсно связанъ съ грубымъ суевѣріемъ и съ самыми дикими понятіями о природѣ. Можно поэтому съ увѣренностью предположить, что у г. Мечникова есть въ запасѣ нѣкоторый оборотъ мысли, хотя сколько нибудь сглаживающій противорѣчіе. Въ статьѣ г. Мечникова о гр. Толстомъ мы уже видѣли его странное пристрастіе къ разнымъ уродствамъ. Но вѣдь нельзя же, все-таки, успокоиться на томъ выводѣ, что извращеніе естества—естественно, а стремленіе къ естественности—не естественно. Это была-бы какая-то игра словами, совершенно недостойная серьезнаго ученаго.

Г. Мечниковъ справедливо замѣчаетъ, что принципъ „естест-

венной жизни“ или жизни „сообразно съ природой“ никогда вполнѣ послѣдовательно не прилагался, а, кромѣ того, „толковался самымъ различнымъ образомъ и настолько произвольно, что, придерживаясь его, различныя школы совершенно различно понимали правила нравственной жизни“. Дѣло въ томъ, что принципъ „естественной жизни“ обыкновенно или выдвигается въ видѣ реакціи теченію „неестественнаго“, „противоестественнаго“, „сверхъестественнаго“, исторически сложившагося и т. п., и въ такомъ случаѣ имѣетъ, главнымъ образомъ, отрицательное значеніе; или-же его представители выбираютъ какую нибудь одну черту природы или группу этихъ чертъ и въ ней именно ищутъ руководящей нити, оставляя въ сторонѣ другія черты. Такъ-же поступаетъ и г. Мечниковъ. Но его положеніе затрудняется его исходною точкой,—представленіемъ о природѣ, какъ о чемъ-то исключительно враждебномъ человѣку. Совершенно справедливо, что мы должны руководиться въ практической жизни идеалами и даже иначе не можемъ поступать, но оперировать-то намъ все-таки приходится надъ природой,—иного матеріала для идеальныхъ комбинацій у насъ нѣтъ. Значитъ, надо же за что-нибудь въ этой природѣ уцѣпиться, по крайней мѣрѣ, какъ за строительный матеріалъ. Но г. Мечниковъ старается закрыть намъ всѣ пути въ этомъ направленіи. Онъ останавливается на наиболѣе общихъ чертахъ, свойственныхъ не одному человѣку, но и всякому организованному существу,—на наслѣдственности и измѣнчивости. О наслѣдственности онъ говоритъ: „Не подлежитъ сомнѣнію, что она обусловливаетъ не только передачу грубыхъ физическихъ признаковъ, но и такихъ тонкихъ чертъ, какъ, напримѣръ, болѣзненное расположеніе, самыя болѣзни, какъ тѣлесныя, такъ и такъ называемыя душевныя, и даже свойства характера и наклонность къ преступленіямъ и т. д.“. Совершенно вѣрно, но точно также наслѣдственность обусловливаетъ и передачу тѣлеснаго и душевнаго здоровья. И если не слѣдуетъ скрывать отъ себя невыгодную сторону дѣла, то нѣтъ также никакого резона одною ею ограничивать свой кругозоръ. Такое-же пессимистическое освѣщеніе бросаетъ г. Мечниковъ и на другой великій факторъ органической природы—на измѣнчивость. Объ этомъ намъ придется еще говорить довольно подробно. Поступая такимъ образомъ, г. Мечниковъ не только впадаетъ въ односторонность, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказываетъ нѣчто такое, что вовсе не требуется его соб-

ственнымъ основнымъ тезисомъ. Природа не враждебна человѣку, а безразлична. Она предлагаетъ ему и здоровую пищу, и яды, и лѣкарства, и, только благодаря этому, мы и можемъ жить и строить свои идеалы не въ безвоздушномъ пространствѣ, а среди этой самой природы и прямо на счетъ ея.

„Естественными“, „соотвѣтственными истинной природѣ человѣка“ и „результатамъ современнаго естествознанія“ средневѣковыя аскетическія воззрѣнія представляются г. Мечникову потому, что они признавали несовершенство человѣческой природы и возможность ея измѣненія. Г. Мечниковъ, повидимому, предполагаетъ, что разнообразные представители идеи жизни, согласной съ природой, совершенно удовлетворялись всѣмъ, даннымъ отъ природы, и проповѣдывали какой-то застой. Это, конечно, совсѣмъ не вѣрно. Напротивъ, въ большинствѣ случаевъ, проповѣдники „естественной жизни“, съ одной стороны, обличаютъ своихъ соотечественниковъ или современниковъ въ глубокихъ отклоненіяхъ отъ того, что они считаютъ нормой, а съ другой—провидятъ въ будущемъ цѣлую перспективу совершенствованія. Часто рисуемый ими „золотой вѣкъ“ въ отдаленномъ прошломъ, утраченный человѣчествомъ на историческомъ пути, и золотой вѣкъ въ будущемъ, который получится путемъ цѣлесообразной системы воспитанія, развитія и общественной реформы,—эти два конечные пункта показываютъ, что проповѣдники естественной жизни допускаютъ измѣнчивость человѣческой природы въ очень широкихъ предѣлахъ. Пусть кто какъ хочетъ оцѣниваетъ эти обращенія къ далекому прошлому, эти упованія на далекое будущее и эти рѣзкія нападки на человѣка, каковъ онъ въ данную минуту, но все это свидѣтельствуетъ объ убѣжденіи въ измѣнчивости человѣческой природы. Г. Мечникову, очевидно, не приходитъ въ голову это обстоятельство, такъ какъ онъ о немъ ни единымъ словомъ не упоминаетъ, да если-бы и пришло, такъ онъ имъ все-таки не удовлетворился-бы. Ему мало той измѣнчивости, которая предполагается проповѣдниками естественной жизни. Въ качествѣ яраго дарвиниста, который часто является plus darwiniste que Darwin lui même, онъ намѣчаетъ гораздо болѣе широкіе предѣлы измѣнчивости. Онъ напоминаетъ о происхожденіи человѣка отъ низшихъ животныхъ формъ и спрашиваетъ: въ чемъ-же состоитъ норма человѣческой природы? Собственно говоря, въ этомъ именно вопросѣ все дѣло. Если гре-

ческіе философы, дѣятели такъ называемой эпохи возрожденія и писатели конца прошлаго вѣка, искавшіе въ природѣ опоры или исходной точки для морали, не были знакомы съ теоріей Дарвина, то не знали вѣдь ея и представители средневѣковаго аскетизма; такъ что и они были далеки отъ пониманія измѣнчивости въ тѣхъ формахъ и размѣрахъ, какіе признаются нынѣ г. Мечниковымъ. Но имъ г. Мечниковъ это прощаетъ, а противоположному теченію не прощаетъ собственно потому, что оно старалось и старается опредѣлить норму человѣческаго развитія, аскетическія-же ученія ни о какой нормѣ не думали, а просто извращали и ломали человѣческую природу. И это г. Мечниковъ ставитъ имъ въ заслугу, потому что,—спрашиваетъ онъ,—какъ можно говорить о нормѣ, когда человѣкъ, подобно всякому организованному существу, представляетъ собою нѣчто измѣнчивое, текучее? Г. Мечниковъ утверждаетъ даже, что человѣкъ „принадлежитъ къ числу наиболѣе измѣнчивыхъ (такъ называемыхъ полиморфныхъ) видовъ“, вслѣдствіе чего онъ преимущественно находится въ процессѣ примѣненія къ постоянно измѣняющимся внѣшнимъ условіямъ. Съ этой точки зрѣнія г. Мечниковъ особенно не одобряетъ теорій гармоническаго, всесторонняго развитія, какъ-бы онѣ ни были обставлены и поставлены. Древній грекъ, Гумбольдтъ, современный естествоиспытатель Зейдлицъ, самъ Дарвинъ, если онъ проговаривается въ пользу гармоническаго развитія, гр. Толстой, отметающій всякихъ Зейдлицевъ и Дарвиновъ,—все это люди, равно виноватые въ непониманіи „истинной природы человѣка“, каковы-бы ни были ихъ исходныя точки, ихъ пріемы доказательства, степень ихъ познаній въ другихъ отношеніяхъ, характеръ ихъ взглядовъ на прошлую исторію человѣка. При всей дикости своихъ воззрѣній средневѣковые аскеты лучше понимали дѣло, потому что допускали возможность такихъ коренныхъ, глубокихъ измѣненій человѣческой природы, какихъ... какихъ видъ homo sapiens никогда не испытывалъ въ прошедшемъ и какія г. Мечниковъ прожектируетъ только для отдаленнаго будущаго, а, можетъ быть, впрочемъ, и не очень отдаленнаго...

Свои возраженія противъ теоріи гармоническаго или всесторонняго развитія г. Мечниковъ открываетъ указаніемъ на существованіе въ человѣческомъ организмѣ такъ называемыхъ рудиментарныхъ, заглохшихъ или глохнущихъ органовъ, доставшихся

ему по наслѣдству отъ какого-нибудь низшаго животнаго. Что же, спрашивается, и эти заглохшіе органы должны быть упражняемы во имя всесторонняго гармоническаго развитія всѣхъ силъ и способностей? Но вѣдь это значитъ понизить человѣческую природу, свести ее къ тому уровню, на которомъ она когда-то была, еще не будучи человѣческою. Этого-ли желаютъ теоретики гармоническаго развитія?

Аргументъ этотъ г. Мечниковъ считаетъ очень важнымъ. Онъ выставилъ его въ статьѣ „Очеркъ воззрѣній на человѣческую природу“ и безъ малаго черезъ пятнадцать лѣтъ повторилъ его въ статьѣ о гр. Толстомъ („Законъ жизни“). До такой степени повторился, что и фактическая часть аргументаціи за пятнадцать лѣтъ не наросла, такъ что г. Мечниковъ привелъ, значитъ, рѣшительно все, что могъ. А это „все“, надо правду сказать, довольно незначительно. Мы видѣли, что въ статьѣ „Законъ жизни“ г. Мечниковъ съ нѣкоторою подробностью останавливается только на сгибательныхъ и хватательныхъ мускулахъ ноги, утраченныхъ человѣкомъ, и иронически предлагаетъ гр. Толстому развивать и ихъ въ числѣ прочихъ органовъ. Мы видѣли также, однако, что эти мускулы вовсе не составляютъ необходимой принадлежности человѣческаго типа. Но если-бы мы и занялись ихъ упражненіемъ, то отъ этого еще никакой бѣды не произошло-бы. Въ № 3 „Revue Scientifique“ за нынѣшній годъ напечатана любопытная статья Реньо „Le pied prehensile des indiens“. Въ этой статьѣ говорится объ индусскихъ (а частью и египетскихъ) токаряхъ, сапожникахъ, мясникахъ, рабочихъ на мѣди и вообще по металлу и проч., которые работаютъ единовременно и руками, и ногами. И это не случайныя уродства, а обычный порядокъ для цѣлаго рабочаго населенія (одного такого египетскаго токаря я видѣлъ на вѣнской выставкѣ 1873 года и изумлялся рукоподобности его ноги). По соображеніямъ, которыя было-бы слишкомъ долго приводить, Реньо думаетъ, что хватательныя движенія ноги отнюдь не составляютъ въ данномъ случаѣ обезьяньяго наслѣдства, а выработаны уже человѣкомъ. Но никто, я полагаю, не скажетъ, что въ лицѣ индусовъ человѣческій типъ понизился. Такимъ образомъ, хватательная способность ноги составляетъ по отношенію къ человѣку признакъ безразличный. О другихъ рудиментарныхъ органахъ, вродѣ хвостоваго отростка или остатковъ шерстянаго покрова, нечего и говорить. О хвостѣ Дарвинъ за-

мѣчаетъ, что уже у нѣкоторыхъ родовъ обезьянъ онъ составляетъ безразличный органъ, вслѣдствіе чего въ этихъ родахъ и замѣчается чрезвычайная разница въ длинѣ хвостовъ. Что-же касается остатковъ шерстянаго покрова, то я напомню, что нѣкоторые средневѣковые аскеты, между прочимъ, никогда не стригли́сь, не брили́сь и не чеса́лись и, слѣдовательно, вполнѣ отдава́лись на этомъ пунктѣ „естественному“ ходу вещей. Но это не мѣшаетъ г. Мечникову видѣть въ нихъ не только людей, но еще людей, уловившихъ тайну своей природы.

Вообще, рудиментарные, или остаточные органы, при всей своей многочисленности нисколько не страшны для человѣческихъ идеаловъ и въ частности для идеала всесторонняго гармоническаго развитія. Г. Мечниковъ, по всей вѣроятности, приводитъ ихъ не въ качествѣ серьезной угрозы, а лишь какъ свидѣтельство измѣнчивости человѣческой природы. Но измѣнчивость эта не только не отрицается, а даже непремѣнно предполагается теоріей гармоническаго развитія. Точно также не отрицается, а предполагается его возможность и необходимость овладѣть этою силой измѣнчивости и направить ее въ извѣстную сторону. Разногласіе между г. Мечниковымъ и теоретиками гармоническаго развитія частью основано на недоразумѣніи, при томъ, чисто-словеснаго характера. Тутъ замѣшалось несчастное слово „естественность“, котораго, при всей его неопредѣленности и многосложности, избѣжать нельзя по самому существу дѣла. Отрицая это слово въ нравственно-политической области совсѣмъ, г. Мечниковъ апеллируетъ, однако, къ естественности-же, когда рѣчь заходитъ о его собственныхъ идеалахъ. Измѣнчивость представляется ему чѣмъ-то архи-естественнымъ, естественнымъ par excellence; поэтому онъ склоненъ не замѣчать, что его оппоненты отнюдь не отрицаютъ измѣнчивости и что настоящій корень разногласія состоитъ не въ отношеніяхъ той и другой стороны къ природѣ, а въ вопросѣ о возможныхъ и желательныхъ предѣлахъ и направленіи измѣнчивости. Но за-то это разногласіе огромно и непримиримо.

Есть группа явленій общественной жизни, въ такой степени занимающая г. Мечникова, что едва-ли не ради нея именно онъ въ теченіе многихъ лѣтъ такими малостями, какъ остатки хвоста и шерстянаго покрова, обезпокоивается, извращеніе всѣхъ при-

родныхъ инстинктовъ объявляетъ естественнымъ, а гармоническое развитіе неестественнымъ. Это — группа явленій, относящихся къ половой жизни во всѣхъ ея развѣтвленіяхъ; сюда относятся тѣсно соприкасающіеся вопросы о любви, о размноженіи, о женскомъ трудѣ и образованіи, о положеніи женщинъ вообще. Вопросы эти дѣйствительно очень важны, и мы должны быть благодарны человѣку науки, спускающемуся съ высотъ отвлеченнаго знанія для участія въ пререканіяхъ о вопросахъ практической жизни. Правда, насчетъ надобности и возможности этой помощи со стороны людей науки отнюдь не всѣ согласны. Есть не мало сознательныхъ или безсознательныхъ служителей мрака, громогласно или исподтишка утверждающихъ, что мы можемъ наилучшимъ образомъ устроиться въ своей практической жизни безъ всякихъ указаній науки, — дескать, чортъ съ ней! Одни предлагаютъ довольствоваться „любовью“, другіе рекомендуютъ, въ качествѣ панацеи, „дисциплину“, третьи—право, ужъ не знаю что. И не всегда благополучно бываетъ отъ этихъ проповѣдей. Но и сами люди науки далеко не вполнѣ согласны относительно своей роли въ нравственно-политической области (я только нравственно-политическую область и имѣю въ виду, потому что права и обязанности науки по отношенію къ другой великой вѣтви практической жизни — технологическихъ приспособленій всякаго рода — никакихъ пререканій не вызываютъ).

Въ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ отъ 6 и 19 февраля, то есть на протяженіи всего одной чортовой дюжины дней, я прочиталъ два рѣзко противоположныя мнѣнія двухъ профессоровъ харьковскаго университета, гг. Куликовскаго и Владимірова. Въ № отъ 6 февраля напечатана рѣчь проф. Владимірова, въ № отъ 19 февраля напечатанъ фельетонъ („Литературныя замѣтки“) г. Куликовскаго, мотивированный одною изъ моихъ бесѣдъ о гр. Толстомъ. Г. Владиміровъ, оглядываясь на свое двадцати-пятилѣтнее служеніе университетской наукѣ, упоминаетъ, между прочимъ, о томъ значеніи, которое онъ въ разное время придавалъ университетамъ. Первоначально онъ держался мнѣнія Милля: „задача университета состоитъ въ развитіи духа изслѣдованія въ странѣ“. Затѣмъ это опредѣленіе показалось ему слишкомъ узкимъ и неопредѣленнымъ. Онъ рѣшилъ такъ: „университетъ, какъ хранилище всѣхъ отраслей человѣческаго знанія, какъ universitas scientiarum, даетъ болѣе общее, разностороннее и обще-

человѣческое развитіе и содѣйствуетъ выработкѣ цѣльнаго міросозерцанія". Нынѣ г. Владиміровъ полагаетъ, что и эта задача страдаетъ неполнотою и односторонностью; онъ полагаетъ, что университетъ долженъ взять на себя еще одну важную задачу. И именно вотъ какую: „Никогда еще внѣшняя жизнь человѣка не была такъ богата и украшена удобствами и изобрѣтеніями, какъ въ нашу эпоху... Но между тѣмъ какъ внѣшняя жизнь дѣлаетъ гигантскіе шаги впередъ, внутренняя жизнь, жизнь человѣческой души, не дѣлаетъ въ обширной массѣ народа успѣховъ... Электричество горитъ все ярче и ярче, а потемки человѣческой души все болѣе и болѣе сгущаются! Не указываетъ-ли такое положеніе вещей на новую задачу стараго университета? Не долженъ-ли старый университетъ развернуть новое знамя, поставивъ на немъ девизомъ: нравственное усовершенствованіе, просвѣщеніе человѣческой души? Между тѣмъ какъ церковь стремится достичь этой цѣли путемъ религіи, не долженъ-ли университетъ просвѣщать душу выработкою нравственныхъ идеаловъ, обсужденіемъ моральныхъ вопросовъ, научною разработкой вопросовъ жизни? Я лично глубоко убѣжденъ, что университетъ долженъ поднять это знамя, долженъ обновить свое существованіе этою великою задачей. Просвѣщеніе человѣческой души должно сдѣлаться миссіею университета, и онъ опять станетъ во главѣ движенія человѣчества къ большему совершенству".

Нельзя сказать, чтобы это разсужденіе г. Владимірова было вполнѣ безупречно. Позволительно думать,—и въ настоящую минуту больше, чѣмъ когда-нибудь,—что не одна „внутренняя жизнь, жизнь человѣческой души, не дѣлаетъ въ обширной массѣ народа успѣховъ". „Обширную массу народа" „гигантскіе шаги внѣшней жизни" не къ чрезмѣрному комфорту, а къ хлѣбу изъ лебеды, да къ избѣ безъ крыши привели. Затѣмъ было-бы, можетъ быть, правильнѣе, не пріурочивать миссію „просвѣщенія человѣческой души" исключительно къ университетамъ, а распространить ее на науку вообще. Какъ-бы то ни было, но вотъ представитель науки желаетъ возложить на науку „выработку нравственныхъ идеаловъ, обсужденіе моральныхъ вопросовъ, разработку вопросовъ жизни". Совсѣмъ иначе смотритъ на дѣло другой представитель науки, г. Куликовскій, быть можетъ, ближайшій сосѣдъ г. Владимірова по аудиторіямъ въ харьковскомъ университетѣ. Онъ говоритъ: „Къ міру субъективному, міру стра-

стей и интересовъ жизни, отношенія науки сводятся, главнымъ образомъ, къ тому, что отъ времени до времени онъ бросаетъ этому міру то или другое полезное изобрѣтеніе, телеграфъ, телефонъ, примѣненіе пара, практическую медицину, разные благіе совѣты — гигіены, практической политики, политической экономіи и т. д.". И далѣе: „Наука никакихъ нравственныхъ ученій не провозглашаетъ, но, безъ сомнѣнія, въ далекомъ будущемъ обновитъ міръ, то-есть человѣчество, именно въ нравственномъ отношеніи; ибо она вращается въ сферѣ объективнаго, а рѣшеніе нравственной проблемы и, что еще важнѣе, моральное воспитаніе человѣчества, совершенно такъ же, какъ и его умственное воспитаніе, осуществляется постепенно, вѣками, путемъ развитія и усовершенствованія объективныхъ сторонъ нашего духа,— иными словами, нравственный ростъ человѣчества есть ростъ его разума".

Итакъ, наука г. Владимірова хочетъ просвѣтить насъ прямою выработкой нравственныхъ идеаловъ и обсужденіемъ моральныхъ вопросовъ, а наука г. Куликовскаго согласна только бросать „субъективному міру" время отъ времени какое-нибудь полезное изобрѣтеніе и никакими нравственными идеалами заниматься не хочетъ. И то, и другое очень гордо, но гордость науки г. Владимірова кажется мнѣ гораздо болѣе симпатичною. И не только болѣе симпатичною, но и болѣе основательною. Нравственный идеалъ есть вѣдь тоже своего рода „полезное изобрѣтеніе", такъ что не видно, почему-бы и его, хотя-бы наравнѣ съ телеграфомъ и телефономъ, не могла намъ, простымъ смертнымъ, „бросить" наука. Разумѣю науку вообще, какъ разумѣетъ г. Куликовскій, а не тѣ, конечно, ея отрасли, которыя, по самой задачѣ своей, не могутъ предоставить „субъективному міру" ничего, кромѣ телеграфа, телефона, бездымнаго пороха или пушки, стрѣляющей на двадцать верстъ (не знаю, почему г. Куликовскій не помянулъ этихъ послѣднихъ „полезныхъ изобрѣтеній, — ихъ вѣдь тоже выбросила субъективному міру наука). Въ томъ субъективномъ мірѣ, который столь величественно презирается г. Куликовскимъ, бродятъ силы, ищущія свѣта, а наука г. Куликовскаго говоритъ имъ: ищите, кипите въ волненіяхъ страстей и интересовъ, устраивайтесь какъ знаете, я вамъ не помощница въ данную минуту, но пройдутъ вѣка, и вашихъ правнуковъ и пра-правнуковъ я обновлю въ нрав-

ственномъ отношеніи, просвѣтивъ ихъ разумъ. На такое категорическое заявленіе возражать нечего, даже въ томъ случаѣ, если-бы было доказано,—а это отнюдь не доказано, — что нравственный ростъ человѣчества есть ростъ его разума. Насильно милъ не будешь, но, въ такомъ случаѣ, не надо удивляться, если „субъективный міръ страстей и интересовъ жизни“, въ свою очередь, не хочетъ знать науки и употребляетъ бросаемые ему телеграфы и усовершенствованныя ружья иногда съ цѣлями, для поступательнаго хода науки неудобными. Это случается слишкомъ часто.

Къ счастью, гордость представителей науки не всегда направлена въ ту сторону, которую рекомендуетъ г. Куликовскій. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и горячій призывъ г. Владимірова. И, конечно, мы можемъ только желать, чтобы на этотъ призывъ поскорѣе откликнулось возможно большее число собратовъ г. Владимірова по профессіи, чтобы благая мысль поскорѣе перешла въ благое дѣло. Не надо, однако, скрывать отъ себя и нѣкоторыхъ опасностей такого поворота. Собственно говоря, та величественная отчужденность, какая рисуется взору г. Куликовскаго, далеко не вполнѣ осуществляется и теперь. Самый фельетонъ г. Куликовскаго, хотя и не заключающій въ себѣ никакого „полезнаго изобрѣтенія“, есть уже нѣкоторое вмѣшательство въ субъективный міръ, міръ страстей и интересовъ жизни. Да и вообще высушить себя до полной величественности не всякому удастся. Если даже правда, что наука, какъ таковая, имѣетъ дѣло, по выраженію г. Куликовскаго, только съ „объективными сторонами нашего духа“, то въ ея живыхъ, конкретныхъ представителяхъ, все-таки остается мѣсто и для страстей, и интересовъ жизни. Натурально ждать руководящихъ указаній отъ этихъ просвѣтленныхъ знаніемъ и изощренныхъ размышленіемъ умовъ. Мы и знаемъ цѣлый рядъ оффиціальныхъ представителей науки, не отказывающихся принимать участіе въ жизненныхъ тревогахъ путемъ періодической печати и, поскольку возможно, устнаго слова. Не всегда, къ сожалѣнію, это вмѣшательство людей науки въ дѣло жизни можно признать удачнымъ. Многимъ, вѣроятно, еще памятна шумная исторія профессора Цитовича, который взялся отъ лица науки упорядочить нашъ міръ страстей и интересовъ жизни, но, не смотря на исключительно сильную поддержку, не расцвѣлъ и отцвѣлъ,

и не съ честью замолкъ. Другимъ примѣромъ можетъ служить нашъ знаменитый химикъ г. Менделѣевъ, голосъ котораго и посейчасъ не умолкаетъ въ области экономическихъ идеаловъ, вызывая, однако, лишь недоумѣніе своею фальшивостью. Но голосъ г. Менделѣева фальшивитъ потому, что онъ поетъ совсѣмъ ему чужую, незнакомую арію, въ которой совершенно не при чемъ его заслуженно-громкая репутація человѣка науки, завоеванная имъ въ совершенно иной спеціальной области; а г. Цитовичъ хотя и говорилъ отъ лица науки, но ею даже и не пахло въ его надѣлавшихъ въ свое время шуму брошюрахъ и быстро исчезнувшей газетѣ. Подобные случаи еще ничего не говорятъ противъ вмѣшательства представителей науки въ міръ страстей и интересовъ жизни: это не наука вмѣшивается, а или, напротивъ, прямо-таки незнаніе, или не дисциплинированныя житейскія силы весьма невысокаго полета. Есть, однако, опасности, грозящія вмѣшательству вполнѣ искреннихъ и дѣйствительно свѣдущихъ представителей науки.

Наука безъ всякихъ нравственныхъ ученій „въ далекомъ будущемъ обновитъ міръ, то-есть человѣчество, именно въ нравственномъ отношеніи“, ибо „нравственный ростъ человѣчества есть ростъ его разума“. Эта увѣренность г. Куликовскаго есть самоувѣренность, и, при томъ, очень типичная. Метафизикъ, въ качествѣ спеціалиста по части выработки идей, чистыхъ отъ опытно-наблюдательной примѣси, довольно легко можетъ придти къ такому, напримѣръ, заключенію, что весь міръ есть не что иное, какъ саморазвивающаяся идея. Художникъ, если онъ поклонникъ такъ называемой чистой красоты, охотно повторитъ слова г. Куликовскаго, только съ замѣной одного слова другимъ. Онъ скажетъ: „искусство безъ всякихъ нравственныхъ ученій въ далекомъ будущемъ обновитъ міръ, то-есть человѣчество, именно въ нравственномъ отношеніи“. Техникъ скажетъ, примѣрно, то-же самое, съ новою замѣной одного слова другимъ. Примѣры метафизика, съ одной стороны, и художника или техника—съ другой, я ставлю за одну скобку въ томъ смыслѣ, что такъ или иначе, въ теоріи или въ практикѣ, человѣкъ склоненъ непомѣрно преувеличивать значеніе своей спеціальности и подавлять ею всѣ другія стороны жизни. Припомните только гётевскаго Вагнера, который въ первой части „Фауста“ рисуется узкимъ, но добросовѣстнымъ труженикомъ науки, а во второй части „бросаетъ субъективному міру

страстей и интересовъ жизни полезное изобрѣтеніе“—химическій способъ производства людей. Онъ необычайно гордъ своимъ открытіемъ: любовь со всѣми ея чарами,—любовь, эта могучая сила, поднимающая человѣка къ вершинамъ идеала и низвергающая его въ уличную грязь,—все это eitle Possen для Вагнера. Наука можетъ вполнѣ замѣнить функцію любви и обезпечить существованіе человѣческаго рода нѣкоторыми лабораторными пріемами. Бѣдный Вагнеръ! Созданный имъ лабораторный Homunculus оказался неблагодарнѣйшимъ существомъ, а потомство продолжаетъ производить дѣтей прежнимъ, не научнымъ способомъ, wie sonst das Zeugen Mode war. Самъ-же Вагнеръ навсегда остался типомъ самоувѣреннаго человѣка науки, подсовывающаго человѣчеству свои собственныя спеціальныя цѣли и полагающаго достоинство человѣка въ замѣнѣ всего житейскаго, какъ-бы оно ни было дорого, научнымъ.

Г. Мечниковъ не раздѣляетъ, повидимому, мнѣнія г. Куликовскаго относительно роли науки въ дѣлѣ выработки нравственныхъ идеаловъ. Онъ предлагаетъ нѣкоторое „полезное изобрѣтеніе“, на которое мы сейчасъ посмотримъ ближе, но именно предлагаетъ, а не „бросаетъ“; онъ не презрительно, а, напротивъ, участливо относится къ субъективному міру и не отказывается помочь намъ въ обсужденіи нравственно-политическихъ вопросовъ съ точки зрѣнія идеаловъ. Онъ даже, какъ мы видѣли, съ особенною силой настаиваетъ на этой точкѣ зрѣнія. Тѣмъ не менѣе, и онъ, подобно г. Куликовскому, а можетъ быть даже подобно Вагнеру, склоненъ вытѣснять всѣ стороны жизни функціей познанія. Онъ говоритъ въ статьѣ „Законъ жизни“: Выводъ, сдѣланный болѣе тридцати лѣтъ назадъ Боклемъ въ результатѣ обзора пути, пройденнаго человѣчествомъ, подтверждается съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Самые прочные успѣхи, добытые людьми, это именно тѣ, которые совершены при помощи положительнаго знанія. Самыя серьезныя надежды, которыя можно лелѣять, должны быть возложены на дальнѣйшіе успѣхи въ той же области. Отсюда ясно, что непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать этимъ успѣхамъ“.

Все это несравненно легче сказать, чѣмъ доказать. Выводъ Бокля, о которомъ говоритъ г. Мечниковъ, состоялъ въ томъ, что поступательный ходъ цивилизаціи обусловливается исключи-

тельно накопленіемъ знаній и вообще умственнымъ развитіемъ такъ какъ нравственный элементъ неподвиженъ. Я говорю въ прошедшемъ времени: выводъ Бокля *состоялъ*, — потому что, въ противность мнѣнію г. Мечникова, полагаю, что выводъ этотъ отнюдь не подтверждается фактическимъ ходомъ событій. Въ „Исторіи матеріализма“ Ланге (396 стр. II тома русскаго перевода) читатель найдетъ остроумныя доказательства односторонности этого вывода. Я, съ своей стороны, обращу вниманіе читателей лишь на одну подробность вывода Бокля, могущую вызвать только улыбку, хотя, конечно, очень грустную. Бокль писалъ свою знаменитую книгу во время крымской войны и съ торжествомъ говорилъ: „Для характеристики современнаго общественнаго состоянія въ высшей степени важно, что миръ, безпримѣрно продолжительный, прерванъ не такъ, какъ прежде, ссорой между двумя образованными народами, но нападеніемъ необразованной Россіи на еще болѣе необразованную Турцію“. Правда, въ войнѣ приняли участіе такія просвѣщенныя націи, какъ Англія и Франція, но „теперь развитіе такъ сильно, что оба народа, отложивъ злостную и раздражительную зависть, съ которою прежде смотрѣли другъ на друга, соединились въ общемъ дѣлѣ и вынули мечъ не для эгоистическихъ цѣлей, а для защиты цивилизаціи отъ враждебныхъ варваровъ“. Съ 1855 года, когда были написаны эти наивныя строки, положительныя знанія достигли колоссальныхъ успѣховъ, но это не помѣшало цѣлому ряду войнъ между „образованными“ народами. И самая ужасная изъ этихъ войнъ произошла между образованнѣйшими націями, и вотъ уже двадцать лѣтъ прошло послѣ этой страшной схватки, а ощетинившаяся штыками Европа все еще не можетъ успокоиться и готовится къ новой, еще болѣе страшной схваткѣ. Въ ожиданіи ея, знанія продолжаютъ расти, и не только въ ожиданіи, а частью даже въ видахъ ея: каждая европейская страна старается изучить географію и языкъ сосѣдней страны, дѣлаетъ опыты воздухоплаванія съ военными цѣлями, вводитъ у себя бездымный порохъ и прочія „полезныя изобрѣтенія“, готовится примѣнить къ дѣлу разрушенія и убійства электричество, телефонъ. Съ этой точки зрѣнія не только не подтверждается выводъ Бокля, а, напротивъ, знаніе, образованность являются служителями и пособниками враждебныхъ цивилизаціи, звѣрскихъ инстинктовъ.

Скажутъ, можетъ быть, что не все-же такую роль играетъ

наука; укажутъ на такія ея отрасли, которыя расширяютъ наши горизонты, чисто-теоретически уясняя намъ наше мѣсто въ природѣ и уничтожая предразсудки,—на другія отрасли, явно способствующія мирнымъ цѣлямъ здоровья, матеріальнаго благосостоянія, вообще человѣческаго счастія. Это безспорно. Однако, и здѣсь значеніе науки или образованности существенно опредѣляется характеромъ даннаго общественнаго строя и заложенныхъ въ немъ нравственныхъ идеаловъ. Разливъ просвѣщенія въ массѣ зависитъ отъ распредѣленія труда и богатства между различными классами населенія. Велика сила науки, — она даетъ человѣку власть надъ природой, но не абстрактному человѣку, а такому, который, по условіямъ своего общественнаго положенія, можетъ воспользоваться этою властью. Велика сила науки, но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что, — какъ говоритъ г. Мечниковъ, —„непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія“. Я не совсѣмъ понимаю, что означаетъ въ этой фразѣ слово „непосредственный“; но, очевидно, г. Мечниковъ влагаетъ въ него какой-то исключительно значительный смыслъ, едва-ли въ данномъ случаѣ умѣстный. Въ „Очеркѣ воззрѣній на человѣческую природу“ г. Мечниковъ говоритъ, что „цѣль человѣческой жизни состоитъ въ достиженіи наивозможно большаго общаго блага или счастія въ самомъ широкомъ смыслѣ слова“. Знаніе, безспорно, можетъ и должно способствовать достиженію этой общей цѣли, знаніе и само по себѣ составляетъ извѣстную частную цѣль и представляетъ собою извѣстное благо, потому что удовлетворяетъ самостоятельной познавательной потребности человѣческой природы. Но рядомъ съ этою потребностью существуютъ и другія, столь-же самостоятельныя, а слѣдовательно, и другія частныя цѣли. Желательно, чтобы всѣ эти частныя цѣли другъ другу помогали, и, безъ сомнѣнія, знанію, наукѣ предстоитъ въ этомъ дѣлѣ огромная роль. Но наука должна, въ согласіи съ другими частными цѣлями, именно помогать общей цѣли, а не заслонять все собою, не замѣщать собою всѣ другія потребности и частныя цѣли. Если я хочу ѣсть, то знаніе можетъ мнѣ помочь въ розысканіи или приготовленіи пищи, но накормить меня знаніемъ нельзя, — это такой суррогатъ пищи, который и по нынѣшнимъ труднымъ временамъ никто голодному мужику не рѣшится предложить. Не доходя до такого явнаго

абсурда, люди науки бываютъ, однако, склонны поглощать потребностью и функціей познанія другія потребности и функціи.

Вотъ почему, горячо привѣтствуя призывъ г. Владимірова, слѣдуетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, желать, чтобы вмѣшательство людей науки въ субъективный міръ страстей и интересовъ жизни было произведено съ нѣкоторою осмотрительностью, чтобы это было даже не вмѣшательство, а взаимодѣйствіе. Примѣръ Бокля, о которомъ г. Мечниковъ упомянулъ столь неосторожно, въ высокой степени поучителенъ. Серьезный, трудолюбивый, можно сказать, обремененный знаніемъ мыслитель, прогремѣвшій своею книгой на весь цивилизованный міръ, при томъ спеціальный врагъ легковѣрія, оказался до смѣшного легковѣренъ. Подобные случаи, конечно, не способствуютъ укрѣпленію авторитета науки, хотя именно его то Бокль и хотѣлъ укрѣпить. И если, по какому-то странному недоразумѣнію, г. Мечниковъ, вопреки кроваво-яркой очевидности, съ побѣдоноснымъ видомъ ссылается на несчастный выводъ Бокля, то это показываетъ только, какъ много должны поработать надъ собой люди науки, прежде чѣмъ вмѣшаться въ дѣло жизни. Они должны проникнуться сознаніемъ, что наука есть лишь одинъ изъ факторовъ жизни, безспорно, въ высокой степени важный; что жизнь, слагающаяся изъ многихъ факторовъ, въ цѣломъ несравненно сильнѣе науки. Данная форма житейскихъ отношеній,—международныхъ, политическихъ, соціальныхъ, семейныхъ, — можетъ, конечно, видоизмѣняться подъ прямымъ вліяніемъ положительныхъ знаній, но это видоизмѣненіе происходитъ крайне медленно, съ періодическими задержками и пріостановками; наоборотъ, съ чрезвычайною быстротой всякая данная форма житейскихъ отношеній обращаетъ въ свою пользу результаты науки, ассимилируетъ ихъ. Взаимную ненависть французовъ и нѣмцевъ не сгладили вѣка просвѣщенія; наоборотъ, всякое научное открытіе, каждый шагъ науки впередъ, если его можно будетъ утилизировать съ цѣлями убійства и разрушенія, завтра-же будетъ пущенъ въ ходъ и нѣмцами, и французами. Люди науки должны поэтому бросить мечту, что просвѣщеніе само по себѣ, безъ всякой сторонней помощи, приведетъ все къ наилучшему концу. Эта мечта столько-же надменная, сколько и неосновательная, какъ-бы ни любовался г. Мечниковъ выводомъ Бокля и какъ-бы ни презиралъ г. Куликовскій субъективный міръ страстей и интересовъ жизни. Но г. Куликовскій до такой степени

твердъ въ своемъ презрѣніи къ субъективному міру, что довольствуется швыряніемъ полезныхъ изобрѣтеній въ толпу непросвѣщенной черни, предоставляя ей распоряжаться этими изобрѣтеніями какъ ей угодно. Г. же Мечниковъ находится, повидимому, совсѣмъ въ иномъ положеніи. Онъ говоритъ о нравственныхъ идеалахъ, онъ желаетъ путемъ науки поспособствовать возникновенію новыхъ, лучшихъ формъ житейскихъ отношеній. Великую, архи-естественную силу измѣнчивости онъ желаетъ направить въ русло извѣстнаго нравственно-политическаго идеала. Дѣло не обходится при этомъ безъ нѣкотораго „полезнаго изобрѣтенія“, но, какъ уже сказано, г. Мечниковъ не „бросаетъ“ его субъективному міру безъ дальнѣйшихъ о немъ заботъ, а сопровождаетъ своими указаніями и мотивами.

Любовь есть источникъ многихъ радостей, блеска жизни, возвышенныхъ настроеній, самоотверженныхъ поступковъ. По словамъ Шиллера, „не любовью-ль мы равны богамъ?“ Ссылаясь на эти слова великаго нѣмецкаго поэта, я отнюдь, впрочемъ, не думаю, чтобы сильнѣе этого не сказали чего-нибудь о счастьи любви тотъ же Шиллеръ и другіе поэты разныхъ калибровъ. Просто вспомнилось уравненіе человѣка съ богами любовью. А на пересмотръ всего, сказаннаго на эту тему даже только первостепенными поэтами, пришлось-бы употребить, пожалуй, нѣсколько дней. Немудрено: поэты ищутъ красоты, а уже въ растительномъ мірѣ порѣ любви соотвѣтствуютъ особенно красивыя формы, яркія краски, сильные ароматы. Въ животномъ мірѣ къ этимъ красотамъ присоединяется еще красота звуковъ,—влюбленному соловью сами поэты могутъ позавидовать. Человѣкъ тоже экстренно принаряжается въ пору любви, душой и тѣломъ принаряжается, всѣмъ своимъ существомъ чувствуя наступленіе праздника жизни. Однако, поэты не мало стиховъ посвятили и оборотной сторонѣ медали: печалямъ и мукамъ любви. Любовь безъ взаимности, муки ревности, невольная разлука, разочарованіе, неудовлетворенность любви,—все это „давно описано, воспѣто“. Въ преддверіи „Книги пѣсенъ“ Гейне лежитъ чудовищно-прекрасный символъ любви, Сфинксъ. Онъ есть ein Zwitter von Schrecken und Lüsten, и въ объятіяхъ этого загадочнаго существа поэтъ испытываетъ entzückende Marter und wonniges Weh (муки восторга и сладкую

боль),—der Schmerz wie die Lust unermesslich! Но поэтическія воспроизведенія оборотной стороны медали любви страдаютъ излишествомъ красоты. Перерабатывая житейскіе факты въ горнилѣ своего вдохновенія, поэты ищутъ и находятъ даже особенную красоту въ этомъ сочетаніи контрастовъ—скорби и счастья, восторга и боли. Кстати-же, „любовь“ и „кровь“, Herz и Schmerz, charmes и larmes такъ хорошо риѳмуются (я нарочно просмотрѣлъ для образчика нѣсколько большихъ и малыхъ пьесъ Альфреда Мюссе и ни разу не наткнулся на иную риѳму къ charmes, какъ larmes, за-то эта риѳма попадалась очень часто). Въ жизни, однако, не всегда это такъ красиво выходитъ. Обдавая человѣка своею чарующею волной, любовь сообщаетъ ему (или ей) иногда высокій подъемъ духа и дѣлаетъ его борцомъ и творцомъ въ лучшемъ смыслѣ этихъ словъ. Тогда, какъ говоритъ у Тургенева Шубинъ объ Инсаровѣ и Еленѣ, „натянуты струны,—звени на весь міръ или порвись!“ Но изъ того-же корня ростутъ и другіе цвѣты—ядовитые, гнусные, мелкіе, безобразные, забрызганные грязью. На нихъ уже есть намеки въ той „Травіатѣ“, которую Инсаровъ и Елена сочувственно слушали въ Венеціи. Но и „Травіата“ подкрашена поэзіей. Любовь слишкомъ часто въ дребезги разбиваетъ сердце при самыхъ гнусныхъ, отнюдь не поэтическихъ условіяхъ и низвергаетъ человѣка въ бездонные омуты всяческой мерзости и превращаетъ его въ существо хуже всякаго звѣря. Пестрая картина счастья и скорби, подвиговъ и преступленій станетъ еще ярче и пестрѣе, если мы введемъ въ нее естественное послѣдствіе любви — дѣтей. Немудрено поэтому, что человѣчество не довольствуется поэтическими откликами на радостную и скорбную стороны дѣла, а издревле ищетъ какого-нибудь выхода. Ищетъ его и г. Мечниковъ.

Въ качествѣ дарвиниста г. Мечниковъ не могъ, разумѣется, обойти основной терминъ дарвинизма, заимствованный имъ у Мальтуса, — несоотвѣтствіе силы размноженія съ размѣромъ средствъ существованія. Это—первая дисгармонія, развитая по волѣ органической природы и ясно свидѣтельствующая, что „естественный“ еще не значитъ благодѣтельный, разумный, правильный съ человѣческой точки зрѣнія. Г. Мечниковъ не останавливается, однако, долго на этой коренной дисгармоніи и отмѣчаетъ только сознательныя старанія человѣка устранить, сгла-

дить ее. „Съ этою цѣлью, — говоритъ онъ, — человѣкъ или старается увеличить свои средства, или-же замедляетъ вступленіе въ бракъ, или, наконецъ, искусственнымъ путемъ уменьшаетъ число рожденій. Только тѣ люди одерживаютъ побѣду въ борьбѣ за существованіе, которые слѣдуютъ по одному изъ этихъ путей; безпечные-же люди оказываются въ числѣ побѣжденныхъ. Такимъ образомъ, въ человѣческомъ мірѣ сознаніе и воля являются факторами подбора, который въ мірѣ остальныхъ организмовъ справляется безъ нихъ, и основной разладъ устраняется при помощи самого человѣка, активнѣйшаго изъ всѣхъ живыхъ существъ“ („Очеркъ воззрѣній на человѣческую природу“).

Итакъ, природа вложила въ насъ, наравнѣ съ прочими живыми существами, чрезмѣрную жажду любви, результатомъ которой является чрезмѣрное размноженіе. Отсюда многоразличныя драмы, уловленныя и не уловленныя поэтами. Въ животномъ мірѣ всѣ эти драмы сливаются, какъ рѣки въ море, въ одну общую, страшную, но, съ дарвинистской точки зрѣнія, благодѣтельную: принаряженные любовью самцы дерутся изъ-за самки и одолѣваютъ сильнѣйшіе, болѣе ловкіе или вообще наиболѣе приспособленные; изъ продуктовъ любви, достигающихъ числомъ иногда до сотенъ тысячъ и милліоновъ, выживаютъ опять-таки лучшіе, сильнѣйшіе, и, такимъ образомъ, изъ тысячъ и тысячъ насильственныхъ смертей возникаетъ лучшая, высшая жизнь. Нѣкоторые дарвинисты желаютъ или, по крайней мѣрѣ, желали распространить этотъ двумысленно-утѣшительный выводъ и на человѣчество. Но г. Мечниковъ добрѣе (Мальтусъ тоже былъ добрѣе). Онъ желаетъ, чтобы человѣчество, по возможности, избѣгало благодѣтельной драмы борьбы за существованіе, и указываетъ для этого три пути, которыми, впрочемъ, люди и раньше пробовали пользоваться: во-первыхъ, увеличеніе средствъ существованія; во-вторыхъ, замедленіе вступленія въ бракъ и, въ-третьихъ, искусственное уменьшеніе числа рожденій.

Вопроса объ увеличеніи средствъ существованія г. Мечниковъ совсѣмъ не касается, только упоминаетъ о немъ, вѣроятно, полагая себя недостаточно компетентнымъ. За-то второму и третьему пункту удѣляетъ много вниманія. Второму пункту— замедленію вступленія въ бракъ — онъ посвятилъ спеціальное изслѣдованіе „Возрастъ вступленія въ бракъ“ („Вѣстникъ Европы“ 1874 г.); третьимъ пунктомъ — искусственнымъ уменьшеніемъ

числа рожденій — занятъ онъ преимущественно въ статьѣ о гр. Толстомъ.

Главный интересъ статьи „Возрастъ вступленія въ бракъ“ состоитъ въ указаніи на существованіе дисгармоніи въ развитіи человѣка. Моментъ половой зрѣлости (психически выражающейся первыми порывами любви), моментъ общей физической зрѣлости и моментъ вступленія въ бракъ не всегда совпадаютъ, хотя они всѣ имѣютъ одну и ту-же цѣль—удовлетвореніе стремленія къ поддержанію вида (размноженіе). Такъ, напримѣръ, дѣвушка можетъ достигнуть половой зрѣлости, что выражается вполнѣ опредѣленными физіологическими явленіями, а въ ея общемъ физическомъ развитіи можетъ къ этому времени еще не хватить достаточнаго для плодоношенія развитія тазовыхъ костей; или-же она можетъ, достигнувъ полной зрѣлости въ обоихъ этихъ отношеніяхъ, въ теченіе многихъ лѣтъ оставаться дѣвственницею. Точно также, какъ всѣмъ извѣстно, и мужчина вступаетъ въ бракъ не тотчасъ по достиженіи половой зрѣлости, а иногда всю жизнь остается холостякомъ. „Эти промежутки,—говоритъ г. Мечниковъ,—означающіе неравномѣрное, и, слѣдовательно, неодновременное развитіе аппаратовъ, служащихъ для одной и той-же цѣли, составляютъ доказательство существованія дисгармоніи въ развитіи человѣка“. Въ жизни эти „дисгармоническіе періоды“, какъ обстоятельно и справедливо доказываетъ г. Мечниковъ, отражаются усиленною смертностью, самоубійствами, преступленіями, душевными болѣзнями,—словомъ, цѣлымъ рядомъ драмъ, зависящихъ отъ неудовлетворенія или неправильнаго удовлетворенія потребности любви.

Надо замѣтить, что на дисгармоническіе періоды, какъ они освѣщаются въ статьѣ „Возрастъ вступленія въ бракъ“, г. Мечниковъ ссылается и въ послѣдующихъ своихъ статьяхъ. Онъ видитъ въ этой дисгармоніи одинъ, и едва-ли не самый важный, изъ фактическихъ камней преткновенія для теоріи гармоническаго развитія и для ссылокъ на человѣческую природу, какъ на образецъ и руководство. Какъ можно искать руководства въ „естественныхъ“ процессахъ, когда они отражаются въ жизни тяжелыми и кровавыми драмами? И какъ, въ особенности, можно возлагать надежды на гармоническое развитіе, когда въ самой природѣ человѣка заложена такая рѣшительная дисгармонія? На это теоретики гармоническаго развитія могли-бы, однако, возра-

зить: ну, такъ что-жъ?—надо, значитъ, замѣнить дисгармонію гармоніей, хотя-бы и вопреки естеству. Но дѣло-то въ томъ, что приглядываясь къ дисгармоническимъ періодамъ г. Мечникова ближе, мы увидимъ, что естество, природа человѣка тутъ не при чемъ или почти не при чемъ. Спрашивается, какіе такіе „аппараты“ развиваются при вступленіи человѣка въ бракъ — аппараты, запаздываніе которыхъ вызываетъ одинъ изъ дисгармоническихъ періодовъ? Для ясности остановимся на одной изъ фактическихъ иллюстрацій г. Мечникова. У нѣкоторыхъ африканскихъ негровъ браки совершаются очень рано, вскорѣ послѣ наступленія половой зрѣлости; но все-таки жениться негръ можетъ не раньше, какъ ставши „собственникомъ нѣсколькихъ трубокъ, стула, сундука, выстроивши избу и поймавши плѣннаго“. Промежутокъ между моментомъ наступленія половой зрѣлости и моментомъ вступленія въ бракъ, то-есть моментомъ пріобрѣтенія нѣсколькихъ трубокъ и проч., есть дисгармоническій періодъ, чреватый драмами. Послѣднее понятно: дикій негръ, въ которомъ проснулась физіологическая основа любви, долженъ подчиниться стѣснительному обычаю и добывать трубки, строить избу, ловить плѣннаго; онъ легко можетъ не выдержать и совершить преступленіе или съ отчаянія дойти до психическаго разстройства. Но если трубки и сундукъ и можно въ извѣстномъ смыслѣ назвать „аппаратами“, такъ вѣдь не въ природѣ-же человѣка онѣ заложены, трубки-то? Такъ и въ нашемъ быту. Половая зрѣлость для какого-нибудь Иванова или Петрова наступаетъ лѣтъ въ 15, а въ бракъ онъ, по соображеніямъ о средствахъ содержанія семьи, вступаетъ, положимъ, въ 30 лѣтъ, когда получитъ мѣсто столоначальника. Пятнадцатилѣтній промежутокъ между возрастомъ половой зрѣлости и возрастомъ вступленія въ бракъ есть дисгармоническій періодъ, наполненный опасностями тоски, разврата, болѣзней, но Ивановъ дожидается не развитія какихъ-нибудь „аппаратовъ“ своего организма, а просто мѣста столоначальника или невѣсты съ приданымъ. Не природа человѣка, а извѣстныя условія общежитія вызываютъ большинство драмъ любви, и г. Мечниковъ, обвиняя природу, валитъ съ больной головы на здоровую, по крайней мѣрѣ, на этомъ пунктѣ. Онъ, впрочемъ, и самъ приводитъ любопытные факты и даже дѣлаетъ любопытныя обобщенія, опровергающія его обвинительный актъ противъ природы по вопросу о дисгармоническихъ

явленіяхъ половой жизни. На основаніи длиннаго ряда этнографическихъ и статистическихъ данныхъ, онъ приходитъ къ заключенію, что дисгармоническіе періоды ростутъ вмѣстѣ съ цивилизаціей; у дикарей они, вообще говоря, отсутствуютъ, а у цивилизованныхъ народовъ болѣе или менѣе продолжительны; у низшихъ классовъ въ цивилизованныхъ странахъ они короче, чѣмъ у высшихъ, у сельскаго населенія короче, чѣмъ у городского. Значитъ, по крайней мѣрѣ, этотъ изъянъ зависитъ не отъ природы человѣка, а отъ какихъ-то неправильностей въ культурѣ, въ формахъ общественности. Мѣсто столоначальника, невѣсту съ приданымъ, табачныя трубки, сундуки нельзя ставить въ прямой счетъ человѣческой природѣ. Это до такой степени вѣрно, что самъ г. Мечниковъ говоритъ: „Изъ того, что европейскія цивилизаціи сопровождаются опредѣленными видоизмѣненіями семейной жизни, еще не слѣдуетъ, чтобы всякое вообще развитіе представляло тотъ-же характеръ“.

Какъ-бы то ни было, но путь „замедленія вступленія въ бракъ“, который г. Мечниковъ рекомендовалъ для обихода основной дисгармоніи между силою размноженія и размѣромъ средствъ пропитанія,—этотъ путь мы должны отвергнуть, если не хотимъ попасть изъ огня въ полымя, изъ кулька въ рогожку. Путь этотъ, какъ удостовѣряетъ самъ г. Мечниковъ, въ свою очередь, ведетъ къ бѣдѣ, — къ дисгармоническимъ періодамъ и связаннымъ съ ними житейскимъ драмамъ.

Но у насъ остается въ запасѣ еще одинъ путь,—путь искусственнаго уменьшенія числа рожденій; онъ-то и приведетъ насъ къ счастію. Мальтусіанцы давно указывали на это средство для водворенія на землѣ мира и въ человѣкахъ благоволенія. Но они разное понимали подъ искусственною задержкой размноженія и, въ виду щекотливости темы, рѣдко говорили вполнѣ откровенно. Г. Мечниковъ тоже не вполнѣ ясенъ, но, насколько понимать можно, онъ, какъ говорится, хватаетъ быка прямо за рога и предлагаетъ до такой степени радикальное рѣшеніе вопроса, что никакимъ щекотливостямъ не остается мѣста.

Г. Мечниковъ находитъ, что женщина собственно не настоящій человѣкъ, а нѣчто вродѣ личинки человѣка („личинкоподобный“), недоразвитый человѣкъ. Эту недоразвитость женщины видитъ г. Мечниковъ, однако, не въ какихъ-нибудь анатомическихъ и физіологическихъ признакахъ, а въ нравственныхъ и преиму-

щественно умственныхъ чертахъ женскаго типа, каковыя черты и изображаются имъ красками, не имѣющими ничего общаго съ комплиментами. Это, конечно, хорошо. Женщины слышатъ достаточно похвалъ отъ поэтовъ, и трезвому человѣку науки не подобаетъ приставать къ этому хору; его дѣло—истина, какъ-бы она ни была печальна или непріятна дамамъ и поэтамъ. Но все-таки сравненіе женщины съ личинкой надо понимать именно только какъ сравненіе, какъ метафору. Г. Мечниковъ упоминаетъ о нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, у которыхъ самцы крылаты, а самки безкрылыя и, дѣйствительно, похожи на личинокъ. У человѣка такъ рѣзко выраженныхъ вторичныхъ половыхъ признаковъ нѣтъ. Недоразвитость женщины сводится къ гораздо болѣе тонкимъ, чисто-психическимъ чертамъ. Можно бы было думать, что причины этой недоразвитости лежатъ въ условіяхъ воспитанія женщины и вообще окружающей ее умственной и нравственной атмосферы. Г. Мечниковъ согласенъ допустить это до извѣстной степени, но полагаетъ, что центръ тяжести такъ называемаго женскаго вопроса лежитъ не въ этомъ. Не въ томъ главная бѣда, что женщинъ плохо учатъ или совсѣмъ не учатъ и держатъ въ сторонѣ отъ всѣхъ высшихъ духовныхъ интересовъ. Если-бы мы ихъ принуждали къ высшимъ сферамъ сознанія и воли, онѣ остались-бы все-таки личинками и только портили-бы своимъ вмѣшательствомъ общечеловѣческое дѣло. Такъ будетъ до тѣхъ поръ, пока женщины будутъ рожать. На этотъ корень женской недоразвитости мы и должны обратить дѣйственное вниманіе, если хотимъ измѣнить порядокъ вещей, грозящій безконечными драмами любви. Женщины очень плохи, но тутъ-то насъ и можетъ выручить архи-естественная сила измѣнчивости. Г. Мечниковъ, не смотря на свое невысокое мнѣніе о женщинахъ, не только не врагъ женскаго образованія и женскаго труда, но, напротивъ, одинъ изъ самыхъ горячихъ защитниковъ такого расширенія сферы женской жизни. Но онъ находитъ, что для этого сфера женской жизни должна быть урѣзана въ другомъ отношеніи. Женщины очень плохи, но,—спѣшитъ успокоить своихъ читательницъ г. Мечниковъ,—„никто, конечно, не выведетъ изъ моихъ словъ, чтобъ я утверждалъ, будто женщина неспособна къ развитію и должна во всѣхъ случаяхъ и вѣчно оставаться на личинкоподобной стадіи развитія. Я утверждаю только, что прогрессивное развитіе женщины должно совершаться въ ущербъ ея

способности размножаться, выкармливать и воспитывать дѣтей, совершенно подобно тому, какъ усиленная дѣятельность рабочихъ пчелъ, муравьевъ и термитовъ могла явиться не иначе, какъ вмѣстѣ съ появленіемъ безплодія или-же плодовитости въ экстренныхъ, исключительныхъ случаяхъ". Г. Мечниковъ писалъ это еще въ 1874 г., въ статьѣ „Возрастъ вступленія въ бракъ". Въ прошломъ 1891 г., въ статьѣ „Законъ жизни", онъ окончательно выяснилъ намъ (да и себѣ самому, кажется) свою идею, которая его, по всѣмъ видимостямъ, давно и усиленно занимала. Читатель помнитъ эту статью, мотивированную нѣкоторыми сторонами ученія гр. Толстого. Въ ней, пріемами и фактами, которые уже раньше пускались имъ въ ходъ, г. Мечниковъ старается опровергнуть теорію гармоническаго развитія; ратуетъ противъ излишняго довѣрія или преклоненія передъ человѣческою природой; выступаетъ защитникомъ умственнаго труда вообще, женскаго образованія въ частности, но образованіе это полагаетъ возможнымъ только при условіи безплодія, а кончаетъ выше уже приведенною ссылкой на выводъ Бокля и заявленіемъ, что „непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія". Я прошу читателя держать въ памяти эти элементы послѣдней статьи г. Мечникова, а также то обстоятельство, что въ ней г. Мечниковъ идетъ шагъ за шагомъ за гр. Толстымъ, опровергая его положенія. А теперь посмотримъ на окончательный выводъ г. Мечникова. Разсказавъ о томъ, какіе прекрасные распорядки существуютъ въ обществахъ пчелъ и осъ, почтенный ученый пишетъ: „Если мы приложимъ добытыя данныя къ женскому вопросу, то должны будемъ, прежде всего, замѣтить, что природныя свойства женскаго организма, приспособленнаго къ дѣторожденію, не могутъ служить ни малѣйшимъ препятствіемъ къ удовлетворенію стремленія нѣкоторыхъ женщинъ посвятить себя высшимъ сферамъ умственнаго труда. Для этого даже нѣтъ надобности, чтобы у такихъ женщинъ было такое-же равнодушіе къ браку, какъ у дѣвственныхъ галльскихъ осъ, хотя и извѣстны многочисленные примѣры отвращенія женщинъ къ брачной жизни. Это и многія другія, вообще довольно частыя въ человѣческомъ родѣ отклоненія половыхъ инстинктовъ, указываютъ на то, что первый шагъ на пути къ безплодію уже сдѣланъ. Весьма возможно, что съ этого начался процессъ обо-

собленія въ человѣческихъ обществахъ, сходный съ тѣмъ, который гораздо далѣе подвинулся у насѣкомыхъ, и что современемъ установится, хотя и не столь рѣзкое, раздѣленіе людей на наиболѣе и наименѣе плодовитыхъ или даже и вовсе безплодныхъ. Послѣдніе, имѣя возможность посвятить себя исключительно высшимъ сферамъ человѣческой дѣятельности, будутъ служить обществу, главнымъ образомъ, умственнымъ трудомъ".

Припоминая нѣкоторыя другія мысли г. Мечникова, изложенныя имъ въ прежнихъ статьяхъ, можно признать этотъ выводъ недостаточно опредѣленнымъ. Пчелиный рой, какъ идеалъ общественности, достаточно ясенъ. Но до него еще очень далеко тому порядку, при которомъ „нѣкоторыя женщины" окажутся безплодными. „Нѣкоторыя женщины" и теперь безплодны. Но уже одно то обстоятельство, что огромное большинство проституткъ безплодно, намекаетъ на нѣкоторую неосновательность надеждъ, возлагаемыхъ на безплодіе. Г. Мечниковъ, въ видахъ „общаго блага", желаетъ „обособленія", дифференцированія группы безплодныхъ женщинъ въ сословіе или касту, подобную тѣмъ, какія мы видимъ у пчелъ, муравьевъ и термитовъ, и чтобы эта каста безплодныхъ женщинъ спеціально воздѣлывала науку, при чемъ, однако, онъ разрѣшаетъ имъ и не быть „равнодушными къ брачной жизни". Другими словами, онъ допускаетъ, пожалуй, любовь, но безъ послѣдствій. Очень важно замѣтить, что онъ при этомъ отнюдь не рекомендуетъ какихъ-нибудь технически-искусственныхъ пріемовъ для избѣжанія дѣторожденія. Нѣтъ, онъ вѣруетъ въ мощь архи-естественной измѣнчивости, которая, будучи направлена сознаніемъ и волею человѣка къ пчелиному идеалу, сама собой установитъ безплодную любовь. Это, прежде всего, непослѣдовательно. Монашествующіе обоихъ половъ, а у католиковъ и бѣлое духовенство, даютъ обѣтъ не безплодія, а безбрачія, дѣвства. И это понятно: всецѣло посвящая себя молитвѣ, монашествующіе были-бы отклоняемы отъ этой своей функціи не только дѣторожденіемъ, а и любовью. Такого рода монахини (а отчего-бы и не монахи?) отъ науки были-бы вполнѣ умѣстны въ идеалѣ г. Мечникова, тѣмъ болѣе, что соблазняющія его рабочія галльскихъ осъ къ любви равнодушны. Если сила измѣнчивости дѣйствительно такъ велика, а наше сознаніе и воля надъ нею такъ властны, какъ предполагаетъ г. Мечниковъ, такъ ужъ надо доводить идеалъ до его логическихъ предѣловъ. И это, повидимому, склоненъ при-

знавать самъ г. Мечниковъ, такъ какъ средневѣковые аскеты, за которыми онъ признаетъ правильное отношеніе къ человѣческой природѣ, отрекались опять-таки не только отъ дѣторожденія, но и отъ любви. Конечно, это, по слабости человѣческой, идеалъ трудно достижимый. Я сказалъ-бы даже — недостижимый и сослался-бы на всѣмъ извѣстные историческіе и бытовые факты. Но боюсь, что г. Мечниковъ возразитъ мнѣ: да, трудно достижимый или совсѣмъ недостижимый при теперешнихъ свойствахъ человѣческой природы, но вы забываете великій законъ измѣнчивости. На это возраженіе я не имѣю отвѣта. Впрочемъ, нѣтъ, имѣю, даже два. Во-первыхъ: блаженъ, кто вѣруетъ. А, во-вторыхъ, вотъ какой: вы хотите, ad majorem gloriam положительнаго знанія, направить законъ измѣнчивости такъ, чтобы цѣлая и, вѣроятно, значительная (потому что иначе не изъ чего было-бы хлопотать) группа людей была лишена группы наслажденій, которыя человѣчество всегда цѣнило изъ рядъ вонъ высоко и которымъ оно обязано многими лучшими сторонами своей жизни; вы хотите, а я не хочу,—давайте бороться каждый за свой идеалъ и посмотримъ, чья возьметъ. И у меня есть сознаніе и воля и, значитъ, такая же власть надъ закономъ измѣнчивости, какъ и у васъ. Я не хуже васъ знаю оборотную сторону медали, тѣ трудности и боли, которыми, при нынѣшнихъ условіяхъ, сопровождается любовь и ея послѣдствія, но я вѣрую въ возможность такого направленія измѣнчивости, которое обломаетъ всѣ шипы у розы, а самой розы не тронетъ.

Г. Мечниковъ предлагаетъ людямъ, хоть и не всѣмъ, отказаться отъ любви ради науки и увѣряетъ, что это нужно ради общаго блага, которое, однако, повидимому, состоитъ исключительно въ процвѣтаніи науки. Есть не мало людей, которые настоятельно рекомендуютъ женщинамъ, наоборотъ, отказаться отъ науки ради любви, и тоже во имя общаго блага. Имъ нужны жрицы любви, г. Мечникову нужны монахи и монахини отъ науки. Мальтусъ тоже предлагалъ людямъ—и тоже не всѣмъ, и тоже во имя общаго блага—отказаться отъ любви ради физическаго труда, и подъ его общимъ благомъ скрывались просто требованія рынка; ему нужны были безплодные рабочіе. На всѣхъ не угодишь, а потому лучше будетъ, если человѣкъ станетъ просто человѣкомъ, которому все человѣческое доступно, хотя г. Мечниковъ думаетъ, что это чрезвычайно трудно, — измѣнчивости въ эту сто

рону онъ не допускаетъ. Бѣда отъ всѣхъ этихъ совѣтниковъ, раздирающихъ человѣка на клочки, не въ томъ только состоитъ, что они хотятъ отнять у него ту или другую долю счастья, которая ему отпущена прошедшимъ или можетъ быть завоевана въ будущемъ. Divide et impera, гласитъ старинное, необыкновенно вѣрное изреченіе,—разорви, расчлени и управляй. Идеалъ г. Мечникова, какъ я упоминалъ уже въ прошлый разъ, далеко не новъ, и, между прочимъ, на той-же дарвинистской почвѣ онъ предвосхищенъ Ренаномъ. Только Ренанъ прямо назвалъ свою концепцію мечтой и, можетъ быть, по этому самому позволилъ себѣ быть смѣлѣе, послѣдовательнѣе и дальновиднѣе г. Мечникова. Съ тѣми-же ссылками на примѣры общежитія насѣкомыхъ, на естественный подборъ, борьбу за существованіе и измѣнчивость, Ренанъ построилъ идеальное общество, вся организація котораго имѣетъ верховною цѣлью торжество и прогрессъ положительнаго знанія. Для этого, какъ и у г. Мечникова, жрецы науки совершенно отказываются отъ любви, предоставляя это низменное занятіе людямъ физическаго труда. Но и эти низменные люди понимаютъ высокую цѣль общества и сознательно служатъ жрецамъ науки, готовы даже съ восторгомъ ложиться подъ ножъ, если нужна вивисекція. Жрецы же положительнаго знанія, „тираны-позитивисты“, все болѣе и болѣе проникая въ тайны природы, вмѣстѣ съ тѣмъ, полновластно управляютъ своимъ народомъ, жестоко казня его за нарушеніе порядка... Вотъ какъ высоко должны быть поставлены цѣли науки надъ всѣми остальными житейскими цѣлями. Здѣсь есть извѣстное величіе, хотя и чудовищное, на манеръ джагернаутской колесницы, подъ которую добровольно ложатся вѣрующіе, а она ихъ спокойно давитъ во славу Вишну. А г. Мечниковъ довольствуется блѣдною фразой: „непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія“. Этимъ едва-ли многихъ можно убѣдить или увлечь; всякій скажетъ: непосредственная цѣль жизни есть сама жизнь во всемъ ея блескѣ и полнотѣ, а наука есть лишь одно изъ средствъ для достиженія этой цѣли.

Однако, и блѣдная фраза г. Мечникова имѣетъ свое значеніе, какъ profession de foi. Мнѣ кажется, что, не смотря на многолѣтнее вниманіе къ вопросамъ, затронутымъ въ статьѣ „Законъ жизни“, г. Мечниковъ только въ этой статьѣ,

такъ сказать, нашелъ самъ себя. Часто бываетъ, что идеи, прямо противоположныя вашимъ, особенно рѣзко выраженныя, заставляютъ васъ подобраться: уясняютъ вамъ центральные пункты вашего собственнаго кругозора, до тѣхъ поръ нѣсколько смутные, или, по крайней мѣрѣ, располагаютъ ихъ въ извѣстную переспективу, гдѣ важное и не важное, первостепенное и второстепенное получаютъ свое опредѣленное мѣсто. Такъ именно, повидимому, случилось и съ г. Мечниковымъ. Какъ мы видѣли, онъ и прежде, много лѣтъ тому назадъ, ратовалъ противъ теоріи „естественнаго“ развитія вообще, такъ называемаго гармоническаго въ частности, говорилъ и объ остаткахъ хвоста и шерстянаго покрова у человѣка, и о пользѣ женскаго образованія, и объ особенныхъ условіяхъ, при которыхъ оно можетъ процвѣтать, и проч., и проч. Словомъ, для людей, слѣдившихъ за прежними статьями г. Мечникова, въ „Законѣ жизни“ нѣтъ, повидимому, ничего новаго. А, между тѣмъ, новое есть, это именно цѣльность, законченность, опредѣленность перспективы цѣлаго ряда мыслей, прежде разбросанныхъ, другъ къ другу не приложенныхъ, перемѣшанныхъ съ разными посторонними элементами. Отсюда тѣ странныя противорѣчія и явныя недоразумѣнія, о которыхъ мнѣ, признаюсь, было даже неловко говорить... Я ни на минуту не забывалъ, что имѣю дѣло съ первокласснымъ ученымъ, пользующимся, и заслуженно пользующимся, европейскою извѣстностью. А, между тѣмъ, этотъ знаменитый ученый, свободно гуляющій по всей головокружительной зоологической лѣстницѣ отъ ступени амебы до ступени человѣка, можетъ разсуждать такъ: „естественное“ неуловимо по своей текучести, но извращеніе всѣхъ природныхъ инстинктовъ естественнѣе, чѣмъ удовлетвореніе природныхъ потребностей. Или зачисляетъ сундуки, трубки и мѣсто столоначальнника въ число „аппаратовъ“ организма. Или, цѣпко держась за остатокъ хвоста у человѣка, убѣжденно и даже иронически говоритъ: вы видите, какъ измѣнчива человѣческая природа; что же вы, по теоріи упражненія всѣхъ органовъ, рѣшите, чтобы человѣкъ хвостомъ вилялъ? Или чтобы онъ шерстью обросъ? Конечно, во всѣхъ этихъ случаяхъ г. Мечниковъ впадалъ въ недоразумѣнія, противорѣчія и ошибки не въ качествѣ ученаго, а въ качествѣ мыслителя,—какъ спеціалисту, я не осмѣлился-бы ему возражать. Причина всѣхъ этихъ неладовъ заключалась въ отсутствіи общаго плана, въ смутности связующей

нити. Этотъ общій планъ подсказалъ г. Мечникову гр. Толстой; только тамъ, гдѣ у гр. Толстого стоитъ плюсъ, у г. Мечникова стоитъ минусъ, и наоборотъ. Правда, не всѣ недоразумѣнія при этомъ исчезли, не всѣ неровности сгладились, но вы, по крайней мѣрѣ, видите, какъ и почему они возникли и въ какомъ порядкѣ должны быть распредѣлены мысли г. Мечникова, чтобы можно было уразумѣть ихъ связь.

Что бы ни говорилъ самъ г. Мечниковъ, а намъ со стороны виднѣе. Что бы онъ ни говорилъ, а исходная точка его лежитъ не въ области научно установленныхъ фактовъ, а въ области чувства. Это—жажда знанія, любовь къ знанію, вѣра въ его почти безпредѣльную мощь. Руководимый этимъ чувствомъ до ослѣпленія, г. Мечниковъ ссылается на выводъ Бокля, несмотря на то, что онъ явственно упраздненъ жизнью. Нарѣчіе „несмотря“ здѣсь вполнѣ умѣстно въ своемъ буквальномъ смыслѣ. Г. Мечниковъ именно не смотритъ, не видитъ тѣхъ, какъ выразился нѣкогда одинъ поэтъ, „кровавыхъ жизни незабудокъ“, которыми закиданъ выводъ Бокля. Такъ настроенный, г. Мечниковъ видитъ, что цѣлая половина человѣческаго рода—женщины остаются болѣе или менѣе внѣ пути къ единоспасающему знанію, и что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ нихъ тяготятся этимъ. Натурально, имъ надо помочь во что бы то ни стало. И г. Мечниковъ идетъ со знаменемъ науки на-проломъ, торопливо подбирая подходящіе и не подходящіе предметы, не всегда вслушиваясь въ возраженія, разрубая узлы тамъ, гдѣ ихъ можно развязать, и даже не вполнѣ ясно сознавая, зачѣмъ онъ дѣлаетъ тотъ или другой шагъ. Все, все, все для нея—для науки! Все, даже то, чему сама наука признана служить,—человѣческое счастье. Говорятъ, что женская природа становится поперекъ дороги. Очень просто: надо ее съ дороги убрать. И въ своей торопливости г. Мечниковъ отвѣшиваетъ глубокій поклонъ даже средневѣковымъ аскетамъ собственно за то, что они извращали до послѣдней степени всѣ природные инстинкты. Нѣтъ такихъ природныхъ инстинктовъ, которые заслуживали бы названія „естественныхъ“. Естественна только сила измѣнчивости, потому что только она можетъ удвоить персоналъ науки пріобщеніемъ къ ней женской половины человѣческаго рода. Въ ожиданіи момента этого торжества науки, г. Мечниковъ то пробуетъ предложить хоть замедленіе вступленія въ бракъ, то доказываетъ, что такое замедленіе можетъ повести только къ

печальнымъ послѣдствіямъ: самоубійцъ, психически больныхъ, развратниковъ ему, конечно, не нужно; ему нужны служители науки, столь же преданные своей богинѣ, какъ онъ самъ, столь же готовые заклать на ея алтарѣ все живое, что не имѣетъ знаніе непосредственною цѣлью. Таковъ личный, нравственный идеалъ г. Мечникова, и имъ же опредѣляется идеалъ общественный: вся организація общества должна быть приложена къ той же верховной цѣли—наростанію положительнаго знанія. Г. Мечниковъ касается пока только женскаго вопроса и лишь мелькомъ говоритъ о роли физическаго труда. Но общій характеръ тѣхъ рѣшеній разныхъ общественныхъ вопросовъ, которыя онъ предъявитъ, когда вздумаетъ заняться ими, легко себѣ представить. Онъ ничего не пожалѣетъ ради науки и не побоится санкціонировать какое бы то ни было уродство. Велика бѣда—уродство! Человѣкъ и теперь есть „обезьяній уродъ“; архивная старушка безъ рукъ, безъ ногъ живетъ—и ничего: владѣетъ умственными способностями, а чего-жъ человѣку больше нужно? Даже очень хорошо, что такая старушка на свѣтѣ есть и, можетъ быть, дай Богъ, чтобы побольше такихъ было, потому что ее можно изслѣдовать и результаты изслѣдованія опубликовать въ „Archiv für pathalogische Anatomie“.

Такъ распоряжается человѣкъ науки въ нашемъ бѣдномъ субъективномъ мірѣ страстей и интересовъ жизни. Но этотъ міръ не такъ ужъ бѣденъ. Онъ можетъ постоять за себя. Онъ даже богатъ и, конечно, гораздо богаче отвлеченнаго міра науки, который есть, въ сущности, лишь кость отъ костей и плоть отъ плоти субъективнаго міра страстей и интересовъ жизни. И г. Мечниковымъ, и даже гётевскимъ Вагнеромъ руководятъ, въ концѣ-концовъ, или, пожалуй, въ началѣ-началъ, страсти и интересы,—страсть къ наукѣ, интересъ знанія. „Я знаю много, но хотѣлъ бы все узнать“,—говоритъ Вагнеръ. Онъ страдаетъ, добиваясь истины, тщетно ища результатовъ изслѣдованія или опыта, и приходитъ въ восторгъ, когда достигаетъ цѣли. Этотъ субъективный міръ спеціальныхъ радостей и страданій до такой степени его захватываетъ, что на всѣ остальныя радости и страданія онъ смотритъ съ глубочайшимъ, искреннѣйшимъ презрѣніемъ и съ готовностью все растоптать. Но они есть, эти другія страданія и радости, и въ совокупности своей представляютъ такое море, которое ужъ, конечно, не умѣстится въ ретортахъ и колбахъ Вагнера.

Да не подумаетъ читатель, что я хочу какъ-нибудь умалить въ его глазахъ значеніе науки. Было бы не особенно трудно и даже довольно занимательно, въ противовѣсъ разсужденіямъ г. Мечникова, нарисовать картину бѣдствій, причиняемыхъ человѣчеству его умственнымъ развитіемъ. Руссо это сдѣлалъ въ прошломъ столѣтіи и увлекъ многіе умы и сердца, а теперь это сдѣлать легче, какъ видно уже изъ распространенія пессимистической философіи, этого послѣдняго результата вѣкового умственнаго развитія. И кончить можно бы было предложеніемъ такъ направить силу измѣнчивости, чтобы навсегда прекратилась эта надѣлавшая человѣку столько бѣдъ и никогда вполнѣ неудовлетворимая жажда знанія. Блаженство невѣдѣнія стоитъ блаженства отсутствія любви. Конечно, это былъ бы парадоксъ со многими изъянами и натяжками, но вѣдь ихъ не мало и у г. Мечникова. Я, однако, даже въ шутку не стану развивать этотъ парадоксъ. Я высоко чту науку, но думаю, что вычерпать море ретортой нельзя, и что именно люди, предпринимающіе этотъ подвигъ, умаляютъ, а не возвеличиваютъ значеніе науки.

VIII *).

Люди, владѣющіе перомъ, и люди, перомъ владѣемые.—Двоякаго рода эпигоны.—Г. Сементковскій о нашемъ недавнемъ прошломъ.

„Этотъ человѣкъ владѣетъ перомъ“,—выраженіе очень употребительное и въ литературномъ языкѣ, и въ разговорѣ. Но, подобно многимъ другимъ ходячимъ выраженіямъ, изстари обращающимся въ обществѣ, оно едва-ли всѣми употребляется сознательно. Для многихъ оно равнозначительно другому, столь же употребительному: „у этого человѣка бойкое перо“. Я думаю, что это совершенно невѣрно. Бываютъ, конечно, счастливыя совпаденія; бываетъ такъ, что писатель въ полномъ смыслѣ слова владѣетъ перомъ, и перо это бойкое. Но бываетъ и иначе, да и чисто-логически необходимо различать эти два иносказательныя выраженія. Владѣть перомъ—значитъ писать именно то, что, по соображеніямъ,—вѣрнымъ или невѣрнымъ, это другой вопросъ,—объ интересахъ предположенной цѣли нужно писать, насколько, разумѣется, этому не препятствуютъ какія-нибудь сторонніе обстоятельства. У Лермонтова, въ разговорѣ журналиста, читателя

*) 1892, май.

и писателя, это не только красиво, но и чрезвычайно точно выражено: „диктуетъ совѣсть, перомъ сердитый водитъ умъ“. На первый взглядъ кажется, что иначе и не бываетъ, и быть не можетъ: зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ станетъ писать не то, что ему нужно? А, между тѣмъ, бываетъ. Въ томъ же произведеніи Лермонтова есть еще блестящая характеристика писателя, въ которомъ бойкость пера и обладаніе этимъ перомъ совпадаютъ: „на мысли, дышащія силой, какъ жемчугъ нижутся слова“. Но возможно и такъ, что у сильной мысли нѣтъ жемчужной рѣчи, а есть только точность, ясность, логическая послѣдовательность изложенія. Тогда человѣкъ владѣетъ перомъ, хотя оно у него и не бойкое. Съ другой стороны, возможно и такъ, что не слова прилаживаются къ мыслямъ, а, наоборотъ, мысли къ словамъ, болѣе или менѣе звучнымъ, красивымъ. Это особенно часто случается съ поэтами, связанными условіями ритма и риѳмы. Предлагаю читателю сравнить „Житіе протопопа Аввакума“, имъ самимъ написанное, съ поэмой г. Мережковскаго: „Протопопъ Аввакумъ“. *Житіе* есть превосходное въ своемъ родѣ произведеніе. Чуждая нашему времени рѣчь, испещренная вдобавокъ грубыми и до послѣдней степени наивными выраженіями, мѣшаетъ оцѣнить степень „жемчужности“, художественной красоты „житія“, но всякій признаетъ, что Аввакумъ владѣлъ перомъ. Г. Мережковскому въ недобрый часъ вздумалось передѣлать „житіе“ въ стихотворную поэму, и получилось нѣчто чрезвычайно слабое. Помимо другихъ, болѣе общихъ причинъ этой слабости, вы видите, читая поэму, какъ слово, требуемое условіями риѳмы и ритма, искажаетъ мысль автора. Я останавливаюсь на этомъ примѣрѣ именно потому, что здѣсь нѣтъ никакихъ сомнѣній относительно того, что авторъ хотѣлъ сказать: онъ хотѣлъ повторить мысли и образы Аввакума, но не умъ водилъ его перомъ, а, напротивъ, перо вело за собой умъ, и подчасъ совсѣмъ въ сторону отъ Аввакума. То, что у Аввакума является грандіознымъ или глубоко-трогательнымъ, у г. Мережковскаго вызываетъ невольную улыбку. Впрочемъ, тотъ же экспериментъ читатель можетъ сдѣлать со многими переводными стихами, сравнивая ихъ съ подлинникомъ. Я не хочу, разумѣется, сказать, что стихотворная рѣчь всегда и непремѣнно ведетъ къ извращенію мысли. Великіе поэты съ этимъ справляются очень просто. А съ другой стороны,—и въ прозѣ можно имѣть бойкое перо и, въ

то-же время, не только не владѣть имъ, а, напротивъ, вполнѣ находиться во власти этого самаго пера. Иногда даже такъ, что чѣмъ бойчѣе перо писателя, тѣмъ меньше онъ имъ владѣетъ: бойкая, красивая фраза ведетъ за собой мысль писателя и приводитъ его къ такимъ положеніямъ, которыхъ онъ вовсе не хотѣлъ выставлять или которыя совсѣмъ не въ интересахъ его работы. Такъ, неискусный, хотя бы и шустрый пильщикъ не можетъ распилить доску по намѣченной имъ самимъ прямой линіи, ибо не рука его владѣетъ пилой, а, наоборотъ, пила тащитъ за собой руку и заставляетъ ее выдѣлывать совсѣмъ ненужные зигзаги. И понятно, что чѣмъ бойчѣе его рука будетъ ходить внизъ и вверхъ или впередъ и назадъ, тѣмъ рѣзче будутъ непроизвольныя отклоненія отъ намѣченной прямой линіи. Какъ, по пословицѣ, глупому сыну не въ помощь богатство, такъ не владѣющему перомъ бойкость только вредитъ. Такому не владѣющему, а владѣемому, довлѣетъ особенная осторожность и вдумчивость.

Я прочиталъ недавно литературное произведеніе, представляющее рядъ превосходныхъ иллюстрацій къ вышеизложенному. Между прочимъ, авторъ этого произведенія, сражаясь съ „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями“, замѣчаетъ, что крупнѣйшіе изъ представителей нашей беллетристики никогда не были заражены этими воззрѣніями. Указываютъ,—говоритъ онъ,—какъ на исключеніе, на Салтыкова, но это „великое недоразумѣніе“. Я прошу читателя съ особеннымъ вниманіемъ прочитать слѣдующее разъясненіе этого великаго недоразумѣнія:

„Его (Салтыкова) сочиненія у всѣхъ передъ глазами, и основная ихъ мысль, основное содержаніе сводится къ усугубленному приговору надъ русскимъ обществомъ, къ осмѣянію его представителей, гдѣ бы они ни дѣйствовали: въ администраціи, печати, помѣщичьей усадьбѣ, земствѣ, собраніяхъ „свѣдущихъ людей“. Чтобы ослабить истинное значеніе этого смѣха, говорятъ, что Салтыковъ былъ сатирикъ. Но сатира можетъ приносить пользу только тогда, когда читатель твердо знаетъ, ради какихъ идеаловъ сатирикъ осмѣиваетъ жизнь. Возьмемъ ли мы Ювенала, Раблэ, Свифта, мы знаемъ, къ чему они стремились, не только въ общечеловѣческомъ смыслѣ, но и по отношенію къ той средѣ, въ которой они жили и дѣйствовали. Ювеналъ боролся съ развращенностью римскаго общества, Раблэ—съ католическимъ духовенствомъ, Свифтъ—для доставленія торжества вигамъ. Отно-

сительно Салтыкова этого сказать нельзя. Онъ высоко ставилъ такъ называемыя „забытыя слова“, но изъ всѣхъ его сочиненій вы не выведете сколько-нибудь ясныхъ указаній относительно вопроса, какъ онъ представлялъ себѣ выходъ изъ окружавшей его, столь безпросвѣтной, по его мнѣнію, дѣйствительности. Свобода—величайшее благо; хорошо было бы, если-бы на Руси вывелись всѣ подлецы, мерзавцы, если-бы „свинья не торжествовала“, а честный человѣкъ не подвергался-бы ежеминутно незаслуженнымъ невзгодамъ. Вотъ приблизительно весь положительный багажъ Салтыкова“.

Если читатель не исполнилъ моей просьбы о вниманіи и просто пробѣжалъ глазами приведенныя строки, то, можетъ быть, не замѣтилъ въ нихъ ничего особеннаго: много этакого говорится о Салтыковѣ. Но подобныя вещи надо читать внимательно. На всякій случай, давайте перечитаемъ вмѣстѣ.

Авторъ желаетъ доказать, что „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“ никогда не имѣли силы надъ нашими крупными художественными талантами, надъ „корифеями“, и что Салтыковъ не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. Значитъ, Салтыковъ принадлежитъ къ числу корифеевъ. Это высокое положеніе авторъ отводитъ Салтыкову и въ другихъ мѣстахъ своего произведенія. Но тутъ, желая отстоять свой тезисъ о независимости Салтыкова отъ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“ онъ попадаетъ на какую-то словесную зарубку, которая отклоняетъ пилу его критики совсѣмъ въ сторону отъ намѣченной цѣли. Салтыковъ оказывается писателемъ весьма невысокаго полета, безполезно осмѣивающимъ современниковъ-соотечественниковъ,—безполезно потому, что сатира тогда только можетъ приносить пользу, когда читатель твердо знаетъ, ради какихъ идеаловъ сатирикъ осмѣиваетъ жизнь. Вотъ, напримѣръ, Ювеналъ, Раблэ, Свифтъ. Вы натурально ждете, что вамъ при этомъ, въ укоръ Салтыкову, укажутъ положительные идеалы Ювенала, Раблэ, Свифта, но тутъ пила опять дѣлаетъ зигзагъ и вамъ говорятъ только, что Ювеналъ „боролся съ развращенностью римскаго общества“. Въ чемъ-же тутъ укоръ Салтыкову и гдѣ положительные идеалы Ювенала? Возвращаясь къ началу аргументаціи автора, вы спросите: гдѣ-же обѣщанная независимость Салтыкова отъ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній?“ Авторъ нигдѣ не сообщаетъ сколько-нибудь ясно, какую именно группу идей ра-

зумѣетъ онъ подъ этими воззрѣніями, но онѣ достаточно извѣстны, по крайней мѣрѣ, для того, чтобы видѣть, что авторъ ни мало не разъяснилъ „великаго недоразумѣнія“. „Свобода—величайшее благо; хорошо было-бы, если-бы на Руси вывелись всѣ подлецы, мерзавцы, если-бы „свинья не торжествовала“, а честный человѣкъ не подвергался-бы ежеминутно незаслуженнымъ невзгодамъ“,—развѣ все это такъ несовмѣстимо съ „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями?“

Произведеніе, изъ котораго я заимствовалъ приведенную тираду, есть статья г. Сементковскаго „Шестидесятые годы и современная беллетристика“, напечатанная въ апрѣльской книжкѣ „Историческаго Вѣстника“. Перо у г. Сементковскаго несомнѣнно бойкое: фраза красива, хотя и не блещетъ какою-нибудь оригинальностью, слова текутъ за словами въ грамматически стройномъ порядкѣ и мѣстами, повидимому, проникнуты горячимъ одушевленіемъ. Но этимъ бойкимъ перомъ г. Сементковскій не владѣетъ; напротивъ, оно имъ владѣетъ, вслѣдствіе чего статья переполнена всякаго рода логическими зигзагами, противорѣчіями, ненужными самому автору положеніями, недомолвками, перемолвками. Есть въ ней и поразительныя неправды въ чисто-фактическомъ смыслѣ, но я думаю, что и ихъ надо отнести отчасти на счетъ все того-же бойкаго пера, которое управляетъ „сердитымъ умомъ“ г. Сементковскаго.

Содержаніе статьи г. Сементковскаго шире ея заглавія. Авторъ желаетъ вообще указать литературной критикѣ правильные пути для оцѣнки современной беллетристики, при чемъ страннымъ образомъ обращается съ своими поученіями почти исключительно ко мнѣ. Я выпустилъ недавно книжку подъ заглавіемъ „Литература и жизнь“. Ее-же избралъ г. Сементковскій и матеріаломъ, и мишенью для своихъ поученій, лишь два или три раза упоминая, кромѣ нея, объ „Исторіи новѣйшей русской литературы“ г. Скабичевскаго. Большая это, конечно, для меня честь, но, долженъ признаться, поистинѣ мною не заслуженная. Во всей моей книжкѣ, состоящей изъ двадцати пяти печатныхъ листовъ, только двѣ маленькія главы (два фельетона „Русскихъ Вѣдомостей“) посвящены только двумъ современнымъ нашимъ беллетристамъ, именно г. Чехову и г. Потапенко. Но и помимо того, хотя мнѣ случалось писать, между прочимъ, и о беллетристическихъ произведеніяхъ, но спеціально литературною критикой я никогда не занимался. Мнѣ какъ-то не пришлось до сихъ поръ высказаться даже о такомъ высокоталантливомъ беллетристѣ,

какъ г. Короленко, не говоря уже о цѣломъ рядѣ другихъ. Поэтому я, казалось-бы, представляю собою гораздо менѣе выгодный и удобный сюжетъ для г. Сементковскаго, чѣмъ критики, болѣе или менѣе регулярно и пристально слѣдящіе въ разныхъ журналахъ и газетахъ за текущею беллетристикой. Правда г. Сементковскій объявляетъ войну преданіямъ шестидесятыхъ годовъ, а я отношусь къ нимъ съ глубокимъ уваженіемъ. Но, во-первыхъ, я не одинъ стою на этой точкѣ зрѣнія; во-вторыхъ, если мой образъ мыслей вообще и по отношенію къ шестидесятымъ годамъ въ частности заслуживаетъ порицательнаго вниманія г. Сементковскаго, то онъ нашелъ-бы себѣ болѣе подходящую пищу, напримѣръ, въ предисловіи къ сочиненіямъ Шелгунова, гдѣ мнѣ пришлось высказаться о шестидесятыхъ годахъ съ достаточною полнотой. Да и въ книжкѣ „Литература и жизнь“ онъ нашелъ-бы болѣе обильную добычу для себя, если-бы не пріурочилъ свою статью къ вопросу о беллетристикѣ и литературной критикѣ. Такимъ образомъ, сосредоточивъ свое вниманіе исключительно или почти исключительно на мнѣ, а у меня столь-же исключительно на литературной критикѣ, г. Сементковскій нанесъ существенный ущербъ своей собственной работѣ. Я склоненъ думать, что эта невыгодная позиція есть просто непроизвольный зигзагъ бойкаго пера, владѣющаго г. Сементковскимъ. И въ этомъ меня еще болѣе убѣждаетъ самое содержаніе тѣхъ поученій, съ которыми онъ ко мнѣ обращается.

Мнѣ не разъ приходилось указывать на преобладающую въ нынѣшней литературѣ растерянность, невыдержанность направленія въ разныхъ органахъ, отсутствіе опредѣленныхъ взглядовъ на идеи и вещи. Одно изъ такихъ моихъ замѣчаній обратило на себя вниманіе г. Сементковскаго. Онъ говоритъ: „Нѣтъ сколько-нибудь внимательнаго наблюдателя, который не замѣтилъ бы, что въ міросозерцаніи русскаго общества произошелъ за послѣднія десять лѣтъ коренной переломъ. Г. Михайловскій и самъ это признаетъ, но какъ-то странно, съ разными ужимками, не договаривая своей мысли. Прежде,—говоритъ онъ,—все было ясно: Катковъ, такъ Катковъ; Салтыковъ, такъ Салтыковъ. А теперь пошелъ разбродъ и разладъ. Читатель не знаетъ, „кому вѣрить, за кѣмъ идти“. Очень странное, даже непонятное разсужденіе. Неужели г. Михайловскій можетъ выставлять удовлетворительнымъ такое положеніе, когда читатель слѣпо слѣдуетъ за

тѣмъ или другимъ авторитетомъ? Какъ это соотвѣтствуетъ традиціямъ шестидесятыхъ годовъ!"

Опять немножко вниманія, читатель. Г. Сементковскій находитъ у меня „разныя ужимки" и „недоговоренныя мысли". Послѣднихъ у всякаго русскаго писателя можно найти не мало, но къ „ужимкамъ" я, кажется, не склоненъ. Со стороны, однако, дѣло виднѣе, и я ждалъ, что г. Сементковскій дѣйствительно укажетъ какую-нибудь „ужимку" или, по крайней мѣрѣ, хоть недоговоренную мысль. Но бойкое перо г. Сементковскаго дѣлаетъ непроизвольный зигзагъ, и онъ приводитъ такую мою мысль, которая даже въ его изложеніи оказывается вполнѣ договоренной и не содержащей въ себѣ ни малѣйшей ужимки. „Прежде все было ясно: Катковъ, такъ Катковъ; Салтыковъ, такъ Салтыковъ, а теперь пошелъ разбродъ и раздоръ; читатель не знаетъ кому вѣрить, за кѣмъ идти",—что можетъ быть проще и яснѣе этого? Но далѣе г. Сементковскій уже и не настаиваетъ на ужимкахъ и недоговоренности, а объявляетъ мою мысль „странною, даже непонятною", приглашающею читателя слѣпо слѣдовать за авторитетами. Пусть такъ, пусть я долженъ краснѣть за свою мысль, но ужимокъ все-таки тутъ никакихъ нѣтъ, онѣ сорвались съ бойкаго пера моего почтеннаго оппонента нечаянно. Но, можетъ быть, и вся приведенная тирада г. Сементковскаго есть не болѣе, какъ нечаянный зигзагъ. Страницей раньше онъ излагаетъ свой собственный взглядъ на существующій въ нашей литературѣ „разбродъ и разладъ". Его особенно занимаетъ разладъ между публицистикой, критикой и беллетристикой. Отсюда „крайняя неясность и сбивчивость цѣлей". „Эта сбивчивость деморализуетъ читателя, не имѣющаго досуга или возможности разобраться во всей этой прискорбной разноголосицѣ. Мы дошли до того, что читатель вмѣстѣ съ критиками какъ-бы махнулъ рукой на всѣ направленія, увѣренный, что какихъ-либо ясныхъ и устойчивыхъ идеаловъ въ печатномъ словѣ искать нечего, что одни опошлились и утратили свое значеніе, другіе еще не народились, и что поэтому лучше всего жить такъ, какъ Богъ на душу положитъ". Спрашивается, въ чемъ собственно состоитъ разница между этимъ разсужденіемъ г. Сементковскаго и тѣмъ моимъ вышеприведеннымъ, которое онъ находитъ „страннымъ, даже непонятнымъ"? Я думаю, въ томъ только, что я выразился короче, яснѣе и проще...

Г. Михайловскій, какъ умный человѣкъ, останавливается подчасъ съ явнымъ недоумѣніемъ надъ вопросомъ: отчего тотъ или другой изъ современныхъ беллетристовъ вдругъ пріобрѣтаетъ извѣстность и всѣми охотно читается? Это недоумѣніе объясняется съ публицистической точки зрѣнія тѣмъ, что критикъ вѣритъ въ заслуженный успѣхъ только такихъ произведеній, въ которыхъ основная идея соотвѣтствуетъ его политическимъ и соціальнымъ идеаламъ. А тутъ вдругъ г. Чеховъ, г. Потапенко! Что они Гекубѣ и что она имъ?“ Такъ иронизируетъ г. Сементковскій. Рискуя оказаться не умнымъ человѣкомъ, я долженъ сказать, что никогда не останавливался съ недоумѣніемъ надъ вопросомъ: отчего г. Чеховъ или г. Потапенко пользуются успѣхомъ? Двѣ главы моей книжки, посвященныя этимъ двумъ талантливымъ беллетристамъ, такъ невелики, что получаса слишкомъ достаточно для самаго внимательнаго ихъ прочтенія. И если читатель рѣшится пожертвовать этимъ получасомъ, то увидитъ, что въ тѣхъ главахъ нѣтъ и слѣда указываемаго г. Сементковскимъ недоумѣнія. Мнѣ случалось выражать сожалѣніе, что таланты обоихъ названныхъ писателей не всегда получаютъ то приложеніе, которое имъ, съ моей точки зрѣнія, приличествуетъ, но причины ихъ успѣха не возбуждаютъ во мнѣ ни малѣйшаго недоумѣнія. Причины эти заключаются, прежде всего, въ ихъ талантливости, а, во-вторыхъ, въ извѣстномъ состояніи умственной и нравственной температуры общества. Правъ я или нѣтъ, это другой вопросъ, но, во всякомъ случаѣ, г. Сементковскій приписалъ мнѣ недоумѣніе, котораго я никогда не чувствовалъ и не выражалъ. Я только утверждаю фактъ, не думая уличать г. Сементковскаго въ недобросовѣстности. Нѣтъ, онъ просто не владѣетъ своимъ бойкимъ перомъ.

Говоря о первыхъ двухъ томахъ повѣстей и разсказовъ г. Потапенка, я нашелъ въ нихъ слѣдующую общую черту: „Вездѣ дѣйствующія лица ставятъ себѣ извѣстныя цѣли, крупныя или мелкія, хорошія или дурныя, и вездѣ успѣхъ или неуспѣхъ, по задачѣ автора, зависитъ отъ разсчета пущенныхъ въ ходъ силъ... Самыя цѣли, къ которымъ стремятся дѣйствующія лица г. Потапенка, представляютъ для него второй вопросъ. Его занимаетъ торжествующая или гибнущая сила сама по себѣ, процессъ достиженія или недостиженія цѣли“. Приведя эти слова, г. Сементковскій пишетъ: „Это очень мѣткое замѣчаніе. Но уди-

вительно, что критикъ такъ близко подошелъ къ самому существенному вопросу, подошелъ, повертѣлся около него и отошелъ. А, между тѣмъ, такъ естественно было спросить себя: почему-же г. Потапенко занятъ не столько цѣлью, сколько средствами ея достиженія,—и такъ легко было отвѣтить, что въ созданіи цѣлей самыхъ широкихъ, самыхъ прекрасныхъ, мы всегда были сильны, а вотъ въ средствахъ для достиженія не только этихъ широкихъ, но даже самыхъ крошечныхъ цѣлей мы всегда проявляли замѣчательную несостоятельность". И т. д.: бойкое перо влечетъ автора къ благодарности современнымъ беллетристамъ, „старающимся выяснить своимъ читателямъ, что, прежде всего, для успѣха въ жизни надо соразмѣрять средства съ цѣлью, что недостаточно поставить себѣ возвышенную и благородную цѣль, но надо, кромѣ того, вдуматься въ средства, которыя могутъ привести къ ея достиженію".

Не буду доискиваться, въ какой мѣрѣ „старанія выяснить своимъ читателямъ" ту или другую моральную или практическую истину приличествуютъ задачамъ беллетристики, какъ ихъ понимаетъ самъ г. Сементковскій. Это какъ будто отдаетъ тѣми самыми шестидесятыми годами, противъ которыхъ онъ протестуетъ. Но пусть ужъ онъ безданно и безпошлинно путается въ своихъ собственныхъ мысляхъ, а вотъ зачѣмъ онъ чужія-то путаетъ? Напрасно онъ утверждаетъ, что я не задавалъ себѣ вопроса о томъ, почему г. Потапенко интересуется не столько цѣлью своихъ дѣйствующихъ лицъ, сколько средствами, которыя ими пускаются въ ходъ для достиженія цѣлей. Нѣтъ, я себѣ этотъ вопросъ задавалъ, но отвѣтить на него такъ, какъ предлагаетъ г. Сементковскій, не могъ и посейчасъ не могу, не смотря на краснорѣчіе г. Сементковскаго. Съ тѣхъ поръ, какъ я писалъ о г. Потапенкѣ, этотъ необычайно плодовитый писатель успѣлъ выпустить еще два тома повѣстей и разсказовъ, да и, кромѣ того, въ „Недѣлѣ", „Артистѣ", „Историческомъ Вѣстникѣ", „Сѣверномъ Вѣстникѣ", „Мірѣ Божіемъ", „Русскомъ Богатствѣ", „Русскихъ Вѣдомостяхъ", „Русской Мысли" у него накопилось матеріала, пожалуй, еще тома на четыре. Казалось-бы, при такой необычайной плодовитости, писатель долженъ быть передъ нами, читателями, весь какъ на ладони,—со всѣми своими достоинствами и недостатками, симпатіями и антипатіями, цѣлями и пріемами. Говорятъ, что надо пудъ соли съѣсть съ человѣкомъ, чтобы его

узнать. Этотъ пудъ мы ужъ, навѣрное, съ г. Потапенко съѣли, а, между тѣмъ, я едва-ли ошибусь, если скажу отъ лица большинства читателей, что мы г. Потапенка не знаемъ. Мы знаемъ его повѣсти и разсказы, но не знаемъ его самого, его внутренняго міра. И въ этомъ отношеніи его рѣдкая плодовитость не только не помогаетъ дѣлу, а даже, кажется, мѣшаетъ. Творчество г. Потапенка крайне неровно. Какъ въ первыхъ двухъ томахъ его повѣстей и разсказовъ съ трудомъ вѣрилось, что такія вещи, какъ „На дѣйствительной службѣ“ и „Здравыя понятія“, написаны одною и тою-же рукой, такъ и теперь невольно изумляешься, сопоставляя, напримѣръ, превосходный разсказъ „Шестеро“ съ нѣкоторыми другими,—съ романомъ „Не герой“ или разсказомъ „Самородокъ“. Это именно точно разныя руки писали, и, благодаря подписи „И. Потапенко“, цѣльность и художественность отдѣлки деталей въ разсказѣ „Шестеро“ только еще болѣе оттѣняютъ какую-то странную растерянность и грубость работы „Самородка“ и „Не героя“. Если-бы г. Потапенко былъ не столь плодовитъ, то вѣроятность подобныхъ художественныхъ кляксовъ была-бы значительно меньше. А при этомъ раскрылся-бы, можетъ быть, для читателя и тотъ внутренній міръ г. Потапенка, о которомъ мы теперь почти не имѣемъ понятія. Что касается этого внутренняго міра, то изъ первыхъ двухъ томовъ повѣстей и разсказовъ г. Потапенка я могъ извлечь только одно: онъ всего болѣе интересуется условіями успѣха или неуспѣха въ смыслѣ достиженія поставленныхъ себѣ человѣкомъ цѣлей. Г. Сементковскій счастливѣе или проницательнѣе меня: онъ извлекъ нѣчто большее, а именно убѣжденіе, что г. Потапенко „старается выяснить своимъ читателямъ“ ту мысль, что „недостаточно поставить себѣ возвышенную и благородную цѣль, но надо, кромѣ того, вдуматься въ средства, которыя могутъ привести къ ея достиженію“. Къ сожалѣнію, я никакъ не могу согласиться съ этимъ выводомъ, хотя онъ, путемъ непроизвольнаго зигзага, сдѣланъ изъ моего замѣчанія, какъ-бы естественное его дополненіе, мною по близорукости не усмотрѣнное или не договоренное.

Условія успѣха или неуспѣха въ жизни, какъ беллетристическая тема, не составляютъ, конечно, исключительной принадлежности г. Потапенка. Напротивъ, фабула многаго множества романовъ, повѣстей, разсказовъ, драмъ, комедій, водевилей, поэмъ

построена на чьей-нибудь удачѣ въ какомъ-нибудь отношеніи или неудачѣ. Да и лирика, въ большинствѣ случаевъ, занята торжествомъ или предчувствіемъ побѣды, или молитвой о побѣдѣ, отчаяніемъ или позоромъ пораженія, тоской нераздѣленной любви или восторгомъ любви счастливой и т. д.,—вообще разнообразными радостными или горестными волненіями по поводу достиженія или недостиженія цѣли. Иначе и быть не можетъ, потому что въ чемъ-же и жизнь человѣческая состоитъ, какъ не въ томъ, что мы ставимъ себѣ цѣли, боремся ради нихъ съ большею или меньшею энергіей, работаемъ, падаемъ, торжествуемъ, отступаемъ, выигрываемъ, проигрываемъ, пока, наконецъ, не прикроетъ насъ могильный камень? Въ этомъ жизнь, и литература ее отражаетъ. Но цѣли бываютъ разныя,—крупныя и мелкія, благородныя и подлыя, цѣли всей жизни и цѣли повседневныя. Герой „Здравыхъ понятій“ говоритъ: „если-бы люди могли составлять строго-математическую пропорцію между своими цѣлями и своими силами, то не было-бы слезъ на землѣ“. Это, конечно, невѣрно, хотя по авторскому произволу, успѣхи героя „Здравыхъ понятій“ дѣйствительно математически точно разсчитаны. Не говоря уже о томъ, что достиженіе или недостиженіе цѣли часто зависитъ совсѣмъ не отъ вѣрнаго или невѣрнаго разсчета силъ, а отъ разныхъ случайностей; не говоря объ этомъ, есть цѣли, достигнуть которыхъ нельзя иначе, какъ заставивъ другихъ проливать слезы (таковы, между прочимъ, цѣли героя „Здравыхъ понятій“). Но въ томъ-то и состоитъ особенность г. Потапенка, что онъ интересуется, главнымъ образомъ, самымъ фактомъ удачи или неудачи и процессомъ достиженія или недостиженія цѣли, независимо отъ какой-бы то ни было классификаціи и квалификаціи цѣлей. Изъ этого, однако, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы г. Потапенко старался разъяснить намъ, что недостаточно поставить себѣ высокую и благородную цѣль, а надо и о средствахъ подумать. Я бы желалъ знать, какъ приложитъ свое объясненіе г. Сементковскій къ повѣсти „Здравыя понятія“, въ которой и помину нѣтъ о какой-нибудь высокой или благородной цѣли. Герой этой повѣсти есть настоящій негодяй, поставившій себѣ цѣлью разбогатѣть и достигающій этой цѣли рядомъ даже мало вѣроятныхъ, но превосходно разсчитанныхъ подлостей. Если даже преположить, что авторъ старается „разъяснить“ что-то своимъ читателямъ, то

ужъ, конечно, не то, что ему подсказываетъ заднимъ числомъ г. Сементковскій.

Г. Сементковскій, кажется, впрочемъ, даже не упоминаетъ о „Здравыхъ понятіяхъ“, его больше интересуетъ другая повѣсть г. Потапенка—„На дѣйствительной службѣ“ и ея герой—молодой священникъ о. Кириллъ, посвятившій себя на служеніе народу. Повѣсть очень хороша, а о. Кириллъ несомнѣнно положительный типъ, заслуживающій всякаго сочувствія. Таково-же, примѣрно, сужденіе и г. Сементковскаго. Мнѣ кажется, однако, что можно-бы было обойтись и безъ того паѳоса, съ которымъ г. Сементковскій произноситъ свое сужденіе. Онъ кончаетъ его, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всю свою статью слѣдующими вдохновенными словами: „Ради Бога, не будемъ ихъ (людей подобныхъ о. Кириллу) смѣшивать съ „мутными волнами дѣйствительности“. Наоборотъ, будемъ на нихъ указывать, протягивать имъ руку, отдавать имъ почетное мѣсто, потому что они—истинные работники народной нивы, потому что они—надежда земли русской“. Сильно сказано, эффектный финалъ статьи, бойкое перо у г. Сементковскаго. Но я бы хотѣлъ знать, къ кому онъ обращаетъ эту трогательную и патріотическую просьбу „ради Бога“? Надо думать, ко мнѣ, потому что и раньше шла рѣчь о моемъ именно и только о моемъ отношеніи къ г. Потапенку, да и цитируемыя г. Сементковскимъ „мутныя волны дѣйствительности“ — мой грѣхъ Надо значитъ думать, что я потщился утопить о. Кирилла въ мутныхъ волнахъ дѣйствительности или вообще какъ-нибудь смѣшалъ его съ грязью. Иначе, зачѣмъ-бы г. Сементковскому упрашивать меня даже „ради Бога“? То-то и есть: зачѣмъ? Совсѣмъ это въ данномъ случаѣ праздный вопросъ. Кабы у г. Сементковскаго, по лермонтовской формулѣ, умъ водилъ перомъ, такъ можно-бы было спрашивать: зачѣмъ? А теперь его просто перо завело, куда ему вовсе не нужно. Успѣхъ повѣсти „На дѣйствительной службѣ“ для меня не только понятенъ, какъ понятенъ успѣхъ г. Потапенка вообще, но это, кромѣ того, вполнѣ заслуженный успѣхъ. И достоинства повѣсти и симпатичность ея героя мною признаны слишкомъ за годъ до того, какъ изложилъ свои мысли г. Сементковскій. Въ этомъ каждый можетъ легко убѣдиться, заглянувъ въ соотвѣтственную главу моей книжки. А г. Сементковскій „ради Бога“ проситъ...

Читатель, можетъ быть, недоумѣваетъ, зачѣмъ я его вожу по слѣдамъ зигзаговъ г. Сементковскаго. Мало-ли, въ самомъ дѣлѣ, что кому вздумается написать, не соображаясь ни съ логикой, ни съ фактическою правдой. На всякое чиханіе не наздравствуешься, и я остановился на статьѣ г. Сементковскаго, конечно, не ради вышеприведенныхъ мелочей, какихъ я могъ-бы извлечь изъ нея еще съ десятокъ. Все это, пожалуй, пустяки, не стоющіе вниманія. Но есть въ статьѣ г. Сементковскаго одна черта, которая повергла меня въ такое изумленіе, что я не могу не подѣлиться имъ съ читателемъ. Прямо скажу, изумленіе это граничитъ съ негодованіемъ, которое даже не вполнѣ умѣряется убѣжденіемъ, что г. Сементковскій не вѣдаетъ, что творитъ, ибо и вообще не владѣетъ своимъ бойкимъ перомъ.

По мнѣнію г. Сементковскаго, у насъ замѣчается „почти всеобщее отрицаніе традицій шестидесятыхъ годовъ“. Выяснилось это отрицательное отношеніе въ послѣднія примѣрно десять лѣтъ, и г. Сементковскій является однимъ изъ его выразителей. Если-бы, однако, меня спросили, что именно онъ отрицаетъ, что именно разумѣетъ подъ словами „традиціи шестидесятыхъ годовъ», то я затруднился-бы отвѣтить, хотя прочиталъ статью г. Сементковскаго внимательно и другимъ рекомендую читать ее такъ же. Иногда онъ замѣняетъ эти слова „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями“ и тѣмъ значительно суживаетъ поле своего отрицанія. Затѣмъ онъ упрекаетъ другихъ въ томъ, что они смѣшиваютъ разныя теченія, существовавшія въ шестидесятыхъ годахъ, а самъ, ничтоже сумняся, пишетъ „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“. Въ дѣйствительности Добролюбовъ и Писаревъ—это двѣ большія разницы, какъ говорятъ русскіе нѣмцы, именно двѣ, если не больше. Уловить предѣлы недовольства г. Сементковскаго поэтому чрезвычайно трудно. Да я за этимъ не гонюсь. Мнѣ хочется остановиться только на одномъ пунктѣ этого недовольства.

По адресу шестидесятыхъ годовъ и „ихъ эпигоновъ“ г. Сементковскій замѣчаетъ, что у насъ „не любятъ заниматься изученіемъ Россіи, ея прошлымъ, нуждами и чаяніями громаднаго большинства населенія. Что въ ней хорошаго? Развѣ только идеи такъ называемыхъ передовыхъ людей. То-ли дѣло Западъ, эта обѣтованная ихъ земля!“ Развивая это свое положеніе, г. Сементковскій достигаетъ вершинъ краснорѣчія. Его бойкое перо

пишетъ: „Не могутъ же все только въ столицѣ „гремѣть витіи“, а тамъ, „во глубинѣ Россіи“, не можетъ и впредь царить „вѣковая тишина“. Нѣтъ, на самомъ дѣлѣ эта тишина давно уже нарушена. Зашевелился огромный муравейникъ, заколыхалось великое море, но всплыло изъ него на поверхность вовсе не то, что мы ожидали. Пока мы „прекраснодушничали“, пока въ столицахъ „гремѣли витіи“, тамъ, въ медвѣжьихъ углахъ нашего отечества, поднялся другой шумъ, робкій, неясный, но все-таки уже опредѣленный, а когда мы къ нему прислушиваемся, что-же мы слышимъ? Немолчный припѣвъ: „кулакъ-кабакъ, кабакъ-кулакъ“. Это монотонный, но душу раздирающій припѣвъ, и когда мы его слышимъ, мы не можемъ не спросить себя: что-же нами сдѣлано въ теченіе тридцати лѣтъ для того, чтобы покончить съ этимъ припѣвомъ? Гдѣ мы были, — мы, интеллигентная Русь?“

Да, въ самомъ дѣлѣ, гдѣ мы были, что дѣлали? Что дѣлалъ, напримѣръ, г. Сементковскій? Къ сожалѣнію, свѣдѣнія мои по этой части очень невелики. Въ старые годы, такъ, напримѣръ, въ серединѣ тѣхъ тридцати лѣтъ, которыя теперь г. Сементковскій сплошь обдаетъ своимъ презрѣніемъ, я изрѣдка имѣлъ удовольствіе встрѣчать его въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ онъ былъ переводчикомъ польскихъ беллетристическихъ произведеній. Въ 1882 г. онъ издалъ одинъ (если не ошибаюсь, изданіе дальше не пошло) томъ „Польской Библіотеки“, куда вошли его переводы съ польскаго и, кромѣ того, „Польскія письма“, не знаю, гдѣ прежде напечатанныя. Потомъ я надолго потерялъ г. Сементковскаго изъ вида, и только вотъ въ самое послѣднее время видѣлъ его подпись подъ какою-то статьей „Сѣвернаго Вѣстника“, да подъ предисловіемъ къ русскому переводу книги Ланге „Рабочій вопросъ“ (объ этой книгѣ и объ этомъ предисловіи у насъ будетъ разговоръ ниже). Это очень немного, и я увѣренъ, что г. Сементковскій совершилъ еще многое, мнѣ неизвѣстное, что онъ имѣетъ полное право выдѣлять себя изъ мѣстоимѣнія „мы“, которые только „прекраснодушничали“, на себя любовались, отечеству своему и народу русскому никакого вниманія не оказывали и т. д. Весь этотъ краснорѣчивый обвинительный актъ составляетъ одинъ изъ эпизодовъ борьбы г. Сементковскаго съ представителями шестидесятыхъ годовъ и ихъ эпигонами. А самъ онъ, надо думать, такимъ обвиненіямъ не под-

лежитъ. Я очень радъ такъ думать, но въ моемъ представленіи г. Сементковскій есть все-таки только хорошій переводчикъ съ польскаго и авторъ „Польскихъ писемъ“, весьма двусмысленной цѣнности. Чтобы освѣжить этотъ образъ въ своей памяти, я заглянулъ въ „Польскія письма“ и нашелъ тамъ, между прочимъ (въ письмѣ четвертомъ), слѣдующее. Г. Сементковскій полемизируетъ съ какимъ-то, повидимому, анонимнымъ польскимъ публицистомъ, высказавшимъ нѣсколько замѣчаній о русской печати. Г. Сементковскій является горячимъ защитникомъ этой печати и пишетъ ей настоящій панегирикъ. Напримѣръ: „О финансовыхъ и экономическихъ вопросахъ мы и говорить не станемъ, такъ какъ всякому, хотя-бы только поверхностно слѣдившему за нашею печатью, извѣстно, съ какою энергіей и знаніемъ дѣла она отстаивала приложеніе здравыхъ началъ къ нашему государственному и народному хозяйствамъ. Поистинѣ можно сказать, что голосъ русской печати былъ голосомъ людей, которые своими заслугами предъ государствомъ стяжали себѣ право на вліятельное положеніе въ немъ“. Много еще другого пріятнаго для насъ, русскихъ писателей, говоритъ г. Сементковскій въ пику польскому публицисту, хотя, признаюсь, я лично отъ нѣкоторыхъ изъ этихъ пріятностей охотно отказался бы и во всякомъ случаѣ не подписался бы подъ ними. Но дѣло не въ этомъ. Письмо г. Сементковскаго помѣчено 1880 годомъ; значитъ, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ почтенный авторъ не такъ уже презрительно относился къ „интеллигентной Руси“ и не укорялъ ее за позорное бездѣйствіе. Конечно, мнѣнія могутъ мѣняться, и то, что казалось г. Сементковскому двѣнадцать лѣтъ тому назадъ бѣлымъ, могло съ тѣхъ поръ въ его глазахъ почернѣть. Однако, кромѣ мнѣній г. Сементковскаго или кого другого, есть еще и факты, есть они и въ четвертомъ „польскомъ письмѣ“. Дѣло въ томъ, что польскій публицистъ, съ которымъ г. Сементковскій полемизируетъ, впалъ въ нѣкоторыя чисто-фактическія ошибки. Такъ, напримѣръ, онъ, по какому-то странному недоразумѣнію, отнесъ „Вѣстникъ Европы“ и „Русскую Старину“ къ славянофильскимъ органамъ. Такія фактическія ошибки г. Сементковскому, конечно, не трудно было отмѣтить. Между прочимъ, „Отечественныя Записки“ польскій публицистъ назвалъ „западническимъ органомъ“, а г. Сементковскій внесъ поправку или дополненіе, указавъ характеристическую черту названнаго журнала въ томъ, что онъ „съ успѣхомъ

разрабатываетъ всѣ вопросы, имѣющіе отношеніе къ крестьянству". „Съ успѣхомъ" или нѣтъ,—это вопросъ особый; теперь г. Сементковскій выразился бы, можетъ быть, не столь любезно. Но что „разработка всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ крестьянству", составляла характеристическую черту „Отечественныхъ Записокъ", это фактъ несомнѣнный. Читатель понимаетъ удовольствіе, съ которымъ я прочиталъ удостовѣреніе на этотъ счетъ г. Сементковскаго. Во-первыхъ, „Отечественныя Записки" близки моему сердцу по личнымъ воспоминаніямъ, и мнѣ пріятно было удостовѣриться, что не къ нимъ относится замѣчаніе г. Сементковскаго: „не любятъ заниматься изученіемъ Россіи, нуждами и чаяніями громаднаго большинства населенія; что въ ней хорошаго? То ли дѣло Западъ, эта обѣтованная ихъ земля!" Это могъ бы сказать, по недоразумѣнію или незнакомству съ дѣломъ, какой-нибудь иностранный публицистъ, а уже никакъ не г. Сементковскій, самъ принимавшій участіе въ „Отечественныхъ Запискахъ", хотя бы только въ качествѣ переводчика. Затѣмъ, нигдѣ традиціи шестидесятыхъ годовъ не блюлись въ такой мѣрѣ, какъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", а поэтому... поэтому я рѣшительно не понимаю, къ кому обращается г. Сементковскій съ своимъ грознымъ вопросомъ: „Гдѣ мы были, — мы, интеллигентная Русь?" Я отнюдь не говорю, что укоризны г. Сементковскаго неосновательны вообще, но вставка ихъ безъ всякихъ оговорокъ, въ статью, направленную противъ преданій шестидесятыхъ годовъ, есть такой зигзагъ, къ которому я, каюсь, не могу вполнѣ хладнокровно относиться. Есть границы, за которыми бойкость пера, владѣющаго писателемъ, перестаетъ быть смягчающимъ обстоятельствомъ.

Г. Сементковскій разслышалъ по деревнямъ „монотонный, но душу раздирающій припѣвъ: кулакъ-кабакъ, кабакъ-кулакъ". Онъ, повидимому, очень гордъ своимъ открытіемъ, съ высоты котораго презрительно оглядывается на тридцатилѣтнюю пустыню, оставленную имъ назади. А, Боже мой, не такая же ужъ это сплошная пустыня! Припомнимъ хоть знаменитое „Предостереженіе" Салтыкова, этого безполезнаго, по приговору г. Сементковскаго, писателя. Помните: „Раздается кличъ: идетъ чумазый! Идетъ и на вопросъ: „что есть истина?" — твердо и неукоснительно отвѣчаетъ: „распивочно и на выносъ!" Это дѣйствительно грозное и яркое слово сказано много раньше шепелявыхъ рѣчей г. Семент-

ковскаго (шепелявость часто уживается съ бойкостью). Мотивъ „припѣва“, разслышаннаго г. Сементковскимъ, есть явственный сколокъ съ мотива „клича“, давно уловленнаго Салтыковымъ, — конечно, сколокъ блѣдный, слабый, изуродованный, но вѣдь не Салтыковъ же въ этомъ виноватъ, и не шестидесятые годы вообще! Что касается параллели между гремящими въ столицахъ витіями и вѣковою тишиной въ глубинѣ Россіи, то не мѣшалобы г. Сементковскому припомнить... ну, хоть „Сонъ въ лѣтнюю ночь“ того-же безполезнаго Салтыкова, его „Конягу“, его „проблему о мужикѣ“ и „человѣка, питающагося лебедой“. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, живо вспомнилось все это при чтеніи удивительной статьи г. Сементковскаго,—это и еще многое другое.

Не говоря о цѣломъ рядѣ публицистовъ, такъ или иначе, худо или хорошо, разрабатывавшихъ разные общіе и частные вопросы, относящіеся къ „нуждамъ и чаяніямъ громаднаго большинства населенія“, вспомнился Елисеевъ, о которомъ Шелгуновъ писалъ въ „Русской Мысли“: „Конечно, не Елисеевъ выдумалъ „мужика“, но онъ его сконцентрировалъ въ журналѣ, котораго былъ душой, и можно сказать, что Елисееву „мужикъ“ обязанъ болѣе всего тѣмъ, что къ нему повернулось общественное мнѣніе и что, наконецъ, явилась даже „мужицкая“ внутренняя политика. Эта заслуга останется за Елисеевымъ“. Это мнѣніе Шелгунова преувеличено только относительно результатовъ, а ужъ никакъ не относительно самой дѣятельности Елисеева. И за покойникомъ несомнѣнно останется заслуга, въ которой разные гг. Сементковскіе съ слишкомъ короткою памятью не при чемъ окажутся. Вспомнился мнѣ еще, не говоря о Некрасовѣ съ его пѣснями о мужицкой нуждѣ и мужицкомъ горѣ, цѣлый рядъ беллетристовъ, пристально изучавшихъ и изображавшихъ деревенскую жизнь, и между ними такой недюжинный талантъ, какъ г. Златовратскій. Вспомнился Гл. Успенскій, всего себя отдавшій деревнѣ, даже въ ущербъ своему огромному художественному дарованію. И когда изъ этихъ крупныхъ и мелкихъ слагаемыхъ образовалась, наконецъ, сумма всего происходившаго на моихъ глазахъ, я подумалъ, что есть люди, которые могли бы безъ угрызеній совѣсти отвѣтить на вопросъ г. Сементковскаго: „гдѣ мы были,—мы, интеллигентная Русь?“ Эта сумма сама по себѣ, разумѣется, не чрезмѣрна, — въ такомъ дѣлѣ о чрезмѣрности, казалось бы, и рѣчи быть не можетъ; однако, въ свое время она многимъ пред-

ставлялась именно чрезмѣрною. Разные литературные гурманы находили, что литература слишкомъ „провоняла“ мужицкимъ полушубкомъ, что нуженъ же „дессертъ“, что интересы „культурной“ жизни должны стоять на первомъ планѣ и т. д. Щедрину, Успенскому, да и мнѣ, грѣшному, въ качествѣ литературнаго обозрѣвателя, не разъ приходилось отбиваться отъ этихъ нападокъ. И все это затѣмъ, чтобы г. Сементковскій открылъ Америку, да еще лягнулъ тѣхъ, кто въ теченіе многихъ лѣтъ на этой Америкѣ настаивалъ...

Я хотѣлъ бы думать, что и въ этомъ случаѣ бойкое перо г. Сементковскаго, помимо его воли и сознанія, увлекло его туда, куда ему вовсе не нужно. Хотѣлъ бы, но не могу удержаться на этой снисходительной точкѣ зрѣнія. Слишкомъ значительна та литературная полоса, на счетъ которой г. Сементковскій обнаруживаетъ бойкость своего пера, и слишкомъ велика его несправедливость и неблагодарность, чтобы можно было помириться на безсознательности его писанія. Когда онъ, въ пику Салтыкову и въ доказательство присутствія у Ювенала положительныхъ идеаловъ, пишетъ: „Ювеналъ боролся съ развращенностью римскаго общества“,—онъ, очевидно, пишетъ не то, что ему нужно. Ему бы надо указать положительные элементы въ дѣятельности римскаго сатирика, а онъ указываетъ отрицательный, какъ разъ тотъ самый, который въ осужденіе усвоиваетъ русскому сатирику. Для всякаго, сколько-нибудь внимательнаго читателя ясно, что авторъ восхваляетъ Ювенала именно за то, что порицаетъ въ Щедринѣ, и слѣдовательно, самъ себя съ большимъ успѣхомъ побиваетъ. Относительно обвиняемаго имъ въ безучастіи къ народу литературнаго теченія это отнюдь не столь ясно. Надо вонъ въ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ напечатанныя „Польскія письма“ заглянуть, чтобы свести на очную ставку собственныя показанія г. Сементковскаго. Тутъ напущенъ туманъ, сквозь который не сразу разберешь настоящія очертанія того, о чемъ рѣчь идетъ. Тутъ не безъ хитрости, и я постараюсь разъяснить ея мотивы и характеръ. Это занимательная и, при томъ, не особенно трудная задача. Когда проработаешь слишкомъ тридцать лѣтъ на литературномъ поприщѣ, когда, какъ справедливо говоритъ обо мнѣ въ одномъ мѣстѣ г. Сементковскій, „посѣдѣешь въ литературномъ трудѣ“, тогда поневолѣ до тонкости изучишь

психологію писателей, большихъ и малыхъ. Ахъ, я такъ много видѣлъ и тѣхъ, и другихъ...

Г. Сементковскій неоднократно употребляетъ въ своей статьѣ слово „эпигоны“. Догадываюсь, но не могу съ полною увѣренностью сказать, какъ самъ онъ относится къ этому слову; вообще же говоря, у насъ склонны соединять съ нимъ нѣсколько презрительное понятіе. Это совершенно напрасно. Исторія знаетъ двѣ группы „эпигоновъ“, то-есть „послѣ рожденныхъ“. Во первыхъ, эпигонами называются миѳическіе семь греческихъ вождей въ походѣ противъ Ѳивъ; во-вторыхъ, потомки діадоховъ, между которыми раздѣлялось царство Александра Македонскаго. Если послѣдніе, то-есть историческіе эпигоны, не смотря на дарованія и славу многихъ изъ нихъ, но могутъ сравниться блескомъ съ македонскимъ завоевателемъ, то эпигоны миѳическіе, напротивъ, превзошли своихъ отцовъ, погибшихъ подъ стѣнами Ѳивъ, и являются побѣдоносными мстителями за нихъ. Иносказательно подъ эпигонами разумѣютъ всѣхъ, продолжающихъ дѣло отцовъ или вообще предыдущаго поколѣнія, чѣмъ разумѣется, не предрѣшается ихъ сходство ни съ историческими, ни съ миѳическими эпигонами: они могутъ и превзойти отцовъ, и спуститься ниже ихъ,—дѣло только въ преемственности задачъ. Поэтому быть эпигономъ ни мало не постыдно. Мало того, бываютъ обстоятельства, когда постыдно, напротивъ, не быть эпигономъ, а именно во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда неотложная историческая задача осталась по обстоятельствамъ нерѣшенною. Миѳическіе эпигоны заслуживали-бы съ эллинской точки зрѣнія негодованія и позора, если-бы не были эпигонами, если бы не пошли по слѣдамъ отцовъ къ Ѳивамъ. Во всякомъ случаѣ, эпигонами могутъ быть и большіе, и маленькіе люди. Но тутъ часто разыгрывается въ лицахъ одинъ любопытный житейскій парадоксъ.

Большіе люди, способные иногда прокладывать и новые пути или даже дѣйствительно ихъ прокладывающіе, обыкновенно не только не стыдятся имѣть предшественниковъ, но съ особенною старательностью ихъ разыскиваютъ. Они дѣлаютъ это, прежде всего, въ интересахъ самого дѣла, которое, разумѣется, тѣмъ прочнѣе, чѣмъ глубже его историческіе корни, а затѣмъ по личнымъ побужденіямъ справедливости и благодарности. Прочтите, напримѣръ, предисловіе Дарвина къ американскому изданію „Происхожденіе видовъ“ (это предисловіе приложено къ русскому пе-

реводу книги Дарвина). Великій натуралистъ самымъ тщательнымъ образомъ перебираетъ всѣ крупныя и мелкія сочиненія, въ которыхъ такъ или иначе можно усмотрѣть идею, обезсмертившую его имя. Онъ выражаетъ при этомъ опасеніе, что его очеркъ можетъ быть не полонъ, и доходитъ до такой щепетильности, что заноситъ въ свой списокъ, напримѣръ, сочиненіе Гукера, появившееся въ печати мѣсяцемъ позже, чѣмъ „Происхожденіе видовъ". Дарвинъ справедливо разсуждаетъ, что это опозданіе всего на одинъ мѣсяцъ свидѣтельствуетъ о независимости работы Гукера отъ взглядовъ, изложенныхъ въ „Происхожденіи видовъ". Такъ поступаютъ всѣ истинно большіе люди. Они дорожатъ истиной, а чѣмъ больше было указаній на эту истину до нихъ, тѣмъ вѣроятнѣе ея торжество. Они по себѣ знаютъ цѣну труда и опасаются отнять у своихъ предшественниковъ долю ихъ заслуги. Они преисполнены благодарности къ тѣмъ, кто такъ или иначе раньше вышелъ на дорогу и освѣтилъ имъ ее. И если-бы Дарвина кто-нибудь назвалъ эпигономъ Ламарка и Жоффруа С.-Илера, онъ не устыдился-бы этого титула, памятуя примѣръ героическихъ ѳпванскихъ эпигоновъ.

Не таковы маленькіе люди. Надо, впрочемъ, оговориться. Есть маленькіе люди вполнѣ почтенные, отлично знающіе мѣру своего роста, не лѣзущіе „выше сферы своей" и вполнѣ способные воздать коемуждо по дѣламъ его, въ томъ числѣ и своимъ предшественникамъ на поприщѣ науки, теоретической мысли или практической дѣятельности. Не о нихъ и рѣчь. Съ спокойнымъ достоинствомъ принимать положеніе эпигона можетъ и большой, и маленькій человѣкъ; но, за чрезвычайно рѣдкими и тѣмъ болѣе печальными исключеніями, только очень маленькимъ людямъ свойственно тѣшить свое самолюбіе, опороченіемъ духовныхъ предковъ или отрицаніемъ ихъ заслугъ. Отсюда получается положеніе столь двусмысленное, что изъ него невозможно выбраться иначе, какъ съ болѣе или менѣе значительнымъ нравственнымъ ущербомъ. Люди эти по самой природѣ своей принадлежатъ къ числу тѣхъ, о которыхъ говорятъ, что они пороху не выдумаютъ. А между тѣмъ они-то именно и жаждутъ его выдумать и пуще всего боятся, какъ-бы кто не подумалъ, что они чужимъ порохомъ стрѣляютъ. Но такъ какъ въ дѣйствительности своего-то у нихъ нѣтъ, то они по необходимости заимствуютъ его изъ готовыхъ складовъ, стараясь по возможности замаскировать свои источ-

ники. Въ этомъ направленіи они доходятъ до самыхъ некрасивыхъ поступковъ, да иначе и быть не можетъ. Какъ въ самомъ дѣлѣ сказать „новое слово“, когда его за душой нѣтъ? Поистинѣ, охота смертная, да участь горькая! Самый элементарный выходъ изъ затрудненія состоитъ въ томъ, чтобы анонсировать новое слово, но такъ при анонсѣ и остаться, а на дѣлѣ тянуть никчемную канитель, въ которой ничего новаго нѣтъ. Однако, уже и этотъ простѣйшій и сравнительно безобидный способъ по необходимости сопровождается нѣкоторою нравственною неопрятностью: читатель-то, во всякомъ случаѣ, обманутъ. Напримѣръ, смѣшной критикъ „Сѣвернаго Вѣстника“ (мнѣ пріятно отмѣтить, что и г. Сементковскій находитъ его смѣшнымъ) анонсировалъ открытіе „новой мозговой линіи“, на запросы которой безсильна отвѣтить старая литература. Читатель естественно ждалъ, что ему выяснятъ запросы вновь открытой мозговой линіи, — вѣдь это не шутка!—а вмѣстѣ съ тѣмъ и причины безсилія старой литературы; однако, ничего такого не получилъ. Но этотъ простѣйшій случай есть еще сравнительно лучшій. Видно, что человѣкъ не хочетъ быть эпигономъ, а пороху не хватаетъ, но и его мнимая самостоятельность, и его неблагодарность къ предшественникамъ робко расплываются въ неопредѣленныхъ и ничего не говорящихъ, хотя и вычурныхъ словахъ. Бываетъ гораздо хуже. Если читатель не очень молодъ и не исключительно среди пріятностей жилъ, то, можетъ быть, и даже навѣрное, имѣлъ случай сдѣлать одно горькое наблюденіе. Оказывая какую-нибудь, хотя-бы незначительную услугу большому человѣку (большому, какъ личность, какъ характеръ), мы смѣло можемъ разсчитывать на благодарность, даже далеко превышающую важность услуги, до такой степени, что эта чрезмѣрность оцѣнки можетъ даже тяготить. Наоборотъ, услуга или помощь, даже прямо благодѣяніе, оказанное мелкому человѣку (опять-таки мелкому, какъ характеръ или личность), сплошь и рядомъ отзывается въ его сердцѣ странною обидой, которой онъ не проститъ; такъ или иначе, а онъ постарается въ отплату напакостить. Я только утверждаю фактъ, по всей вѣроятности, очень многимъ знакомый, а объяснить его не умѣю. Что благодарность есть свойство возвышенныхъ натуръ, это понятно; но почему она подмѣнивается въ мелкихъ натурахъ часто даже прямо злобой и желаніемъ какъ-бы отомстить, я этого, признаюсь, не понимаю. Однако, аналогич-

ные факты въ сферѣ печатнаго слова мнѣ довольно понятны. Тотъ маленькій человѣкъ, который пуще всего боится прослыть эпигономъ и жадно ищетъ лавровъ невозможнаго для него первенства, относится къ оставленному ему наслѣдству не какъ къ помощи, а какъ къ помѣхѣ. Онъ постарается прежде всего обойтись безъ этого наслѣдства, выдумать вполнѣ „новое слово“. И хорошо, если ему повѣрятъ хотя-бы какіе-нибудь ротозѣи,—онъ тогда успокоится, онъ, очевидно, не эпигонъ какой-нибудь! Но если даже подобіе новаго слова не вытанцовывается и онъ явственно вынужденъ черпать изъ полученнаго имъ наслѣдства, его положеніе крайне запутывается. Надо, во что-бы то ни стало, разыскать, по крайней мѣрѣ, какіе-нибудь значительные изъяны въ наслѣдствѣ,—о маленькихъ, второстепенныхъ поправкахъ не стоитъ и хлопотать,—а можно обойтись съ своими предшественниками и по пословицѣ: ихъ же добромъ, да имъ же челомъ. Можно, живя на наслѣдственный духовный капиталъ и именно имъ щеголяя, съ паѳосомъ корить предшественниковъ: вы, такіе-сякіе, ничего не дѣлали, меня по міру пустили, я теперь долженъ кровью и потомъ зарабатывать свой хлѣбъ насущный, и вотъ онъ, мой хлѣбъ, смотрите!.. Ничего этотъ краснорѣчивый человѣкъ не заработалъ, живетъ исключительно на наслѣдственный капиталъ, но, въ виду его особеннаго положенія, ему кажется, что предшественники не только ему ничего не оставили, а даже нѣкоторымъ образомъ обокрали его: лишили его лавровъ первенства, лавровъ новатора, открывающаго невиданные горизонты. Разумѣется, онъ этой двусмысленной внутренней пружины своей никогда не обнаружитъ, да она, можетъ быть, и ему самому не совсѣмъ ясна. Тутъ нечего искать не только добросовѣстности, но и логики, и даже простой осторожности (потому что вѣдь всегда могутъ уличить). Все это забываютъ люди, разъ они задались невозможною задачей прыгнуть выше себя. Эпигонъ, „послѣ рожденный“, страстно, во что-бы то ни стало, желаетъ быть „раньше рожденнымъ“ или первороженнымъ. Душевная неурядица, проистекающая изъ такого положенія, вполнѣ естественна.

Настоящее „новое слово“ есть большая рѣдкость въ исторіи. Чтобы сказать его, не достаточно обширнаго ума, глубокихъ познаній, благородства души, вообще даже самыхъ блистательныхъ личныхъ качествъ. Нужно еще, чтобы эти качества имѣли новую

точку приложенія, нужно, чтобы была налицо новая задача, достаточно широкая для примѣненія къ ней крупныхъ силъ,—нужна, словомъ, соотвѣтственная историческая обстановка. Ничего этого не хотятъ знать люди, прежде всего не желающіе быть эпигонами и не обладающіе вдобавокъ большею частью и выдающимися личными качествами, потому что эти выдающіяся качества тоже вѣдь не заурядное явленіе. Въ очень молодыхъ людяхъ, которымъ „новы всѣ впечатлѣнья бытія“, преувеличенное самомнѣніе въ дѣлѣ открытія новыхъ путей имѣетъ за себя много смягчающихъ обстоятельствъ. Работу нашихъ предшественниковъ можно уподобить какому-нибудь химическому препарату, часть котораго осѣла въ видѣ кристалловъ съ ясно-опредѣленными гранями, а часть осталась въ растворѣ и на глазахъ незамѣтна. Преемственная работа мысли частью кристаллизуется въ книгахъ, а частью растворяется незамѣтнымъ образомъ въ общественномъ сознаніи и пропитываетъ собою всю окружающую насъ духовную атмосферу. Молодой человѣкъ, „послѣ рожденный“, въ буквальномъ смыслѣ слова, недостаточно знакомый съ подробностями исторіи нашей мысли, а часто и съ общимъ ходомъ ея, можетъ добросовѣстно заблуждаться относительно источниковъ своихъ идей. Это вездѣ возможно, а у насъ тѣмъ паче, въ виду обрывистаго хода нашей исторіи. Кристаллизованная часть преемственной работы, книги — не всегда доступны молодымъ людямъ, не всегда удобны даже указанія на нихъ, а разобраться въ томъ, что воспринято изъ невидимой духовной атмосферы, не легко. Нынѣшній молодой человѣкъ уже воспитывается на многомъ изъ того, что въ свое время стоило большихъ усилій и жертвъ. Онъ самъ иной разъ не знаетъ, откуда запала ему та или другая мысль, то или другое чувство, и немудрено, что ему иногда кажется, что онъ дошелъ до нихъ вполнѣ самостоятельно, что онъ первый возвѣщаетъ извѣстную истину. Надо еще прибавить, что, не искушенный опытомъ, онъ, къ тому же, недостаточно знаетъ размѣры своихъ силъ. Если онъ и дѣйствительно вноситъ извѣстную поправку или прибавку къ тому, что выработано до него цѣлымъ рядомъ литературныхъ работниковъ, то, въ своемъ увлеченіи и незнаніи, онъ склоненъ преувеличивать значеніе своего вклада до высоты новаго слова. Съ другой стороны, какая-нибудь попавшаяся ему на глаза второстепенная ошибка въ багажѣ предшественниковъ можетъ разрости для него въ непропорціонально

большой минусъ, на который онъ и укажетъ съ юношескою рѣзкостью. И все это довольно простительно...

Читатель, надѣюсь, не подумаетъ, что, извиняя самолюбивыя увлеченія молодости, я хочу льстить молодымъ литературнымъ силамъ. Кажется, меня въ этомъ заподозрить нельзя, да и льстить-то некому. Достойно вниманія, что въ настоящую минуту,—и минута эта тянется уже довольно долго,—очень выдающихся молодыхъ силъ въ литературѣ нѣтъ. Такая неурожайная полоса вышла; о вѣроятныхъ причинахъ этого неурожая было-бы слишкомъ долго говорить, а самый фактъ не подлежитъ сомнѣнію. Тѣ болѣе или менѣе талантливые писатели, которыхъ у насъ называютъ „новымъ литературнымъ поколѣніемъ“ или „нашими молодыми писателями“, —большею частью люди 35—40 лѣтъ, а то и больше, а кто помоложе, у тѣхъ такъ или иначе звучатъ истинно-старческія ноты. Для сравненія припомните, что Пушкинъ, Лермонтовъ или Добролюбовъ, Писаревъ буквально юношами владѣли сердцами читателей, что къ тридцати годамъ Тургеневъ былъ уже авторомъ „Записокъ охотника“, Григоровичъ—„Антона Горемыки“, Л. Толстой—„Дѣтства и отрочества“ и „Казаковъ“, Достоевскій—„Бѣдныхъ людей“, Салтыковъ—„Губернскихъ очерковъ“, Успенскій двадцати съ небольшимъ лѣтъ написалъ „Нравы Растеряевой улицы“ и „Разоренье“ и т. д. „Флотовъ нѣтъ—передъ флотами“,—утѣшался Погодинъ. Не знаю, какъ съ флотами, а въ литературѣ должны же, наконецъ, когда-нибудь объявиться молодыя силы, и я надѣюсь, что онѣ воздадутъ должное тому, что было до нихъ, добросовѣстно учтутъ труды и жертвы, и муки „раньше рожденныхъ“. Пусть только они не стыдятся быть эпигонами, хотя-бы потому, что этотъ стыдъ есть смѣшная или недостойная именно самостоятельныхъ людей слабость. А если имъ суждено сказать дѣйствительно новое слово, тѣмъ лучше: это будетъ значить, что задачи, насъ, стариковъ, мучившія, исчерпаны или, по крайней мѣрѣ, сильно приблизились къ своему рѣшенію.

Во всякомъ случаѣ, все это не относится къ г. Сементковскому. Изъ его предисловія къ русскому переводу книги Ланге „Рабочій вопросъ“ видно, что онъ познакомился съ нѣмецкимъ оригиналомъ этой книги „въ студенческіе годы“, по первому еще изданію, а оно появилось въ 1865 году, двадцать семь лѣтъ тому назадъ. Значитъ, къ „молодымъ силамъ“ причислить г. Се-

ментковскаго нельзя. Тѣ тридцать лѣтъ, которыя представляются ему теперь такою безотрадною пустыней, онъ прожилъ сознательною жизнью. Онъ не „послѣ рожденный“ въ буквальномъ смыслѣ этого слова по отношенію къ шестидесятымъ годамъ. Его взглядъ на прошлое, если оно дѣйствительно тридцатилѣтняя пустыня, долженъ-бы имѣть не обличительный, а покаянный характеръ. А онъ вонъ какъ брыкается!... Прошу извиненія за это грубоватое выраженіе, но я не умѣю подыскать другое, болѣе мягкое, которое было-бы столь же характерно для энергическаго, но логически безпорядочнаго словеснаго поведенія г. Сементковскаго. Если оставить въ сторонѣ разные второстепенные и, очевидно, непроизвольные зигзаги пера въ статьѣ г. Сементковскаго, то въ ней окажутся два любопытные пункта: во-первыхъ, преданія шестидесятыхъ годовъ, ошибочныя и сами по себѣ, устарѣли, должны быть сданы въ архивъ, да къ тому и клонится благодѣтельное измѣненіе „міросозерцанія русскаго общества“ за послѣднія десять лѣтъ; во-вторыхъ, надо же, наконецъ, послѣ тридцатилѣтняго небреженія „нуждами и чаяніями большинства населенія“, къ нимъ обратиться! Я утверждаю, что эти два тезиса совершенно противорѣчатъ другъ другу, если, разумѣется, подъ „преданіями“ понимать дѣйствительно преданія, а не то, что первому встрѣчному, г. Сементковскому, вздумается свалить въ одну кучу подъ именемъ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“.

Но сначала одно маленькое побочное замѣчаніе. Г. Сементковскій вспоминаетъ о томъ „страстномъ и напряженномъ вниманіи“, съ которымъ онъ читалъ четверть вѣка тому назадъ книжку Ланге. Онъ говоритъ, впрочемъ, не только лично отъ себя, а и отъ лица тогдашней молодежи: „Предъ духовнымъ взоромъ открывалась мрачная картина страданій самаго многочисленнаго и безпомощнаго общественнаго класса. Уже это влекло сердца молодежи къ книгѣ. Кромѣ того, въ ней предлагались широкія и коренныя средства помощи“. Но и черезъ четверть вѣка,—продолжаетъ г. Сементковскій,—книга ни мало не устарѣла и даже „пріобрѣла болѣе реальное значеніе“. Это сообщеніе должно быть не особенно пріятно для людей, боящихся попасть въ положеніе эпигоновъ: двадцать семь лѣтъ тому назадъ сказанное слово не только не успѣло устарѣть, а получило еще большій вѣсъ. Сколько новыхъ словъ успѣли-бы сказать за это ремя нѣмецкіе гг. Сементковскіе, если-бы имъ поперекъ дороги

не лежала книжка Ланге! Я, впрочемъ, не увѣренъ, что нашъ, русскій, г. Сементковскій читалъ эту книжку именно двадцать семь лѣтъ, а не двадцать два года тому назадъ. Онъ говоритъ круглымъ числомъ „четверть вѣка“, а большая точность имѣетъ въ данномъ случаѣ немаловажное значеніе. Я познакомился съ книгой Ланге уже во второмъ изданіи 1870 г. и перваго изданія даже никогда не видалъ, но имѣю о немъ достаточно ясное представленіе по предисловіямъ автора ко второму и третьему изданію. Первое изданіе было не больше, какъ „eine flüchtige Extemporisation“, какъ выражается самъ Ланге, маленькая летучая брошюрка (книжка не велика, впрочемъ, и въ четвертомъ изданіи, съ котораго сдѣланъ русскій переводъ), написанная по текущему практическому поводу и съ текущими практическими цѣлями. На лейпцигскомъ съѣздѣ представителей нѣмецкихъ рабочихъ союзовъ 1864 г. произошло одно изъ многочисленныхъ столкновеній между послѣдователями Лассаля и Шульце-Делича. Ланге, участвовавшій въ съѣздѣ, пожелалъ выяснить свое личное отношеніе къ этому спору, что и сдѣлалъ въ брошюрѣ „Die Arbeiterfrage“. Брошюра была мало замѣчена даже въ близко заинтересованныхъ кружкахъ. Только черезъ пять лѣтъ понадобилось новое изданіе, а пять лѣтъ для Германіи и при томъ для „flüchtiger Extemporisation“ по предмету жгучей тогда распри между послѣдователями Лассаля и Шульце-Делича — это очень много. Во второмъ изданіи Ланге измѣнилъ планъ своей брошюры, придалъ ей болѣе общій и теоретическій характеръ, вписалъ цѣлыя новыя главы. Такъ, въ первомъ изданіи не было любопытной главы „О счастіи“, а также главы „Капиталъ и трудъ“. Вотъ относительно этой послѣдней главы и представляетъ нѣкоторый интересъ нѣсколько большая точность, чѣмъ „четверть вѣка“ г. Сементковскаго. Если онъ впервые познакомился съ книжкой Ланге по первому изданію, то едва ли онъ нашелъ тамъ „мрачную картину страданій самаго многочисленнаго и безпомощнаго класса“, которая сосредоточена, главнымъ образомъ, въ главѣ „Капиталъ и трудъ“. Если, однако, онъ читалъ второе изданіе, то онъ видѣлъ, что вся эта глава построена на „Капиталѣ“ Маркса, чего Ланге и не скрываетъ. Этотъ высокс-даровитый, обладавшій глубокими и разносторонними познаніями, благороднѣйшій и слишкомъ рано умершій мыслитель можетъ служить поучительнымъ образцомъ для господъ,

стыдящихся быть эпигонами. Онъ не стыдился. Въ философіи онъ открыто возвращался къ кантіантскимъ „преданіямъ“, въ области экономическихъ вопросовъ столь же открыто призналъ себя ученикомъ Маркса. Это не помѣшало ему оставить многимъ еще поколѣніямъ богатое наслѣдство, но оно состоитъ, конечно, въ „Исторіи матеріализма“, а не въ „Рабочемъ вопросѣ“. Я не то хочу сказать, что „Рабочій вопросъ“ не заслуживаетъ вниманія. Напротивъ, это прекрасная книга, а при бѣдности нашей литературы по этой части ее слѣдуетъ рекомендовать особенному вниманію читателя. Она содержитъ въ себѣ очень много цѣнныхъ частныхъ указаній и, кромѣ того, проникнута особеннымъ, свойственнымъ Ланге благороднымъ характеромъ, возведеннымъ въ систему, которую одинъ нѣмецъ удачно назвалъ „идеалистическимъ натурализмомъ“. Но самъ Ланге былъ-бы очень удивленъ, если-бы могъ прочитать предисловіе г. Сементковскаго къ его книжкѣ. Онъ подумалъ-бы: неужели-же эти бѣдные русскіе такъ мало знакомы съ литературой рабочаго вопроса? Я сдѣлалъ, что могъ, но вѣдь моя маленькая книжка есть только мало-замѣтный эпизодъ въ европейской литературѣ; о ней ни однимъ словомъ даже не поминается въ такихъ богатыхъ фактическимъ и библіографическимъ матеріаломъ сочиненіяхъ, какъ, напримѣръ, Мейера „Emancipationskampf des vierten Standes“; „мрачную картину“ я заимствовалъ у Маркса, да и мало-ли еще гдѣ могли найти ее читатели задолго до моей брошюрки.

Мнѣ не въ первый разъ приходится говорить о Ланге. Главою „О счастіи“ (въ подлинникѣ гораздо выразительнѣе и опредѣленнѣе: „Glück und Glückseligkeit) я когда-то воспользовался въ статьѣ „Борьба за индивидуальность“, а въ „Письмахъ о правдѣ и неправдѣ“ рекомендовалъ Ланге особенному вниманію читателей, какъ мыслителя, совмѣщающаго въ своихъ писаніяхъ „правду—истину“ и „правду—справедливость“. Я разумѣлъ преимущественно „Исторію матеріализма“, но и о „Рабочемъ вопросѣ“ могу сказать то же самое. Г. Сементковскій, къ удивленію, даже не упоминаетъ въ своемъ предисловіи объ „Исторіи матеріализма“, хотя послѣднія ея главы (въ особенности глава *Народное хозяйство и догматика эгоизма*) имѣютъ непосредственное отношеніе къ темѣ „Рабочаго вопроса“. Какъ-бы то ни было, а мы оба, то-

есть и г. Сементковскій, и я, повидимому, одинаково почтительно относимся къ нѣмецкому философу; и это почтительное отношеніе сложилось у насъ довольно-таки давно: у г. Сементковскаго четверть вѣка тому назадъ, да и у меня около того-же. Такъ какъ не только въ „Исторіи матеріализма“, а и въ „Рабочемъ вопросѣ“ Ланге касается многихъ и теоретическихъ, и практическихъ вопросовъ, и, при томъ, ставитъ ихъ очень широко, то можно бы было предположить, что мы съ г. Сементковскимъ и вообще единомыслимъ. А, между тѣмъ, г. Сементковскій коритъ меня „преданіями шестидесятыхъ годовъ“ и „добролюбовско-писаревскими воззрѣніями“, которыя вѣдь тоже обнимаютъ очень многіе теоретическіе и практическіе вопросы и которыя, по мнѣнію г. Сементковскаго, въ противоположность идеямъ Ланге, рѣшительно устарѣли, да, кажется, и всегда были никуда не годны. Это намекаетъ на какое-то недоразумѣніе: либо я страдаю грубымъ непониманіемъ или незнаніемъ, почтительно относясь къ двумъ группамъ идей, по характеру своему прямо противоположнымъ другъ другу, либо тѣмъ же страдаетъ г. Сементковскій, когда одну изъ этихъ группъ возвеличиваетъ, а другую предаетъ поруганію.

Казалось-бы, довольно трудно сравнивать спокойную, законченную, единоличную работу Ланге съ лихорадочною, разбросанною, коллективною работой, создавшею инкриминируемыя г. Сементковскимъ преданія и воззрѣнія. Въ этой послѣдней работѣ принимали участіе люди высоко-даровитые и люди второго сорта,—люди, владѣвшіе обширными познаніями, и люди малосвѣдующіе, люди необузданно-пылкаго воображенія и трезвой мысли, глубоко и безповоротно убѣжденные и случайно, безсознательно захваченные историческою волной. При такихъ условіяхъ вполнѣ естественны всякаго рода неровности, увлеченія, промахи, часто очень прискорбные. Я первый готовъ ихъ признать, а если понадобится, то и указать. Но только недобросовѣстность, незнаніе и непониманіе могутъ реставрировать общую физіономію эпохи на основаніи подобныхъ частныхъ явленій. Если-же имѣть въ виду наиболѣе общія черты, тѣ именно, которыя дѣйствительно сложились въ „преданіи“, то характерный для Ланге „идеалистическій натурализмъ“ окажется и здѣсь характернымъ. Это выраженіе попалось мнѣ на глаза на-дняхъ, а между тѣмъ, уже въ прошломъ году, въ предисловіи въ сочиненіяхъ Шелгунова, я

почти этими самыми словами старался очертить общій характеръ забракованныхъ г. Сементковскимъ „преданій“ и „воззрѣній“. И смѣю думать, что это были не слова только. Чтобы не повторяться, я отсылаю читателя къ этому предисловію, а здѣсь прибавлю слѣдующее.

Когда я писалъ предисловіе къ сочиненіямъ Шелгунова, онъ былъ уже недалекъ отъ смерти. Опасеніе огорчить глубоко уважаемаго мною больного старика не позволяло мнѣ входить въ подробности промаховъ мысли въ шестидесятые годы. Я упомянулъ о нихъ, но въ подробности не входилъ, потому что въ такомъ случаѣ пришлось бы говорить, главнымъ образомъ, о ближайшихъ сотрудникахъ Шелгунова по Благосвѣтловскому „Русскому Слову“ и „Дѣлу“,—Писаревѣ, Зайцевѣ, Соколовѣ, самомъ Благосвѣтловѣ. Г. Сементковскій, какъ я уже замѣтилъ выше, совершенно напрасно говоритъ о „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣніяхъ“, смѣшивая въ этой формулѣ вещи весьма различныя. Чтобы наглядно убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить отношенія Добролюбова и Писарева къ Щедрину. Повидимому, это достаточно крупный и яркій писатель, чтобы разногласіе по отношенію къ нему могло служить свидѣтельствомъ разногласія вообще. Припомните же, какъ отнеслись оба критика къ Салтыкову. Добролюбовъ писалъ, между прочимъ: „Подумавши хорошенько, мы убѣждаемся, что̀ серьезно защищать г. Щедрина и его направленіе совершенно не стоитъ. Все отрицаніе г. Щедрина относится къ ничтожному меньшинству нашего народа, которое будетъ все ничтожнѣе съ распространеніемъ народной образованности. А упреки, дѣлаемые г. Щедрину, раздаются только въ отдаленныхъ, едва замѣтныхъ кружкахъ этого меньшинства. Въ массѣ же народа имя г. Щедрина, когда оно сдѣлается тамъ извѣстнымъ, будетъ всегда произносимо съ уваженіемъ и благодарностью: онъ любитъ этотъ народъ, онъ видитъ много добрыхъ, благородныхъ, хотя и неразвитыхъ или невѣрно направленныхъ инстинктовъ въ этихъ смирныхъ, простодушныхъ труженикахъ. Ихъ-то защищаетъ онъ отъ разныхъ талантливыхъ натуръ и безталанныхъ тружениковъ“, и т. д. Такъ говоритъ Добролюбовъ. У насъ часто толкуютъ о вліяніяхъ „кружковщины“ на благопріятные и неблагопріятные отзывы критики. Не мѣшаетъ поэтому, можетъ быть, замѣтить, что статья Добролюбова написана по поводу „Губернскихъ очерковъ“, когда Салтыковъ писалъ еще

не въ „Современникѣ“, а въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Что касается Писарева, то, какъ извѣстно, онъ не нашелъ у Щедрина ничего, кромѣ „цвѣтовъ невиннаго юмора“, и, признавъ за нимъ бойкое перо, любезно предложилъ ему заняться писаніемъ популярныхъ статей по естествознанію, „а Глуповъ пора бросить“. Какія-же такія послѣ этого „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія?“ Вы видите, что тутъ не частное какое-нибудь разногласіе, а коренная разница въ самыхъ основаніяхъ взглядовъ на вещи и идеи. Извѣстно, что разница эта къ половинѣ шестидесятыхъ годовъ отразилась, наконецъ, скандальною перебранкой, въ которой, обезсиленныя разными тяжелыми обстоятельствами, обѣ стороны вели себя хуже. Я помню одну каррикатуру того времени въ „Искрѣ“: Салтыковъ, очень похоже нарисованный, держитъ одною рукой зайца (намекъ на сотрудника „Русскаго Слова“ Зайцева), а другою рукой сѣчетъ его пучкомъ розогъ. Подпись изъ какого-то стараго стихотворенія: „ужасный видъ! они сразились!“ Это было очень смѣшно. Но въ общемъ совсѣмъ не смѣшна была эта потасовка, въ которой, впрочемъ, Салтыковъ принималъ очень мало участія. Не смѣшно, а горестно было это наглядное доказательство обмеленія русла передовой литературы.

Дѣло было именно въ обмеленіи русла. Когда говорятъ о „преданіяхъ“ вообще, то надо преданія и имѣть въ виду, то-есть нѣчто переданное, сохранившееся. Но когда говорятъ въ частности о преданіяхъ шестидесятыхъ годовъ, то нельзя разумѣть шестидесятые годы въ буквальномъ, ариѳметическомъ смыслѣ слова, хотя-бы уже потому, что Добролюбовъ, изъ котораго вотъ и г. Сементковскій дѣлаетъ знаменосца, уже въ 1861 г. умеръ. Надо пріискать какой-нибудь центральный фактъ тогдашней жизни, отступленіе отъ котораго уже выводитъ насъ изъ круга обсуждаемыхъ идей, и только то, что изъ этихъ идей передалось слѣдующему поколѣнію, а имъ разрабатывалось, заслуживаетъ названія преданій. Иначе мы будемъ неизбѣжно путаться въ совершенно произвольныхъ сопоставленіяхъ и невозможныхъ отождествленіяхъ. Что-же было центральнымъ пунктомъ такъ называемыхъ шестидесятыхъ годовъ и что отъ тогдашнихъ идей сохранилось до отмѣченнаго г. Сементковскимъ „поворота въ міросозерцаніи русскаго общества“, а отчасти, къ его огорченію, сохраняется и теперь?

Г. Сементковскій не первый и, вѣроятно, не послѣдній при-

нимаетъ за исходный пунктъ своей ретроспективной критики „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“. Такая постановка вопроса, прежде всего, суживаетъ его, сводя дѣло къ литературной критикѣ. Это, мнѣ кажется, дань тому предразсудку, въ силу котораго литературный критикъ есть нѣчто вродѣ перваго любовника въ драматической труппѣ или перваго тенора въ оперной. По общедоступности или общезанимательности сферы беллетристики, литературный критикъ дѣйствительно можетъ иногда пользоваться исключительною популярностью на манеръ перваго тенора. При томъ-же, у насъ, по условіямъ нашей печати, часто бываетъ удобнѣе говорить о литературномъ отраженіи жизни, чѣмъ о самой жизни. Во времена Бѣлинскаго это было безусловно такъ, но затѣмъ обстоятельства нѣсколько измѣнились къ лучшему, и потому дѣлать центромъ эпохи шестидесятыхъ годовъ тѣ или другія воззрѣнія на искусство, на пріемы и содержаніе литературной критики—совершенно незаконно. Но этого мало. Попробуемъ расчленить произвольную формулу „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“ и посмотримъ, что изъ нихъ удержалось въ видѣ преданій. Я уже сдѣлалъ это выше, на примѣрѣ отношенія обоихъ критиковъ къ Салтыкову; надо только договорить, надо спросить, которое изъ двухъ воззрѣній удержалось въ преданіи. Отвѣтъ слишкомъ ясенъ: остался самъ Салтыковъ, весь цѣликомъ, и какъ писатель, и какъ руководитель „Отечественныхъ Записокъ“. Возьмемъ другого великаго писателя—Пушкина. Добролюбовъ не сотворилъ себѣ кумира изъ него, но вотъ какъ привѣтствовалъ онъ появленіе седьмого тома его сочиненій въ новомъ изданіи: „Всѣ еще помнятъ, вѣроятно, какой живой восторгъ возбудило, три года тому назадъ, во всей читающей публикѣ извѣстіе о новомъ изданіи Пушкина, подъ редакціей г. Анненкова. Послѣ вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лѣтъ передъ тѣмъ, это изданіе дѣйствительно было событіемъ не только литературнымъ, но и общественнымъ“, и т. д. Писаревъ-же совершилъ надъ Пушкинымъ грубую и жестокую операцію. Спрашиваю опять: гдѣ-же „добролюбовско-писаревскія“ воззрѣнія? Почему они за одною скобкой стоятъ? И еще спрашиваю: найдетъ-ли г. Сементковскій хоть у одного позднѣйшаго критика „преданіе“ писаревской грубости по отношенію къ Пушкину? Ближайшій сотрудникъ Писарева, Зайцевъ, совершилъ надъ Лер-

монтовымъ операцію еще болѣе грубую и уже совершенно безсмысленную. Въ одномъ изъ своихъ „Библіографическихъ листковъ“ 1863 г. (такъ назывались его ежемѣсячные обзоры вновь выходящихъ книгъ), Зайцевъ, разбирая сочиненія Лермонтова за одно съ стихотвореніями Каролины Павловой, „Курсомъ исторіи русской литературы“ Петрова, „Исторіей среднихъ вѣковъ“ г. Стасюлевича и еще разными другими книгами,—на пространствѣ одного печатнаго листа совершенно прикончилъ Лермонтова, доказавъ его ничтожество и глупость. Пересмотрите-же теперь многочисленныя статьи, написанныя о Лермонтовѣ прошлымъ лѣтомъ по поводу пятидесятилѣтней годовщины его смерти. Въ числѣ ихъ есть и моя статья. Упоминаю объ этомъ въ виду исключительной чести, оказанной мнѣ г. Сементковскимъ. Пусть же онъ найдетъ у меня хоть какой-нибудь слѣдъ зайцевской хулы, а я чту преданія шестидесятыхъ годовъ, но эта грубая и нелѣпая хула не есть преданіе, именно потому, что она не передалась. Скажутъ, можетъ быть, что дѣло не въ томъ или другомъ отношеніи въ частности къ тому или другому писателю, а въ общемъ характерѣ „добролюбовско-писаревскихъ воззрѣній“, подмѣнивавшихъ художественную критику критикой публицистической. Хорошо. Я думаю, однако, что приведенные два образчика критики Добролюбова и критики Писарева (Салтыковъ и Пушкинъ) свидѣтельствуютъ о глубокой и коренной разницѣ идей. Я думаю далѣе, что слово „подмѣнивали“ надо замѣнить словомъ „осложняли“, и что это осложненіе равняетъ не только Добролюбова и Писарева, но и критиковъ, стоящихъ внѣ круга идей шестидесятыхъ годовъ, даже враждебныхъ имъ. Начиная съ маститаго Н. Н. Страхова и кончая... кончая послѣднею спицей въ этой колесницѣ, всѣ они много говорятъ о зловредности или негодности публицистической критики, но всѣ они, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, публицисты. Такъ что это не признакъ.

Центральнаго, всеопредѣляющаго факта шестидесятыхъ годовъ надо искать гдѣ-нибудь поглубже, чѣмъ въ теоріяхъ литературной критики. Такимъ центральнымъ, всеопредѣляющимъ фактомъ было освобожденіе крестьянъ. Въ виду того огромнаго значенія, которое имѣло крѣпостное право, того спеціальнаго отпечатка, который оно клало на всѣ стороны нашей государственной, общественной и частной жизни,—освобожденіе крестьянъ въ свою очередь должно было отразиться широкими и всесторонними эф-

фектами. Общее дѣло состояло въ привлеченіи всѣхъ функцій общественной жизни на прямую или косвенную службу интересамъ дотолѣ пригнетенной или тусклой человѣческой личности, которая, въ силу обстоятельствъ времени, если не отождествилась съ мужикомъ, то, по крайней мѣрѣ, сильно имъ окрасилась. Разумѣется личность домогалась и достигала и въ другихъ сферахъ, но общенародное, государственное дѣло все лежало, если позволительно такъ выразиться, на мужицкой подкладкѣ. Впослѣдствіи, въ несознанномъ преданіи (я потомъ объясню, что это значитъ) были попытки довести значеніе этой спеціально-мужицкой подкладки до послѣдней крайней возможности, что грозило-бы чрезвычайно печальною односторонностью. Но, въ непосредственной исторической близости къ великому факту освобожденія, такой односторонности не было и быть не могло. Настроеніе не только вершинъ литературы и общества, ихъ лучшихъ представителей, но даже улицы, не смотря на многіе комическіе эпизоды, происходившіе на этой улицѣ, было проникнуто именно тѣмъ, что можно-бы было назвать „идеалистическимъ натурализмомъ“. Тогдашней литературѣ было совершенно чуждо то дряблое отношеніе къ вещамъ и идеямъ, которое наровитъ въ видахъ трусливаго самоутѣшенія, не смотрѣть на несомнѣнно существующіе факты, если они почему-нибудь кажутся низменными, или подкрашивать ихъ, подмѣнивать другими. Она не видѣла въ человѣкѣ прирожденнаго небожителя, какимъ его изображали застарѣлые предразсудки и лицемѣріе, она его, земнороднаго, на землю и сводила, но на землѣ надѣялась и хотѣла устроить его идеально. Вездѣ она безбоязненно констатировала и изслѣдовала факты дѣйствительной жизни, раскрывая грубую натуру вещей, но затѣмъ поднимала дѣйствительность до высочайшихъ требованій идеала. Такъ и относительно мужика. Въ изящныхъ статьяхъ Добролюбова, въ горькихъ стихахъ Некрасова, въ саркастическихъ рѣчахъ Салтыкова, во всякаго рода статьяхъ теоретическаго и практическаго характера слышалось великое почтеніе къ мужику и великія на него надежды. Это не мѣшало, однако, ни „трезвой правдѣ“ Рѣшетникова, ни соотвѣтственнымъ стихамъ того же Некрасова, ни даже чрезмѣрнымъ изображеніямъ дикости мужика въ разсказахъ Николая Успенскаго и Слѣпцова. Все шло къ тому, чтобы и здѣсь, какъ въ прочихъ областяхъ мысли и жизни, всесторонне и безбоязненно

опредѣлить фактическаго мужика и поставить его рядомъ съ мужицкимъ принципомъ или, вѣрнѣе, съ принципомъ труда. Но эта работа была значительно подорвана тяжелыми ударами, постигшими литературу почти непосредственно вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ. А тутъ подоспѣла проповѣдь Писарева.

Когда-нибудь на досугѣ я попробую провести параллель между Писаревымъ и гр. Л. Толстымъ; разумѣю, конечно, только проповѣдническую дѣятельность графа. На первый взглядъ такая параллель можетъ показаться либо прямо-таки вздорною, либо, въ лучшемъ случаѣ, вполнѣ безплодною. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть общаго между преклоненіемъ Писарева передъ умственнымъ трудомъ, наукою вообще, естествознаніемъ въ особенности — и тѣмъ горделивымъ презрѣніемъ, съ которымъ отметаетъ все это гр. Толстой? Конечно, на этомъ пунктѣ между ними нѣтъ ничего общаго. Но тѣмъ любопытнѣе была-бы параллель между двумя основателями своего рода сектъ, весьма, конечно, между собою несходныхъ,—до такой степени несходныхъ, что если-бъ имъ пришлось существовать единовременно, то мы были-бы свидѣтелями жесточайшей распри. Вѣроятно, еще многіе изъ читателей помнятъ, а я-то ужъ очень хорошо помню, что роль Писарева среди тогдашней молодежи была весьма похожа на недавнюю роль гр. Толстого. Онъ точно такъ-же предписывалъ правила поведенія въ видахъ достиженія личной святости, и его точно такъ-же слушались, но, конечно, его пониманіе святости было очень далеко отъ пониманія гр. Толстого. Необыкновенно даровитый человѣкъ съ блестящими способностями литературнаго изложенія и усвоенія разнообразнаго умственнаго матеріала, Писаревъ, отъ природы-ли, или вслѣдствіе печальныхъ обстоятельствъ своей личной судьбы, былъ очень далекъ отъ пульса общественной жизни. Подобно гр. Толстому, онъ даже теоретизировалъ эту отдаленность, возводилъ ее въ принципъ, работая, въ сущности, для образованія секты „реалистовъ“ или „мыслящихъ пролетаріевъ“, какъ онъ выражался. Онъ, если хотите, пожалуй, тоже прикосновененъ къ „идеалистическому натурализму“, при чемъ собственно о „натурализмѣ“ и распространяться нечего, но его „идеалъ“ былъ чисто-личный и сектантскій, какъ будто общенароднаго, государственнаго дѣла послѣ освобожденія крестьянъ такъ ужъ и не осталось на Руси. То же тяготѣніе къ сектантству своеобразно сказалось у другого сотруд-

ника „Русскаго Слова“—Н. В. Соколова. Этотъ, нынѣ совершенно забытый, но въ свое время много шумѣвшій, добродушный подполковникъ въ отставкѣ сначала почему-то вообразилъ себя экономистомъ и предпринялъ уничтоженіе Милля, что и исполнилъ на страницахъ „Русскаго Слова“. Потомъ онъ издалъ книжку подъ названіемъ „Отщепенцы“, за которую судился и отбылъ нѣсколько мѣсяцевъ тюремнаго заключенія (тогда еще судили писателей). Книжка эта была уничтожена, и я теперь уже не помню хорошенько ея содержанія. Знаю только, что въ ней возвеличивались люди, „отщепившіеся“, по мнѣнію автора, отъ общества и всѣхъ золъ его, но это были отнюдь, впрочемъ, не „реалисты“ или „мыслящіе пролетаріи“ во вкусѣ Писарева. Лично очень расположенный къ добродушному Соколову, я посѣщалъ его въ Литовскомъ замкѣ, и онъ посвящалъ меня тамъ въ тайны своего „евангельскаго соціализма“, какъ онъ называлъ свое ученіе. Тутъ уже не было никакого „натурализма“. Да и вообще какой-нибудь единой общей программы у „Русскаго Слова“ не было. Вниманіе читателей приковывалось къ этому журналу, главнымъ образомъ, блестящимъ талантомъ Писарева и тѣми salto-mortale (такъ Писаревъ однажды печатно, и, конечно, въ похвалу, назвалъ статьи Зайцева), которые продѣлывали время отъ времени его сотрудники. Безъ всякаго сомнѣнія, бывали въ „Русскомъ Словѣ“ и совсѣмъ другого рода статьи. Такъ, не говоря о статьяхъ болѣе или менѣе случайныхъ, Шелгуновъ былъ всегда далекъ отъ сектантства. Что-же касается разныхъ сальто-мортале, то, въ общемъ, совершенно невинные въ политическомъ смыслѣ, они пугали „филистеровъ“, и кажется, это-то пуганіе и было ихъ цѣлью. Однако, они имѣли и свою вредную сторону тѣмъ, что сбивали съ толку увлекающуюся молодежь. Писаревъ проповѣдывалъ естествознаніе въ качествѣ нѣкоторой панацеи и дѣлалъ это такъ блистательно и увлекательно, что преувеличенная вѣра въ естествознаніе осталась характеристическою чертой чуть не цѣлаго поколѣнія. А, между тѣмъ, уже тогда можно было видѣть, что это путь очень односторонній и скользкій. Такъ, напримѣръ, Зайцевъ въ одномъ изъ своихъ библіографическихъ обозрѣній, по поводу какой-то книги, доказывалъ, что негры по законамъ естества, въ качествѣ низшей расы, осуждены на вѣчное рабство. Я помню по этому случаю негодованіе Ножина, не дилетанта есте-

ствознанія, а ученаго біолога. Онъ написалъ въ опроверженіе мысли Зайцева неуклюжую статью (онъ вообще писалъ плохо) которая по какимъ-то причинамъ появилась въ „Искрѣ“, гдѣ она, понятно, производила довольно странное впечатлѣніе. И всѣ эти сальто-мортале продѣлывались безъ какого-нибудь обдуманнаго общаго плана. Обыкновенно думаютъ или говорятъ, что „Русское Слово“ было какимъ-то очагомъ крайнихъ матеріалистическихъ идей. Пуганіе „филистеровъ“ происходило дѣйствительно и въ этомъ направленіи, но это не было какою-нибудь строго-обдуманною и послѣдовательно-проводимою программой. Вообще эти люди жили точно не на землѣ и не на русской именно землѣ (я, опять-таки, не говорю объ исключеніяхъ вродѣ Шелгунова или Щапова и т. д.), въ такомъ-то и такомъ-то году, а гдѣ-то въ отвлеченномъ мірѣ. Изъ этого отвлеченнаго міра брали своихъ героевъ, „новыхъ людей“, и романисты „Русскаго Слова“, создавая ихъ не на основаніи живыхъ наблюденій, а по составленному Писаревымъ шаблону „реалистовъ“. А, между тѣмъ, на русской землѣ происходили трудныя и сложныя дѣла...

Написавъ все это, я призадумался. Изъ желанія расчленить формулу г. Сементковскаго: „добролюбовско-писаревскія воззрѣнія“, не погрѣшилъ-ли я противъ истины? Нѣтъ, не погрѣшилъ. Вернемтесь еще разъ къ нашему исходному пункту, къ Салтыкову, какъ онъ освѣщался критикой Добролюбова и критикой Писарева. Вы видите, что Писаревъ былъ дѣйствительно чужой тому общему дѣлу, которому служилъ великій сатирикъ, и думалъ только о своей сектѣ „реалистовъ“, въ интересахъ которой и дѣлалъ Салтыкову свое комическое предложеніе заняться популяризаціей естественныхъ наукъ. Сравните-же отношеніе Добролюбова. Конечно, многое можно-бы было сказать въ дополненіе и объясненіе къ вышеизложенному. Мнѣ-бы даже хотѣлось это сдѣлать, но не вижу въ этомъ надобности въ настоящую минуту. Я не исторію литературы пишу. Я хочу только выяснить легкомысліе и неосновательность обобщенія г. Сементковскаго, не имъ, впрочемъ, выдуманнаго,—оно принадлежитъ къ числу ходячихъ. Въ господинѣ-же Сементковскомъ это легкомысліе тѣмъ замѣчательнѣе, что онъ другихъ упрекаетъ въ недостаточномъ разграниченіи различныхъ теченій, существовавшихъ въ шестидесятые годы. Дѣйствительно, пора-бы опомниться...

А теперь о преданіяхъ. Что называть преданіемъ? Повторяю

то, что передалось, укрѣпилось. Остановимся-же, напримѣръ, на романахъ съ „новыми людьми“. Кстати-же г. Сементковскій, между прочимъ, и ими коритъ преданія шестидесятыхъ годовъ. Можно различить три группы такихъ романовъ и повѣстей. Родоначальникъ одной изъ нихъ есть Тургеневъ, всегда старавшійся уловить и, затѣмъ, объективировать въ образахъ и картинахъ всякое новое теченіе. Умный человѣкъ и большой художникъ, къ сожалѣнію, слишкомъ падкій на всероссійскую популярность, Тургеневъ клалъ на своихъ новыхъ людей краски настолько, если можно такъ выразиться, двумысленныя, что изъза нихъ происходили обыкновенно нескончаемыя распри: Катковъ, Писаревъ, г. Антоновичъ толковали Базарова въ самыхъ разнородныхъ смыслахъ. Говорятъ, въ этомъ-то и состоитъ настоящая художественная объективность. Пусть такъ. Во всякомъ случаѣ, романовъ и повѣстей, приближающихся къ этому типу, у насъ, кромѣ Тургенева, разъ, два, да и обчелся. Второй типъ— „Взбаломученное море“ Писемскаго, „Некуда“ г. Лѣскова, романы Клюшникова, Маркевича, нѣкоторыя произведенія Достоевскаго и т. д. Здѣсь „новые люди“ являются чудовищами, обремененными всѣми смертными грѣхами; краски ярки, грубы, преувеличены сверхъ всякой мѣры, и если-бы какой-нибудь иностранецъ вздумалъ судить о нашихъ дѣлахъ по этимъ романамъ, то онъ изумился-бы, что Россію до сихъ поръ еще не залило Мертвое море, какъ нѣкогда Содомъ и Гоморру. Третью группу составляютъ тѣ именно романы съ „новыми людьми“, которые ставятся на счетъ шестидесятымъ годамъ. Здѣсь новые люди являются героями, блистающими разными чрезвычайно высокими качествами и совершающими Геркулесовы подвиги. Герои эти сочинялись по указаніямъ Писарева и подъ вліяніемъ романа „Что дѣлать?“ Надо, однако, замѣтить, что этотъ романъ стоитъ, во-первыхъ, внѣ всякихъ художественныхъ условій, а, во-вторыхъ, есть въ значительной степени романъ будущаго, романъ-утопія. Затѣмъ достойно вниманія, что хотя онъ былъ напечатанъ въ „Современникѣ“, но его подражанія осѣли, главнымъ образомъ, въ „Русскомъ Словѣ“. Спрашивается, передался-ли этотъ типъ беллетристикѣ послѣдующей литературы, чтившей преданія шестидесятыхъ годовъ? Ничего подобнаго въ беллетристикѣ „Отечественныхъ Записокъ“ вы не найдете. Мало того, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ вы можете найти превосходное по формѣ и содержанію юмористическое, но

глубоко вѣрное объясненіе самаго факта появленія этихъ романовъ съ „новыми людьми“. Объясненіе это принадлежитъ Глѣбу Успенскому, и я его выпишу.

Въ разсказѣ „На старомъ пепелищѣ“ авторъ, задержавшись противъ воли, вслѣдствіе забавнаго недоразумѣнія, въ губернскомъ городѣ N, пробуетъ разогнать тоску чтеніемъ. Ему приносятъ „разрозненные номера разныхъ изданій, начиная съ шестидесятыхъ годовъ“. Онъ разсказываетъ: „Боже милосердый, какъ мучительно мнѣ было смотрѣть на автора новыхъ временъ, на романиста новыхъ людей!... Мнѣ было поистинѣ страшно за него... страшно за „необходимость“ во что бы то ни стало создавать новыхъ, совсѣмъ-совсѣмъ новыхъ людей. Въ этихъ людяхъ у всей толпы дѣйствительно была самая настоятельная надобность; она, толпа, какъ и авторъ, представитель этой толпы, узнала самымъ обстоятельнымъ образомъ, что съ прошлымъ разорвана всякая связь, разорвана вдругъ, въ одинъ прекрасный день; давайте самой чистой нравственности, самыхъ возвышенныхъ добродѣтелей, самой сущей правды... Изъ чего онъ вылѣпитъ все это?—думалъ я и ужасался... Во что одѣнетъ онъ свои благородныя желанія и мысли, откуда возьметъ чистую, не зараженную кровь, здоровую, сильную, чуткую плоть? Но авторъ, не смотря на безвыходность своего положенія, покоряясь общественному требованію и требованію своей совѣсти, принялся лѣпить новыхъ людей, а я съ замираніемъ сердца смотрѣлъ на его работу... Откуда взять ему героя? Изъ народа?... Бѣда его, что народа онъ совсѣмъ не знаетъ, да и какіе тамъ герои... Изъ господъ?.. Ну, ужъ... Изъ купцовъ? Аршинники и архиплуты... Куда ни кинь—клинъ. И вотъ надо выводить его изъ какихъ-нибудь необычайныхъ условій... Надо изолировать дѣтство его отъ всѣхъ условій, при которыхъ шло дѣтство толпы (въ одной повѣсти герой росъ почти между жеребятами), надо отучить отъ всѣхъ привычекъ прежней толпы, отъ всѣхъ ея обычаевъ, вкусовъ, свойствъ, и волей-неволей авторъ заставляетъ своего любимца питаться чуть не бекасиною дробью, вмѣсто разносоловъ; дѣлаетъ сильнымъ невѣроятно и устраиваетъ ему обстановку необыкновенную. Купается онъ не какъ всѣ—днемъ, а въ полночь; не какъ всѣ идетъ въ воду съ берега, а бросается со скалы. Эти невѣроятныя краски, преувеличенія, выдумки какъ нельзя лучше говорили мнѣ, въ какомъ ужасномъ положеніи осталась отъ прошлаго душа толпы. Каждую черту

надо выдумывать, изобрѣтать, потому что нѣтъ ея подъ рукой или не знаешь гдѣ взять"...

Это превосходно какъ юморъ, превосходно и какъ мысль. Но я не буду входить въ разборъ этой мысли, потому что это значило-бы коснуться той побочной для меня въ настоящую минуту темы, отъ которой я только что уклонился,—тѣхъ дополненій и объясненій, которыхъ требуетъ вышеизложенная характеристика не перешедшихъ въ преданіе теченій шестидесятыхъ годовъ. Для меня теперь важенъ именно только фактъ перехода или неперехода въ преданіе. Пусть-же мнѣ скажетъ г. Сементковскій: сохранились ли въ беллетристикѣ семидесятыхъ годовъ эти аляповатые, хотя и трогательные въ объясненіи Успенскаго „новые люди"? Правда, онъ уже заранѣе отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, потому что зачисляетъ эти „слѣпленные" образы въ составъ „преданій". Но мнѣ мало такого отвѣта, я бы желалъ видѣть факты, а фактовъ онъ мнѣ не укажетъ, то-есть характерныхъ, крупныхъ, опредѣляющихъ собою физіологію литературы фактовъ. Въ литературѣ, продолжавшей традиціи шестидесятыхъ годовъ, такимъ характернымъ фактомъ не „новые люди" были, а мужикъ, на преизобиліе котораго и жаловались литературные гурманы и который, по увѣренію г. Сементковскаго, былъ въ теченіе тридцати лѣтъ забытъ и пренебреженъ. Была за это время дѣйствительно такая полоса, когда мужикъ пропалъ было за „новыми людьми" и „реалистами", но не эта полоса утвердилась въ преданіи. Это, впрочемъ, слишкомъ обширная тема, чтобы развивать ее въ концѣ бесѣды съ читателемъ. Теперь я остановлюсь на другомъ, менѣе значительномъ.

Естественныя науки съ самаго начала нашего возрожденія, тотчасъ послѣ крымской войны, привлекли у насъ къ себѣ особенное вниманіе; переводилось множество книгъ по естествознанію, писались популярныя статьи по разнымъ отраслямъ естественныхъ наукъ. Это лишь отчасти объясняется тѣмъ страннымъ положеніемъ полузапретнаго, а частію и совсѣмъ запретнаго плода, которое естественныя науки занимали въ дореформенную эпоху. Въ такомъ положеніи находилось, пожалуй, знаніе вообще, а не только естествознаніе. Но проснувшаяся жажда просвѣщенія и помимо закона реакціи должна была устремиться съ особенною силой на естествознаніе. Это безспорно знаніе по преимуществу, въ томъ смыслѣ, что, допуская провѣрку не только

умозрѣніемъ, а и наблюденіемъ, и не только наблюденіемъ, а и опытомъ, оставляетъ наименьшее мѣсто сомнѣніямъ. А намъ именно нужно было нѣчто несомнѣнное, чтобы оріентироваться въ нахлынувшей на насъ массѣ новыхъ идей. Немудрено, что дѣло не обошлось безъ увлеченій. Писаревъ довелъ ихъ до послѣдней крайности и видѣлъ въ естествознаніи прямой и единственный путь къ водворенію возможнаго на землѣ счастія, мира и въ человѣкахъ благоволѣнія, а въ пріемахъ и методахъ естествознанія—единственный правильный типъ умственной дѣятельности вообще. Послѣдователей—страстныхъ, слѣпыхъ—у Писарева было много, и не скоро остыла эта наивная вѣра въ единоспасающую мощь естествознанія. Но сохранилась-ли все-таки эта вѣра въ составѣ того, что нынѣ, между прочимъ, и г. Сементковскимъ называется преданіями шестидесятыхъ годовъ? Въ виду опять-таки исключительной чести, оказанной мнѣ въ статьѣ г. Сементковскаго, я позволю себѣ сослаться на свою литературную дѣятельность. Если г. Сементковскій окажетъ мнѣ еще большую честь и заглянетъ въ мои сочиненія, то убѣдится, что значительную часть ихъ,—при глубокомъ почтеніи къ естествознанію, какого, смѣю думать, не чуждъ и такой просвѣщенный человѣкъ, какъ самъ г. Сементковскій,—составляетъ борьба съ попытками расширить компетенцію естественныхъ наукъ въ ущербъ другимъ областямъ мысли и жизни. Писаревъ, вѣроятно, очень не одобрилъ-бы мои статьи о Спенсерѣ, о дарвинизмѣ, о книгахъ Стронина и проч. А, между тѣмъ, я никогда не порывалъ съ традиціями шестидесятыхъ годовъ. Должно быть, дѣло, о которомъ г. Сементковскій взялся писать, много посложнѣе, чѣмъ оно ему представляется. Пожалуй, что такого сложнаго дѣла лучше и совсѣмъ не трогать человѣку, не владѣющему, а владѣемому своимъ бойкимъ перомъ. Въ этомъ мы и еще убѣдимся, такъ какъ намъ придется вернуться къ статьѣ г. Сементковскаго въ связи съ книжкой Ланге.

IX *).

„Книга о книгахъ".—Воспоминаніе объ одномъ маленькомъ человѣкѣ.—Н. И. Зиберъ.—Письмо К. Маркса.—Кающіеся дворяне.

Кое-кто изъ читателей обращается ко мнѣ съ письменнымъ выраженіемъ ободренія, одобренія или порицанія, съ тѣми или другими свѣдѣніями, съ разными вопросами и недоумѣніями. Нѣкоторые изъ корреспондентовъ не требуютъ отвѣта, просто довольствуясь сообщеніемъ своихъ мыслей и чувствъ по тому или другому поводу; иные-же настаиваютъ на отвѣтѣ, при чемъ иногда не довольствуются письменнымъ, а требуютъ печатнаго. Я очень цѣню это живое общеніе съ читателемъ, дающее не только большое личное удовлетвореніе,—даже въ случаѣ укоризненныхъ или вообще неблагосклонныхъ корреспонденцій,—а представляющее, кромѣ того, значительный объективный интересъ. У меня накопились письма читателей за много лѣтъ, и когда-нибудь я разберу всю эту массу съ цѣлью опредѣлить, что именно интересовало читателей въ разное время. Картина можетъ выйти поучительная. А затѣмъ эти отзвуки, часто изъ очень глухихъ провинціальныхъ угловъ, конечно, дороги, какъ живое свидѣтельство того, что ты не гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Хуже-то вѣдь пустыни для писателя ничего и придумать нельзя. Пользуюсь поэтому случаемъ выразить глубокую благодарность всѣмъ моимъ корреспондентамъ—случайнымъ и болѣе или менѣе постояннымъ, довольнымъ и недовольнымъ, участливымъ и сердитымъ. Но что касается отвѣтовъ, то, при всемъ моемъ желаніи, я не могу удовлетворить всѣхъ своихъ корреспондентовъ. И не только потому, что у меня не хватило-бы на это времени. Всякому, конечно, свое дорого, и разъ человѣкъ чѣмъ-нибудь очень заинтересованъ, ему естественно можетъ казаться, что это и есть пунктъ достойный всеобщаго и преимущественнаго вниманія. Оно такъ часто и бываетъ, но не всегда. Нѣкоторые изъ корреспондентовъ съ чрезвычайною горячностью относятся къ такимъ вещамъ, къ которымъ я довольно равнодушенъ, которыя, по моему мнѣнію, не стоятъ разговора вообще, столь горячаго въ особенности. Я радъ и такимъ письмамъ, потому что они бываютъ во многихъ

*) 1892, іюнь.

отношеніяхъ характерны, но не удивительно, если я на нихъ не всегда отвѣчаю.

Приведу образчикъ, хотя это будетъ не совсѣмъ послѣдовательно.

Я получилъ недавно изъ далекой провинціи письмо, авторъ котораго „ждетъ съ нетерпѣніемъ“ отвѣта, „письменнаго или печатнаго“. Онъ пишетъ: „Скажите мнѣ ради того хоть, чтобы я остался вашимъ читателемъ, что это сдѣлалось вообще съ писателями, а въ частности и съ вами?“ „По какому случаю шумъ?“— какъ говоритъ нѣкто въ одномъ изъ разсказовъ Гл. Успенскаго. По какому поводу такъ нетерпѣливо волнуется мой почтенный корреспондентъ? Времена теперь наступили трудныя во многихъ и разныхъ отношеніяхъ. Литература, частью вольно, а частью совсѣмъ не вольно, не стоитъ на высотѣ этой трудности, и я совершенно понимаю, что читатель, особенно читатель, не достаточно знакомый съ положеніемъ нашей литературы, можетъ обращаться къ ней съ горькими укоризнами. Мало-ли въ самомъ дѣлѣ вещей, которыя могутъ глубоко волновать нынѣшняго русскаго читателя и о которыхъ, однако, онъ не находитъ въ литературѣ ни слова или находитъ слово слишкомъ блѣдное? Полагая, что и то письмо, о которомъ теперь рѣчь идетъ, касается какихъ-нибудь такихъ щекотливыхъ пунктовъ, и безъ напоминаній скребущихъ тебѣ сердце, я не сразу даже понялъ его содержаніе. Прочиталъ, перечиталъ—и вздохнулъ свободно.

По какому-же именно случаю шумъ? Вотъ по какому. Какъ извѣстно, Гончаровъ за нѣсколько лѣтъ передъ своею смертью напечаталъ въ „Вѣстникѣ Европы“ статью, въ которой выразилъ и разными моральными соображеніями обосновалъ желаніе, чтобы послѣ его смерти не печаталось изъ его произведеній и писемъ ничего такого, что не было предназначено къ печати имъ самимъ. Въ сборникѣ журнала „Нива“ за февраль нынѣшняго года напечатана посмертная статья Гончарова „Май мѣсяцъ въ Петербургѣ“. Статья эта не соотвѣтствуетъ репутаціи Гончарова, какъ художника. Такъ, по крайней мѣрѣ, съ великимъ огорченіемъ говоритъ мой корреспондентъ. И вотъ онъ, до чрезвычайности волнуясь, начинаетъ на разные лады комбинировать эти три факта, то-есть, во-первыхъ, послѣднюю волю Гончарова; во-вторыхъ, появленіе въ печати „Мая мѣсяца“ и, въ-третьихъ, слабость этого произведенія. Въ концѣ-концовъ, онъ не хочетъ допустить, чтобы Гон-

чаровъ могъ самъ предназначить для печати столь слабую вещь, которая, дескать, есть, вѣроятно, просто неотдѣланный набросокъ, брульонъ, и слѣдовательно, издатель „Нивы“ нарушилъ послѣднюю волю покойнаго романиста; „такъ чего-же литература-то смотритъ?“ Въ частности корреспондентъ настойчиво предлагаетъ мнѣ разъяснить его недоумѣніе. Когда я понялъ, наконецъ, чего онъ хочетъ и о чемъ волнуется, у меня отлегло отъ сердца. Я боялся, что онъ тянетъ меня къ отвѣту по одному изъ такихъ пунктовъ, въ виду которыхъ въ самомъ дѣлѣ стыдно и больно за литературу... Увы! я не могу помочь моему корреспонденту. Я не имѣю возможности и не считаю себя призваннымъ производить слѣдствіе, самъ-ли Гончаровъ отдалъ издателю „Нивы“ свой „Май мѣсяцъ въ Петербургѣ“, или журналъ получилъ въ свое распоряженіе это произведеніе другимъ путемъ. Мало того, я долженъ признаться, что не читалъ „Мая мѣсяца“ и готовъ на слово повѣрить, что это произведеніе слабое, какъ были слабы вообще послѣднія произведенія Гончарова, печатавшіяся еще при жизни его.

Если, такимъ образомъ, я ничѣмъ не могу помочь моему корреспонденту, то мнѣ все-таки интересно было узнать о его существованіи. Это точно голосъ съ какого-то далекаго острова, отдѣленнаго отъ материка широкимъ моремъ. Съ своей, какъ говорилъ Салтыковъ, „инсулярной“ точки зрѣнія корреспондентъ совершенно правъ, негодуя на материкъ, гдѣ такъ мало дорожатъ интересами, что называется, „изящной словесности“. Тамъ говорятъ о голодѣ, тифѣ и лукояновскихъ земскихъ начальникахъ, о франкорусскихъ симпатіяхъ и германскомъ императорѣ,— о томъ, что хотѣлъ сказать г. Боборыкинъ своимъ „Василіемъ Теркинымъ“ и г. Потапенко своимъ „Не-героемъ“, о мемуарахъ Никитенка и гр. Валуева, о мысляхъ и поступкахъ гр. Толстого, о литературѣ шестидесятыхъ годовъ, о благородствѣ „Московскихъ Вѣдомостей“ и умѣ „Гражданина“, о прошедшемъ и будущемъ, о пользѣ и вредѣ просвѣщенія, а также тѣлесныхъ наказаній, опять о голодѣ и тифѣ и проч., и проч., и проч. А о такой чисто-художественной новости, связанной съ однимъ изъ самыхъ громкихъ нашихъ именъ, какъ „Май мѣсяцъ“,—молчатъ! И это не случайный какой-нибудь пропускъ. Нигдѣ, рѣшительно нигдѣ, не нашелъ мой корреспондентъ отклика своему волненію, хотя у насъ и существуетъ въ литературѣ теченіе, не имѣющее, правда, очень яр-

кихъ представителей, но горячо отстаивающее независимость „изящной словесности“ отъ всяческой злобы дня. Туда-то и слѣдовало обратиться моему корреспонденту. А то,—что въ самомъ дѣлѣ?—толкуютъ объ осквернении храма изящной словесности и художественной критики вторженіемъ жизни съ ея пестрыми и шумными интересами; направо и налѣво, назадъ, въ прошедшее, а частію и впередъ, въ будущее, швыряютъ упреки въ эстетическомъ невѣжествѣ и небреженіи, а сами пропускаютъ такой прекрасный случай приложить къ дѣлу свои познанія, способности и усердіе. Если-бъ они не ограничивались негодующимъ „киваніемъ на Петра“, а дѣлали то самое дѣло, которое на словахъ объявляютъ чрезвычайно нужнымъ и важнымъ, мой корреспондентъ изъ далекой провинціи не волновался-бы въ своемъ инсулярномъ положеніи. Достоинства и недостатки „Мая мѣсяца“ были-бы взвѣшены, его мѣсто въ ряду другихъ произведеній Гончарова и въ исторіи литературы опредѣлено, восторгъ, скорбь или негодованіе,—какъ-бы ужъ они тамъ рѣшили,—были-бы выражены съ тою силой, какая дается любовью къ дѣлу и знаніемъ его. Но нѣтъ, они предпочитаютъ о „Маѣ мѣсяцѣ“ совсѣмъ молчать, да и критику, напримѣръ, романовъ г. Боборыкина или г. Потапенка производить въ интересахъ не изящной словесности, а благородства „Московскихъ Вѣдомостей“ и ума „Гражданина“.

Во всякомъ случаѣ, обращаясь съ своимъ волненіемъ ко мнѣ, корреспондентъ ошибся адресомъ. Такія рѣзкія ошибки случаются въ моей практикѣ не часто. Но все-таки не разъ и не два случалось, что я по тѣмъ или другимъ причинамъ оказывался не въ силахъ удовлетворить своихъ корреспондентовъ. Укажу на цѣлый рядъ сношеній по вопросу о чтеніи книгъ. Вообще говоря, не трудно составить списокъ книгъ и статей по какому-нибудь опредѣленному вопросу или по извѣстной отрасли знанія. Разумѣется, человѣкъ, къ которому обращаются за такимъ спискомъ, можетъ оказаться несвѣдущимъ именно по этому вопросу или этой отрасли знанія. Но это еще не бѣда, потому что всегда можно посовѣтоваться со спеціалистомъ или прямо направить къ нему вопрошающаго. Но съ такими сравнительно легко удовлетворимыми просьбами обращаются рѣдко. Большею частью хотятъ имѣть каталогъ систематическаго чтенія, который указывалъ-бы не только содержаніе, но и порядокъ чтенія по всѣмъ отраслямъ науки, ли-

тературы и жизни. Хотя при этомъ требуются обыкновенно лишь общія основанія, а не детали, задача все-таки остается очень трудною, и я всегда отъ нея уклонялся. Затруднителенъ здѣсь въ особенности вопросъ о порядкѣ чтенія. Вы не знаете ни степени подготовки человѣка, ни его умственнаго склада, ни даже иногда его умственныхъ интересовъ, — что вы можете посовѣтовать такому человѣку? А, между тѣмъ, потребность въ указателѣ для чтенія очень велика. Объ этомъ свидѣтельствуютъ уже самыя попытки ея удовлетворенія. Я видалъ нѣсколько каталоговъ для систематическаго чтенія, печатныхъ, гектографированныхъ и рукописныхъ, которые, однако, едва-ли помогаютъ дѣлу. Составители этихъ списковъ, гоняясь за полнотой, обыкновенно чрезмѣрно загромождаютъ свою работу множествомъ мелочей, разобраться въ которыхъ очень трудно. И тѣмъ труднѣе, что составители не мотивируютъ своихъ указаній, не даютъ отзывовъ ни о содержаніи, ни о характерѣ занесенныхъ въ списокъ книгъ и статей: приходится вѣрить на слово неизвѣстнымъ составителямъ, что вся эта масса чтенія одинаково для всѣхъ нужна и доступна. Читатель остается все-таки безъ руководства, въ которомъ именно и нуждается. Съ другой стороны, однако, никакой каталогъ не можетъ самъ по себѣ указать порядокъ чтенія для людей съ разною подготовкой и съ разнымъ складомъ ума. Здѣсь нужно извѣстное взаимодѣйствіе между работой указателя и иниціативой самого читателя. Нуженъ каталогъ, снабженный краткими, но достаточно ясными характеристиками книгъ и статей, чтобы читатель могъ уже самъ выбрать удобоваримый для него матеріалъ. Таковъ именно планъ только что вышедшей подъ редакціей г. Янжула „Книги о книгахъ“, и нельзя не привѣтствовать эту книгу, совсѣмъ даже независимо отъ благотворительной цѣли ея изданія (въ пользу голодающихъ).

Къ сожалѣнію, „Книга о книгахъ“ страдаетъ нѣкоторыми недостатками, особенно чувствительными для тѣхъ именно читателей, на пользу которыхъ она предназначена. Мнѣ кажется даже, что тѣ 130 спеціалистовъ, которые приняли участіе въ этомъ почтенномъ изданіи, или, по крайней мѣрѣ, редакція его не дала себѣ труда хорошенько подумать о своихъ читателяхъ, хотя въ предисловіи совершенно опредѣленно говорится о двухъ категоріяхъ лицъ, интересамъ которыхъ должна служить „Книга о книгахъ“. Это, во-первыхъ, „вообще представители такъ назы-

ваемаго образованнаго общества (не ниже лицъ, получившихъ среднее образованіе)", желающіе „пополнить или возобновить свои познанія"; во-вторыхъ, „университетская молодежь, желающая имѣть въ своихъ рукахъ точный списокъ учебниковъ и важнѣйшихъ монографій для занятія наукой уже академическаго характера".

Редакція и сама понимаетъ, что книга не свободна отъ недостатковъ, и объясняетъ ихъ спѣшностью, съ которою была выполнена задача. Дѣйствительно, книга была сформирована, редактирована и напечатана въ три мѣсяца. Это очень быстро. Но едва-ли такая быстрота требовалась. Ждали мы долго подобнаго указателя, подождали-бы ужъ и еще, хоть такіе-же три мѣсяца. Если поспѣшать побуждала благотворительная цѣль изданія, то можно, конечно, радоваться, что мужикъ даже голодомъ своимъ сослужилъ намъ службу; но редакція могла-бы ограничиться на первый разъ однимъ выпускомъ съ выдачей билета на второй. Благотворительная цѣль была-бы достигнута въ предположенномъ размѣрѣ, а времени въ распоряженіи редакціи было-бы больше. Съ другой стороны, редакція могла-бы не усложнять своего плана разсчетомъ на двѣ категоріи читателей. Въ „занятіяхъ наукой академическаго характера" слушатели высшихъ учебныхъ заведеній имѣютъ или могутъ имѣть руководителей въ лицѣ самихъ профессоровъ. Редакція сама говоритъ это, указывая, при томъ, на ежегодно издаваемыя при университетахъ *Обозрѣнія преподаванія наукъ*. „Но, — замѣчаетъ редакція,—сочиненія по каждой спеціальности, помѣщаемыя въ упомянутыхъ *Обозрѣніяхъ университетскаго преподаванія*, по своей краткости (сочиненія-то кратки?) и отсутствію отзывовъ или мотивовъ, слишкомъ недостаточны, чтобы удовлетворить пытливость учащихся". Въ виду этого, „Книга о книгахъ" не просто перечисляетъ сочиненія по разнымъ спеціальностямъ, а даетъ о нихъ краткіе отзывы и даже сопровождаетъ краткимъ предисловіемъ всю группу сочиненій по данной спеціальности. Планъ этотъ, однако, не вездѣ выдержанъ. „Особенно въ наукахъ спеціальнаго интереса, при краткости объема перечня и университетскомъ характерѣ его (кого или чего?) преподаванія, такія предисловія, впрочемъ, были найдены излишними, а отзывы замѣнены иногда извѣстною классификаціей или систематическимъ размѣщеніемъ и оглавленіемъ приводимыхъ книгъ". Такимъ образомъ, по мно-

гимъ отдѣламъ студенты найдутъ въ „Книгѣ о книгахъ“ то же отсутствіе отзывовъ и ту же краткость („краткость объема перечня“), которыя не удовлетворяютъ пытливость учащихся въ университетскихъ „Обозрѣніяхъ“. Мимоходомъ сказать, отъ г. Янжула еще не такъ давно обучавшаго въ „Недѣлѣ“ русскихъ литераторовъ „искусству писательства“, можно-бы было ожидать болѣе—не то, что ужъ изящнаго, а хотя грамматически правильнаго изложенія, чѣмъ то, которымъ блещетъ предисловіе въ „Книгѣ о книгахъ“. Но дѣло, конечно, не въ этомъ. Ясно, во всякомъ случаѣ, что въ интересахъ дѣла было-бы лучше, если-бы редакція не дробила своего вниманія между двумя категоріями читателей. Да и категоріи эти установлены совершенно искусственно. Если слушатели высшихъ учебныхъ заведеній могутъ получить библіографическія указанія отъ своихъ профессоровъ, то, съ другой стороны, отчего-бы и людямъ, лишеннымъ этого удобства, не домогаться и не достигать вершинъ знанія хотя-бы до послѣднихъ спеціальныхъ развѣтвленій „уже академическаго характера“? Медицинѣ, конечно, не научишься внѣ университета или медицинской академіи, но есть отрасли знанія, въ которыхъ можно достигнуть многаго собственными силами, разумѣется, нуждающимися въ поддержкѣ и указаніяхъ. Ихъ-то и должна представить „Книга о книгахъ“, не справляясь объ академическихъ или не-академическихъ требованіяхъ читателей. Но за-то редакція должна-бы справляться кое съ чѣмъ другимъ.

Обращаясь къ отдѣлу философіи и подъотдѣлу исторіи философіи, а не нахожу тамъ исторіи философіи Льюиса, имѣющейся въ трехъ русскихъ переводахъ. Можно-бы было предположить, что эта книга, съ точки зрѣнія спеціалиста, составлявшаго соотвѣтственный отдѣлъ, не заслуживаетъ никакого вниманія. Но вотъ въ отдѣлѣ прикладной химіи читаемъ слѣдующее: „Ильенковъ, П.: „Курсъ химической технологіи“. Спб., 1851 г. Устарѣло и нѣтъ въ продажѣ. 2-е изданіе этого курса, дополненное Е. Андреевымъ, въ двухъ томахъ (Спб., 1861 г.), не кончено и также устарѣло“. Повидимому, курсъ Ильенкова есть книга до такой степени ненужная и даже, можно сказать, не существующая, что о ней можно-бы и промолчать, да и кто-же самъ не пойметъ, что руководство по химической технологіи, написанное двадцать-тридцать лѣтъ тому назадъ, должно устарѣть? Если, однако, редакція допустила такую роскошь по отношенію къ

явно негодной книгѣ Ильенкова, то негодность книги Льюиса и подавно требуетъ отмѣтки. Я говорю о негодности книги Льюиса, разумѣется, съ точки зрѣнія редакціи „Книги о книгахъ“ или составителя философскаго отдѣла, а не съ моей. Но если-бы это было даже безусловно негодное произведеніе, то о немъ слѣдовало упомянуть во вниманіе къ вѣроятнымъ читателямъ „Книги о книгахъ“,—мало того, къ русской читающей публикѣ вообще. Общихъ обзоровъ исторіи философіи оригинальныхъ у насъ совсѣмъ нѣтъ, а переводныхъ только два: „Исторія матеріализма“ Ланге и „Исторія философіи“ Льюиса. И это далеко не то, что курсъ химической технологіи Ильенкова, который, вѣроятно, давно и букинистами-то разорванъ на оберточную бумагу; книга Льюиса идетъ ходко, имѣется въ нѣсколькихъ изданіяхъ. Если такъ охотно раскупающая книгу русская читающая публика находится въ заблужденіи относительно ея достоинствъ, то отчего же спеціалисты не учатъ насъ уму-разуму даже тогда, когда прямо берутся за это дѣло? Вотъ это-то невниманіе къ читателямъ и составляетъ главный общій недостатокъ „Книги о книгахъ“.

Впрочемъ, при самомъ бѣгломъ обзорѣ „Книги о книгахъ“, бросаются въ глаза нѣкоторые удивительные пропуски, необъяснимые даже спеціальнымъ невниманіемъ къ русскимъ читателямъ. Отдѣлъ „философскихъ наукъ“ расположенъ чрезвычайно странно. Онъ раздѣляется на пять подъотдѣловъ: 1) исторія философіи, 2) психологія, 3) логика, 4) этика, 5) педагогика. Вы спросите, гдѣ-же сама философія, то-есть общія начала міроразумѣнія? Она помѣщена въ видѣ придатка къ „этикѣ“, и именно въ видѣ „хронологическаго списка лучшихъ изданій и переводовъ важнѣйшихъ философскихъ произведеній“, начиная съ Платона и Аристотеля и кончая „Основными началами“ Спенсера, „System der Philosophie“ Вундта и „L'avenir de la metaphisique“ Фулье, но съ значительными и не мотивированными пропусками. Нельзя считать сколько-нибудь удовлетворительными мотивами оговорки, сдѣланныя въ предисловіи къ подъотдѣлу „исторіи философіи“. Надо замѣтить, что краткими предисловіями снабжены всѣ пять подъотдѣловъ, но общаго предисловія къ „философскимъ наукамъ“ нѣтъ. Повидимому, эту роль исполняетъ частное предисловіе къ „исторіи философіи“. Говорю „повидимому“ потому, что не легко разобраться. Авторъ пишетъ: „Въ спискѣ не указаны важнѣйшія произведенія философской литературы прошедшаго, такъ

какъ они приведены вмѣстѣ съ ихъ оцѣнкой въ руководствахъ исторіи философіи, главнымъ образомъ, у Ueberveg'a". Во-первыхъ, въ вышеупомянутомъ придаткѣ къ подъотдѣлу „этики" нѣкоторыя „важнѣйшія произведенія философской литературы прошедшаго" указаны. Во-вторыхъ, кто возьметъ Ибервега, тому, пожалуй, весь отдѣлъ „философскихъ наукъ" „Книги о книгахъ" не нуженъ: въ имѣющемся въ русскомъ переводѣ третьемъ томѣ Ибервегова Grundriss'a („Исторіи новой философіи", переводъ Я. Колубовскаго) есть обширныя дополненія и по русской философіи. Далѣе: „Равнымъ образомъ въ спискѣ не указаны важнѣйшія произведенія современной философской литературы, какъ потому, что послѣдняя не отошла еще въ область матеріала, подлежащаго „историческому" (курсивъ подлинника) изученію, такъ и потому, что крайнее ея разнообразіе не даетъ возможности указать даже главнѣйшихъ ея представителей, не нарушивъ до нѣкоторой степени требованій объективности и безпристрастія". Вотъ поистинѣ странныя разсужденія! Почему требованія безпристрастія будутъ нарушены, если будутъ упомянуты представители всѣхъ группъ, на которыя дробится современная философская мысль? А, главное, почему составители думаютъ, что ихъ читателямъ нужно или доступно только историческое изученіе философской мысли? Надѣюсь, что желаніе отвѣтить себѣ на философскіе вопросы съ современной точки зрѣнія, желаніе дойти до высшихъ обобщеній мысли и жизни не въ исторической только дали, а сейчасъ,—довольно законно. И здѣсь опять видно необыкновенное небреженіе къ читателямъ, потому что потребность въ философскихъ обобщеніяхъ чрезвычайно сильна въ мыслящемъ русскомъ обществѣ. Объ этомъ, не говоря о прочемъ, можно судить по тому интересу, который возбуждаютъ новѣйшія писанія гр. Л. Толстого. И, конечно, гр. Толстого въ отдѣлѣ „философскихъ наукъ" нѣтъ,—онъ попадетъ, вѣроятно, въ одно изъ очень отдаленныхъ изданій „Книги о книгахъ", когда будетъ подлежать уже историческому изученію. Скажутъ, можетъ быть, что гр. Толстой, какъ мыслитель, стоитъ не достаточно высоко, чтобы попасть въ число избранныхъ редакціей „Книги о книгахъ". Но вѣдь намъ была обѣщана указка при выборѣ матеріала для чтенія (выраженіе редакціи „Книги о книгахъ"),—ну, и укажите вы, спеціалисты, какъ намъ смотрѣть на философію Толстого? Скажутъ далѣе, что гр. Толстой достаточно извѣстенъ.

Но, какъ авторъ „Войны и мира“, „Анны Карениной“ и проч., онъ не менѣе извѣстенъ, а между тѣмъ, значится-же онъ въ отдѣлѣ „исторія литературы“.

Да что Толстой! Допустимъ, что законность внесенія его въ „Книгу о книгахъ“ подлежитъ сомнѣнію. Но тамъ нѣтъ не только новѣйшихъ европейскихъ писателей по философіи, а нѣтъ и Огюста Конта, къ которому, кажется, приложимо уже и историческое изученіе. Его нѣтъ ни въ философіи, ни въ философіи исторіи, ни въ соціологіи. Изо всей огромной литературы о Контѣ и позитивной философіи есть только книга Милля, изданная по-русски вмѣстѣ со статьей Льюиса. Нѣтъ и Фейербаха. Бентама я не нашелъ ни въ отдѣлѣ этики, ни въ отдѣлѣ юридическихъ наукъ. Въ подъотдѣлѣ экономическихъ наукъ, озаглавленномъ „Рабочій вопросъ“, отсутствуютъ не только такіе систематическіе обзоры, какъ Мейера „Emancipationskampf des vierten Standes“, и другіе менѣе полные и обстоятельные, или, напримѣръ, вся спеціальная литература о международномъ обществѣ рабочихъ, но нѣтъ Лассаля. Это вѣдь почти невѣроятно! Нѣтъ и Прудона. Отсутствуютъ психо-физическія сочиненія Фехнера и вся вызванная имъ литература. Въ отдѣлѣ этики книга Гижицкаго „Moral-Philosophie“ etc. характеризуется, между прочимъ, тѣмъ, что въ ней замѣтно „нѣкоторое вліяніе американскихъ моралистовъ, а самыхъ американскихъ моралистовъ нѣтъ, въ лицѣ хотя-бы Саль тера, рѣчи котораго тотъ-же Гижицкій перевелъ на нѣмецкій языкъ подъ заглавіемъ „Religion der Moral“. Кстати объ американцахъ. За послѣднее время въ нашей журналистикѣ появлялись сообщенія объ оригинальномъ и замѣчательномъ американскомъ соціологѣ Лестерѣ Уордѣ. Ему посвящена значительная часть вышедшей недавно книги г. Николаева „Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ“. Была попытка издать „Динамическую соціологію“ Уорда по-русски, но она окончилась неудачей. Уордъ совсѣмъ не поминается въ „Книгѣ о книгахъ“, между тѣмъ какъ при мало-мальски внимательномъ отношеніи редакціи къ интересамъ и запросамъ русской читающей публики это былъ-бы немыслимый пропускъ. Вообще, впрочемъ, соціологія находится въ загонѣ въ „Книгѣ о книгахъ“: она занимаетъ маленькій уголокъ въ отдѣлѣ этнографіи и представлена болѣе чѣмъ бѣдно. А я увѣренъ, что огромное большинство вѣроятныхъ читателей „Книги о книгахъ“, ради расширенія этого отдѣла, охотно отказались-бы

отъ указателей по такимъ дисциплинамъ, какъ „ортопедія“ или „массажъ и врачебная гимнастика“. Въ отдѣлѣ исторіи русской литературы смѣшаны въ одну кучу собственно исторія литературы, сама литература (беллетристика) и критика. Все это очень неполно и безсистемно. При этой неполнотѣ и безсистемности надо особенно пожалѣть объ отсутствіи указаній на такія книги, какъ „Сборникъ критическихъ статей о Некрасовѣ“ г. Зелинскаго, его-же „Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Достоевскаго“, его-же „Русская критическая литература о произведеніяхъ гр. Толстого“, г. Миронова „Характеристика русскихъ писателей“ (вышелъ, впрочемъ, кажется, только одинъ выпускъ,— не доведенный до конца сборникъ статей о гр. Толстомъ). Если „Книга о книгахъ“ отсылаетъ мѣстами своихъ читателей не только къ Ибервегу, но и къ библіографическимъ указателямъ г. Межова и т. п., то тѣмъ паче можно было сложить съ себя самостоятельный трудъ указаніемъ на сборники вродѣ книгъ г. Зелинскаго. Да ихъ не слѣдовало обходить и помимо этого соображенія; надо было только дополнить ихъ указаніемъ на позднѣйшія критическія статьи.

Всѣ приведенные пропуски намѣчены при самомъ бѣгломъ обзорѣ книги. Все это, конечно, частности, но частности настолько крупныя и, повторяю, даже мало вѣроятныя, что изъ нихъ слагаются нѣкоторыя общія черты. Невозможно себѣ представить, чтобы спеціалисты-составители соотвѣтственныхъ отдѣловъ забыли Льюиса, Конта, Бентама, Фехнера, Лассаля, Прудона,—эти имена исключены, конечно, въ здравомъ умѣ и твердой памяти. Мотивы этой операціи мнѣ совершенно непонятны, но, каковы-бы они ни были, должны-же они быть читателю извѣстны, въ виду извѣстности этихъ именъ и значительности связанной съ ними литературы, частью и русской. Другими словами, операціи полнаго исключенія они ни въ какомъ случаѣ не подлежали, а должны-бы сопровождаться мотивированнымъ указаніемъ на ихъ непригодность, если они съ точки зрѣнія редакціи дѣйствительно непригодны. Такой пріемъ употребленъ, напр., въ отдѣлѣ физики, въ предисловіи къ которому указаны нѣкоторыя сочиненія, не вошедшія въ самый списокъ, и сказано, почему именно они не вошли. Любопытно, что въ придисловіи къ отдѣлу психологіи говорится, между прочимъ, о школахъ, которыя, „отнюдь не считая психологію отдѣломъ физіологіи (какъ это дѣлалъ Огюстъ Контъ), при-

знаютъ необходимымъ изученіе физіологіи для успѣшнаго изслѣдованія душевныхъ явленій". Въ предисловіи къ отдѣлу „философіи математики" читаемъ: „Болѣе или менѣе подробное изложеніе предмета во всемъ объемѣ можно найти въ I томѣ „Cours de philosophie positive par Auguste Comte". А Контъ, какъ основатель позитивной философіи, какъ соціологъ, какъ авторъ вліятельной и оригинальной философіи исторіи, отсутствуетъ. Рядомъ съ такою роскошью въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ, какъ приведенная рецензія негодной и не существующей книги Ильенкова или рецензія французскаго сочиненія прошлаго столѣтія по ортопедіи— поразительная скудость отдѣловъ соціологіи и философіи исторіи производитъ необыкновенно странное впечатлѣніе. Вообще, различные отдѣлы составлены удивительно неравномѣрно, и роль редакціи состояла, повидимому, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы не играть никакой роли. По крайней мѣрѣ, слѣдовъ ея объединяющей дѣятельности не видно. Она разослала спеціалистамъ приглашенія съ приложеніемъ весьма неопредѣленной программы и страницы одного аналогичнаго американскаго изданія для образца, и затѣмъ каждый отдѣльный составитель поступилъ по своему благоусмотрѣнію: нѣкоторые отнеслись къ дѣлу чрезвычайно добросовѣстно, другіе гораздо понеряшливѣе; одни остановились на крупныхъ произведеніяхъ, можетъ быть, въ подробностяхъ и устарѣвшихъ, но давшихъ въ свое время толчокъ цѣлому теченію мысли, живому и до сихъ поръ, другіе выкинули ихъ за бортъ; одни вдались въ детали, другіе ограничились крупными и общими чертами; одни заинтересовались строго-научными сочиненіями, другіе допустили въ свой списокъ и популярныя книги. Въ цѣломъ получилось полное отсутствіе общаго плана и совершенная неприноровленность къ нуждамъ и требованіямъ русскихъ читателей.

Въ общемъ предисловіи редакція „Книги о книгахъ" справедливо замѣчаетъ, что едва-ли можно заниматься какою нибудь наукой, не зная, по крайней мѣрѣ, одного иностраннаго языка, вслѣдствіе чего всякій, желающій пополнить или умножить свои свѣдѣнія, долженъ, прежде всего, позаботиться пріобрѣсти хоть одинъ изъ этихъ ключей, отворяющихъ многіе замки. Прекрасный совѣтъ. Знаніе иностранныхъ языковъ упало у насъ за послѣднее время до чрезвычайности; они становятся положительно рѣдкостью въ массѣ молодыхъ людей, желающихъ самостоятельно

читать и учиться, и, понятно, какія трудности встрѣчаютъ ихъ на этомъ пути. Вполнѣ поэтому присоединяюсь къ пожеланію редакціи, но съ фактомъ надо все-таки считаться. Да и помимо того, обращающіяся въ русскомъ читающемъ обществѣ переводныя сочиненія, хотя-бы только капитальныя, заслуживаютъ особеннаго вниманія „Книги о книгахъ“. Поэтому никоимъ образомъ не слѣдовало пропускать безъ плюса или минуса такихъ книгъ, какъ „Исторія философіи“ Льюиса или „Основанія біологіи“ Спенсера, или „Физіологія ума“ Карпентера и т. п. (эти книги тоже не упомянуты ни въ переводахъ, ни въ оригиналѣ). Отъ редакціи „Книги о книгахъ“ можно-бы было ожидать даже большаго; она могла-бы указать книги, переводъ которыхъ желателенъ. Если она опасалась (и, можетъ быть, справедливо опасалась) своего субъективизма, то, во-первыхъ, субъективизмъ все-таки допущенъ въ указателѣ, да и нельзя безъ этого обойтись; а, во-вторыхъ, есть нѣкоторые объективные признаки, которыми наши издатели могли-бы руководствоваться, даже безъ прямыхъ указаній редакціи. Если, напримѣръ, книга переведена на нѣсколько языковъ, то это служитъ нѣкоторымъ ручательствомъ, что она заслуживаетъ и русскаго перевода. Посмотримъ съ этой точки зрѣнія, напримѣръ, на отдѣлъ „гипнотизма“. Въ краткомъ предисловіи составитель указываетъ мотивы, по которымъ онъ изъ всей литературы предмета выбралъ всего десять сочиненій, при чемъ на русскомъ языкѣ всего три (одно оригинальное и два переводныхъ). Составитель выбиралъ такія сочиненія, во-первыхъ, которыя лучше всего характеризуютъ ту или другую изъ существующихъ гипнотическихъ школъ; во-вторыхъ, такія, которыя отличаются объективно-критическимъ отношеніемъ къ вопросу; въ-третьихъ, наконецъ, такія, въ которыхъ оттѣнено отношеніе гипнотизма къ родственному ему патологическому состоянію—истеріи. Все это прекрасно, но литература гипнотизма на русскомъ языкѣ такъ не богата, что ее необходимо было (да и немного-бы мѣста заняла) привести всю. Между тѣмъ, въ спискѣ пропущены имѣющіяся въ русскомъ переводѣ книги Ш. Рише, Бони и еще кое-что. Съ другой стороны, въ спискѣ нѣтъ работъ Бреда, которыя, не смотря на свою пятидесятилѣтнюю давность, переведены уже въ новѣйшее время на французскій и нѣмецкій языки, а потому, надо думать, не лишнія и въ русскомъ переводѣ.

Все это свидѣтельствуетъ о нѣкоторомъ небреженіи къ интересамъ читателей съ внѣшней, такъ сказать, стороны, со стороны особеннаго у насъ значенія переводной литературы и вообще сочиненій на русскомъ языкѣ. Но небреженіе редакціи „Книги о книгахъ“ идетъ и дальше. Это видно уже изъ необъяснимыхъ пропусковъ Конта и Лассаля.

Журнальныя статьи редакція „Книги о книгахъ“ отвергла декретомъ, изложеннымъ въ видѣ § 8 программы, разосланной сотрудникамъ. Декретъ этотъ гласитъ: „Какъ правило, въ „Указателѣ“ помѣщаются лишь названія самостоятельныхъ или переводныхъ сочиненій (т. е. только книгъ). Журнальныя же статьи *дозволяется* приводить лишь между (?) русскими книгами и въ томъ единственномъ случаѣ, когда по соотвѣтствующему вопросу на русскомъ языкѣ не существуетъ ни самостоятельныхъ, ни компилятивныхъ, ни переводныхъ сочиненій“. Мнѣ кажется, что это очень необдуманное рѣшеніе. Въ нашей журналистикѣ сосредоточено столько умственнаго интереса, а книгоиздательство у насъ столь еще скудно, что оказать вѣроятнымъ потребителямъ „Книги о книгахъ“ всю ту пользу, какой она вправѣ ожидать, невозможно безъ указанія журнальныхъ статей. Конечно, это прибавило-бы работы редакціи, но вѣдь что-же дѣлать? Безъ труда нѣтъ плода, какъ извѣстно. Притомъ-же, редакція могла-бы воспользоваться нѣкоторыми подготовительными работами, какъ, напримѣръ, почтенными библіографическими трудами г. Межова, указателями, изданными нѣкоторыми журналами, напримѣръ, „Вѣстникомъ Европы“ за двадцать пять лѣтъ, „Русскою Мыслью“ за десять лѣтъ, „Отечественными Записками“ за первыя десять лѣтъ по переходѣ журнала въ руки Некрасова и проч. Редакція и не обошлась безъ журнальныхъ статей, да и не могла обойтись, въ виду чисто-формальнаго характера той границы, которая отдѣляетъ книгу отъ журнальной статьи. Но она допустила журнальныя статьи чисто-случайно, даже не придерживаясь своего декрета. Напримѣръ, нѣкоторыя статьи г. Ключевскаго по исторіи русскаго права, напечатанныя въ „Русской Мысли“, вошли въ списокъ, хотя, по прямому смыслу декрета, ихъ приводить не „дозволялось“ бы. Статьи г. Ключевскаго („Происхожденіе крѣпостного права въ Россіи“, „Подушная подать и отмѣна холопства въ Россіи“, „Составъ представительства на земскихъ соборахъ древней Руси“) написаны по вопросамъ, по которымъ въ русской литературѣ имѣ-

ются книги,—значитъ, онѣ не представляютъ собою того „единственнаго случая, когда по соотвѣтствующему вопросу на русскомъ языкѣ не существуетъ ни самостоятельныхъ, ни компилятивныхъ, ни переводныхъ сочиненій". Я не хочу этимъ сказать, что упомянутыя статьи не слѣдовало вносить въ указатель; напротивъ, непремѣнно слѣдовало, но не слѣдовало издавать неосновательный декретъ. Скажутъ, можетъ быть, что по нуждѣ и закону перемѣна бываетъ, что статьи г. Ключевскаго не имѣютъ журнальнаго характера и представляютъ собою чисто-ученую работу, которая не сегодня-завтра сложится въ книгу. Но я не думаю, чтобы „журнальный характеръ" составлялъ такую ужъ бѣду или, по крайней мѣрѣ, ненужность для потребителей „Книги о книгахъ". Да это не во всѣхъ случаяхъ и редакція думаетъ. Вотъ, напримѣръ, списокъ „сочиненій" на русскомъ языкѣ по вопросу о пьянствѣ: *Керръ:* „Пьянство, его причины, лѣченіе и юридическое значеніе"; *Прыжовъ:* „Исторія кабаковъ въ Россіи"; *Янжулъ:* „Англійскіе кабатчики" (см. въ „Очеркахъ и изслѣдованіяхъ" II тома), а также „Пьянство и борьба противъ него" въ „Вѣстникѣ Европы" 1888 г., №№ 6 и 7). По смыслу и буквѣ декрета, статья г. Янжула, напечатанная въ „Вѣстникѣ Европы", есть недозволенная контрабанда, въ виду того, что существуютъ книги о пьянствѣ, въ томъ числѣ книга самого г. Янжула. Если мы затѣмъ обратимся къ этой книгѣ, то-есть къ „Очеркамъ и изслѣдованіямъ" г. Янжула, то увидимъ, что „сочиненіе", озаглавленное „Англійскіе кабатчики", занимаетъ въ этой книгѣ шесть страницъ самаго малаго формата и представляетъ собою ни болѣе, ни менѣе, какъ корреспонденцію изъ Лондона, напечатанную въ 1880 г. въ газетѣ „Недѣля". Корреспонденція самаго обыкновеннаго типа, но она произведена въ рангъ „сочиненія"; однако, и произведенная въ этотъ рангъ не помѣшала помѣщенію въ списокъ другой журнальной статьи г. Янжула, хотя это и не „дозволяется". Рядомъ съ пропускомъ цѣлаго Лассаля въ „рабочемъ вопросѣ", цѣлаго Конта въ философіи и соціологіи, цѣлаго Бентама въ юриспруденціи и этикѣ, цѣлаго Фехнера въ психофизикѣ и проч., это выходитъ особенно пикантно.

Я не хочу допустить, чтобы газетная корреспонденція г. Янжула, не смотря на принципіальное изгнаніе не то что газетныхъ, а и журнальныхъ статей, попала въ „Книгу о книгахъ" потому, что ее редактировалъ г. Янжулъ, но очень склоненъ думать, что

произведенія гг. профессоровъ вообще имѣютъ въ глазахъ редакціи цѣну болѣе или менѣе независимую отъ ихъ внутренней цѣнности; отъ того-то такъ и тѣсно журнальнымъ статьямъ. Это жаль. При полномъ уваженіи къ оффиціальнымъ представителямъ науки, надо, все-таки, сказать, что на нихъ свѣтъ не клиномъ сошелся. А, главное, самое положеніе людей каѳедры отнюдь не таково, чтобы ихъ произведенія могли вполнѣ удовлетворить нуждающихся въ „Книгѣ о книгахъ“. Каѳедральные люди имѣютъ дѣло съ небольшою сравнительно аудиторіей, ожидающею спеціальныхъ поученій въ строго опредѣленныхъ рамкахъ. До нихъ, въ большинствѣ случаевъ, едва-ли даже доходятъ интимнѣйшіе запросы людей, алчущихъ самостоятельнаго чтенія, „самообразованія“, какъ у насъ говорятъ. Да и сами они, держась на высотахъ академическаго преподаванія, не склонны прислушиваться ко всѣмъ развѣтвленіямъ сложныхъ требованій „читателей“. Въ силу того-же пребыванія на академическихъ высотахъ, каѳедральные люди боятся очень оригинальныхъ мыслей, смѣлыхъ гипотезъ, не завершенныхъ, а еще только развивающихся доктринъ, нерѣшенныхъ теоретическихъ и практическихъ вопросовъ, боятся иногда даже слишкомъ бойкой или страстной формы изложенія. Такъ не у насъ только ведется. Съ какимъ-нибудь Дарвиномъ или Марксомъ, которые, никогда не будучи профессорами, встряхнули всѣхъ профессоровъ, конечно, ничего не подѣлаешь, но и то французская академія отвергла Дарвина, когда дарвинизмъ завоевалъ уже весь міръ. Контъ, Шопенгауэръ, Дюрингъ имѣли основанія горько жаловаться на оффиціальныхъ представителей науки, для которыхъ они были слишкомъ оригинальны, слишкомъ не укладывались въ установившіяся рамки. Скажутъ, можетъ быть, то Европа, Дарвинъ, Марксъ, а нашей скромной наукѣ довлѣетъ особенная осторожность, и, дескать, прекрасно, что представители ея сторонятся рискованныхъ гипотезъ, необщепринятыхъ идей, нерѣшенныхъ вопросовъ. Можетъ быть, и прекрасно это, но бѣда-то въ томъ, что рискованныя гипотезы бродятъ среди возможныхъ потребителей „Книги о книгахъ“, нерѣшенные вопросы интересуютъ и волнуютъ ихъ, а „Книга о книгахъ“ оставляетъ ихъ безъ обѣщанной „указки“. Вернемся на минуту къ упомянутому уже отдѣлу „гипнотизма“. Спеціалистъ, составлявшій этотъ отдѣлъ, по моему мнѣнію, поступилъ неправильно, оставивъ безъ „указки“ нѣкоторыя имѣю-

щіяся на русскомъ языкѣ сочиненія. Но, во всякомъ случаѣ, онъ свое дѣло сдѣлалъ, какъ спеціалистъ. Запросы читателей, однако, этимъ не кончаются. Мы знаемъ, что ученіе о гипнотизмѣ вторгается и въ психологію (наприм., Хэкъ-Тьюкъ—„Духъ и тѣло“, да и Карпентеръ), и въ педагогику (наприм., Гюйо—„Воспитаніе и наслѣдственность“), и въ соціологію, (напр., Тардъ—„Законы подражанія“), и ни одного изъ этихъ сочиненій въ „Книгѣ о книгахъ“ нѣтъ. Почему? Потому, вѣроятно, что ни одинъ изъ 130 спеціалистовъ, составлявшихъ указатель, не интересуется этимъ еще не вполнѣ опредѣлившимся теченіемъ научной мысли. По той-же причинѣ такъ поразительно скуденъ отдѣлъ соціологіи. Что такое соціологія? Даже и каѳедры-то такой нѣтъ въ университетахъ, и эта бѣдная наука будущаго должна быть ужъ и за то благодарна, что ей отведенъ маленькій задній уголъ въ отдѣлѣ этнографіи. Однако, вѣдь, соціологическія-то теоріи обращаются въ ищущей знанія публикѣ и живетъ въ ней соотвѣтственная потребность, которая „Книгою о книгахъ“ не будетъ удовлетворена. Возьмемъ теперь какой-нибудь практическій вопросъ, живо интересующій русское общество. Положимъ, вы хотите оріентироваться въ еврейскомъ вопросѣ. Куда-же обратиться, какъ не къ „Книгѣ о книгахъ“? Вы не найдете тамъ ничего, хотя, казалось-бы, вопросъ этотъ могъ-бы найти себѣ мѣсто въ различныхъ дисциплинахъ науки права. И какъ-бы для бо̀льшей послѣдовательности не указана даже ни одна исторія еврейскаго народа въ отдѣлѣ исторіи, а упомянуты лишь нѣкоторыя соотвѣтственныя сочиненія въ отдѣлѣ богословскихъ наукъ. Вы помните, что и современныя философскія теченія „Книга о книгахъ“ игнорируетъ на томъ основаніи, что къ нимъ еще не приложимо *историческое* изученіе. Все, на чемъ лежитъ печать жизни, страсти, что не отошло въ область прошедшаго или не отлилось въ законченныя формы академическаго преподаванія, болѣе или менѣе подозрительно въ глазахъ составителей.

При такомъ настроеніи, вообще говоря, журнальнымъ статьямъ, конечно, нѣтъ мѣста (исключенія, какъ мы видѣли, допускаются даже для газетныхъ корреспонденцій): журналистика могла-бы компрометтировать величавую холодность академическихъ вершинъ. Такъ-ли это, однако, въ самомъ дѣлѣ? Мнѣ кажется, можно-бы было устроить дѣло такъ, чтобы и овцы были цѣлы и волки

сыты. Напримѣръ, г. Янжулъ или соотвѣтственный спеціалистъ могъ-бы, ну, хоть покровительственно похлопать по плечу Конта и сказать: молодъ еще ты, братъ, молодъ и неоснователенъ; но такъ какъ тобою у насъ интересуются, то вотъ списокъ книгъ и журнальныхъ статей, въ которыхъ о тебѣ, о твоей философіи и соціологіи говорится; даю списокъ и умываю руки.— Точно также, не только не замаравъ рукъ, а, напротивъ, умывъ ихъ, редакція могла-бы поступить и со многими другими вещами: пустяки, молъ, это съ нашей точки зрѣнія, но, коли вамъ надо,— получайте. Журналистика могла-бы сослужить при этомъ прекрасную службу: всѣ не установившіяся, но уже дающія себя знать научныя дисциплины, всѣ не рѣшенные, но интересующіе общество вопросы можно бы было отнести на ея счетъ и отвѣтственность, а оффиціальные представители науки оставались-бы при этомъ въ положеніи жены Цезаря, которой не должно касаться малѣйшее подозрѣніе. Въ крайнемъ случаѣ, если-бы даже простое перечисленіе журнальныхъ статей по важнѣйшимъ, интересующимъ русскихъ читателей, вопросамъ оказалось, по обилію этого матеріала, затруднительнымъ, можно-бы было употребить среднюю. Я готовъ допустить, что газетная корреспонденція г. Янжула объ англійскихъ кабатчикахъ обладаетъ достоинствами, гарантирующими ей мѣсто въ указателѣ даже въ видѣ именно газетной корреспонденціи. Но, все-таки, она попала туда въ качествѣ „сочиненія“, въ качествѣ если не книги, то маленькой составной части книги. По крайней мѣрѣ, хоть этотъ-то принципъ слѣдовало-бы распространить: не роясь въ массѣ журналовъ, ограничиться тѣми журнальными статьями, которыя впослѣдствіи, такъ или иначе, вошли въ составъ книги. Тамъ, гдѣ въ литературѣ рабочаго вопроса отсутствуетъ Лассаль, въ философіи и соціологіи Контъ, въ этикѣ Бентамъ и т. д., удивляться, собственно говоря, нечему. Но странно, все-таки, видѣть въ указателѣ корреспонденцію г. Янжула и не видѣть, напримѣръ, составившейся изъ журнальныхъ статей книги г. В. В. „Судьбы капитализма въ Россіи“. Книга эта, какъ-бы мы ни расцѣнивали ея достоинства и недостатки, есть одно изъ выраженій оригинальнаго теченія русской мысли и отвѣчаетъ на вопросъ, чрезвычайно интересовавшій русскихъ читателей въ теченіе многихъ лѣтъ, да и по сію пору интересующій. Къ этому именно вопросу

мы и перейдемъ теперь, при чемъ не сразу разстанемся съ „Книгой о книгахъ“.

Начиная нынѣшнюю бесѣду съ разговора о моихъ корреспондентахъ, я имѣлъ въ виду, между прочимъ, тронуть группу писемъ, вызванныхъ моими статьями о гр. Л. Н. Толстомъ. Всякія тутъ есть письма, и нѣкоторыя изъ нихъ заслуживаютъ вниманія. Но это приходится отложить. „Книга о книгахъ“ перебила мой первоначальный планъ. Впрочемъ, все нижеслѣдующее можетъ отчасти служить отвѣтомъ тоже на цѣлую группу писемъ. Мнѣ даже хочется начать эту главу съ воспоминанія объ одномъ моемъ безвременно погибшемъ корреспондентѣ, точнѣе—корреспонденткѣ.

Весной прошлаго года, будучи внѣ Петербурга, я получилъ письмо отъ слушательницы рождественскихъ фельдшерскихъ курсовъ, Нагорской. Письмо было мотивировано одною случившеюся тогда со мною непріятностью и содержало въ себѣ слова участія, и затѣмъ разные вопросы и сомнѣнія. Внѣ сомнѣній для автора письма было ея будущее непосредственное служеніе народу тѣми знаніями, которыя она пріобрѣтетъ на курсахъ; но спеціальными знаніями она не ограничивалась, и, прежде всего, хотѣла изучить среду, въ которой ей придется дѣйствовать, изучить въ самомъ широкомъ смыслѣ слова: фактическое положеніе, вѣроятное будущее, параллельныя явленія европейской жизни. Ее лично влекло пристроиться, по окончаніи курса, куда-нибудь на фабрику, но какіе-то ея знакомые или товарищи доказывали, что она должна устроиться не на фабрикѣ, а въ деревнѣ. Вопросъ, самъ по себѣ, конечно, не важный, но отъ его рѣшенія зависѣлъ, во-первыхъ, для моей корреспондентки характеръ подготовительныхъ внѣ-школьныхъ занятій и, во-вторыхъ, съ нимъ связывался, очевидно, много дебатировавшійся теоретическій вопросъ, скажемъ для краткости, о „судьбахъ капитализма въ Россіи“,—не о книгѣ г. В. В., а объ ея предметѣ. Письмо касалось еще многаго другого, и во всемъ этомъ было много молодой наивности, много болѣзненной нервности, но была и глубокая искренность, и страстное желаніе разобраться въ смущавшихъ молодую дѣвушку вещахъ и идеяхъ. По разнымъ соображеніямъ я уклонился отъ переписки, но какъ только вернулся въ Петербургъ, пригласилъ

къ себѣ Нагорскую. Пришла застѣнчивая, худенькая, блѣдная дѣвушка съ необыкновенно слабымъ голосомъ, нервною торопливостью рѣчи и вдобавокъ сильнымъ малороссійскимъ акцентомъ, что, все вмѣстѣ, заставляло особенно внимательно вслушиваться въ то, что она говоритъ. Это была воплощенная жажда сознательной дѣятельности, работница по темпераменту, но работница, требующая теоретическаго освѣщенія каждаго своего шага. Къ сожалѣнію, эта драгоцѣнная духовная комбинація была заключена въ очень хрупкую тѣлесную оболочку. Немудрено поэтому, что во мнѣ мелькнуло дурное предчувствіе, когда однажды, совершенно неожиданно, Нагорская пришла проститься: съ большимъ для себя рискомъ обойдя нѣкоторыя препятствія формальнаго характера, она уѣзжала въ Самарскую губернію на помощь голодающимъ. Не прошло, должно быть, мѣсяца, какъ я получилъ извѣстіе, что она заразилась тифомъ и находится въ крайне бѣдственномъ положеніи, а еще черезъ короткое время я присутствовалъ на панихидѣ по худенькой дѣвушкѣ съ слабымъ голосомъ и торопливою рѣчью...

Я разсказалъ эту маленькую исторію частью просто потому, что хотѣлось помянуть бѣдную безвѣстную дѣвушку, такъ напряженно думавшую, такъ глубоко чувствовавшую и такъ скоро умершую, едва выступивъ на то поприще служенія народу, къ которому она такъ сознательно и добросовѣстно готовилась. Маленькій это былъ человѣкъ, но не грѣхъ и маленькаго человѣка помянуть во всеуслышаніе, когда онъ умираетъ такъ, какъ умерла Юлія Васильевна Нагорская. Не грѣхъ и о живыхъ Нагорскихъ подумать. Къ счастію, онѣ есть, и ихъ даже, можетъ быть, не мало, не смотря на неблагопріятныя условія. Я часто вспоминаю худенькую дѣвушку съ угорopленною рѣчью и слабымъ голосомъ. Вспомнилась она мнѣ и при чтеніи „Книги о книгахъ“. Она приносила два или три рукописныхъ указателя книгъ и статей, изъ которыхъ одинъ былъ составленъ, помнится, гдѣ-то въ Сибири и, очевидно, при очень неблагопріятныхъ условіяхъ. Указатели эти страдали обычными недостатками подобныхъ работъ, и, конечно, Нагорская обѣими руками ухватилась-бы за „Книгу о книгахъ“, но едва-ли удовлетворилась-бы. Не знаю, читаютъ-ли на рождественскихъ курсахъ „ортопедію“, „массажъ“, „зубоврачебное искусство“, но думаю, что, если и не читаютъ, то несложную, такъ сказать, прямолинейную литературу этихъ предметовъ

покойница, въ случаѣ надобности, все-таки могла-бы получить отъ своихъ собственныхъ профессоровъ, и не ея искала-бы она въ „Книгѣ о книгахъ“. А, между тѣмъ, мнѣ кажется, что это-то и есть самый дорогой типъ читателей и что ихъ интересы должны-бы стоять на первомъ планѣ въ подобномъ изданіи. Я не хочу, конечно, сказать, что эти люди ничего не извлекутъ изъ „Книги о книгахъ“. Нѣтъ, за неимѣніемъ лучшаго, и это изданіе можетъ многимъ принести пользу. Но мы вправѣ были ожидать именно лучшаго: вѣдь тутъ 130 спеціалистовъ работало! „Книга о книгахъ“ до такой степени нужна, что выдержитъ, безъ сомнѣнія, не одно изданіе, и надо желать, чтобы къ слѣдующему изданію редакція, исправивъ нѣкоторые промахи, непозволительные и на академическихъ высотахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ заглянула и въ долину жизни. Было-бы, можетъ быть, хорошо, если-бы редакція познакомилась съ циркулирующими среди жаждущихъ чтенія самодѣльными указателями. Редакція, правда, упоминаетъ въ предисловіи о такъ называемыхъ „систематическихъ каталогахъ“, издаваемыхъ уже нѣсколько разъ и въ разныхъ городахъ Россіи и отличавшихся большею частью „односторонностью и тенденціозностью“. Я не увѣренъ, однако, что редакція разумѣетъ здѣсь именно упомянутые самодѣльные каталоги, но если она и знакома съ послѣдними, то не видно все-таки чтобы она приняла ихъ во вниманіе. О, я понимаю гордость людей науки и не предлагаю имъ учиться у безвѣстныхъ составителей „систематическихъ каталоговъ“! Я знаю, что ученаго учить—только портить, а я желалъ-бы, чтобы „Книга о книгахъ“ не испортилась въ послѣдующихъ изданіяхъ, а, напротивъ, улучшилась. И не испорчена, а улучшена она будетъ, если редакція приметъ во вниманіе запросы читателей. И тогда ей придется отказаться отъ слишкомъ презрительнаго или слишкомъ боязливаго отношенія къ тому, что живо и живьемъ пахнетъ, что не отошло на разстояніе „историческаго изученія“ или еще не получило по какимъ-нибудь обстоятельствамъ каѳедральнаго значенія, что волнуется и волнуетъ. Между прочимъ, придется удѣлить мѣсто и тому вопросу, который такъ занималъ покойную Нагорскую и, конечно, далеко не одну ее...

Въ „Книгѣ о книгахъ“, въ отдѣлѣ политической экономіи, упомянуты, вслѣдъ за экономическою теоріей Маркса: критика этой теоріи Жуковскаго, „Вѣстникъ Европы“ 1877, № 9, и за-

щита ея Зибера," „Отечественныя Записки" 1877, № 11". Это одинъ изъ немногихъ случаевъ допущенія въ указатель журнальныхъ статей. Совсѣмъ рядомъ со статьей Зибера, всего однимъ мѣсяцемъ раньше, въ тѣхъ-же „Отечественныхъ Запискахъ" была напечатана моя статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго", которая, однако, въ указатель не попала...

Читатель, я чувствую неловкость положенія, въ которое становлюсь этимъ указаніемъ или даже, какъ иному можетъ показаться, жалобой, что вотъ, дескать, Зибера статью помянули, а однородную мою статью пропустили, — обидѣли. Но это одно изъ тѣхъ неловкихъ положеній, изъ которыхъ очень легко выйти. Съ самаго начала бесѣдъ, я далъ себѣ право воспоминаній, изъ состава которыхъ никогда не думалъ исключать себя лично. Да если-бъ я и хотѣлъ какъ-нибудь обойти свою собственную дѣятельность, то просто не могъ-бы это сдѣлать: слишкомъ она тѣсно связана съ тѣмъ моментомъ исторіи русской литературы, который я хотѣлъ-бы напомнить. Внутренняя потребность, безотчетная потребность чувства толкнула меня въ эту сторону послѣ смерти Елисеева, но она тотчасъ-же осложнилась чисто-разсудочнымъ элементомъ. Въ виду частью полнаго забвенія и незнанія, а частью клеветы и непониманія, какія нынѣ сплошь и рядомъ встрѣчаются по отношенію къ тому литературному теченію, принадлежность къ которому я поставляю себѣ въ особенную честь, нужно его напомнить. Это было нужно давно, это становится все нужнѣе, потому что забвеніе и незнаніе или клевета и непониманіе достигаютъ, наконецъ, почти невѣроятныхъ предѣловъ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, говоря о статьѣ г. Сементковскаго, къ которой еще придется вернуться. Если я по разнымъ причинамъ оборвалъ послѣдовательную нить личныхъ воспоминаній, то и не отказывался при случаѣ ее возобновить. А въ данномъ случаѣ дѣло идетъ именно о воспоминаніяхъ, хотя и переплетенныхъ съ разными явленіями текущей литературы и жизни. Не въ уязвленномъ моемъ самолюбіи дѣло. Въ „Книгѣ о книгахъ" мнѣ отведено извѣстное мѣсто, и разъ я, такъ или иначе, попалъ въ списокъ избранныхъ, куда не удостоились чести попасть Контъ и Лассаль, Бентамъ и Фейербахъ, Прудонъ и Фехнеръ,—надо имѣть поистинѣ дьявольское самолюбіе, чтобы этимъ не удовлетвориться и придираться еще къ пропуску какой-то тамъ от-

дѣльной статьи. Но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ это не просто какая-то тамъ отдѣльная статья, какія я мало-ли еще о чемъ писалъ, и въ пропускѣ ея сказалась характерная черта мертвенности „Книги о книгахъ“. Редакція можетъ сказать, что изъ двухъ возраженій г. Жуковскому она выбрала то, которое она признаетъ болѣе солиднымъ, болѣе заслуживающимъ вниманія съ научной точки зрѣнія. Противъ этого я-бы ничего не могъ возразить. Хотя Зиберъ самъ мнѣ говорилъ, что удивляется совпаденію нашей аргументаціи (за исключеніемъ одного пункта, о чемъ сейчасъ скажу), но я журналистъ, а онъ былъ спеціалистъ по политической экономіи и человѣкъ каѳедры,—ему и книги въ руки. Признаюсь, есть спеціалисты и люди каѳедры, къ которымъ я отношусь нѣсколько скептически, но Зиберъ былъ дѣйствительно серьезный ученый, и ужъ ни въ какомъ случаѣ не сталъ-бы я съ нимъ мѣряться знаніями,—слишкомъ-бы это было для меня невыгодно.

Но въ статьѣ „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ есть нѣчто, чего не было и не могло быть въ статьѣ Зибера, правовѣрнаго ученика Маркса не только въ области теоретической экономіи, а и въ области философско-историческихъ взглядовъ. Это нѣчто касается вопроса объ экономическомъ, а, пожалуй, и вообще культурномъ будущемъ Россіи по сравненію съ ходомъ дѣлъ въ Европѣ, — вопроса практическаго и теоретическаго вмѣстѣ,—вопроса, имѣющаго свою огромную литературу, съ давнихъ поръ волновавшаго русское общество, дробившаго его на рѣзко противоположныя партіи и вступившаго въ новый фазисъ въ виду ученія Маркса. Отражая въ себѣ этотъ послѣдній фазисъ въ частной формѣ „судебъ капитализма въ Россіи“, статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ примыкаетъ такимъ образомъ къ длинной цѣпи дебатовъ, когда-то, въ другой формѣ, наполнявшихъ собою можно сказать всю литературу. Разумѣю споры славянофиловъ и западниковъ. Вся относящаяся сюда литература сведена „въ „Книгѣ о книгахъ“ къ книгамъ г. Веселовскаго „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“, г. Страхова — „Борьба съ западомъ въ русской литературѣ“, Данилевскаго — „Россія и Европа“ и статьямъ Ор. Миллера— „Основы ученія первоначальныхъ славянофиловъ“. Разумѣется, кто обратится къ имѣющимся въ указателѣ трудамъ по исторіи русской литературы, напримѣръ, г. Пыпина или г. Скабичевскаго,

тотъ найдетъ и дальнѣйшія указанія, но собственно отъ себя „Книга о книгахъ“ рекомендуетъ только гг. Веселовскаго, Страхова, Данилевскаго и Ор. Миллера для ознакомленія съ одной изъ любопытнѣйшихъ страницъ исторіи русской общественности. Къ отдѣламъ „ортопедіи“ и „массажа“ „Книга о книгахъ“ относится несравненно любовнѣе... А, между тѣмъ, споры западниковъ и славянофиловъ допускаютъ и „историческое“ уже изученіе. Всѣ четыре, указываемыя „Книгою о книгахъ“ произведенія, относятся къ такому времени, когда споръ славянофиловъ съ западниками уже утратилъ свое острое живое значеніе и когда параллели между европейскою и русскою исторіей перешли на новую почву, на которой не было мѣста старымъ знаменамъ славянофильства и западничества. Здѣсь, на этой новой почвѣ, сложилась опять-таки своя литература, происходилъ живой и горячій споръ между представителями различныхъ мнѣній, но это теченіе уже совершенно игнорируется „Книгою о книгахъ“. Не было-бы ничего удивительнаго, что на этомъ общемъ фонѣ „нѣтовой земли“ отсутствуетъ и статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“. Но тутъ замѣшалось одно довольно исключительное обстоятельство. Случилось такъ, что статья эта, написанная въ защиту Маркса, но съ оговорками, вызвала вмѣшательство самого Маркса въ нашъ русскій споръ: его возраженіе на мою статью или объясненіе по поводу ея, уже послѣ его смерти, было напечатано въ „Юридическомъ Вѣстникѣ“ (за 1888 г.) подъ заглавіемъ „Письмо Карла Маркса“. Отнюдь не приглашая читателей рабски благоговѣть передъ каждою строкой знаменитаго экономиста, я думаю, однако, что это фактъ, который не слѣдовало оставлять безъ вниманія, по крайней мѣрѣ, въ томъ случаѣ, когда прямо говорится о русской критикѣ и анти-критикѣ теорій Маркса.

За мной накопилось много долговъ передъ читателями, долговъ добровольныхъ, такъ какъ самъ я, по разнымъ поводамъ, обѣщалъ поговорить о томъ, о другомъ, и многихъ этихъ обѣщаній не исполнилъ. Но я ихъ хорошо помню и при удобномъ случаѣ исполняю. Между прочимъ, я давно уже хотѣлъ разсказать о типичномъ увлеченіи покойнаго Зибера гегелевскою философіей, а въ прошлый разъ обѣщалъ вернуться къ книжкѣ Ланге и статьѣ г. Сементковскаго. Это удобно сдѣлать теперь въ связи съ философско-историческою теоріей Маркса.

Теорія эта изложена въ шестой главѣ „Капитала“ подъ скромнымъ заглавіемъ „Такъ называемое первоначальное накопленіе“. Состоитъ она въ слѣдующемъ. Капиталистическій процессъ требуетъ, для своего осуществленія и развитія, двухъ разрядовъ людей. Во-первыхъ, на лицо долженъ быть собственникъ орудій производства, желающій увеличить принадлежащую ему сумму цѣнностей покупкою чужого труда; во-вторыхъ, на лицо долженъ быть продавецъ труда, свободный работникъ. Рабъ или крѣпостной для этого не годится; не годится и крестьянинъ, имѣющій свое собственное хозяйство. Какъ участникъ капиталистическаго производства, самъ работникъ не долженъ принадлежать къ условіямъ производства, не должны и эти условія принадлежать ему. Сообразно этому, первоначальное накопленіе есть процессъ отдѣленія работника отъ условій труда или средствъ производства, или собственности. Исторія показываетъ, что вездѣ въ Европѣ процессъ этотъ начался вскорѣ послѣ паденія крѣпостного права. Минуя подробности, развитыя съ свойственною Марксу логическою силой и эрудиціей, отмѣтимъ лишь результатъ: формальное измѣненіе отношеній, именно—превращеніе рабовъ и крѣпостныхъ въ наемныхъ работниковъ и, въ то-же время, экспропріація непосредственныхъ производителей, то-есть уничтоженіе частной собственности, основанной на собственномъ трудѣ. Это былъ трудный, мучительный и долгій, вѣковой, но, въ то-же время, необходимый процессъ. Средневѣковыя формы самостоятельности земледѣльца и ремесленника, имѣющихъ въ своихъ рукахъ орудія производства, предполагаютъ раздробленіе земли и орудій. Эти формы противятся введенію кооперація, раздѣленію труда, общественному господству надъ природой,—словомъ, исключаютъ развитіе общественной производительной силы въ широкихъ размѣрахъ. На извѣстной ступени развитія этотъ порядокъ вещей самъ выдвигаетъ матеріалы для своего разрушенія. „Уничтоженіе его, обращеніе индивидуальныхъ и раздробленныхъ средствъ производства въ общественно-сосредоточенныя, т.-е. обращеніе мелкой собственности многихъ въ громадную собственность немногихъ, т.-е. экспропріація земли, средствъ существованія и орудій труда у большихъ народныхъ массъ, эта ужасная и трудная экспропріація народа образуетъ первоначальную исторію капитала“. Но процессъ на этомъ не останавливается. Въ силу „имманентныхъ законовъ“ самого капиталисти-

ческаго производства, идетъ дальнѣйшее „обобществленіе“ труда. На этотъ разъ экспропріируются уже не рабочіе, а сами капиталисты. Одинъ капиталистъ побиваетъ другихъ, не многіе экспропріируютъ многихъ, число магнатовъ капитала сокращается, средства производства сосредоточиваются все въ меньшемъ числѣ рукъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, развивается „кооперативная форма рабочаго процесса, сознательное технологическое приложеніе науки, цѣлесообразная эксплоатація земли, превращеніе орудій труда въ такія, которыя могутъ прилагаться только сообща, и экономизированіе всѣхъ средствъ производства посредствомъ употребленія ихъ, какъ общихъ средствъ производства комбинированнаго общественнаго труда“. Рядомъ со всѣми ужасами нищеты, униженія, гнета, которыми этотъ процессъ обрушивается на массы, идетъ обученіе, объединеніе, организація этихъ массъ „самымъ механизмомъ капиталистическаго процесса производства“. И, наконецъ, капиталистическая оболочка не выдерживаетъ этого „обобществленія“: „экспропріирующихъ экспропріируютъ“. „Капиталистическій способъ производства и присвоенія, а, слѣдовательно, и капиталистическая частная собственность есть отрицаніе индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственномъ трудѣ. Отрицаніе капиталистическаго производства производится имъ-же самимъ и неизбѣжностью собственнаго процесса.—Это отрицаніе отрицанія. Оно снова возстановляетъ индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры, т.-е. на основаніи кооперація свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими работниками“. Этотъ обратный процессъ долженъ завершиться несравненно быстрѣе и безболѣзненнѣе, чѣмъ процессъ экспропріація массъ.

Теорія эта, обнимающая одною формулой ужасы прошедшаго, тяжесть настоящаго и свѣтлое будущее, имѣла, какъ извѣстно, огромный успѣхъ, продолжающійся и до нынѣ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и успѣхъ романа Беллами, въ которомъ уже черезъ сто лѣтъ не только осуществляется предсказанный Марксомъ порядокъ вещей (конечно, въ фантастической формѣ, потому что Марксъ и не пытался уловить конкретныя формы будущаго строя), но нынѣшніе порядки являются уже далекимъ, едва понятнымъ преданіемъ. Теорія Маркса даетъ извѣстное удовлетвореніе наболѣвшему чувству европейскаго про-

летарія, указывая ему неизбѣжность и близость избавленія. Еще большее удовлетвореніе получаютъ тѣ благородные характеры изъ внѣ-рабочей среды, которые, не испытывая непосредственно на себѣ тяжесть современныхъ экономическихъ условій въ Европѣ, принимаютъ, однако, къ сердцу положеніе рабочихъ классовъ и съ тоскою и страхомъ гадаютъ о будущемъ европейской цивилизаціи. Изъяны и темныя стороны современнаго положенія вещей, по Марксу, сами собой и изъ себя самихъ, органически, непреодолимою силой логики вещей создадутъ новый порядокъ. То обстоятельство, что это предвидѣніе было облечено въ гегеліанскую формулу трехчленнаго развитія путемъ противорѣчій (положенія, отрицанія и отрицанія отрицанія), ничему не мѣшало. Марксъ наполнилъ эту всеобъемлющую и вмѣстѣ пустую идеалистическую формулу живымъ реальнымъ матеріаломъ и лишній разъ привлекъ общее вниманіе къ этой „игрѣ ума“, которая такъ часто оправдывается въ жизни. Говоря объ этомъ обстоятельствѣ, Ланге замѣчаетъ: „Трудъ Маркса еще разъ доказываетъ, что сильная сторона гегелевскаго умозрѣнія лежитъ въ его историко-философскомъ методѣ, особенный принципъ котораго почти можно назвать антропологическимъ открытіемъ“. Ланге полагаетъ, однако, что въ дѣйствительности процессъ развитія путемъ послѣдовательныхъ противорѣчій происходитъ не такъ легко, точно и симметрично, какъ въ чистомъ умозрѣніи; онъ не раздѣляетъ поэтому надеждъ Маркса на быстрое завершеніе послѣдней стадіи предсказаннаго имъ процесса и предвидитъ на этомъ пути многія отклоненія и долгую борьбу.

Не такъ смотрѣлъ на дѣло Зиберъ. Мнѣ неизвѣстна біографія Зибера. Знаю только, что онъ былъ одно время доцентомъ политической экономіи въ кіевскомъ университетѣ, но скоро долженъ былъ оставить каѳедру и долгое время жилъ въ Швейцаріи, въ Бернѣ. Онъ присылалъ время отъ времени статьи въ „Отечественныя Записки“, всегда чрезвычайно интересныя, хотя и тяжеловатыя по изложенію. Впрочемъ, статья о критикѣ г. Жуковскаго составляетъ исключеніе, она написана чрезвычайно живо и ясно. Лично познакомился я съ Зиберомъ, помнится, въ началѣ 1878 года, когда онъ былъ временно въ Петербургѣ; во всякомъ случаѣ, это было вскорѣ послѣ появленія статьи г. Жуковскаго о Марксѣ и нашихъ на нее возраженій. Превосходный спеціалистъ по своей части, Зиберъ произ-

водилъ на меня впечатлѣніе настоящаго неофита въ философіи, въ которую былъ вовлеченъ Гегелемъ чрезъ посредство Маркса и Энгельса. Помню, такъ сказать, аппетитъ, съ которымъ онъ развивалъ извѣстныя иллюстраціи къ трехчленной гегелевской формулѣ, обаятельность которой я на себѣ испыталъ въ юношескіе годы: „возьмите пшеничное зерно, посѣйте,— сѣмя дастъ ростокъ, который есть отрицаніе сѣмени, такъ какъ разрушаетъ его, но затѣмъ дальнѣйшее развитіе этого отрицанія ведетъ къ его, въ свою очередь, отрицанію, представляющему, вмѣстѣ съ тѣмъ, возвращеніе къ первой стадіи: стебель оканчивается колосомъ, скопленіемъ, обществомъ сѣмянъ“. И тотъ-же, дескать, процессъ происходитъ во всемъ сущемъ, въ томъ числѣ и въ области людскихъ отношеній. Загадочная и увлекательная „игра ума“ Гегеля, по своей расплывающейся общности и отвлеченности, собственно говоря, не допускаетъ возраженій, но я пытался объяснить явленія, о которыхъ у насъ шла рѣчь, другими, не столь общими и абстрактными способами. Въ концѣ-концовъ, дѣло было, впрочемъ, не въ исторіи пшеничнаго зерна и не въ міровыхъ процессахъ. Въ статьѣ „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“, вполнѣ признавая огромную эрудицію, рѣдкую логическую силу и научныя заслуги Маркса, каковыя достоинства г. Жуковскій пытался умалить, вполнѣ примыкая къ основнымъ положеніямъ экономической доктрины Маркса, я съ сомнѣніемъ остановился передъ философско-историческими его соображеніями. Собственно говоря, даже не прямо передъ ними (потому-что и цѣль моя состояла не въ критикѣ „Капитала“), а передъ тѣмъ, какъ они могутъ отразиться въ умахъ русскихъ читателей. На этомъ-то пунктѣ мы и расходились съ Зиберомъ. Чтобъ оцѣнить характеръ этого разногласія, заглянемъ на минуту въ „Рабочій вопросъ“ Ланге.

Мы найдемъ тамъ, между прочимъ, слѣдующія идеи:

„Если мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли, что извѣстное политико-экономическое ученіе, какъ и соотвѣтствующій ему капиталистическій способъ производства, имѣло свое относительное, историческое основаніе, а частью и теперь еще имѣетъ его, и что всякое стараніе поддержать въ настоящее время жалкіе остатки средневѣковыхъ формъ труда было-бы роковою ошибкой и безполезнымъ безумiемъ, то нами при этомъ руководитъ, главнымъ образомъ, одно простое соображеніе. Мы полагаемъ, что

новыя, болѣе цѣлесообразныя и болѣе соотвѣтствующія современной зрѣлости человѣческаго рода формы общественныхъ отношеній и труда не могли развиться безъ промежуточнаго момента—эпохи промышленнаго кулачнаго права“ (ст. 39).

„Противорѣчіе, состоящее, повидимому, въ томъ, что мы, съ одной стороны, признаемъ историческою необходимостью принесеніе цѣлыхъ поколѣній въ жертву немногимъ личностямъ, а съ другой — называемъ это жертвоприношеніе проклятіемъ и громаднымъ несчастіемъ для всего человѣчества, — это противорѣчіе только кажущееся. Оно не заключаетъ въ себѣ ничего нелогическаго, напротивъ того, оно — вѣрное отраженіе вѣчнаго контраста природы и духа, объективнаго сознанія и нравственнаго хотѣнія. Идеальное осмысливаніе выбивается наружу изъ неосмысленности унаслѣдованнаго бытія, и никогда, пока мы хотимъ оставаться нравственными существами, мы не должны отказываться отъ своего права сдѣлать нынѣшній день началомъ новой жизни какъ для отдѣльной личности, такъ и для всего человѣчества. Вникнувъ поглубже въ прошедшее, мы не преминемъ открыть извѣстную *цѣлесообразность* (курсивъ подлинника) въ этомъ страшномъ жертвоприношеніи; но это не та узко-разсчетливая, близорукая предусмотрительность человѣческаго ума, съ которой мы знакомы изъ ежедневнаго опыта, а колоссальный и безпощадный механизмъ природы, который, творя и вновь уничтожая, медленно приближается къ своей тысячелѣтней цѣли, сопровождаемый стонами“ (стр. 44).

Къ общей философской физіономіи Ланге вовсе не идетъ обнаруживающаяся въ послѣднихъ строкахъ вѣра въ цѣлесообразность природы или исторіи, или, по крайней мѣрѣ, вѣра эта подлежитъ извѣстнымъ оговоркамъ. Но намъ теперь не до этого; мы можемъ оставить вопросъ о стихійной цѣлесообразности совсѣмъ въ сторонѣ. Хорошо Ланге или Марксу, или иному европейцу того-же склада убѣжденій говорить о безусловной необходимости „промежуточнаго момента—эпохи промышленнаго кулачнаго права“, о „роковой ошибкѣ и безполезномъ безуміи стараній поддержать въ настоящее время жалкіе остатки средневѣковыхъ формъ труда“ и, въ то-же время, о „правѣ сдѣлать нынѣшній день началомъ новой жизни“. Тотъ полный ужасовъ процессъ отлученія работника отъ условій производства, который, по Марксу, долженъ самъ собою, органически получить благодѣ-

тельный оборотъ, уже сильно подвинулся впередъ въ старыхъ промышленныхъ странахъ Европы. И Ланге, и Марксъ вѣруютъ и исповѣдуютъ, что эпоха промышленнаго кулачнаго права уже близка къ своему концу, что страданія, ею вызванныя и созданныя, почти исчерпаны, а положительная ея сторона, обобществленіе труда, достаточно созрѣла. Я не думаю, чтобы такъ было въ дѣйствительности, и говорю съ точки зрѣнія вѣрующихъ послѣдователей Маркса. Несомнѣнно, однако, что формулированный Марксомъ процессъ дѣйствительно очень подвинулся впередъ въ нѣкоторыхъ европейскихъ странахъ. Вполнѣ положиться на его стихійное теченіе и сложить руки въ безусловномъ довѣріи, конечно, нельзя, въ виду двойственнаго, противорѣчиваго характера процесса. Не говоря о томъ, что обобществленіе требуетъ практики и пробы, самъ Марксъ указываетъ на опасности, проистекающія изъ „подкапыванія подъ человѣческую расу посредствомъ чрезмѣрнаго труда, дѣленія труда, подчиненія его машинамъ, калѣченія незрѣлыхъ и женскихъ организмовъ, дурной жизни и т. п.“ Факты этого рода, въ изобиліи приводимые Марксомъ, поистинѣ ужасны. Не менѣе опредѣленно выражается и Ланге, говоря о „возможности вырожденія, подъ вліяніемъ господства капитала, промышленныхъ рабочихъ въ низшую физически и психически расу“. Поэтому, независимо отъ процесса обобществленія труда и рядомъ съ нимъ, остается еще много мѣста „мужественному противодѣйствію многочисленныхъ врачей, государственныхъ дѣятелей и друзей человѣчества всякаго званія“. Но все это только поправки и дополненія, имѣющія цѣлью смягчать терніи основного и, въ концѣ-концовъ, благодѣтельнаго историческаго процесса, большая часть котораго уже пройдена, залегла мертвымъ историческимъ пластомъ. Передъ этимъ мертвымъ пластомъ указываемое Ланге противорѣчіе объективнаго сознанія и нравственнаго хотѣнія не хватаетъ за сердце и не мѣшаетъ дѣйствовать. Но въ такомъ-ли положеніи находимся мы, русскіе? „Средневѣковыя формы труда“ находятся у насъ еще отнюдь не въ видѣ „жалкихъ остатковъ“, и стараніе поддержать ихъ есть, можетъ быть, не такая ужъ „роковая ошибка и безполезное безуміе“. Подъ средневѣковыми формами труда слѣдуетъ разумѣть не только общинное землевладѣніе, кустарную промышленность или артельную организацію. Все это несомнѣнно средневѣковыя формы, но къ нимъ должны быть причислены всѣ виды принадлежности

земли или орудій производства работнику. Съ нарушенія этой связи, съ отлученія труда отъ условій труда начался, по Марксу, новый, капиталистическій періодъ исторіи, чреватый бѣдствіями, но затѣмъ самъ себя отрицающій въ пользу высшаго порядка. Такъ какъ мы находимся еще въ самомъ началѣ этого противорѣчиваго процесса, то мы должны сознательно продѣлать то, что въ Европѣ произошло стихійно. Поэтому положеніе русскаго ученика Маркса представляется мнѣ крайне труднымъ и двусмысленнымъ. Идеалъ его есть коллективная организація принадлежности рабочему земли и орудій производства и, въ то-же время, онъ долженъ привѣтствовать разлученіе труда и собственности, обезземеленіе крестьянъ, нарожденіе пролетаріата и вообще распаденіе связи между работникомъ и условіями производства, потому что все это—отдѣльные акты необходимаго и хотя болѣзненнаго, но, въ концѣ-концовъ, благодѣтельнаго процесса.

Возраженія Маркса, изложенныя имъ въ вышеупомянутомъ „письмѣ“, состоятъ въ слѣдующемъ: онъ, Марксъ, не выдаетъ свою формулу капиталистическаго процесса за „passe par tout историко-философской теоріи“; онъ утверждаетъ только, что, разъ вступивши на этотъ путь, всякая страна, въ томъ числѣ и Россія, должна будетъ подвергнуться формулированнымъ имъ законамъ экономическаго развитія; что, затѣмъ, дѣло въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣляется особенностями историческихъ условій, и онъ вовсе не считаетъ для Россіи обязательнымъ вступать на капиталистическій путь; даже обезземеленіе народа, составляющее необходимое условіе капиталистическаго процесса, не непремѣнно, однако, ведетъ къ нему и можетъ, въ зависимости отъ исторической обстановки, завершаться и какъ-нибудь иначе.

„Письмо Карла Маркса“ было опубликовано только въ 1888 г., и я не знаю, какъ отнесся-бы къ содержащимся въ немъ объясненіямъ покойный Зиберъ. Но тогда, въ 1878 г., онъ твердо стоялъ на общеобязательности формулированнаго Марксомъ процесса. Въ качествѣ неофита гегельянства, онъ былъ безпощаденъ, и исторія пшеничнаго зерна, отрицающаго себя въ стеблѣ, чтобы вновь отринуть это отрицаніе въ колосѣ, была для него прообразомъ русской, какъ и всякой другой исторіи. Добрый человѣкъ, навѣрное, никому въ жизни не сдѣлавшій зла сознательно, онъ не смущался, однако, тѣмъ множествомъ скорбей и страданій,

которыми сопровождается вторая ступень гегэлевской тріады,— они неизбѣжны и сторицею окупятся на зарѣ новой жизни. „Пока мужикъ не выварится въ фабричномъ котлѣ, ничего у насъ путнаго не будетъ“,—говорилъ Зиберъ.

Отстаивая этотъ тезисъ, онъ употреблялъ всевозможные аргументы, но при малѣйшей опасности укрывался подъ сѣнь непреложнаго и непререкаемаго трехчленнаго діалектическаго развитія. Такъ, напримѣръ, опасности физическаго и духовнаго вырожденія, которая и по Марксу грозитъ европейскому пролетарію, Зиберъ противопоставлялъ ничуть не меньшую опасность такого-же вырожденія нашего мужика-собственника при наличныхъ условіяхъ. А когда я возражалъ, что отъ дождя въ воду нѣтъ резона бросаться, онъ говорилъ: все равно, другого пути нѣтъ. Бесѣдуя съ нимъ, я не разъ вспоминалъ Бѣлинскаго въ періодъ его увлеченія „дѣйствительностью“ по Гегелю. Зиберъ былъ, насколько я его могъ узнать, человѣкъ спокойный и бурнопламенность Бѣлинскаго ему была вовсе не свойственна, но оба они были—не скажу придавлены, а ослѣплены красивою симметріей метафизическаго построенія. Бѣлинскій, какъ извѣстно, кончилъ бурнымъ возстаніемъ, характерно выразившимся въ одномъ изъ писемъ къ Боткину: „Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ (Гегель),—кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если-бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ-бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи“...

Въ статьѣ „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ не только выражались сомнѣнія относительно приложимости формулы Маркса къ нашимъ русскимъ дѣламъ. Статья, какъ и заглавіе ея показываетъ, была посвящена защитѣ Маркса отъ необыкновенно странныхъ нападокъ г. Жуковскаго; а затѣмъ въ практическомъ смыслѣ положеніе вещей въ Европѣ, превосходно изображенное Марксомъ, указывалось, какъ урокъ и предостереженіе намъ. Въ своемъ отвѣтѣ Марксъ писалъ, между прочимъ: „Если Россія стремится стать націей капиталистическою по образцу западноевропейскихъ націй, — а въ теченіе послѣднихъ лѣтъ она надѣлала себѣ въ этомъ смыслѣ много вреда, — она не достигнетъ

этого, не преобразовавъ предварительно доброй доли своихъ крестьянъ и пролетаріевъ; а послѣ этого, приведенная разъ на лоно капиталистическаго строя, она попадетъ подъ власть неумолимыхъ законовъ, какъ и всякая другая не посвященная (profane) нація". Послѣднія два слова сами по себѣ не совсѣмъ понятны. Дѣло въ томъ, что я употребилъ въ одномъ мѣстѣ выраженіе „святая Русь", и Марксъ, со свойственною ему язвительностью, подчеркнулъ это противоположеніемъ „profane". Но слова „святая Русь" я употребилъ просто какъ ходячее выраженіе, отнюдь не думая о дѣйствительной какой-нибудь нашей національной святости, безусловно гарантирующей насъ отъ грѣховъ и болѣзней другихъ націй, націй „профановъ". Напротивъ, порядокъ, такъ блистательно изслѣдованный Марксомъ, представлялся и представляется мнѣ картиною и нашего возможнаго будущаго при извѣстныхъ условіяхъ. Это было выражено мною еще въ 1872 году, тотчасъ послѣ выхода русскаго перевода перваго тома „Капитала" въ замѣткѣ, озаглавленной „По поводу русскаго изданія книги Маркса".

Замѣтка эта была напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ" безъ подписи. Когда послѣ смерти Елисеева въ кружкѣ его друзей и близкихъ знакомыхъ припоминали его анонимныя статьи, нѣкто приписалъ ему и эту замѣтку. Ошибка эта доставила мнѣ большое удовольствіе, и не вслѣдствіе только моего глубокаго уваженія къ покойному публицисту,—ошибка напомнила мнѣ то единство взглядовъ, которое господствовало въ „Отечественныхъ Запискахъ" и не разъ приводило къ подобнымъ ошибкамъ. Разумѣю, конечно, ядро журнала, вокругъ котораго располагались сотрудники, болѣе или менѣе близкіе, болѣе или менѣе далекіе. Есть общія, вѣковѣчныя темы, равно эксплоатируемыя всѣми журналами. Такова, напримѣръ, любовь, издревле поставляющая матеріалъ для значительнѣйшей части поэзіи. Безъ романовъ, повѣстей, стиховъ, посвященныхъ этому мотиву въ разныхъ комбинаціяхъ, не обходится ни одинъ журналъ. Въ большинствѣ случаевъ, эти произведенія довольно безразличны для физіономіи журнала, если только мотивъ любви не осложненъ въ нихъ какими-нибудь иными, болѣе острыми обстоятельствами. Въ такомъ же примѣрно положеніи находятся, далѣе, вопросы чистой науки, мало затрогивающіе больныя мѣста житейской дѣйствительности. Само собою разумѣется, что если журналъ желаетъ быть просто

сборникомъ общезанимательныхъ статей, то онъ и къ этимъ больнымъ мѣстамъ можетъ относиться болѣе или менѣе безразлично, допуская въ этомъ отношеніи всякія pro и contra. Но я думаю, что даже въ такомъ изданіи должна съ теченіемъ времени выработаться опредѣленная струна, вибрирующая особенно ярко и сильно и придающая ему опредѣленный характеръ. „Отечественныя Записки“ находились въ этомъ отношеніи въ особенно благопріятныхъ условіяхъ, уже просто потому, что были основаны (я говорю, конечно, о Некрасовскихъ „Отечественныхъ Запискахъ“) старыми, закаленными журналистами съ только что разбитаго корабля „Современника“. Имъ не трудно было сразу взять и выдержать вполнѣ опредѣленный тонъ, допускающій, конечно, извѣстныя отклоненія въ ту или другую сторону, — безъ этого нельзя,—но въ довольно тѣсныхъ границахъ. Нельзя даже сказать, чтобы они получали свою физіономію по наслѣдству. Я бы ничего не имѣлъ противъ слова „эпигоны“, но Некрасовъ, Салтыковъ, Елисеевъ фактически не были эпигонами. Къ нимъ примкнули новыя, болѣе молодыя силы, но именно только примкнули для дальнѣйшей разработки принциповъ, уже поставленныхъ и заявленныхъ въ шестидесятыхъ годахъ. Если, поэтому, я вспоминаю статью „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ и болѣе раннюю замѣтку „По поводу русскаго изданія книги Маркса“, то уже никакъ не для утвержденія своего пріоритета. Не удивительно, что эта замѣтка приписывалась Елисееву, такъ какъ изложенная въ ней мысль, совершенно независимо отъ Маркса, развивалась имъ въ разныхъ статьяхъ, и не случайно, а составляла руководящую нить всей его дѣятельности. И не одного его, хотя для него она особенно характерна, вслѣдствіе того, что онъ въ своихъ писаніяхъ почти не отходилъ отъ судебъ русскаго мужика. Въ связи съ гегельянствомъ любопытно отмѣтить статью „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія“, авторъ которой еще въ 1858 году отрицательно относился къ обязательности для насъ среднихъ логическихъ (по Гегелю) моментовъ историческаго развитія. Но гегельянская тріада была тутъ, собственно говоря, сбоку припека, а генеалогію занимающаго насъ строя мысли можно прослѣдить и еще дальше.

Если-бы отъ меня потребовали точнаго и яснаго опредѣленія этого строя мысли, я началъ-бы „отъ противнаго“, а именно съ

тѣхъ словъ, которыми характеризуетъ г. Сементковскій преданія шестидесятыхъ годовъ: „не любятъ заниматься изученіемъ Россіи, ея прошлымъ, нуждами и чаяніями громаднаго большинства населенія. Что въ ней хорошаго? Развѣ только идеи такъ называемыхъ передовыхъ людей. То-ли дѣло Западъ, это обѣтованная ихъ земля!“ Приписавъ Лапландіи фауну и флору Сахары или, наоборотъ, усвоивъ Квазимодо фигуру Аполлона Бельведерскаго или наоборотъ, поздравивъ вдову, только что похоронившую мужа, со вступленіемъ въ законный бракъ, или утѣшая новобрачныхъ тѣмъ, что они со святыми упокоятся,—продѣлавъ все это, г. Сементковскій обнаружилъ-бы не меньше такта, ума и знанія, чѣмъ въ настоящемъ случаѣ.

Литература шестидесятыхъ годовъ, то-есть собственно та часть литературы, которой обыкновенно усвоивается это названіе, безъ сомнѣнія, многое чтила на Западѣ. Но въ сплошномъ преклоненіи передъ Западомъ она столь-же мало повинна, какъ и въ противоположной крайности національнаго самообожанія. Обѣ эти точки зрѣнія уже отжили свое время къ шестидесятымъ годамъ, жизнь разбила кумиры западническіе и кумиры славянофильскіе, и позднѣйшія усилія возстановить тѣ или другіе имѣютъ характеръ развѣ абстрактныхъ литературныхъ упражненій безъ всякаго жизненнаго значенія. Западъ—„обѣтованная земля“! Да, конечно-же, во многихъ отношеніяхъ обѣтованная для всякаго здравомыслящаго человѣка и даже для г. Сементковскаго. Разногласіе возможно только относительно отдѣльныхъ элементовъ этой сверкающей пестроты, но эти отдѣльные элементы и на самомъ Западѣ ведутъ между собой непримиримую борьбу. Западъ въ цѣломъ, то-есть если не вдаваться въ анализъ его внутреннихъ противорѣчій, всегда окажется „страной святыхъ чудесъ“, какъ выразился о немъ даровитѣйшій изъ славянофиловъ—Хомяковъ, и самъ г. Страховъ въ своей „Борьбѣ съ Западомъ“ говоритъ: „Мы должны уважать Западъ, даже благоговѣть передъ величіемъ его духовныхъ подвиговъ“. Вѣдь и мы, если хотите, эпигоны цивилизаціи, пользуемся результатами этой пестрой — то блестящей, то мученической исторіи, и для насъ (и часто *сознательно* для человѣчества, слѣдовательно, и для насъ) лилась тамъ благороднѣйшая кровь, дерзали благороднѣйшія сердца и возвышенные умы. Ея герои, геніи и мученики, какъ и ея злодѣи, ея успѣхи на всѣхъ поприщахъ человѣческой дѣя-

тельности, какъ и ея несчастія и пятнающія ея ошибки и преступленія, освѣщаютъ и нашъ историческій путь. Но высокій интересъ, представляемый европейскою исторіей, и глубочайшая благодарность, которою мы обязаны Европѣ, вовсе не обязываютъ насъ къ рабскому отношенію. Благодарность не исключаетъ ни свободы сужденія, ни свободы выбора примѣровъ, указаній, поученій. Задача наша не въ томъ, чтобы выростить непремѣнно „самобытную“ цивилизацію изъ собственныхъ національныхъ нѣдръ, но и не въ томъ, чтобы перенести на себя западную цивилизацію цѣликомъ со всѣми раздирающими ее противорѣчіями: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будетъ или чужое, это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства. Повидимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чемъ. Но очень часто бываетъ, что простыя и понятныя вещи съ большимъ трудомъ завоевываютъ себѣ мѣсто въ природѣ и въ умахъ человѣческихъ. Уже мѣра практическаго удобства можетъ окраситься на иной взглядъ характеромъ принципа; чужое, какъ чужое, независимо отъ его достоинствъ и недостатковъ, неудобно. А къ этому легко присоединяется національное самообольщеніе, подсказавшее, напримѣръ, Данилевскому („Россія и Европа“) дикую мысль, будто преобладающая черта исторіи всѣхъ романо-германскихъ народовъ есть „насильственность“, а въ нашей, дескать, исторіи ея совсѣмъ нѣтъ: мы сами вольно жили и жить другимъ давали. Данилевскій былъ умный и разносторонне образованный человѣкъ, и если такой человѣкъ рѣшился высказать столь очевидную, хотя и лестную для гордыни нашего національнаго смиренія и кротости неправду, то ясно, что даже самые элементарные трюизмы не всегда легко пробиваютъ себѣ дорогу во всеобщее сознаніе. Книга Данилевскаго, какъ уже было замѣчено выше, явилась слишкомъ поздно, чтобы очень оживить „ужъ взвѣшенный судьбою“ споръ славянофиловъ и западниковъ и раздѣлить всю литературу, какъ бывало встарину, на два лагеря. Но спорадически или какъ своего рода „переживаніе“ можно иногда встрѣтить и противоположную крайность; дескать, что можетъ выйти путнаго изъ Виѳлеема? что въ этой сѣрой, тусклой исторіи и жизни можно найти достойнаго вниманія, ухода, любви, вѣры, надежды? Эту-то точку зрѣнія и усвоилъ г. Сементковскій литературѣ шестидесятыхъ годовъ и поистинѣ пальцемъ въ

небо попалъ, и даже двумя пальцами, если принять во вниманіе, что онъ прибавляетъ еще презрѣніе къ „нуждамъ и чаяніямъ громаднаго большинства населенія“. Презрѣніе или недовѣріе ко всему родному только потому, что оно свое, родное, проистекаетъ иногда изъ такихъ глубинъ пошлости, что о немъ и говорить не стоитъ. Но стыдно сказать, а грѣхъ утаить, что въ русской исторіи бывали моменты непроглядnаго мрака, оправдывавшіе отчаяніе и пессимизмъ: никто не назоветъ пошлякомъ Чаадаева. Литература же шестидесятыхъ годовъ народилась при условіяхъ, совершенно исключавшихъ пессимизмъ. Это былъ праздникамъ праздникъ и торжество изъ торжествъ, уже заранѣе, только при приближеніи своемъ наполнявшее сердца гордою радостью. Тридцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, успѣла остыть радость, посрамиться гордость, успѣли объявиться люди, повидимому, искренно вѣрующіе въ возможность новаго водворенія крѣпостного права, а мы все-таки еще не достаточно вдумываемся въ великое значеніе освобожденія не только для нашей политической жизни, но и для нашего умственнаго обихода. Между прочимъ, именно оно, опредѣливъ собою характеръ литературы шестидесятыхъ годовъ, дало ей возможность покончить съ славянофильствомъ и западничествомъ, смотрѣть на себя безъ похвальбы и отчаянія, на Европу безъ униженія и гордости. Оно снабдило ее и принципомъ, достаточно широкимъ и свѣтлымъ, чтобы при его помощи дать опредѣленный смыслъ трюизму: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно. Принципъ этотъ — интересы освобожденнаго народа, иначе говоря, „нужды и чаянія громаднаго большинства населенія“.

Чѣмъ больше думаю я о клеветѣ г. Сементковскаго, тѣмъ въ большее изумленіе она меня повергаетъ. Чего-же, наконецъ, послѣ этого бумага не вытерпитъ?! Въ исторіи какой-бы то ни было литературы трудно найти моментъ, когда „нужды и чаянія громаднаго большинства населенія“ играли-бы такую роль, какъ въ „преданіяхъ шестидесятыхъ годовъ“, и не иносказательно какъ-нибудь, не стороной, обинякомъ или случайно, а открыто, у всѣхъ на глазахъ, постоянно и въ самыхъ разнообразныхъ формахъ.

Обращаюсь къ своимъ воспоминаніямъ семидесятыхъ годовъ, къ „Отечественнымъ Записками“.

Я уже вспоминалъ какъ-то, по поводу „Исторіи новѣйшей

русской литературы“ г. Скабичевскаго, „о кающихся дворянахъ“, фигурирующихъ въ моихъ очеркахъ „Въ перемежку“. Я не выдумалъ этихъ кающихся дворянъ, я зналъ ихъ, видѣлъ, чувствовалъ присутствіе этого элемента въ самомъ себѣ и въ окружающихъ. Я только по обстоятельствамъ не довелъ ихъ исторіи до конца. Покаяніе въ историческомъ грѣхѣ передъ народомъ, идея долга народу отражалась и въ литературѣ, всего ярче въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Кромѣ открытаго заявленія этой идеи, какъ руководящаго принципа, она составляла тотъ общій фонъ, на которомъ рисовались узоры лирики, беллетристики, критики, философіи, исторіи, экономики и политики. Прежде всего, предстояло, конечно, изученіе народа въ его нуждахъ и чаяніяхъ. Это и дѣлалось во множествѣ статей описательнаго, публицистическаго и беллетристическаго характера. Добросовѣстность изученія и участливое отношеніе къ народу составляли необходимыя условія этихъ статей, а затѣмъ онѣ могли во многомъ расходиться между собой. Такъ, наприм., хотя противоположность между гг. Успенскимъ и Златовратскимъ далеко не столь значительна, какъ часто писалось, но ихъ деревенскія наблюденія и показанія все-таки не совпадали. Любопытна, однако, одна общая имъ обоимъ черта, нѣкоторый страхъ передъ европейскою цивилизаціей, имѣющей разрушить устои народной жизни, страхъ или недовѣріе, вообще опасливое, скептическое отношеніе. Разумѣется, у каждаго изъ нихъ оно осложнялось своими индивидуальными особенностями, за которыя журналъ не можетъ взять на себя отвѣтственности. Но характерное для журнала общее въ этомъ скептицизмѣ совпадаетъ съ вышеизложенными соображеніями статей о Марксѣ, многихъ статей Елисеева и другихъ, близкихъ и не столь близкихъ къ журналу лицъ, какъ, наприм., статей г. В. В., изданныхъ имъ потомъ подъ общимъ заглавіемъ „Судьбы капитализма въ Россіи“, или гр. Л. Н. Толстого „О народномъ образованіи“. Само собою разумѣется, что и здѣсь редакція не брала на себя отвѣтственности за всю совокупность мнѣній сторонникъ сотрудниковъ, что̀ мнѣ и пришлось заявить печатно по поводу изданія „Судебъ капитализма“ отдѣльною книгой. Цѣнною представлялась общая мысль, состоявшая въ охраненіи и дальнѣйшемъ развитіи тѣхъ „средневѣковыхъ формъ труда, охраненіе которыхъ Ланге считаетъ „роковою ошибкой и безполезнымъ безуміемъ“. Пусть это и въ самомъ дѣлѣ роко-

вая ошибка и безполезное безумiе, напрасныя усилiя остановить непререкаемый ходъ исторiи, который все равно возьметъ свое и безжалостно измолотитъ все, ему противящееся. Но согласитесь, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ, что здѣсь не было ни преувеличеннаго преклоненiя передъ Западомъ, ни пренебреженiя къ нуждамъ и чаяniямъ громаднаго большинства населенiя. На этомъ пунктѣ Западъ ужъ, конечно, не былъ нашею обѣтованною землей. Что-же касается роковыхъ ошибокъ и безполезныхъ безумiй, то я думаю, что въ исторiи вовсе не рѣдки случаи, когда люди бываютъ, дѣйствительно, роковымъ образомъ осуждены на безполезное противодѣйствiе ясно обозначившемуся и далеко подвинувшемуся историческому процессу. И это не изъ упрямства, а по тому-же убѣжденiю, по которому человѣкъ иногда бросается въ воду спасать завѣдомо не подлежащаго спасенiю утопающаго, съ рискомъ самому утонуть. Я не утверждаю, конечно, что наше положенiе было именно таково. Въ воду бросаться намъ нечего было и вообще предстояло, по условiямъ русской печати, не активную какую-нибудь роль играть, а лишь разъяснять факты и понятiя. Я говорю только, что если-бы даже было доказано, что средневѣковыя формы труда подлежатъ не подъему на высшую ступень развитiя, а конечному истребленiю въ силу исторической необходимости, такъ и то мы не могли-бы съ легкимъ сердцемъ отмѣчать соотвѣтственные факты и быть аплодирующими или даже только спокойными зрителями отлученiя работника отъ земли и условiй производства. Это не значитъ, чтобы мы не цѣнили нравственно-политическихъ идеаловъ, выработанныхъ Европою. Это значитъ только, что въ составъ этихъ идеаловъ мы вводили (какъ вводятъ и многiе европейскiе писатели) принадлежность земли земледѣльцу и вообще средствъ и орудiй производства производителю. Существующiя еще у насъ средневѣковыя формы труда сильно расшатаны, но мы не видѣли резона совсѣмъ кончать съ ними, въ угоду какихъ-бы то ни было доктринъ, либеральныхъ или не либеральныхъ. Я не могу теперь входить въ подробности и скажу лишь слѣдующее: въ своемъ этюдѣ „Le culte du peuple dans la litterature russe contemporaine“, о которомъ я говорилъ ровно годъ тому назадъ, г. Боборыкинъ обнаружилъ удивительную легкость мысли, приписавъ „Отечественнымъ Записками“ „претенціозный мистицизмъ“, шовинистскую самонадѣянность“, „враждебность къ общечеловѣческой наукѣ“,

и все это во имя „культа народа“. Г. Сементковскій объясняетъ теперь, что мы, напротивъ, только „прекраснодушничали“ и „идеями такъ называемыхъ передовыхъ людей“ любовались, а народомъ вполнѣ пренебрегали. Признаюсь, инкриминація г. Боборыкина меня не особенно трогаетъ и вызываетъ даже почти добродушную улыбку; можетъ быть, потому, что г. Боборыкинъ писалъ для иностранцевъ, которые все равно имѣютъ довольно извращенное понятіе о Россіи: если тамъ думаютъ, что наша гастрономія исчерпывается двумя супами—schi и raskolnik, а наши деревенскія дѣвушки сидятъ à l'ombre d'un immense klukwa, такъ пусть ужъ и Annales patriotiques фигурируютъ въ качествѣ органа мистической вражды къ наукѣ и шовинизма. При томъ-же, если г. Боборыкинъ и уличаетъ насъ въ неуваженіи къ наукѣ, то, по крайней мѣрѣ, и самъ никакихъ научныхъ открытій не предъявляетъ. Другое дѣло г. Сементковскій. Онъ открылъ въ деревнѣ „немолчный припѣвъ“: „кулакъ—кабакъ, кабакъ—кулакъ“. И открылъ онъ его какъ-то въ пику преданіямъ шестидесятыхъ годовъ. О, г. Сементковскій! Какъ-нибудь на досугѣ, отдыхая отъ упражненій своего бойкаго пера, загляните хоть мимоходомъ въ то, о чемъ вы пишете. Вы увидите, что обвиняемая вами литература зорко слѣдила за всѣмъ, что дѣлается въ деревнѣ, что предполагается съ ней дѣлать, что ждетъ ее въ будущемъ; вы убѣдитесь, что „безполезный“ Щедринъ былъ занятъ „проблемою о мужикѣ“ и „мучительно-загадочнымъ сопоставленіемъ мякиннаго хлѣба и вѣчной страды“; что высоко-талантливый Глѣбъ Успенскій, о которомъ, между прочимъ, вы мимоходомъ бросаете нѣсколько презрительныхъ словъ, весь ушелъ на трепетныя наблюденія въ деревнѣ и неустанную думу о ней; что цѣлый рядъ другихъ работниковъ—худо-ли, хорошо-ли—напрягалъ свою мысль въ направленіи „нуждъ и чаяній огромнаго большинства населенія“. И когда вы все это увидите, вамъ станетъ стыдно... Впрочемъ, не увѣренъ въ этомъ,—можетъ быть, и не станетъ. Мнѣ извѣстны многіе примѣры неустыдимости...

„Отечественныя Записки“ имѣли большой успѣхъ. Не смотря на всѣ вопли литературныхъ гурмановъ о чрезмѣрномъ изобиліи мужика, журналу какъ-то удалось пріучить къ нему публику. Явились даже термины „народники“, „народничество“,—термины сами по себѣ недурные, но, къ сожалѣнію, во-первыхъ, очень неопредѣленные, а во-вторыхъ, захватанные руками эпигоновъ,

не желающихъ быть эпигонами, а желающихъ во что-бы то ни стало „новыя слова“ говорить. Но Богъ съ ними съ терминами,— имя вещи не мѣняетъ. Я уже говорилъ о тѣхъ эпигонахъ, которые не только не чувствуютъ благодарности за полученное ими духовное наслѣдство, но даже мстятъ своимъ предшественникамъ за то, что они лишали ихъ лавровъ новаторства. Объявились такіе люди и въ семидесятыхъ годахъ во вопросу о судьбахъ русскаго народа. Объявились они въ „Недѣлѣ“. Эта почтенная газета очень хороша, пока обсуждаетъ событія дня съ установившихся точекъ зрѣнія. Но время отъ времени она оскорбляется положеніемъ эпигона и новое слово возвѣщаетъ и какъ-то при этомъ всегда въ лужу сядетъ, но потомъ ничего—встряхнется, забросить свое новое слово, какъ будто его и не было, и такъ опять до новой лужи. Болѣзнь, что-ли, это какая особенная или что другое,—право, ужъ не знаю. И страннѣе всего то, что свои новыя слова газета обыкновенно въ пику шестидесятымъ годамъ провозглашаетъ, хотя ея редакторъ, г. Гайдебуровъ, есть самъ человѣкъ шестидесятыхъ годовъ. Такъ было въ полемикѣ „Недѣли“ съ покойнымъ Шелгуновымъ. Такъ-же было и въ семидесятыхъ годахъ въ полемикѣ съ „Отечественными Записками“. Изъ этой повторности возстаній противъ преданій шестидесятыхъ годовъ отнюдь, однако, не слѣдуетъ, чтобы „Недѣля“ была въ обоихъ случаяхъ вѣрна себѣ. Нѣтъ, ея возстаніе восьмидесятыхъ годовъ руководилось принципами, совершенно отличными отъ тѣхъ, которые она провозглашала въ семидесятыхъ годахъ. Тогда новое слово „Недѣли“ было „народъ“. Но бѣда въ томъ, что новое слово было уже давно сказано и утвердилось въ преданіи. И вотъ произошла обыкновенная исторія эпигоновъ, не желающихъ быть эпигонами: частью безсознательно, частью злонамѣренно заслуги предшественниковъ умалялись или замалчивались, ихъ мысли извращались, а для показанія самостоятельности „народный“ принципъ подмѣнивался „національнымъ“. Но и это не создавало новаго слова, потому что возвращало насъ къ давно пройденной ступени славянофильства, безъ его цѣльности и послѣдовательности. Вообще „новое слово“ не вытанцовывалось, и если кое-кто изъ молодыхъ сотрудниковъ „Недѣли“ искренно думалъ, что онъ дѣйствительно новые горизонты раскрываетъ, то это было лишь дѣломъ несознаннаго преданія. Интересующихся возникшею отсюда полемикой я отсылаю къ собранію моихъ со-

чиненій, а здѣсь приведу не вошедшій туда позднѣйшій эпизодъ.

Въ 1883 году во многихъ мѣстахъ произошли еврейскіе погромы со всѣми свойственными этому явленію варварствами и безобразіями. Внутренній обозрѣватель „Отечественныхъ Записокъ“ выразилъ по этому поводу нѣсколько мыслей, которыя вызвали слѣдующую отповѣдь „Недѣли“: „Отечественныя Записки“ очень старательно изучаютъ мужика; но онѣ пытаются ставить всѣ общественные вопросы съ точки зрѣнія собственныхъ „научныхъ“ взглядовъ на нужды мужика. При этомъ онѣ совершенно забываютъ, что у мужика есть свой умъ и свое сердце, и что ему, быть можетъ, захочется жить не такъ, какъ велитъ наука „Отечественныхъ Записокъ“. Не то, чтобы онѣ оспаривали право мужика жить по своей волѣ и по своему разуму,— нѣтъ, онѣ просто игнорируютъ существованіе мужицкой мысли и воли, какъ-бы ясно онѣ ни высказывались. Такъ-же поступаютъ онѣ и съ еврейскимъ вопросомъ“.

Вотъ свидѣтельство современника, при томъ, неблагосклоннаго, которое я, кажется, смѣло и даже съ гордостью могу противопоставить ретроспективнымъ обвиненіямъ какъ г. Боборыкина, такъ г. Сементковскаго. Первому я могу сказать: вы видите, что мы до такой степени уважали „науку“ и были чужды „культу народа“, что, по свидѣтельству „Недѣли“, игнорировали волю и мысль мужика *даже* въ томъ случаѣ, когда онъ прямо билъ жидовъ! А г. Сементковскій пусть замѣтитъ, что мы „очень старательно изучали мужика“.

На этомъ можно-бы пока и кончить. Но мнѣ хочется отмѣтить еще одинъ эпизодъ, имѣющій нѣкоторое отношеніе къ предыдущему. Есть книжка г. Юзова „Основы народничества“. Это просто безпорядочный складъ разнаго quasi-философскаго вздора, но съ огромными претензіями, какъ видно уже изъ необыкновенной пышности заглавія. Часть этого вздора печаталась въ той же „Недѣлѣ“. Г. Юзовъ тоже одинъ изъ эпигоновъ, не желающихъ быть эпигонами. И вотъ вамъ образчикъ того, до чего можетъ доводить людей это неестественное положеніе, обязывающее извращать мысли предшественниковъ и злобствовать на нихъ. Вы видѣли, что статья „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“, выражая мысль о необязательности для Россіи капиталистическаго момента, побудила самого Маркса признать эту не-

обязательность. Между тѣмъ, г. Юзовъ изъ той-же статьи вывелъ заключеніе, что я „одинъ изъ многочисленныхъ акушеровъ капитализма“, что я „пытался убѣдить русскую интеллигенцію въ исторической необходимости капитализма въ Россіи“, что „однимъ изъ вреднѣйшихъ марксистовъ является г. Михайловскій“.

Ту самую операцію выворачиванія на изнанку, которую г. Юзовъ производитъ со мной лично, г. Сементковскій совершаетъ надъ цѣлымъ литературнымъ направленіемъ. Я думаю, что это стыдно...

X *).

Идеалы и идолы.—Ошибки исторической перспективы.—„Черезъ сто лѣтъ“ Беллами и „Крушеніе цивилизаціи“ Буажильбера.

Судя по получаемымъ мною письмамъ, я кое-кого изъ читателей огорчилъ своими статьями о гр. Л. Н. Толстомъ, но кое-кого и порадовалъ. Это очень естественно, какъ естественно и то, что я огорченъ огорченіемъ и обрадованъ радостью. Не думаю, однако, чтобы я долженъ былъ по поводу этихъ писемъ возвращаться къ пройденному. Исключеніе составляетъ лишь одно письмо, въ которомъ нѣтъ ни огорченія, ни радости, а холодно и спокойно выражается нѣкоторое недоумѣніе. Корреспондентъ желаетъ знать, какъ я объясню такія-то страницы статьи Г. И. Успенскаго „Трудами рукъ своихъ“, напечатанной нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ „Русской Мысли“ и перепечатанной во второмъ томѣ сочиненій Успенскаго. На указанныхъ страницахъ сопоставляются моя формула прогресса и нѣкоторыя мысли гр. Толстого, при чемъ оказывается, что сопоставляемыя идеи въ извѣстномъ смыслѣ совпадаютъ. Повидимому, это-то совпаденіе и составляетъ предметъ недоумѣнія корреспондента. Я могъ-бы уклониться отъ всякаго объясненія, такъ какъ, при всемъ моемъ искреннемъ и глубокомъ уваженіи къ Г. И. Успенскому, не считаю себя отвѣтственнымъ за употребленіе, которое онъ дѣлаетъ изъ моихъ словъ, какъ и онъ, въ свою очередь, не отвѣтственъ, напримѣръ, за мое предисловіе къ его сочиненіямъ. Я могъ-бы уклониться еще и потому, что не разъ съ глубочайшимъ почтеніемъ отмѣчалъ нѣкоторыя изъ идей гр. Толстого, горячо защищалъ ихъ и, слѣдо-

*) 1892, іюль.

вательно, признавалъ свою съ нимъ солидарность. Но я не уклонюсь. Мало того, я постараюсь поставить неопредѣленно выраженное или даже совсѣмъ не выраженное недоумѣніе моего корреспондента (онъ только спрашиваетъ, какъ я объясню) въ наиболѣе, мнѣ кажется, рѣзкой формѣ.

По предложенной мною формулѣ, которую и Г. И. въ упомянутой статьѣ сочувственно цитируетъ, „прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, неразумно, вредно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ“. Обосновывая эту формулу въ статьѣ „Что такое прогрессъ“, равно какъ и въ другихъ статьяхъ, я не разъ употреблялъ выраженіе „гармоническое развитіе“, и тѣмъ-же именемъ называетъ свои desiderata и гр. Толстой. Это-бы еще не много значило, потому что „гармоническое развитіе“ входитъ въ составъ ученія весьма многихъ старыхъ и новыхъ писателей по соціологіи, этикѣ, педагогикѣ. Но въ данномъ случаѣ совпаденіе идетъ гораздо дальше. Повидимому, та сторона практической дѣятельности гр. Толстого, которая соотвѣтствуетъ девизу „гармоническаго развитія“, представляетъ собою превосходную иллюстрацію къ приведенной формулѣ прогресса, облекая ее, такъ сказать, въ плоть и кровь. Если человѣкъ землю пашетъ, печи складываетъ, сапоги шьетъ, вообще занимается разнообразнымъ физическимъ трудомъ, не покидая, въ то же время, умственной дѣятельности (хотя, можетъ быть, въ теоріи, на словахъ принижая ея значеніе), то онъ приближается къ желательной цѣлостности недѣлимаго или даже вполнѣ осуществляетъ ее. Соединяя въ своемъ лицѣ разнородныя профессіи, онъ уменьшаетъ разнородность общества и, въ то же самое время, усиливаетъ свою личную разнородность. Итакъ, съ моей именно точки зрѣнія, гр. Толстой стоитъ на пути прогресса и дѣлаетъ нравственное, справедливое, разумное и полезное дѣло; я же, осуждая дѣятельность графа и въ мѣру моихъ силъ ей противодѣйствуя, поступаю, напротивъ, опять-таки съ моей собственной точки зрѣнія, безнравственно, несправедливо, неразумно.

Вотъ, мнѣ кажется, въ чемъ состоитъ недоумѣніе моего корреспондента, если его вскрыть, развернуть изъ вопроса: какъ я объясню отмѣченное Г. И. Успенскимъ совпаденіе? Если я и ошибаюсь, если корреспондентъ хотѣлъ сказать что-нибудь другое, то указанное противорѣчіе составляетъ, во всякомъ случаѣ, не безынтересную тему.

Въ послѣсловіи къ „Крейцеровой сонатѣ“ гр. Толстой установляетъ чрезвычайно важное различіе между двумя способами нравственнаго руководства: правиломъ или предписаніемъ, съ одной стороны, и идеаломъ—съ другой. Въ первомъ случаѣ, говоритъ онъ, „человѣку даются опредѣленные признаки поступковъ, которые онъ долженъ или не долженъ дѣлать“; во второмъ случаѣ „человѣку указывается никогда не достижимое имъ совершенство, стремленіе къ которому человѣкъ сознаетъ въ себѣ“. Мнѣ нечего дѣлать съ дальнѣйшимъ развитіемъ этой мысли въ „послѣсловіи“, но самая мысль поможетъ намъ разъяснить вышеприведенное кажущееся противорѣчіе. Надо только внести въ нее одну существенную поправку.

Я не думаю, чтобы идеаломъ слѣдовало называть *недостижимое* совершенство; не думаю также, чтобы человѣкъ могъ сознавать въ себѣ стремленіе къ такому недостижимому совершенству. Идеалъ опредѣляется, обыкновенно, какъ полное совпаденіе идеи съ формой, полное воплощеніе, осуществленіе извѣстной идеи. Этимъ еще не предрѣшается вопросъ о его достижимости или недостижимости, а, между тѣмъ, понятно важное значеніе этого послѣдняго обстоятельства. Я говорю о достижимости или недостижимости съ субъективной точки зрѣнія самого носителя, создателя или поклонника идеала. Человѣкъ можетъ ошибаться или не ошибаться въ этомъ отношеніи; можетъ считать недосягаемымъ идеалъ вполнѣ возможный и, наоборотъ, въ дребезги разбить свою жизнь ради совершенно фантастической мечты; работа критической мысли и житейскій опытъ могутъ повліять на него и въ ту, и въ другую сторону. Но, независимо отъ судебъ идеала въ этомъ смыслѣ, убѣжденіе въ его достижимости или недостижимости, очевидно, должно сильно вліять на его значеніе, какъ нравственно руководящаго начала,—до такой степени, что надо, можетъ быть, и по имени какъ-нибудь различать эти два ида воплощенія идеи, оставивъ названіе идеала за которымъ-нибудь однимъ изъ нихъ.

Лѣтъ двадцать тому назадъ, по поводу надѣлавшей тогда нѣкотораго шума книги Штрауса „Der alte und der neue Glaube“, я употребилъ съ цѣлью такого различенія слова „идеалы“ и „идолы“, каковыя и теперь считаю умѣстными. Пусть идеалъ будетъ совершенно достижимое (прошу помнить: субъективно достижимое), а идолъ—совершенно недостижимое. Хотя дѣло и не въ словахъ, но слова эти не произвольно выбраны, а примѣнительно къ ихъ истинному значенію и обыкновенному употребленію. Останавливаясь для примѣра на идеалѣ физической силы и припоминая образы Милона Кротонскаго и Геркулеса, мы видимъ, что первый могъ быть для древняго грека руководящимъ и въ этомъ смыслѣ настоящимъ, достижимымъ разными соотвѣтственными упражненіями идеаломъ. Возможно было мысленно даже превзойти ту степень физической силы, какою отличался Милонъ, но Геркулесъ, во всякомъ случаѣ, могъ быть только идоломъ, такъ какъ его происхожденіе отъ Зевса устраняло возможность съ нимъ сравняться или даже приблизиться къ нему, ставило его по ту сторону мыслимыхъ для человѣка возможностей. У другихъ, менѣе эстетически развитыхъ язычниковъ это наглядно выражается въ самыхъ изображеніяхъ физически великомощныхъ существъ. Эстетическій идеалъ, болѣе или менѣе умѣрявшій у грековъ остальные, снабдилъ Геркулеса лишь необыкновенною, хотя и человѣческаго типа, мускулатурой. Однако, и греки знали, напримѣръ, Бріарея, сто рукъ котораго ясно свидѣтельствовали о неподражаемости его для двурукаго человѣка. Это уже такая степень или такой характеръ силы, для изображенія котораго въ распоряженіи человѣка есть только болѣе или менѣе остроумно-фантастическіе символы. У другихъ язычниковъ такіе символы непомѣрной и неподражаемой, недостижимой физической силы, какъ многократное повтореніе рукъ или сочетаніе человѣческаго тѣла съ тѣломъ какого-нибудь могучаго животнаго,—дѣло очень обыкновенное. Язычникъ рисуетъ своихъ боговъ съ самого себя же, но въ неподражаемо-преувеличенныхъ размѣрахъ, и многорукій идолъ есть именно то, чѣмъ язычникъ, по собственному своему сознанію, ни въ какомъ случаѣ быть не можетъ. Этимъ и опредѣляется отношеніе язычника къ идолу: онъ ему поклоняется, ждетъ отъ него помощи или боится его гнѣва, вырабатываетъ сложныя системы воздѣйствія на него въ благопріятномъ для себя смыслѣ, но отнюдь не чувствуетъ ни возможности, ни

стремленія достигнуть этого многорукаго совершенства. Совершенно иначе относится человѣкъ къ идеалу. Отношеніе это какъ разъ обратное и все исчерпывается болѣе или менѣе горячимъ стремленіемъ достигнуть полнаго совпаденія извѣстной идеи съ формой, осуществить ее.

Оставимъ миѳологическія сферы и возьмемъ какой-нибудь житейскій примѣръ. Гоголевскій Анучкинъ ищетъ невѣсты, которая знала-бы „обхожденіе высшаго общества“ и въ особенности французскій языкъ. Если-бы онъ зналъ слово „идеалъ“, онъ сказалъ-бы, можетъ быть, что такая дѣвушка есть его идеалъ, и сказалъ-бы совершенно неправильно. Это, по его мнѣнію, идеалъ женщины, но, по отношенію къ нему, она—идолъ. Она была-бы его идеаломъ, если-бы онъ самъ, руководясь ея примѣромъ, старался пріобрѣсти знаніе французскаго языка. Но онъ объ этомъ не думаетъ, онъ находитъ только, что „женщина совсѣмъ другое дѣло нужно, чтобы она непремѣнно знала, а безъ того у ней и то, и это—все ужъ не то будетъ“. Анучкинъ—смѣшной человѣкъ, но весьма вѣроятно, что, найдя жену, обладающую нужнымъ ему, но для него недостижимымъ совершенствомъ, онъ будетъ относиться къ ней съ благоговѣйнымъ почтеніемъ, изъ кожи лѣзть ради ея капризовъ и приносить тяжелыя жертвы ея „обхожденію высшаго общества“. Но все это будетъ только идолопоклонствомъ. Анучкинъ—смѣшной человѣкъ. Но не смѣшной человѣкъ былъ, напримѣръ, средневѣковый рыцарь, совершавшій разные трудные подвиги въ честь своей дамы, а, между тѣмъ, и для него эта дама была совершенство—идолъ, а не совершенство—идеалъ. Онъ, закованный съ ногъ до головы въ желѣзо, драчливый, жаждущій военной славы, цѣнилъ въ дамѣ такія качества,—нѣжность, кротость, цѣломудріе,—которыхъ самъ вовсе не желалъ имѣть или считалъ ихъ для себя невозможными, даже позорными. Рыцарское „служеніе дамѣ“, частью доселѣ сохранившееся въ нашихъ отношеніяхъ къ женщинамъ, было настоящимъ идолопоклонствомъ. Дама могла предписывать рыцарю извѣстное поведеніе, и онъ могъ свято исполнять ея приказы, даже рискуя жизнью, но она не была для него тѣмъ образцомъ совершенства, который онъ хотѣлъ-бы осуществить въ своей собственной жизни. Когда мечтательная институтка говоритъ, что ея „идеалъ“—гусаръ и что она „обожаетъ“ гусаровъ, она думаетъ, что въ обоихъ этихъ предложеніяхъ выражаетъ одну и ту-же мысль. Въ дѣй-

ствительности-же гусаръ былъ-бы ея идеаломъ лишь въ томъ совершенно исключительномъ случаѣ, если-бы она готовила себя къ карьерѣ извѣстной „дѣвицы-кавалериста“ Дуровой; при обыкновенныхъ же обстоятельствахъ гусаръ для нея идолъ, нѣчто прекрасное, но вовсе не руководящее.

Возьмемъ еще примѣръ, возьмемъ отношеніе ученика къ учителю. Если ученикъ идетъ по стопамъ учителя, можно говорить объ его идеалѣ, но если онъ, благоговѣя передъ возвышенностью доктрины, либо совсѣмъ не мѣняетъ свой образъ жизни въ направленіи программы учителя, либо осуществляетъ только декоративную часть, онъ—идолопоклонникъ. Иногда это идолопоклонство принимаетъ характеръ догмата въ примѣненіи къ извѣстному лицу или общественному положенію. Таковъ догматъ папской непогрѣшимости. Ни одинъ католикъ, даже вполнѣ искренно вѣрующій въ эту непогрѣшимость, не можетъ видѣть въ ней свой идеалъ, такъ какъ это завѣдомо недостижимая высота, на которую можетъ разсчитывать только новый папа. Это нѣчто прекрасное, лучезарное, но это не путеводная звѣзда, не маякъ, указывающій направленіе, котораго слѣдуетъ держаться, чтобы избѣжать аварій въ житейскомъ морѣ. Но тотъ-же папа, независимо отъ своего положенія, а какъ человѣкъ святой или героической жизни, если онъ таковую ведетъ, можетъ и для не католика стать маякомъ, настоящимъ идеаломъ при условіи возможности и стремленіи уподобиться ему соотвѣтственными подвигами добра и чести.

Въ сложной сѣти дѣйствительности, часто сплетающей логически противоположные элементы и разсѣкающей логическую цѣльность посторонними прожилками, идеалы и идолы взаимно переплетаются, между ними слагаются извѣстные компромиссы и переходныя ступени. Но мысленно отвлекать ихъ рѣзко разграничительные признаки можно и должно. Пусть влюбленные называютъ другъ друга безразлично; „мой идолъ“, „мой идеалъ“,— бѣды отъ этого не будетъ, хотя, можетъ быть, все ихъ дальнѣйшее счастіе зависитъ отъ того, что они другъ для друга — идеалы или идолы. Это тамъ позже и на дѣлѣ видно будетъ, а восторженный жаргонъ любви самъ по себѣ ничего не измѣнитъ. Но въ серьезномъ разговорѣ объ идеалѣ, какъ началѣ руководящемъ, надо помнить, что достижимость, точнѣе — убѣжденіе въ его достижимости, составляетъ его необходимое условіе. Иначе онъ превращается въ идола, вмѣстѣ съ чѣмъ кореннымъ обра-

зомъ измѣняется и наше отношеніе къ нему. Повторяю, дѣло не въ словахъ. Можно, пожалуй, переставить слова „идеалъ“ и „идолъ“ одно на мѣсто другого, хотя это едва-ли было-бы удобно, можно даже и совсѣмъ новыя слова выдумать для обозначенія извѣстныхъ отношеній, но самыя эти отношенія смѣшивать не слѣдуетъ.

Было-бы очень интересно войти въ подробности приведенныхъ общихъ положеній и прослѣдить разнообразныя, то враждебныя столкновенія, то компромиссы между идеалами и идолами. Но теперь я говорю все это лишь мимоходомъ, съ цѣлью внести поправку въ ту мысль гр. Толстого, съ которой мы начали. Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы оставимъ идоловъ совсѣмъ въ сторонѣ. Будемъ говорить лишь о разницѣ между идеаломъ, какъ указателемъ пути, и тѣмъ другимъ указателемъ, который слагается изъ правилъ поведенія. На первый взглядъ можетъ показаться, что разница даже слишкомъ очевидна: это—разница между цѣлью и средствами. Идеалъ, общественный или личный, есть цѣль, а правила поведенія, которыми этотъ идеалъ достигается,—средство. Идеалъ есть какъ-бы конечный пунктъ предпринятаго путешествія, а правила поведенія указываютъ кратчайшую или удобнѣйшую, или вообще лучшую дорогу къ этому конечному пункту. Но на дѣлѣ все это выходитъ немного сложнѣе. Цѣль можетъ оказаться средствомъ для достиженія другой цѣли, а средство можетъ обратиться въ самостоятельную цѣль. Пока рѣчь идетъ объ отвлеченныхъ категоріяхъ цѣли и средства, изъ этого не можетъ произойти никакого затрудненія. Не то, когда въ рамки этихъ отвлеченныхъ категорій вставляются опредѣленный идеалъ и опредѣленныя правила поведенія. Въ этомъ случаѣ цѣль и средство не всегда могутъ безнаказанно, безъ ущерба для дѣла, помѣняться мѣстами, и намъ надо войти въ разсмотрѣніе взаимныхъ отношеній между идеаломъ и правилами поведенія.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что правила поведенія, начиная отъ кодекса возвышеннѣйшей морали и кончая моралью какихъ-нибудь людоѣдовъ, имѣютъ всегда личный характеръ, всегда представляютъ собою глаголъ въ повелительномъ наклоненіи, обращенный къ лицу. Идеалъ-же можетъ быть и личный, и общественный. Затѣмъ, идеалъ есть желаемое и ожидаемое будущее, а правила поведенія дѣйствуютъ въ настоящемъ. Далѣе, если идеалъ есть совершенство достижимое и только при этомъ условіи является руководящимъ началомъ, то изъ этого отнюдь не

слѣдуетъ, чтобы онъ могъ быть достигнутъ непремѣнно завтра, черезъ годъ, усиліями одного, двухъ поколѣній, вообще въ какой-нибудь съ точностью опредѣленный срокъ. Осуществленіе идеала зависитъ и отъ его собственныхъ свойствъ, и отъ различныхъ обстоятельствъ времени, мѣста и образа дѣйствія. Если я, петербургскій житель, имѣющій извѣстный заработокъ, ставлю себѣ идеаломъ чистоту своего тѣла, то дѣло, конечно, очень просто: къ моимъ услугамъ бани, ванны, сколько угодно воды и мыла. Въ этомъ случаѣ правила поведенія отличаются прямолинейною простотой и непосредственно вытекаютъ изъ идеала, хронологическое и логическое разстояніе между ними почти не существуетъ: идеалъ—чистота, правило поведенія—мытье, для котораго все нужное имѣется подъ рукою. Но и этотъ случай можетъ осложниться разными обстоятельствами, а желая достигнуть, напримѣръ, идеала физической силы на манеръ Милона Кротонскаго, я окажусь въ положеніи уже и гораздо болѣе трудномъ. Легко сказать: хочешь быть силачемъ, обноси, подобно Милону Кротонскому, каждый день теленка вокругъ своего дома, пока теленокъ не станетъ, наконецъ, быкомъ, занимайся другими гимнастическими упражненіями, веди умѣренный образъ жизни и т. д. Это составляетъ уже цѣлую программу, требующую очень большого времени. Идеалъ настолько отдаляется, что правила поведенія получаются довольно сложныя. Но весьма вѣроятно, что изъ меня ни при какихъ добросовѣстнѣйшихъ стараніяхъ атлетъ не выйдетъ, и я рано или поздно приду къ убѣжденію въ недостижимости для меня моего идеала, который долженъ-бы вслѣдствіе этого, повидимому, обратиться въ идола. Такъ оно часто и бываетъ въ средѣ, напримѣръ, школьниковъ. Но недостижимое для меня еще не значитъ неосуществимое вообще, и есть средство спасти мой идеалъ физической силы даже при невозможности непосредственной личной работы для его осуществленія, это—раздвинуть его за предѣлы собственной личности. Я, можетъ быть, гораздо больше сдѣлаю для осуществленія этого идеала путемъ соотвѣтственнаго воспитанія моихъ дѣтей, путемъ пропаганды, открытія гимнастическихъ заведеній и т. п., чѣмъ лично занимаясь гимнастикой. Мимоходомъ сказать, это нисколько не противорѣчитъ вышеприведеннымъ соображеніямъ о Милонѣ, какъ идеалѣ, и Геркулесѣ, какъ идолѣ: Геркулесъ, въ качествѣ Зевсова сына, все равно долженъ былъ оставаться идоломъ и для того грека,

который самъ повторялъ упражненія Милона или какія иныя, и для другого грека, который пропагандировалъ этотъ идеалъ, расчищалъ ему путь, вліяя на умы современниковъ или устраивая спеціальныя воспитательныя заведенія, публичныя состязанія въ силѣ и т. п.

Итакъ, даже въ такомъ элементарномъ случаѣ пути достиженія цѣли оказываются сложными, разнородными и, что для насъ особенно важно, лишь частью прямолинейно и непосредственно къ ней примыкающими, а частью какъ-бы окольными. Можетъ показаться, что въ этой окольности есть нѣчто фарисейское въ томъ смыслѣ, какъ мы привыкли понимать фарисеевъ согласно сказанному о нихъ: словъ ихъ слушайтесь, но по дѣламъ ихъ не поступайте. Конечно, тутъ есть лазейка для лицемѣрія, но лицемѣры, подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ отлынивающіе отъ обязанностей, налагаемыхъ на нихъ идеаломъ, всегда найдутъ себѣ лазейку. Мы говоримъ не объ отлынивающихъ, а объ ищущихъ. Фарисеи уличаются въ розни между словомъ и дѣломъ, а въ нашемъ случаѣ эта рознь только кажущаяся. Хромой Тиртей былъ плохой воинъ, но его поэзія воодушевила спартанцевъ на военные подвиги, и если-бы онъ даже совсѣмъ не принималъ личнаго участія въ сраженіяхъ, по своему физическому убожеству, то окольнымъ путемъ вдохновенной хвалы храбрымъ онъ достигъ гораздо большаго, чѣмъ этимъ личнымъ участіемъ. И мы не возмущаемся поведеніемъ Тиртея, потому что вѣримъ въ искренность хромого пѣвца. „Труба, зовущая на бой“, какъ говорилъ о себѣ, кажется, Бэконъ, не менѣе служитъ идеалу, чѣмъ непосредственные участники боя; здѣсь нѣтъ розни между словомъ и дѣломъ, но правила поведенія „трубы“, конечно, отличаются отъ тѣхъ, которыми должны руководствоваться непосредственные участники.

Боюсь я, далѣе, что читатель слишкомъ подчеркнетъ слабосиліе предполагаемаго идеалиста физической силы и физическую убогость Тиртея: дескать, только убогіе, негодные для прямыхъ путей, имѣютъ право идти къ идеалу путями окольными, которые въ томъ собственно только и состоятъ, чтобы указывать другимъ прямой путь. Это былъ-бы слишкомъ поспѣшный выводъ. Есть идеалы, при томъ, можетъ быть, наиболѣе высокіе, къ которымъ ни для кого, ни для убогихъ, ни для сильныхъ, нѣтъ короткихъ и прямолинейныхъ путей, ибо для достиженія ихъ нужно

преодолѣть или обойти многосложныя препятствія, нароставшія, можетъ быть, цѣлыми вѣками. Если вы гуляете въ паркѣ, и цѣль вашей прогулки составляетъ бесѣдка въ концѣ липовой аллеи съ хорошо убитою дорожкой, то ваше дѣло просто. Но было-бы ни съ чѣмъ несообразно, если-бы Ливингстонъ или Стэнли хотѣли перерѣзать центральную Африку, не вырубая дѣвственныхъ лѣсовъ, не переплывая рѣкъ, кишащихъ крокодилами, не встрѣчая враждебныхъ дикарей и не тратя на преодолѣніе всѣхъ этихъ препятствій силъ и здоровья, не рискуя на каждомъ шагу, можетъ быть, даже жизнью. Нельзя вдругъ, безъ лишеній и борьбы за каждый шагъ впередъ, очутиться по ту сторону этихъ препятствій, нельзя съ ними не считаться. Поэтому выходитъ слѣдующее. Вы хотите, положимъ, перерѣзать Африку отъ океана до океана, и конечная цѣль вашего путешествія есть извѣстный пунктъ по ту сторону материка. Вырубка лѣса, обходъ болотъ и т. д.,—все это только средства для достиженія конечной цѣли, но каждое изъ нихъ можетъ само обратиться въ ближайшую цѣль, и вы только не должны забывать конечной цѣли и засиживаться безъ нужды надъ препятствіями. И не найдется такого нелѣпаго человѣка, который попрекнулъ-бы путешественника: ваше дѣло достигнуть такого-то пункта по ту сторону материка, а вы просѣками въ лѣсу занимаетесь! Но въ мірѣ нравственно-политическихъ идеаловъ нѣчто подобное возможно и нерѣдко случается. Однимъ умственнымъ прыжкомъ очутившись по ту сторону существующаго порядка вещей, люди презрительно третируютъ все, что насъ сейчасъ щемитъ и тревожитъ.

Въ другомъ мѣстѣ я уже говорилъ о подобныхъ „ошибкахъ исторической перспективы“ и приводилъ примѣры, изъ которыхъ одинъ считаю нужнымъ, для ясности дѣла, повторить. Г. Португаловъ, провидя недалекое въ будущемъ искусственное приготовленіе бѣлковыхъ веществъ, то-есть главной, существенной составной части нашей пищи, издѣвается надъ тѣми, кто озабоченъ вопросомъ землевладѣнія, потому что когда, вмѣсто ржи, пшеницы и т. д., мы станемъ ѣсть бѣлковину химическаго заводскаго приготовленія, „что-же тогда станетъ съ пресловутымъ общиннымъ, крупнымъ и мелкимъ землевладѣніемъ“? Что тогда будетъ, неизвѣстно, но, и не дожидаясь нынѣшняго тяжелаго кризиса въ нашемъ отечествѣ, можно было думать, что г. Португаловъ немножко торопится съ упраздненіемъ ржи и пшеницы,

а также и вопроса землевладѣнія. Искусственное приготовленіе бѣлковины есть несомнѣнно очень высокій техническій идеалъ, но выводить изъ него правила поведенія для настоящаго времени (хотя-бы въ отрицательной формѣ беззаботности по части землевладѣнія)—значитъ впадать въ грубую ошибку исторической перспективы. У г. Португалова она сорвалась съ пера, повидимому, нечаянно, собственно отъ восторга чувствъ по поводу успѣховъ науки и отъ желанія кого-то уколоть или ущипнуть (смѣшныя для г. Португалова „зависимость русскаго народа отъ земли“ и „тяжесть земли“ что-то очень напоминаютъ „власть земли“ Успенскаго). Серьезной-же мысли о непосредственномъ выводѣ правилъ поведенія для настоящаго времени изъ идеала будущаго у него, по всей вѣроятности, не было. У гр. Толстого она есть, когда онъ осуществляетъ идеалъ „гармоническаго развитія“ въ своей личной практикѣ сейчасъ.

Мы возвращаемся, такимъ образомъ, къ недоумѣнію моего корреспондента. Совершенно раздѣляя мнѣніе гр. Толстого о „гармоническомъ развитіи“, какъ объ идеалѣ, но полагая его, какъ и всякій идеалъ, въ противность мнѣнію гр. Толстого, достижимымъ, я отнюдь, однако, не думалъ, чтобы изъ него можно было сдѣлать прямолинейный выводъ правилъ поведенія для настоящей минуты. Гр. же Толстой его дѣлаетъ. По поводу моей теоріи прогресса и борьбы за индивидуальность, мнѣ часто дѣлаютъ съ очень побѣдоноснымъ видомъ возраженія такого рода: что-же, вы хотите соединить въ одномъ лицѣ профессіи, напримѣръ, писателя, каменно-угольнаго рабочаго, земледѣльца, мясника и т. д.,— развѣ это возможно? Нѣтъ, невозможно, да и не нужно, не требуется теоріей прогресса. Неизвѣстно, что будетъ со всѣми этими профессіями къ тому времени, когда процессъ, считаемый мною прогрессивнымъ, достаточно подвинется впередъ. Уже и теперь можно предвидѣть, что телефонъ и фонографъ вытѣснятъ писателя, концентрація солнечнаго тепла упразднитъ каменно-угольную промышленность, а бѣлокъ a la Portougaloff, хотя и не такъ скоро, прикончитъ, земледѣльца и мясника. Но это все гаданія о далекомъ будущемъ, и въ какія конкретныя формы оно сложится— предвидѣть нельзя. Все это дѣло техники, результаты успѣховъ которой могутъ сильно вліять на комбинацію общественныхъ элементовъ, но ихъ значеніе, въ свою очередь, опредѣлится условіями общественной среды, въ которой они будутъ дѣйствовать. Вслѣд-

ствіе этого, человѣкъ, руководимый идеаломъ общественной однородности и индивидуальной разнородности, можетъ и теперь найти себѣ дѣло, не размѣнивая этотъ идеалъ непосредственно на правила поведенія. Общественная разнородность выражается въ рѣзкой разницѣ матеріальной и духовной атмосферы, окружающей людей разныхъ „племенъ, нарѣчій, состояній“, мужчинъ и женщинъ, податныя и неподатныя сословія, богачей и нищихъ, сытыхъ и голодныхъ, „патріотовъ своего отечества“ и „мерзавцевъ своей жизни“, ученыхъ и невѣждъ, рабочихъ и работодателей, ростовщиковъ и платящихъ ростъ, разныхъ „филовъ“ и „фобовъ“ и т. д., и т. д. Индивидуальная однородность выражается соотвѣтственными спеціализаціями ума, чувства и воли, національными, сословными, профессіональными, сексуальными предразсудками, узкимъ своекорыстіемъ, духовною скудостью и проч. Для борьбы съ этимъ порядкомъ вещей и для расчистки пути къ идеалу нѣтъ надобности въ декоративномъ землепашествѣ великаго писателя, хотя оно, повидимому, непосредственно примыкаетъ къ идеалу гармоническаго развитія, прямо обращая его въ правила поведенія. Гр. Толстой слишкомъ дорогой для каждаго русскаго читателя, а частью и не только русскаго, человѣкъ, чтобы могло быть сомнѣніе въ чьемъ-бы то ни было искреннѣйшемъ пожеланіи ему здоровья и долголѣтія. Но, спрашивается, назвалъ-ли бы кто-нибудь его поведеніе безнравственнымъ, если-бы онъ бросилъ всѣ свои способствующія здоровью и душевному спокойствію „запряжки“ и надорвался на односторонней, хотя-бы той-же писательской работѣ во имя того-же идеала общественной однородности? Это было-бы столь-же невозможно-нелѣпо, какъ если-бы, скажемъ, итальянскій патріотъ временъ объединенія Италіи уличался въ недостаткѣ патріотизма за то, что, во имя идеала свободы, претерпѣлъ австрійскій плѣнъ и неаполитанскую тюрьму. Гр. Толстой справедливо говоритъ въ „послѣсловіи“, что идеалъ и правила поведенія не одно и то-же, хотя и тотъ, и другія суть указатели жизненнаго пути.

Не излишне, можетъ быть, прибавить, что само по себѣ декоративное землепашество ничему-бы, пожалуй, не мѣшало, если-бы не осложнялось нѣкоторыми другими сторонами ученія и дѣятельности гр. Толстого, возвращаться къ которымъ не считаю нужнымъ.

Убѣжденіе въ достижимости идеала еще ничего не говоритъ о срокѣ его достиженія. Не только конечный, а вообще сколько-нибудь значительный идеалъ обыкновенно передается дѣйствующимъ поколѣніемъ потомству. Въ этомъ состоитъ, можетъ быть, трогательнѣйшая и благороднѣйшая черта исторіи человѣчества, если, конечно, современники не по лѣности, трусости или неумѣлости не уравняли дѣйствительности съ идеаломъ, а вслѣдствіе возвышенности идеала, ради котораго они не отказывались отъ труда, жертвъ и лишеній. Не помню, какой ирландскій патріотъ, умершій за границей, завѣщалъ перенести свой прахъ въ Ирландію, когда она достигнетъ полной независимости. Эта способность расширить свое личное существованіе далеко за его фактическіе предѣлы и наслаждаться и страдать далекимъ будущимъ, безъ надежды или опасенія быть его дѣйствительнымъ участникомъ, есть одно изъ свидѣтельствъ благородства человѣческой природы и одинъ изъ драгоцѣнныхъ залоговъ лучшаго будущаго. Черта эта тѣмъ трогательнѣе, что далеко не всегда можно уловить конкретныя подробности осуществленія идеала. Въ случаѣ ирландскаго патріота это довольно легко, какъ и вообще въ идеалахъ чисто-политическихъ и въ особенности построенныхъ на независимости націи отъ чуждаго гнета. Не то въ идеалахъ соціальныхъ. Передавая такой идеалъ потомству и потомству потомства, мы, безъ риска впасть въ болѣе или менѣе грубыя ошибки, не можемъ себѣ представить, какіе новые ходы откроются для потомства и какія новыя пружины будутъ ими пущены въ ходъ; можетъ быть, это будутъ совсѣмъ не похожіе на насъ люди въ совсѣмъ не похожей на нашу обстановкѣ. И, тѣмъ не менѣе, любопытство, окрыленное фантазіей и подогрѣтое способностью наслаждаться и страдать далекимъ будущимъ, когда насъ не будетъ, побуждаетъ людей время отъ времени приподнимать завѣсу этого будущаго. Таково происхожденіе такъ называемыхъ соціальныхъ или соціологическихъ романовъ.

Общія черты этого рода литературы опредѣляются ея задачами. Перловъ художества здѣсь искать нечего, потому что авторамъ неизбѣжно приходится пополнять пробѣлы извѣстной имъ жизни не только фантастическими образами, а и болѣе или менѣе длинными диссертаціями обыкновенно въ формѣ діалога, да и тотъ сводится къ двойному ряду монологовъ. Но, съ другой стороны, и научное предвидѣніе осложняется произвольными вторженіями

фантазіи. Неизбѣжны въ подобныхъ произведеніяхъ и ошибки исторической перспективы, только въ извѣстномъ смыслѣ противоположныя тѣмъ, о которыхъ было говорено выше. Тамъ вырывается клочекъ изъ неизвѣстнаго или, по крайней мѣрѣ, далекаго и туманнаго будущаго и вдвигается въ неподходящія условія современной жизни. Здѣсь, напротивъ, та или другая черта современной жизни произвольно сохраняется въ проблематическомъ будущемъ при полномъ измѣненіи общихъ условій жизни. Было-бы, однако, несправедливо презрительно относиться къ этой своеобразной литературѣ, хотя-бы уже потому, что она находитъ себѣ многочисленныхъ читателей, и если не удовлетворяетъ ихъ, то возбуждаетъ интересъ къ извѣстнаго рода вопросамъ наглядnымъ изображеніемъ ихъ вѣроятнаго или невѣроятнаго рѣшенія. Это, собственно говоря, въ цѣломъ диссертаціи на извѣстныя, обыкновенно очень жгучія соціальныя темы, но, благодаря своей беллетристической формѣ, занимательныя и доступныя и тѣмъ, кого отпугнула-бы сухая научная форма изложенія. При томъ-же, завѣдомая фантастичность дозволяетъ, хотя-бы и съ рискомъ ошибокъ, заглянуть въ такія подробности будущаго, которыхъ не можетъ касаться строгая научная или философская мысль.

Мнѣ хочется разсказать содержаніе новѣйшаго изъ такихъ соціальныхъ романовъ и, при томъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, кажется, единственнаго въ своемъ родѣ. Это—„Крушеніе цивилизаціи“ нѣкоего Буажильбера (какъ слышно, романъ переводится на русскій языкъ). Читателю, вѣроятно, извѣстенъ романъ Беллами „Черезъ сто лѣтъ“, вызвавшій большую сенсацію на родинѣ автора, въ Америкѣ, выдержавшій въ самое короткое время и у насъ три или четыре изданія. Романъ этотъ представляетъ собою беллетристическій комментарій или фантастическую иллюстрацію къ извѣстному предвидѣнію Карла Маркса, о которомъ мы, между прочимъ, бесѣдовали въ прошлый разъ. Согласно этому предвидѣнію, земля и капиталы должны сосредоточиваться все въ меньшемъ и меньшемъ числѣ рукъ и, достигнувъ вершины этого процесса, перейти въ общую собственность, чему, съ своей стороны, будетъ способствовать параллельное этому процессу обобществленіе труда, организація рабочихъ классовъ. Беллами примыкаетъ къ этому предвидѣнію, но разница, помимо, конечно, формы изложенія, состоитъ вотъ въ чемъ. Марксъ не только ничего не говоритъ о томъ, какъ именно произойдетъ переломъ на вер-

шинѣ процесса, а даже прямо указываетъ на разныя возможности въ зависимости отъ умственнаго и нравственнаго развитія рабочихъ классовъ. Не пытается онъ также уловить ни хронологію движенія, ни подробности формъ общественнаго строя по ту сторону вершины процесса. Беллами, въ качествѣ романиста, не останавливается передъ трудностями, непреодолимыми для ученаго. Въ его романѣ уже черезъ сто лѣтъ нашъ нынѣшній общественный строй есть почти забытая древность; переломъ на вершинѣ процесса совершается мирно, такъ какъ предшествовавшіе бурные непорядки утвердили въ общемъ сознаніи необходимость этого шага, и затѣмъ наступаетъ всеобщее благополучіе. Романъ Буажильбера тоже кончается полнымъ торжествомъ идеала: „человѣчество дружное переходитъ отъ счастливой жизни къ счастливой смерти, и небо съ доброю улыбкой взираетъ на него“. Это—послѣднія строки романа. Но главный интересъ романа выражается не этими послѣдними строками, а, напротивъ, заглавіемъ „Крушеніе цивилизаціи“ и полемическимъ эпиграфомъ: „Вмѣсто изображенной Беллами картины мира и довольства, насъ ожидаетъ страшное кровавое будущее — неизбѣжное послѣдствіе своекорыстія и самоувѣренности цивилизаціи“.

Съ точки зрѣнія внѣшней занимательности, произведеніе Буажильбера гораздо интереснѣе романа Беллами. Онъ переполненъ движеніемъ и драматическими положеніями, и авторъ лишь изрѣдка прибѣгаетъ къ діалогамъ-монологамъ. Это тѣмъ пріятнѣе для читателя, что положительные планы Буажильбера далеко уступаютъ въ основательности планамъ Беллами. Само собою разумѣется, однако, что говоря о внѣшней, сказочной занимательности „Крушенія цивилизаціи“, нечего въ ней искать сколько-нибудь выдающихся художественныхъ достоинствъ. Интересъ романа совсѣмъ особенный. Я назвалъ его единственнымъ въ своемъ родѣ произведеніемъ среди соціальныхъ романовъ. Особенность его составляетъ уже то, что авторъ провидитъ въ будущемъ всевозможные ужасы, изображеніемъ которыхъ и занятъ почти весь романъ, тогда какъ обыкновенно подобные романы занимаются картинами мира, счастія и довольства. Въ концѣ-концовъ, правда, какъ мы видѣли, и у Буажильбера „небо съ доброю улыбкой взираетъ на счастливое человѣчество“, но это есть огромный результатъ стеченія маленькихъ случайныхъ обстоятельствъ. Затѣмъ, въ большинствѣ „утопій“, по крайней мѣрѣ, новѣйшаго

происхожденія, разнаго рода техническія приспособленія и улучшенія играютъ выдающуюся и, при томъ, благодѣтельную роль. Нѣкоторыя подобныя фантазіи даже исключительно въ томъ именно и состоятъ, что всѣ существующія въ настоящую минуту на нашей грѣшной землѣ людскія отношенія остаются неприкосновенными, но люди получаютъ удесятеренную власть надъ силами природы, благодаря чудовищному развитію науки и техники. Только эта благодѣтельная сторона техническаго прогресса и воспѣвается. Лишь у Ренана, въ „Fragments philosophiques“, въ фантастической тоже картинѣ, хотя и не въ беллетристической формѣ, помню я примѣненіе успѣховъ техники къ дѣлу разрушенія и угрозы, но и то разрушеніе и угроза являются, по мысли автора, дѣломъ благодѣтельнымъ. У Буажильбера-же теоретическое и прикладное знаніе является орудіемъ угнетенія массъ и возвеличенія на ея счетъ горсти негодяевъ, а затѣмъ и „крушенія цивилизаціи“, крушенія безумно-злодѣйскаго и кроваваго. Къ этой разрушительной роли науки и техники есть, впрочемъ, въ романѣ существенная поправка, которую мы сейчасъ увидимъ.

Романъ Буажильбера имѣетъ видъ записокъ нѣкоего Габріэля Вельтштейна, прибывшаго съ торговыми цѣлями изъ африканскаго царства Уганда въ Нью-Іоркъ (дѣйствіе, какъ и у Беллами, происходитъ черезъ сто лѣтъ). Послѣ мирныхъ и патріархальныхъ нравовъ Уганды, находящейся, повидимому, въ періодѣ пастушескаго быта, роскошь, блескъ и шумъ Нью-Іорка поражаютъ Вельтштейна. На каждомъ шагу онъ наталкивается на невиданныя чудеса знанія, повергнувшаго къ стопамъ человѣка могучія силы природы. На всемъ окружающемъ лежитъ печать ума, силы, энергіи, красоты, богатства, но онъ почему-то чувствуетъ себя непріятно и холодно въ этой роскошной обстановкѣ. Уличная случайность вплетаетъ въ разсказъ нитку любви и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ведетъ къ цѣлому ряду необычайныхъ приключеній. Вельтштейнъ открываетъ бокъ-о-бокъ съ міромъ блеска и роскоши другой міръ,—міръ крайней нищеты, непосильной работы, безсилія и темноты. Открываетъ онъ далѣе, что эти два міра находятся въ непримиримой враждѣ между собой, и каждый изъ нихъ представляетъ собою организованный военный лагерь, ежеминутно готовый вступить въ открытую борьбу съ оружіемъ въ рукахъ. Въ такомъ положеніи находится не только Нью-Іоркъ, а вся Америка и вся Западная Европа, словомъ, всѣ страны старой

цивилизаціи. Предвидѣніе Маркса, повидимому, сбывается: трудъ обобществляется, рабочіе классы организуются въ многомилліонное общество, связанное единствомъ положенія, единствомъ вражды и единствомъ задачи. Оно тайное и называется „братствомъ разрушенія“. Съ другой стороны, земля, капиталы, орудія производства сосредоточились въ рукахъ немногочисленной плутократической олигархіи. Но, въ противность ожиданіямъ, если не Маркса, то Беллами, ни братство разрушенія, ни олигархи не думаютъ о мирномъ соглашеніи, послѣ котораго должно наступить всеобщее благополучіе. Напротивъ, ненавистью и злобой дышатъ оба лагеря. Вся та-же уличная случайность въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи даетъ Вельтштейну возможность проникнуть въ тайны организаціи и плановъ какъ олигарховъ, такъ и братства разрушенія. У олигарховъ есть обыкновенное войско, но его слишкомъ мало для борьбы съ многочисленною массой недовольныхъ, и, въ случаѣ большой опасности, олигархи не столько на него разсчитываютъ, сколько на „демоновъ“ или „воздушныхъ мамелюковъ“. Это воздушные корабли, экипажъ которыхъ снабженъ страшнымъ оружіемъ: взрывчатыми бомбами, наполненными удушливымъ, ядовитымъ газомъ. Бѣда только въ томъ, что эти мамелюки, чувствуя свою необходимость для олигарховъ, требуютъ себѣ все больше и больше жалованья, и олигархи не смѣютъ имъ отказать, относя, впрочемъ, всѣ эти прибавки на счетъ государственныхъ расходовъ. Тѣмъ не менѣе, они тяготятся этою зависимостью. Прослышавъ черезъ своихъ шпіоновъ о существованіи братства и о приготовленіяхъ его къ открытой войнѣ, олигархи рѣшаютъ въ послѣдній разъ увеличить жалованье „демонамъ“, въ послѣдній разъ пустить ихъ въ ходъ и затѣмъ предательски перебить ихъ, а воздушную армію организовать вновь и на новыхъ началахъ. Жестокость, жадность, грубѣйшій матеріализмъ, предательство, всяческая низость составляютъ правительственную физіономію олигарховъ и возводятся ими даже въ систему, открыто проповѣдуемую съ каѳедры. Но не лучше и братство разрушенія. Кличка ему дана по шерсти. Ни о чемъ, кромѣ разрушенія и грабежа, оно не думаетъ, и нѣтъ у него иного бога, кромѣ золота и кровавой мести. Процессъ сосредоточенія благъ и наслажденій въ одномъ полюсѣ общественной жизни и всяческой скудости въ другомъ—наполнилъ всю атмосферу нравственнымъ ядомъ. Во главѣ „братства“ стоятъ три человѣка. Во-первыхъ, италья-

нецъ Цезарь Ломеллини, грубый и пьяный дикарь атлетической силы; во-вторыхъ, безымянный австрійскій еврей, уродъ физически, но настоящая „голова“ братства; въ-третьихъ, американецъ Филипсъ, благородный молодой человѣкъ, примкнувшій къ братству, главнымъ образомъ, изъ мести за своего отца. Если олигархи имѣютъ своихъ шпіоновъ, то имѣетъ ихъ и братство. Оно узнаетъ, между прочимъ, и о предательскомъ планѣ поступить съ воздушными мамелюками какъ съ выжатымъ лимономъ, и сообщаетъ эту тайну предводителю мамелюковъ, вслѣдствіе чего мамелюки, въ свою очередь, предаютъ олигарховъ и тайно продаютъ свои услуги братству. Готовится рѣшительная минута послѣдней схватки. Тщетно Вельтштейнъ, подружившійся съ Филипсомъ, убѣждаетъ сначала одну, потомъ другую сторону въ необходимости придти къ какому-нибудь соглашенію, тщетно старается разбудить въ тѣхъ и другихъ добрыя чувства. Роковая сила событій увлекаетъ людей, и катастрофа, наконецъ, наступаетъ. Олигархи, не зная объ измѣнѣ мамелюковъ, спокойно смотрятъ на начинающееся возстаніе и высылаютъ войско больше для того, чтобы загнать возставшихъ въ замкнутое пространство, гдѣ съ ними и покончатъ мамелюки. Вотъ появляются, какъ огромныя черныя птицы, воздушные корабли, сторонники олигарховъ торжествуютъ, но торжество смѣняется ужасомъ и смертью, когда мамелюки сбрасываютъ свои страшныя орудія на нихъ, а не на возставшихъ. Всеобщій погромъ, сцены грабежа, разрушенія, смерти. И то-же самое единовременно происходитъ по всей Америкѣ и по всей Западной Европѣ. Собственно въ Нью-Іоркѣ провозглашаетъ себя королемъ Цезарь Ломеллини, но проявляетъ свою власть только пьянствомъ, убійствами и развратомъ. „Голова“ братства, безымянный австрійскій еврей, пользуясь суматохой, похищаетъ сто милліоновъ долларовъ и бѣжитъ на воздушномъ кораблѣ въ Іерусалимъ, чтобы возстановить царство Соломона на развалинахъ міра. Узнавъ объ этомъ, разъяренная толпа убиваетъ Цезаря и угрожаетъ своему третьему предводителю, Филипсу. Но Филипсъ съ семьей и съ Вельтштейномъ, который тоже успѣлъ въ теченіе романа жениться, спасается на воздушномъ кораблѣ въ Уганду. Они захватываютъ съ собою, сколько могутъ помѣстить на воздушномъ кораблѣ, книгъ, инструментовъ, машинъ, орудій, изобрѣтенныхъ погибшею цивилизаціей, и тамъ, въ своей мирной Угандѣ, наученные страшнымъ опытомъ, основываютъ новую

жизнь, на которую „небо взираетъ съ улыбкой“. Подробности этой новой жизни очерчены очень неясно и, во всякомъ случаѣ, гораздо менѣе ясно, чѣмъ судьба оставленнаго ими Нью-Іорка. На вопросъ Вельтштейна, что станется съ десятью милліонами жителей Нью-Іорка (читатель помнитъ, что дѣйствіе происходитъ черезъ сто лѣтъ) и не возникнетъ-ли новый гражданскій строй на этихъ развалинахъ, Филипсъ отвѣчаетъ: „Еще не скоро. Долго еще будутъ господствовать грубость, невѣжество, разнузданность, суевѣріе, преступленія. Люди, такъ долго изнывавшіе подъ гнетомъ тяжелыхъ условій труда, едва-ли захотятъ вернуться къ нему. И куда имъ идти на работу? Послѣ того, какъ три четверти погибнутъ, остальные, пережившіе другихъ, въ силу закона борьбы за существованіе, какъ болѣе сильные и грубые, сочтутъ нужнымъ въ видахъ самозащиты сформировать вооруженные отряды или шайки. Тотъ, кто будетъ искуснѣе и храбрѣе всѣхъ, сдѣлается ихъ вождемъ, какъ у дикарей. Затѣмъ медленно повторится всемірная исторія“. Возникнетъ рабство, потомъ появится торговля, воскреснетъ культура и т. д. до новой катастрофы.

Это послѣднее мрачное предвидѣніе едва-ли, однако, составляетъ серьезную и искренюю мысль автора. Можно думать, что онъ вложилъ его въ уста Филипса просто какъ ипохондрическую выходку въ минуту скорби о погибшей цивилизаціи, ибо вѣритъ же онъ въ свою угандскую утопію и не угрожаетъ ей безконечнымъ круговращеніемъ катастрофъ. Такіе-же вѣдь люди и въ Угандѣ будутъ, какіе въ Америкѣ были, но въ Угандѣ будутъ приняты какія-то мѣры въ предупрежденіе погибельной поляризаціи интересовъ; какія—изложено не совсѣмъ ясно и довольно легкомысленно. Во всякомъ случаѣ, бѣда погибшей цивилизаціи состояла не въ наукѣ, теоретической и прикладной. Въ Нью-Іоркѣ она не только не помѣшала катастрофѣ, но дала обѣимъ враждующимъ сторонамъ орудія истребленія. Въ Угандѣ, въ иной обстановкѣ, очевидно, иначе будетъ. Но настоящая цѣль Буажильбера состоитъ вовсе не въ идеализаціи фантастической Уганды. Цѣль эта очень ясно выражена въ предисловіи къ роману. Авторъ пишетъ: „Я посвящаю эту книгу всѣмъ вдумчивымъ и благомыслящимъ людямъ въ надеждѣ, что она можетъ принести нѣкоторую пользу. Надѣюсь, кромѣ того, что намѣренія, руководившія мною при составленіи моего труда, не будутъ истолкованы въ дурную сторону. Если я описываю крушеніе нашей цивилизаціи, то это

не значитъ, что я его желаю. Пророкъ не отвѣтственъ за тѣ событія, которыя онъ предсказываетъ; онъ ихъ предусматриваетъ съ болью въ сердцѣ. Я и не анархистъ, напротивъ, я изображаю страшныя послѣдствія восторжествованія анархизма. Я стараюсь доказать людямъ богатымъ, вліятельнымъ и способнымъ къ борьбѣ великую истину, что безучастіе къ страданіямъ ближняго, забвеніе великихъ узъ братства, составляющаго основу христіанскаго ученія, и слѣпое, грубое поклоненіе богатству должны, если они усилятся, современемъ неизбѣжно привести къ разложенію общества и къ крушенію цивилизаціи".

Итакъ, не смотря на грозный полемическій эпиграфъ романа Буажильбера и на мрачное предсказаніе Филипса, крушеніе европейско-американской цивилизаціи не неизбѣжно. Это — вопросъ благоразумія и добрыхъ чувствъ участниковъ цивилизаціи. Хотя романъ Буажильбера переполненъ ошибками исторической перспективы даже сверхъ мѣры, допускаемой фантастичностью фабулы, и вообще очень легкомысленъ, но такая постановка вопроса имѣетъ свою цѣну. Едва-ли кто сомнѣвается въ томъ, что если счастье ждетъ человѣчество на извѣстномъ или, точнѣе, неизвѣстномъ историческомъ пунктѣ, то оно должно быть, во всякомъ случаѣ, заработано. Тѣмъ не менѣе, въ очень многихъ умахъ историческій процессъ настолько отрывается отъ реальныхъ носителей и исполнителей, то-есть людей, что ихъ нравственный и умственный уровень, весь ихъ духовный, да и физическій обликъ остаются въ сторонѣ при гадательныхъ построеніяхъ будущаго. Такъ именно поступаетъ Беллами (отнюдь не его учитель, Марксъ). Неудивительно, что въ томъ идеальномъ строѣ, который онъ себѣ и намъ рисуетъ въ будущемъ, люди освобождаются отъ узкосвоекорыстныхъ чувствъ со всѣми ихъ развѣтвленіями и послѣдствіями, необходимыхъ людямъ при нынѣшней лютой борьбѣ за существованіе,—необходимыхъ до такой степени, что и самый строгій моралистъ не всегда рѣшится метать по этому поводу громы. Но будущее будущимъ, а къ нему надо подойти, и спрашивается, въ какомъ видѣ люди къ нему подойдутъ? Остановимся на той-же Америкѣ, которой Беллами предсказываетъ миръ, счастье и расцвѣтъ, а Буажильберъ — полное крушеніе, и предположимъ, что она достигла вершины процесса концентраціи капиталовъ и обобществленія труда. Процессъ этотъ оба романиста представляютъ себѣ чисто-механическимъ въ томъ смыслѣ, что

никакія человѣческія условія не въ состояніи ни задержать его, ни отклонить. Но процессъ этотъ, какъ опять-таки оба романиста признаютъ, кладетъ на людей извѣстную печать, укрѣпляющуюся въ ряду поколѣній. Вотъ, напримѣръ, нѣсколько строкъ изъ описанія Беллами рабочаго квартала нынѣшняго Бостона: „Когда я проходилъ мимо, предо мною промелькнули блѣдныя лица дѣтей, задыхавшихся отъ удушливаго смрада, женщины съ выраженіемъ отчаянія на лицахъ, обезображенныхъ тяжкимъ трудомъ, не сохранившія изъ своихъ женскихъ свойствъ ни единой черты, кромѣ слабости, между тѣмъ какъ изъ оконъ съ наглымъ видомъ подмигивали дѣвушки. Подобно голоднымъ стаямъ ублюдковъ дворняжекъ, наводняющихъ улицы мусульманскихъ городовъ, ватаги полунагихъ, полудикихъ ребятишекъ наполняли воздухъ визгомъ и ругательствами, избивая другъ друга и падая на мусоръ, устилавшій дворъ дома“. И далѣе: „Тѣла ихъ представляли собою живые трупы. На каждомъ остервенѣломъ челѣ ясно было начертано „hic jacet“ (здѣсь покоится) душа, умершая въ немъ. Когда взоръ, пораженный ужасомъ, перебѣгалъ съ одной мертвой головы на другую, со мною вдругъ случилась странная галлюцинація. На каждой изъ этихъ звѣрскихъ масокъ, въ видѣ колеблющагося прозрачнаго призрака, я увидѣлъ идеалъ лица, которое могло-бы быть въ дѣйствительности, будь его умъ и душа живы“.

Почти тѣми-же самыми словами описываетъ Буажильберъ рабочій кварталъ Нью-Іорка XX вѣка. Пусть Буажильберъ ошибается, полагая, что эти неприглядныя черты сохранятся въ Бостонѣ-ли, или въ Нью-Іоркѣ черезъ сто лѣтъ; пусть правъ Беллами въ этомъ отношеніи. Но изъ его романа не видно, какими путями онѣ исчезли, какимъ образомъ произошло то мирное соглашеніе, которымъ смѣнилась взаимная вражда и началась эра всеобщаго благополучія. „Живые трупы“ и „звѣрскія маски“, равно какъ и соотвѣтствующія черты, накопившіяся на противоположномъ полюсѣ общественной жизни, воспитывались въ цѣломъ ряду поколѣній, воспитывались тѣмъ самымъ механическимъ историко-экономическимъ процессомъ, на который возлагаетъ свои надежды Беллами. Есть, слѣдовательно, значительная вѣроятность, что Америка подойдетъ къ вершинѣ процесса съ неумытымъ рыломъ, если позволено будетъ употребить такое выраженіе, и это неумытое рыло опредѣлитъ собою характеръ перевала по ту сторону вершины. Дѣло тутъ не въ одной психологіи, ибо

и самая физика американцевъ XX вѣка будетъ носить на себѣ печать пройденнаго тернистаго пути. А что это путь тернистый, признаетъ не только пессимистъ Буажильберъ, а и оптимистъ Беллами. Къ тому моменту, когда параллельные процессы обобществленія труда и концентраціи капиталовъ достигнутъ своей вершины и для Америки откроется перспектива счастія, насколько оно зависитъ отъ внѣшнихъ экономическихъ условій, обѣ стороны могутъ оказаться неспособными воспользоваться этими условіями осуществится басня о бѣлкѣ, которой досталась куча орѣховъ, когда у нея уже не было зубовъ. Трудъ обобществляется, но, обобществляясь, онъ подвергается такимъ лишеніямъ и обремененіямъ, которыя уродуютъ его представителей нравственно и физически; капиталъ концентрируется, но, концентрируясь, онъ вливаетъ въ душу своихъ представителей такую ненасытимую жажду наслажденія и открываетъ имъ въ этомъ отношеніи такія безконечныя перспективы, что и на этомъ полюсѣ слагаются всевозможныя нравственныя и физическія уродства. Моментъ окончательной встрѣчи этихъ двухъ скопленій уродствъ едва-ли можетъ имѣть тотъ идиллическій характеръ, который ему приписываетъ Беллами, и Буажильберъ несравненно былъ правѣе въ этомъ отношеніи. Не смотря на аляповатость красокъ Буажильбера, логически мыслимъ даже указываемый имъ конечный пунктъ: крушеніе цивилизаціи. Но фактически онъ долженъ встрѣтить и дѣйствительно встрѣчаетъ непреодолимыя для него препятствія.

Какъ-бы ни было велико значеніе экономическаго процесса, формулированнаго Марксомъ и положеннаго въ основаніе романовъ Беллами и Буажильбера, онъ не въ безвоздушномъ пространствѣ происходитъ. Его окружаютъ очень сложныя и разнородныя условія, и рядомъ съ этимъ происходятъ другіе историческіе процессы, то содѣйствующіе, то противодѣйствующіе ему, ускоряющіе, замедляющіе, отклоняющіе и перебивающіе его. Человѣческая душа не исчерпывается мыслями, чувствами и хотѣніями, непосредственно вытекающими изъ экономической сферы жизни. Такъ, напримѣръ, одно изъ новѣйшихъ, но быстро входящихъ въ общее сознаніе рѣшеній экономическаго вопроса— націонализація земли сама по себѣ не приведетъ даже къ экономическому миру и благополучію, пока не изсякнутъ источники національной вражды, а для этого потребуется весьма многое, частью имѣющее лишь весьма отдаленное отношеніе, а частью и

никакого отношенія не имѣющее къ спеціальной экономической сферѣ. И много найдется „забытыхъ словъ“, способныхъ волновать человѣческую душу и могущественно направлять человѣческую дѣятельность независимо отъ процесса, формулированнаго Марксомъ и даже вопреки ему. Обращая свой взоръ изъ гипотетической дали XX вѣка на нынѣшнее положеніе дѣлъ въ Америкѣ, Беллами говоритъ, что процессъ консолидаціи капиталовъ, страшною тяжестью отзываясь на рабочихъ массахъ, вызывалъ „отчаянные и напрасные протесты“; но къ началу XX вѣка „общественное мнѣніе вполнѣ созрѣло“ и „народное чувство по отношенію къ большимъ компаніямъ и ихъ представителямъ утратило свою горечь, такъ какъ народъ пришелъ къ убѣжденію въ ихъ необходимости, какъ звена, какъ переходной фазы въ развитіи истинной промышленной системы“. Предположивъ, что этотъ процессъ уже совершился, мы легко можемъ стать на точку зрѣнія доктора Лита, въ уста котораго Беллами влагаетъ эти ретроспективныя соображенія о нашихъ временахъ. Но пока „золотая будущность“, которую пророчитъ Беллами, есть только будущность, мы не можемъ съ спокойною совѣстью смотрѣть на тѣ „живые трупы“, которыми устилается дорога къ нему, не можемъ успокоиться на рѣшеніи, что всякіе протесты „напрасны“,—не можемъ, хотя-бы въ виду приведенныхъ соображеній о старой беззубой бѣлкѣ, получившей лишенную для нея всякой цѣности кучу орѣховъ. Если къ тому времени, когда обобществленіе труда, въ зависимости отъ техническихъ усовершенствованій промышленности, достигнетъ своего апогея, его представители окажутся „живыми трупами“ съ „остервенѣлыми“ лицами, то понятно, что они ничѣмъ не подорожатъ въ нашей цивилизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, что могутъ значить для этихъ „звѣрскихъ масокъ“ всѣ наши скопленныя вѣками сокровища науки и искусства, всѣ выстраданныя героями, мучениками и жертвами цивилизаціи нравственныя теоріи, всѣ свободныя учрежденія, всѣ „забытыя слова“, какъ совѣсть, честь и проч.? Но, къ счастью, эти слова не забыты въ европейско-американской цивилизаціи, и пока они не забыты, европеецъ можетъ относиться къ картинѣ крушенія, нарисованной Буажильберомъ, какъ къ предостереженію, но не какъ къ предсказанію, что, впрочемъ, оговариваетъ въ своемъ предисловіи и самъ Буажильберъ.

Если читатель обратится къ книжкѣ г. Гольденвейзера „Со-

ціальныя теченія и реформы XIX столѣтія въ Англіи", то на первыхъ-же страницахъ найдетъ сопоставленіе слѣдующихъ фактовъ.

Въ 1889 году въ Лондонѣ произошла стачка доковыхъ рабочихъ. Цифра участниковъ стачки была огромна: на пятый день послѣ начала стачки число забастовавшихъ рабочихъ достигло 150,000 человѣкъ. Другую особенность стачки составляло то обстоятельство, что къ ней пристали представители другихъ отраслей труда, непосредственно не заинтересованные успѣхомъ или неуспѣхомъ требованій доковыхъ рабочихъ. Третья особенность: „всѣ англійскія газеты открыли у себя подписку на поддержку забастовавшихъ; духовенство, аристократія, фабричные тузы и даже акціонеры доковыхъ предпріятій наперерывъ спѣшили гласно и негласно своими средствами облегчить бѣдствія, переносившіяся этою массою рабочихъ, переставшихъ получать свой обычный заработокъ на хлѣбъ насущный для себя и своихъ семей". Что касается самихъ рабочихъ, то они вели себя безукоризненно. Процессіи въ двадцать и въ тридцать тысячъ человѣкъ голодныхъ пролетаріевъ расхаживали по лондонскимъ улицамъ, среди всевозможныхъ соблазновъ богатѣйшаго города, не производя никакихъ насилій и грабежей, и слѣдственныя власти констатировали, что за пять недѣль стачки уголовная хроника Лондона не обогатилась *ни однимъ* преступленіемъ, которое можно-бы было поставить въ счетъ забастовавшимъ рабочимъ. Дѣло кончилось удовлетвореніемъ требованій стачечниковъ, но, хотя это результатъ тоже не безынтересный, дѣло для насъ теперь не въ этомъ. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ Англіи происходило сильное рабочее движеніе, но тогда, по выраженію Дизраэли, населеніе Англіи распалось на двѣ отдѣльныя націи, которыя были совершенно чужды другъ другу. Жестокая кровавая расправа шла съ обѣихъ сторонъ, и „звѣрскія маски" были, можетъ быть, недалеки отъ истины. Что-же въ теченіе послѣднихъ пятидесяти, шестидесяти лѣтъ произошло такого, что настолько измѣнило взаимныя отношенія различныхъ классовъ населенія, какъ это видно изъ исторіи стачки доковыхъ рабочихъ 1889 г.? Процессъ консолидаціи капиталовъ и обобществленія труда сдѣлалъ за это время огромные шаги впередъ, но самъ по себѣ не въ силахъ измѣнить нравственную физіономію рабочаго въ благопріятномъ для умиротворенія смыслѣ, да его и нѣтъ, этого умиро-

творенія. Что-же произошло? Этотъ вопросъ задаетъ себѣ г. Гольденвейзеръ и отвѣчаетъ на него своею книжкой, составленною, впрочемъ, по Шульце-Геверницу, на отвѣтственности котораго, повидимому, и должны лежать всѣ выводы г. Гольденвейзера.

Обозрѣвъ нѣкоторыя выдающіяся явленія англійской общественной жизни, г. Гольденвейзеръ заключаетъ: „Таковы значительные этапы, которые въ Англіи за послѣднія десятилѣтія, благодаря прогрессу наукъ, политической свободѣ, просвѣщенной религіозной проповѣди и ничѣмъ не стѣсненной личной иниціативѣ, а, главное, благодаря дружному взаимодѣйствію всѣхъ этихъ началъ, мирно отвоеваны альтруистическими идеями въ той самой области, которая еще недавно почиталась нормальною подъ безпредѣльнымъ и даже будто-бы никакимъ ограниченіямъ не подлежащимъ господствомъ экономическаго соревнованія и эгоизма“.

Въ этомъ окончательномъ выводѣ читатель замѣтитъ, можетъ быть, нѣкоторыя противорѣчія. Почему, спрашивается, авторъ воздаетъ хвалу „ничѣмъ не стѣсненной личной иниціативѣ“ и, въ то-же время, порицаетъ „никакимъ ограниченіямъ не подлежащее господство экономическаго соревнованія и эгоизма“? Это, впрочемъ, не столько противорѣчіе, сколько недоразумѣніе, которое выяснится для читателя изъ самой книжки. Старая доктрина экономическаго либерализма стояла за святость и благодѣтельность ничѣмъ не стѣсненной личной иниціативы или не подлежащаго ограниченіямъ экономическаго соревнованія только въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло шло о свободѣ дѣйствій предпринимателей. Освѣщеніе картины рѣзко измѣнялось, когда претензіи на такую-же свободу дѣйствій заявилъ рабочій. Иначе говоря, провозглашая свободу, какъ единоспасающій принципъ, экономическій либерализмъ предоставлялъ въ его вѣдѣніе совершенно опредѣленный, законченный кругъ установившихся фактическихъ отношеній. Поучительна въ этомъ смыслѣ долгая и упорная борьба за свободу союзныхъ организацій рабочихъ въ то самое время, когда предприниматели безпрепятственно входили въ разныя соглашенія между собой, имѣвшія также характеръ союзныхъ организацій. Съ теченіемъ времени, подъ давленіемъ частью текущихъ событій, въ которыхъ „отчаянные и напрасные протесты“ играли существенную роль, а частью разныхъ „забытыхъ словъ“, обстоятельства измѣнились, и нынѣ чистокровные либералы вродѣ Спенсера составляютъ между выдающимися людьми Англіи срав-

нительно большую рѣдкость. Г. Гольденвейзеръ приводитъ слѣдующій любопытный фактъ: изъ четырнадцати курсовъ политической экономіи, читанныхъ зимою 1887 г. въ Лондонѣ, восемь имѣли своими лекторами публицистовъ, которые въ ученомъ мірѣ пріобрѣли имя приверженцевъ соціализма. Молодые экономисты, услугами коихъ пользуется „университетское движеніе“, тоже почти исключительно принадлежатъ къ этому направленію. Собственно университетское движеніе состоитъ въ разнообразнѣйшихъ практическихъ предпріятіяхъ какъ въ Лондонѣ, такъ и въ провинціи, имѣющихъ цѣлью распространеніе въ рабочихъ классахъ знаній, предоставленіе имъ благородныхъ, отвлекающихъ отъ кабака развлеченій и всякаго рода матеріальной и духовной помощи. На этомъ поприщѣ могутъ, разумѣется, сходиться люди очень разныхъ убѣжденій, религіозныхъ и политическихъ, даже просто добрые люди, даже, наконецъ, люди, способные увлекаться всякою модой, въ чемъ-бы она ни состояла. Но какъ-бы ни были легковѣсны кое-какія подробности этого теченія и какъ-бы ни были разнородны, до полной противорѣчивости, практическіе планы серьезныхъ и сознательныхъ его участниковъ, это есть настоящее теченіе. Оно рѣзко разнится отъ доктрины стараго либерализма, такъ какъ требуетъ законодательнаго, правительственнаго вмѣшательства въ защиту рабочихъ классовъ, хотя, въ то-же время, широко пользуется просторомъ личной иниціативы для распространенія и осуществленія своихъ идей. Этотъ поворотъ въ средѣ англійской интеллигенціи, когда-то выставившей крупнѣйшихъ представителей экономическаго либерализма, вытекаетъ изъ общаго философскаго движенія, во главѣ котораго г. Гольденвейзеръ, слѣдуя Шульце-Геверницу, ставитъ Карлейля. Этимъ-то поворотомъ г. Гольденвейзеръ и объясняетъ разницу между событіями тридцатыхъ, сороковыхъ годовъ и исторіей стачки доковыхъ рабочихъ въ 1889 году. Очевидно, Англія плыветъ по историческому руслу, не имѣющему ничего общаго съ кануномъ „крушенія цивилизаціи“ Баужильбера. Передъ нами не два непримиримо-враждебные лагеря, между которыми невозможно никакое соглашеніе, не два стада звѣрей, ежеминутно готовыхъ ко взаимному истребленію, при чемъ должно погибнуть все выработанное и выстраданное вѣками. Г. Гольденвейзеръ, или Шульце-Геверницъ, идетъ такъ далеко, что установляетъ, по крайней мѣрѣ, теоретически, въ принципѣ, пол-

ную солидарность интересовъ капиталиста и рабочихъ, что и практически подтверждается образцами взаимныхъ уступокъ и соглашеній при посредствѣ разныхъ комитетовъ и третейскихъ судилищъ.

Можно сомнѣваться, чтобы эти частные примѣры соглашеній подтверждали общую мысль о солидарности интересовъ. Извѣстенъ математическій софизмъ, въ силу котораго Ахиллъ, бѣгающій во сто, въ тысячу, вообще во сколько угодно разъ быстрѣе черепахи, никогда, однако, ее не догонитъ, хотя разстояніе между ними и будетъ постоянно уменьшаться. Но вовсе не софизмомъ будетъ сказать, что интересы капиталиста и рабочихъ могутъ расходиться больше и меньше, но никогда не сольются или, что то же, сольются лишь тогда, когда сольются самыя функціи капитала и труда. Что-же касается настоящаго момента взаимныхъ отношеній различныхъ классовъ англійскаго населенія, то для характеристики его я приведу изъ книжки г. Гольденвейзера три факта.

Пасторъ Чарльзъ Лоудеръ, умершій въ 1880 г., двадцать одинъ годъ прожилъ въ самой заброшенной части Лондона, гдѣ на 753 дома приходилось 40 кабаковъ и 154 дома терпимости. Кромѣ исполненія своихъ прямыхъ священническихъ обязанностей, Лоудеръ обучалъ дѣтей, ходилъ за больными, обличалъ мѣстныхъ кулаковъ, кабатчиковъ и другихъ негодяевъ, эксплуатировавшихъ порочныя наклонности невѣжественнаго и нищаго населенія. Къ нему примкнуло нѣсколько молодыхъ помощниковъ. Не легко, однако, приходилось Лоудеру. Его помощники не разъ кулаками спасали его отъ разъяренной толпы босяковъ, которыхъ онъ облюбовалъ, которымъ всю свою жизнь отдалъ, но которыхъ подзадоривали противъ него кабатчики и прочія піявки, присосавшіяся къ народной нищетѣ и темнотѣ. Однажды они чуть не утопили его. Г. Гольденвейзеръ справедливо замѣчаетъ: „Такіе факты служатъ не только для оцѣнки дѣятельности Лоудера и его сотрудниковъ, но не въ меньшей мѣрѣ и для характеристики нравовъ и культурнаго состоянія обитателей цѣлыхъ кварталовъ въ величественномъ центрѣ промышленныхъ успѣховъ XIX вѣка. Картина получается такая, какую мы привыкли встрѣчать только въ описаніяхъ жизни первыхъ подвижниковъ христіанства въ станѣ язычниковъ“.

Нѣкто Титусъ Сольтъ устроилъ цѣлый рабочій городъ Солтэръ.

Здѣсь, кромѣ огромнаго фабричнаго зданія, имѣются благоустроенные домики для рабочаго населенія въ 4,000 человѣкъ, клубъ, зоологическій музей, художественныя мастерскія, церковь, школы, театръ. Не смотря, однако, на всѣ эти даровыя удобства, Солтэръ не избѣгъ стачекъ и забастовокъ и постепенно пустѣетъ. Это объясняется двумя параграфами устава Солтэра: во-первыхъ, ни одно изъ помѣщеній не подлежитъ отчужденію и не можетъ быть пріобрѣтено въ собственность рабочими; во-вторыхъ, на службу не принимается ни одинъ рабочій, принадлежащій къ какому-бы то ни было рабочему союзу. „Эти-то условія,—говоритъ г. Гольденвейзеръ,—отводили рабочій людъ отъ Солтэра со всѣми его даровыми удобствами жизни, ибо, въ сущности, за нихъ приходится платить, хотя не деньгами, но за то гораздо болѣе цѣнною нравственною жертвой: нужно отказаться отъ стремленія къ независимости и самостоятельности“.

Собственники одной изъ крупнѣйшихъ фабричныхъ фирмъ въ Гюддерсфельдѣ „Томсонъ и сынъ“ добровольно отреклись отъ всѣхъ исключительныхъ правъ своихъ и „превратили свое предпріятіе въ кооперативное между причастными къ нему рабочими. Представитель бывшей фирмы, Джоржъ Томсонъ, остающійся и понынѣ во главѣ новаго управленія предпріятіемъ, пояснилъ въ особомъ сочиненіи всѣ нравственныя и соціальныя основанія, побудившія его фирму къ этому шагу. Главнымъ образомъ, они сводятся къ идеямъ, провозглашеннымъ Карлейлемъ. Дѣло это продолжаетъ развиваться и процвѣтать попрежнему“.

Изъ массы фактовъ, приведенныхъ и не приведенныхъ въ книгѣ г. Гольденвейзера, я выбралъ эти три эпизода, потому что они, мнѣ кажется, наглядно иллюстрируютъ положеніе дѣлъ въ нынѣшней Англіи. Оно, очевидно, очень сложно и никоимъ образомъ не можетъ быть оцѣниваемо простымъ сопоставленіемъ событій тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ съ исторіей стачки 1889 года. Извѣстная часть рабочаго населенія находится на такомъ низкомъ уровнѣ благосостоянія и умственнаго и нравственнаго развитія, что надо еще очень и очень подождать съ рѣшеніемъ о мирномъ соглашеніи. Объ этомъ, какъ и самъ г. Гольденвейзеръ говоритъ, свидѣтельствуетъ исторія Лоудера. Въ свою очередь, исторіи Солтэра и фирмы „Томсонъ и сынъ“ указываютъ на уровень требованій наиболѣе развитой части рабочаго населенія. Съ другой стороны, всѣ три эпизода представляютъ собою

разнообразные отголоски движенія, несомнѣнно происходящаго въ средѣ дирижирующихъ классовъ Англіи. Подъ вліяніемъ частью страха и благоразумнаго разсчета, а частью искреннихъ великодушныхъ чувствъ, мыслящіе люди все болѣе и болѣе проникаются заботами о матеріальныхъ, умственныхъ и нравственныхъ интересахъ рабочаго класса. Одни дѣлаютъ по этому пути лишь нѣсколько шаговъ, другіе идутъ дальше; одни несутъ личную практическую дѣятельность, другіе—теоретическую мысль съ болѣе или менѣе широкимъ горизонтомъ. Во главѣ или средоточіи этого движенія г. Гольденвейзеръ ставитъ Карлейля, сильно преувеличивая значеніе знаменитаго мыслителя. Но это вопросъ исторіи литературы, котораго мы теперь не будемъ касаться. Во всякомъ случаѣ, движеніе существуетъ, и очень сильное, и, что особенно важно, жизнеспособное, т.-е. подлежащее дальнѣйшему развитію. Оно составляетъ залогъ довѣрія, съ которымъ цивилизація можетъ относиться къ своему будущему. Мудрено ожидать, чтобы историческая дорога лежала передъ человѣчествомъ такою чистою скатертью, какъ думаетъ Беллами, но отъ „крушенія“, по крайней мѣрѣ, на пунктѣ, намѣченномъ Буажильберомъ, цивилизацію можно считать гарантированною. Когда-то нищета и невѣжество рабочихъ массъ признавалась необходимымъ условіемъ цивилизаціи, что и заявлялось съ откровенною наглостью, даже почти невѣроятною. Поворотъ, указываемый книжкой г. Гольденвейзера, составляетъ наиболѣе характеристическую черту нашего времени.

XI *).

О г. Розановѣ и о томъ, почему онъ отказывается отъ наслѣдства.—О мозаичности культуры.—Славянофилы, „Московскія Вѣдомости“, „Гражданинъ“ и благонамѣренность. — Изъ поѣздки по Волгѣ и изъ исторіи русской цензуры.

Говорятъ, „Московскія Вѣдомости“ довольно часто оказываютъ мнѣ честь своимъ вниманіемъ. Пишу „говорятъ“, потому что вижу эту газету случайно, когда какой-нибудь добрый человѣкъ покажетъ или пришлетъ номеръ, представляющій, по его мнѣнію, особенный интересъ. Интереснаго попадается, пожалуй, и не мало, но очень ужъ все это однообразный интересъ, все варьяціи на одну и ту-же тему, которая давно оскудѣла-бы, если-бы не была скудна отъ рожденія, по самому существу своему. По-

*) 1892, сентябрь.

истинѣ, одна была пѣсня у волка, да и ту переняли. Право, даже радуешься, когда прочтешь что-нибудь, мало-мальски человѣческимъ языкомъ написанное.

Такъ именно порадовался я, прочитавъ въ № 199 „Московскихъ Вѣдомостей“ фельетонъ г. В. Розанова: „Можетъ-ли быть мозаична историческая культура“. Не то чтобы этотъ фельетонъ блестѣлъ особенною яркостью мысли или убѣдительностью изложенія, но съ г. Розановымъ, по крайней мѣрѣ, разговаривать можно, чего отнюдь нельзя сказать о какомъ-то Vox'ѣ, который раньше г. Розанова писалъ въ тѣхъ-же „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ по тому-же поводу. А поводъ далъ я, грѣшный, одной своею статьей, точнѣе сказать, однимъ мѣстомъ этой статьи. Vox пусть такъ и останется вопіять въ пустынѣ,—я не хочу портить его монологъ,—но съ г. Розановымъ, повторяю, говорить можно. При томъ-же, онъ сводитъ въ своемъ фельетонѣ нѣкоторые старые счеты со мной.

„Можетъ-ли быть мозаична историческая культура?“ Г. Розановъ любитъ заглавія въ вопросительной формѣ. Въ прошломъ году онъ напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, одну вслѣдъ за другою, статьи: „Почему мы отказываемся отъ наслѣдства?“ и „Въ чемъ состоитъ главный недостатокъ наслѣдства 60—70-хъ годовъ?“ Главнѣйшій изъ пунктовъ, по которымъ авторъ, отъ лица какихъ-то „мы“, отказывается отъ наслѣдства, поразилъ меня своею голословностью: ни единаго фактическаго доказательства г. Розановъ не привелъ. Удивленіе свое я выразилъ въ одномъ изъ „Писемъ о разныхъ разностяхъ“, которыя печаталъ тогда въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“. Г. Розановъ теперь возвращается къ своей прошлогодней темѣ. Мой упрекъ въ голословности онъ признаетъ справедливымъ и хочетъ теперь ввести въ свои разсужденія соотвѣтственную поправку, то-есть фактическое подтвержденіе. Матеріаломъ для этой поправки служатъ ему слѣдующія мои слова:

„Задача наша не въ томъ, чтобы выростить непремѣнно самобытную цивилизацію изъ собственныхъ національныхъ нѣдръ, но и не въ томъ, чтобы перенести къ себѣ западную цивилизацію цѣликомъ со всѣми раздирающими ее противорѣчіями: *надо брать хорошее отовсюду, откуда можно*, а свое оно будетъ, или чужое,—это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства. *Повидимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разгова-*

ривать не объ чемъ. Но очень часто бываетъ, что простыя и понятныя вещи съ большимъ трудомъ завоевываютъ себѣ мѣсто въ природѣ и умахъ человѣческихъ".

Курсивомъ напечатанныя здѣсь слова подчеркнуты не мною, а г. Розановымъ. Въ нихъ именно онъ видитъ фактическое подтвержденіе своей прошлогодней темы, которую формулируетъ теперь такъ: „главный ихъ недостатокъ заключается въ слабой вдумчивости, въ отсутствіи какой-либо сложности, какого-либо узора въ ихъ мышленіи". Видите-ли, — говоритъ г. Розановъ, — какъ это въ самомъ дѣлѣ просто и механически-грубо: „правила, удобныя для того, чтобы, руководясь ими, составить мозаику, прилагаются къ неизмѣримо болѣе сложному, трудному и таинственному живому росту". А таковъ духъ всей литературы 60—70-хъ годовъ, таковъ общій характеръ самой жизни въ періодъ реформъ и непосредственно за нимъ слѣдующій. Г. Розановъ соглашается, что „ни въ неустанной дѣятельности, ни въ настойчивости, ни въ готовности жертвовать собой у нихъ (людей того времени) не было недостатка. Но *какъ* жертвовать, но *за что* бороться, на *чемъ* слѣдуетъ созидать, этого они не понимали". И вотъ почему (если припомнить прошлогоднія статьи г. Розанова) „мы" „отказываемся отъ наслѣдства".

Увы, не смотря на категорическій тонъ г. Розанова, а, можетъ быть, напротивъ, именно вслѣдствіе этой категоричности тона, я и теперь не могу взять назадъ упрекъ въ голословности. Увѣреніе, что въ періодъ реформъ и непосредственно за нимъ слѣдующій мы не понимали какъ жертвовать, за что бороться, на чемъ слѣдуетъ созидать, — это увѣреніе рѣшительно виситъ на воздухѣ и ничѣмъ въ статьѣ не поддержано. И я считая себя въ полномъ правѣ противопоставить ему столь-же голословное и категорическое утвержденіе, что мы очень хорошо понимали какъ жертвовать, за что бороться, на чемъ слѣдуетъ созидать. Замѣтьте, что г. Розановъ не говоритъ: ошибочно или неправильно понимали, а не понимали — tout court. Но такъ какъ, съ одной стороны, увѣреніе г. Розанова стоитъ внѣ какой-бы то ни было связи съ вышеприведенными моими словами, составляющими главный сюжетъ его критики, и такъ какъ, съ другой стороны, я отнюдь не беру на себя роли адвоката всѣхъ дѣятелей 60—70-хъ годовъ на разныхъ поприщахъ, то и оставимъ это дѣло въ сторонѣ. Въ фельетонѣ г. Розанова съ изумительною легкостью за-

тронуто и порѣшено такъ многое, при томъ-же, выражается онъ подчасъ такъ вразумительно-витіевато, что дай Богъ хоть съ чѣмъ-нибудь справиться.

Прежде всего, кажется мнѣ достойнымъ вниманія, что г. Розановъ считаетъ „недостаткомъ“ вообще отсутствіе „*какого-либо* узора въ мышленіи“. Узоры вѣдь бываютъ разные, хорошіе и скверные, и, я думаю, всякій согласится, что лучше отсутствіе узоровъ, чѣмъ скверные узоры. Но для „отказывающихся отъ наслѣдства“ очень характерно это пристрастіе къ узорамъ вообще, къ узорамъ, какъ таковымъ. Всматриваясь въ ихъ писанія, вы видите, что простота и ясность мысли и даже изложенія имъ дѣйствительно претятъ. Они заботятся не о фонѣ, а о „какихъ либо“ узорахъ, и кривляются, кто во что горазд, до такой степени, что подчасъ и понять нельзя. Не разберешь, какъ они пишутъ—„мягкимъ гусинымъ перомъ или нѣсколько развязнымъ, размашистымъ языкомъ“. Это нелѣпое выраженіе, представляющее собою результатъ тяготѣнія къ узорочности, принадлежитъ одному изъ отказывающихся, съ которымъ, впрочемъ, у г. Розанова, кажется, не много общаго. Г. Розановъ хотя по временамъ и путается въ собственномъ узорочномъ краснорѣчіи, но, по крайней мѣрѣ, знаетъ, во имя чего онъ отказывается, и это отнюдь не фантастическая „новая мозговая линія“, а прямо и откровенно—славянофильство. Мы увидимъ, однако, далѣе, что жажда какого-либо узора въ мышленіи не способствуетъ различенію подлинныхъ узоровъ жизни.

Г. Розановъ можетъ возразить, что слова „какого-либо узора“—простая обмолвка, что онъ не простоту и ясность вообще разумѣлъ, а только такую простоту, которая въ области теоріи не покрываетъ мыслью сложность соотвѣтственныхъ явленій, или-же въ практической области предлагаетъ слишкомъ простыя средства для достиженія слишкомъ сложныхъ цѣлей. Я бы могъ многое сказать о томъ, какъ и почему въ періодъ нашего возрожденія кое-что дѣйствительно очень сложное казалось намъ очень простымъ. Но эта обширная тема не затрогивается примѣромъ, выбраннымъ самимъ г. Розановымъ.

Любопытнѣйшая особенность фельетона г. Розанова состоитъ вотъ въ чемъ. Вышеприведенныя мои слова онъ цитируетъ, какъ образчикъ мысли (или слабомыслія), характерный для всей литературы 60—70-хъ годовъ. Этимъ нѣсколькимъ строкамъ посчаст

ливилось, значитъ, представительствовать за цѣлое литературное теченіе. Между тѣмъ, возражая на эти нѣсколько строкъ, г. Розановъ, по пословицѣ, моимъ же добромъ да мнѣ-же челомъ бьетъ и главные свои аргументы заимствуетъ у меня-же. Это очень обыкновенная исторія. Сплошь и рядомъ отказывающіеся отъ наслѣдства расходуютъ именно это самое наслѣдство. Но обыкновенно это дѣлается или безсознательно, по невѣдѣнію и въ наивной увѣренности, что порохъ вотъ только что сейчасъ нами самими выдуманъ, или-же съ злостною цѣлью обморочить читающую публику. Г. Розановъ, надо отдать ему справедливость, чуждъ и этой наивности, и этой наглости. Онъ прямо указываетъ источникъ своей аргументаціи въ предложенной мною теоріи типовъ и степеней развитія. Онъ очень лестно отзывается объ этой теоріи и кладетъ ее во главу угла своихъ возраженій мнѣ-же. Я очень, конечно, горжусь лестнымъ отзывомъ одного изъ отказывающихся отъ наслѣдства, но, къ прискорбію моему, тутъ есть какое-то недоразумѣніе. Почтенный авторъ утверждаетъ, что „не можетъ, не отрекаясь отъ своихъ-же размышленій, не затирая, ради раздраженія сердца, плодовъ своей-же умственной работы, отвергнуть г. Михайловскій коренную правоту славянофильскаго ученія“. Осмѣливаюсь думать, что, напротивъ, очень могу. Извѣстной доли истины въ славянофильствѣ я никогда не отрицалъ и не отрицаю, какъ не отрицаю ея и въ западничествѣ, но „коренной правоты“ признать не могу. Однако, распространяться объ этомъ по поводу замѣчаній г. Розанова не вижу надобности и просто отсылаю интересующихся къ статьямъ о гр. Толстомъ, на которыя ссылается г. Розановъ, и къ послѣднимъ главамъ „Записокъ профана“, о которыхъ онъ не упоминаетъ. Не вижу надобности, во-первыхъ, потому, что это завлекло-бы насъ въ слишкомъ долгій разговоръ, а во-вторыхъ, потому, что мнѣ интересны собственныя соображенія господъ отказывающихся отъ наслѣдства, а не тѣ, которыя они заимствуютъ у насъ же. Для меня интересенъ здѣсь только самый фактъ заимствованія вполнѣ сознательнаго и откровеннаго. Значитъ, не все у насъ сплошь слабомысліе и „отсутствіе узора въ мышленіи“; значитъ, есть-же въ нашемъ наслѣдствѣ нѣчто такое, что представляетъ извѣстную цѣнность и для отказывающихся отъ наслѣдства. Присмотрѣвшись, они найдутъ, можетъ быть, и еще кое-что пригодное. Спрашивается, зачѣмъ-же такъ сплошь, огуломъ отказываться?

А если ужъ отказываться, такъ не надо заимствовать аргументы у насъ-же, изъ того самаго наслѣдства, отъ котораго, съ такою торжественностью отказываются; надо довольствоваться „отсебятиной“, какъ выражался Аполлонъ Григорьевъ, или-же искать себѣ опоры гдѣ-нибудь въ третьемъ мѣстѣ.

Если исключить изъ фельетона г. Розанова возраженія, основанныя на теоріи типовъ и степеней развитія, то останется упрекъ въ эклектизмѣ. Авторъ спрашиваетъ: „Не извѣстно-ли г. Михайловскому, что на развалинахъ философскихъ системъ, столь нетерпимыхъ одна къ другой, столь исключительныхъ обычно, появляются *эклектики*, которые, изучая всѣ предшествующія системы, избираютъ изъ нихъ наиболѣе совершенныя и, согласуя ихъ между собою, соединяя въ трудахъ своихъ наилучшее изъ каждой системы, создаютъ новыя ученія? Но долговѣчны-ли онѣ, но значущи-ли? О, г. Михайловскій не „эклектикъ“, онъ не допуститъ рядомъ съ извѣстнымъ утвержденіемъ лежать другому, изъ чужого огорода. Онъ понимаетъ, что такое „цѣлость“; а если онъ понимаетъ это въ воззрѣніяхъ, то не можетъ не понять и въ исторіи“.

Да, мнѣ извѣстно кое-что объ электикахъ. И если мы остановимся на той философской школѣ, которой обыкновенно усвоивается это имя, на школѣ Виктора Кузена, то я подчеркнулъ-бы двѣ ея особенности. Во-первыхъ, эклектики a priori полагали, что во всякой философской системѣ заключается доля истины; во-вторыхъ, они не выставили достаточно яснаго собственнаго критерія, съ помощью котораго надлежитъ отличать истину отъ заблужденія, и думали, что результатъ этотъ можетъ быть достигнутъ простымъ сопоставленіемъ различныхъ системъ. Эти двѣ черты характеризуютъ эклектизмъ въ отличіе отъ самостоятельныхъ и цѣлостныхъ философскихъ системъ. Всѣ люди другъ у друга учатся, всѣ заимствуютъ свои идеи и знанія изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ, но не всѣ-же эклектики. Всякій мыслитель, принимаясь за новую философскую систематизацію идей и вещей, изучаетъ или-же, по крайней мѣрѣ, долженъ изучать системы своихъ предшественниковъ и беретъ изъ нихъ то, что считаетъ истиной, отвергая то, что ему кажется заблужденіемъ. Такъ поступаетъ всякій, и иначе поступать никто не можетъ, какъ-бы ни былъ великъ и оригиналенъ его собственный вкладъ въ сокровищницу мысли. Но творецъ цѣлостной и само-

стоятельной системы отнюдь не убѣжденъ, что въ философскихъ построеніяхъ *всѣхъ* его предшественниковъ содержится истина, лишь осложненная или затуманенная заблужденіемъ. Если-бы даже таковымъ и оказался результатъ его изученія (чего быть не можетъ), то это будетъ именно результатъ, а не исходная точка, а priori установленная. Далѣе, самостоятельный мыслитель не предоставляетъ дѣло отличенія истины отъ заблужденія процессу сопоставленія различныхъ системъ, а выдвигаетъ опредѣленный критерій истины. Такъ стоитъ дѣло относительно „воззрѣній", такъ-же стоитъ оно и по отношенію къ „исторіи". Кто предлагаетъ своему отечеству „брать хорошее отовсюду, откуда можно", то-есть у себя-ли дома, или изъ-за границы, тотъ лишь въ такомъ случаѣ окажется политическимъ эклектикомъ, если 1) не *послѣ*, а *до* изслѣдованія рѣшитъ, что хорошее есть вездѣ, во всѣхъ политическихъ формахъ или вообще формахъ общежитія, а 2) не установитъ опредѣленнаго принципа, на основаніи котораго слѣдуетъ различать хорошее и дурное. О первомъ условіи нечего и говорить. Что-же касается второго, то, продолживъ цитату вышеупомянутой моей статьи, г. Розановъ довелъ-бы до свѣдѣнія своихъ читателей, что, по моему мнѣнію, литература 60—70 годовъ имѣла совершенно ясный критерій политическаго добра и зла, а именно принципъ „интересовъ только что освобожденнаго народа". Г. Розановъ могъ оспаривать удовлетворительность этого критерія или доказывать, что обличаемое имъ литературное теченіе этимъ критеріемъ вовсе не руководствовалось, но, разъ онъ указанъ, собственно объ эклектизмѣ не можетъ быть и рѣчи, и сама собою падаетъ вся соотвѣтственная часть обличенія г. Розанова. Тѣмъ болѣе, что онъ оставилъ безъ всякаго вниманія оговорку относительно „практическаго удобства". Но г. Розановъ не удерживается на обвиненіи въ эклектизмѣ.

Извѣстно, что споры какъ устные, такъ и печатные, очень часто и даже, можетъ быть, въ большинствѣ случаевъ не приводятъ спорящихъ къ соглашенію: обѣ стороны остаются при своемъ. И это иногда при полной добросовѣстности обѣихъ сторонъ. Въ числѣ причинъ такой безрезультатности споровъ едва ли не первое мѣсто занимаетъ взаимное непониманіе, и я боюсь, что мы съ г. Розановымъ находимся именно въ такомъ неудобномъ положеніи... Возражая мнѣ, онъ отстаиваетъ славянофильство и пророчитъ ему торжество въ будущемъ въ ущербъ запад-

ничеству, которое, дескать, теперь лишь временно торжествуетъ. Каковы-бы ни были эти пророчества и сѣтованія сами по себѣ, но, въ видѣ возраженій мнѣ, они по малой мѣрѣ неумѣстны. Я отнюдь не бралъ на себя защиту западничества и утверждалъ, напротивъ, что оно есть такой-же пройденный пунктъ нашего историческаго развитія, какъ и славянофильство. На развалинахъ этихъ двухъ ученій въ шестидесятыхъ годахъ выросло новое, которое г. Розановъ называетъ эклектическимъ. Это—недоразумѣніе, эклектизма здѣсь нѣтъ, но и предполагаемый г. Розановымъ эклектизмъ не есть все-таки западничество, а потому горячее обличеніе западничества въ несостоятельности есть плодъ новаго недоразумѣнія.

Спѣшу прибавить, что если г. Розановъ не совсѣмъ ясно понялъ отстаиваемую мною точку зрѣнія, то, въ свою очередь, и я многаго не понимаю въ занятой имъ позиціи. Какъ уже сказано, я не понимаю его отношенія къ „наслѣдству“, отъ котораго онъ отказывается и изъ котораго, однако, въ то-же время, черпаетъ свои главные доводы. Не понимаю я, далѣе, кто эти „мы“, отъ имени которыхъ г. Розановъ отказывается отъ наслѣдства. Онъ предлагаетъ мнѣ „принять всю славянофильскую точку зрѣнія“, изъ чего, равно какъ и изъ другихъ его выраженій, слѣдуетъ заключить, что онъ славянофилъ или считаетъ себя славянофиломъ. Значитъ-ли это, что всѣ „мы“—славянофилы? Но я не понимаю и отношенія г. Розанова къ славянофиламъ.

Характеризуя эпоху реформъ, г. Розановъ замѣчаетъ: „Византійская церковь, французскіе суды, германское воспитаніе, англійское мѣстное самоуправленіе, и только русская самодержавная власть,—могло-ли и можетъ-ли все это существовать одно возлѣ другого, безъ нѣкотораго тонкаго антагонизма, хотя-бы выраженнаго, до времени, въ индифферентизмѣ каждой части къ остальнымъ?“ И т. д. Остановимся на одномъ изъ разнородныхъ элементовъ, перечисляемыхъ г. Розановымъ, на судебной реформѣ, и посмотримъ, какъ относились къ ней славянофилы.

Данилевскій, книга котораго считается многими чѣмъ-то вродѣ славянофильскаго корана, писалъ: „Можетъ показаться, что судебная реформа есть не что иное, какъ пересадка западнаго судебнаго устройства. Но, во-первыхъ, она замѣнила или замѣняетъ собой съ запада-же заимствованную форму суда, а если заимствовать, то, конечно, лучше заимствовать хорошее, чѣмъ дурное.

Во вторыхъ, если разсмотрѣть элементы, изъ которыхъ состоитъ новое судебное устройство, то не трудно убѣдиться, что спеціально западное играетъ въ немъ весьма второстепенную роль. Именно элементы эти суть: гласность и изустность суда, независимость его отъ администраціи, отсутствіе въ судѣ сословности и, наконецъ, адвокатура. Гласность и изустность были и у насъ исконными формами суда. Независимость отъ администраціи есть необходимое слѣдствіе усложненія гражданской жизни. Слѣды ея видны въ старомъ русскомъ судѣ губными старостами... Судъ присяжныхъ по совѣсти есть начало по преимуществу славянское. Слѣдовательно, мы воротили только свое. Что касается адвокатуры, то она является требованіемъ неспособности человѣческой природы къ полному безпристрастію“ („Россія и Европа“, стр. 294; цитирую по первому изданію).

Вы видите, что о „французскихъ судахъ“, въ указанномъ съ славянофильской точки зрѣнія смыслѣ, у Данилевскаго нѣтъ и помину: судебная реформа признается благодѣтельною, частью какъ возрожденіе чисто-національныхъ, русскихъ или славянскихъ учрежденій, частью на основаніи соображеній объ общихъ свойствахъ человѣческой природы и объ усложненіи гражданской жизни. Какъ-бы мы ни относились къ воззрѣніямъ Данилевскаго, но онъ, очевидно, не согласился-бы съ г. Розановымъ, что судебная реформа есть чужой и, въ качествѣ чужого, вредный клинъ, искусственно или „мозаично“ вбитый въ русскую жизнь.

Обратимся къ другому видному славянофилу, къ Ивану Аксакову, много писавшему о новомъ судѣ и въ ожиданіи его, и послѣ его введенія. Отношеніе Аксакова къ судебной реформѣ было колеблющееся. Не слѣдя за всѣми этими колебаніями, не касавшимися, впрочемъ, самаго существа дѣла, я приведу лишь нѣкоторыя поучительныя для насъ съ г. Розановымъ мѣста изъ статей Аксакова въ „Днѣ“, „Москвѣ“ и „Руси“. О „французскихъ судахъ“ Аксаковъ говорилъ съ укоризной, но въ томъ смыслѣ, что „это превосходное англійское учрежденіе (судъ присяжныхъ) въ нашемъ проектѣ является во французскомъ исправленномъ переводѣ“ („Полное собраніе сочиненій“, IV, стр. 544). И въ другомъ мѣстѣ: „Мы съ горячимъ сочувствіемъ отнеслись и къ принципу гласности, и къ принципу суда присяжныхъ, жалѣя только, что образцомъ послѣдняго были приняты французскіе, а не англійскіе порядки“ (стр. 669). Такимъ образомъ, если

Аксаковъ не одобрялъ прививки къ намъ французскихъ судебныхъ порядковъ, то лишь потому, что предпочиталъ имъ англійскіе. Затѣмъ читаемъ: „Мы привѣтствуемъ въ новомъ порядкѣ тѣ начала, которыя, даруя большій просторъ общественной самодѣятельности, даютъ тѣмъ самымъ возможность народной русской стихіи выработать свои юридическія основы или пересоздать, или претворить, или свободно усвоить то, что въ новомъ порядкѣ есть общечеловѣческаго и истиннаго“ (стр. 544). „Открытость и гласность суда—это такой переворотъ въ нашемъ общественномъ быту, что трудно даже обхватить мыслью весь объемъ его послѣдствій. Возьмите сборникъ русскихъ пословицъ Даля, прочтите тамъ всѣ отмѣтины, которыми зарублена въ народной памяти исторія нашихъ судебныхъ учрежденій, вглядитесь въ черты, которыми охарактеризовалъ онъ этотъ міръ судей, дьяковъ, подьячихъ и приказныхъ... По совѣсти мы не можемъ объяснять это народное воззрѣніе на судъ только чуждымъ происхожденіемъ настоящаго судебнаго порядка. Большая часть пословицъ о судѣ древнѣе Петровской реформы“ (стр. 553). „Ждать! Но если время не ждетъ, если почему-либо преобразованіе представляется неотложною необходимостью? Если, напримѣръ, старый судебный порядокъ, развившись до безобразія, долѣе терпимъ быть не можетъ? Что дѣлать законодателю, если онъ не находитъ возможнымъ отсрочить реформу? Откуда взять *новое? Своего готоваго* нѣтъ, потому что старый судебный порядокъ мы даже и своимъ назвать не можемъ, а если даже признать въ народѣ присутствіе своеобразнаго юридическаго созерцанія, то оно еще такъ не выяснено, что полагать его въ основу какого-нибудь законодательнаго зданія, какъ готовый матеріалъ, невозможно. Приходится по необходимости брать *готовое чужое* и переносить на русскую почву“ (стр. 571). „Едва-ли какое преобразованіе, кромѣ уничтоженія крѣпостного права, такъ быстро принялось на нашей почвѣ, такъ быстро пустило корни въ народное, именно въ народное и даже простонародное сознаніе, какъ новыя судебныя учрежденія“ (стр. 593).

Я не считаю нужнымъ разбирать противорѣчія различныхъ представителей славянофильскаго ученія и сводить на очную ставку мнѣніе Данилевскаго, что въ судебной реформѣ мы „воротили только свое“, и мнѣніе Аксакова, что мы по необходимости взяли „готовое чужое“. Для меня интересно не то, въ

чемъ расходятся эти два яркіе представителя славянофильства, а, напротивъ, то, на чемъ они сходятся. Потому-ли, что новый судъ былъ возрожденіемъ древне-русскаго и вообще славянскаго начала, или потому, что онъ содержитъ въ себѣ общечеловѣческую правду, равно для всѣхъ народовъ пригодную на извѣстной ступени развитія, но фактъ тотъ, что оба названные писателя признавали судебную реформу благодѣтельною и отнюдь не видѣли въ ней того, что видитъ г. Розановъ: одинъ изъ элементовъ безсмысленной „мозаики“. Конечно, ничто не мѣшаетъ г. Розанову быть вполнѣ самостоятельнымъ и въ мнѣніяхъ своихъ независимымъ, но, въ такомъ случаѣ, возникаетъ сомнѣніе: имѣетъ-ли онъ право приглашать меня или кого-бы то ни было „принять всю славянофильскую точку зрѣнія“? Каково его собственное отношеніе къ славянофиламъ? Я не знаю. Боюсь, что и въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ болѣзнью (мнѣ кажется, что это болѣзнь), очень распространенною въ нынѣшней литературѣ. Никогда, кажется, люди не говорили съ такою развязностью и даже горячностью о вещахъ, имъ неизвѣстныхъ или мало извѣстныхъ. Рѣшаюсь высказать предположеніе, что, можетъ быть, и г. Розановъ беретъ подъ свое покровительство славянофиловъ, не освѣживъ въ своей памяти ихъ ученій. Дѣло не только во „французскихъ судахъ“. Я ихъ взялъ лишь какъ образчикъ, во многихъ отношеніяхъ болѣе удобный, чѣмъ остальные перечисленные г. Розановымъ элементы „мозаики“ шестидесятыхъ годовъ.

Не измѣнилъ-ли Аксаковъ славянофильской точкѣ зрѣнія, когда привѣтствовалъ „готовое чужое“ и выбиралъ между англійскими и французскими судебными порядками, отдавая предпочтеніе первымъ, какъ „превосходному учрежденію“? Безъ всякаго сомнѣнія, измѣнилъ, хотя, конечно, никогда-бы не сознался въ этомъ. Можетъ поэтому показаться, что г. Розановъ глубже и послѣдовательнѣе Аксакова держится славянофильской точки зрѣнія. Дѣло, однако, совсѣмъ не въ томъ. Тѣ колебанія, съ которыми Аксаковъ встрѣтилъ судебную реформу, очень характерны. Иванъ Аксаковъ не былъ однимъ изъ творцовъ славянофильской доктрины. Онъ лишь воспринялъ ученіе своихъ предшественниковъ и въ теченіе многихъ лѣтъ съ большимъ, хотя нѣсколько

напыщеннымъ талантомъ прилагалъ его къ разнообразнымъ практическимъ вопросамъ. И какъ только въ его лицѣ славянофильство прикоснулось къ житейской практикѣ, такъ и оказалась его несостоятельность. Славянофильство—своего рода Антей навыворотъ: но оно было сильно своею цѣльностью и послѣдовательностью, пока висѣло на воздухѣ, въ области отвлеченныхъ теоретическихъ положеній, и разбилось, какъ только упало на землю, что по необходимости должно было случиться въ эпоху реформъ. „На воздушномъ океанѣ“ отвлеченности, въ атмосферѣ бездѣйствія, на которое суждено было русское общество въ дореформенное время, можно было разсуждать о гніеніи „запада“ или „романо-германскаго“ міра и о вѣковѣчной особенности и превосходствѣ „славяно-русскаго міра“. Это не могло имѣть сколько-нибудь значительныхъ и осязательныхъ практическихъ послѣдствій, которыя служили-бы провѣркой теоретическихъ положеній, не налагало поэтому и большой отвѣтственности на уединенную кучку мыслителей, въ тиши своихъ кабинетовъ строившихъ красивыя теоріи. Но когда общество получило хоть малую возможность дѣйствовать на благо своей родины, какъ его каждый понималъ, славянофилы, по всѣмъ существеннымъ вопросамъ нашей внутренней жизни, тщетно старались сохранять свою особность. Это особенно замѣтно на Иванѣ Аксаковѣ, потому что ему больше и дольше другихъ славянофиловъ приходилось отзываться на злобы дня. Онъ сохранилъ до конца дней своихъ славянофильскій жаргонъ и нѣкоторые внѣшніе пріемы аргументаціи, но и для него, какъ мы видѣли, въ Пандориномъ ящикѣ „романо-германскаго міра“ нашлись „превосходныя учрежденія“, которыя, будучи „готовымъ чужимъ“ добромъ, тѣмъ не менѣе, „быстро пустили корни въ народное, именно въ народное и даже простонародное сознаніе“. Г. Розановъ можетъ называть это „мозаикой“ и „эклектизмомъ“, если ему такъ хочется, но съ этимъ упрекомъ онъ долженъ обратиться не только къ такъ называемымъ людямъ 60 — 70-хъ годовъ, а и къ славянофиламъ. Эпоха шестидесятыхъ годовъ упразднила славянофиловъ (какъ и западниковъ), которые, сохранивъ лишь, такъ сказать, словесную одежду, установленную традиціей, по существу, распустились въ массѣ разнаго наименованія работниковъ, правыхъ и лѣвыхъ, правыхъ и неправыхъ. Да и словесная-то одежда истлѣла со смертью Аксакова. Г. Розановъ полагаетъ, что „въ нежеланіи

громаднаго большинства людей сколько-нибудь напрягать свою мысль лежитъ вся причина нераспространенности ученія славянофиловъ". Но вѣдь громадное большинство людей никогда не бываетъ склонно напрягать свою мысль; между тѣмъ, славянофильство выставило когда-то цѣлую группу оригинальныхъ и блестящихъ представителей, а теперь рѣчь можетъ идти не о „нераспространенности" славянофильства, а о его смерти. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, признать г. Шарапова наслѣдникомъ мысли Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ, Хомякова. И умерло славянофильство отнюдь не потому, что, какъ думаетъ г. Розановъ, оно было слишкомъ сложно и глубоко и требовало слишкомъ большого напряженія мысли. Оно умерло, напротивъ, отъ своего несоотвѣтствія съ усложнившимися задачами жизни, отъ узости своихъ формулъ и догматовъ.

Въ одной изъ своихъ статей въ газетѣ „День" за 1861 годъ Аксаковъ металъ громы въ русскую юриспруденцію и въ русское образованное общество вообще за его незнакомство съ нашимъ обычнымъ правомъ, за его презрѣніе къ неписаннымъ законамъ, которыми руководствуются въ своемъ обиходѣ милліоны русскаго народа. Упрекъ, конечно, справедливый, но совсѣмъ несправедлива общая, впрочемъ, всѣмъ славянофиламъ мысль Аксакова, что русское обычное право есть нѣчто исключительное, равно далеко отстоящее и отъ дѣйствующаго законодательства, и отъ обычнаго права и писаннаго закона другихъ народовъ, и отъ принциповъ права, вырабатываемыхъ общечеловѣческимъ сознаніемъ. Почему-то Аксаковъ съ особенною настойчивостью указывалъ на законы объ опекѣ и имуществѣ малолѣтнихъ. Между тѣмъ, вотъ что читаемъ мы, напримѣръ, у покойнаго Оршанскаго, одного изъ немногихъ нашихъ юристовъ, пристально интересовавшихся обычнымъ правомъ, и, при томъ, отнюдь не склоннаго къ такъ называемому „европейничанью". Сравнивъ наше обычное право опеки съ германскимъ обычнымъ правомъ и съ нашими и иностранными законодательствами, Оршанскій заключаетъ: „Изъ этихъ указаній видно, что народные обычаи относительно опеки сходятся во всемъ существенномъ съ народнымъ правомъ Западной Европы, тогда какъ опека по „Своду" во многомъ отличается отъ того, что выработано другими народами по этому предмету" („Народный судъ и народное право" въ „Изслѣдованіяхъ по русскому праву обычному и брачному", стр. 59). Далѣе,

говоря о положеніи незаконнорожденныхъ, Оршанскій замѣчаетъ: „Народные обычаи здѣсь приближаются болѣе (сравнительно со „Сводомъ“) не только къ началамъ западныхъ законодательствъ, но и къ ученію греческой церкви, признаваемой за основаніе нашего оффиціальнаго семейнаго права“ (стр. 85). Еще по одному пункту Оршанскій говоритъ: „Народный судъ придерживается относительно этого предмета такихъ началъ, которыя почти во всемъ сходятся съ принципами науки права и западно-европейской юриспруденціи“ (стр. 95). И т. д.

Всякій, сколько-нибудь интересовавшійся обычнымъ правомъ, знаетъ, что подобныхъ примѣровъ можно набрать много. Если я остановился на Оршанскомъ, такъ потому, что Аксаковъ какъ разъ напиралъ на опеку, относительно которой Оршанскій выражается съ особенною ясностью. Во всякомъ случаѣ, приведенныхъ примѣровъ достаточно, чтобъ убѣдиться въ неосновательности спеціально-славянофильскихъ надеждъ, которыя Аксаковъ возлагалъ въ 1861 г. на изученіе обычнаго права. Изученіе это, нынѣ уже значительно подвинувшееся впередъ, прежде всего, разбиваетъ иллюзію какой-то коренной противоположности началъ, опредѣляющихъ характеръ Востока и Запада, славяно-русскаго и романо-германскаго міровъ. Но и самъ романо-германскій міръ, какъ нѣчто единое и цѣльное, оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи иллюзіей, ибо въ немъ рядомъ живутъ крайне разнообразныя и даже рѣзко противоположныя начала. Не говоря о, такъ сказать, вертикальныхъ или національныхъ различіяхъ, мы видимъ еще различія горизонтальныя, въ видѣ разныхъ общественныхъ наслоеній. Видимъ, далѣе, область идеаловъ, элементовъ, еще только пробивающихся въ жизнь и враждебно сталкивающихся съ существующимъ порядкомъ и его юридическою санкціей; видимъ дѣйствующее законодательство и неписанный законъ, обычное право, представляющее собою все еще живой остатокъ старины. Окрестить всю эту пеструю жизнь неопредѣленнымъ именемъ „романо-германскаго міра“ и свести ее всю къ одному цвѣту и тону—значитъ совершенно незаконно отказаться отъ „узоровъ мышленія“, которые такъ дороги г. Розанову. Извѣстно, что когда путешественникъ въѣзжаетъ въ новую, незнакомую ему страну, то всѣ туземцы кажутся ему на одно лицо, онъ съ трудомъ оріентируется въ разнообразіи ихъ физіономій. Такъ было и съ нами на первыхъ порахъ нашего знакомства съ

Европой: все „нѣмцы“ и никакихъ при этомъ „узоровъ“; а изъ взаимныхъ отношеній извѣстно лишь, что „нѣмецъ“ — нехристи, а мы истиннаго Бога исповѣдуемъ, да еще—что русскому здорово, то нѣмцу смерть. Отъ этого примитивнаго взгляда не далеко ушло представленіе о „романо-германскомъ мірѣ“, цѣльномъ, единомъ и по существу своему противоположномъ міру славяно-русскому. Эта штука очень стара, и ее давно бросить пора. Она еще, пожалуй, была простительна тридцать лѣтъ тому назадъ, когда Аксаковъ имѣлъ до извѣстной степени право негодовать слѣдующимъ образомъ: „Мы утверждаемъ, что ни одинъ изъ такъ называемыхъ русскихъ юристовъ, ни одинъ профессоръ права въ юридическихъ факультетахъ всѣхъ нашихъ университетовъ безъ исключенія не въ состояніи объяснить, да и положительно не знаетъ законовъ о порядкѣ наслѣдства, объ опекѣ и имуществѣ малолѣтнихъ и другихъ многочисленныхъ законовъ, которыми тысячу лѣтъ руководился въ его отечествѣ его-же народъ,—сорокъ милліоновъ его русскихъ братій! Неужели эти законы не заслуживаютъ вниманія русскихъ ученыхъ? Неужели мы дождемся того, чтобы къ намъ пожаловалъ какой-нибудь любознательный нѣмецъ и сталъ-бы самъ нѣмецъ насъ самихъ учить нашему русскому common law и духовной независимости отъ нѣмцевъ?“

Съ тѣхъ поръ, какъ были написаны эти строки, прошло тридцать лѣтъ, и въ эти тридцать лѣтъ много воды утекло. Нельзя, разумѣется, сказать, чтобы мы ужъ такъ вполнѣ знали свой народъ, но, во всякомъ случаѣ, изученіе его значительно подвинулось. Однако, изученіе это приводитъ насъ совсѣмъ не къ тому, чего ожидалъ Аксаковъ. Онъ надѣялся, что изученіе нашего обычнаго права особенно рѣзко отграничитъ насъ отъ романо-германскаго міра, утвердитъ нашу „духовную независимость“ отъ нѣмцевъ и оправдаетъ пословицу: „что русскому здорово, то нѣмцу смерть“. Безъ сомнѣнія, кое-какія особенности и выяснились, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оказалось, что весьма многое здоровое русскому очень здорово и „нѣмцу“. Если, въ противность предположенію Аксакова, наши „народные обычаи относительно опеки сходятся во всемъ существенномъ съ народнымъ правомъ Западной Европы, тогда какъ опека по „Своду“ во многомъ отличается отъ того, что выработано другими народами по этому предмету“, то вѣдь мужикъ, пожалуй, на этомъ пунктѣ большее европеецъ, чѣмъ мы, живущіе по писанному закону и уличаемы

славянофилами въ европейничаньи. Если относительно наслѣдства незаконнорожденныхъ „народные обычай приближаются болѣе (чѣмъ наши законы) къ началамъ западныхъ законодательствъ“, а относительно обязательности договора „народный судъ придерживается такихъ началъ, которыя почти во всемъ сходятся съ принципами науки права и западно-европейской юриспруденціи“, то опять-таки европейцами называемся не мы, образованные или привилегированные классы, живущіе подъ сѣнію „Свода“, а мужики. Это былъ-бы безукоризненный логическій выводъ, если-бы слово „европеецъ“ заключало въ себѣ вполнѣ опредѣленный смыслъ. Наши предки понимали, что значитъ „нѣмецъ“—нѣмой, не умѣющій говорить по-русски, и вообще чужой человѣкъ. Но для насъ такая простота невозможна, хотя-бы уже потому, что въ приведенныхъ словахъ Оршанскаго извѣстные пункты нашего обычнаго права сближаются то съ „народнымъ правомъ Западной Европы“, то съ „западными законодательствами“, то съ „принципами науки права и западно-европейской юриспруденціи“. А это все далеко не одно и то-же. Для насъ „нѣмецъ“ или „европеецъ“ давнымъ давно распался на множество самостоятельныхъ фигуръ, у каждой изъ которыхъ есть свой особый обликъ, своя особая житейская тенденція: тутъ и англійскій лордъ, и итальянскій нищій, и нѣмецкій ученый, и французскій крестьянинъ, и англійскій фабричный рабочій, и нѣмецкій офицеръ, и французскій буржуа, и католикъ, и свободный мыслитель, и Карлейль, и Оффенбахъ, и Бисмаркъ, и Шиллеръ, и проч., и проч. Таковъ „романо-германскій міръ“. Менѣе, конечно, пестръ и сложенъ міръ славяно-русскій, потому что многое, таящееся въ немъ въ видѣ зародыша, еще не получило, по разнымъ обстоятельствамъ, достаточнаго развитія. Однако, и здѣсь не трудно усмотрѣть рѣзкія противорѣчія интересовъ и тенденцій. Спрашивается: какъ слѣдуетъ относиться къ этимъ пестрымъ узорамъ, вышитымъ исторіей на фонѣ жизни? Прежде всего, надлежитъ, конечно, признать самый фактъ пестроты узоровъ. Это требованіе элементарное. А затѣмъ можно удовлетвориться этимъ фактомъ или даже возвести его въ принципъ и жить, какъ Богъ на душу положитъ, среди сѣти противорѣчій, борьбы, антагонизма. Но можно, напротивъ, всю жизнь положить на пріисканіе и осуществленіе принципа, который разсортировалъ-бы интересы и тенденціи по степени ихъ законности, по степени ихъ соотвѣтствія съ правдой-

истиной и правдой-справедливостью, и собралъ-бы вокругъ себя все лучшее и жизнеспособное и разогналъ все темное и низкое. Разумѣется, многіе изъ наличныхъ узоровъ должны при этомъ пропасть, но это дѣло будущаго, дѣло борьбы и труда, дѣло торжества единой правды. Г. Розанову такое отношеніе къ жизни кажется свидѣтельствомъ „отсутствія какой-либо сложности, какого-либо узора въ мышленіи". Это—замѣчательная въ своемъ родѣ ошибка, ибо отсутствіе сложности и узора въ мышленіи обнаруживаетъ именно г. Розановъ, когда, вслѣдъ за славянофилами, всю пестроту исторіи и жизни подводитъ подъ грубыя рубрики двухъ странъ свѣта: востокъ и западъ. При этомъ, какъ оно и при славянофилахъ было, западъ или романо-германскій міръ сплошь окрашенъ краской вражды и злобы, а „русскій народъ проникнутъ началомъ гармоніи, примиренія".

Ахъ, читатель! Вы не можете себѣ представить, до какой степени скучно иной разъ бываетъ писать о нѣкоторыхъ явленіяхъ современной литературы. Скучно и стыдно. Сорокъ лѣтъ тому назадъ Константинъ Аксаковъ писалъ то-же самое, что теперь пишетъ г. Розановъ, но восторженная искренность и наивная вѣра, сквозившая въ каждой строкѣ первоучителя славянофильства до извѣстной степени не то, что оправдывали дикость и грубость мысли, но, по крайней мѣрѣ, придавали ей оттѣнокъ фанатизма, при которомъ человѣкъ въ себѣ не властенъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ излагалъ то-же самое Данилевскій (говорившій, впрочемъ, о славянофилахъ уже въ прошедшемъ времени: они для него *были*) въ тяжеловѣсной книгѣ, даже сверхъ мѣры блиставшей эрудиціей и систематичностью, при помощи которыхъ достигался хоть наружный обликъ доказательности. Нынѣ г. Розановъ тѣ-же слова, но не такъ молвитъ. Онъ повторяетъ эти зады какъ заученный урокъ и даже не пытается встать на почву фактическихъ доказательствъ. Относительно Западной Европы, въ подтвержденіе своей мысли о проникающемъ ея исторію элементѣ борьбы, вражды, антагонизма, онъ удостаиваетъ, по крайней мѣрѣ, помянуть „патриціевъ и плебеевъ, оптиматовъ и пролетаріевъ, Италію и пожираемыя ею провинціи" и т. д. Но, переходя къ Россіи, онъ прямо заявляетъ, что „лишь въ незначительной мѣрѣ въ фактахъ (которыхъ онъ поэтому и не приводитъ), но гораздо болѣе въ стремленіи, въ завѣтныхъ своихъ чаяніяхъ, въ томъ, что *полагается окончательнымъ* (курсивъ г. Ро-

занова), народъ русскій проникнутъ началомъ именно гармоніи, именно примиренія". Я не знаю, что значатъ подчеркнутыя авторомъ слова—„полагается окончательнымъ", но знаю, что о стремленіяхъ и завѣтныхъ чаяніяхъ, не поддержанныхъ фактами, ничѣмъ, слѣдовательно, не обнаружившихся, можно говорить безъ конца. А это и скучно, и стыдно. Не для того мы публично бесѣдуемъ, чтобы нѣтовыми цвѣтами по пустому полю узоры разводить. Г. Розановъ вонъ и объ Иванѣ Грозномъ не находитъ нужнымъ сказать что-нибудь, кромѣ того, что это былъ „мудрый" царь. Надо думать, и онъ былъ представителемъ славяно-русскихъ началъ любви и мира, противоположность романо-германской насильственности.

Есть, однако, въ разсужденіяхъ г. Розанова еще одна сторона, которой мнѣ хотѣлось-бы коснуться. Но до нея не такъ-то легко добраться сквозь узоры рѣчи нашего автора.

Общая отличительная черта европейской исторіи есть борьба, вражда, антагонизмъ. Таковъ первый тезисъ г. Розанова. Онъ не сомнѣвается въ „неизъяснимой красотѣ этой борьбы и въ величіи ея результатовъ". Но, — продолжаетъ онъ,—„кто-же будетъ имѣть силы отвергнуть, что антагонизмъ, что борьба съ высшей человѣческой точки зрѣнія, для сердца нашего, есть низшее, чѣмъ примиреніе; что какъ-бы прекрасны ни были борющіеся въ напряженіи своихъ силъ, въ тотъ мигъ, когда они подадутъ другъ другу руки, они будутъ лучше и прекраснѣе?" А подъ примиреніемъ надо разумѣть „не насильственное, не то умиротвореніе, когда противника уже нѣтъ, когда онъ стертъ съ лица земли, но когда онъ признанъ въ своей особой правотѣ и самъ призналъ правоту другого, съ которымъ боролся". Повидимому, этакое-то именно примиреніе и составляетъ характернѣйшую черту русской исторіи, ту именно, которая придаетъ ей своеобразный цвѣтъ. Говорю „повидимому", потому что не совсѣмъ понимаю связь этой мысли съ предыдущимъ и послѣдующимъ, которое сейчасъ увидимъ. Если такъ, если русскую исторію характеризуетъ примиреніе (а не миръ), то, значитъ, ей знакома если не борьба, то, по крайней мѣрѣ, противоположность интересовъ и тенденцій, раздирающая Западъ на всемъ протяженіи его исторіи. Разница не въ этомъ, а въ отношеніяхъ Востока и Запада къ противоположности интересовъ и тенденцій: на Западѣ противоположности борются, на Востокѣ взаимно признаютъ особую правоту другъ

друга. Кажется, такъ? Но затѣмъ читаемъ нѣчто иное. На Западѣ „громадныя массы людей, и съ ними лучшія надежды исторіи, погибали потому только, что боролись, что не умѣли страдать и выносить", а на Востокѣ это умѣютъ дѣлать. Казалось-бы, однако, тамъ, гдѣ есть умѣющіе страдать и выносить, должны быть и причиняющіе страданіе и заставляющіе выносить. Можно-ли сказать, что въ этомъ случаѣ есть взаимное признаніе особой правоты обѣихъ сторонъ—страдающей и заставляющей страдать? Я не думаю, и тѣ иллюстраціи, которыми г. Розановъ снабжаетъ эту мысль, едва-ли кто признаетъ убѣдительными. Онъ допускаетъ, что есть цѣли общія всему человѣчеству—„добро, свобода, истина". Но,—говоритъ онъ,—„каждый народъ старается достигнуть ихъ своимъ особымъ путемъ, въ своеобразныхъ формахъ и своеобразными способами. Достигнуть свободы можно и *принудивъ* дать ее, и *выждавъ*, когда крѣпостящій самъ пойметъ, что она выше рабства". Первый способъ свойственъ европейской исторіи, второй—нашей. Значитъ-ли это, что паденіе крѣпостного права совершилось у насъ на европейскій манеръ? Потому что вѣдь несомнѣнно мы не *выждали*, чтобы „крѣпостящіе признали преимущество свободы передъ рабствомъ,—до такой степени не выждали, что посейчасъ раздаются голоса въ этомъ смыслѣ. Значитъ-ли это, далѣе, что крѣпостящіе признали „особую правоту" рабовъ, которые по-своему дышать и жить хотѣли, не по барскому указу, а по собственной склонности, жену, мѣсто жительства, профессію и т. д. себѣ выбирали и за это „страдали и выносили", а иногда, впрочемъ, и не выносили?

Признаюсь, я совершенно теряюсь въ этихъ узорахъ мышленія г. Розанова и, при всемъ стараніи, не могу въ нихъ разобраться. Къ счастью или къ несчастью, г. Розановъ, наговоривъ разныхъ узоровъ на тему объ отличительной чертѣ нашей исторіи, любезно объявляетъ, что „не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что *какова-бы ни была* эта черта, она должна быть строго выдерживаема въ развитіи". И далѣе: „Каждый народъ, вѣкъ за вѣкомъ возводя свою исторію, долженъ строго хранить, чтобы ни одна часть въ ней не была въ дисгармоніи съ остальными, чтобы въ нихъ смыслѣ, въ духѣ, во внѣшнихъ чертахъ развивался все одинъ мотивъ, все тотъ-же вѣковѣчный смыслъ, выразить который передъ лицомъ остального человѣчества онъ, *очевидно*, призванъ Волею, вызвавшею его къ бытію".

Устранимъ, прежде всего, изъ этой тирады кощунственную ссылку на Волю, вызвавшую народы къ бытію. Безъ этой Воли, какъ сказано, ни одинъ волосъ не упадетъ съ головы человѣка; это—безконечная общая скобка, въ которой совершается все, а потому и нельзя на нее ссылаться въ томъ или другомъ частномъ случаѣ. А если г. Розанову или кому другому вздумается изъ глубины собственнаго разума извлечь указанія путей народамъ: однимъ—страданіе, другимъ—борьбу, то вовсе не очевидно, что таково-же и указаніе высшей Воли. Не намъ съ г. Розановымъ говорить отъ лица этой Воли, ибо мы ея не знаемъ. Намъ только что въ пору въ своихъ собственныхъ-то мысляхъ разобраться. Г. Розановъ припишетъ высшей Волѣ одно, я—другое, третій—третье, и всѣ мы будемъ одинаково правы или одинаково неправы. И ко всѣмъ намъ могутъ быть примѣнены слова пророка Іереміи: „они обманываютъ васъ, разсказываютъ мечты сердца своего, а не отъ устъ Господнихъ... долго-ли это будетъ въ сердцѣ пророковъ, пророчествующихъ ложь, пророчествующихъ обманъ своего сердца... что общаго у мякины съ зерномъ“? Намъ—„мякинѣ“, простымъ людямъ, не получившимъ непосредственно откровенія,—подобаетъ говорить и дѣйствовать не отъ лица высшей Воли, а отъ своего собственнаго лица, въ упованіи, что эти наши рѣчи и дѣйствія, какъ и все въ мірѣ, не могутъ происходить вопреки высшей Волѣ. Въ вопросѣ объ историческихъ путяхъ, которыми слѣдуютъ или должны слѣдовать народы, не трудно установить общую формулу, обязательную для всѣхъ, дѣйствительно любящихъ свое отечество, какъ-бы ни разнились они въ своихъ мнѣніяхъ: развивать наличныя добрыя начала, прививать и насаждать новыя добрыя, выпалывать плевелы. Г. Розанову это опять, можетъ быть, покажется слишкомъ просто, но въ примѣненіи это общее правило, которымъ всѣ руководствуются, каждый по своей силѣ и разумѣнію, оказывается, къ сожалѣнію, напротивъ, очень не простымъ. Во всякомъ случаѣ, оно не для г. Розанова писано. Ему нельзя выбирать между пшеницей и плевелами, онъ долженъ лелѣять „отличительную черту“ своего народа, *какова-бы она ни была*. Итакъ, по его категорическому предписанію, долженъ поступать не только каждый русскій, но и французъ, и нѣмецъ, и испанецъ, „и въ черныхъ локонахъ еврей, и дикіе сыны степей, калмыкъ,

башкирецъ безобразный, и рыжій финъ, и съ лѣнью праздной вездѣ кочующій цыганъ“,—„каждый народъ“.

Никто изъ нихъ, подъ страхомъ ослушанія высшей Воли, не долженъ разбираться въ своихъ національныхъ или исторіей воспитанныхъ порокахъ и добродѣтеляхъ, скудостяхъ и богатствахъ... Очень-бы это, можетъ быть, хорошо было, но только кто-же будетъ указывать эти всеопредѣляющія отличительныя черты различныхъ народовъ? Мудрецы, что-ли, какіе особенные, свои, отечественные, или международный ареопагъ, или г. Розановъ персонально возьметъ на себя этотъ трудъ? Представимъ себѣ, что рѣшеніе его или вообще тѣхъ, кто будетъ къ этому призванъ, совпадетъ, напримѣръ, относительно французовъ съ тѣмъ мнѣніемъ объ ихъ національномъ характерѣ, которое высказалъ фонъ-Визинъ: „разсудка французъ не имѣетъ, да и имѣть его почелъ-бы за величайшее несчастіе“. Или припомнимъ тѣ краткія характеристики, которыми русское смиреніе снабжаетъ разные народы: „коварный Альбіонъ“, „нѣмцы-колбасники“, „поляки безмозглые“, „жиды пархатые“ и т. д. Какъ быть, если эти или подобныя имъ указанія всеопредѣляющихъ отличительныхъ чертъ будутъ признаны вѣрными? Повторитъ-ли г. Розановъ свой общій тезисъ въ примѣненіи, напримѣръ, къ коварному Альбіону: „Англичане, вѣкъ за вѣкомъ возводя свою исторію, должны строго хранить, чтобы ни одна часть въ ней не была въ дисгармоніи съ остальными, чтобы въ ихъ смыслѣ, въ духѣ, во внѣшнихъ чертахъ развивался все одинъ мотивъ коварства, выразить который передъ лицомъ остального человѣчества онъ, очевидно, призванъ Волею, вызвавшею его къ бытію“. Читатель скажетъ, можетъ быть, что эта каррикатура. Нѣтъ, это логическій выводъ. Усвоиваетъ-же г. Розановъ русскому народу терпѣніе и выносливость въ качествѣ отличительной черты. Правда, въ его умонастроеніи эта черта выходитъ похожа на добродѣтель, но это зависитъ отъ освѣщенія, и добродѣтель эта, во всякомъ случаѣ, очень условная, ибо вѣдь и волъ терпѣливъ, и оселъ выносливъ, и въ нихъ, какъ въ волѣ и ослѣ, это, дѣйствительно, драгоцѣнныя качества. Говоря совершенно серьезно, нѣтъ никакого сомнѣнія, что печальная историческая судьба нѣкоторыхъ національностей накладываетъ на нихъ печать отнюдь не добродѣтели и дѣлаетъ эту печать даже дѣйствительною чертой. Но кто-же посмѣетъ обречь несчастный народъ на дальнѣйшее, всестороннее и „вѣко-

вѣчное“ развитіе наложенныхъ на него судьбою мрачныхъ стигматъ? Представитель этого народа, если онъ дѣйствительно свой народъ любитъ и желаетъ ему блага, конечно, не послѣдуетъ завѣту г. Розанова.

Кощунственной апелляціи въ высшую, никому недоступную или всѣмъ равно доступную инстанцію не чужды были и первоучители славянофильства. Но какая, опять-таки, огромная разница между ними и г. Розановымъ, который, думая возвеличить или оживить славянофильство, на самомъ дѣлѣ свидѣтельствуетъ о его смерти и ставитъ ему могильный памятникъ: здѣсь покоится духъ славянофильства. Да, духъ славянофильства, очевидно, упокоился. Въ сравнительно умѣренныхъ статьяхъ Кирѣевскаго, въ изворотливой діалектикѣ Хомякова, въ пламенныхъ изліяніяхъ Константина Аксакова этотъ духъ былъ живъ. Вѣруя въ богоизбранность русскаго народа, славянофилы думали, что свѣтъ съ Востока долженъ, въ концѣ-концовъ, разсѣять и западную тьму. Самая страстность ихъ нападокъ на европейскіе порядки,—страстность, доходившая до клеветы и нелѣпости,—свидѣтельствовала о величіи подвига, предстоящаго славянскому Востоку. Не потому стояли они за свой символъ вѣры, что въ немъ отразились отличительныя черты славяно-русскаго міра или, по крайней мѣрѣ, не только поэтому, а, главнымъ образомъ, потому, что въ немъ заключалась полная истина и высшій нравственный свѣтъ. По счастливой случайности или по исключительной милости Божіей, или, наконецъ, въ награду за добродѣтель (какъ они иногда наивно говорили), самобытныя черты нашей національности совпадаютъ съ требованіями правды-истины и правды-справедливости, а потому мы должны отвергнуть все чуждое и вернуться въ глубь своихъ собственныхъ историческихъ нѣдръ. Но мы находимся въ исключительномъ положеніи, ибо мы—и только мы—представляемъ собою исконныхъ носителей правды въ видѣ православія, общинно-вѣчевого начала, пожалуй, и смиренія сердца. Всѣ остальные народы, если-бы они вздумали развивать свои отличительныя черты, придутъ по наклонной плоскости къ окончательному паденію или къ „гніенію“, какъ выражались, впрочемъ, не настоящіе славянофилы, а ихъ двусмысленные союзники, вродѣ Шевырева и Погодина. Европа можетъ спастись, лишь усвоивъ себѣ наши отличительныя черты, ибо только въ нихъ правда. Эта-то глубокая, фанатическая вѣра въ то, что

оно обладаетъ правдой, которой предстоитъ завоевать и обновить весь міръ, и составляла жизненную силу славянофильства, придавая, вмѣстѣ съ тѣмъ, извѣстную нравственную красоту его узкости, односторонности, слѣпотѣ. Уже у Данилевскаго эта живая и животворящая вѣра находится въ сильномъ умаленіи, а у г. Розанова ея нѣтъ и слѣда. Конечно, нельзя ждать, чтобы въ одномъ газетномъ фельетонѣ (я не знаю, излагалъ-ли гдѣ-нибудь еще г. Розановъ свои мысли) то или другое ученіе развернулось съ достаточною полнотой и доказательностью. По одному этому уже нельзя мѣрять г. Розанова не то что съ Кирѣевскимъ, Хомяковымъ, Аксаковымъ, а и съ Данилевскимъ. Я ихъ не мѣряю. Но и въ малой каплѣ водъ отражается солнце, и въ фельетонѣ г. Розанова отражается блѣдный образъ смерти славянофильства, если только онъ въ самомъ дѣлѣ славянофилъ, а не самозванецъ. Въ томъ или другомъ частномъ случаѣ славянофилы могли говорить о вредѣ подражательности, какъ таковой, о вредѣ заимствованій независимо отъ того, что заимствуется. Но самое ядро ихъ ученія состояло въ обладаніи вселенскою истиной, передъ которой должны померкнуть „отличительныя черты“ всѣхъ другихъ народовъ. Только вполнѣ оскудѣвъ вѣрою, лишившись своего духовнаго ядра и превратившись нѣкоторымъ образомъ въ выѣденное яйцо, можетъ славянофилъ сказать: каждый народъ долженъ строго выдерживать свою отличительную черту, *какова-бы она ни была*. Такая постановка вопроса очень идетъ къ людямъ, скорбящимъ объ отсутствіи *какого-либо* узора, но славянофилы были ей совершенно чужды. Если, какъ говоритъ, напримѣръ, Константинъ Аксаковъ (а, впрочемъ, и всѣ другіе славянофилы), „Западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой и эффектомъ“ и т. п.; если признать, вслѣдъ за славянофилами, отличительныя черты романо-германскаго міра именно таковыми, то, лишь дойдя до полнаго индифферентизма, можно сказать: романо-германскій міръ долженъ, какъ зеницу ока, блюсти эти свои отличительныя черты. Индифферентизмъ-же представляетъ собою въ нравственно-политической области подобіе ржавчины, одинаково приводящей въ негодность и мечъ, орудіе войны, и плугъ, орудіе мирнаго труда, и стальное перо, современное орудіе пропаганды войны и мира. Г. Розановъ думаетъ, что высшій типъ примиренія состоитъ въ признаніи „особой правоты“ за враждебными намъ началами. На самомъ дѣлѣ тутъ и рѣчи не

можетъ быть о примиреніи. Это просто нравственная ржавчина—безсильный, вялый, расплывающійся индифферентизмъ. При искренней вѣрѣ въ обладаніе истиной, при горячемъ желаніи ей торжества, нельзя признать „правоту“ „лжи“. Надо выбирать: или правота, или ложь. Когда нравственно-политическая доктрина теряетъ способность этого выбора, она умерла, какъ умеръ Буриданов оселъ между двумя связками сѣна.

Читатель видитъ, что я въ данномъ случаѣ не своимъ судомъ сужу г. Розанова. Онъ приглашаетъ меня „принять всю славянофильскую точку зрѣнія“. Я не могу доставить ему это удовольствіе. Но, условно становясь на славянофильскую точку зрѣнія, имъ самимъ провозглашаемую, я прихожу къ такому заключенію: или г. Розановъ вовсе не славянофилъ, даже не усвоилъ себѣ славянофильскаго духа и взялъ на себя роль его апологета по недоразумѣнію, или онъ своею ржавчиной даетъ лишнее свидѣтельство о смерти славянофильства,—свидѣтельство, пожалуй, въ буквальномъ смыслѣ лишнее, потому что есть, какъ мы видѣли, и другія.

Боюсь недоразумѣній. Боюсь, какъ-бы кто не подумалъ, что, говоря о смерти славянофильства, я тѣмъ самымъ утверждаю живучесть западничества или желаю его возвеличить. Пришло-же нѣчто подобное въ голову г. Розанову, о чемъ я уже говорилъ. Но свѣтъ не клиномъ сошелся на этихъ двухъ доктринахъ, которыя одновременно родились, одновременно клички свои получили, одновременно и умерли. Когда представится подходящій случай, мы увидимъ, что и западничество лишилось своего живого и животворящаго духа, и всѣ наши партіи при всѣхъ своихъ разногласіяхъ слѣдуютъ, въ сущности, тому самому общему правилу, которое такъ не нравится г. Розанову: „надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будетъ или чужое—это уже вопросъ не принципа, а практическаго удобства“. Разногласія—и, конечно, огромныя—состоятъ лишь въ разныхъ разумѣніяхъ того „хорошаго“, которое подлежитъ развитію или прививкѣ. Въ выработкѣ этого хорошаго принимали въ свое время участіе и славянофилы и западники, къ которымъ одинаково давно уже пора приложить тацитовское „sine ira studio“. И разъ уже зашла рѣчь о славянофилахъ, не безынтересно, можетъ быть,

будетъ припомнить нѣкоторыя ихъ положительныя заслуги въ дѣлѣ развитія русскаго общества.

Я не думаю, разумѣется, исчерпать этотъ любопытный вопросъ, не берусь даже хотя бы только намѣтить всѣ его главнѣйшіе пункты. Но если г. Розановъ считаетъ себя призваннымъ въ роли апологета славянофильства, то одно это показываетъ, что около этого ученія скопилось нѣкоторое облако недоразумѣнія. Сдѣлать хоть что-нибудь, хоть мимоходомъ и безъ системы, для разсѣянія облака будетъ не безполезно. Славянофильство играло слишкомъ большую роль въ нашей жизни, чтобы оставаться въ облакѣ недоразумѣній, а они плодятся не однимъ г. Розановымъ. „Московскія Вѣдомости“ не въ первый разъ берутъ славянофильство подъ свою защиту. Помнится, и „Гражданинъ“ этимъ занимался. Въ послѣднемъ я не увѣренъ, да оно и не важно. Хотя „Гражданинъ“ и „Московскія Вѣдомости“ и находятся въ постоянной междуусобной враждѣ, но это именно междуусобица, объясняемая лишь соревнованіемъ. А защищаютъ эти два органа одно и то-же дѣло одними и тѣми-же пріемами, только одинъ поумнѣе, а другой поглупѣе, хотя, по правдѣ сказать, трудно разобрать, кто именно поумнѣе. Въ какой-же мѣрѣ направленіе это имѣетъ нравственное право или логическую возможность брать славянофильство подъ свою защиту?

„Печать слѣдуетъ заставить быть благонамѣренною“. Кто могъ написать и потомъ напечатать эти слова явственными черными буквами на бѣлой бумагѣ? Вы затрудняетесь, читатель, отвѣтить. Вы знаете, что изо всей русской печати, при всей ея разношерстности, только „Гражданинъ“ и „Московскія Вѣдомости“ способны такъ и такую мысль выразить, но который именно изъ этихъ двухъ органовъ, этого вы не скажете, хотя изреченіе само по себѣ несомнѣнно „поглупѣе“. Разгадка значительно облегчается, если я вамъ скажу, что приведенныя слова напечатаны не теперь, а въ 1882 году, когда еще былъ живъ Катковъ и когда „Московскія Вѣдомости“ были поумнѣе. Катковъ могъ говорить удивительныя и возмутительныя вещи, но такъ какъ онъ былъ поумнѣе, то вы естественно ставите приведенныя слова на счетъ „Гражданина“. И вы не ошибаетесь.

Одинъ публицистъ отвѣчалъ кн. Мещерскому, между прочимъ, такъ: „Благонамѣренность! Жестоко слово сіе. Слово печальной памяти. Жутко становится, когда его слышишь. Въ виду этого

выраженія мы и напомнили въ одной изъ своихъ статей о томъ времени (съ 1825 по 19 февраля 1855 г.), когда самый воздухъ былъ напоенъ, повидимому, испареніями „благонамѣренности“. О ней кричалъ Аракчеевъ; только это слово и было на устахъ въ ту тридцатилѣтнюю пору, когда пытались (конечно, не вполнѣ удачно) взять въ казну совѣсть, душу, мысль, вѣру и отпускать ихъ на пользованіе казенными размѣренными, патентованными пайками... Увы, пайками этими раздавались только пошлость и подлость!“

Публицистъ, отвѣчавшій такимъ образомъ „Гражданину“, былъ славянофилъ, и именно Иванъ Аксаковъ. Статья его была напечатана въ „Руси“, и приведенныя строки читатель можетъ найти на стр. 528 четвертаго тома сочиненій Аксакова. Для помнящихъ или знающимъ исторію нашей литературы тутъ, конечно, нѣтъ никакого сюрприза. Но одна изъ самыхъ большихъ нашихъ бѣдъ въ томъ и состоитъ, что мы, вообще говоря, мало знаемъ и помнимъ эту длинную, подчасъ скучную, подчасъ возмутительную и скорбную, но всегда поучительную исторію. Въ этомъ и бѣда, и огромная несправедливость: бѣда, потому что такимъ образомъ предоставляется широкій просторъ невѣжеству и шарлатанству; несправедливость, потому что русская литература въ цѣломъ, конечно, заслуживаетъ лучшей участи, чѣмъ забвеніе и тѣмъ паче перевираніе.

Послѣднее часто бываетъ горше перваго. Если-бы нѣкоторые изъ многочисленныхъ литературныхъ обозрѣвателей, которыми нынѣ обзавелись почти всѣ столичныя и главныя провинціальныя періодическія изданія, приступали къ своему дѣлу въ полномъ, абсолютномъ невѣдѣніи исторіи литературы, они, конечно, впали-бы во множество ошибокъ и высказали-бы много дикихъ вглядовъ. Но если-бъ ихъ невинность въ знаніи внушила имъ соотвѣтственную скромность, то дѣло могло-бы обойтись сравнительно недурно. Гораздо хуже тотъ, болѣе обыкновенный случай, когда господа обозрѣватели знаютъ кое-что, урывками, по наслышкѣ, изъ третьихъ рукъ; когда они знаютъ, напримѣръ, что были какіе-то славянофилы, предпочитавшіе Востокъ Западу, и какіе-то западники, располагавшіе свои симпатіи въ обратномъ географическомъ порядкѣ, былъ великій критикъ Бѣлинскій, была литература 60-хъ годовъ, „отрицательное направленіе“, споры о чистомъ и тенденціозномъ искусствѣ, „консервативное“ напра-

вленіе, либералы, соціалисты, „народники“ и т. д., когда они знаютъ нѣкоторые случайно схваченные признаки этихъ литературныхъ явленій, но не знаютъ ни остальныхъ ихъ признаковъ, ни общей связи ихъ какъ между собою, такъ и съ русскою жизнью. Тогда они съ величайшимъ апломбомъ тасуютъ литературу, какъ колоду картъ, и я беру на себя смѣлость утверждать, что для многихъ изъ нынѣшнихъ господъ литературныхъ обозрѣвателей приведенныя слова Аксакова составляютъ сюрпризъ, хотя они очень характерны для славянофильскаго направленія, точнѣе — для одной его стороны.

Слово „благонамѣренность“, въ его обычномъ у насъ употребленіи такъ возмутившее Аксакова и подавшее поводъ къ блестящимъ „Благонамѣреннымъ рѣчамъ“ Салтыкова, въ особенности поражаетъ иностранцевъ, имѣющихъ случай приглядываться къ русской жизни. Немудрено. Если двое такихъ во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ близкаго знакомства съ русскою жизнію, несходныхъ русскихъ человѣка, какъ Аксаковъ и Салтыковъ, въ недоумѣніи останавливались передъ скрытымъ противорѣчивымъ смысломъ „благонамѣренности“, то гдѣ-же уже тутъ разобраться иностранцу? „Благонамѣренные“ люди, люди bien intentionnés, wohlgesinnte Leute есть и въ Европѣ, но нигдѣ этому слову не придается тотъ странный смыслъ, какой усвоивается ему у насъ, и нигдѣ никакой органъ печати не скажетъ дикихъ словъ: „печать слѣдуетъ заставить быть благонамѣренною“. Вдумайтесь, въ самомъ дѣлѣ въ смыслъ этихъ словъ: *заставить быть благонамѣренною*. Вѣдь это утопичнѣйшая изъ утопій, передъ которой меркнутъ всѣ фантастическія предпріятія Угрюмъ Бурчеева. Можно заставить человѣка молчать, можно, хотя это уже гораздо труднѣе, заставить его говорить не то, что онъ думаетъ, но какъ заставить быть благонамѣреннымъ? Ясно, что тутъ подразумѣвается нѣчто, не имѣющее ничего общаго съ прямымъ грамматическимъ смысломъ слова. И, конечно, сатирикъ былъ совершенно правъ въ своемъ блестящемъ анализѣ „благонамѣренныхъ рѣчей“. Правъ былъ и Аксаковъ, утверждавшій, что совѣты „Гражданина“ могутъ повести не къ благонамѣренности истинной, а къ притворству, лжи, подлому лицемѣрію. Послѣ щедринскихъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ трудно, впрочемъ, говорить на эту тему. Я обращу ваше вниманіе на нѣкоторыя другія стороны дѣла. Но сначала позвольте маленькое отступленіе.

Нынче лѣтомъ я прокатился по Волгѣ съ единственною цѣлью отдохнуть. Лучшаго отдыха для нашего брата, писателя, пожалуй, и не придумаешь. Ѣдешь себѣ на плавучемъ островѣ, обставленномъ всѣми возможными удобствами, простору кругомъ столько, что дѣвать некуда, воздухъ на цѣлыя версты впередъ и назадъ, направо и налѣво не оскорбленъ ни единою пылинкой, тишь, гладь и Божья благодать. Послѣ четырехъ стѣнъ кабинета, послѣ такихъ резервуаровъ пыли, какъ книжные шкафы и письменный столъ, заваленный всякимъ бумажнымъ скарбомъ, послѣ безтолково дергающихъ нервы впечатлѣній столичной суеты, хорошо этакъ прокатиться. Хорошо, только не въ нынѣшнемъ году. Читатель знаетъ, что нынче на Волгѣ не хорошо было. Однако, пока я спускался внизъ, отъ Нижняго къ Саратову, все обстояло благополучно: и просторъ, и воздухъ, и тишина, и веселыя мысли. До такой степени веселыя мысли, что ихъ не только не могла разогнать, а даже подбавляла ихъ книга г. Скабичевскаго „Очерки исторіи русской цензуры“, которую я захватилъ съ собою. Казалось-бы, для нашего брата, писателя, это совсѣмъ не веселое чтеніе. Цензура есть, вѣроятно, очень нужное учрежденіе, между господами цензорами, какъ и во всякой другой профессіи, есть прекрасные люди, а все-таки... Но такова сила обстановки, что я и изъ книги г. Скабичевскаго извлекалъ веселіе. Тутъ, впрочемъ, замѣшалось еще одно, спеціально волжское обстоятельство. Дѣло въ томъ, что Волга очень почтительно относится къ литературѣ. Отъ Нижняго до Астрахани бѣгаетъ прекрасный пароходъ *Пушкинъ*, и въ немъ, въ общемъ залѣ перваго класса виситъ портретъ Пушкина и лежатъ на этажеркѣ сочиненія Пушкина. Есть пароходъ *Жуковскій*, и въ немъ портретъ и сочиненія Жуковскаго. На этихъ двухъ пароходахъ я ѣздилъ. А есть, кромѣ того, пароходы *Гоголь*, *Лермонтовъ*, *Некрасовъ*, *Тургеневъ*, *Салтыковъ-Щедринъ*, *Левъ Толстой*. Въ Саратовѣ есть Радищевскій музей, и это, кажется, единственный у насъ музей общаго, энциклопедическаго характера, посвященный памяти писателя. Все это очень лестно для литературы. И вотъ, когда я подъ этимъ впечатлѣніемъ читалъ книгу г. Скабичевскаго, я мысленно подчеркивалъ въ ея заглавіи слово *исторія*. Было время, когда люди, славными именами которыхъ украшаются нынѣ пароходы и музеи, претерпѣвали разныя невзгоды, но это—исторія, это прошло, а славныя имена остались

Радищевъ такъ спокойно осѣняетъ своимъ именемъ зданіе музея, точно и не бывалъ въ Сибири и не былъ доведенъ до униженія собственноручно признать, что его книга „наполнена гнусными, дерзкими и развратными выраженіями, о чемъ онъ отъ всего сердца и сожалѣетъ“. Жуковскій съ такою кротостью улыбается на своемъ пароходномъ портретѣ, точно цензоръ Бируковъ и не замахивался на „Смальгольмскаго барона“ и „Орлеанскую Дѣву“. По словамъ г. Скабичевскаго „лишь ходатайство великаго князя Николая Павловича открыло шлагбаумъ передъ безсмертною пьесой великаго поэта“, то-есть передъ трагедіей Шиллера въ переводѣ Жуковскаго. Все это—исторія, и даже какъ будто сонъ, временами смѣшной, но, въ большинствѣ случаевъ, тяжелый, оскорбительный сонъ, уже миновавшій. И все, что терзало Пушкина, Лермонтова, Бѣлинскаго,—все это сонъ. Цензура есть, вѣроятно, очень нужное учрежденіе и между цензорами были и есть прекрасные люди, но попадались и такіе, которые немножко пересаливали, какъ видно изъ вмѣшательства великаго князя въ исторію „Орлеанской Дѣвы“. Таковъ былъ Бируковъ, таковъ былъ знаменитый Красовскій и еще другіе разные. И вотъ они такъ въ исторіи и остались: нѣтъ парохода *Цензоръ Красовскій*, нѣтъ и Бируковскаго музея, нѣтъ и не будетъ. Статья Пушкина о Радищевѣ не была пропущена Уваровымъ, на томъ основаніи, что „неудобно и совершенно излишне возобновлять память о писателѣ и о книгѣ, совершенно забытыхъ и достойныхъ забвенія“. Запретъ на статьѣ лежалъ съ 1836 по 1857 годъ. Это долго. Но за-то теперь *Пушкинъ* гордо носится по красавицѣ Волгѣ отъ Нижняго до Астрахани (двѣ слишкомъ тысячи верстъ!) и завозитъ желающихъ въ Саратовъ въ гости къ Радищеву.

Такъ оптимистически размышлялъ я, спускаясь къ Саратову. Но назадъ было не весело ѣхать. Я почти не видалъ холеры и совсѣмъ не видѣлъ безпорядковъ. Однако, гулъ событій въ низовьяхъ Волги несся слѣдомъ, отъ парохода къ пароходу, и, разумѣется, портилъ настроеніе. А, вмѣстѣ съ тѣмъ, иначе читалась и книга г. Скабичевскаго. Въ самомъ дѣлѣ, хорошо намъ гулять по заламъ Радищевскаго музея и поучаться, и развлекаться. Но каково было Радищеву? Каково было всѣмъ тѣмъ, съ кого нынѣ снята печать неблагомѣренности, но кто въ свое время претерпѣлъ ее до конца? Великое и утѣшительное

дѣло слава въ потомствѣ, но великъ и путь терзаній, ведущій къ ней. И потомъ еще вопросъ: не отзываются-ли и на насъ, развлекающихся и поучающихся, послѣдствія терзаній тѣхъ, именами которыхъ мы гордимся и украшаемъ пароходы и музей? Учесть послѣдствія историческаго факта не легко. Ужасное дѣло— судебная ошибка, когда человѣкъ терпитъ наказаніе за дѣяніе, не имъ совершенное. Но, по своимъ послѣдствіямъ, можетъ быть, еще ужаснѣе тѣ случаи, когда человѣкъ носитъ терновый вѣнецъ при жизни за то самое, за что потомство поднесетъ ему, мертвому, вѣнецъ лавровый. Потому ужаснѣе, что подобными случаями сбивается съ толку общественная совѣсть и надолго пріостанавливается естественный ростъ общества, чего при судебной ошибкѣ не бываетъ.

Читатель не потребуетъ отъ меня дальнѣйшаго развитія этихъ невеселыхъ мыслей. Посмотримъ еще на одну, тоже невеселую, черту исторіи русской литературы, какъ она рисуется въ „Очеркахъ исторіи русской цензуры". Нельзя помянуть добромъ Красовскаго или Бирюкова, однако, эти люди, во всякомъ случаѣ только пересаливали исполненіе обязанностей, на нихъ возложенныхъ. Но у насъ всегда были еще добровольцы, писавшіе яростные доносы на неблагонамѣренную литературу, не будучи никѣмъ къ тому призваны. Такимъ добровольцемъ былъ, напримѣръ, Скобелевъ, пославшій главнокомандующему 1-й арміи (почему именно ему?) нѣсколько ходившихъ по рукамъ стихотвореній Пушкина съ присовокупленіемъ письма, въ которомъ писалъ, между прочимъ: „Если-бы сочинитель вредныхъ пасквилей (т. е. Пушкинъ) немедленно въ награду лишился нѣсколькихъ клочковъ шкуры, было-бы лучше. На что снисхожденіе человѣку, надъ коимъ общій гласъ благомыслящихъ гражданъ дѣлаетъ строгій приговоръ?" Едва-ли не добровольцемъ же былъ и попечитель московскаго округа Голенищевъ-Кутузовъ, писавшій министру Разумовскому: „За нужное почитаю донести вашему сіятельству, что г. исторіографъ Карамзинъ сегодня отправляется въ Петербургъ и, по достовѣрнымъ о немъ извѣстіямъ, ѣдетъ именно нарочно для того, чтобы дѣйствовать противъ васъ и, яко депутатъ отъ историческаго общества, просить, что они всѣ несправедливо обижены... Нужно его демаскировать, какъ человѣка вреднаго обществу и коего всѣ писанія тѣмъ опаснѣе, что подъ видомъ пріятности преисполнены безбожія, матеріализма и самыхъ пагубныхъ

и возмутительныхъ правилъ... Я скоро очень доставлю вамъ выписку изъ проклятыхъ его сочиненій, гдѣ увидите весь ядъ, который онъ старался разлить на бѣдное наше юношество, полюбившее, къ несчастію, его бредни".

Какіе все знакомые и нашей современности ноты и аккорды! Но особенно поучительно видѣть въ числѣ добровольцевъ свою братію—писателей, согражданъ того цѣлаго, которое встарину называлось république des lettres. Длинный рядъ этихъ добровольцевъ начинается потѣшной памяти Тредьяковскимъ. Достойный родоначальникъ! Но, минуя длинный рядъ благонамѣренныхъ доносовъ, остановимся только на двухъ эпизодахъ, любопытныхъ во многихъ отношеніяхъ, между прочимъ, и по характеру участія, которое принялъ въ нихъ императоръ Николай.

Дѣло было въ 1843 году. Гречъ написалъ въ знаменитое III отдѣленіе доносъ на „Отечественныя Записки", гдѣ тогда работалъ Бѣлинскій, а издателемъ которыхъ былъ Краевскій. „Но, видно, онъ перешелъ черезъ край, потому что III отдѣленіе отвергло съ презрѣніемъ доносъ Греча и написало непріятный для него отвѣтъ". Тогда выступилъ Булгаринъ, уже въ печати. Онъ изложилъ, между прочимъ, въ „Сѣверной Пчелѣ", что Краевскій „унижаетъ Жуковскаго, не смотря на то, что Жуковскій—авторъ нашего народнаго гимна: „Боже, царя храни". Но и это указаніе не имѣло успѣха. Какъ разъ въ это время въ цензурномъ комитетѣ рѣшено было принять мѣры противъ ругательствъ, которыми осыпали другъ друга журналисты. Предсѣдатель комитета, кн. Волконскій, велѣлъ сообщить это рѣшеніе Булгарину. Булгаринъ разразился грознымъ письмомъ къ Волконскому. Онъ писалъ, что „существуетъ партія мартинистовъ, положившихъ себѣ цѣлью ниспровергнуть существующій порядокъ вещей, и что представителемъ этой партіи являются „Отечественныя Записки", цензура имъ потворствуетъ". Въ особенности уличалъ Булгаринъ самого Волконскаго; „требовалъ слѣдственной коммиссіи, передъ которой предстанетъ, какъ доноситель, для обличенія партіи, колеблющей вѣру и престолъ; будетъ просить государя разобрать это дѣло, а если государь не вникаетъ въ это или до него не доведутъ его, Булгарина, извѣты, то онъ будетъ просить прусскаго короля довести до свѣдѣнія государя императора все, что угодно будетъ ему, Булгарину, сказать въ огражденіе его священной особы и его царства". Въ заключеніе

Булгаринъ писалъ: „я не позволю, чтобы на меня, какъ на собаку, цензура надѣвала намордникъ". Дѣло шло по инстанціямъ и письмо Булгарина было доложено государю. Но императоръ Николай, отдавая письмо шефу жандармовъ, Бенкендорфу, сказалъ: „Сдѣлай такъ, чтобъ я какъ будто о томъ ничего не зналъ и не знаю".

Другой случай. Въ 1844 г. Марковичъ, авторъ „Исторіи Малороссіи", и съ нимъ еще какихъ-то 40 малороссовъ обратились черезъ кіевскаго генералъ-губернатора къ министру внутреннихъ дѣлъ съ жалобой на статью „Библіотеки для Чтенія" о книгѣ Марковича. Дѣло дошло до императора Николая, который положилъ такую резолюцію: „Если въ статьяхъ „Библіотеки для Чтенія" заключается ложь, то ее и должно опровергнуть литературнымъ образомъ, только безъ брани".

Такимъ образомъ, съ высоты трона, монархомъ, котораго никто, конечно, не заподозритъ въ слабости вообще, въ послабленіяхъ литературѣ въ особенности, былъ указанъ единственный достойный литературы путь отстаиванія своихъ мнѣній: у васъ есть перья, и не для того они у васъ, чтобы писать доносы; опровергайте ложь, если вы увѣрены, что это, въ самомъ дѣлѣ, ложь, „литературнымъ образомъ", не взывая къ внѣшней силѣ. Таковъ урокъ, данный императоромъ Николаемъ всѣмъ, желающимъ „заставить печать быть благонамѣренною". Но эти господа принимаютъ обыкновенно видъ plus royaliste que le roi lui-même и, въ своихъ комическихъ поискахъ за высшею апелляціонною инстанціей благонамѣренности, останавливаются на самихъ себѣ. Они именно составляютъ эту высшую инстанцію и, какъ Булгаринъ, почерпаютъ въ этомъ своемъ исключительномъ положеніи гражданское мужество сказать: „я не позвоолю, чтобы на меня, какъ на собаку, цензура надѣвала намордникъ". Всѣмъ намордники, кромѣ ихъ самихъ! Таковъ девизъ не одного Булгарина, и бывали даже въ исторіи нашей литературы случаи, когда соотвѣтственное этому девизу поведеніе вмѣнялось въ заслугу, какъ борьба за расширеніе правъ печати! Булгаринъ, по поводу историческихъ романовъ котораго Пушкинъ острилъ: „Всѣ говорятъ— онъ Вальтеръ-Скотъ, но я, поэтъ, не лицемѣрю: согласенъ я— онъ просто скотъ, но что онъ Вальтеръ-Скотъ—не вѣрю"; Булгаринъ и—гражданское мужество! Въ фантастическомъ мірѣ благонамѣренныхъ рѣчей и это возможно...

Нѣкоторыя стороны ученія славянофиловъ сближали ихъ съ темными литературными силами, претендовавшими на положеніе высшей инстанціи благонамѣренности, но сами они никогда „благонамѣренными“ не были, въ условномъ смыслѣ нашего политическаго жаргона. Въ свое время они не мало и претерпѣли за это. Разсказъ объ этихъ злоключеніяхъ славянофиловъ читатель частью найдетъ въ книгѣ г. Скабичевскаго, а частью не найдетъ, потому что книга доведена лишь до 1863 г. Но для насъ интересна не эта внѣшняя сторона дѣла. Каковъ-бы ни былъ собственный образъ мыслей славянофиловъ, но они не стремились зажимать ротъ противникамъ и понимали, что нельзя „заставить печать быть благонамѣренною“. Въ 1865 г. по поводу одной статьи г. Антоновича въ „Современникѣ“ Иванъ Аксаковъ писалъ: „Едвали кто, при защитѣ своихъ убѣжденій, терпѣлъ болѣе отъ цензурной строгости, чѣмъ писатели славянофильскаго направленія; никто болѣе насъ не испытывалъ той неловкости, того неудобства, въ которое ставитъ истину непрошенная помощь грубой внѣшней силы, полицейское вторженіе въ область духа“. Или въ 1883 г. по поводу запрещенія „Голоса“ на шесть мѣсяцевъ: „Мы можемъ лишь сожалѣть не о „Голосѣ“ собственно, но о противникѣ, не нами, къ сожалѣнію, въ открытомъ бою, а постороннею внѣшнею силой обезоруженномъ... Сумерекъ мысли не слѣдовалобы допускать, а слѣдовало-бы вызвать мысль на бѣлый день, на публичный споръ... Запретите, пожалуй, всѣ газеты, работа общественной мысли будетъ все же производиться, но во тьмѣ, подспудно, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для торжества правды: обезоруженными явятся лишь тѣ, которые неспособны защищать истину иначе, какъ при свѣтѣ, въ открытой и честной борьбѣ“.

Вотъ нравственная щекотливость, которой совершенно чужды наши самозванные „благонамѣренные“. Они, напротивъ, при всякомъ удобномъ случаѣ избѣгаютъ указаннаго императоромъ Николаемъ „литературнаго образа“ воздѣйствія на своихъ противниковъ. „Гражданинъ“ еще недавно рекомендовалъ поступить со „всею линіей газетной печати“ подобно тому, какъ поступилъ пророкъ Илія съ жрецами Ваала: „отвелъ ихъ Илія къ потоку Киссону и закололъ ихъ тамъ“ („Гражданинъ“ отъ 12 августа, № 222). Видите, какъ просто и рѣшительно: „заколоть“ и—дѣлу конецъ, и хлопотать нечего о какой-то литературной борьбѣ.

Конечно, это немного черезъ край хвачено, но на то „Гражданинъ“ и есть enfant terrible благонамѣренности, открыто провозглашающій то, что другіе единомышленники въ тайникахъ своей души держатъ. „Московскія Вѣдомости“ не столь мужественны и послѣдовательны, но хотя-бы только одинъ еще свѣжій въ памяти эпизодъ ихъ отношеній къ гр. Л. Толстому показываетъ, что онѣ по недоразумѣнію выступаютъ апологетами славянофиловъ. Я не лично о г. Розановѣ говорю; повторяю, „Московскія Вѣдомости“ не первый разъ выступаютъ на защиту славянофиловъ, и эти мирно спящіе въ гробахъ мертвые, конечно, съ величайшею брезгливостью отвергли бы защиту со стороны живыхъ, на такой манеръ пользующихся жизнью.

Скажутъ, можетъ быть, что все это относится не къ славянофильству, а къ славянофиламъ,—не къ нравственно-политическому ученію, какъ таковому, а къ группѣ людей, исповѣдывавшихъ это ученіе. Веденіе спора исключительно на литературной почвѣ, безъ призыва посторонннихъ силъ, есть черта чисто-личной порядочности, личнаго понятія о достоинствѣ печатнаго слова, наконецъ, личной убѣжденности въ истинѣ, не нуждающейся въ внѣшней помощи и имѣющей возможность отстоять себя собственными средствами. Эти личныя свойства не могутъ составлять чью-либо монополію; въ принципѣ они одинаково обязательны для представителей всѣхъ направленій, всѣхъ литературныхъ партій, но фактически могутъ одинаково же у всѣхъ отсутствовать. Первоучители славянофильства, которыми, впрочемъ, не только началась, а, можно прибавить, и почти кончилась исторія этого ученія, были искренніе, убѣжденные и честные писатели. Но это—счастливая случайность, которой могло и не быть; возможенъ и такой славянофилъ, который предпочитаетъ argumentum baculinum логической защитѣ своихъ идей въ открытомъ спорѣ.

Разсужденіе это отчасти справедливо, но именно только отчасти, въ своей исходной точкѣ, а не въ своемъ окончательномъ выводѣ. Безъ сомнѣнія, независимо отъ дѣла тѣхъ или другихъ литературныхъ партій, въ принципѣ существуетъ общее литературное дѣло, которое, какъ всякое общее дѣло, вырабатываетъ извѣстный кодексъ профессіональной морали, не противорѣчащей, конечно, морали общечеловѣческой, но имѣющей свои оттѣнки. Главный пунктъ этой морали можетъ быть формулированъ вышеприведенными словами: литература должна бороться съ ложью

литературнымъ образомъ и никакими другими путями. Это не значитъ, что литература должна замкнуться въ кругу своихъ профессіональныхъ интересовъ и отказаться отъ практическаго, осязательнаго воздѣйствія на ходъ вещей въ обществѣ. Когда писатель указываетъ, наприм., на какое-нибудь злоупотребленіе, то дѣлаетъ это, конечно, не для собственнаго удовольствія, не для того, чтобы его рѣчь сотрясла воздухъ, да тѣмъ бы и кончилось; онъ надѣется, что его мысль, облекшись въ форму слова, претворится вслѣдъ затѣмъ въ дѣло, и злоупотребленіе будетъ прекращено или искоренено; а это лишь въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ быть достигнуто „литературнымъ образомъ“, для этого должны быть призваны внѣшнія силы. Но, воздѣйствуя такимъ путемъ на злоупотребленіе, литература не только не становится въ противорѣчіе съ своими задачами, а, напротивъ, исполняетъ свою священную обязанность. Противорѣчіе возникаетъ лишь въ томъ случаѣ, если предметомъ воздѣйствія съ помощью внѣшнихъ силъ является мнѣніе, образъ мыслей противника, какъ-бы онъ ни казался съ извѣстной точки зрѣнія вреднымъ Я могу считать и дѣйствительно считаю образъ мыслей „Гражданина“ и „Московскихъ Вѣдомостей“ крайне вреднымъ, но не могу желать насильственнаго прекращенія этихъ органовъ или чтобы ихъ „заставили быть благонамѣренными“ въ томъ смыслѣ, какъ я благонамѣренность понимаю. Не могу, хотя-бы уже потому, что это значило-бы признаться въ своей слабости, въ недостаткѣ вѣры въ истину, въ недостаткѣ аргументовъ противъ лжи. Въ такомъ именно своемъ безсиліи расписываются всѣ эти господа, кричащіе „караулъ!“, вмѣсто того, чтобы аргументировать или „глаголомъ жечь сердца людей“, какъ то приличествуетъ литературѣ. Это, собственно говоря, даже не литература разъ ей до такой степени чуждо понятіе о литературной чести. Конечно, если-бы на всѣхъ, кромѣ Булгарина, были надѣты „намордники“, или если-бы „вся линія газетной печати“, за исключеніемъ „Гражданина“, была отведена къ рѣкѣ Киссону и тамъ благополучно переколота, то Булгарину и кн. Мещерскому былобы очень просторно, они оказались-бы побѣдителями, но вѣдь не литературная-же это побѣда, напротивъ, это признаніе въ безсиліи и въ позорнѣйшемъ изъ литературныхъ пораженій. Славянофилы это хорошо понимали и, вообще говоря, были на этотъ счетъ очень щекотливы. Но этого мало. Уваженіе къ свободѣ

слова было не только личнымъ свойствомъ всѣхъ выдающихся славянофиловъ, но кореннымъ образомъ входило въ составъ самой ихъ доктрины, такъ что славянофилъ, крикнувшій „караулъ!“, предложившій своимъ противникамъ прогуляться къ потоку Киссону или пожелавшій имъ „намордника“, тѣмъ самымъ пересталъ-бы быть славянофиломъ. Онъ измѣнилъ-бы не только завѣтамъ литературной чести, но и самымъ основаніямъ своего ученія. Очень характерно для всего славянофильскаго ученія мнѣніе Ивана Аксакова, что „реформѣ законовъ о книгопечатаніи приличнѣе было-бы стать не только не на послѣднемъ, но на первомъ мѣстѣ въ ряду реформъ, непосредственно слѣдовавшихъ за уничтоженіемъ крѣпостного права, и предшествовать всѣмъ правительственнымъ преобразованіямъ, не исключая даже и судебнаго. Нельзя ни провѣтрить, ни очистить, и тѣмъ менѣе убрать дома—въ темнотѣ, съ заколоченными наглухо окнами: необходимо растворить настежь двери и ставни, впустить воздуха и свѣта, какъ можно болѣе воздуха, какъ можно болѣе свѣта! А что-же такое свобода мысли и слова, какъ не воздухъ и свѣтъ—необходимыя условія общественнаго бытія, внѣ которыхъ нѣтъ ни развитія, ни жизни, а только плѣсень и смерть“.

Я могъ-бы привести еще много столь-же энергическихъ словъ на эту тему Кирѣевскаго, Хомякова, Константина Аксакова, но дѣло не въ словахъ. Читатель, дѣйствительно знакомый съ исторіей нашей литературы, знаетъ, что слова эти въ точности соотвѣтствовали одной изъ существенныхъ сторонъ славянофильства. А поясненіе для незнающихъ вышло-бы слишкомъ длинно. Я и безъ того боюсь, что читатель съ нетерпѣніемъ перелистываетъ настоящія замѣтки, посвященныя спеціально-литературнымъ интересамъ, большинству читателей, къ сожалѣнію, чужимъ. Къ еще большему сожалѣнію, интересы эти чужды и большинству нынѣшнихъ такъ называемыхъ литературныхъ обозрѣвателей. Они имѣютъ лишь туманное понятіе о томъ длинномъ и трудномъ пути, которымъ шла литература до того блестящаго момента, когда они выступили на литературное поприще. Они знаютъ, что бумага все терпитъ, и пользуются этимъ. Но они не знаютъ, что претерпѣвала литература не только отъ внѣшнихъ стѣсненій, но и отъ труднаго процесса своего собственнаго роста; не знаютъ, не могутъ и не хотятъ разбираться въ сложной сѣти добра и зла, истины и заблужденія, оставлен-

ной намъ исторіей въ наслѣдство. Поэтому они то-и-дѣло либо повторяютъ зады съ такимъ величественнымъ видомъ, какого, навѣрное, не имѣлъ Ньютонъ, открывъ законъ тяготѣнія, либо хоронятъ живыхъ и воскрешаютъ мертвыхъ, либо поступаютъ на манеръ простодушныхъ маляровъ лубочныхъ картинъ, которые красятъ всего генерала отъ шеи до сапогъ въ малиновый цвѣтъ, а солдатъ также сплошь въ зеленый.

Вотъ и теперь...

Изъ фельетона г. Буренина въ „Новомъ Времени“ и изъ № 6 „Русскаго Богатства“ я узналъ, что литературный обозрѣватель „Сѣвернаго Вѣстника“, г. Волынскій, сдѣлалъ мнѣ большую честь—разбранилъ меня въ пухъ и прахъ. Я надѣюсь, читатель повѣритъ моей искренности, когда я говорю, что г. Волынскій сдѣлалъ мнѣ честь своею бранью. Еще недавно этотъ самый г. Волынскій осыпалъ меня любезностями, которыя я отстранилъ съ нѣкоторою суровостью, ибо въ похвалахъ подобныхъ господъ вижу не то, чтобы безчестіе для себя,—потому что чѣмъ-же я виноватъ?—а все-таки непріятность. Съ тѣхъ поръ я отказался отъ удовольствія читать произведенія г. Волынскаго и лишь изъ фельетона г. Буренина и изъ „Русскаго Богатства“ узналъ о разжалованіи меня въ бездарности. Но дѣло, повидимому, не только въ моей бездарности, а и еще въ чемъ-то, потому что г. Буренинъ цитируетъ изъ „Сѣвернаго Вѣстника“ упоминаніе о моей „русской вихрастой шевелюрѣ“, каковыя, дескать, слова напетатаны у г. Волынскаго курсивомъ. Вѣроятно, это что-нибудь очень обидное, но, къ сожалѣнію, для меня непонятное. „Вихрастая шевелюра“ безспорно не красива, но, если она у меня и такова, то, собственно какъ писателя, это едва-ли меня очень унижаетъ. Что же касается „русской“ шевелюры, то что же обиднаго или удивительнаго, курсива достойнаго, въ томъ, что у русскаго человѣка русская шевелюра? Должно быть, г. Волынскій въ большомъ волненіи чувствъ писалъ и, собственно отъ этого волненія, не сообразилъ, а, можетъ быть, онъ и всегда несообразителенъ. Если, однако, можно сдѣлать что то очень язвительное изъ эпитета „русскій“, обращеннаго къ русскому человѣку, то, можетъ быть, язвительность эта подлежитъ распространенію и на мои сочувственныя строки о славянофилахъ. Это вѣдь были ультра-русскіе, какъ ихъ иногда называли... Я бы не желалъ такого распространенія. Не со стороны г. Волынскаго, нѣтъ: онъ

можетъ что ему угодно распространять и о чемъ ему угодно распространяться. Но недоразумѣній въ нашей литературѣ вообще такъ много, что мнѣ хочется прибавить нѣчто даже совершенно лишнее для людей, знающихъ и помнящихъ кое-что изъ исторіи нашей литературы. Въ славянофильствѣ были свои свѣтлыя и свои темныя стороны. Г. Розановъ предлагаетъ мнѣ, какъ мы видѣли, „принять всю славянофильскую точку зрѣнія“. Никакъ не могу. Но были въ славянофильствѣ черты глубоко-симпатичныя, достойныя лучшихъ защитниковъ, чѣмъ „Московскія Вѣдомости“ или „Гражданинъ“. И если всего вышесказаннаго мало для убѣжденія въ этомъ, то вотъ еще страница изъ сочиненій Ивана Аксакова, особенно поучительная для „Московскихъ Вѣдомостей“, которыя любятъ говорить о своемъ „консерватизмѣ“ и, въ то же время, берутъ подъ свою защиту „всю славянофильскую точку зрѣнія“.

„Наши „консерваторы“ хромаютъ на оба колѣна; они ни исторической сущности основъ нашего государственнаго строя не вѣдаютъ, или же отождествляютъ ее съ какою-либо наружною, хотя-бы и чуждою, несвойственною ей случайною формой; они и требованія текущей жизни уразумѣть не способны. Лишенные точной руководящей мысли, они знаютъ только одно различіе: „старое“ да „новое“; преисполненные искреннѣйшаго испуга при встрѣчѣ лишь съ призракомъ „новаго“ (хотя бы это новое было само по себѣ очень и очень старо, но только забыто или презрѣно), они, въ то же время, испытываютъ „влеченье—родъ недуга“ ко всему „старому“, хотя бы это старое было никуда негодно или само, въ свою пору, было незаконнымъ и насильственнымъ новшествомъ. Вотъ почему и правильнѣе называть ихъ, въ pendant къ нашимъ лже-либераламъ,—лже-консерваторами. Они ничего не охраняютъ, а развѣ лишь мертвятъ, обрывая у охраняемаго ими корня всякій новый ростокъ, новый стебель, или же, рьяно загораживая теченіе жизни, творятъ именно то, что Ю. Ѳ. Самаринымъ такъ мѣтко охарактеризовано словомъ „революціонный консерватизмъ“. Впрочемъ, послѣднее предполагаетъ нѣкоторую энергію и строго очерченную программу; у большей же части нашихъ мнимо-консерваторовъ нѣтъ ни того, ни другого, а есть только инстинкты и потуги—безсильные воскресить старое, безсильные дать рѣзкое направленіе жизни, но успѣвающіе, однако, порою создавать неопредѣленное, смутное и колеблю-

щееся положеніе общихъ дѣлъ“ („Сочиненія И. С. Аксакова“. IV, 666).

Недурная въ своемъ родѣ и чисто-славянофильская страница, но я желалъ-бы знать, подпишутся-ли подъ ней „Московскія Вѣдомости“, столь уважающія славянофильскую точку зрѣнія?

Еще нѣсколько словъ—такъ ужъ, заодно, кстати.

Въ нашихъ безконечныхъ спорахъ объ искусствѣ и о задачахъ и пріемахъ литературной критики часто поминаются „добролюбовско-писаревскія преданія“, при чемъ именно имъ усвоивается иниціатива „тенденціознаго“, „утилитарнаго“, „гражданскаго“ и т. п. яда въ беллетристикѣ и критикѣ. Выросшую на этой почвѣ критику часто съ язвительностью называютъ „либеральною критикой“. Это—одна изъ многочисленныхъ нелѣпостей нашего своеобразнаго политическаго жаргона. Собственно въ отрицаніи такъ называемаго „чистаго искусства“ или „искусства для искусства“ нѣтъ ничего ни либеральнаго, ни не-либеральнаго: это явленіе совсѣмъ другого порядка. Когда г. Арсеньевъ далъ своей статьѣ о романахъ покойнаго Маркевича заглавіе „Романъ, какъ орудіе регресса“, онъ былъ совершенно правъ,—правъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что романы Маркевича ярко-тенденціозны, но отнюдь не въ либеральномъ направленіи. Князь Мещерскій тоже вѣдь не либералъ, а пишетъ тенденціозные романы. Соотвѣтственно этому устраивается и не-либеральная критика. Но дѣло не въ этомъ. Когда говорятъ о ядоносности добролюбовско-писаревскихъ преданій въ дѣлѣ литературной критики, забываютъ обыкновенно Бѣлинскаго въ послѣдней, окончательной фазѣ его развитія,—забываютъ, что для насъ теперь особенно любопытно, и славянофиловъ. Славянофилы не выставили ни одного сколько-нибудь виднаго литературнаго критика. Аполлонъ Григорьевъ, человѣкъ безспорно даровитый, *хотѣлъ* быть славянофиломъ, но, по крайней неясности своей мысли, никакъ не могъ исполнить это желаніе. Г. Страховъ всю жизнь прохлопоталъ объ устройствѣ маниловскаго моста для соединенія Каткова, Герцена, славянофиловъ, Льва Толстого и Достоевскаго. При томъ-же онъ до такой степени лишенъ критическаго чутья, что не только всерьезъ сравнивалъ г. Стахѣева съ Некрасовымъ и Салтыковымъ, но и отдавалъ первому рѣшительное предпочтеніе. Орестъ Миллеръ былъ очень добрый человѣкъ... А больше и помянуть некого. Но первоучители славянофильства, не обладая критическимъ

талантомъ, не прочь были, однако, высказываться на литературно-критическія темы. Извѣстно, что Константинъ и Иванъ Аксаковы и Хомяковъ сами были поэтами, хотя и плохими, и поэзія ихъ была сплошь тенденціозна, „гражданскаго“ содержанія. Такова же была и ихъ критика. Къ поэзіи г. Фета Константинъ Аксаковъ относился съ презрительною насмѣшкой, а о поэзіи вообще выражался такъ: „Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли“. Въ первомъ томѣ сочиненій Хомякова любопытствующій читатель можетъ найти двѣ рѣчи, сказанныя Хомяковымъ, въ качествѣ предсѣдателя „общества любителей россійской словесности“ при пріемѣ въ члены общества И. В Селиванова и гр. Л. Толстого. Въ этихъ рѣчахъ, разумѣется, безъ добролюбовскаго таланта, но съ полною ясностью излагается теорія служебной роли искусства. Это не мѣшаетъ помнить или знать людямъ, толкующимъ о добролюбовско-писаревскихъ преданіяхъ, либеральной критикѣ, отрицательномъ направленіи, обличительной литературѣ, шестидесятыхъ годахъ. Ахъ! имъ не мѣшаетъ знать или помнить очень, очень многое...

XII *).

Г. З. Елисеевъ.

Въ своемъ завѣщаніи покойный Григорій Захаровичъ Елисеевъ предоставилъ мнѣ выборъ его сочиненій, печатныхъ и рукописныхъ, для изданія, если-бы таковое состоялось. Въ силу этого посмертнаго распоряженія, ко мнѣ поступили и всѣ его бумаги. Я былъ глубоко тронутъ тѣмъ пунктомъ завѣщанія, которымъ покойный вручалъ мнѣ судьбу своего литературнаго багажа. Былъ я, кромѣ того, чрезвычайно заинтересованъ и самымъ этимъ багажомъ, поскольку онъ мнѣ былъ неизвѣстенъ, то есть оставшимися послѣ покойнаго рукописями и перепиской. И для этого интереса, и для растроганности моей были особые резоны.

Не смотря на большую разницу лѣтъ, мы были когда-то близкими пріятелями съ Елисеевымъ. Но съ 1873 или 1874 года мы

*) 1892, ноябрь — декабрь.

стали встрѣчаться, благодаря одному совершенно постороннему обстоятельству, только въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“. Въ 1881 г. Елисеевъ долженъ былъ, по болѣзни, уѣхать за границу, откуда вернулся въ Россію уже послѣ закрытія „Отечественныхъ Записокъ“. Нѣкоторое время онъ жилъ въ Твери, въ Крыму, нѣкоторое время и я жилъ внѣ Петербурга, а когда мы оба очутились опять въ сѣверной столицѣ, то, за отсутствіемъ такого обязательнаго сборнаго пункта, какъ редакція журнала, встрѣчались только у Салтыкова. Со смертію Салтыкова прекратились и эти рѣдкія и случайныя свиданія. Однако, два раза за это время я былъ, по его приглашенію, у Елисеева на квартирѣ, оба раза по чисто-литературнымъ дѣламъ. Въ личномъ смыслѣ мы были совсѣмъ чужіе другъ другу люди. Я никогда не переставалъ глубоко уважать и любить Григорія Захаровича и имѣлъ всѣ основанія думать, что, не смотря на пробѣжавшую между нами черную кошку, и его добрыя отношенія ко мнѣ никогда въ существѣ не измѣнялись. Но взаимно-добрымъ чувствамъ нечѣмъ было питаться: я, можно сказать, ровно ничего не зналъ о немъ, онъ очень мало зналъ обо мнѣ. Это не мѣшало, однако, каждому изъ насъ оставаться тѣмъ, чѣмъ мы были во времена нашей дружбы и общей работы въ „Отечественныхъ Запискахъ“. А отсюда происходили любопытныя совпаденія мыслей, подтверждающія поговорку: сердце сердцу вѣсть даетъ.

Въ концѣ 1885 г. я, утомленный невольною праздностью послѣ закрытія „Отечественныхъ Записокъ“, сдѣлалъ большую ошибку: сталъ работать въ незадолго передъ тѣмъ основанномъ г-жею Евреиновою „Сѣверномъ Вѣстникѣ“. Работа въ этомъ истинно несчастномъ журналѣ была для меня обильнымъ источникомъ и смѣха, и горя. Я не разъ колебался между надеждою упорядочить журналъ и желаніемъ бѣжать изъ него безъ оглядки. Въ одинъ изъ моментовъ такихъ очень тягостныхъ колебаній, я получилъ отъ Елисеева, помнится, только что пріѣхавшаго изъ Твери, приглашеніе зайти къ нему. Онъ точно читалъ изъ своего далека мои мысли. Да и дѣйствительно читалъ. Опытный журналистъ, при томъ хорошо знавшій меня, онъ, по составу книжекъ „Сѣвернаго Вѣстника“, не могъ не видѣть, что мои усилія придать журналу извѣстный опредѣленный характеръ разбиваются объ какія-то препятствія. А можетъ быть и слыхалъ кое-что. Во всякомъ случаѣ, онъ повелъ рѣчь именно о томъ, что составляло

самое больное мѣсто. Съ особенною, свойственною ему добродушною насмѣшливостью онъ оцѣнялъ трудность моего положенія въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, разспрашивалъ обо всѣхъ подробностяхъ дѣла и, наконецъ, выразилъ мысль, что нельзя-ли, дескать, основать свой собственный журналъ. Въ дальнѣйшемъ разговорѣ выяснилась неудобоисполнимость этой мысли при наличныхъ условіяхъ, и мы опять на нѣсколько лѣтъ разстались съ Григоріемъ Захаровичемъ. Но я убѣдился, что онъ по прежнему интересуется литературой и даже, какъ можно было заключить изъ нѣкоторыхъ его словъ, не смотря на свое болѣзненное состояніе, надъ чѣмъ-то работаетъ.

Въ 1890 г. нѣсколькимъ петербургскимъ литераторамъ пришла въ голову странная мысль отпраздновать двадцати-пятилѣтній юбилей закона о печати 1865 г. Я называю эту мысль странною потому, что законъ о печати 1865 г. въ теченіе двадцати пяти лѣтъ подвергся значительнымъ измѣненіямъ, такъ что трудно даже понять, что именно предполагалось праздновать. Я держался совершенно въ сторонѣ отъ этой затѣи и съ удивленіемъ узналъ изъ „Новостей“ о своемъ заочномъ избраніи въ члены коммиссіи по устройству юбилейнаго торжества. Я рѣшилъ напечатать въ „Новостяхъ“ отказъ отъ сдѣланной мнѣ товарищами по профессіи, но не по настроенію, чести, но не успѣлъ еще и за перо взяться, какъ получилъ слѣдующую записку отъ Елисеева: „Предположенное празднованіе юбилея прессы я нахожу совсѣмъ обиднымъ для всѣхъ, кто участвовалъ въ прессѣ въ теченіе послѣднихъ 25 лѣтъ. Я было обрадовался тому, что вчера Суворинъ напечаталъ протестъ противъ празднованія, и настрочилъ въ pendant къ нему также статейку для „Новаго Времени“. Но Суворинъ сегодня повернулъ совсѣмъ въ другую сторону. И слухъ идетъ, что за юбилей стоитъ уже много народу. Какъ вы смотрите на это празднованіе? Если отрицательно, какъ и я, то соберемъ и другихъ таковыхъ, которые, вѣроятно, найдутся, и напишемъ общій протестъ. Такой гуртовой протестъ, я полагаю, былъ-бы резоненъ и не безполезенъ для судьбы (? слово написано неразборчиво) прессы“. Читателю, который замѣтилъ-бы, что эта записка слишкомъ незначительна для того, чтобы ее стоило воспроизводить въ печати, я отвѣчу, что считаю ее, напротивъ, для характеристики Елисеева очень значительной. Я бы съ удовольствіемъ воспроизвелъ ее даже fac simile, чтобы показать стар-

ческій почеркъ, которымъ она написана. Семидесятилѣтній больной старикъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, съ такою юношескою горячностью относится къ интересамъ и достоинству литературы,—это характерно. Правъ-ли былъ въ данномъ случаѣ Елисеевъ, возставая противъ юбилея, или нѣтъ, это другой вопросъ. Но уже одна эта записка свидѣтельствуетъ, до какой степени „кровнымъ“, какъ говорилъ Салтыковъ, литераторомъ былъ Елисеевъ. Статейку, которую онъ „настрочилъ“ было для „Новаго Времени“, мы, обсудивъ дѣло сообща, забраковали,—не по существу, а потому, что ни г. Суворинъ, ни какая другая редакція не согласились-бы ее напечатать. Мысль о „гуртовомъ“ протестѣ тоже была брошена, и только я напечаталъ свой отказъ отъ участія въ юбилейной коммиссіи. Юбилей, впрочемъ, не состоялся по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ ни отъ иниціаторовъ, ни отъ насъ, несогласныхъ.

Это было мое послѣднее свиданіе съ Елисеевымъ: 18 января 1891 г. онъ былъ уже мертвъ.

Я съ величайшимъ интересомъ принялся разбирать довольнотаки значительную кипу бумагъ, оставшихся послѣ Елисеева. Я полагалъ, что у писателя, много лѣтъ стоявшаго въ центрѣ такихъ изданій, какъ „Современникъ“ и „Отечественныя Записки“, должно оказаться много писемъ и другихъ документовъ по исторіи новѣйшей русской литературы. А то отношеніе Елисеева къ литературѣ, которое выразилось въ вышеприведенномъ эпизодѣ съ юбилеемъ, и кое-какіе намеки, которые я уловилъ въ разговорѣ съ нимъ послѣ его пріѣзда изъ Твери, позволяли думать, что онъ и со времени своей болѣзни не сложа руки сидѣлъ. Я былъ, однако, очень разочарованъ. Огромное большинство писемъ, найденныхъ мною въ портфелѣ Елисеева, не имѣли никакого общественнаго значенія. Исключеніе составляетъ только пачка писемъ Салтыкова. Мнѣ разказывали, что, уѣзжая за границу, Елисеевъ имѣлъ неосторожность дать много бумагъ и писемъ, относящихся ко временамъ „Современника“, на сохраненіе одной дамѣ. Дама же эта, по прошествіи нѣкотораго времени, сочла почему-то для себя опаснымъ хранить всю эту письменность и безъ всякой церемоніи сожгла ее. Елисеевъ, говорятъ, очень сердился... Я думаю! Можно и вчужѣ сердиться.... Что касается собственныхъ рукописей Елисеева, то ихъ оказалось довольно много, но лишь очень немногое можетъ быть утилизировано. За самыми ничтожными

исключеніями, рукописи представляютъ собою отрывки, иногда очень большіе, и начала безъ концовъ. Изъ такихъ неоконченныхъ статей были-бы, вѣроятно, особенно интересны страницы безъ начала и конца, посвященныя Каткову. Я на нихъ немножко остановлюсь, собственно для характеристики оставшихся послѣ Елисеева рукописей.

Въ другой рукописи, имѣющей характеръ частію воспоминаній о Салтыковѣ, частію вообще ретроспективнаго взгляда на недавнія наши событія, мимоходомъ говорится: „Катковъ съ самаго начала эмансипаціи, угрожавшей поглотить всѣ права дворянства и поставить во главу русской цивилизаціи, вмѣсто дворянства рода, дворянство образованія, сталъ заботиться о поддержаніи дворянства и о сохраненіи его историческихъ правъ. Это была его прямая тенденція еще въ 1861 году, какъ онъ самъ мнѣ говорилъ тогда объ этомъ, присовокупляя, что ему соглашался помогать въ этомъ и Кавелинъ. Вѣроятно, были и другіе, но другихъ онъ мнѣ не назвалъ, а самъ я не поинтересовался спросить его объ ихъ именахъ. Мнѣ была противна эта тенденція, и именно потому только, что Катковъ ставилъ ее на первомъ планѣ, я отказался участвовать въ его журналѣ и въ его „Современной Лѣтописи“, издававшейся при журналѣ“.

Я, къ сожалѣнію, очень смутно помню устный разсказъ Елисеева о какомъ-то его свиданіи съ Катковымъ въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Если не ошибаюсь, рѣчь шла о соглашеніи между „Современникомъ“ и „Русскимъ Вѣстникомъ“, о выработкѣ общаго плана дѣйствія этихъ двухъ тогда вліятельнѣйшихъ литературныхъ органовъ, въ скоромъ времени такъ рѣзко разошедшихся въ своихъ взглядахъ и программахъ. Естественно было искать разъясненія этого эпизода, равно какъ и многосторонней и оригинальной характеристики Каткова, въ статьѣ, спеціально трактующей о московскомъ публицистѣ. Но ничего подобнаго въ статьѣ нѣтъ. Она осталась неконченною и содержитъ въ себѣ, главнымъ образомъ, выписки фактически-біографическаго характера изъ книги г. Невѣденскаго: „Катковъ и его время“, Любимова: „М. Н. Катковъ и его историческая заслуга“, переписки Бѣлинскаго, изданной г. Пыпинымъ, и воспоминаній Панаева. Выписки эти связаны между собою нѣкоторыми общими разсужденіями, которымъ, по всѣмъ видимостямъ, предстояло закончиться общимъ заключеніемъ, но его нѣтъ. Что касается лю-

бопытнаго эпизода переговоровъ съ Катковымъ, то о немъ не упоминается нигдѣ, кромѣ приведеннаго мѣста, хотя въ числѣ рукописей есть не мало набросковъ, имѣющихъ характеръ воспоминаній. Быть можетъ, ключа къ этой загадкѣ слѣдовало-бы искать въ тѣхъ бумагахъ, которыя Елисеевъ имѣлъ неосторожность отдать на храненіе слишкомъ осторожной дамѣ.

Большинство рукописей Елисеева не только не кончены, но, кромѣ того, еще и очень спутаны. Неоконченностью статей онъ грѣшилъ и прежде, во время своей печатной литературной дѣятельности. Но въ посмертныхъ рукописяхъ эта дурная, хотя и вполнѣ объяснимая условіями журнальной работы и многимъ журналистамъ свойственная привычка не доводить до конца задуманную статью, осложняется еще результатами болѣзненнаго состоянія Елисеева. Онъ, очевидно, писалъ съ трудомъ и съ большими перерывами. Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ встрѣчаются не только повторенія и отдѣльные клочки, выхваченные изъ другихъ рукописей, но и совершенно разные пріемы изложенія, свидѣтельствующіе о совершенно разныхъ планахъ автора. То онъ пишетъ въ такомъ даже утрированно-осторожномъ тонѣ, который ясно показываетъ намѣреніе приладиться къ даннымъ условіямъ времени и, слѣдовательно, печатать статью теперь-же; то, говоря о болѣе или менѣе щекотливыхъ вещахъ, ни мало не стѣсняется въ выраженіяхъ. И это въ одной и той-же рукописи.

Самымъ цѣннымъ элементомъ рукописнаго наслѣдства Елисеева надо признать воспоминанія. Но и они, во-первыхъ, чрезвычайно разбросаны и запутаны, а, во-вторыхъ, въ виду близости событій, о которыхъ у нихъ рѣчь идетъ, отнюдь не цѣликомъ подлежатъ опубликованію. Да и „цѣлика“, впрочемъ, нѣтъ, и факты приходится вылавливать отдѣльными клочками изъ разныхъ рукописей. Елисеевъ не разъ принимался не только за воспоминанія, а и прямо за автобіографію. Тяжелый грузъ воспоминаній давилъ его и чувствовалась настоятельная потребность сложить его на бумагу. Но онъ не только ни разу не довелъ дѣла до конца, а не держался никакой системы, оставляя огромные пробѣлы и постоянно уклоняясь въ сторону общихъ разсужденій. Есть рукопись безъ заглавія, начинающаяся такъ: „По окончаніи курса наукъ въ московской духовной академіи въ 1844 г. я былъ назначенъ баккалавромъ въ казанскую духовную академію“. Это обѣщаетъ автобіографію, по крайней мѣрѣ, съ

1844 г, со времени вступленія на профессорское поприще. И дѣйствительно, нѣкоторыя интересныя автобіографическія показанія въ рукописи есть, но они внезапно обрываются или, точнѣе, расплываются въ разсужденіяхъ объ исторической роли русскаго монашества, о положеніи нашего бѣлаго духовенства. Тутъ же имѣются разсужденія о порядкахъ въ нашихъ духовныхъ академіяхъ, частію вошедшія въ составъ статьи „Изъ далекаго прошлаго двухъ академій“, напечатанной незадолго до смерти Елисеева въ „Вѣстникѣ Европы“. Есть и другая рукопись, начинающаяся словами: „Въ маѣ нынѣшняго 1888 г. исполнилось ровно тридцать лѣтъ, какъ я пріѣхалъ въ Петербургъ. Въ декабрѣ 1855 г.,—годъ моего пріѣзда,—напечатана была въ „Современникѣ“ первая моя статья“. Но затѣмъ имѣется всего полторы страницы весьма скуднаго фактическаго содержанія. Есть, наконецъ, рукопись, прямо озаглавленная *Автобіографія*. Начало ея я считаю нужнымъ привести, такъ какъ имъ хорошо характеризуется отношеніе Елисеева къ своей собственной личности:

„Можетъ быть, Сентъ-Бевъ и правъ, когда говоритъ, что всякая автобіографія въ большей или меньшей мѣрѣ есть вранье, потому что невозможно представить себѣ такого человѣка, который, описывая свою жизнь, не заглядывалъ бы однимъ глазкомъ за свою могилу и не охорашивалъ себя въ виду этого. А. все-таки, мнѣ жаль, что, доживъ почти до 70 лѣтъ (вчера, 25 января 1889 года, мнѣ стукнуло 68 лѣтъ), я не позаботился запастись такимъ враньемъ относительно своей особы. Вранье это могло-бы мнѣ, во-первыхъ, освѣтить самого себя—вообще въ прошедшемъ увидѣть разницу моихъ воззрѣній, моего міросозерцанія, моего направленія и стремленій въ разныя эпохи моего возраста и положенія; во-вторыхъ, мнѣ пріятно было-бы возобновить въ моей памяти во всей подробности нѣкоторые моменты моей жизни и дѣятельности; въ-третьихъ, я думаю, что мысль Сентъ-Бева объ автобіографіяхъ, какъ враньѣ, неприложима къ автобіографіямъ, которыя ведутся въ теченіе многихъ лѣтъ въ видѣ дневниковъ, съ точнымъ обозначеніемъ всѣхъ обстоятельствъ и данныхъ, потому что трудно и даже невозможно, описывая свою ежедневную жизнь, постоянно носить мысль о своемъ безсмертіи и прилаживать къ ней ежедневныя событія и обстоятельства жизни. Другое дѣло—біографіи, которыя пишутся въ зрѣлыхъ или преклонныхъ лѣтахъ, когда человѣкъ достигъ стенейпе (?)

извѣстныхъ, когда біографія не поденно, а гуртомъ, по воспоминаніямъ, является какъ связное цѣлое: тогда человѣку трудно не заглядывать однимъ глазкомъ за могилу и не охорашивать себя въ виду ея, и всѣ такія автобіографіи зачастую являются болѣе или менѣе прикровенными апологіями собственной дѣятельности пишущихъ.

„Казалось бы, что автобіографіи послѣдняго рода должны писать только лица болѣе или менѣе знаменитыя, убѣжденныя въ безсмертіи ихъ имени. Оказывается—напротивъ. Въ послѣднее время автобіографіи мелкихъ, незначительныхъ людей до того размножились, что „Русская Мысль“, помнится, въ послѣднемъ или предпослѣднемъ нумерѣ прошлаго года сдѣлала замѣчаніе о странной охотѣ этихъ людей, жизнь которыхъ мало для кого можетъ быть интересна, убиваться надъ изображеніемъ подробностей своей жизни. Для кого и для чего пишутъ эти ничтожества?

„Этотъ вопросъ прежде часто останавливалъ и меня, когда, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, мнѣ приходила мысль начать писать свою автобіографію. Вопросъ до того смущалъ меня, что я до сихъ поръ не давалъ самыхъ краткихъ свѣдѣній о себѣ, которыхъ у меня нѣсколько разъ просили для справочныхъ словарей. Теперь, доживъ почти до 70 лѣтъ моей жизни, я понялъ, что маленькіе люди имѣютъ еще болѣе нужду писать свои автобіографіи, чѣмъ большіе. У всякаго человѣка, какъ-бы онъ ни былъ малъ и незначителенъ, есть также самолюбіе, какъ и у большихъ, и есть также болѣе или менѣе свѣтлыхъ, выдающихся моментовъ въ жизни, которыми онъ считаетъ себя вправѣ гордиться; онъ не знаетъ, будетъ-ли обращено вниманіе потомства не только на эти свѣтлые, выдающіеся моменты его жизни, но даже вообще на его личность; съ этимъ полнымъ забвеніемъ его потомствомъ онъ готовъ совершенно примириться. Но самолюбіе его не можетъ примириться съ тѣмъ, чтобы потомство, если придется ему случайно вспомнить его, не поняло и не оцѣнило надлежащимъ образомъ этихъ моментовъ, чтобы оно дало имъ даже неправильное, совершенно ложное освѣщеніе. Для личности крупнаго размѣра дѣло неважное, если какой-нибудь свѣтлый моментъ его жизни будетъ не оцѣненъ должнымъ образомъ и даже превратно истолкованъ. Для него остается твердою защитой ансамбль всей его дѣятельности или его капитальныя сочиненія, если онъ писатель. Если у него по смерти много окажется враговъ, то еще

болѣе будетъ друзей, которые будутъ побѣдоносно разбивать всякое злословіе, опираясь на извѣстныя всѣмъ его великія дѣла или его сочиненія. Совсѣмъ другое — человѣкъ маленькій. По смерти онъ остается совершенно беззащитенъ. Между тѣмъ, почти въ тотъ самый моментъ, когда тѣло человѣка опускаютъ въ могилу, люди начинаютъ рыться въ душѣ умершаго, перетряхиваютъ на всѣ стороны его дѣятельность, побужденія, цѣли. И такъ какъ homo homini lupus est, то покойному трудно разсчитывать на справедливую и безпристрастную оцѣнку его дѣятельности, тѣмъ болѣе на снисхожденіе, если онъ не провелъ жизнь совершенно блаженно, т.-е. не стоялъ въ сторонѣ отъ всякой общественной дѣятельности и внѣ всякихъ партій. Часто довольно бываетъ одной, ни въ чемъ неповинной, впрочемъ, но не улегающейся въ обычныя представленія о человѣкѣ, видимости, одного необъясненнаго факта въ его дѣятельности, чтобы злословіе въ этой непонятной для него видимости, въ этомъ необъясненномъ для него фактѣ усмотрѣло ключъ къ уразумѣнію всей дѣятельности человѣка, истолковало по-своему всѣ побужденія его дѣятельности и создало о немъ цѣлую гнусную эпопею.

„Но какъ ни оскорбительна бываетъ для человѣческаго самолюбія та несправедливая оцѣнка, которую производятъ надъ личностью покойнаго остающіеся въ живыхъ, несправедливость эта, разсматриваемая въ отвлеченіи и, при томъ, не надъ нашею, а надъ чуждою намъ личностью, вовсе не такъ ощутительна и сильна, чтобы заставить маленькую личность немедленно взяться за перо и въ огражденіе своего замогильнаго реноме писать исповѣдь своей жизни. Разъ маленькая личность не разсчитываетъ на безсмертіе, не все-ли ей равно—худо или хорошо будутъ говорить о ней, если-бы случайно и зашла о ней рѣчь! Вѣдь она не будетъ ни знать, ни чувствовать въ могилѣ, что о ней говорятъ. Положимъ, для самолюбія человѣка, пока онъ живетъ, пріятнѣе думать, чтобы не были забыты или превратно истолкованы тѣ свѣтлые, выдающіеся моменты его жизни, которыми онъ гордится. Но, съ другой стороны, что-жъ за важность, если бы и это случилось. Вѣдь ни хорошаго, ни дурного, что будутъ говорить о немъ, онъ ни сознавать, ни чувствовать не будетъ. При этомъ самолюбіе тайно подсказываетъ ему, что тѣ свѣтлые, выдающіеся моменты, которыми онъ гордится, такъ очевидны для всякаго, такъ чисты, что никакое злословіе не можетъ ихъ до

того извратить, чтобы они сдѣлались совершенно черными. Въ отвлеченномъ представленіи такое чудовищное превращеніе хорошаго въ дурное, чистаго въ нечистое, свѣтлаго въ пошлое и мерзостное для человѣческаго самолюбія, проникнутаго насквозь ничтожнѣйшими мыслями pro domo sua, оказывается положительно немыслимымъ, невозможнымъ, — и маленькая личность успокоивается.

„Къ несчастію, маленькіе люди умираютъ очень быстро. Есть много насѣкомыхъ, цѣль жизни которыхъ состоитъ единственно въ распространеніи рода. Разъ оплодотвореніе совершено, они тотчасъ умираютъ. Точно то-же происходитъ съ маленькими людьми въ нравственномъ мірѣ. Дается имъ отъ природы одна, двѣ свѣтлыя мысли. Едва успѣютъ они тѣмъ или другимъ способомъ заявить и воплотить эти мысли въ жизни, какъ они немедленно умираютъ нравственно, какъ люди ненужные. Потомъ они продолжаютъ и ходить, и говорить, и продолжаютъ то-же дѣло, которое начали, но это дѣло несутъ дальше ужъ другіе, лучшіе ихъ, а они продолжаютъ оставаться хотя и около него, хотя по внѣшнему положенію и выше этихъ новыхъ, но внутренно, по отношенію къ дальнѣйшему движенію и ходу дѣла, остаются ниже ихъ. Въ этомъ смыслѣ они уже ненужные для дѣла люди, они могутъ считаться умершими для него. Но они могутъ считаться умершими для дѣла въ смыслѣ первостепенныхъ, передовыхъ его дѣятелей, но они остаются при немъ въ качествѣ рядовыхъ, при томъ, иногда лучшихъ рядовыхъ, какъ болѣе опытные. Между тѣмъ, волны времени быстро слѣдуютъ одна за другою, каждая приноситъ съ собою новый рядъ дѣлъ и вопросовъ; для каждаго вновь вступающаго на арену жизни поколѣнія является своя насущная злоба дня, обусловливаемая новымъ положеніемъ вещей, создаваемая ходомъ времени. Смѣнится три, четыре поколѣнія, тѣсная связь съ недавнимъ прошедшимъ хотя и чувствуется, но только въ общемъ и главномъ, въ деталяхъ-же сильно затемняется и даже совсѣмъ теряется изъ памяти. Даже изученіе этого недавняго прошлаго дѣлается труднѣе и недоступнѣе, чѣмъ изученіе давно прошедшихъ временъ, потому что послѣднее можно изучать по совокупности всѣхъ оставшихся памятниковъ, для перваго остаются почти единственно устные разсказы немногихъ, оставшихся отъ даннаго времени лицъ, которыя сохранили болѣе или менѣе отрывочныя воспо-

минанія о существовавшемъ тогда положеніи, насколько оно было понятно и доступно ихъ личному впечатлѣнію и наблюденію. По этимъ воспоминаніямъ трудно и совершенно невозможно живьемъ воплотить картину прошлаго во всей его цѣлости и полнотѣ и уловить тѣ моменты времени, которые выдвинули ту или другую личность на первый планъ и дали ей примирующее положеніе передъ другими. Между тѣмъ, личность занимаетъ это положеніе. Новымъ поколѣніямъ остаются совершенно неизвѣстными тѣ моменты въ прошедшемъ, которые выдвинули эту личность на первый планъ; имъ остается только видно то выдающееся положеніе, которое она занимаетъ. Имъ не приходитъ въ голову заняться изслѣдованіемъ: какую внутреннюю связь съ дѣломъ эта личность имѣла прежде и какую имѣетъ въ настоящее время? Они по видимости рѣшаютъ, что въ настоящемъ дѣло можетъ идти безъ нея, что впередъ несетъ его не она, что она тутъ, личность, ни къ чему не нужная, умершая. Отсюда дѣлаютъ заключеніе, что такъ было и прежде и что личность заняла выдающееся положеніе при дѣлѣ и остается при немъ посредствомъ неблаговидныхъ происковъ. Это не говорится прямо въ глаза личности, но по временамъ высказывается иногда въ разныхъ косвенныхъ намекахъ общаго свойства, которое можно принимать и не принимать на свой счетъ, но которые даютъ человѣку чувствовать, что злословіе способно заговорить о немъ послѣ его смерти. Затѣмъ болѣе опредѣленное предвкушеніе тѣхъ инкриминацій, которыя ожидаютъ его по смерти, даетъ откровенная диффамація, во-первыхъ, поголовно того періода времени, въ которомъ онъ дѣйствовалъ, а затѣмъ поименно лицъ, ему хорошо извѣстныхъ,—диффамація, дѣлаемая яко-бы на основаніи серьезнаго изслѣдованія и неопровержимыхъ фактовъ. Въ довершеніе всего этого являются *достовѣрные* свидѣтели съ бухгалтерскими книгами, которые, на основаніи цифровыхъ записей, утверждаютъ завѣдомую и безсовѣстную ложь. Это уже не отвлеченное представленіе воображаемыхъ несправедливостей за гробомъ, а непосредственное заушеніе живого еще лица, какъ мертваго: оно даетъ ему не отвлеченно представлять, а очень реально чувствовать всю жестокость и злостность заушеній, ожидающихъ его по смерти. Что тутъ дѣлать маленькой личности для собственной самозащиты и для защиты самаго дѣла и лицъ, которыя съ нимъ стояли около него? Какъ, если не предупредить совершен-

но, то, по крайней мѣрѣ, ограничить до извѣстнаго минимума какъ тѣ легковѣсные приговоры объ извѣстной эпохѣ и дѣйствовавшихъ въ ней лицахъ, такъ и тотъ безчестный лай, который поднимаютъ на нихъ достовѣрные свидѣтели съ бухгалтерскими книгами въ рукахъ?

„Мнѣ кажется, самое лучшее, что она можетъ сдѣлать, это взяться за перо и, насколько помнитъ, правдиво изобразить свою жизнь, по крайней мѣрѣ, въ выдающихся ея моментахъ въ связи съ тѣми событіями и лицами, съ которыми она соприкасалась".

Изъ этого вступленія видно, что автобіографію свою Елисеевъ задумывалъ по очень широкому плану, до такой степени широкому, что едва-ли даже приличествуетъ предположенной работѣ названіе автобіографіи. Этимъ планомъ устраняются обычныя въ автобіографіяхъ свѣдѣнія о дѣтствѣ и юности и вообще все, такъ сказать, приватное, чисто-личное. Достойными записи для потомства признаются лишь такія черты жизни, которыя находятся въ связи съ болѣе или менѣе значительными теченіями и событіями общественнаго характера. Признавая себя „маленькою личностью", Елисеевъ готовился раствориться въ общемъ дѣлѣ, которому, по его предположенію, грозятъ въ будущемъ лжетолкованія невѣдѣнія и лжетолкованія злостныя. Понятенъ высокій интересъ, который могла бы представить подобная автобіографія человѣка, сознательно пережившаго и эпоху нашего возрожденія, и эпоху оскудѣнія, и, при томъ, человѣка такого рѣдко проницательнаго ума, какъ Елисеевъ. Но, не говоря уже о томъ, что рукопись осталась неоконченною и начинается только пріѣздомъ въ Петербургъ, бѣгло разсказавъ о своемъ участіи въ „Современникѣ", „Искрѣ", „Вѣкѣ" и „Очеркахъ", авторъ сосредоточиваетъ свое вниманіе исключительно на періодѣ 1863—1868 годовъ. Онъ подробно характеризуетъ послѣдніе годы существованія „Современника", разсказываетъ исторію своего ареста въ 1866 г. (арестъ этотъ, какъ увидимъ, былъ результатомъ недоразумѣнія, сравнительно скоро выяснившагося) и возникновенія въ 1868 году новыхъ „Отечественныхъ Записокъ" подъ редакціей Некрасова. Мы увидимъ далѣе, что были особенныя обстоятельства, побудившія Елисеева съ такою внимательностью относиться къ этой небольшой полосѣ своей жизни. Мы поймемъ тогда и нѣкоторыя загадочныя на первый взглядъ соображенія о „заушеніяхъ" и „безчестномъ лаѣ", изложенныя въ приведенномъ вступленіи къ авто-

біографіи. Какъ-бы ни были, однако, уважительны причины такой исключительности, нельзя не пожалѣть о ней.

Къ тому-же, такъ занимавшему Елисеева, періоду относится безхитростный и во многихъ отношеніяхъ не выдерживающій критики, но превосходный въ своей непосредственности рукописный разсказъ жены Елисеева объ его арестѣ и событіяхъ, съ нимъ связанныхъ. Къ сожалѣнію, имъ можно будетъ воспользоваться лишь въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. Матеріалами для изображенія остальной жизни Елисеева намъ послужатъ частью разбросанныя по разнымъ рукописямъ отрывочныя воспоминанія самого Григорія Захаровича, частью личныя воспоминанія и воспоминанія другихъ близкихъ покойному публицисту лицъ, частью, наконецъ, печатные источники.

Григорій Захаровичъ Елисеевъ родился, по его собственному показанію, 25 января 1821 года, по словамъ историка казанской духовной академіи, г. Знаменскаго, въ 1819 г., а по формулярному о службѣ его списку—въ 1820 г. Отецъ его былъ сельскій священникъ Томской губерніи, дѣдъ-дьячокъ или пономарь. Отца Григорій Захаровичъ лишился очень рано и жилъ, вмѣстѣ съ матерью, у дѣда; который былъ и первымъ его учителемъ. Умеръ скоро и дѣдъ. Мать переѣхала съ нимъ изъ деревни въ городъ Тару, Тобольской губерніи, къ своей замужней сестрѣ. Бѣдно жилось въ деревнѣ, а въ городѣ, кажется, еще бѣднѣе: маленькій Елисеевъ помѣщался одно время съ матерью въ банѣ. Умерла и мать, когда мальчику минуло девять лѣтъ. Сироту взяло на свое попеченіе духовное начальство и опредѣлило въ духовное училище при тобольской семинаріи. И въ духовномъ училищѣ, и потомъ въ семинаріи Елисеевъ испыталъ много горькой нужды, но учился всегда отлично. По окончаніи семинарскаго курса онъ предполагалъ поступить въ медико-хирургическую академію, но начальство располагало иначе. Онъ попалъ въ московскую духовную академію, гдѣ и кончилъ курсъ въ 1844 г. по первому разряду. Въ январѣ 1845 г. началась его профессорская дѣятельность въ казанской духовной академіи.

Съ этихъ-же поръ начинаются болѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія о его жизни.

Повидимому, Елисеевъ сразу занялъ выдающееся положеніе въ академіи. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и не весьма благо-

склонный къ покойному публицисту г. Знаменскій, авторъ „Исторіи казанской духовной академіи“ (Казань, 1892 г.). Почтенный исторіографъ говоритъ объ уваженіи, которымъ пользовался Елисеевъ, и приводитъ соотвѣтственные факты. Но, воздавая, повидимому, должное высокимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ покойнаго, онъ не упускаетъ случая по поводу, напримѣръ, воспоминаній Шелгунова и Шашкова объ Елисеевѣ и т. п. умалить приписываемое ему значеніе. Общая же характеристика покойнаго, сдѣланная историкомъ казанской академіи, страдаетъ нѣкоторою двусмысленностью и несоотвѣтствіемъ какъ съ фактами, сообщаемыми самимъ г. Знаменскимъ, такъ и съ тѣми, которые намъ извѣстны изъ другихъ источниковъ. Г. Знаменскій пишетъ: „Высокая репутація Григорія Захаровича между студентами была какая-то, можно сказать, предвзятая, основанная больше на нѣкоторыхъ свойствахъ его личности, чѣмъ на достоинствахъ его преподаванія. Какъ только онъ явился въ академію, такъ его кругомъ окружила репутація чрезвычайно умнаго человѣка и человѣка, при томъ, либеральнаго направленія. Умнымъ человѣкомъ онъ былъ безспорно, но вовсе не въ томъ родѣ, чтобы носиться съ какимъ-нибудь либерализмомъ и всѣмъ его показывать. Эта послѣдняя черта его репутаціи могла основываться развѣ только на его пренебрежительной манерѣ держаться, на разныхъ сатирическихъ и часто жолчныхъ выходкахъ, въ сужденіяхъ о разныхъ предметахъ, въ колкостяхъ по адресу того или другого студента, въ письменныхъ отзывахъ о студенческихъ сочиненіяхъ, вродѣ, наприм., „пирогъ безъ начинки“ и т. п. Это былъ скорѣе язвительный скептикъ, чѣмъ либералъ, стоявшій за какую нибудь положительную либеральную идею.... и, вмѣстѣ съ тѣмъ, или, пожалуй, по этому самому, человѣкъ практическій, сдержанный при всей своей жолчности, способный хорошо примѣняться къ требованіямъ среды“. Затѣмъ г. Знаменскій разсказываетъ, что „на первыхъ порахъ службы, вѣроятно, подъ недавнимъ впечатлѣніемъ цензурныхъ и другихъ московскихъ страховъ, Елисеевъ былъ даже трусливъ и держался въ своей аудиторіи крайне оффиціально, подозрительно и скучно. Но и потомъ онъ никогда не дозволялъ себѣ высказываться съ какой-нибудь противоцензурной стороны откровенно и прямо, обнаруживая свой скептицизмъ лишь урывками и прикровенно... Откровеннѣе былъ онъ среди идеалистическаго кружка своихъ сослуживцевъ—моло

дыхъ баккалавровъ, въ которомъ любилъ пускаться въ горячія обличительныя рѣчи противъ разныхъ возмутительныхъ и вопіющихъ золъ современной гражданской, общественной и академической жизни".

Въ этомъ искусно написанномъ портретѣ есть черты, несомнѣнно подлинныя, которыя я узнаю на разстояніи десятковъ лѣтъ, отдѣляющихъ Елисеева—профессора духовной академіи отъ Елисеева, какимъ я его зналъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть въ работѣ г. Знаменскаго и нѣкоторый „прикровенный" тонъ, значительно портящій музыку. Выходитъ какъ будто похвально, а какъ будто и не похвально. Безъ всякаго сомнѣнія, похвальныя и непохвальныя черты очень часто соединяются въ одномъ и томъ-же человѣкѣ въ разныхъ пропорціяхъ. Но въ біографіи или литературномъ портретѣ онѣ должны являться соединенными и опредѣляться физіономіей оригинала, а не тономъ, которымъ говоритъ біографъ. Ниже, въ главѣ о „матеріальныхъ средствахъ и бытѣ наставниковъ академіи", г. Знаменскій, говоря объ упомянутомъ уже „идеалистическомъ" кружкѣ молодыхъ баккалавровъ, называетъ членовъ этого кружка „людьми на подборъ талантливыми, отличавшимися безпредѣльною любовью къ наукѣ, рѣдкимъ благородствомъ характеровъ и тѣми высокими идеальными стремленіями, которыя придавали такую обаятельную духовную красоту лучшимъ людямъ 1840 годовъ". Маленькій списокъ членовъ кружка, людей дѣйствительно въ высшей степени почтенныхъ, г. Знаменскій открываетъ именемъ Елисеева. Здѣсь онъ первымъ ставитъ его въ числѣ людей рѣдкаго благородства характера и обаятельной духовной красоты. Съ этимъ какъ-то мудрено связать эпитеты „трусливый", „прикровенный", „способный хорошо примѣняться къ требованіямъ среды". Конечно, все это еще не признаки какой-нибудь непроглядно черной души, но настолько, однако, непріятно плоскія нравственныя черты, что, очевидно, надо въ нихъ многое сбавить и многое къ нимъ прибавить, чтобы привести въ связь съ представленіемъ о рѣдкомъ благородствѣ характера и обаятельной духовной красотѣ. Характеристика не соотвѣтствуетъ и фактамъ, которые сообщаетъ самъ г. Знаменскій. Объ этомъ свидѣтельствуютъ уже нѣкоторые недочеты самой характеристики. Елисеевъ пользовался уваженіемъ не только студентовъ, а и товарищей, и начальства; вся его профессорская и вообще академическая жизнь была рядомъ

успѣховъ. Да и студентамъ мудрено было внушить уваженіе „пирогами безъ начинки“ и т. п. Очевидно, что-то въ Елисеевѣ внушало уваженіе, *не смотря* на эти „пироги“.

Но, кромѣ противорѣчивости или несогласованности частей, портретъ Елисеева, нарисованный г. Знаменскимъ, страдаетъ еще однимъ недостаткомъ: отсутствіемъ движенія, историческаго элемента. Елисеевъ, можно сказать, съ самаго рожденія попалъ въ очень суровую школу жизни. Такіе люди обыкновенно рано отливаются, какъ характеры, въ ту или другую опредѣленную форму, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми своими чертами, которыя и доносятъ до могилы. Таковъ былъ и Елисеевъ. Повторяю, даже въ противорѣчивомъ и искаженномъ портретѣ работы г. Знаменскаго я узнаю нѣкоторыя подлинныя черты Елисеева, какимъ я зналъ его много лѣтъ спустя. Впечатлѣніе какой-то особенно давней прочности производилъ онъ на всѣхъ и всегда. Именно—прочности, и, страннымъ образомъ, для меня, по крайней мѣрѣ, это впечатлѣніе прочности какъ-то отражалось и на физикѣ Елисеева, не смотря на очевидно издавна сѣдые волосы и бороду, старческія морщины лица, хилое сложеніе. Я думаю, что именно этой рано сложившейся опредѣленности физіономіи надо приписать и ту „предвзятую“ высокую репутацію, которою, по словамъ г. Знаменскаго, Елисеевъ былъ окруженъ, какъ только двадцати-трехлѣтнимъ юношей явился въ качествѣ профессора въ казанскую духовную академію: таинственная опредѣленность его характера импонировала. Я говорю „таинственная“ не въ какомъ-нибудь мистическомъ смыслѣ. Сразу чувствовалась недюжинная сила въ этомъ чужомъ, никому неизвѣстномъ юномъ пришельцѣ изъ Москвы. Она пробивалась въ мимоходомъ брошенномъ замѣчаніи, въ манерѣ говорить и держать себя, во множествѣ отдѣльныхъ мелочей, но разгадать ее было трудно, трудно было даже близко подойти къ ней. Кромѣ неизвѣстнаго намъ вклада наслѣдственности, далекая сибирская родина—деревня, раннее сиротство, нищета, суровая жизнь и нравственная безпріютность въ духовномъ училищѣ и семинаріи,—все это закалило человѣка замкнутаго, сосредоточеннаго, упорнаго, рѣдко раскрывающаго передъ другими душу. Для этого или онъ самъ долженъ придти въ особенное настроеніе переходящей экспансивности, или быть въ средѣ людей, очень близкихъ по духу. Внѣ этихъ двухъ условій онъ сухъ, молчаливъ, подозрителенъ вслѣдствіе привычной озабочен-

ности, какъ-бы кто посторонній не заглянулъ въ происходящую въ немъ внутреннюю работу. Открытому выраженію своихъ чувствъ и мыслей онъ часто предпочитаетъ намекъ или ироническую улыбку, какъ-бы пріотворяя дверь внутрь себя и тотчасъ же захлопывая ее. Любовь онъ внушаетъ лишь немногимъ, кого близко подпускаетъ къ себѣ, уваженіе—всѣмъ, даже не знающимъ его, но чувствующимъ присутствіе сдержанной силы. Елисеевъ былъ такимъ въ академіи, по свидѣтельству г. Знаменскаго, и такимъ-же во времена моего съ нимъ знакомства.

Но ранняя прочность и опредѣленность характера не есть еще неподвижность духовная вообще. Житейскій опытъ, новыя встрѣчи и знакомства, новыя сферы дѣятельности, углубленіе мысли и расширеніе умственнаго горизонта, оставляя неприкосновенными основныя черты характера, не могутъ, однако, проходить безслѣдно. И годы пребыванія въ казанской духовной академіи должны были быть особенно вліятельны. Какъ ни кратковременно было это пребываніе,—а оно даже и не очень кратковременно было: около десяти лѣтъ,—Елисеевъ не могъ за это время не вырости; и нельзя себѣ представить, чтобы, вступая въ академію въ качествѣ юнаго профессора и выходя изъ нея, онъ былъ вполнѣ себѣ равенъ. Г. Знаменскій самъ говоритъ, что было-бы интересно знать, какое вліяніе имѣлъ на Елисеева упомянутый уже „идеалистическій“ кружокъ молодыхъ баккалавровъ. Конечно, это было-бы очень интересно, но г. Знаменскій ведетъ свой разсказъ такъ, какъ будто ни непосредственный переходъ со школьной скамьи на профессорскую каѳедру, ни этотъ самый идеалистическій кружокъ и ничто другое не оказало никакого вліянія на Елисеева. Основныя черты характера Елисеева сложились такъ рано и прочно, что къ нему, больше чѣмъ къ кому-нибудь, можно примѣнить пословицу: „каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку“. Но едва-ли резонно размышлять о томъ, былъ-ли Елисеевъ „либераломъ“ или „скептикомъ“ на всемъ протяженіи десяти лѣтъ своего пребыванія въ казанской академіи. Разное тутъ, надо думать, было.

Итакъ, явился Елисеевъ въ академію человѣкомъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ вполнѣ готовымъ, на всю жизнь запечатлѣннымъ. Въ двадцать три года онъ уже импонировалъ окружающимъ своею серьезностью, замкнутостью, изъ-подъ которой выбивалась иногда холодная иронія, дававшая знать о значительности и

сложности внутренней работы, происходившей въ этомъ человѣкѣ. Работа, дѣйствительно, происходила значительная и сложная. Какъ ни какъ, а этому сдержанному, замкнутому человѣку все-таки было только двадцать три года. Основныя черты его характера уже сложились,—сложились, по всей вѣроятности, въ общихъ чертахъ и его общественныя симпатіи и антипатіи. Но и его міросозерцанію, и его житейскимъ планамъ приходилось еще вырабатываться. Ему приходилось еще даже набираться знаній, и не про запасъ будущаго, и не для вольнаго ихъ употребленія по своему личному усмотрѣнію, а для немедленнаго утилизированія въ формѣ обязательныхъ лекцій студентамъ.

Въ упомянутой уже предсмертной статьѣ, напечатанной въ „Вѣстникѣ Европы“, Елисеевъ вспоминаетъ о господствовавшемъ въ его время въ духовныхъ академіяхъ странномъ обычаѣ назначать молодыхъ профессоровъ на каѳедру и потомъ перемѣщать ихъ съ одной каѳедры на другую безъ всякаго вниманія къ степени ихъ подготовленности и къ ихъ склонностямъ. Большое обиліе примѣровъ этого рода читатель можетъ найти въ трудѣ г. Знаменскаго. Съ насъ достаточно примѣра самого Елисеева. Первоначально онъ былъ назначенъ баккалавромъ по церковной русской исторіи и еврейскому языку. Отъ преподаванія послѣдняго онъ былъ черезъ годъ освобожденъ, но за-то въ разное время читалъ, сверхъ церковной русской исторіи, гражданскую русскую исторію, нѣмецкій языкъ и каноническое право. Церковною русскою исторіей Елисеевъ, будучи студентомъ, занимался, по его словамъ, „довольно усердно“; кромѣ того, писалъ по этому предмету курсовую диссертацію. Еврейскимъ языкомъ онъ мало занимался въ московской академіи, но, по крайней мѣрѣ, интересовался имъ. Но каноническое право въ его время совсѣмъ не читалось въ московской академіи и потому, попавъ волею судьбы или ректора на эту каѳедру, онъ очутился въ большомъ затрудненіи. Къ счастью, каноническое право было скоро передано другому профессору, такъ что онъ успѣлъ прочитать всего шесть лекцій. Замѣна еврейскаго языка нѣмецкимъ его не затруднила, такъ какъ онъ, повидимому, всегда любилъ этотъ языкъ. Но уже настоящая тяжесть обрушилась на него, когда къ церковной русской исторіи присоединена была гражданская. Странность едва вѣроятная, но она значится въ одной изъ автобіографическихъ записокъ Елисеева: въ московской духовной академіи

онъ ни русской гражданской, ни всебщей исторіи не слушалъ, такъ какъ предметы эти не были обязательны и желающіе могли слушать, вмѣсто нихъ, математику. Елисеевъ выбралъ математику, и по части исторіи имѣлъ лишь семинарскія и затѣмъ, такъ сказать, приватныя познанія, пріобрѣтенныя въ часы досуга и по прикосновенности къ церковной исторіи. Но и помимо этого, имѣя вначалѣ лишь каѳедру церковной исторіи и еврейскаго языка, молодой баккалавръ отлично понималъ, что, призванный учить, онъ самъ долженъ еще много учиться. Готовности было много, но не мало было и препятствій, прежде всего, въ недостаткѣ научныхъ пособій. Жалованья баккалавръ получалъ 29 р. 83 коп. въ мѣсяцъ. Изъ этой суммы мудрено было удѣлить много на книги. А академическая библіотека была очень скудна, такъ какъ академія была открыта всего за два года передъ тѣмъ и, въ качествѣ учрежденія новаго, не успѣла еще разбогатѣть книгами. При томъ-же ректорѣ академіи, архимандрить Григорій, человѣкъ добрый и не глупый, но недостаточно для своего поста образованный, слишкомъ ужъ берегъ казенную копѣйку и скупился на выписку книгъ. Елисеевъ приставалъ, добивался выписки книгъ при помощи разныхъ хитростей, обращался въ университетскую библіотеку, выписывалъ черезъ академическое начальство книги и рукописи, для временнаго пользованія, изъ семинарскихъ библіотекъ. „Призадуматься было надъ чѣмъ,—пишетъ Елисеевъ.—Надобно было болѣе или менѣе основательно познакомиться со всею всеобщею исторіей, по крайней мѣрѣ, послѣдняго тысячелѣтія, чтобы затѣмъ или, по крайней мѣрѣ, одновременно изучать русскую гражданскую и, вмѣстѣ съ тѣмъ, готовить лекціи студентамъ, каждую недѣлю по двѣ—по русской гражданской исторіи и двѣ—по русской церковной. Для меня это былъ трудъ поистинѣ колоссальный. Я просиживалъ дни и ночи, чтобы не ударить лицомъ въ грязь передъ студентами, которые большею частью были люди даровитые, способные оцѣнить всякую лекцію, насколько она содержательна, основательна и стоитъ вниманія“.

Но это только одна сторона дѣла. Назвавшись груздемъ, молодой баккалавръ добросовѣстно полѣзъ въ кузовъ. Хотя, собственно говоря, онъ даже не самъ груздемъ назвался, а его, мимо его воли, назвали, но онъ работалъ изъ всѣхъ силъ, по природной или рано воспитанной замкнутости и вида не по ка

зывая, чего ему это стоитъ. Имъ не разъ овладѣвало отчаяніе, „хотя, —вспоминаетъ онъ,—по наружности это никому не было видно. По наружности все обстояло благополучно. Лекціи мои, конечно, не были самостоятельны, какъ оно и естественно вначалѣ, но онѣ были дѣльны и въ общемъ настолько приличны, что ихъ можно было слушать не безъ пользы. А когда рѣчь заходила о такомъ предметѣ, который давалъ широкій просторъ вносить въ нихъ элементъ моральный или публицистическій, то лекціи выходили не только крайне интересныя, но и блестящія. Такихъ предметовъ въ русской исторіи очень много".

Елисеевъ нисколько не преувеличиваетъ, говоря, что его лекціи бывали крайне интересны и даже блестящи. Мы имѣемъ на этотъ счетъ свидѣтельства его слушателей. Приведенныя воспоминанія Елисеева могутъ дать читателямъ, напротивъ, преуменьшенное понятіе о значеніи его лекцій. Безъ всякаго сомнѣнія, онъ не проложилъ новаго пути наукѣ. Но при его выдающихся способностяхъ, тотъ упорный трудъ, о которомъ онъ самъ разсказываетъ, конечно, долженъ былъ принести соотвѣтственные плоды. Даже заурядный умъ, при такой упорной работѣ, долженъ былъ въ достаточной степени овладѣть предметомъ, а умственныя способности Елисеева были далеко выше среднихъ. Этотъ большой, оригинальный и проницательный умъ не былъ умомъ человѣка чистой науки или отвлеченной теоріи, но за-то превосходно оріентировался въ вопросахъ практической жизни и отличался необыкновенною чуткостью въ этой области. Таковъ онъ былъ и впослѣдствіи, въ качествѣ журналиста, таковъ-же онъ былъ и въ академіи. Въ атмосферѣ религіозныхъ и церковныхъ вопросовъ, въ которой онъ жилъ съ самаго дѣтства, его, повидимому, никогда особенно не интересовали теоретическія исходныя точки,—онъ былъ къ нимъ равнодушенъ. Но тѣмъ большее значеніе получалъ для него нравственный, практическій элементъ религіи. Таковъ, повторяю, былъ складъ его вообще. И впослѣдствіи онъ сравнительно мало интересовался теоретическими исходными точками и готовъ былъ снисходительно отнестись ко всякой, если оказывалось возможнымъ привести ее въ связь съ извѣстными дорогими ему практическими выводами. Тонкій наблюдательный умъ помогъ ему быстро оріентироваться въ академической средѣ и оцѣнить разныя ея слабости и несоотвѣтствія съ оффиціально поставленными

задачами. Уже одни произвольные переводы профессоровъ съ одной каѳедры на другую, эти внезапныя превращенія математиковъ въ гебраистовъ, богослововъ въ математиковъ и т. п.— давали не блестящее понятіе о постановкѣ дѣла просвѣщенія вообще, религіознаго въ особенности. И все было подъ стать этому странному распорядку, какъ можно судить по слѣдующему эпизоду, разсказанному въ обширномъ некрологѣ Порфирьева, напечатанномъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ“ за 1890 годъ. Эпизодъ хорошо рисуетъ и нѣкоторыя стороны академической жизни, и нѣкоторыя черты Елисеева.

Порфирьевъ, авторъ извѣстной „Исторіи русской словесности“, а тогда молодой баккалавръ, былъ близкимъ другомъ Елисеева (его памяти посвящена послѣдняя, предсмертная статья Елисеева въ „Вѣстникѣ Европы“). Онъ составилъ записки по теоріи словесности, отличавшіяся по тогдашнему времени нѣкоторыми новшествами. Ректору, человѣку мало свѣдущему и взбалмошному, записки не понравились. Онъ потребовалъ передѣлки записокъ, уклонившись, однако, отъ объясненія, что именно и въ какомъ именно направленіи должно быть передѣлано. Порфирьевъ горевалъ и недоумѣвалъ. Горевалъ потому, что положилъ въ свой курсъ много труда и послѣдовательной мысли, недоумѣвалъ потому, что не получилъ отъ ректора никакихъ указаній. Его выручилъ Елисеевъ. Хорошо зная ректора, онъ ручался Порфирьеву за успѣхъ, если тотъ просто перепишетъ нѣсколько листковъ заново и опять представитъ записки ректору, ничего въ нихъ не измѣняя. Вышло какъ по писаному: „Ну, вотъ, теперь другое дѣло“,—сказалъ ректоръ, и записки были спасены.

Все это было мало отрадно, мало привлекательно, но для человѣка наблюдательнаго представляло своего рода богатую школу практической психологіи. Почему знающій и любящій свое дѣло профессоръ противомусульманскаго отдѣленія, одинъ изъ немногихъ знатоковъ исторіи, языковъ и религіи Востока, окажется вдругъ математикомъ? Почему забракованный сегодня курсъ теоріи словесности окажется вдругъ черезъ недѣлю пригоднымъ? Эти „вдругъ“ представляли собою психологическія загадки, для рѣшенія которыхъ требовалось пристальное наблюденіе надъ людскими faits et gestes... Не выходя изъ стѣнъ академіи, Елисеевъ могъ наблюдать не только вспышки ничѣмъ не стѣсняющагося произвола, но и естественныхъ спутниковъ такого по-

рядка вещей—разнообразныя его отраженія въ видѣ негодованія, озлобленія, лицемѣрія, умѣнья и неумѣнья приспособиться. Представьте только себѣ человѣка, назначаемаго противъ его воли и склонностей и не взирая даже на его не знакомство съ предметомъ, профессоромъ, напримѣръ, богословія. Елисеевъ отчасти на себѣ испыталъ это положеніе, въ особенности, когда къ его предметамъ было внезапно прибавлено каноническое право, котораго онъ не зналъ и къ которому не чувствовалъ никакого влеченія. Но онъ былъ такъ счастливъ или такъ ловокъ, что могъ ограничиться всего шестью лекціями по этой каѳедрѣ. Ему не пришлось, значитъ, à la longue насиловать себя, лицемѣрить, излагая неизвѣстное ему самому, и возбуждать въ слушателяхъ интересъ къ тому, что для него самого нисколько не интересно. Но видалъ въ этомъ родѣ онъ много и, конечно, многое извлекъ изъ этого житейскаго опыта. Я потому останавливаюсь на этой сторонѣ академической жизни Елисеева, что она его самого очень занимала, но были, разумѣется, и другіе поводы для подобныхъ-же наблюденій, поучительныхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, огорчительныхъ съ точки зрѣнія практическаго, нравственнаго элемента религіи, который былъ для него всегда дорогъ, независимо отъ теоретической основы...

Остановимся еще на минуту на эпизодѣ съ записками Порфирьева. Безъ сомнѣнія, нужно было очень тонко знать ректора и быть твердо увѣреннымъ въ этомъ знаніи, чтобы присовѣтывать такой рискованный шагъ и не ошибиться въ разсчетѣ. Фактъ этотъ можетъ служить выразительною иллюстраціей къ утвержденію г. Знаменскаго, что Елисеевъ былъ „человѣкъ практическій, способный хорошо примѣняться къ требованіямъ среды“. На основаніи близкаго своего знакомства съ Елисеевымъ въ позднѣйшее время, я готовъ это самое слово, да не совсѣмъ такъ молвить. Съ приведенными словами у васъ невольно ассоціируется представленіе о человѣкѣ, низкомъ-ползкомъ пробирающемся къ спокойному житію, выгодному положенію, жирному куску, почестямъ. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе относительно Елисеева. Способность приспособляться къ требованіямъ среды въ немъ несомнѣнно была, и въ очень сильной степени, но надо знать, какое употребленіе онъ дѣлалъ изъ этой способности. Объ этомъ можно судить по эпизоду съ записками Порфирьева: онъ приспособлялся, чтобы приспособлять. Онъ воспользовался своимъ знаніемъ взбал-

мошной натуры ректора и его невѣжества для того, чтобы благополучно провести курсъ теоріи словесности, въ который Порфирьевъ вложилъ много добросовѣстнаго труда. Такая способность приспособленія могла быть до извѣстной степени природнымъ даромъ; но такъ какъ она опирается на знаніе людей, то должна быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, результатомъ житейскаго опыта, очевидно, пріобрѣтеннаго уже въ стѣнахъ казанской академіи.

Такимъ образомъ, академія многому научила Елисеева. Въ ея стѣнахъ онъ пріобрѣлъ серьезныя научныя знанія и прошелъ своеобразную житейскую школу. И въ той, и въ другой области онъ дѣлалъ большіе успѣхи, но этотъ выигрышъ покупался слишкомъ дорогою цѣной. Внѣшнимъ образомъ все шло болѣе, чѣмъ хорошо. Среда, въ которой довелось жить и дѣйствовать Елисееву, относилась къ нему съ уваженіемъ, но бѣда была въ томъ, что онъ-то не могъ отплачивать ей тою-же монетой. Тонкое знаніе людей и умѣнье ладить съ ними обезпечивали ему выдающееся положеніе въ академіи, но вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ этого знанія и умѣнья вливалась горечь въ нравственное сознаніе. Еслибы онъ былъ изъ такихъ людей, которые умѣютъ приспособляться для того, чтобы вылѣзть куда-нибудь наверхъ на чужихъ спинахъ и тамъ, на этой высотѣ, успокоиться,—онъ легко могъ-бы этого достигнуть. Но чѣмъ больше онъ узнавалъ людей своей среды и чѣмъ больше убѣждался въ возможности управлять ими при помощи этого знанія, тѣмъ сильнѣе точилъ его червь недовольства. Все было не по немъ — не только его личное положеніе, но и всѣ академическіе порядки, вся атмосфера заведенія. Усиленная работа отвлекла его на нѣкоторое время отъ сознанія несоотвѣтствія того пути, на который его толкнула судьба, съ его вкусами, наклонностями и смутными, только еще слагавшимися идеалами. Работа эта, въ сущности сводившаяся на приготовленіе къ лекціямъ, уже потому не давала удовлетворенія, что была тою именно цѣпью, которая связывала его съ академіей. Оригинальный и серьезный умъ Елисеева требовалъ себѣ соотвѣтственной пищи, чего-нибудь, находящагося въ связи съ его спеціальными занятіями по исторической каѳедрѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, новаго, не разработаннаго и собственно отъ академіи независимаго. А тѣсныя условія, въ которыхъ ему приходилось жить, указали на задачи по мѣстной исторіи и археологіи.

Елисеевъ принялся за работу съ большимъ рвеніемъ. Онъ

обратился къ казанскому архіерею Владиміру съ просьбой о предписаніи выслать ему, Елисееву, для временнаго пользованія, изъ разныхъ церквей и монастырей описанія мѣстныхъ древностей, лѣтописи, синодики, описи церковнаго имущества. Онъ уже настолько ознакомился съ дѣломъ, что могъ, въ своемъ прошеніи къ архіерею, съ точностью указать тѣ мѣста, куда слѣдуетъ обратиться за нужными ему матеріалами. Архіерей отнесся къ прошенію благосклонно, но замѣтилъ въ своей резолюціи, что отъ монастырей и причтовъ „нельзя, кажется, будетъ дождаться и въ нѣсколько лѣтъ нужныхъ свѣдѣній“, и рекомендовалъ Елисееву обратиться за этими свѣдѣніями въ каждое мѣсто самому лично. Но это оказалось совершенно неудобоисполнимымъ, и еслибы сношенія съ разными церквами и монастырями не взяло на себя академическое правленіе, то Елисеевъ, вѣроятно, ничего не добился-бы. Впрочемъ, ему лично приходилось вести по этому поводу довольно дѣятельную переписку. Плодомъ этихъ занятій были два первыя сочиненія Елисеева: „Исторія жизни первыхъ насадителей и распространителей Казанской церкви, святителей Гурія, Варсонофія и Германа“ (Казань, 1847 г.) и „Краткое сказаніе о чудотворныхъ иконахъ Казанской, Седміозерской, Раиѳской и Мироносицкой пустыни“ (М., 1849 г.). Авторъ „Исторіи казанской духовной академіи“ сообщаетъ, что „новый казанскій архіепископъ Григорій остался не совсѣмъ доволенъ этими произведеніями. Первое казалось ему холодно и мало назидательно, что и заставило его въ 1853 г. издать свое собственное „Житіе святителей и чудотворцевъ Гурія и Варсонофія“ съ разными нравоучительными замѣтками и съ приложеніемъ чудесъ святыхъ“. Что касается второй работы, то она вызвала полемическую переписку между Елисеевымъ и московскимъ ученымъ Невоструевымъ. Споръ шелъ о сравнительной древности иконъ Казанской Божіей Матери, находящихся въ Москвѣ и въ Казани. Елисеевъ оказался побѣдителемъ. Для печати перепиской этой, хранившейся въ библіотекѣ казанской академіи, воспользовалось впослѣдствіи другое лицо. Немудрено, что когда въ 1850 г., по распоряженію синода, было предпринято историко-статистическое описаніе казанской епархіи, трудъ этотъ былъ порученъ Елисееву. На этотъ разъ ему были предоставлены и нѣкоторыя денежныя средства, и возможность работы въ архивахъ, не только казанскихъ, но и петербургскихъ и московскихъ. Въ февралѣ 1853 года онъ пред-

ставилъ первую, вполнѣ законченную часть труда, подъ заглавіемъ: „Исторія распространенія христіанства въ краѣ Казанскомъ“. „Но, — замѣчаетъ г. Знаменскій, — по обстоятельствамъ, она не была напечатана и осталась въ рукописи въ библіотекѣ академіи“. Какія именно обстоятельства помѣшали появленію этого труда въ печати, историкъ казанской духовной академіи не сообщаетъ. Онъ прибавляетъ, однако, что и въ своемъ незаконченномъ видѣ трудъ Елисеева не остался безплоднымъ: надъ матеріалами, имъ собранными, работали потомъ другіе, и „нельзя сказать, чтобы содержаніе этихъ матеріаловъ было вполнѣ исчерпано даже доселѣ“ (въ 1892 г.).

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Къ этому времени Елисеевъ былъ уже секретаремъ академіи и экстраординарнымъ профессоромъ. Положеніе его все упрочивалось, репутація возвышалась, онъ былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ профессоровъ академіи. Но недовольство атмосферой продолжало обостряться и получило даже, вѣроятно, новые толчки отъ сношеній съ церковными причтами и монастырями, къ которымъ нужно было обращаться за матеріалами и отъ которыхъ, какъ и архіерей предупреждалъ, „нельзя, кажется, будетъ дождаться и въ нѣсколько лѣтъ нужныхъ свѣдѣній“. Острѣе становился и вопросъ о будущемъ: что-же дальше? все то-же? и такъ всю жизнь?

Вотъ какъ описываетъ самъ Елисеевъ свое тогдашнее состояніе: „Мнѣ часто стало приходить на мысль немедленно бѣжать изъ академіи. Но куда бѣжать? Самымъ прямымъ и законнымъ выходомъ былъ-бы выходъ въ духовное званіе. Выходъ этотъ представлялъ для меня много выгодъ. Благоволившій ко мнѣ за мои работы по составленію историческаго описанія казанской епархіи преосвященный далъ-бы мнѣ лучшее мѣсто въ Казани, предоставилъ-бы вскорѣ открывшуюся каѳедру профессора богословія въ университетѣ и т. п. Но мои идеалы были совсѣмъ другіе и никакъ не совпадали съ жирнымъ и лѣнивымъ существованіемъ нашего бѣлаго духовенства. А кромѣ того, во мнѣ не было ни твердыхъ религіозныхъ убѣжденій, ни горячаго религіознаго чувства... Другія, болѣе соблазнительныя мысли мелькали у меня въ головѣ. Я былъ молодъ, по крайней мѣрѣ, настолько молодъ, что чувствовалъ себя способнымъ еще выдержать полный курсъ ученія: во мнѣ кипѣла жажда знанія и участія

къ той интеллигентной жизни, которая, по моему мнѣнію, сосредоточивалась тогда въ Москвѣ, и меня тянуло бросить свое профессорство въ академіи, поступить студентомъ въ московскій университетъ. Имѣй я возможность обезпечить себя на четыре года университетскаго курса, я-бы непремѣнно привелъ эту свою мысль въ исполненіе. Но я не имѣлъ возможности и подумать объ этомъ серьезно. Кромѣ тѣхъ 29 р. 83 к. ежемѣсячнаго жалованья, которые я получалъ по должности наставника академіи и которыхъ едва хватало мнѣ на самое скудное содержаніе, у меня не было никакихъ другихъ источниковъ доходовъ. Ни о какомъ кредитѣ въ будущемъ, даже на самое короткое время и самой ничтожной суммы, мнѣ нельзя было думать. И мнѣ надо было оставаться на мѣстѣ, лаская себя мечтательною надеждой, что, дескать, время еще не ушло, черезъ два-три года я успѣю достигнуть желаемаго. На самомъ-же дѣлѣ, каждый новый годъ моей службы скорѣе увеличивалъ, чѣмъ уменьшалъ несоотвѣтствіе моихъ средствъ съ возроставшими потребностями и меня самого дѣлалъ менѣе годнымъ для превращенія снова въ школьника".

Такое тягостное настроеніе не могло не отражаться и на отношеніяхъ Елисеева къ окружающимъ, и на самыхъ его лекціяхъ. Скверно было на душѣ, поднималась жолчь,—поднималась и выливалась въ резолюціяхъ вродѣ „пирогъ безъ начинки" или въ саркастическаго характера лекціяхъ. Г. Знаменскій утверждаетъ, что лекціи Елисеева „прошли въ исторіи академіи какъ-то мало замѣтно, вслѣдствіе, можетъ быть, своего сухого историко-археологическаго характера". Въ общемъ это, можетъ быть, и вѣрно. Но вѣрно также и то, что лекціи Елисѣева не всегда были сухимъ изложеніемъ историко-археологической матеріи, а нѣкоторыя изъ нихъ были даже очень и очень замѣтны. И г. Знаменскій это знаетъ. По словамъ г. Виноградова въ „Иркутскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" 1890 г., въ аудиторіи Елисеева часто раздавался „гомерическій смѣхъ". „Впечатлѣніе отъ его лекцій,—вспоминаетъ г. Виноградовъ,—мало подходившихъ къ духовному строю академіи, еще усиливалось отъ манеры его чтенія. Самыя пикантныя фразы онъ произносилъ невозмутимо, съ самымъ строгимъ выраженіемъ лица и голоса, ни разу не улыбнувшись; напротивъ, чѣмъ пикантнѣе была его лекція, тѣмъ лицо его становилось серьезнѣе, голосъ строже. Въ то время, когда студентами овладѣвалъ неудержимый смѣхъ, онъ спокойно

останавливался, пока не пройдетъ смѣхъ студентовъ, или спрашивалъ словами Гоголя: надъ чѣмъ смѣетесь?—надъ собою смѣетесь".

Я ни мало не сомнѣваюсь, что въ этихъ лекціяхъ не было ничего кощунственнаго, никакой насмѣшки собственно надъ религіей: жолчною ироніей обдавались лишь среда, представители которой поэтому, дѣйствительно, „надъ собою смѣялись". Но и вызывалъ этотъ смѣхъ Елисеевъ, конечно, не съ легкимъ сердцемъ, потому что вѣдь онъ былъ самъ плоть отъ плоти и кровь отъ крови этой среды. Впослѣдствіи, въ своихъ „внутреннихъ обозрѣніяхъ", онъ не разъ съ большимъ участіемъ трактовалъ о судьбѣ семинаристовъ и духовенства (только о монашествѣ онъ молчалъ упорно) и по свойственному ему практическому складу ума предлагалъ разные проекты улучшенія ихъ быта. Упомянутыя же саркастическія лекціи были плодомъ глубокой тоски и стремленія къ иному положенію...

Въ памяти слушателей Елисеева сохранились его лекціи и другого характера. И г. Знаменскій опять-таки это знаетъ и самъ разсказываетъ. Такъ, въ 1850 году Елисеевъ прочиталъ нѣсколько лекцій о Протасовской реформѣ учебныхъ заведеній и о почти современномъ тогда дѣлѣ переводчика Библіи протоіерея Павскаго. „Студенты такъ были наэлектризованы этими лекціями, что въ первый разъ отъ основанія академіи въ аудиторіи профессора раздались аплодисменты". Такой-же, повидимому, эффектъ произвела въ 1852 г. его вступительная лекція въ курсъ церковной исторіи. Лекція трактовала „о жизни привилегированныхъ классовъ въ Россіи, о горемычномъ житьѣ народа и о крѣпостномъ правѣ,—предметѣ тогда еще положительно запрещенномъ". Подобныя лекціи естественно должны были вызывать энтузіазмъ въ слушателяхъ.

Я сказалъ, что въ общемъ замѣчаніе г. Знаменскаго относительно характера лекцій Елисеева и ихъ значенія въ академіи можетъ быть и вѣрно. Но едва-ли правъ г. Знаменскій, когда выражаетъ эту мысль слѣдующими рѣзкими словами: „Замѣчательно, что во все время академической службы Елисеева студенты вовсе не занимались русской исторіей, и даже самый лучшій его слушатель и преемникъ, А. П. Щаповъ, оказался ничѣмъ ему не обязаннымъ въ своемъ историческомъ направленіи и пошелъ по своему собственному пути".

Одинъ изъ слушателей Елисеева, нынѣ ирбитскій мировой судья, А. И. Иконниковъ, сообщилъ мнѣ слѣдующій любопытный эпизодъ, съ разныхъ сторонъ рисующій Елисеева, какъ профессора.

Однажды Елисеевъ задалъ всѣмъ своимъ слушателямъ обычное мѣсячное сочиненіе на необычную въ академіи тему: о святочныхъ переряживаніяхъ. Онъ указалъ при этомъ и источники: книгу Терещенка, статью Кавелина и т. д. Это было совсѣмъ неожиданно для студентовъ, привыкшихъ ломать головы надъ темами вродѣ „какое различіе между мышленіемъ и бытіемъ?“ и т. п. Принялись за дѣло, кто какъ умѣлъ. Выдѣлились два студента: одинъ старшаго курса—Стекловъ, впослѣдствіи ректоръ нижегородской семинаріи, другой младшаго курса—Щаповъ. Стекловъ отнесся къ заданной темѣ высокомѣрно, высказавшись въ своемъ сочиненіи въ томъ смыслѣ, что святочныя переряживанія—просто „крестьянское баловство“, не стоющее вниманія людей науки. Разбору этого мнѣнія Елисеевъ посвятилъ цѣлую лекцію, при чемъ, не называя имени автора, обдалъ его тою ядовитою ироніей, которой такъ боялись студенты. Что-же касается Щапова, то онъ сильно увлекся заданной темой, и вмѣсто обычныхъ 3—5 листовъ, написалъ листовъ 20... Быть можетъ, это былъ первый толчокъ, опредѣлившій характеръ занятій Щапова.

Здѣсь кстати припомнимъ одинъ позднѣйшій литературный эпизодъ изъ жизни Елисеева.

Въ 1878 г. одинъ писатель, въ жару полемики, попрекнулъ Елисеева его первымъ спеціальнымъ литературнымъ трудомъ—„Житіемъ Гурія, Варсонофія и Германа“. Въ особенности подчеркивалось посвященіе книжки казанскому архіерею, въ которомъ авторъ называлъ свой трудъ „малою лептой моего дѣланія“ и просилъ принять его „съ нисхожденіемъ, да ободрится къ большимъ трудамъ недостоинство трудящагося“. Попрекъ не имѣлъ никакого отношенія къ предмету полемики и былъ выдвинутъ, какъ у насъ это часто бываетъ, съ единственною цѣлью уколоть противника, причинить ему непріятность. Но попрекавшій, какъ это тоже часто бываетъ, ошибся въ разсчетѣ. Елисеевъ ни мало не сконфузился и съ достоинствомъ поднялъ брошенную ему перчатку, не пытаясь ни замолчать выкопанный изъ его далекаго прошлаго фактъ, ни отрицать его, ни какъ-нибудь криво истолковать. Ни въ чемъ подобномъ и надобности не было. Задавался

вопросъ: „когда г. Елисеевъ былъ искреннимъ человѣкомъ, тогда-ли, когда въ немъ кипѣла юношеская кровь и онъ писалъ „малыя лепты“, или теперь, когда опытъ жизни умудрилъ его и онъ пишетъ „внутреннее обозрѣніе“? Вопрошавшій не могъ не понимать, что въ теченіе тридцати лѣтъ человѣкъ можетъ рѣзко измѣнить свое міросозерцаніе, оставаясь вполнѣ искреннимъ. Не могъ онъ также не понимать, что въ духовномъ сословіи существуютъ, можетъ быть, и теперь, а тѣмъ паче существовали тридцать лѣтъ тому назадъ, свои особыя формы эпистолярнаго слога, столь-же условныя, какъ наши теперешнія „милостивый государь“ и „съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть покорнѣйшимъ слугой“. Но Елисеевъ не ограничился этими слишкомъ уже элементарными возраженіями. Онъ указалъ на черты единства всей своей дѣятельности. Онъ заявилъ, что ни мало не стыдится „за тридцать слишкомъ лѣтъ составленнаго имъ жизнеописанія первыхъ казанскихъ архіереевъ, людей даже и съ гражданской точки зрѣнія достойныхъ всякаго уваженія, потому что они для культуры и развитія края сдѣлали болѣе, чѣмъ сколько дѣлали не только тогдашніе воеводы, но чѣмъ сколько дѣлаютъ и нынѣшніе генералы“. „Сфера моей прежней спеціальной литературной дѣятельности,—писалъ Елисеевъ,—въ существѣ своемъ вовсе не находится въ такомъ противорѣчіи съ моею нынѣшнею литературною дѣятельностью, чтобы нужно было радикальное нравственное измѣненіе для перехода изъ первой въ послѣднюю... Съ лѣтами должно было болѣе или менѣе видоизмѣниться мое теоретическое религіозное міросозерцаніе, но нравственное міросозерцаніе осталось то-же самое: тѣ моральныя истины, которымъ я училъ въ проповѣдяхъ, которыя имѣлъ въ виду или излагалъ въ своихъ лекціяхъ студентамъ, которыя проводилъ въ историческихъ трудахъ, тѣ-же самыя истины я излагаю или имѣю въ виду и въ моихъ „внутреннихъ обозрѣніяхъ“. Мы знаемъ теперь, что Елисеевъ могъ-бы сказать на эту тему гораздо больше.

Собирая матеріалы для историко-статистическаго описанія казанской епархіи, Елисеевъ побывалъ въ Петербургѣ и Москвѣ и, значитъ, подышалъ новымъ воздухомъ. Не Богъ знаетъ какимъ цѣлительнымъ воздухомъ дышала тогда вся Россія (то былъ канунъ крымской войны), но были, однако, уголки, гдѣ еще съ сороковыхъ годовъ свято хранился Прометеевъ огонь. Случилось

ли гдѣ-нибудь Елисееву столкнуться съ однимъ изъ такихъ хранилищъ, мы не знаемъ. Но, во всякомъ случаѣ, одно изъ такихъ хранилищъ само собою устроилось въ стѣнахъ казанской академіи. То былъ „идеалистическій“ кружокъ молодыхъ профессоровъ, о которомъ выше было уже вскользь упомянуто. Кружокъ этотъ представлялъ собою нѣчто очень любопытное. Въ бумагахъ Елисеева я нашелъ нѣсколько писемъ покойнаго Порфирьева. Есть письма еще какого-то товарища по службѣ въ академіи, съ неразборчивою подписью. Переписка была начата или послѣ долгаго перерыва возобновлена самимъ Елисеевымъ и мотивируется, между прочимъ, воспоминаніями о „зеленомъ“, по его выраженію, времени академическаго кружка. Такіе моменты жизни не забываются и даже издалека свѣтятъ и грѣютъ. Повидимому, для всѣхъ членовъ кружка навсегда остались свѣтлыми воспоминанія о тѣсной дружбѣ и истинно братскихъ отношеніяхъ, связавшихъ эту горсть молодыхъ людей, о совмѣстныхъ чтеніяхъ разныхъ литературныхъ новинокъ и рѣдкостей, и горячихъ бесѣдахъ на острыя темы. Одинъ изъ членовъ кружка, Н. И. Ильминскій, еще въ 1865 г. разсказалъ кое-что въ „Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета“. Образчикомъ времяпровожденія кружка можетъ служить вечеръ, или, можетъ быть, вѣрнѣе, ночь, посвященная чтенію рукописнаго списка второй части „Мертвыхъ душъ“. На столѣ стоялъ портретъ Гоголя, бутылка хереса и сальная свѣчка... Но въ этой убогой комнатѣ ключомъ била жизнь. Волна общихъ литературныхъ интересовъ захватила эту группу молодыхъ талантливыхъ людей разныхъ спеціальностей. Здѣсь, судя по нѣкоторымъ даннымъ, читались и дебатировались не только Гоголь, а и Бѣлинскій, Искандеръ и многое другое, расширявшее горизонты. Здѣсь слагался, вѣроятно, хотя частію, тотъ курсъ исторіи словесности Порфирьева, который Елисеевъ спасъ своимъ мудрымъ совѣтомъ. Здѣсь и Елисеевъ отдыхалъ душой, сбрасывалъ всю свою сдержанность и холодную иронію и горячо говорилъ обо всемъ, что въ немъ накипѣло. Здѣсь же слагались и его лекціи о крѣпостномъ правѣ и другихъ щекотливыхъ по тогдашнему времени предметахъ, вызывавшія бурные аплодисменты аудиторіи,—явленіе, дотолѣ не бывалое въ казанской академіи и повторявшееся впослѣдствіи, кажется, только на лекціяхъ Щапова. „Въ первый разъ мы узнали тутъ, что такое Елисеевъ“,—вспоминалъ одинъ изъ слушателей.

Къ этому можно прибавить, что въ извѣстномъ смыслѣ Елисеевъ и самъ незадолго передъ тѣмъ узналъ, что онъ такое, по крайней мѣрѣ, отрицательно. Онъ убѣдился именно, что не его дѣло чистая наука, научное изслѣдованіе фактовъ и объективная ихъ систематизація. Къ тому времени, когда онъ, послѣ усиленнаго труда, овладѣлъ своимъ предметомъ и могъ являться на каѳедру, уже не смущаясь своею неподготовленностью, предметъ этотъ получилъ для него новое освѣщеніе: русская исторія, церковная и гражданская, неразрывно связалась съ текущею жизнью и открылась со стороны своего „моральнаго или публицистическаго элемента“, какъ онъ самъ выражается въ автобіографической запискѣ. Для другого человѣка, а, можетъ быть, и для Елисеева при другихъ условіяхъ, въ другой обстановкѣ, это не только не было бы препятствіемъ къ дальнѣйшему воздѣлыванію науки, но могло бы даже быть новымъ толчкомъ въ этомъ направленіи. Въ самомъ дѣлѣ, научное изслѣдованіе нашего историческаго прошлаго можетъ, повидимому, только оживиться, получить новую привлекательность отъ дуновенія скорбей и радостей, надеждъ и разочарованій, сейчасъ нами переживаемыхъ. Монастырская лѣтопись, синодикъ, какой-нибудь архивный документъ, способный обрадовать сердце историка, какъ новый матеріалъ для теоретическаго построенія, получаетъ еще при этомъ практически-жизненный характеръ, въ особенности для человѣка, умѣющаго утилизировать его въ видѣ урока внимательной и сочувственной аудиторіи. Но „моральный или публицистическій элементъ“ уже слишкомъ перевѣсилъ въ Елисеевѣ все остальное. Лѣтописи и синодики, архивные и археологическіе матеріалы, къ которымъ онъ было прилѣпился, утратили для него всякій интересъ, потому что вѣдь моральный или публицистическій элементъ можно найти гораздо ближе, вокругъ насъ сейчасъ. Такому повороту способствовалъ отчасти чисто практическій складъ ума Елисеева, а отчасти характеръ того оффиціально-научнаго поприща, на которое онъ былъ поставленъ обстоятельствами. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ казанскій архіерей, отъ котораго зависѣла судьба его литературно-научной дѣятельности, нашелъ его первую работу „холодною и мало-назидательною“. Если-бы онъ взялся за ту же тему въ концѣ своего пребыванія въ академіи, работа вышла-бы, вѣроятно, и горячею, и очень назидательною (иначе онъ въ тогдашнемъ своемъ настроеніи и не

взялся-бы за нее), но ни эта горячность, ни эта назидательность, навѣрное, не заслужили-бы одобренія: онѣ были-бы не въ надлежащемъ тонѣ. Чистая науча оказалась для него дѣломъ неподходящимъ, но и наука-ancilla тоже. Упоминаніе въ автобіографической запискѣ о „моральномъ и публицистическомъ элементѣ“ чрезвычайно характерно. При томъ настроеніи, въ которомъ былъ тогда Елисеевъ, онъ могъ-бы найти удовлетвореніе только въ двухъ положеніяхъ: проповѣдника и публициста. Для роли проповѣдника у него, по его собственному сознанію, не хватало горячаго религіознаго чувства. Онъ никогда не былъ противъ религіознаго источника проповѣди и всегда высоко цѣнилъ людей, искренно отдающихся этому дѣлу, если практическая сторона ихъ проповѣди совпадала съ дѣломъ правды. Но самъ онъ по совѣсти не могъ утвердиться на этой точкѣ, а лгать не хотѣлъ. Что-же касается роли публициста литературнаго истолкователя текущей жизни и оцѣнщика ея съ извѣстной общественной точки зрѣнія, то онъ и впослѣдствіи долго еще не сознавалъ въ себѣ присутствія нужнаго для этой роли таланта. Да и какая-же тогда была публицистика? Въ симпатичномъ для Елисеева направленіи тогда еще кое-какъ могли справляться съ этимъ дѣломъ люди исключительнаго таланта, витая въ сферахъ высшихъ теоретическихъ обобщеній, отвлеченій и иносказаній. Текущая жизнь въ ея непосредственной фактической злобѣ дня была безусловно запретнымъ плодомъ. Изъ этихъ отрицательныхъ слагаемыхъ получился и итогъ отрицательный,—мучительная безвыходность, мрачное стремленіе махнуть на все рукой: идти некуда, на мѣстѣ оставаться нельзя. Навѣрное, много тяжелыхъ дней и безсонныхъ ночей провелъ въ это время Елисеевъ. И другой на его мѣстѣ кончилъ-бы дурно. Это одно изъ тѣхъ именно положеній, въ которыхъ люди спиваются, въ разумѣ повреждаются, пулю себѣ въ лобъ пускаютъ. Бѣда была близка отъ Елисеева и до извѣстной степени настигла его. Въ послѣдніе годы своей казанской жизни онъ былъ не чуждъ слабости, сгубившей много талантливыхъ русскихъ людей. Глубочайшее мое уваженіе къ памяти Елисеева и искреннѣйшая любовь къ нему не мѣшаютъ мнѣ помянуть эту черту его жизни, мало кому извѣстную и которую поэтому легко было-бы скрыть. Повидимому, это несчастіе висѣло надъ нимъ лишь очень короткое время; онъ былъ слишкомъ уравновѣшенная натура, чтобы надолго поддаться этой сла-

бости. Впослѣдствіи онъ былъ до такой степени далекъ отъ нея, что если-бы я не зналъ отъ него самого, то никогда не догадался-бы и не повѣрилъ-бы. Не въ судъ или осужденіе записываю я эту подробность, — пусть этимъ другіе, кто хочетъ, занимаются, а для иллюстраціи того душевнаго состоянія, которое переживалъ Елисеевъ. По натурѣ спокойный, сдержанный, онъ искалъ забвенія. Не поздравляю съ проницательностью и даже съ добродѣтелью того, кто сдѣлаетъ изъ этого обстоятельства упрекъ его памяти. Пьянство есть слабость или порокъ. Справедливо сказано: „не упивайтеся виномъ“. И благо тому, кому не знакомъ смыслъ пѣсни, которую любилъ пѣть даровитый пьяница, тоже бывшій профессоромъ казанской академіи, Щаповъ:

Ахъ, спасибо-же тебѣ, синему кувшину,
Ты размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину!

И не только благо, а честь ему и слава, если онъ не искалъ забвенія въ винѣ, хотя къ тому были поводы и искушенія. Но бываетъ, что и ничего не бываетъ, какъ говорилъ одинъ нѣмецъ. Бываетъ, что добродѣтель охраняется стражемъ, весьма не дорого стоющимъ: недостаткомъ воспріимчивости, нравственною толстокожестью. Во всякомъ случаѣ, и среди пьющихъ, и среди не пьющихъ звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славѣ, а иному и за добродѣтель никакой славы не полагается...

Поколебавшись нѣкоторое время, помучившись въ колебаніяхъ между мечтою и дѣйствительностью, Елисеевъ вышелъ въ 1850 г. изъ духовнаго званія, а въ 1854 г. отказался отъ профессорства и поступилъ на государственную службу. Нужно было много скромнаго мужества, искренности и самообладанія для такого рѣшенія. Съ внѣшней стороны положеніе его въ казанской духовной академіи было прекрасное. Онъ былъ на хорошемъ счету въ качествѣ способнаго и знающаго профессора; онъ пользовался популярностью среди студентовъ, которые, наконецъ, „узнали, что такое Елисеевъ“, онъ былъ занятъ обширнымъ историческимъ трудомъ, который уже значительно подвинулся впередъ и для окончанія котораго онъ собралъ много матеріаловъ, *до сихъ поръ* (черезъ сорокъ лѣтъ!) не вполнѣ исчерпанныхъ, хотя надъ ними работали и другіе; онъ могъ, какъ мы видѣли, разсчитывать и на спокойное обезпеченное положеніе священника въ хорошемъ, что называется, приходѣ, и на каѳедру

богословія въ университетѣ. Отъ всѣхъ этихъ перспективъ онъ отказался и вступилъ на обычный тогда житейскій путь всякаго средняго русскаго образованнаго бѣдняка, не пригрѣтаго какимъ-нибудь спеціальнымъ солнцемъ. Онъ затерывался здѣсь въ безличной массѣ чиновничества, но за-то избавлялся отъ раздиравшихъ его внутреннихъ противорѣчій.

Онъ поступилъ на службу въ Сибирь, — потому-ли, что для этого имѣлись у него подходящія знакомства, или потому, что его влекло на родину, или, наконецъ, потому, что какія-нибудь особенности сибирскаго быта привлекали его возможностью приложить свои силы къ практикѣ съ наибольшею пользою и въ соотвѣтствіи съ его идеалами. О службѣ его въ Сибири мнѣ ничего неизвѣстно, кромѣ свѣдѣній, имѣющихся въ его формулярномъ спискѣ. Онъ былъ сперва омскимъ, потомъ тарскимъ окружнымъ начальникомъ, потомъ совѣтникомъ тобольскаго губернскаго правленія и исполнялъ множество разнообразнѣйшихъ порученій по службѣ, главнымъ образомъ, въ средѣ крестьянства; они-то и доставили ему то знакомство съ практическою жизнью, которое впослѣдствіи такъ пригодилось ему въ его „внутреннихъ обозрѣніяхъ“ въ „Современникѣ“ и „Отечественныхъ Запискахъ“. Нѣкоторое указаніе на характеръ его служебной дѣятельности можетъ дать слѣдующее замѣчаніе въ первой его статьѣ, напечатанной въ „Современникѣ“ въ 1858 г. („О Сибири“): „Кто поставленъ въ начальническія отношенія къ крестьянамъ по своей должности, тотъ долженъ вооружиться всевозможнымъ терпѣніемъ для бесѣды съ крестьянами. Никогда крестьянина, пришедшаго къ нему съ просьбой, не долженъ онъ отпускать со словами: „этого сдѣлать нельзя“. Нѣтъ, всегда онъ долженъ растолковать и растолковать, отчего нельзя. Только такимъ образомъ можетъ онъ пріобрѣсти отъ крестьянъ довѣріе и прекратить безчисленное множество просьбъ, поступающихъ въ высшія инстанціи оттого только, что крестьянину было растолковано не въ *долбежъ*, о чемъ просилъ онъ на инстанціи низшей“.

Служилъ, впрочемъ, Елисеевъ не долго: съ апрѣля 1854 г. по декабрь 1857 г., когда по болѣзни вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ 1858 г. въ Петербургъ. Пріѣхалъ, повидимому, безъ опредѣленныхъ плановъ, просто привлекаемый свѣтомъ зари, которая поднималась тогда надъ всею Россіей, но яснѣе всего

чувствовалась въ Петербургѣ или, по крайней мѣрѣ, такъ казалось всякому провинціалу. О литературѣ, какъ профессіи, онъ, во всякомъ случаѣ, не думалъ.

Въ числѣ недоконченныхъ рукописныхъ статей Елисеева есть одна, которая съ перваго взгляда навѣрное очень удивилабы читателя.

Статья, неизвѣстно къ какому времени относящаяся, имѣетъ видъ отвѣтнаго письма кому-то, обратившемуся къ автору съ такими, между прочимъ, словами: „Намъ ничего не осталось въ наслѣдство отъ прошлаго; у насъ нѣтъ никакого великаго общественнаго дѣла, надъ которымъ мы могли-бы работать въ настоящемъ; у насъ нѣтъ никакихъ надеждъ и идеаловъ въ будущемъ. Мы имѣемъ въ своемъ обладаніи одно Волково кладбище, однѣ только могилы нашихъ великихъ покойниковъ. Съ ними, съ этими великими покойниками, должна жить наша мысль въ постоянномъ единеніи, на ихъ могилы должны мы ходить освѣжать свою душу, страдающую и томящуюся въ безпросвѣтной мглѣ настоящаго, воспоминаніями объ исчезнувшихъ идеалахъ и надеждахъ, и тамъ искать разрѣшенія и уясненія нашихъ будущихъ судебъ“. Елисеевъ горячо возстаетъ противъ мрачно-пессимистическаго тона этой тирады, но, къ сожалѣнію, эта часть статьи осталась совсѣмъ неразработанною. Что-же касается обитателей Волкова кладбища, то, вполнѣ присоединяясь къ хвалѣ имъ и съ особенно глубокимъ почтеніемъ останавливаясь на нѣкоторыхъ изъ нихъ,—на Бѣлинскомъ и Добролюбовѣ,—Елисеевъ прибавляетъ, что о заслугахъ другихъ онъ не будетъ распространяться, потому что это заняло-бы слишкомъ много мѣста. „А я никакъ не могу,—пишетъ онъ,—пройти молчаніемъ особую серію великихъ покойниковъ, до сихъ поръ никѣмъ еще не отмѣченныхъ, но которые, на мой взглядъ, по нравственной красотѣ не менѣе, если не болѣе велики, чѣмъ вышеупомянутые. Кто они—я не знаю, имя ихъ легіонъ и имена ихъ Ты, Господи, вѣси. Ихъ тѣлами обильно упитано Волково кладбище, но безчисленное множество ихъ разсѣяно по безчисленному множеству кладбищъ русской земли не только большихъ городовъ, но и малыхъ и даже, вѣроятно, селъ, и почиваютъ они тамъ такъ-же безвѣстно, какъ и здѣсь“.

Кто-же это такое? Читатель, конечно, удивится, когда узнаетъ,

что это, какъ выражается Елисеевъ, — „литературная богема“ конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, тогдашніе безчисленные „обличители“, „литераторы-обыватели“, которыхъ Салтыковъ окрестилъ нарицательно-собственнымъ именемъ „Корытниковыхъ“. Эти-то маленькіе, незамѣтные, а подчасъ просто смѣшные люди оказываются „по нравственной красотѣ не менѣе, если не болѣе великими“, чѣмъ Бѣлинскій, Добролюбовъ и другіе обитатели завѣтныхъ могилъ на Волковомъ кладбищѣ. Какъ ни страннымъ можетъ показаться такой взглядъ, но уже самая его оригинальность заставляетъ отнестись къ нему со вниманіемъ, тѣмъ болѣе въ виду репутаціи Елисеева: его мало знали и кое-кто былъ очень не расположенъ къ нему, но въ его умѣ, знаніи жизни и серьезности никто никогда не сомнѣвался. Поневолѣ думается, что у высказаннаго имъ страннаго взгляда должны быть извѣстныя солидныя основанія, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторой особенной точки зрѣнія.

Чтобы усвоить себѣ эту особенную точку зрѣнія, надо, прежде всего, отрѣшиться отъ представленія о нынѣшнихъ „обличителяхъ“ и вояжирующихъ корреспондентахъ газетъ. А затѣмъ надлежитъ правильно понять щедринскій очеркъ „Литераторы-обыватели“, о которомъ Елисеевъ не безъ основанія говоритъ, что онъ остался въ литературѣ единственнымъ памятникомъ дѣятельности „богемы“. Памятникъ на первый взглядъ не особенно лестный и, во всякомъ случаѣ, довольно двусмысленный. Въ свое время очеркъ Салтыкова вызвалъ толкованія, неблагопріятныя частью для самого автора. Одни усматривали въ очеркѣ незаконное, презрительно-аристократическое отношеніе генерала отъ литературы къ литературной мелкой сошкѣ, которая, однако, дѣлаетъ въ концѣ-концовъ то-же самое дѣло, что и онъ. Другіе выражали удовольствіе, что Щедринъ, патріархъ и заводчикъ обличительной литературы, рѣшилъ, наконецъ, своею насмѣшкой положить предѣлъ потоку назойливыхъ обличеній. Елисеевъ совсѣмъ иначе и, конечно, гораздо правильнѣе толкуетъ очеркъ Щедрина. Онъ разсуждаетъ приблизительно такъ. Писатели, начавшіе, какъ Щедринъ, работать въ сороковыхъ годахъ, были люди, въ большинствѣ случаевъ, дворянскаго происхожденія, хорошо, на готовыхъ хлѣбахъ, воспитанные и иногда блестяще образованные, а это блестящее образованіе давало широкіе горизонты и соотвѣтственныя требованія отъ жизни. Эти люди тяготились мракомъ до-реформеннаго

режима и страстно жаждали обновленія родины, которое представлялось имъ въ не совсѣмъ, можетъ быть, опредѣленныхъ, но прекрасныхъ и величавыхъ формахъ. Но когда, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, обновленіе наступило, нѣкоторые изъ нихъ даже не узнали его, потому что оно подняло съ низшихъ слоевъ русскаго житейскаго моря элементы, оскорблявшіе ихъ тонко развитый вкусъ. Они вполнѣ раздѣляли лучшія упованія новаго времени, но съ брезгливымъ изумленіемъ смотрѣли на нахлынувшихъ разночинныхъ носителей этихъ упованій и подчасъ заходили очень далеко въ этомъ отношеніи. Брезгливость доходила до такой степени, что неприглядная форма заслоняла для нихъ самую сущность дѣла. Салтыковъ не повиненъ въ этомъ грѣхѣ, но и онъ былъ не чуждъ брезгливости. Она-то и сказалась въ очеркѣ „Литераторы-обыватели“. Корытниковы непріятно дѣйствовали на него мелочностью своихъ обличеній, своею неумѣлостью, смѣшною напыщенностью рѣчи, изъ которой „выходитъ нѣчто нелѣпое: Глуповъ и—человѣчество, судья Лапушниковъ—и вѣчные законы правды“; своею, наконецъ, ультра наивною вѣрой въ „настоящее время, когда“. Смущаясь и возмущаясь всею этою неотесанностью и налагая соотвѣтственныя, слишкомъ даже густыя тѣни на фигуру Корытникова, Салтыковъ, однако, вполнѣ признаетъ не только искренность Корытникова и его готовность претерпѣть за правду, а и извѣстное значеніе его дѣятельности. Говоря подлинными словами Елисеева, Щедринъ, не смотря на свои насмѣшки, обнаруживаетъ „глубокую и горячую симпатію къ явившейся повсюду русской богемѣ и, главное, онъ убѣжденъ, что она явленіе не случайное, не дѣло каприза или бездѣлья тѣхъ или другихъ лицъ, а явленіе необходимое, неизбѣжное, потому что времена созрѣли; что представители богемы дѣйствуютъ не по постороннимъ побужденіямъ, корыстнымъ разсчетамъ и т. п., а по чувству долга, въ твердой увѣренности, что это ихъ нравственная обязанность, ихъ призваніе, за которое они готовы подвергнуться какимъ угодно непріятностямъ, страданіямъ. Характеристика глубоко вѣрная! (Продолжаю выписывать подлинныя слова Елисеева). Эта черта рѣзко отдѣляетъ богему начала шестидесятыхъ годовъ отъ длиннаго ряда обличителей послѣдующаго времени. Богема по своимъ талантамъ и свѣдѣніямъ была разнообразна до безконечности. Большая часть ея, вѣроятно, не знала ничего или, можетъ быть, развѣ немного болѣе десяти заповѣдей.

Но этого было совершенно достаточно для ея дѣйствій. Не убій, не укради, не послушествуй на друга твоего свидѣтельства ложна и т. д.,—вотъ весь тотъ кодексъ нравственности, за исполненіемъ котораго въ общественной жизни она слѣдила, въ тѣхъ, впрочемъ, только явленіяхъ, которыя окружены были тайною для закона, суда и полиціи или истинная духовная сущность и смыслъ которыхъ были не уловимы для нихъ, какъ преслѣдующихъ неисполненіе только буквы закона, или которыя происходили публично, въ наглой расправѣ надъ лицами беззащитными. Ложь, лицемѣріе, своекорыстіе, самоуправство, наглость, эксплуатація, нахальство— вотъ тѣ общественные пороки, которые преимущественно преслѣдовала богема со всею неутомимостью, имѣя при этомъ всегда въ виду защиту эксплуатируемыхъ, притѣсняемыхъ, обижаемыхъ, въ особенности, если они беззащитны по возрасту, полу, своему общественному положенію и т. п.“

Если читатель потрудился припомнить картину тревогъ, торжествъ и злоключеній Корытникова, независимо отъ сатирическаго освѣщенія, то увидитъ, что дѣятельность этого человѣка несомнѣнно производила значительный эффектъ въ окружающей средѣ. Зависѣло это отчасти отъ свойствъ этой среды, отчасти отъ личныхъ свойствъ самого Корытникова. Тотчасъ послѣ окончанія крымской войны, даже немножко раньше, по всему русскому житейскому морю пошла рябь и зыбь, и даже самые близорукіе, если не понимали, то чувствовали, что это лишь начало болѣе глубокаго волненія. Все насторожилось тревожно или радостно. Ясно было, что исторія подводитъ свои итоги, что чему-то надлежитъ погибнуть, чему-то вырости. Старое общество, изъѣденное крѣпостнымъ произволомъ, взяточничествомъ, невѣжествомъ, смѣсью лицемѣрія и наглости подъ покровомъ формализма, отсутствіемъ всякаго общественнаго интереса, готовилось уступить мѣсто иному строю жизни. Сразу свыкнуться съ этою мыслью оно, разумѣется, не могло. Оно то отступало передъ очевидною неизбѣжностью, то пробовало отстоять себя своими обычными средствами. Объявились Корытниковы или „литературная богема“, какъ не совсѣмъ удачно называетъ ихъ Елисеевъ. Наивные, подчасъ невѣжественные и смѣшные, они, однако, искренно вѣрили въ торжество грядущей правды и готовы были претерпѣть ради нея всевозможныя лишенія, оскорбленія, непріятности совершенно безкорыстно. О корыстолюбіи въ настоя-

щемъ смыслѣ этого слова нечего и говорить,—„обличители“ никакого вознагражденія не получали. Приманки славы для нихъ тоже не существовали, потому что писанія ихъ были анонимны или, самое большее, псевдонимны. Они удовлетворялись исключительно своимъ положеніемъ добровольныхъ стражей правды. Ихъ писанія производили переполохъ въ разныхъ Краснорѣцкахъ, Кутерьмахъ, Златогорскахъ, Бѣлокаменскахъ и т. д. Ихъ боялись, потому что, въ виду общественнаго настроенія, „попасть въ газеты“ и особенно „попасть въ Искру“ было тогда поистинѣ страшно. Человѣкъ, „попавшій въ Искру“, старался, конечно, не узнавать себя; но если это оказывалось невозможнымъ, онъ долженъ былъ, хотя-бы и скрежеща зубами, оправдываться или заглаживать какой-нибудь самоуправный поступокъ, дикую расправу съ подчиненнымъ, съ ребенкомъ, женщиной, мужикомъ, или взяточничество, нерадѣніе и проч., ибо не только общественное мнѣніе, а и оффиціальная Россія явно поворачивала на какой-то новый путь. Но онъ злобствовалъ и не упускалъ случая учинить какую-нибудь пакость незванному, непрошенному „обличителю“. И всѣ эти пакости Корытниковъ самоотверженно принималъ, не имѣя въ воздаяніе за такіе минусы ни единаго плюса, кромѣ сознанія правоты и цѣлесообразности своей дѣятельности. За эту-то черту Елисеевъ и признаетъ Корытниковыхъ „по нравственной красотѣ не менѣе, если не болѣе великими“, чѣмъ тѣ борцы русскаго слова, которые покоятся на Волковомъ кладбищѣ.

Это мнѣніе не такъ уже преувеличено, какъ можетъ показаться. Когда мы думаемъ о какомъ-нибудь признанномъ великомъ человѣкѣ,—ну, хоть о Бѣлинскомъ или Салтыковѣ, — мы, въ придачу къ ихъ высокимъ нравственнымъ качествамъ, ихъ горячей преданности одушевлявшей ихъ идеѣ, имѣемъ еще наглядные результаты ихъ дѣятельности: ихъ сочиненія, которымъ предстоятъ еще многая лѣта, общее благоговѣніе къ ихъ памяти, отражающееся и въ литературѣ, и въ жизни. Въ нихъ концентрируется и даже какъ-бы ипостазируется цѣлый рядъ преданій, цѣлый строй мыслей и чувствъ. Но если у насъ не было критика, равнаго Бѣлинскому, то, при всей необыкновенной нравственной чистотѣ „неистоваго Виссаріона“, возможно, что въ числѣ его современниковъ были люди незамѣтные, не оставившіе по себѣ никакого слѣда, но не уступавшіе ему или даже превосходившіе его

по нравственной красотѣ. Приложимо-ли это разсужденіе къ „обличителямъ“ пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годовъ, я судить не берусь, но несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что ими обнаружено было много самоотверженія, безкорыстія и настоящаго гражданскаго мужества. Они забыты, они и въ свое время были лично неизвѣстны, а въ массѣ не блистали ни дарованіями, ни образованностью, ни шириною взгляда; но эта скудость и сѣрость не должны заслонять отъ насъ ихъ дѣйствительно незаурядныя нравственныя достоинства и значительность роли, которую они въ свое время сыграли. Велики заслуги именитыхъ людей, вѣчнымъ сномъ почивающихъ на Волковомъ кладбищѣ, но для той среды, въ которой и на которую дѣйствовали „обличители“, нужны были гораздо болѣе грубыя и прямыя средства, чѣмъ тонкая разработка движеній человѣческой души, горячая проповѣдь знанія и нравственныхъ истинъ, изображеніе общественныхъ идеаловъ, казнь подлости въ ея отвлеченныхъ вершинахъ или обобщенныхъ типахъ. Все это, какъ отъ стѣны горохъ, отскакивало отъ заскорузлыхъ обитателей Краснорѣцка, Кутерьмы, Бѣлокаменска и проч. и не могло воздержать ихъ отъ привычныхъ дѣйствій и пріемовъ. Слишкомъ все это для нихъ было отвлеченно и высоко. Прямая угроза личнаго срама и отвѣтственности была для нихъ единственнымъ путемъ къ уразумѣнію азбуки добра и зла. Это грубое, но необходимое дѣло и дѣлали добровольцы-обличители. Понятно, что они могли имѣть значеніе и даже просто существовать только пока существовали новыя вѣянія, съ прекращеніемъ которыхъ исчезли и они. Они уступили свое мѣсто уже иного характера обличителямъ и корреспондентамъ, иногда, конечно, очень почтеннымъ, а иногда совсѣмъ не почтеннымъ и даже клеветникамъ и шантажистамъ, но, во всякомъ случаѣ, лишеннымъ своеобразной наивной вѣры своихъ предшественниковъ.

Если такимъ образомъ взглядъ Елисеева на Корытниковыхъ имѣетъ за себя извѣстныя очень вѣскія оправданія, то данное имъ щедринскому очерку объясненіе представляетъ собою особенную цѣнность. Та смѣсь брезгливости съ уваженіемъ, которую характеризуетъ этотъ очеркъ, есть, по совершенно вѣрной мысли Елисеева, лишь частный случай. Собственно въ дѣятельности Салтыкова это случай единственный. Сверстники его, изъ тѣхъ, которые искренно привѣтствовали зарю новой жизни (другіе для

насъ не интересны), гораздо чаще и гораздо рѣзче выражали свое брезгливое отношеніе къ неожиданнымъ для нихъ порожденіямъ новой жизни. На этомъ въ значительной степени основывался разладъ „отцовъ и дѣтей“, формулированный Тургеневымъ. Разладъ вышелъ-бы еще гораздо рѣшительнѣе, если-бы жизнь не подготовила посредствующихъ звеньевъ въ лицѣ нѣсколькихъ писателей, одними своими сторонами близкихъ къ изящнымъ, съ нѣсколько туманными, но широкими горизонтами „отцамъ“, а съ другой—къ угловатымъ, рѣзкимъ, подчасъ узкимъ, но искреннимъ и послѣдовательнымъ „дѣтямъ“. Писатели эти группировались, главнымъ образомъ, въ „Современникѣ“. Достаточно прочитать имѣющіеся нынѣ въ отдѣльномъ изданіи „Очерки гоголевскаго періода“, чтобы видѣть, какъ чтили эти люди лучшія преданія сороковыхъ годовъ, а, съ другой стороны, они, сами вызванные на арену общественной дѣятельности новою жизнью, не могли, конечно, относиться къ нѣкоторымъ ея угловатостямъ съ чрезмѣрною строгостью. Одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ между этими людьми, непосредственно рядомъ съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, очень скоро занялъ Елисеевъ.

Какъ я уже говорилъ выше, Елисеевъ пріѣхалъ въ 1858 году въ Петербургъ, повидимому, съ весьма неопредѣленными планами и, во всякомъ случаѣ, не имѣлъ намѣренія заняться литературой, какъ профессіей: онъ не сознавалъ въ себѣ литературнаго таланта. Но желаніе писать, послужить печатнымъ словомъ дѣлу правды, было. Въ первой его статьѣ, напечатанной въ „Современникѣ“, встрѣчаются характерныя для того историческаго момента слова о „великомъ времени, когда въ Россіи снимаются оковы съ мысли и слова, когда лучшіе люди, благословляя новый благотворный свѣтъ, восходящій надъ народомъ русскимъ, посвящаютъ съ любовью на служеніе своему отечеству свое слово и мысль“. Тамъ-же читаемъ о Сибири, откуда только что пріѣхалъ авторъ: „Сторона дальняя, глухая, можно сказать, нетронутая еще. На что ни взгляни, все остается, какъ было назадъ тому десятки лѣтъ. Къ одному вовсе еще не касалась рука человѣка, другое подвергалось разработкѣ, но разработкѣ неправильной, или ничтожной, третье идетъ себѣ по старой колеѣ, для настоящаго времени вовсе непригодной. Все здѣсь невольно вызываетъ мысль у человѣка мыслящаго, все заставляетъ взяться за перо“. Эти цитаты указываютъ на наличность элементовъ, изъ которыхъ въ

то время слагались „литераторы-обыватели“, такъ высоко впослѣдствіи Елисеевымъ оцѣненные. Весьма вѣроятно, что именно на такую незамѣтную роль въ литературѣ разсчитывалъ Григорій Захаровичъ, полагая добывать себѣ средства къ жизни службой, государственной или частной. Но онъ былъ слишкомъ большой корабль для такого мелкаго плаванія, что и обнаружилось очень скоро, хотя „обывательская“ привычка къ анонимности осталась у него до конца дней.

Я не знаю, гдѣ собственно началъ писать Елисеевъ,—въ „Искрѣ“ или „Современникѣ“, но, во всякомъ случаѣ, своимъ, близкимъ человѣкомъ онъ раньше сталъ въ „Искрѣ“. Уже съ начала 1859 г. тамъ постоянно печаталась его „Хроника прогресса“,—нѣчто среднее между передовыми статьями и внутренними обозрѣніями, тогда какъ постояннымъ, ближайшимъ сотрудникомъ „Современника“, завѣдующимъ однимъ изъ отдѣловъ, а именно отдѣломъ „внутренняго обозрѣнія“, онъ сталъ лишь въ февралѣ 1861 г. До тѣхъ поръ его участіе въ „Современникѣ“ было довольно случайно. Первая статья „О Сибири“, напечатанная въ декабрѣ 1858 г., подписана псевдонимомъ „Грыцько“, къ которому Елисеевъ и впослѣдствіи изрѣдка прибѣгалъ; большинство-же его произведеній совсѣмъ не подписаны. Статья „О Сибири“ написана такъ, что никто не назвалъ-бы автора новичкомъ въ литературѣ: пріемы письма свободные, спокойно-увѣренные, даже мастерскіе. Что же касается содержанія, то солидность его гарантировалась уже фактомъ недавняго пріѣзда изъ Сибири, гдѣ онъ не мало поработалъ на практической почвѣ. Относительно теоретическихъ взглядовъ любопытно отмѣтить въ этой первой статьѣ мимоходомъ брошенную мысль, которая впослѣдствіи, въ значительно, разумѣется, болѣе развитой формѣ, стала одною изъ излюбленныхъ руководящихъ мыслей Елисеева. Онъ говоритъ: „Недавно въ нашей литературѣ завязался споръ о личномъ и общинномъ поземельномъ владѣніи... Поспорить было о чемъ. За одинъ бытъ стоитъ строгая наука, за другой—вѣковой опытъ нашъ собственный, привычка и, наконецъ, опасеніе тѣхъ послѣдствій, которыя испытала на себѣ Западная Европа въ пролетаріатѣ“. Въ статьѣ не указывается выходъ изъ этого затрудненія, да это и не требовалось задачей статьи, но авторъ полемизируетъ съ нѣкіемъ Холмогоровымъ, который, въ связи съ нѣкоторыми спеціально сибирскими дѣлами, возставалъ противъ

общиннаго владѣнія землей. „Современникъ“, какъ извѣстно, стоялъ за общину. Такимъ образомъ, Елисееву во всѣхъ отношеніяхъ нечего было безпокоиться объ участи своей статьи. Но, сомнѣваясь въ своемъ литературномъ талантѣ и все еще не думая записываться въ литературный цехъ, онъ безпокоился, конфузился, не являлся въ редакцію даже послѣ напечатанія статьи. Его розыскалъ уже кто-то изъ членовъ редакціи „Современника“, заинтересовавшійся новымъ писателемъ. Около этого-же времени Елисеевъ сильно захворалъ. Онъ любилъ потомъ разсказывать о томъ необыкновенно сердечномъ участіи, которое принималъ въ немъ, во время его болѣзни, Чернышевскій: ходилъ за нимъ, какъ сидѣлка или сестра милосердія.

Помимо этихъ личныхъ житейскихъ отношеній редакція „Современника“ сразу оцѣнила Елисеева, какъ писателя, и всячески старалась вплотную усадить его въ литературу. Но его первые шаги на этомъ поприщѣ были довольно неопредѣленны. Въ маѣ 1859 г. была напечатана его статья „О календаряхъ“, въ декабрѣ—разборъ книги Костомарова о Богданѣ Хмельницкомъ, въ январѣ 1860 г. статья „Уголовные преступники“, гдѣ опять пригодилась его спеціальная сибирская практика, въ ноябрѣ—разборъ VII и VIII томовъ „Исторіи Россіи“ Соловьева, въ январѣ 1861 г.—„О движеніи народонаселенія въ Россіи“, въ мартѣ—„О препровожденіи ссыльныхъ по Сибири на конныхъ подводахъ“. Всѣ эти статьи очень интересны, проникнуты характернымъ гуманнымъ и демократическимъ духомъ. Но это еще не тотъ Елисеевъ, какимъ онъ, какъ вліятельный публицистъ и журналистъ, останется въ исторіи русской литературы. Эта роль его началась съ февраля 1861 г., когда онъ сталъ писать „внутреннее обозрѣніе“. Отдѣлъ этотъ былъ заведенъ въ „Современникѣ“ за годъ передъ тѣмъ, въ мартѣ 1860 г., но я не знаю, кѣмъ онъ велся до Елисеева. Елисеевъ-же велъ его до начала 1866 г., когда сталъ писать ежемѣсячный обзоръ русской журналистики, а „внутреннее обозрѣніе“, подъ заглавіемъ „Дѣйствительность“, перешло къ кому-то другому. Такимъ образомъ, всѣ „внутреннія обозрѣнія“ съ 1861 по 1866 г. принадлежатъ Елисееву, за исключеніемъ августовскаго за 1861 г., которое, за отсутствіемъ Елисеева, написано Добролюбовымъ. Вскорѣ послѣ того и Елисееву пришлось отчасти замѣнить Добролюбова въ январскомъ „Свисткѣ“ за 1862 г. Послѣ смерти Добролюбова

осталось вступленіе къ этому нумеру „Свистка“. Продолженіе къ нему придѣлано, главнымъ образомъ, Елисеевымъ и отчасти Чернышевскимъ.

Остановимся на минуту на Добролюбовскомъ „внутреннемъ обозрѣніи“, которое въ сочиненіяхъ Добролюбова не перепечатывается, и, можетъ быть, даже самые записные наши библіографы не знаютъ, что оно написано имъ. Оно очень любопытно и само по себѣ, и по отношенію къ Елисееву. Начинается оно такъ: „Читатели „Современника“ плачутъ, не нашедши въ іюльской книжкѣ „внутренняго обозрѣнія“. Такъ, по крайнѣй мѣрѣ, думаетъ его составитель, котораго я, впрочемъ, не одобряю— сколько по зависти къ его таланту, столько же за его весеннія мечты и стремленія... Составитель прежнихъ обозрѣній разнѣжилъ публику своей весеннею теплотой... Ужъ вы не сердитесь, господа, у меня теплоты особенной не найдете, да и время теперь не такое подходитъ... Говорятъ, весеннія мечты моего предшественника нравились; слѣдовательно, мои *осеннія* не понравятся? Но я хочу, чтобы онѣ понравились; слѣдовательно, долженъ, прежде всего, добиться, чтобы *весеннія* перестали нравиться. Съ этого и начну“. Далѣе идутъ обычныя въ то время, шутливыя по формѣ, но горькія по существу, иносказанія. Авторъ самъ любитъ весну. „Знаю я,—говоритъ онъ,—какая бываетъ хорошая-то весна... Отъ такой весны и я не прочь: знаю, что за ней будетъ горячее, долгое-предолгое лѣто, потомъ осень, чрезвычайно похожая на весну, только съ плодами,—та-же красавица, только вполнѣ созрѣвшая, а тамъ по календарю и будетъ зима, а я ее не увижу... И это такъ изъ года въ годъ, изъ вѣка въ вѣкъ. Такую весну я люблю, обожаю, стремлюсь къ ней, хоть-бы она была также бурна и сурова, какъ прошлогодняя, хоть-бы она дѣйствовала вовсе не благодѣтельно на нервы и здоровье отживающихъ дряхлыхъ стариковъ. Что-жъ, пусть ихъ отживаютъ и не смущаютъ намъ нашей весны, не заслоняютъ намъ нашего солнца... Какъ видите, я въ принципѣ согласенъ съ моимъ товарищемъ по „обозрѣнію“; но въ примѣненіяхъ мы расходимся. Онъ выдумалъ какую-то возможность наслаждаться весною у насъ, даже въ Петербургѣ и его окрестностяхъ. А я беру смѣлость утверждать, что это положительно невозможно. Во-первыхъ, возьмите краткость, мимолетность, такъ сказать, нашей весны, доходящую поистинѣ до неуловимости:

За весной, красой природы,
Лѣто знойное пройдетъ,—
И тума́нъ, и непогоды
Осень поздняя несетъ.
Людямъ тяжко, людямъ горе,—

да на этомъ и остановимся. Что-жъ, вы поймали весну-то вашу? Вѣдь духъ перевести не успѣли, а она ужъ и прошла, да еще и вмѣстѣ съ лѣтомъ!.. „Все-таки, говорятъ, природа во время весны оживляется". Велика важность,—вѣдь и чахоточный оживляется передъ смертью, обыкновенно такой становится бодрый, да здоровый, да веселый, а посмотришь, на другой день и умретъ. Такъ и весна наша".

Затѣмъ слѣдуетъ шутливо-грустное поэтическое сравненіе петербургской погоды съ чахоточною больной, которая было повѣрила въ свое выздоровленіе. Эти строки получаютъ особенно трогательное значеніе, если вспомнить, что въ это время злая чахотка уже покончивала самого Добролюбова. Онъ какъ-бы обобщалъ, раздвигалъ свою личную печальную судьбу въ иносказательномъ смыслѣ. „Нѣтъ, — продолжаетъ онъ, — этимъ чахоточнымъ проявленіемъ жизни вы меня не заставите восхищаться: я знаю, что за нимъ слѣдуетъ обыкновенно. Я знаю, что нашъ климатъ не таковъ, чтобы помочь чахоточному выздоровѣть; я знаю, что чернобогъ славянской зимы сильнѣе всѣхъ вашихъ добрыхъ домовыхъ, русалокъ и другихъ духовъ, вызванныхъ на смотръ безыменнымъ, хотя и даровитымъ моимъ товарищемъ". И далѣе: „Мы всѣ, какъ извѣстно, лѣтъ пять тому назадъ воспрянули отъ сна; и я тогда воспрянулъ. Ну, знаете, какъ человѣкъ послѣ хорошаго сна чувствуетъ себя бодрымъ и здоровымъ. Мы всѣ тогда думали, что города можемъ брать, людей и самый климатъ передѣлывать. А уже объ говореньи нечего и говорить: я воображалъ, что, не заикнувшись, могу порицать не только весну петербургскую, но даже мостовую сѣверной столицы, даже обитателей ея... То была весна, моя собственная весна, она тоже умерла въ своемъ расцвѣтѣ, и вотъ почему я теперь такъ грустно смотрю и на весну вообще, т.-е. на петербургскую весну".

Кромѣ обычной по тогдашнему времени манеры аллегорическаго писанія, предоставлявшей читателю искать настоящія намѣренія автора между строкъ, здѣсь есть еще одинъ намекъ, нуждающійся въ объясненіи. Что это за весеннія мечты и „домо-

вые, русалки и другіе духи, вызванные на смотръ безыменнымъ хотя и даровитымъ моимъ товарищемъ", т.-е. Елисеевымъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ надо искать въ апрѣльскомъ „внутреннемъ обозрѣніи", содержаніе котораго изложено въ подзаглавіи такъ: „Мои весеннія воззрѣнія и стремленія.—Какъ наслаждается природой и господствуетъ надъ ней современный человѣкъ?—Весна въ мірѣ языческомъ.—Вѣрованіе язычниковъ въ цѣлебную силу, приносимую весной.— Водяной.—Русалки" и т. д. Это чуть-ли не единственное Елисеевское „внутреннее обозрѣніе", въ значительной своей части посвященное отвлеченно-теоретическому вопросу объ отношеніи человѣка къ природѣ, и потому имѣетъ для насъ особенную цѣну. Послѣ короткаго вступленія о пріятностяхъ весны, настоящей, а не иносказательной весны, Елисеевъ замѣчаетъ, что пріятности эти почти совсѣмъ недоступны цивилизованному человѣку вообще, петербургскому дачнику въ особенности. То-ли дѣло,—говоритъ онъ,—„времена нашего грубаго и бѣднаго язычества, когда земля населена была лѣшими, русалками, вѣдьмами (NB *и теперь есть*), домовыми, водяными, когда человѣкъ въ каждомъ кустикѣ, въ каждомъ ручейкѣ видѣлъ божество". Постановленное здѣсь въ скобкахъ NB характерно, какъ образчикъ той шутливой фамильярности съ читателемъ, которую себѣ разрѣшали почти всѣ сотрудники „Современника" среди самаго серьезнаго разговора о самыхъ серьезныхъ вещахъ. Я сейчасъ къ этому вернусь. Мысль Елисеева, во всякомъ случаѣ, вполнѣ серьезна. Онъ говоритъ, что въ языческую старину люди, одушевляя всю природу, въ свою очередь сами извлекали изъ нея обильные источники духовной жизни, что́ и подтверждается примѣрами повѣрій, суевѣрныхъ обрядовъ при встрѣчѣ весны, народнаго поэтическаго творчества. Отношеніе цивилизованнаго человѣка къ природѣ совсѣмъ иное. Онъ заслонилъ себя отъ нея культурою, и его непосредственное отношеніе къ ней ограничивается лишь изученіемъ ея и примѣненіемъ ея силъ къ практическимъ цѣлямъ. Религіозная связь исчезла совсѣмъ, поэтическая—ослабѣла и поблѣднѣла, такъ какъ даже въ лучшихъ поэтическихъ нашихъ произведеніяхъ нѣтъ той „дружественности" съ природою, которою проникнута старая народная поэзія. Это отражается и на всемъ строѣ жизни. Язычникъ „не зналъ различія между духомъ и матеріей, нравственнымъ и безнравственнымъ; съ точки зрѣнія натуральной, все, что нату-

рально, могло быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и прекрасно, и было законно". Это наивное, непосредственное міросозерцаніе исчезло. Жалѣть объ этомъ нечего. „Новая точка зрѣнія безконечно выше природной, непосредственной. При помощи ея человѣчество стало на такую высоту, о которой не могло мечтать язычество... Но самая высота взгляда, которой совершенно не соотвѣтствуетъ современное положеніе общества, не только препятствуетъ примѣненію его въ жизни во всей его широтѣ, но и производитъ многія неудобства: порождаетъ въ жизни разладицу между требованіями слишкомъ идеальными и дѣйствительною жизнью, въ законодательствѣ—необходимость улаживать возвышенныя начала въ приложеніи къ жизни полицейскими мѣрами... Въ язычествѣ не было такого раздвоенія, такой разладицы между мыслью и дѣломъ, между теоріей и жизнью; точка зрѣнія была низка, но поэтому удобоприложима въ жизни и оставалась вѣрна себѣ; идеалы были грязны, но ни для кого не были недостижимы". Измѣнятся, однако, когда-нибудь и наши нынѣшнія дѣла. Уравняются идеалы и дѣйствительность, и тогда природа опять станетъ не только предметомъ спеціальнаго изученія и технической эксплуатаціи, а и непосредственнымъ источникомъ высшаго духовнаго наслажденія; его, впрочемъ, „не только опредѣлить сколько нибудь, но и дать о немъ какое-нибудь понятіе въ настоящее время, за неимѣніемъ ничего подобнаго, внѣ нашихъ средствъ".

Къ этимъ общимъ разсужденіямъ, которыя я, разумѣется, до послѣдней возможности сократилъ, прибавлены во „внутреннемъ обозрѣніи" замѣтки и о текущихъ дѣлахъ, а именно о праздновавшемся тогда пятидесятилѣтнемъ юбилеѣ литературной дѣятельности кн. Вяземскаго. Переходъ къ этому маленькому событію былъ очень естественный. Провидя въ будущемъ уравненіе дѣйствительности и идеаловъ, объединеніе жизни, науки и искусства, Елисеевъ пользуется случаемъ сказать нѣсколько словъ о современной поэзіи.

Что-же именно не понравилось Добролюбову въ этомъ внутреннемъ обозрѣніи, и не понравилось настолько, что онъ даже рѣшился протестовать печатно противъ своего „безыменнаго, хотя и даровитаго товарища"? Или это, можетъ быть, только особенная manière de parler? Я думаю, что тутъ было и то, и другое. Но такъ какъ этотъ эпизодъ очень характеренъ для нѣко-

торыхъ сторонъ тогдашней журналистики, то, въ объясненіе его, мы сдѣлаемъ довольно большое отступленіе.

Перечитывая „Современникъ“ конца пятидесятыхъ и самаго начала шестидесятыхъ годовъ, нынѣшній читатель, если онъ не вдумывался въ особенныя условія тогдашняго времени, встрѣтитъ много непонятнаго, страннаго. Я уже не говорю объ „езоповскомъ языкѣ“, въ употребленіи котораго тогдашніе писатели достигали настоящей виртуозности, и о разныхъ намекахъ на текущія дѣла, которые въ свое время на лету ловились, а теперь дешифрируются лишь съ большимъ трудомъ. Это само собой. Но, кромѣ того, нынѣшняго читателя, привыкшаго къ нѣкоторой сѣренькой равноцѣнности талантовъ съ рѣдкими искрами чего-нибудь поярче, покруннѣе, можетъ поразить слѣдующее обстоятельство. Въ старомъ „Современникѣ“, рядомъ съ произведеніями такихъ мастеровъ, какъ Тургеневъ, Островскій, Гончаровъ, Салтыковъ, и такихъ талантливыхъ новичковъ, какъ, напримѣръ, Николай Успенскій, встрѣчаются беллетристическія произведенія совершенно топорной работы: письмо грубое, краски аляповатыя, художественнаго такта — никакого, объ „искусствѣ“ и помину нѣтъ. Теперь ни одна мало-мальски умѣлая редакція не рѣшится напечатать у себя что-нибудь подобное, а, между тѣмъ, редакцію стараго „Современника“ ужъ никакъ нельзя назвать неумѣлою. Недоумѣніе, возникающее отсюда для всякаго внимательнаго читателя, вполнѣ разъясняется вышеприведенными соображеніями Елисеева о значеніи обличительной литературы. Авторы этихъ топорныхъ произведеній, всѣ эти гг. Елагины, Селивановы, Макашины и проч.,—„обличители“. Быть можетъ, эти писатели и посейчасъ здравствуютъ, но въ литературномъ смыслѣ они — эфимериды, давно и безслѣдно сошедшіе со сцены. Достойно вниманія, что многіе изъ нихъ прибѣгали къ драматической формѣ. Драма, настоящая драма, есть, можетъ быть, самая трудная изъ формъ поэзіи, потому что драматургъ лишенъ вспомогательныхъ средствъ описанія и характеристики дѣйствующихъ лицъ отъ себя: онъ можетъ изображать ихъ только собственными ихъ словами и дѣлами. Съ другой стороны, однако, если отбросить всякія художественныя требованія, то драматическая форма окажется наи-

болѣе легкою, потому что тутъ у автора вполнѣ своя рука владыка. Самый плохой романистъ долженъ хоть своими словами мотивировать поступки своихъ дѣйствующихъ лицъ и, слѣдовательно, давать отчетъ читателю. Въ чрезмѣрномъ обиліи такой отчетности обыкновенно даже состоитъ главная бѣда авторовъ плохихъ повѣстей, романовъ и разсказовъ. Плохой драматургъ поступаетъ проще, онъ пишетъ въ скобкахъ свою ремарку („уходитъ"), („плачетъ"), („хватается за стулъ")—и дѣло съ концомъ. Та самая обнаженность драматической формы отъ описательной одежды, которая затрудняетъ крупнаго драматурга, облегчаетъ дѣло драматургу бездарному. Надо, однако, сказать, что обличители, прибѣгавшіе къ драматической формѣ, отнюдь не мнили себя драматургами; для нихъ вообще художественная форма стояла на отдаленнѣйшимъ планѣ, важна была только голая фабула, и этою голою фабулой очень часто была самая голая дѣйствительность, не украшенная ни единымъ цвѣткомъ творчества. Это, впрочемъ, мимоходомъ. Обличители-драматурги были по таланту не ниже и не выше обличителей въ другихъ беллетристическихъ формахъ. Всѣ они были болѣе или менѣе бездарны и всѣ мало заботились о формѣ, да и самое содержаніе ихъ писаній не отличалось какою-нибудь глубиной. Всѣ они поэтому по справедливости должны были утонуть въ рѣкѣ забвенія, но въ свое время они играли значительную роль. Достаточно вспомнить, что одного изъ нихъ, Селиванова, Хомяковъ, въ качествѣ предсѣдателя общества любителей россійской словесности, привѣтствовалъ хвалебною рѣчью, именно какъ представителя обличительной литературы. А кто теперь знаетъ этого почтеннаго писателя? Обличители, по чрезвычайно вѣрному объясненію Елисеева, были цѣнны именно своею грубостью, какъ тараны, спеціально приноровленные къ пробиванію толстыхъ стѣнъ, которыми отдѣлила себя старая Россія отъ новой жизни. И редакція „Современника" это понимала. Тургеневы, Островскіе, Салтыковы нужны, но нужны, необходимо нужны и Селивановы, Елагины, Макашины...

Этимъ-же пониманіемъ особенныхъ условій своего времени объясняется и та фамильярная развязность по отношенію къ читателю, которая на нынѣшняго читателя можетъ произвести подчасъ очень непріятное впечатлѣніе. Впослѣдствіи, послѣ 1863 г., она достигла въ „Современникѣ" рѣшительно непозволительныхъ размѣровъ, но въ концѣ пятидесятыхъ и въ самомъ началѣ шести-

десятыхъ годовъ она имѣла свои серьезныя основанія. До крымской войны литература наша, по остроумному сравненію Щедрина, была сказочною царевной, заключенною въ волшебные чертоги: чистая, возвышенная, оторванная отъ жизни, не многимъ доступная. Измѣнившіяся обстоятельства потребовали, чтобы литература сблизилась съ жизнью и предстала читателю не въ такомъ отвлеченно-возвышенномъ видѣ, а въ видѣ добраго, простого, ласковаго друга-учителя, который и о пустякахъ поболтать согласенъ, и побалагурить можетъ, и про себя кое-что поразсказать. Отсюда и та кажущаяся разноголосица, образчикомъ которой могутъ служить вышеприведенныя пререканія Добролюбова съ Елисеевымъ. Подобныя пререканія были не рѣдкость въ „Современникѣ“, но очень ошибется тотъ, кто приметъ ихъ à la lettre. А, между тѣмъ, такія ошибки случались. Ограничусь однимъ примѣромъ. Послѣ смерти Елисеева въ одномъ періодическомъ изданіи была напечатана некрологическая замѣтка, въ которой говорилось, между прочимъ, что покойникъ имѣлъ мало общаго съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ и самъ заявилъ это въ одномъ изъ своихъ „внутреннихъ обозрѣній“ „Современника“. Если-бы покойники могли слышать, чувствовать и говорить, Елисеевъ нехорошимъ словомъ обозвалъ-бы автора замѣтки. Заявленіе, о которомъ говоритъ авторъ, дѣйствительно существуетъ, но оно сдѣлано въ такой-же шуточной формѣ, какъ, напримѣръ, и приведенныя слова Добролюбова, что онъ снѣдаемъ завистью къ таланту Елисеева.

Пользуясь каждымъ случаемъ извлечь изъ посмертныхъ набросковъ Елисеева, что оказывается возможнымъ, я и здѣсь приведу его меткую характеристику веденія дѣла въ „Современникѣ“ по сравненію съ тѣмъ, какъ оно велось въ „Отечественныхъ Запискахъ“.

„Большая часть нашихъ редакторовъ,—говоритъ Елисеевъ,—набирая сотрудниковъ, что называется, съ бору и сосенки, похожи на дурныхъ кучеровъ, которые не даютъ лошадямъ бѣжать спокойно и ровно, дергаютъ ихъ безъ всякой нужды изъ стороны въ сторону. Извѣстно, что нѣтъ ничего хуже такихъ кучеровъ; нѣтъ ничего хуже и такихъ редакторовъ. Напрасно они держатъ то и дѣло совѣщанія съ своими сотрудниками, о чемъ писать въ тотъ или другой моментъ; напрасно потѣютъ, сидя съ утра до вечера надъ корректурами, стараясь смягчить

или ослабить ту или другую рѣзкую фразу въ виду тѣхъ или другихъ соображеній о возможныхъ читателяхъ и т. п. Все это ни къ чему не приводитъ, кромѣ возбужденія нервной боязни въ сотрудникѣ за свою натурально являющуюся мысль, за свою фразу,—боязни, кончающейся совершеннымъ его обезличеніемъ. Въ „Современникѣ“ съ того времени, какъ я его знаю, дѣло это повелось другимъ образомъ. Тамъ набирались подходящіе къ направленію журнала сотрудники, и имъ предоставлялось въ каждый моментъ писать, что имъ Богъ на душу положитъ. Никто не слѣдилъ ни за мыслями, ни за фразами. Иногда казалось, что точно редакторы не читаютъ никакихъ статей въ своемъ журналѣ, а, между тѣмъ, само собою выходило все ладно. Почему?—да потому, что въ журналѣ, главнымъ образомъ, нужно, чтобы всѣ говорили въ одно. Не только неудачныя фразы, но и неудачныя, т.-е. слабыя цѣлыя статьи, если только онѣ бьютъ въ одну цѣль въ общемъ, нисколько не вредятъ дѣлу. Оттого „Современникъ“ торжествовалъ надъ всѣми журналами не только въ первый періодъ своей обновленной дѣятельности, съ 1857 по 1862 г., когда имъ руководилъ блестящій штабъ съ Чернышевскимъ во главѣ, но и впослѣдствіи, когда въ немъ сильно чувствовалось отсутствіе этого штаба, особенно въ критическомъ отдѣлѣ, сильно обѣднѣвшемъ и измѣнившемся. Сдѣлавшись редакторомъ „Отечественныхъ Записокъ“, Некрасовъ остался къ нимъ въ такихъ-же отношеніяхъ, въ какихъ былъ и къ „Современнику“. Человѣкъ отъ природы несомнѣнно умный, съ сильно развитымъ эстетическимъ и критическимъ чутьемъ, онъ ограничивался выборомъ подходящихъ сотрудниковъ и предоставлялъ дѣлу идти, какъ оно могло идти, не подражая тѣмъ мало опытнымъ и неискуснымъ кучерамъ, которые безъ толку дергаютъ лошадей и мѣшаютъ имъ бѣжать спокойно и ровно. Самъ Некрасовъ, непрестанно работавшій въ теченіе 30 лѣтъ, если не болѣе, въ разныхъ журналахъ или изданіяхъ, былъ болѣе или менѣе утомленъ этою работой и занимался ею, такъ сказать, наскокомъ и порывомъ. Иногда онъ все читалъ, что печаталось въ журналѣ, отъ начала до конца, иногда оставлялъ журналъ на цѣлые мѣсяцы, въ надеждѣ, что и безъ него, съ одними сотрудниками, дѣло пойдетъ такъ-же хорошо, какъ оно шло, не смущаясь тѣмъ, что явятся статьи неудачныя или что допущены будутъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ разныя неровности, излишества

и т. п. И дѣло дѣйствительно шло хорошо, какъ только могло идти при данныхъ наличныхъ силахъ. Салтыковъ въ общемъ держался въ веденіи журнала той-же системы, что и Некрасовъ, т.-е., употребляя прежнее сравненіе, онъ также не принадлежалъ къ числу тѣхъ плохихъ кучеровъ, которые безтолковымъ дерганіемъ лошадей мѣшаютъ только свободной, спокойной и ровной ѣздѣ. Но Михаилъ Евграфовичъ былъ кучеръ не только умѣлый и ловкій, но и кучеръ-щеголь, который заботился не только о томъ, чтобы ѣзда была хороша и спокойна, но чтобы при выѣздѣ не было никакой неряшливости ни въ сбруѣ, ни въ экипажѣ, чтобы все въ выѣздномъ ансамблѣ, если не блистало, то было въ порядкѣ и чисто".

Затѣмъ слѣдуетъ разсказъ о томъ постоянномъ нервномъ, лихорадочномъ безпокойствѣ, съ которымъ Салтыковъ относился ко всякой мелочи въ „Отечественныхъ Запискахъ", хотя въ его непосредственномъ завѣдываніи находился лишь беллетристическій отдѣлъ. Это извѣстно изъ другихъ воспоминаній о Салтыковѣ, да здѣсь и къ дѣлу не идетъ. Во всякомъ случаѣ, если въ „Отечественныхъ Запискахъ" нерѣдко печатались вещи очень слабыя (какой журналъ можетъ безъ нихъ обойтись?), то ни такихъ грубыхъ обличительныхъ повѣстей и „сценъ", какія попадались въ „Современникѣ", ни такихъ шутливыхъ публичныхъ пререканій между сотрудниками и взаимныхъ репримандовъ тамъ не было и быть не могло. Однако, не потому только, что Салтыковъ былъ кучеръ-щеголь. Это очень вѣрно и наглядно: онъ дѣйствительно былъ щеголь. Но, продолжая все то-же сравненіе, можно прибавить, что на экипажи, сбрую и т. д. бываетъ мода, измѣняющаяся, какъ и всякая другая мода, а кромѣ моды, еще есть требованія климатическихъ и другихъ условій, тоже измѣняющихся. Отъ пятидесятыхъ до семидесятыхъ годовъ совершилось много хорошаго и много дурного. Съ одной стороны, въ грубыхъ таранахъ обличенія не было уже такой надобности, потому что нѣкоторое смягченіе нравовъ было все-таки достигнуто (а теперь, можетъ быть, опять утрачено); съ другой стороны, за отсутствіемъ того свѣжаго вѣтерка, который дулъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, беллетристическое обличеніе стало дѣломъ во всѣхъ смыслахъ рискованнымъ: и „богемы" не было, и эффекты обличенія могли оказаться совсѣмъ неожиданные. То же самое относится и къ фамильярно-шутливымъ взаимнымъ ре-

примандамъ сотрудниковъ. Въ качествѣ „кучера-щеголя“, Салтыковъ не допустилъ-бы ихъ, но въ нихъ и надобности не было. Литература давно уже вышла изъ положенія сказочной царевны въ очарованныхъ чертогахъ, ее не зачѣмъ было вводить въ жизнь пріемами утрированной простоты обращенія съ читателемъ и балагурствомъ. Поэтому, когда намъ, сотрудникамъ „Отечественныхъ Записокъ“, случалось упоминать другъ о другѣ, мы говорили, совершенно серьезно. Исключенія бывали очень рѣдки, по старой привычкѣ. Я помню, какъ я былъ не то что пораженъ,—это слишкомъ громкое слово,—а не совсѣмъ пріятно тронутъ началомъ одной статьи Елисеева („Храмъ современнаго счастія или проектъ положенія объ акціонерныхъ обществахъ“, „Отеч. Зап.“ 1872 г.): „Я не знаю г. Михайловскаго, но полагаю, что онъ долженъ быть еще очень молодой человѣкъ. Кто-же, въ самомъ дѣлѣ, въ наше время можетъ такъ солидно, какъ онъ, усѣсться за Спенсера и, нисколько не улыбаясь, съ самымъ серьезнымъ видомъ начать разъяснять публикѣ, что такое счастіе?“ Тогда какъ, дескать, всякій знаетъ, что счастье въ деньгахъ. Это былъ юмористическій приступъ къ статьѣ вполнѣ серьезной. Я поинтересовался узнать, зачѣмъ онъ Елисееву понадобился. Онъ отвѣтилъ, что ему показалось занимательнѣе для читателя такъ начать статью.

Въ „Современникѣ“ подобные пріемы были очень обыкновенны: такъ было занимательнѣе для читателя. Но кто пойметъ эти пріемы въ буквальномъ смыслѣ, будетъ столь-же далекъ отъ истины, какъ если-бъ онъ, со ссылкой на статью самого Елисеева, утверждалъ, что Елисеевъ меня въ 1862 году не зналъ, тогда какъ это было время самыхъ дружескихъ и близкихъ нашихъ отношеній. Не все, однако, было, можетъ быть, шуткой въ юмористическомъ вступленіи Елисеева, какъ мы увидимъ впослѣдствіи. Точно также не все, можетъ быть, было шуткой и въ репримандахъ Добролюбова Елисееву по поводу весеннихъ мечтаній и лѣшихъ съ русалками. Никакой розни во взглядахъ этотъ репримандъ не знаменовалъ собою; напротивъ, подъ всѣмъ этимъ „внутреннимъ обозрѣніемъ“ Добролюбовъ смѣло могъ-бы подписаться. И, наоборотъ, Елисеевъ не отказался-бы подписаться подъ тѣмъ „обозрѣніемъ“, которое вмѣсто него и какъ-бы въ пику ему писалъ Добролюбовъ. Но, можетъ быть, Добролюбовъ дѣйствительно находилъ несвоевременнымъ въ апрѣлѣ 1861 г.

„разнѣживать“ читателей весенними мечтаніями, поэтическими картинами изъ далекаго языческаго прошлаго и розовыми перспективами въ далекое будущее; не имѣя ничего возразить по существу, находилъ несвоевременнымъ и не постѣснился сказать это въ печати съ такою-же простотой, съ какою сказалъ-бы глазъ на глазъ самому Елисееву въ пріятельской бесѣдѣ за стаканомъ чаю. Таковы были литературные нравы.

Во всякомъ случаѣ, эта фамильярно-публичная полемика свидѣтельствуетъ не объ отчужденности Елисеева въ составѣ редакціи „Современника“, а, напротивъ, о большой близости и о значительности его тогдашней роли въ журналистикѣ. Но игралъ онъ эту роль отнюдь не въ качествѣ теоретическаго мыслителя: упомянутое обозрѣніе, занятое общественными вопросами въ ихъ отвлеченной, чисто-теоретической формѣ, составляетъ, какъ уже сказано, рѣдкое исключеніе. Елисеевъ былъ, напротивъ, силенъ знаніемъ практической жизни и умѣньемъ разбираться въ текущихъ житейскихъ явленіяхъ, освѣщая ихъ съ точки зрѣнія требованій новой, проснувшейся на Руси жизни. Эта именно черта привлекла къ его „внутреннимъ обозрѣніямъ“ общее вниманіе и сдѣлала ихъ однимъ изъ важнѣйшихъ отдѣловъ „Современника“. Онъ былъ, можно сказать, создателемъ этого отдѣла не только въ своемъ журналѣ, а и вообще въ журналистикѣ. Но этого ему было мало. Толстый ежемѣсячный журналъ былъ для него слишкомъ громоздкою и слишкомъ медленно движущеюся машиной. Ею могли удовлетворяться другіе видные сотрудники „Современника“, озабоченные, главнымъ образомъ, проведеніемъ въ массу извѣстныхъ теоретическихъ взглядовъ и воздѣйствіемъ на жизнь обобщенными итогами. Елисеева-же тянуло въ самый водоворотъ практической жизни, съ ея злобой *дня* въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Поэтому, не покидая журнала, онъ всегда мечталъ и о газетѣ.

Къ его услугамъ была „Искра“, но ея спеціальная программа не давала ему надлежащаго простора, да онъ былъ и немножко тяжеловѣсенъ для юмористическаго листка. Для образчика, кромѣ болѣе или менѣе постоянной „Хроники прогресса“, укажу интересующимся въ №№ 48 и 49 „Искры“ за 1860 г. замѣтку „Лай на луну“, въ № 1 за 1861 г. „Vivant aut pereant Поморные?“ въ № 1 за 1862 г. „Пробная лекція, читанная pro gradu doctoris по наукамъ историческимъ“. Во всѣхъ этихъ, конечно, не подписан-

ныхъ замѣткахъ и статейкахъ много остроумія, и очень язвительнаго, но въ цѣломъ онѣ все-таки тяжеловѣсны и не выдерживаютъ своего юмористическаго тона. Пробовалъ, кажется, Елисеевъ работать и въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, но я въ этомъ не увѣренъ, и, во всякомъ случаѣ, сотрудничество его въ этой газетѣ, если оно было, было очень кратковременно и случайно. Когда въ 1861 г. „Русскій Вѣстникъ“ выдѣлилъ изъ себя „Современную Лѣтопись“ въ видѣ отдѣльной еженедѣльной газеты куда отошелъ и отдѣлъ „внутренняго обозрѣнія“, Елисеевъ, какъ мы уже видѣли, предполагалъ тамъ работать. Но съ Катковымъ они не сошлись. Въ концѣ того-же 1861 г. въ Петербургѣ составилась артель литераторовъ, предполагавшая издавать на паяхъ еженедѣльную газету „Мірской Толкъ“. Редакторомъ былъ выбранъ Елисеевъ. Были сдѣланы всѣ приготовленія въ газетѣ: составлена программа, приглашены сотрудники, провинціальные корреспонденты. Но „Мірской Толкъ“ не былъ разрѣшенъ. Въ 1862 г. компанія человѣкъ въ тридцать литераторовъ пріобрѣла у П. И. Вейнберга погибавшую еженедѣльную газету „Вѣкъ“. Въ числѣ новыхъ издателей-сотрудниковъ были: К. К. Арсеньевъ, два брата Курочкины, Н. С. Лѣсковъ, С. В. Максимовъ, Помяловскій, два брата Потѣхины, Серно-Соловьевичъ, Николай Успенскій, Шелгуновъ, Щаповъ, А. Н. Энгельгардтъ и друг. Редакторомъ опять-таки былъ выбранъ единогласно Елисеевъ, и любопытно, что выборъ этотъ заслужилъ одобреніе Каткова въ „Современной Лѣтописи“. Это показываетъ, какимъ всеобщимъ уваженіемъ пользовался Елисеевъ, не смотря на его неизвѣстность въ публикѣ и сравнительно недавнее его вступленіе на литературное поприще. Такъ какъ дѣла „Вѣка“ были очень запущены, то новой редакціи пришлось выпускать по нѣскольку нумеровъ заразъ, чтобы войти въ сроки. Вотъ содержаніе перваго выпуска: передовая статья самого Елисеева о нѣкоторыхъ дворянскихъ притязаніяхъ, выраженныхъ въ ту пору гг. Безобразовыми (московскимъ и петербургскимъ), Орловымъ-Давыдовымъ и Чичериным; стихотвореніе Василія Курочкина „Безумцы“, „Сельская община“ Щапова; разсказъ Стопановскаго „Наши вечера“; „Амурскій вопросъ“ Шашкова; иностранная политика; корреспонденціи изъ Новгородской губерніи и изъ Перми; анонимныя статьи: „Крестьянскіе юридическіе обычаи“ и „Дѣйствительно-ли пьянство между крестьянами служитъ причиной недоимки“. Такимъ обра-

зомъ, выпускъ былъ посвященъ почти исключительно нашимъ внутреннимъ дѣламъ и въ частности крестьянскимъ интересамъ. Такой составъ носилъ на себѣ отпечатокъ руки редактора. И, дѣйствительно, Елисеевъ былъ редакторомъ не по имени только. Въ скоромъ времени онъ, по какимъ-то соображеніямъ, отказался напечатать какую-то статью А. Н. Энгельгардта, одного изъ хозяевъ-сотрудниковъ. Нѣкоторые изъ сотрудниковъ обидѣлись такимъ властнымъ отношеніемъ редактора къ дѣлу и внесли свой протестъ въ общее собраніе пайщиковъ. Произошло бурное объясненіе, при чемъ голоса раздѣлились. Большинство стояло за Елисеева, какъ человѣка, которому вся артель предоставляла извѣстныя полномочія, меньшинство — человѣкъ шесть — вышло изъ состава сотрудниковъ „Вѣка“. Вскорѣ послѣ того „Вѣкъ“, однако, и совсѣмъ прекратился, благодаря неисправности пайщиковъ и не взносу ими денегъ. У меня есть письмо Елисеева къ покойному А. М. Унковскому, изъ котораго видно, что Григорій Захаровичъ думалъ о возобновленіи „Вѣка“ при иныхъ условіяхъ, но это не выгорѣло.

Въ 1863 г. Елисеевъ опять попытался пристроиться къ газетному дѣлу. Арендовавшій „С.-Петербургскія Вѣдомости“ Амплій Очкинъ передалъ ихъ въ 1862 г. Коршу, а затѣмъ затѣялъ новую ежедневную газету „Очерки“, редакторомъ которой предложилъ быть Елисееву. Въ контрактѣ, заключенномъ между Елисеевымъ и Очкинымъ, есть одна интересная особенность. А именно пунктъ 6-й контракта гласитъ: „Въ случаѣ смерти Очкина, газета „Очерки“ переходитъ въ полное завѣдываніе Елисеева, но онъ обязанъ уплачивать наслѣдникамъ Очкина въ теченіе двѣнадцати лѣтъ половину чистой прибыли, для опредѣленія которой они могутъ назначить отъ себя довѣренное лицо, но никакія взысканія по газетѣ „Очерки“ за долги, сдѣланные по смерти Очкина, на нихъ падать не могутъ. Въ случаѣ смерти Елисеева, въ товарищество съ Очкинымъ по изданію и пользованію прибылью отъ газеты на одинаковыхъ съ Елисеевымъ правахъ вступаетъ то лицо, которое будетъ главнымъ помощникомъ ихъ, Очкина и Елисеева, по газетѣ, съ обязательствомъ платить наслѣдникамъ сего послѣдняго изъ своей половины чистой прибыли одну треть каждогодно, въ теченіе двѣнадцати лѣтъ. О лицѣ, избранномъ въ помощники, Елисеевъ обязывается сдѣлать заявленіе Очкину черезъ четыре мѣсяца послѣ начала изданія газеты“.

Здѣсь любопытна заботливость о дальнѣйшемъ направленіи газеты, которое Елисеевъ хотѣлъ обезпечить своимъ посмертнымъ распоряженіемъ о помощникѣ, а потомъ и самостоятельномъ руководителѣ „Очерковъ“. Такъ какъ выборъ этого лица откладывался на четыре мѣсяца, то Елисеевъ, очевидно, хотѣлъ предварительно на дѣлѣ испытать своихъ сотрудниковъ и уже затѣмъ намѣтить себѣ помощника въ настоящемъ и преемника въ будущемъ. „Очерки“ не просуществовали и четырехъ мѣсяцевъ, а потому помощникъ-преемникъ не выяснился. Для завѣдыванія отдѣломъ иностранной политики Елисеевъ пригласилъ своего сотрудника по „Современнику“ М. А. Антоновича, а затѣмъ больше другихъ работалъ въ „Очеркахъ“, кажется, Щаповъ, для распорядительства газетой, однако, совершенно неудобный по своей безалаберности.

„Очерки“ были совсѣмъ не похожи на обыкновенныя ежедневныя газеты. О томъ разнообразіи отдѣловъ и рубрикъ, какимъ щеголяютъ нынѣшнія газеты, нечего и говорить. Но и просто порядка мало было. Мѣсто передовой статьи занимала въ нихъ иногда какая-нибудь корреспонденція изъ провинціи, а иногда цѣлое историческое изслѣдованіе, растягивавшееся на нѣсколько нумеровъ; вообще никакой системы въ отношеніи расположенія матеріала. Не то относительно содержанія и порядка внутренняго. Вести тогда газетное дѣло было несравненно труднѣе, чѣмъ теперь. Нѣкоторое понятіе о тогдашнихъ трудностяхъ могутъ имѣть редакторы теперешнихъ провинціальныхъ газетъ, доселѣ издающихся подъ предварительною цензурой, что для ежедневнаго изданія представляетъ, конечно, особенныя затрудненія. Но къ услугамъ теперешнихъ газетчиковъ есть множество формъ и пріемовъ, которые тогда или не были въ обычаѣ, или не могли практиковаться за отсутствіемъ соотвѣтственнаго литературнаго персонала: разные фельетоны, большіе и „маленькіе“, могущіе заинтересовать читателя какою-нибудь житейскою мелочью или остроуміемъ. Грузнѣе тогда все это было, а между тѣмъ, годъ былъ нарочито трудный: 1863. Тѣмъ не менѣе, направленіе „Очерковъ“ было строго выдержанное и, не смотря на ихъ умѣренность, знаменитый тогдашній доброволецъ сыска въ литературѣ, редакторъ „Домашней Бесѣды“ Аскоченскій, называлъ руководителей „Очерковъ“ „робеспьериками, дантончиками и прудончиками“. Для оправданія этихъ прозвищъ пускались въ ходъ

обычныя средства: выуживаніе отдѣльныхъ словъ и фразъ и извращеніе ихъ смысла.

Въ написанной Елисеевымъ передовой статьѣ перваго нумера „Очерковъ“ читаемъ:

„Еще канулъ въ вѣчность одинъ годъ, годъ для насъ знаменательнѣйшій, какъ стоящій на рубежѣ двухъ тысячелѣтій нашей государственной жизни,—годъ, ознаменовавшійся постановленіями и событіями, еще болѣе усиливающими тотъ разрывъ съ нашимъ прошедшимъ, который произведенъ положеніемъ 19 февраля. Старыя формы будутъ еще держаться среди насъ, доживая свой вѣкъ; но ихъ недолговѣчность очевидна. Весенній ледъ не можетъ долго держаться подъ теплыми лучами согрѣвающаго солнца. Напряженіе общества слишкомъ велико, напоръ идей очень силенъ, чтобы можно было полагаться на ихъ (т.-е. старыхъ формъ) прочность. Мы всѣ, переживающіе переходную эпоху нашего времени, поставлены въ странное положеніе. Мы открываемъ собою новую эру; положеніе вещей таково, что если-бы мы и хотѣли, не можемъ остаться statu quo, мы должны даже противъ нашей воли, противъ нашего выбора идти впередъ. Но какъ идти? Осматриваясь кругомъ, мы не видимъ многаго, вполнѣ готоваго для нашихъ поступательныхъ шаговъ. Носятся, правда, среди насъ разные разрозненные элементы новой жизни, но не видно силы, которая-бы способна была стянуть эти элементы и соединить ихъ въ одно цѣлое; раздается множество голосовъ, желающихъ новаго порядка жизни, но въ ихъ разнородныхъ стремленіяхъ нѣтъ общей, соединяющей все идеи, — однимъ словомъ, видна хаотическая матерія для жизни, но нѣтъ силы организующей. Но это лучшее изъ того, что мы видимъ. Все это приложимо только къ тому обществу, которое называется мыслящимъ, передовымъ, которое составляетъ сотую долю цѣлаго. Подъ нимъ лежатъ милліоны массъ, еще не тронутыхъ почти, чувствующихъ трудность своего положенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, свыкшихся вполнѣ съ извѣстными формами жизни и началами, желающихъ лучшаго, но чтобы оно не нарушало прадѣдовскаго уклада жизни, — однимъ словомъ, ищущихъ исхода, но безъ малѣйшаго представленія о существѣ его и съ очевидною привязанностью къ вѣковой рутинѣ“.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ, обращаясь, для объясненія настоящаго, къ тяготѣющему надъ нимъ прошлому и именно къ XVI и XVII столѣтіямъ, замѣчаетъ, что „начала древней рус-

ской (или собственно московской) цивилизаціи дѣйствовали вообще на общество злокачественно. Гдѣ глубже они входили въ жизнь общества, гдѣ получали возможность дѣйствовать съ сильнѣйшимъ напоромъ, тамъ жизнь становилась испорченнѣе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, народъ дѣлался бѣднѣе, грубѣе, апатичнѣе. По этому самому, самыя худшія общества въ Россіи XVI и XVII в. были передовыя, и самое худшее изъ всѣхъ было, разумѣется, самое передовое—московское". Низшихъ слоевъ населенія цивилизація эта коснулась лишь поверхностно и поэтому они, не смотря на свою отсталость, а частью даже именно благодаря этой отсталости, сохранили въ себѣ задатки лучшаго будущаго развитія. „Ближайшее къ намъ прошедшее XVI и XVII вѣковъ представляетъ собой торжество вторгнувшихся въ жизнь народа чуждыхъ ему началъ, подавленіе и растлѣніе этими началами его природнаго смысла; наше время, какъ оно ни представляется испорченнымъ, стоитъ неизмѣримо выше того времени и есть, во всякомъ случаѣ, время возрожденія. Простота и чистота нравовъ, семейныя добродѣтели, благочестіе и тому подобныя качества, приписываемыя нами нашимъ предкамъ XVI и XVII ст.,—призраки, созданные нашимъ собственнымъ воображеніемъ. Чтобы разрушить эти иллюзіи, почувствовать ту гниль и духоту, которыхъ полна была эта жизнь, намъ стоитъ только погрузиться на нѣсколько мгновеній въ ея мутныя струи".

„Погруженія" эти и совершаются въ нѣсколькихъ передовыхъ статьяхъ. Историко публицистическія статьи Щапова занимали также видное мѣсто въ „Очеркахъ". Подъ стать къ этому историческому тону была задумана и политическая хроника. Авторъ въ первой-же хроникѣ заявляетъ, что „намѣренъ, при разсказахъ о текущихъ событіяхъ, обращаться къ исторіи, къ прошедшимъ и давно прошедшимъ событіямъ, чтобы показывать ихъ связь съ настоящимъ; потому что только при такой связи можно будетъ видѣть все значеніе послѣднихъ и понять ихъ ясно, даже просто съ фактической стороны".

Чтобы окончательно дорисовать физіономію „Очерковъ", я приведу нѣсколько параграфовъ изъ напечатаннаго въ первомъ нумерѣ „Перечня нѣкоторыхъ болѣе замѣчательныхъ открытій, сдѣланныхъ русскою литературой въ 1862 году": 2) „Найдено вѣрное средство ослабить, а современемъ и совсѣмъ уничтожить русскую народную общину введеніемъ англійскаго ценза

(см. „Русскій Вѣстникъ“ съ братіей); 3) открыта возможность *закрѣпостить* народъ, и не прибѣгая вновь къ крѣпостному праву, именно посредствомъ замѣны выработаннаго народомъ самоуправленія англійскимъ Selfgovernement'омъ (см. „Русскій Вѣстникъ“); 7) признана польза размноженія въ Россіи батраковъ, т.-е. людей, не имѣющихъ ни земли, ни кола, ни двора, въ видахъ преуспѣянія отечественнаго земледѣлія; 8) усмотрѣнъ государственный вредъ въ сообщеніи высшаго образованія людямъ недостаточнымъ, равно какъ и въ предоставленіи имъ общественныхъ должностей (см. Русскій Вѣстникъ“, статья г. Скуратова); 9) усмотрѣна нравственная польза въ размноженіи таскающихся по улицѣ нищихъ, какъ субъектовъ, порождающихъ въ народѣ *процессъ нравственныхъ ощущеній, благотворительныхъ для души, очищающихъ ее и вводящихъ въ общеніе съ вѣчною благостью, зиждущею міръ* (см. „День“); 10) открыто, что наука въ сильныхъ своихъ пріемахъ, въ какихъ дается въ россійскихъ университетахъ, есть несомнѣнный ядъ, который мужчины еще могутъ кое-какъ выносить, но который положительно разъѣдаетъ и сокрушаетъ женщину“, и т. д.

„Очерки“ несомнѣнно заинтересовали читающую публику, но имѣли-ли они матеріальный успѣхъ—сказать нельзя уже потому, что начавшись 1 января 1863 г., они выпустили свой послѣдній нумеръ 8 апрѣля того-же года. Прекратились они по обстоятельствамъ, отъ Елисеева совершенно не зависѣвшимъ. Онъ, кажется, и самъ узналъ это post factum: Очкинъ безъ его вѣдома вступилъ въ соглашеніе съ издателемъ газеты „Современное Слово“, Писаревскимъ, которому и передалъ своихъ подписчиковъ, а „Очерки“ прекратилъ. Эпизодъ этотъ Некрасовъ воспѣлъ въ „Свисткѣ“ („Современникъ“ 1863 г., № 4), гдѣ, между прочимъ, читаемъ:

Видѣлъ во снѣ Елисеева:
Вотъ онъ вошелъ въ магазинъ,
И извѣстилъ о бѣдѣ его
Тотчасъ приказчикъ одинъ.
Съ миной тупой, нерѣшительной,
Долго стоялъ онъ суровъ,—
Этотъ пассажъ удивительный
Былъ ему, кажется, новъ.
Молча пошелъ онъ вдоль Невскаго,
Пикнуть не могъ ничего,

Словно карнизомъ отъ дома Краевскаго
Этимъ пришибло его.

Работа Елисеева въ „Современникѣ“ шла сама собой. Кромѣ внутреннихъ обозрѣній и обзоровъ журналистики, онъ, послѣ перечисленныхъ уже выше отдѣльныхъ статей, напечаталъ еще: въ маѣ 1865 г.—„Представительство крупной собственности въ земскихъ учрежденіяхъ“, въ іюнѣ и іюлѣ того-же года—„Городское хозяйство Петербурга“, въ сентябрѣ—„Екатерининскій дворянинъ и современная газета „Вѣсть“, въ сентябрѣ-же, ноябрѣ и декабрѣ 1865 г. и въ январѣ 1866 г.—„Очеркъ исторіи русской литературы по современнымъ изслѣдованіямъ“.

---

4 апрѣля 1866 г. вся Россія была потрясена Каракозовскимъ покушеніемъ на жизнь императора Александра II. Въ наступившіе вслѣдъ затѣмъ тяжелые дни произошли, между прочимъ, два событія особенной для Елисеева важности: закрытіе „Современника“ и арестъ самого Елисеева. О послѣднемъ онъ разсказываетъ въ одной изъ оставшихся послѣ него рукописей, и мнѣ кажется, что объ этихъ дѣлахъ давно минувшихъ дней надо разсказывать его собственными словами, его спокойнымъ, эпическимъ тономъ:

„Къ существу Каракозовскаго процесса я не имѣлъ никакого прикосновенія. Но главный слѣдователь и руководитель этого процесса, графъ Муравьевъ, хотѣлъ очистить Россію отъ всѣхъ элементовъ, которые казались ему вредными, и потому присоединилъ къ нему дѣла, не имѣвшія къ нему никакого отношенія. Я былъ привлеченъ по обвиненію въ содѣйствіи соціалистическому предпріятію, хотя ничего соціалистическаго въ этомъ предпріятіи не было, да и самаго предпріятія не было, и самое содѣйствіе не могло быть ему оказываемо. Однимъ словомъ, все было въ мечтѣ. Рабочіе Мальцевскаго завода въ Калужской губерніи, оставшіеся послѣ эмансипаціи безъ дѣла, захотѣли устроить свой заводъ, но ни земли, ни денегъ на постройку завода у нихъ не имѣлось. Въ нихъ приняли горячее участіе мѣстные судебный слѣдователь и мировой посредникъ. По ихъ просьбѣ одинъ сосѣдній помѣщикъ далъ имъ землю для постройки завода, деньги-же на постройку завода хотѣли просить у правительства въ количествѣ 15.000 рублей. Означенный судебный слѣдователь и мировой посредникъ обратились ко мнѣ съ просьбой указать—

черезъ кого-бы они могли обратиться къ правительству. Я имъ указалъ такое лицо, съ которымъ былъ знакомъ только шапочно и о которомъ зналъ только, что онъ имѣетъ знакомство въ оффиціальныхъ кругахъ. Теперь всѣ мы, т.-е. и судебный слѣдователь, и мировой посредникъ, и лицо, на которое я указалъ, хотя еще мое указаніе не дошло до него,—всѣ мы были посажены въ крѣпость.

„Въ Мальцевское дѣло попалъ я совершенно случайно. Въ Петербургѣ до Каракозовской исторіи оно почти вовсе не было извѣстно, по крайней мѣрѣ я объ немъ вовсе не слыхалъ. Но московскую молодежь еще за годъ до этой исторіи начало занимать устройство рабочихъ Мальцевскаго завода въ Калужской губерніи. Какъ разъ именно въ это время я пріѣхалъ въ Москву лѣчиться въ водолѣчебномъ заведеніи д-ра Крейзера, гдѣ поселился на житье и пробылъ въ Москвѣ около двухъ мѣсяцевъ. Въ Москвѣ я никого не зналъ, но такъ какъ въ литературныхъ кругахъ имя мое было нѣсколько извѣстно по участію въ „Современникѣ“, то ко мнѣ пришелъ познакомиться В. И. П., бывшій тамъ учителемъ къ кадетскомъ корпусѣ и гимназіи. Онъ мнѣ очень понравился и сдѣлался потомъ близкимъ моимъ пріятелемъ Онъ привелъ ко мнѣ и еще двухъ или трехъ молодыхъ людей изъ московской интеллигенціи, которые впослѣдствіи оказались членами или московской Каракозовской „организаціи“, или Каракозовскаго „ада“. Извѣстно, что Каракозовское общество раздѣлялось на двѣ части: одна заключала главныхъ руководителей всего дѣла, знавшихъ всѣ его тайны, всѣмъ распоряжавшихся, которыхъ было всего 9 человѣкъ; они носили названіе „ада“; къ другой части, называвшейся „организаціей“, принадлежали всѣ другіе члены, число которыхъ не было ограничено. Существовало-ли въ то время, когда я былъ въ Москвѣ, Каракозовское общество, или нѣтъ—я не знаю. Но полагаю, что его не было даже въ зачаткѣ, потому что при той болтовнѣ, которою они отличались, они не могли просуществовать такъ долго—около года. По крайней мѣрѣ я объ немъ ничего не зналъ, да не зналъ ничего, конечно, и мой новый пріятель В. И. П., попавшій потомъ въ Каракозовскій процессъ также совершенно случайно, какъ и я... Какъ-бы то ни было, но, когда я возвратился въ Петербургъ, ко мнѣ начали являться нѣкоторыя новыя лица изъ московской молодежи съ рекомендательными письмами отъ тѣхъ молодыхъ людей, съ которыми я познакомился въ Москвѣ. Письма

эти были только предлогомъ увидать меня и потомъ разсказать о добытыхъ свѣдѣніяхъ, яко-бы при разговорѣ со мною, всѣмъ пріятелямъ. Ибо по тогдашнему значенію „Современника“ въ общественномъ мнѣніи и по своему положенію въ этомъ журналѣ въ качествѣ внутренняго обозрѣвателя, я былъ сюжетомъ небезъинтереснымъ для обыденной болтовни въ праздныхъ кружкахъ. Большею частью всѣ разговоры съ такими приходившими съ рекомендательными письмами ограничивались указаніемъ адресовъ тѣхъ или другихъ книжныхъ магазиновъ или редакцій, а также и моимъ личнымъ мнѣніемъ о нихъ. Потомъ я совершенно забылъ фамиліи приходившихъ ко мнѣ лицъ. Между тѣмъ приходившіе ко мнѣ, возвращаясь въ Москву, подробно разсказывали въ своихъ кружкахъ обо всемъ, что говорили и видѣли въ Петербургѣ. Черезъ это имя мое въ кружкахъ московской молодежи, превратившихся потомъ въ „организацію“ и „адъ“, сдѣлалось, къ несчастію моему, чрезвычайно популярнымъ... Надобно сказать, что многіе изъ членовъ „организаціи“ были чистыя дѣти, не по возрасту только, но и по разумѣнію. Давая свои показанія, они заботились не о томъ, чтобы скрыть свои наипрерадикальнѣйшіе помыслы, а старались, напротивъ, блеснуть ими, выставить ихъ какъ можно выпуклѣе, чтобы не сочли ихъ менѣе прогрессивными, чѣмъ ихъ товарищи. На вопросъ слѣдователя: гдѣ они почерпнули такія перверсивныя идеи?—кто-то отвѣтилъ, что въ моемъ сочиненіи о соціализмѣ. Слѣдователи были настолько, однако, осторожны, что сочли нужнымъ справиться въ библіографическихъ указателяхъ, есть-ли такое сочиненіе подъ моимъ именемъ или псевдонимомъ, потомъ спросили у сидѣвшихъ въ крѣпости литераторовъ, не писалъ-ли я какихъ нибудь статей о соціализмѣ; и такъ какъ сдѣланное показаніе оказалось чистымъ враньемъ, то мнѣ никакого вопроса по этому показанію не предложили, и я узналъ о немъ только уже по выходѣ изъ крѣпости. Но не всѣ показанія были такъ нелѣпы, что опровергались сами собой, какъ очевидное вранье. Другія были, напротивъ, очень пикантны и, повидимому, вполнѣ соотвѣтствовали положенію дѣла, изъ нихъ не легко было выпутаться...

„Одинъ членъ „ада“ сдѣлалъ показаніе, что я имѣлъ съ нимъ экстренное свиданіе для совѣщанія о похищеніи одного важнаго политическаго преступника, находящагося въ каторгѣ. Хотя я этого члена „ада“ видѣлъ не болѣе двухъ разъ въ жизни, такъ

какъ онъ жилъ постоянно въ Москвѣ, а я въ Петербургѣ, хотя я по своему положенію и профессіи не могъ быть близокъ къ нему, такъ какъ онъ не принадлежалъ даже вовсе къ литературному цеху, тѣмъ не менѣе показаніе его имѣло видъ вѣроятія: я былъ одной профессіи съ пострадавшимъ, стоялъ при одномъ съ нимъ дѣлѣ, былъ болѣе или менѣе близокъ къ нему и слѣдственно могъ искренно желать его освобожденія.

„Другой изъ членовъ „ада“, но уже не изъ московскихъ, а изъ петербургскихъ жителей (кажется, это былъ единственный человѣкъ изъ Петербурга, состоявшій членомъ Каракозовскаго общества, остальные были всѣ москвичи) сдѣлалъ показаніе еще болѣе пикантное. Именно, показалъ, что у меня нерѣдко были собранія, на которыхъ присутствовалъ онъ самъ и другіе члены „ада“ и на которыхъ происходили преступныя совѣщанія. Это показаніе крайне изумило меня. Ибо сдѣлавшій это показаніе былъ извѣстный И. А. Худяковъ, очень ко мнѣ близкій молодой человѣкъ, хорошо меня знавшій, къ которому я былъ очень привязанъ, равно какъ и онъ ко мнѣ. По нравственному своему характеру это былъ человѣкъ не только вполнѣ безупречный, но нѣкоторымъ образомъ подвижникъ. Онъ посвятилъ себя всецѣло дѣлу просвѣщенія народа; въ періодической литературѣ онъ не участвовалъ, а занимался изданіемъ русскихъ народныхъ сказокъ, разныхъ просвѣтительныхъ брошюръ, учебниковъ, хрестоматій, получалъ за эти изданія порядочныя деньги, но самъ лично на себя расходовалъ не болѣе 25 руб. въ мѣсяцъ, остальныя-же употреблялъ всѣ на помощь бѣдствующимъ молодымъ людямъ изъ учащихся, на свой счетъ содержалъ и воспитывалъ одного крестьянскаго мальчика. Въ высшей степени нервный отъ природы, крайне подвижной, всегда озабоченный и занятый дѣломъ, постоянно спѣшащій, онъ забѣгалъ ко мнѣ раза два-три въ мѣсяцъ, сидѣлъ часъ или два не болѣе и, переговоривъ о чемъ нужно по своимъ литературнымъ занятіямъ, убѣгалъ... Никогда не думалъ я, чтобы этотъ человѣкъ могъ сдѣлаться членомъ тайнаго общества, никогда ни одного намека не обронилъ онъ мнѣ о существованіи общества въ Москвѣ и своей принадлежности къ нему... Я уже сказалъ, что показаніе, сдѣланное Худяковымъ относительно меня, очень меня изумило. Онъ зналъ очень хорошо, какую я веду жизнь, зналъ всѣ мои знакомства и поэтому не могъ показать, что у меня бывали какія-нибудь собранія, тѣмъ болѣе съ чле-

нами Каракозовскаго общества, знакомство мое съ которыми было совсѣмъ случайное. Сверхъ того, Худяковъ былъ такъ ко мнѣ привязанъ, что если-бы такое собраніе и было у меня, онъ никогда-бы этого не показалъ, чтобы не повредить мнѣ. Я былъ въ этомъ убѣжденъ. И потому показаніе объяснилъ себѣ такъ, что онъ впалъ во время слѣдствія въ нервное разстройство, былъ въ ненормальномъ состояніи и, вмѣсто того, что было, писалъ въ своихъ показаніяхъ то, что ему мерещилось въ его разстроенномъ мозгу,— свои собственныя галлюцинаціи. Приходило мнѣ на мысль, впрочемъ, и другое объясненіе. Воротилой всего слѣдственнаго процесса и довѣреннымъ лицомъ по слѣдствію у графа Муравьева былъ аудиторъ, человѣкъ очень хорошій и добросовѣстный, но стараго юридическаго воспитанія и старыхъ порядковъ и пріемовъ при слѣдствіи. А при этихъ порядкахъ и пріемахъ считалось вполнѣ законнымъ, для запугиванія и уловленія обвиняемаго, писать показанія отъ лица товарища его по обвиненію или вообще отъ близкаго къ нему лица...

„Само собою разумѣется, что я рѣшительно и безусловно отвергъ истинность обоихъ показаній, сдѣланныхъ относительно меня помянутыми членами „ада“ и мнѣ предъявленныхъ. Но это мое отрицаніе, конечно, не могло уничтожить въ слѣдователяхъ подозрѣніе въ моей большей прикосновенности къ дѣлу, чѣмъ это обнаруживалось изъ доселѣ добытыхъ фактовъ. Видимость была никакъ не въ мою пользу. Я не могъ отрицать знакомство съ нѣсколькими членами организаціи и даже ада. Положимъ, что знакомство это было случайное, но кто могъ удостовѣрить, что тутъ не было и другой подкладки. При томъ, близость моя къ Худякову была удостовѣрена. Вообще, я никакъ не надѣялся освободиться изъ крѣпости ранѣе верховнаго суда.

„Какъ вдругъ въ одинъ прекрасный день меня совершенно неожиданно приглашаютъ къ коменданту, который самъ выходитъ ко мнѣ и поздравляетъ меня съ освобожденіемъ изъ его вѣдѣнія. Моя радость при этомъ извѣстіи отлично понятна будетъ всѣмъ, кто переживалъ Каракозовское время и страшную панику, охватившую тогда все общество, но вполнѣ поймутъ ее только тѣ, которые привлечены были къ слѣдствію по этому дѣлу“.

Елисеевъ считалъ еще себя счастливымъ сравнительно съ нѣкоторыми своими товарищами по литературѣ, и именно потому, что онъ подвергся, а они не подверглись заключенію,—крѣпость,

по крайней мѣрѣ, отлучила его отъ непосредственнаго общенія съ той паникой, которая распространилась въ обществѣ. Взволнованность общества была вполнѣ естественна, какъ въ виду того, что Каракозовскій выстрѣлъ представлялъ собою небывалое дотолѣ явленіе, такъ и въ виду назначенія руководителемъ слѣдствія гр. М. Н. Муравьева. Но взволнованность эта принимала размѣры и формы чрезвычайные. Вотъ что, напримѣръ, разсказываетъ Елисеевъ: „По выходѣ изъ крѣпости, иду я разъ, направляясь къ Васильевскому, гдѣ жилъ въ то время, по Конногвардейскому бульвару и вижу, что въ проходящую по тому-же направленію конку вскочилъ профессоръ университета N., участвовавшій въ литературѣ, человѣкъ хорошій, близкій мой знакомый, бывавшій у меня довольно часто, котораго я не видалъ въ продолженіе всего времени, что сидѣлъ въ крѣпости, и котораго хотѣлъ разспросить о многомъ. Не долго думая, я вскочилъ на подножку конки; но такъ какъ мѣста внутри конки не было, то я взобрался наверхъ. Увидавъ меня, профессоръ, едва только мы стали выѣзжать съ конца Николаевской линіи, выскочилъ и побѣжалъ прочь отъ конки. Я сталъ окликать его, но профессоръ мчался впередъ. Предполагая все-таки, что онъ не слышитъ, я соскочилъ съ конки и побѣжалъ также за нимъ, все продолжая кричать. Разстояніе между нами было такъ не велико, что невозможно было не слышать моего крика. Но профессоръ продолжалъ бѣжать, не оглядываясь, и едва только добѣжалъ до перваго извозчика, шмыгнулъ на него, и былъ таковъ. Тутъ только я понялъ, что профессора гналъ отъ меня шкурный вопросъ. Пришедши домой, я много смѣялся. Мнѣ показалось очень забавною его трусость, на мой взглядъ совершенно безпричинная. Ибо чего же ему было бояться меня, когда самъ гр. М. Н. Муравьевъ, по тщательномъ изслѣдованіи моихъ поступковъ и мыслей, не нашелъ возможнымъ ни предать меня суду, ни продолжать дальнѣйшее надо мной слѣдствіе, а выпустилъ на волю? Однако скоро мнѣ пришлось убѣдиться, что я ошибался. Не смотря на мое освобожденіе, одно сидѣніе въ крѣпости приводило людей мнительныхъ и трусливыхъ въ смущеніе относительно меня и заставляло ихъ сторониться“.

Обстоятельство это, разумѣется, не украшало положенія Елисеева, а оно и безъ того было трудно. По выходѣ изъ крѣпости, средствъ у него не было никакихъ, работы—тоже: „Современникъ“ былъ

тѣмъ временемъ закрытъ. Помощь со стороны ограничивалась 300 руб., присланными Некрасовымъ женѣ Елисеева тотчасъ послѣ его ареста, да добрымъ участіемъ домовладѣлицъ, у которыхъ они жили, какихъ-то двухъ старыхъ нѣмокъ, рѣшительно отказавшихся получать квартирную плату за время ареста. Скоро, однако, послѣ перваго переполоха, въ Некрасовѣ забилась старая жилка журналиста, и онъ задумалъ сборникъ, къ участію въ которомъ пригласилъ Елисеева. Потомъ мысль о сборникѣ смѣнилась мыслью о журналѣ, и явилась извѣстная комбинація съ арендой „Отечественныхъ Записокъ“ у Краевскаго...

Въ „Отечественныхъ Запискахъ“ предполагалось участіе не только Некрасова, Салтыкова и Елисеева, какъ вышло само собой потомъ, а и другихъ главныхъ сотрудниковъ „Современника“— гг. Пыпина, Жуковскаго, Антоновича. Это не устроилось. Дѣло въ томъ, что еще гораздо раньше, вмѣстѣ съ выбытіемъ изъ строя Добролюбова и Чернышевскаго, отлетѣла изъ редакціи „Современника“ ея душа, ея непререкаемо организующее начало и поднялись внутреннія неурядицы, разсказъ о которыхъ имѣется въ бумагахъ Елисеева, равно какъ и печальная повѣсть о дрязгахъ при возникновеніи обновленныхъ „Отечественныхъ Записокъ“. Я долго колебался—передавать-ли здѣсь эту истинно печальную повѣсть, или не передавать, и пришелъ къ отрицательному рѣшенію, хотя для передачи были очень вѣскіе мотивы. Въ литературѣ существуетъ во всякомъ случаѣ печатный документъ, относящійся сюда. Это именно „Матеріалы для характеристики современной литературы“ (Спб. 1869), состоящіе изъ двухъ частей: 1) „Литературное объясненіе съ Н. А. Некрасовымъ“ г. Антоновича и 2) статья г. Жуковскаго—„Содержаніе и программа „Отечественныхъ Записокъ“ за прошлый годъ“. Правда, этотъ памфлетъ, направленный главнымъ образомъ противъ Некрасова и Елисеева, не повредилъ въ свое время ни тому, ни другому, ни „Отечественнымъ Запискамъ“. Да и впослѣдствіи, даже злѣйшіе враги какъ этого журнала, такъ и этихъ двухъ первыхъ его руководителей, сколько я знаю, не утилизировали коллективнаго труда гг. Антоновича и Жуковскаго. Памфлетъ доставилъ много непріятныхъ минутъ, въ особенности Некрасову, да и Елисееву, какъ сейчасъ увидимъ, но собственно въ публикѣ прошелъ безслѣдно. Тѣмъ не менѣе будущій историкъ литературы можетъ остановиться на этомъ документѣ. Елисеева, оче-

видно, заботило это обстоятельство, потому что въ его бумагахъ сохранилось нѣсколько набросковъ, касающихся личныхъ отношеній между бывшими сотрудниками „Современника“ при возникновеніи „Отечественныхъ Записокъ“. Въ одной изъ своихъ печатныхъ статей („Отвѣтъ на критику“, „О. З.“ 1869, № 4) онъ даже пообѣщалъ „въ особой брошюрѣ возстановить разсказъ о началѣ „Отечественныхъ Записокъ“ и „Современнаго Обозрѣнія“ и послѣдующихъ сношеніяхъ г. Некрасова съ г. Жуковскимъ во всей полнотѣ и цѣлостности, съ поименованіемъ всѣхъ событій и лицъ, въ нихъ участвовавшихъ или соприкасавшихся съ ними, со всѣми рѣчами послѣднихъ и т. д.“. Онъ не исполнилъ своего обѣщанія, вѣроятно именно потому, что убѣдился, что брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго не производитъ большого впечатлѣнія и, слѣдовательно, не нуждается въ немедленномъ детальномъ опроверженіи. При томъ-же, въ такомъ опроверженіи ему пришлось-бы высказать свой особый взглядъ на Некрасова, неудобный для опубликованія при жизни послѣдняго. Тѣмъ не менѣе впослѣдствіи онъ, повторяю, не разъ возвращался къ этому эпизоду въ своихъ отрывочныхъ автобіографическихъ запискахъ, желая, повидимому, обѣлить свое имя въ случаѣ надобности.

Есть-ли такая надобность теперь? Не думаю. Имя Елисеева, какъ было, такъ и останется незапятнаннымъ, а направленный противъ него и Некрасова памфлетъ, какъ былъ, такъ и останется на днѣ рѣки забвенія. Извлекать его оттуда значило-бы, можетъ быть, дать совсѣмъ нежелательную пищу кое-кому изъ нынѣшнихъ борзописцевъ. Достаточно пока указать на вышеупомянутую статью Елисеева „Отвѣтъ на критику“ и на напечатанный въ томъ-же № въ отдѣлѣ „новыхъ книгъ“ разборъ „Матеріаловъ“ гг. Антоновича и Жуковскаго. Разборъ этотъ, анонимный, какъ и весь отдѣлъ „новыхъ книгъ“, написанъ Салтыковымъ, что, впрочемъ, не трудно узнать по язвительному остроумію рецензіи. Я долженъ разсказать, однако, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые голые факты, безъ всякихъ комментаріевъ, дабы читатель зналъ, какъ это вышло, что изъ всѣхъ сотрудниковъ „Современника“ одинъ Елисеевъ остался при Некрасовѣ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (Салтыковъ началъ въ нихъ писать съ перваго-же номера, но, собственно, въ составъ редакціи вошелъ нѣсколько позже, когда вышелъ въ отставку).

Елисеевъ былъ увѣренъ, что въ обновленныя „Отечественныя

Записки“ войдутъ всѣ сотрудники „Современника“. И дѣйствительно, въ переговорахъ съ Некрасовымъ участвовали и г. Пыпинъ, и г. Жуковскій (г. Антоновичъ не участвовалъ, такъ какъ былъ въ это время за-границей). Но они не сошлись съ Некрасовымъ въ условіяхъ и устроились было въ журналѣ Тиблена „Современное Обозрѣніе“, гдѣ, однако, роль ихъ ограничилась, кажется, только участіемъ въ редактированіи опубликованной программы журнала, да и самый журналъ скоро прекратился. Елисеевъ никакихъ условій Некрасову не ставилъ и потому, первое, самое трудное для журнала время выносилъ на своихъ плечахъ почти одинъ. А обстоятельства были очень трудныя, и Елисеевъ это очень хорошо понималъ. Репутація „Отечественныхъ Записокъ“, издававшихся Краевскимъ, была очень плохая: у нихъ было около 2.000 подписчиковъ. Репутація Некрасова сильно пострадала въ 1866 г., и можно было опасаться очень холоднаго отношенія къ его новому предпріятію какъ со стороны публики, такъ и со стороны пищущей братіи. Отсутствіе именъ гг. Пыпина, Жуковскаго и Антоновича для публики, не знавшей мотивовъ этого отсутствія, могло показаться очень выразительнымъ, — дѣло имѣло такой видъ, какъ будто нѣкоторые бывшіе сотрудники Некрасова гнушались новымъ журналомъ. Да и сами по себѣ эти сотрудники представляли извѣстную силу, въ замѣнъ которой нужно было подыскивать что-нибудь новое. А это дѣло нелегкое. Брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго подбавляла масла въ огонь, и Елисеева на первыхъ порахъ не разъ настигали сомнѣнія въ успѣхѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Но мало-по-малу, и даже очень быстро, дѣло наладилось, и въ сердцѣ Елисеева осталась только заноза, внесенная туда поведеніемъ его бывшихъ товарищей. Но за-то она давала себя знать до конца дней его, какъ видно изъ оставшихся послѣ него бумагъ. Ее именно разумѣетъ онъ, говоря о „заушеніяхъ“ и „безчестномъ лаѣ“ въ вышеприведенномъ вступленіи къ автобіографіи.

Разочаровываться въ людяхъ и получать обиды съ такой стороны, откуда ихъ никакъ не ожидалъ,—дѣло, конечно, тяжелое, но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ тѣмъ и довольно обыкновенное. При томъ-же всякія, самыя страшныя раны съ теченіемъ времени затягиваются, а въ данномъ случаѣ были, повидимому, всѣ условія для того, чтобы рана затянулась даже очень скоро. Дрязги, сопровождавшія основаніе Некрасовымъ „Отечественныхъ Запи-

сокъ", были, разумѣется, непріятны, обидны, возмутительны, но, въ концѣ концовъ, онѣ сыграли роль хлопушки, брошенной шаловливой дѣтской рукой подъ поѣздъ: хлопушка разорвалась съ извѣстнымъ трескомъ, но поѣзда не остановила и ничему не помѣшала. Не сойдись Елисеевъ съ Некрасовымъ, не рѣшись онъ на этотъ, по совокупности тогдашнихъ условій, большой рискъ, „Отечественныя Записки" не существовали-бы, и сознаніе этой заслуги могло-бы быть достаточно цѣлебнымъ средствомъ. Почему-же рана въ его сердцѣ не закрывалась такъ долго,—въ теченіе двухъ десятковъ лѣтъ? Очевидно, были обстоятельства, постоянно поддерживавшія или даже растравлявшія ее.

Соображая всю совокупность относящихся сюда мѣстъ въ посмертныхъ бумагахъ и письмахъ Елисеева, я думаю, что такія обстоятельства дѣйствительно были и что ихъ было два.

Во-первыхъ, личность Некрасова.

Разбирая бумаги Елисеева и видя лишь начала безъ концовъ и концы безъ началъ, я былъ, наконецъ, очень обрадованъ, найдя двѣ законченныя и въ разномъ родѣ, но въ высокой степени замѣчательныя рукописи. Это вышеупомянутая записка жены Елисеева и небольшая статья безъ заглавія самого Елисеева, посвященная характеристикѣ Некрасова. Отрывокъ изъ этой характеристики я уже приводилъ *).

Здѣсь не мѣсто говорить объ томъ, въ какой мѣрѣ этотъ портретъ Некрасова идеализированъ и въ какой мѣрѣ вѣрно изображаетъ онъ одну изъ сторонъ сложной натуры этого замѣчательнаго человѣка. Здѣсь для насъ важно только то, что таковъ былъ взглядъ Елисеева. Онъ, однако, пришелъ къ этому взгляду далеко не сразу. Онъ, конечно, всегда признавалъ умъ и талантъ Некрасова и огромность его заслуги въ литературѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ случалось слышать отъ него очень рѣзкіе отзывы о нравственной личности поэта (Не мнѣ одному, конечно; на это имѣются ядовитые намеки, между прочимъ, и въ брошюрѣ гг. Антоновича и Жуковскаго). И того, почти художественнаго объединенія свѣта и тѣни, какое имѣется въ приведенномъ мною портретѣ „героя — раба", въ этихъ отзывахъ отнюдь не было. Для

*) Тотъ-же взглядъ выражается въ отрывкахъ изъ посмертныхъ бумагъ Елисеева, напечатанныхъ, подъ заглавіемъ „Некрасовъ и Салтыковъ", въ „Русскомъ Богатствѣ" 1893 г.

меня-же это объединеніе (въ иныхъ пропорціяхъ, конечно) установилось довольно скоро послѣ знакомства и совмѣстной работы съ Некрасовымъ. Не потому, чтобы я былъ проницательнѣе Елисеева, а, какъ это ни странно на первый взглядъ, потому, что я меньше зналъ Некрасова. Заслуги Некрасова въ литературѣ мнѣ были такъ-же хорошо извѣстны, какъ и Елисееву, какъ и всякому, интересующемуся судьбами русской литературы, а тѣневыя стороны его нравственной личности я зналъ только по наслышкѣ. Я былъ непосредственнымъ свидѣтелемъ только *слабостей* Некрасова, тогда какъ Елисеевъ близко зналъ его *грѣхи*, и, понятно, что ему труднѣе было свести концы съ концами въ этой сложной натурѣ. Его долго мучили это непримиренное противорѣчіе и мысль, что онъ, Елисеевъ, стоитъ рядомъ съ загадочнымъ человѣкомъ, на которомъ лежатъ столь тяжкія и до извѣстной степени фактически, во всякомъ случаѣ, справедливыя обвиненія...

А къ этой мысли присоединилось и второе тягостное обстоятельство.

Послѣ Елисеева осталось состояніе въ пятьдесятъ слишкомъ тысячъ рублей,—случай крайне рѣдкій въ средѣ русскихъ литературныхъ тружениковъ, послѣ которыхъ, даже при большомъ успѣхѣ при жизни, и на похороны не всегда что-нибудь остается. Зависитъ это отъ условій литературнаго труда, а частью, нечего грѣхъ таить, и отъ собственной безпорядочности русскихъ писателей. Безпорядочность эта до извѣстной степени, впрочемъ, тоже сводится къ условіямъ литературной работы у насъ, вызывающимъ особую и, если можно такъ выразиться, безрезультатную нервность: русскій писатель рѣдко видитъ практическое осуществленіе результатовъ напряженія его мысли и чувства, и оттого его нервность разрѣшается, такъ сказать, внутри его личности, производя въ ней прискорбное нарушеніе равновѣсія. Во всякомъ случаѣ, Елисеевъ составляетъ одно изъ немногихъ исключеній. Правда, съ тѣхъ поръ, какъ Некрасовъ взялъ въ свои руки „Отечественныя Записки“, Елисеевъ получилъ прочное матеріальное положеніе, постепенно улучшавшееся до предѣловъ, исключительныхъ въ нашемъ литературномъ быту. Но все-таки—русскій литераторъ, не получившій никакого наслѣдственнаго имущества, и пятьдесятъ тысячъ,—это такая необычная комбинація, передъ которой можно остановиться съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ. И самъ Елисеевъ это сознавалъ.

Еще при жизни Елисеева до меня доходили слухи (самъ я, какъ уже сказано, въ послѣдніе годы его жизни почти не видалъ его), что на принадлежавшій ему билетъ одного изъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ выпалъ крупный выигрышъ,—40.000. Но теперь, послѣ разбора бумагъ Елисеева, я долженъ признать это свѣдѣніе невѣрнымъ. Нѣтъ дыма безъ огня, и можетъ быть Елисееву дѣйствительно посчастливилось что-нибудь выиграть, но эта была сумма, навѣрное несравненно меньшая, чѣмъ та, объ которой говорила молва. Въ моихъ рукахъ находится переписка Елисеева съ Салтыковымъ, который, во время пребыванія Григорія Захаровича, по болѣзни, за-границей, завѣдывалъ почти всѣми его денежными дѣлами. Въ перепискѣ этой нигдѣ не упоминается ни о какомъ выигрышѣ. Напротивъ, не разъ говорится о томъ, что состояніе пріобрѣтено исключительно литературнымъ трудомъ. Тоже повторяется и въ автобіографическихъ отрывкахъ.

Я не знаю, на какихъ условіяхъ Елисеевъ началъ работать въ „Отечественныхъ Записках“, но это были во всякомъ случаѣ обыкновенныя условія редакторскаго жалованья и полистнаго гонорара. Въ 1874 г. произошла въ этомъ отношеніи перемѣна. Вотъ найденное мною въ бумагахъ Елисеева домашнее условіе, подписанное имъ, Некрасовымъ и Салтыковымъ:

„1) Съ 1-го января настоящаго 1874 г. и впредь до истеченія срока контракту, заключенному Н. А. Некрасовымъ съ г. Краевскимъ на арендованіе журнала „Отечественныя Записки“, мы, Елисеевъ и Салтыковъ, получаемъ ежемѣсячно по 250 р. с. за труды по редактированію журнала, независимо отъ полистной платы (по особому условію) за наши произведенія, и сверхъ того, буде „Отечественныя Записки“ будутъ имѣть болѣе 5500 подписчиковъ, то получаемъ мы по 600 руб. единовременно въ концѣ каждаго года. 2) Изъ чистаго дохода, который имѣетъ получаться отъ „Отечественныхъ Записокъ“ на основаніи упомянутаго контракта, прежде всего отчисляется шесть тысячъ рублей на долю Н. А. Некрасова; затѣмъ остальной чистый доходъ, за вычетомъ дѣлаемыхъ съ общаго нашего согласія расходовъ, дѣлится между нами троими по равной части. Разсчетъ этотъ дѣлается въ январѣ каждаго года за прошедшій годъ. 3) Условія выхода каждаго изъ насъ изъ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“, а равно и послѣдствія этого выхода опредѣляются особымъ формальнымъ договоромъ, заключеннымъ между нами но-

таріальнымъ порядкомъ. Если Некрасовъ признаетъ нужнымъ нарушить контрактъ свой съ г. Краевскимъ ранѣе срока, то и настоящее условіе прекращается".

Если не ошибаюсь, условія эти подверглись нѣсколько позже новому измѣненію и, во всякомъ случаѣ, еще разъ измѣнились послѣ смерти Некрасова, когда контрактъ съ Краевскимъ былъ заключенъ Салтыковымъ. Хотя при этомъ въ соредакторы, на мѣсто Некрасова, Салтыковъ и Елисеевъ пригласили меня, но, къ стыду моему, я долженъ признаться, что рѣшительно не помню условія, которое подписывалъ и я. Елисеевскіе отрывки напомнили мнѣ только два пункта. Во-первыхъ, Салтыковъ настоялъ на сбавкѣ (сравнительно съ Некрасовымъ) той цифры, которая приходилась ему, какъ главному редактору: во-вторыхъ, существовалъ параграфъ, по которому въ случаѣ болѣзни одного изъ соредакторовъ, не позволяющей ему работать, онъ получаетъ пенсію въ 2.000 р. въ годъ. Въ 1881 г. Елисеевъ серьезно заболѣлъ и долженъ былъ уѣхать за границу; о литературной работѣ для него не могло быть и рѣчи, а потому къ нему слѣдовало примѣнить параграфъ о пенсіи, что значительно сбавляло его доходы. Рѣшено было, однако, не держаться буквы нашего соглашенія, и Елисеевъ до конца существованія „Отечественныхъ Записокъ" получалъ вознагражденіе, какъ дѣйствующій редакторъ. Въ одномъ изъ писемъ къ Салтыкову онъ, справившись съ своей записной книжкой, сообщаетъ сколько онъ получалъ съ 1879 по 1883 годъ включительно: отъ 5 до 9 тысячъ въ годъ. Такая большая разница зависѣла частію отъ количества подписчиковъ, постоянно возраставшаго, частію отъ количества собственно писательской работы, которая съ 1881 г. совсѣмъ прекратилась (только въ апрѣлѣ 1884 г. была напечатана одна его статья). Но съ тогоже 1881 г. прекратилась и его редакторская дѣятельность, за которую онъ, однако, продолжалъ получать вознагражденіе, и это очень его тяготило; въ особенности, когда въ концѣ 1882 г. я долженъ былъ уѣхать изъ Петербурга. Вотъ его письмо къ Салтыкову отъ 15 января 1883 г. Выразивъ мысль, что онъ тотчасъ-же послѣ моего отъѣзда долженъ-бы былъ „прибыть на свой постъ въ Петербургъ", онъ продолжаетъ:

„Я этого не сдѣлалъ. Никто не будетъ доискиваться, почему я этого не сдѣлалъ,—потому-ли, что не могъ, или потому, что не хотѣлъ, хотя, въ сущности, и разницы тутъ нѣтъ, разъ я постъ

за собою удерживаю и привилегіями его пользуюсь. Заключеніе и въ томъ, и въ другомъ случаѣ одно: не пріѣхалъ, потому что прохвостъ. Такъ будутъ говорить обо мнѣ и товарищи по редакціи, и вообще всѣ, до кого будетъ доходить слухъ о моемъ поступкѣ. И всѣ будутъ вправѣ такъ говорить. Въ прошедшемъ году я могъ, если не по праву, то безъ стыда принять привилегированное положеніе, предложенное мнѣ товарищами по редакціи: наличныя силы редакціи, кромѣ меня, были на мѣстѣ, при этомъ у меня была надежда скоро поправиться и принять участіе въ работѣ. Теперь въ редакціи остались вы одинъ; у меня исчезла всякая надежда на поправленіе моего здоровья въ такой степени, чтобы я могъ быть годенъ снова къ прежней работѣ. Согласитесь, что надо быть не только не честнымъ человѣкомъ, а совсѣмъ прохвостомъ, чтобы въ такихъ обстоятельствахъ удерживать за собой привилегированное положеніе. Если-бы я былъ человѣкъ неимущій, то я имѣлъ-бы еще право сохранить себѣ пенсію. Но я не могу считать себя и неимущимъ человѣкомъ. Того гонорара, который я получилъ за прошедшій годъ, мнѣ хватитъ съ женою на два года. Присоедините къ этому сбереженія отъ прошлыхъ лѣтъ, которыя помѣщены въ разныхъ русскихъ бумагахъ. Хотя я никогда не касался этихъ сбереженій, считая ихъ, какъ пріобрѣтенныя исключительно литературнымъ трудомъ, принадлежащими не мнѣ, а всей литературной братіи, которая мозгомъ своимъ разрабатываетъ русскую землю, которыя и должны поэтому послѣ моей смерти поступить въ собственность литературнаго фонда; но однихъ процентовъ съ этихъ денегъ наберется тысячи двѣ рублей. Слѣдовательно, если я буду живъ и послѣ того, какъ будетъ истраченъ прошлогодній гонораръ „О. З.“, жить все-таки съ женой вдвоемъ на эти проценты будетъ можно. А если я умру, что всего вѣрнѣе, то ей на двѣ тысячи жить и подавно будетъ можно. Больше ей проживать я не считалъ-бы даже правильнымъ и приличнымъ. Изъ всего этого вы видите, что я нисколько не нуждаюсь въ деньгахъ. Поэтому въ текущемъ 1883 году я отказываюсь не только отъ гонорара, который будетъ полученъ „Отечественными Записками“ за этотъ годъ, но и отъ жалованья, и отъ пенсіи“.

Салтыковъ ворчливо-убѣдительно, какъ онъ умѣлъ это дѣлать, просилъ Елисеева оставить эти мысли, тѣмъ болѣе, что до конца контракта съ Краевскимъ оставался всего годъ, и не стоитъ,

дескать, ломать на такое короткое время установившійся порядокъ. Въ запискахъ Елисеева, относящихся къ этому времени, между прочимъ, говорится: „Въ головѣ моей постоянно гвоздемъ сидѣла и не давала мнѣ покою мысль, что въ то время, какъ я тутъ праздно провожу время безъ всякаго дѣла, другіе въ Россіи за меня и нѣкоторымъ образомъ для меня работаютъ. Мнѣ казалось даже, что если мнѣ уже суждено высшими судьбами сидѣть праздно, то и праздно слѣдовало сидѣть не здѣсь, а въ Россіи, что тамъ, и праздно сидя, я могъ все-таки приносить нѣкоторую долю пользы. Эту мысль навѣвали нѣкоторыя письма М. Е. (Салтыкова), въ которыхъ онъ иногда высказывалъ сожалѣніе о моемъ отсутствіи, что было-бы все-таки лучше, если-бы и больной, и совсѣмъ неспособный къ работѣ, я былъ все-таки со всѣми. И это сожалѣніе, я увѣренъ, онъ высказалъ совершенно искренно. Я заболѣлъ и уѣхалъ изъ Россіи какъ разъ въ тотъ моментъ, когда наступило самое трудное для журналистики время, когда она очутилась въ неустойчивомъ, колеблющемся положеніи, когда каждый почти день приносилъ такое явленіе или извѣстіе, о которыхъ надо было подумать, какъ къ нимъ отнестись, и которыя, кромѣ того, иногда производили во всѣхъ, а въ немъ въ особенности, какъ въ лицѣ, стоявшемъ во главѣ дѣла, настроеніе духа очень непріятное. Въ подобныхъ случаяхъ мысль, совѣтъ, успокоеніе, высказываемое даже сторонними людьми, тѣмъ болѣе людьми близкими, къ которымъ привыкъ, которымъ довѣряешь, съ которыми стоишь у одного дѣла, имѣетъ важное значеніе“,

Но болѣзненное состояніе помѣшало Елисееву пріѣхать тогда въ Петербургъ.

Найдутся, можетъ быть, скептики, которые иронически отнесутся ко всѣмъ этимъ душевнымъ движеніямъ Елисеева,—они, эти душевныя движенія, ничѣмъ вѣдь не выразились въ дѣйствіи, и покойный писатель оставилъ таки послѣ себя капиталецъ! Я не берусь разгонять эти ироническія мысли, но думаю, что, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ скептикахъ онѣ сами собой разгонятся по прочтеніи нижеслѣдующаго.

Дѣло въ томъ, что Елисеевъ зналъ нужду и бѣдность не только въ дѣтствѣ и юности, впечатлѣнія которыхъ легко растворяются въ общемъ чувствѣ жизни и быстро забываются. Онъ встрѣтился лицомъ къ лицу съ нуждой еще разъ, когда ему было уже около сорока пяти лѣтъ, когда онъ по выходѣ изъ крѣпости,

очутился безъ средствъ, безъ работы, безъ надеждъ, съ разстроеннымъ здоровьемъ. По прошествіи нѣкотораго времени онъ, благодаря практической ловкости Некрасова, оказался опять при дѣлѣ, но дѣло это отнюдь не представлялось ему прочнымъ. Не говоря уже о возможности всякаго рода неожиданностей, цѣну которыхъ Елисеевъ только что узналъ на себѣ,—совершенно неизвѣстно было, какъ пойдутъ „Отечественныя Записки“. Да и самый контрактъ Некрасова съ Краевскимъ былъ заключенъ первоначально на незначительный срокъ (на шесть лѣтъ), по истеченіи котораго Елисеевъ могъ опять очутиться безъ работы и надеждъ. А тамъ вѣдь недалеко ужъ и старость, безпомощная, хилая, да еще при слабомъ вообще здоровьѣ. Поэтому вѣроятно съ самаго начала работы въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Елисеевъ, наученный недавнимъ горькимъ опытомъ, подумывалъ объ томъ, чтобы отложить копѣйку на черный день. Но едва-ли онъ могъ къ этому приступить до 1874 г., когда сталъ, вмѣстѣ съ Салтыковымъ, получать, сверхъ редакторскаго жалованья и полистной платы, еще долю дохода съ журнала. Потомъ дѣла пошли еще и еще лучше, и, при необыкновенно скромныхъ потребностяхъ Елисеева, при отсутствіи семьи (у него было только жена, преданнѣйшая изъ женъ, умершая черезъ нѣсколько дней послѣ его смерти), ему не трудно было кое-что откладывать на черный день. Онъ никакъ не ожидалъ сначала, что эти сбереженія достигнутъ такой сравнительно крупной цифры, и по мѣрѣ того, какъ она росла, онъ все больше задумывался о своихъ правахъ на эти деньги и—конфузился. Именно конфузился, это настоящее слово. Ради этой-то оригинальной психологической черты я и веду весь разсказъ объ его денежныхъ дѣлахъ, и думаю, что этимъ исполняю невыраженное желаніе самого покойника. Обстановка и образъ жизни Елисеева были всегда, что называется, приличные, т. е. ничѣмъ рѣзко не выдѣлялись въ кругѣ его знакомства, но онъ не позволялъ себѣ никакой роскоши сверхъ этого уровня, памятуя, съ одной стороны, возможность чернаго дня, а съ другой—придя къ заключенію, что только въ случаѣ чернаго дня онъ и можетъ коснуться этихъ сбереженій, что онъ есть лишь временный ихъ владѣлецъ и какъ-бы хранитель, а принадлежатъ они не ему. Но кому же?

Вотъ отрывокъ изъ письма Елисеева Салтыкову изъ-за-границы отъ 4—16 августа 1882 г.

„Назадъ тому почти 25 лѣтъ, вскорѣ послѣ того, какъ я пріѣхалъ въ Петербургъ, тутъ былъ человѣкъ, который оказалъ мнѣ большую услугу. Я былъ въ то время бѣденъ, какъ церковная мышь, боленъ и не имѣлъ въ Петербургѣ ни одного человѣка знакомаго, занимая комнату у одной изъ петербургскихъ квартирныхъ хозяекъ. Онъ разыскалъ меня, когда я лежалъ больной, почти безъ всякой помощи и призора, привелъ мнѣ доктора и нѣкоторое время отправлялъ даже должность сидѣлки. Только благодаря его помощи и старанію, я сталъ тогда на ноги. Потомъ, видаясь время отъ времени со мной, онъ, будучи любителемъ литературы и зная, что я могу писать (тогда была уже напечатана одна моя статья въ „Современникѣ“), онъ уговаривалъ меня не искать службы, которой я искалъ въ министерствѣ, а заняться литературой. Потомъ этотъ человѣкъ исчезъ изъ Петербурга, и я не имѣлъ объ немъ никакихъ свѣдѣній, хотя и оставался должнымъ ему значительную сумму денегъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ мнѣ напомнилъ о немъ во время разговора случайно NN, который, оказывается, тоже зналъ его. Онъ сообщилъ мнѣ, что человѣкъ этотъ бѣдствуетъ, а когда я сказалъ ему, что я остаюсь ему долженъ значительную сумму денегъ, то онъ отвѣтилъ, что было-бы хорошо, если-бы я уплачивалъ ее хоть по частямъ. Это замѣчаніе кольнуло меня, и я въ умѣ своемъ тогда-же порѣшилъ откладывать въ уплату долга по 300 р. въ годъ. Но при тогдашнемъ моемъ положеніи легко было это порѣшить въ умѣ, а сдѣлать это положительно было невозможно. Послѣ закрытія „Современника“ два года почти я былъ вовсе безъ работы, потомъ имѣлъ работу, но съ болѣзнію, тянувшеюся почти семь лѣтъ, и ежегодными поѣздками для этого по заграничнымъ докторамъ и водамъ, издерживалъ почти все, что получалъ. А затѣмъ я сталъ уже быстро поправляться и могъ-бы легко удѣлять по 300 р. въ годъ,—но люди въ денежныхъ дѣлахъ большею частію свиньи, каковою оказался и я. Смягчающимъ обстоятельствомъ для меня можетъ служить развѣ только то, что журналъ нашъ за все это время висѣлъ постоянно на волоскѣ, и по закрытіи его я могъ-бы очутиться въ положеніи вовсе незавидномъ при моихъ лѣтахъ. Но это только развѣ смягчающее обстоятельство, а въ сущности это все-таки гнусный эгоизмъ. Какъ-бы то ни было, но теперь, благодаря щедрости „Отеч. Записокъ“, я имѣю полную возможность расплатиться съ моимъ ста-

рымъ долгомъ. Вы пишете, что взяли для меня въ счетъ дивиденда 3 тысячи руб. и купили на нихъ облигацій петербургскаго кредитнаго общества. Такъ какъ при этомъ вы говорите, что теперь имѣете, сверхъ того, 2.000 руб. денегъ, которые можете прислать мнѣ, то прошу васъ, будьте такъ добры, передайте всѣ купленныя вами облигаціи NN; если только кредиторъ мой находится въ живыхъ, онъ вѣроятно знаетъ, гдѣ онъ, и отошлетъ ему ихъ. Кромѣ того, скажите ему, что я вѣроятно найду возможность и въ будущемъ году дать нѣкоторую сумму въ уплату моего долга. Если-же онъ умеръ, то облигаціи оставьте у себя, я имъ дамъ другое назначеніе черезъ литературный фондъ".

Таинственный „кредиторъ", о которомъ идетъ рѣчь въ этомъ письмѣ, есть никто иной, какъ Н. Г. Чернышевскій. И понятное дѣло, что вся исторія о долгѣ, въ уплату только части котораго Елисеевъ ассигновалъ 3.000 руб., сочинена. Не сочинено здѣсь только участіе, принятое Чернышевскимъ въ судьбѣ Елисеева, когда онъ былъ въ безпомощномъ состояніи, объ чемъ Елисеевъ часто съ живѣйшею благодарностью вспоминалъ. Остальное все плодъ осторожности въ виду тогдашняго исключительнаго положенія Чернышевскаго. Я не знаю ни непосредственныхъ результатовъ приведеннаго письма, ни дальнѣйшей исторіи „долга" (въ перепискѣ онъ больше не упоминается). Я привелъ письмо только какъ образчикъ того, какъ распоряжался или хотѣлъ распоряжаться Елисеевъ своими сбереженіями при жизни. Но главныя его заботы въ этомъ отношеніи были устремлены на будущее, когда его не станетъ, вслѣдствіе чего онъ не разъ писалъ и передѣлывалъ завѣщаніе. Въ окончательной формѣ выраженіе его посмертной воли отличается чрезвычайною дробностью распоряженій. Видно, что онъ много думалъ надъ завѣщаніемъ и старался не обойти никого изъ тѣхъ, кто такъ или иначе имѣетъ, по его мнѣнію, право на его посмертное вниманіе. Онъ не могъ, конечно, знать, что жена переживетъ его всего нѣсколькими днями, и потому долженъ былъ позаботиться объ ней. Заботу эту онъ возложилъ на литературный фондъ, который долженъ былъ выплачивать женѣ пожизненно извѣстную пенсію, изъ процентовъ на капиталъ, завѣщанный фонду. На литературный-же фондъ возложены ежегодныя уплаты небольшихъ суммъ прислугѣ, жившей у Елисеева, и разнымъ образовательнымъ и благотворительнымъ учрежденіямъ, при чемъ не забыта

и касса взаимопомощи петербургскихъ наборщиковъ. Такъ какъ въ числѣ завѣщанныхъ литературному фонду процентныхъ бумагъ есть билеты внутреннихъ съ выигрышами займовъ, то Елисеевъ сдѣлалъ распоряженія и на случай выигрыша: онъ распредѣляется между нѣкоторыми близкими къ покойному людьми.

Одна характерная подробность посмертной воли Елисеева получила большую огласку, и намъ надо остановиться на ней съ нѣкоторою подробностью.

Въ 1881 г., уѣзжая больной за границу, Елисеевъ пожертвовалъ 2.0000 тверскому земству на ссуды крестьянамъ на покупку земель, съ тѣмъ, чтобы земство платило пожизненно ему, а потомъ его женѣ, извѣстные проценты, а послѣ ихъ смерти половина процентовъ должна была идти въ пользу литературнаго фонда, а другая половина въ пользу земскихъ школъ. Такимъ образомъ онъ обезпечивалъ себѣ извѣстный пожизненный доходъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ доброе дѣло совершенно въ духѣ его литературной дѣятельности. На тверскомъ именно земствѣ онъ остановился частію потому, что у него были тамъ хорошіе, пользовавшіеся его довѣріемъ знакомые, а частью потому, что въ тверскомъ земствѣ уже существовала особая касса для раздачи крестьянамъ ссудъ на покупку земель. Но затѣмъ его стали одолѣвать разныя сомнѣнія, тѣмъ болѣе, что сбереженія его значительно увеличились, а значитъ, усилилась, съ его точки зрѣнія, и его отвѣтственность за правильное употребленіе этихъ денегъ. Въ 1884 году, очевидно подъ вліяніемъ постигшей „Отечественныя Записки“ бѣды, отъ которой плохо пришлось многимъ сотрудникамъ закрывшагося журнала, онъ писалъ Салтыкову: „Всѣ деньги, которыя я имѣлъ и имѣю, пріобрѣтены исключительно литературнымъ трудомъ, а изъ тѣхъ, которыя поименованы здѣсь (передъ тѣмъ Елисеевъ дѣлалъ разсчетъ сколько у него скопилось денегъ за время фиктивнаго редакторства)—большая часть пріобрѣтена отъ литературы даже безъ всякаго труда. Поэтому я считаю себя обязаннымъ всѣ эти деньги отдать непремѣнно въ литературный фондъ полностью“. Въ 1889 году, въ виду слуховъ о предстоящей реформѣ земскихъ учрежденій, сомнѣнія и колебанія Елисеева получили новый толчокъ еще и съ другой стороны. Онъ обратился въ тверскую губернскую управу съ просьбой

возвратить ему пожертвованный капиталъ, если земскія учрежденія подвергнутся существеннымъ измѣненіямъ. Очередное земское собраніе рѣшило уважить эту просьбу. А въ 1893 г. капиталъ Елисеева, согласно его духовному завѣщанію, переданъ тверскимъ земствомъ литературному фонду, его единственному наслѣднику.

Нравственный образъ покойнаго Григорія Захаровича достаточно рисуется всѣмъ этимъ. Онъ говоритъ самъ за себя, и я не считаю нужнымъ прибавлять что-нибудь отъ себя для господъ скептиковъ, если-бы таковые нашлись.

Упорство, съ которымъ Елисеевъ держался анонимности, достойно вниманія. Не удивительно, что его первыя статьи въ „Современникѣ“ являлись безъ подписи; робость и скромность начинающихъ писателей—дѣло столь-же обыкновенное, какъ и естественное. Затѣмъ всякому руководящему журналисту приходится иногда писать анонимныя статьи, разъ онѣ имѣютъ общередакціонный характеръ. Анонимныя „внутреннія обозрѣнія“ у насъ тоже одно время были общеприняты, хотя надо замѣтить, что можетъ быть примѣръ именно Елисеева до извѣстной степени повліялъ на установленіе этого обычая. Но во всякомъ случаѣ у писателя, работающаго десятки лѣтъ въ журналистикѣ, при томъ въ наиболѣе распространенныхъ журналахъ все-таки, въ концѣ концовъ, оказывается хорошо знакомое публикѣ имя, и статьи анонимныя составляютъ въ его литературномъ наслѣдіи лишь болѣе или менѣе значительное исключеніе. У Елисеева, напротивъ, исключеніемъ являются статьи подписанныя – собственнымъ именемъ или псевдонимомъ „Грицко“. Да и то въ силу требованій, такъ сказать, журнальной политики. Такъ, первыя его статьи въ „Отечественныхъ Запискахъ“ были подписаны, и это было нужно, чтобы показать читателямъ, что Некрасовъ не осиротѣлъ, что не всѣ старые сотрудники отъ него отвернулись. „Искра“ въ 1863 г. издавалась съ виньеткой, на которой каждую изъ пяти буквъ, составляющихъ названіе газеты, несутъ главные сотрудники. Букву „И“, первую, несетъ Елисеевъ. Въ „Современникѣ“ и тѣмъ болѣе въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Григорій Захаровичъ игралъ одну изъ самыхъ выдающихся ролей. Мы видѣли, что когда группа петербургскихъ литераторовъ затѣяла „Вѣкъ“, то редакторомъ былъ избранъ Елисеевъ, и этотъ выборъ заслужилъ одобреніе и въ московскихъ вліятельныхъ литературныхъ сферахъ. Вообще

въ самыхъ разнообразныхъ литературныхъ кругахъ Елисеевъ являлся, по выраженію Шелгунова, „мужемъ совѣта“, всѣмъ хорошо извѣстнымъ, всѣми уважаемымъ. Но огромному большинству читателей имя Елисеева ничего или почти ничего не говорило, благодаря упорству, съ которымъ онъ держался анонима. Это не была просто скромность. Елисеевъ былъ очень скроменъ, но цѣну себѣ зналъ. Объясненія надо, кажется, искать въ его взглядахъ на популярность въ Россіи вообще, на популярность русскаго писателя въ особенности.

Взгляды эти изложены въ одномъ изъ внутреннихъ обозрѣній (1876 г., май). Онъ говоритъ тамъ, что настоящая популярность состоитъ въ томъ, чтобы „стать во главѣ болѣе или менѣе значительной части общества, дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ для извѣстной цѣли, сообща устраняя препятствія, лежащія на пути къ ней, и сообща изобрѣтая и употребляя тѣ или другія средства для достиженія ея“. Но, продолжаетъ Елисеевъ, „у насъ всякая иниціатива и дѣятельность, предпринятая въ болѣе или менѣе широкихъ размѣрахъ для общества, возможна только подъ формою оффиціальною, а потому и популярность у насъ возможна только оффиціальная“. А затѣмъ у насъ возможна лишь популярность „мѣстная, сословная и кружковая“,—узкая, хрупкая, не дающая удовлетворенія потребности участвовать въ общей жизни. Что касается характера и значенія литературной дѣятельности, то, по мнѣнію Елисеева, къ ней и теперь можетъ быть приложено то, что говорилъ кн. Вяземскій въ книгѣ о Фонъ-Визинѣ: „Посреди безмолвія, оцѣпенѣнія, царствующаго въ обществѣ, можетъ возвыситься иногда голосъ автора, который сильно подѣйствуетъ на вниманіе общества, его окружающаго: общество отвѣчаетъ ему съ силою и быстротою потрясеннаго сочувствія, но сіе дѣйствіе случайно, скоропостижно и недолговременно. По своей мимолетности, оно ничѣмъ не отличается отъ того восторга и сочувствія, которые зажигаютъ въ своихъ слушателяхъ сладкозвучный Ромбергъ или молніеносный смычекъ Паганини... Концертъ отслушанъ, книга прочитана, и тотъ и другой возбудили нѣсколько изящныхъ ощущеній, можетъ быть нѣсколько благородныхъ соревнованій, но тѣмъ все и кончилось“. Отъ себя Елисеевъ говоритъ по этому поводу слѣдующее: „Тамъ, гдѣ литература, какъ у насъ, не есть выраженіе общежитія, литераторъ не знаетъ, съ кѣмъ онъ бесѣдуетъ, не знаетъ даже—есть-ли у него

собесѣдники, не говоритъ-ли онъ даже просто въ пустое пространство. По крайней мѣрѣ, если-бы онъ сталъ судить о плодахъ своей дѣятельности по проходящимъ передъ нимъ явленіямъ, то онъ долженъ-бы былъ убѣдиться въ полной своей безполезности и съ отчаяніемъ бросить перо навсегда, потому что въ дѣйствительности большею частію дѣлается какъ разъ совершенно противное тому, чему онъ учитъ, за что ратуетъ, на чемъ настаиваетъ. Конечно, литераторъ имѣетъ право предполагать, что помимо этой рутинной, парадной дѣйствительности, проходящей передъ его глазами въ видѣ тѣней волшебнаго фонаря, также призрачной, ничтожной и скоро преходящей, какъ эти тѣни, есть другая дѣйствительность, болѣе прочная и дѣйствительная, за которою будущность: это—молодые умы и сердца, разсѣянные по всему лицу огромной русской земли, которые страстно ловятъ каждое его слово, всасываютъ въ себя его идеи, вводятъ въ свою жизнь и дѣятельность проповѣдуемые имъ принципы, приготовляясь быть дѣятелями въ будущемъ... Но вѣдь это предположеніе можетъ быть и пустой мечтой. Однимъ словомъ, для литератора тѣхъ обществъ, гдѣ XVIII вѣкъ еще не кончился, гдѣ онъ не поставленъ въ непосредственной связи съ своей партіей и не несетъ открыто ея знамени, остаются скрытыми существенные результаты его дѣятельности. Онъ можетъ болѣе или менѣе знать только дѣйствіе своего литературнаго пера на мозги культурныхъ людей ближайшихъ къ нему круговъ и кружковъ. Онъ можетъ читать похвалы своимъ сочиненіямъ въ печати, можетъ слышать лестные отзывы о нихъ въ публикѣ. Но для того, чтобы довольствоваться этимъ дешевымъ фиміамомъ, исходящимъ или отъ записныхъ литературныхъ строчилъ ex officio, или отъ людей, которые читаютъ сочиненія отъ скуки, ради препровожденія времени, для пищеваренія и т. п. и видѣть въ этомъ вѣнецъ и цѣль своей дѣятельности, надобно плавать уже слишкомъ мелко".

Все это Елисеевъ говоритъ въ примѣненіи къ Щапову, который не нашелъ удовлетворенія въ литературной дѣятельности. Но все это относится и къ другимъ русскимъ писателямъ, въ томъ числѣ и къ самому Елисееву. Какъ видитъ читатель, онъ не строилъ себѣ никакихъ иллюзій на счетъ своей литературной дѣятельности. Онъ, занятый преимущественно дѣлами текущей жизни, вопросами дня, долженъ былъ въ особенности ясно чувствовать практическое безсиліе литературы, и, слѣдовательно, ни-

чтожество популярности. Популярностью кружковою, собственно въ литературныхъ сферахъ, онъ пользовался въ достаточной степени, чтобы имѣть здѣсь практическое вліяніе, и анонимность этому не мѣшала, а за этими предѣлами не о чемъ и хлопотать: знаютъ-ли тебя тамъ, не знаютъ-ли—все равно ты практически равенъ нулю или почти нулю, а нулю и не подобаетъ носить собственное имя.

Я думаю, что Елисеевъ, если таковъ дѣйствительно былъ ходъ его мысли, очень ошибался. Онъ не ошибался, къ сожалѣнію, относительно общаго значенія русской литературы, это—та же горькая для насъ, писателей, правда, которую Салтыковъ выразилъ знаменитою фразой: „писатель пописываетъ, читатель почитываетъ“. Эта правда можетъ быть даже горше, чѣмъ казалось Елисееву. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда „молодые умы и сердца, страстно ловящіе каждое слово писателя“—не „пустая мечта“, онъ, писатель, по бывшимъ примѣрамъ, не можетъ поручиться, что завтра-же какая-нибудь случайная волна не смоетъ всего этого увлеченія, такъ что отъ него и на сѣмена ничего не останется. И за это нельзя даже особенно винить русскаго читателя. Но анонимность можетъ только содѣйствовать этому положенію, только усугубить ту шаткость преемственности, которая составляетъ болѣзнь нашего общества и естественный привѣсокъ къ практическому безсилію нашей литературы. Все изнашивается съ теченіемъ времени, безсмертіе, даже въ самомъ условномъ смыслѣ этого слова, есть достояніе очень и очень немногихъ, къ числу которыхъ Елисеевъ, конечно, не принадлежалъ. Но анонимность искусственно сокращаетъ жизнь писателя въ потомствѣ, въ особенности у насъ, и лишаетъ идеи, которымъ служилъ писатель при жизни, той поддержки, какую онѣ могли-бы имѣть въ его лицѣ и послѣ его смерти. Точка зрѣнія Елисеева на наши внутреннія дѣла далеко не износилась. Напротивъ, теперь можетъ быть больше, чѣмъ при его жизни, получаетъ она важное значеніе. Нельзя поэтому не пожалѣть объ томъ, что онъ слишкомъ уже презиралъ ту степень популярности, какая возможна для русскаго писателя помимо непосредственныхъ практическихъ результатовъ его дѣятельности, а въ связи съ этимъ находятся и нѣкоторыя другія черты писательской физіономіи Елисеева.

Довольствоваться похвалами своимъ сочиненіямъ въ печати, лестными отзывами о нихъ въ публикѣ, видѣть въ этомъ вѣнецъ и

цѣль своей дѣятельности, это, разумѣется, значитъ очень мелко плавать. Настоящій „кровный“ писатель, даже въ томъ случаѣ, если онъ страдаетъ излишкомъ чувствительности къ похваламъ,— а вѣдь похвалы, съ одной стороны, рѣдко обходятся безъ порицаній съ другой,—имѣетъ въ виду и нѣчто иное. Онъ хочетъ возбудить въ читателяхъ извѣстныя мысли и чувства по отношенію къ обсуждаемому предмету и вызвать соотвѣтственныя дѣйствія, не сегодня, такъ завтра, хотя „завтра“ можетъ растянуться на многіе и многіе годы. Но тотъ же настоящій, кровный писатель не можетъ, какъ предположилъ Елисеевъ, „съ отчаянія бросить перо навсегда“, даже „убѣдившись въ полной своей безполезности“ въ смыслѣ непосредственныхъ практическихъ результатовъ. Отчаяніе, конечно, возможно, но думать объ томъ, что васъ занимаетъ, отказаться нельзя, а думать и писать, для такого писателя, почти синонимы. И если онъ не можетъ писать о большомъ, онъ будетъ писать о маломъ, съ тѣми самыми пріемами мысли, какіе примѣнилъ-бы, при иныхъ обстоятельствахъ времени, мѣста и образа дѣйствія, къ большему. Елисеевъ былъ, по самому складу своего ума, практикъ, „мужъ совѣта“, практическаго, удобоисполнимаго совѣта. И я не сомнѣваюсь, что если-бы онъ былъ „поставленъ въ непосредственной связи съ своей партіей и несъ открыто ея знамя“, если-бы это было возможно по условіямъ русской жизни, то онъ былъ-бы крупнымъ общественнымъ дѣятелемъ. Въ немъ всегда билась жилка практическаго реформатора, не придающаго особенно большого значенія отдаленнымъ теоретическимъ основамъ обсуждаемаго вопроса, но не довольствующагося и простымъ констатированіемъ факта, вызывающаго съ его стороны рѣзкую критику, а всегда готоваго представить положительный проектъ реформы. Такой *дѣловой* характеръ дѣятельности, обусловливаемый самымъ складомъ ума Елисеева, обязывалъ его крѣпко держаться дѣйствительности и искать въ ней точки опоры, какъ-бы это ни было трудно при данныхъ обстоятельствахъ, какъ бы ни была она далека отъ идеала, который жилъ въ его душѣ. Въ этомъ заключалась и его сила, и его слабость.

Въ 1880 г., только что назначенный передъ тѣмъ министромъ внутреннихъ дѣлъ гр. Лорисъ-Меликовъ пригласилъ къ себѣ редакторовъ журналовъ и газетъ и изложилъ имъ свои взгляды на тогдашнее многотрудное положеніе нашихъ дѣлъ, поскольку это

нужно было, по его мнѣнію, знать представителямъ печати. Отъ „Отечественныхъ Записокъ“ къ министру отправился Елисеевъ, такъ какъ отвѣтственный редакторъ, Салтыковъ, былъ въ это время за-границей. Въ ближайшемъ сентябрьскомъ нумерѣ „Отечественныхъ Записокъ“, вмѣсто обычнаго внутренняго обозрѣнія появилось „Нѣсколько словъ по поводу вопросовъ злобы дня“. Здѣсь Елисеевъ ясно и сжато воспроизвелъ, снабдивъ ее нѣкоторыми своими комментаріями, обращенную къ редакторамъ рѣчь министра. Изо всѣхъ приглашенныхъ редакторовъ только онъ одинъ сдѣлалъ это, а нѣкоторые изъ присутствовавшихъ на собраніи даже отрицали потомъ печатно точность его передачи словъ министра. Мнѣ достовѣрно извѣстно, что прежде, чѣмъ печатать свое сообщеніе, Елисеевъ принялъ надлежащія мѣры, чтобы убѣдиться, что рѣчь министра передана имъ по существу точно, хотя и своими словами. Для него это былъ важный фактъ дѣйствительности, съ которымъ, по его мнѣнію, нельзя было не считаться и который, своею сравнительною опредѣленностью, давалъ печати не широкую, но, по крайней мѣрѣ, для данной минуты прочную точку опоры. Иначе посмотрѣлъ на дѣло Салтыковъ. Получивъ отъ Елисеева за-границей извѣщеніе обо всемъ происшествіи, онъ писалъ ему: „Письмо я ваше получилъ и начертанную въ немъ программу, хотя съ трудомъ, но прочиталъ (почеркъ у Елисеева былъ очень неразборчивый). Программа нѣсколько загадочная, но „мальчикъ безъ штановъ“ правильно говоритъ, что тѣмъ-то и занятно жить у насъ, что ничего въ волнахъ не видно. Поживемъ—увидимъ“. Къ самому факту появленія „программы“ на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“ Салтыковъ отнесся очень неблагопріятно. Я помню, какъ сердито говорилъ онъ мнѣ, что это какъ-бы превращаетъ насъ въ оффиціальный органъ. Въ этомъ хорошо сказалась разница между Салтыковымъ и Елисеевымъ. Ихъ требованія отъ жизни въ принципіальномъ и идеальномъ смыслѣ не весьма, я думаю, различались, но относительно фактовъ текущей жизни Елисеевъ былъ гораздо практичнѣе, положительнѣе и—уже.

Въ одномъ изъ писемъ къ Салтыкову (1875 г.), сообщая ему о впечатлѣніи, которое произвелъ его разсказъ „Семейный судъ“ на Некрасова и другихъ членовъ редакціи, Елисеевъ прибавляетъ: „мнѣ онъ тоже очень нравится, но болѣе нравятся тѣ статьи

которыя соприкасаются съ вопросами и явленіями текущаго времени".

Въ одномъ изъ внутреннихъ обозрѣній „Современника" (мартъ, 1861 г.) Елисеевъ писалъ: „Мы цѣнимъ ученость и глубоко уважаемъ людей, посвятившихъ себя наукѣ, но думаемъ, что истинная ученость, самая глубокая, можетъ привести человѣка только къ тому убѣжденію, что единственное прочное благо на землѣ—тѣмъ или другимъ образомъ служить человѣчеству, своимъ меньшимъ братіямъ; что, говоря словами Гейне, zu fragmentarisch ist Welt und Leben, чтобы мы могли постигнуть глубину и отдаться, забывая все, только исключительному созерцанію красоты своихъ теорій или обилія своихъ знаній; что ученые, написавшіе нѣсколько сочиненій о „собачьихъ кличкахъ" и на основаніи этого думающіе, что они постигли удивительныя штуки, которыя даютъ имъ право свысока смотрѣть на толпу, просто глупы; а ученые, занимающіеся постройкой великолѣпныхъ системъ и забывающіе при этомъ о дѣятельности на пользу своихъ меньшихъ братій, представляютъ собою безжизненныхъ Вагнеровъ, безплодно тратящихъ время на *штопаніе дырокъ всего мірозданія:*

Ужъ слишкомъ отрывочна жизнь и вселенная,—
Къ профессору нѣмцу пойду непремѣнно я.
Вѣрно ее не оставитъ онъ такъ.
Системы придумаетъ, дастъ имъ названія...
Шлафрокъ надѣвши и старый колпакъ,
Онъ штопаетъ дырки всего мірозданія.

Итакъ, читатель, побольше и побольше любви къ человѣчеству, особенно къ тому, которое мы привыкли считать за двуногихъ, не имѣющихъ съ нами ничего общаго. Въ этомъ состоитъ вѣнецъ истиннаго знанія и истинной мудрости".

Таково было всегдашнее отношеніе Елисеева къ публицистикѣ, искусству и наукѣ. Это не было просто отрицательное отношеніе къ такъ называемому „искусству для искусства" и „наукѣ для науки". Въ этомъ общемъ смыслѣ между нами, сотрудниками „Отечественныхъ Записокъ", не было никакого разногласія. Но Елисееву и „Семейный судъ" Салтыкова казался слишкомъ удаленнымъ отъ „вопросовъ и явленій текущаго времени". И моя статья о счастіи, какъ мы видѣли, вызвала не совсѣмъ шуточное его замѣчаніе: „Я не знаю г. Михайловскаго, но полагаю, что

онъ долженъ быть еще очень молодой человѣкъ; кто-же въ самомъ дѣлѣ въ наше время можетъ такъ солидно, какъ онъ, усѣсться за Спенсера и, нисколько не улыбаясь, съ самымъ серьезнымъ видомъ начать разъяснять публикѣ, что такое счастіе?“ Елисеевъ былъ, если можно такъ выразиться, аскетъ текущей жизни и непосредственныхъ практическихъ результатовъ, хотя въ то-же время онъ очень хорошо зналъ, что именно въ этомъ отношеніи положеніе нашей печати особенно трудно. Отсюда его преувеличенное презрѣніе къ популярности и анонимность. Отсюда-же его, можетъ быть, тоже иногда преувеличенное стремленіе найти въ данной дѣйствительности хоть какую-нибудь точку опоры для практическаго воздѣйствія на жизнь.

Становясь даже на исключительно аскетическую, Елисеевскую, точку зрѣнія, трудно опредѣлить разъ навсегда ту грань, за которою кончается необходимо нужное и начинается роскошь. Въ теоретическія сферы Елисеевъ пускался крайне рѣдко. Но онъ не мѣшалъ это дѣлать другимъ, хотя, можетъ быть, и скептически относясь къ подобной работѣ, и лишь убѣдившись, что эта работа можетъ быть приведена въ связь, хотя-бы отдаленную, съ тѣмъ, что онъ считалъ обязательнымъ центромъ не только литературной дѣятельности, но и всей общественной и государственной жизни. Такимъ центромъ былъ для него народъ, мужикъ. Въ его обозрѣніяхъ читатель найдетъ не всегда оправданныя дальнѣйшимъ ходомъ вещей, но всегда поучительныя разсужденія о разныхъ разностяхъ, о которыхъ всякій обозрѣватель долженъ говорить—о надѣлавшемъ шуму судебномъ процессѣ, о земскихъ дѣлахъ, объ адвокатурѣ, объ умершемъ общественномъ дѣятелѣ, о высшемъ и среднемъ образованіи, и проч., и проч. Въ подробностяхъ здѣсь можно встрѣтить оригинальныя постановки того или другого вопроса, но въ общемъ Елисеевъ руководится тѣми принципами, которые у насъ принято называть „либеральными“ и которыми руководились и руководятся многіе другіе хроникеры: онъ цѣнитъ просвѣщеніе и свободу, требуетъ честности и добросовѣстности въ дѣлахъ, клеймитъ самоуправство и произволъ и т. п. Но характерны для него не эти, за малыми и тѣмъ болѣе рѣзкими исключеніями, господствующіе въ нашей журналистикѣ общіе принципы. Отличіе обозрѣній Елисеева составляютъ въ этомъ отношеніи только степень талантливости изложенія, оригинальность кое-какихъ подробностей и та реформаторская

складка, которая не позволяетъ остановиться на констатированіи факта и на простомъ его осужденіи, а подсказываетъ положительное рѣшеніе въ видѣ какого-нибудь проекта. Настоящимъ, вполнѣ Елисеевымъ, онъ становится тогда, когда задаетъ себѣ вопросъ: какъ отзывается или отзовется такое-же явленіе нашей жизни на мужикѣ? Этимъ вопросомъ измѣрялось для него значеніе всякой доктрины, либеральной или не либеральной, всякаго мѣропріятія и предпріятія. Я не знаю писателя, который имѣлъ-бы большее право на титулъ настоящаго, кровнаго демократа, чѣмъ Елисеевъ. Онъ отнюдь не былъ народникомъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ у насъ потомъ утвердилось это слово, хотя народники и многому у него научились. Онъ не питалъ народническихъ иллюзій и демократизмъ былъ въ немъ не дѣломъ только принциповъ и убѣжденій, а самыхъ инстинктовъ. Онъ былъ, какъ я выразился въ некрологической замѣткѣ, „какъ бы самъ народъ, собственными усиліями пробившійся къ свѣту и достигшій верховъ самосознанія“.

Я не хочу дѣлать обидныя для кого-бы то ни было сравненія и потому умолчу о лукаво мудрствующихъ. Возьму писателей, мною глубоко уважаемыхъ, къ которымъ и Елисеевъ относился съ такимъ-же глубокимъ почтеніемъ.

Въ одной изъ записныхъ книжекъ Елисеева я нашелъ слѣдующую замѣтку: „Моя надпись на книгѣ т. VIII сочиненій Успенскаго, подаренной такой-то (названо женское имя)... Не падай духомъ въ постигшемъ тебя несчастіи, будь покойна и не переставай трудиться надъ своимъ самообразованіемъ для будущей дѣятельности, но такой дѣятельности, которая-бы основывалась не на мечтахъ и иллюзіяхъ, а которая была-бы приспособлена и пригодна для русской дѣйствительности. Для этого совѣтую тебѣ какъ можно чаще читать и даже изучать сочиненія Г. И. Успенскаго, единственнаго у насъ писателя, мысль котораго въ отношеніи Россіи отличается всегда искренностью, свѣжестью, правдивостью, богатствомъ содержанія и глубиною. Да, даже и глубиною, при всей видимой легкости его писаній. Но глубина можетъ даваться только тому, кто будетъ читать его не бѣгло, а пристально вдумываться въ читаемое, усердно ворочая при этомъ своими собственными мозгами. Прощай... будь здорова и счастлива. Я старъ и боленъ и можетъ быть мнѣ не придется уже съ тобой увидѣться“.

Такъ высоко цѣнилъ Елисеевъ Успенскаго и такъ понималъ искренность его нервнаго, изъ „болѣзни сердца“ или „болѣзни совѣсти“ истекающаго отношенія къ народу. Но самъ онъ былъ чуждъ этой „болѣзни“. Онъ проще и непосредственнѣе относился къ народу.

Салтыкова, какъ знаетъ читатель, Елисеевъ тоже необыкновенно высоко ставилъ, не только за его талантъ, но и за отношеніе къ русской дѣйствительности. Салтыковъ-же, между прочимъ, писалъ: „Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій разсчетъ, ибо, какъ-бы мы ни были развиты и обезпечены, мы все-таки до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хотя въ нѣкоторое равновѣсіе съ нами относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія“.

Елисеевъ все это зналъ и понималъ, но ему не было надобности такъ или иначе опредѣлять свои отношенія къ толпѣ, къ народу,—онъ былъ самъ народъ...

СОДЕРЖАНІЕ.

стр.

I. Вступленіе.—Мой первый литературный опытъ.—„Разсвѣтъ“.—„Книжный Вѣстникъ“.—Братья Курочкины, Ножинъ, Благосвѣтловъ, Писаревъ, Демертъ, Минаевъ. 1

II. „Гласный судъ“, „Современное Обозрѣніе“, „Отечественныя Записки“.—Некрасовъ.—Романъ „Борьба“ и статья „Что такое прогрессъ?“—Салтыковъ, Елисеевъ, Успенскій.—Некрасовъ, какъ человѣкъ 41

III. Фетъ о Салтыковѣ.—Изъ переписки и дневника Шелгунова.—Шелгуновъ и Позднышевъ.—„Исторія новѣйшей русской литературы“, А. М. Скабичевскаго. . . 85

IV. П. Д. Боборыкинъ и его отношенія къ „Отечественнымъ Запискамъ“.—Еще объ „Исторіи новѣйшей литературы“, А. М. Скабичевскаго. 128

V. Въ одной изъ толстовскихъ колоній.—Изъ прошлаго и настоящаго Л. Н. Толстого.—Полемика съ нимъ И. И. Мечникова. 160

VI. Личныя воспоминанія о гр. Толстомъ.—Толстой и г. Мечниковъ, какъ гигіенисты. 198

VII. О естественномъ и неестественномъ. — О задачахъ науки.—О будущемъ женщинъ и женскаго вопроса. . 234

VIII. Люди, владѣющіе перомъ, и люди перомъ владѣемые.—Двоякаго рода эпигоны.—Г. Сементковскій о нашемъ недавнемъ прошломъ. 268

IX. „Книга о книгахъ“.—Воспоминаніе объ одномъ маленькомъ человѣкѣ.—Н. И. Зиберъ.—Письмо К. Маркса.—Кающіеся дворяне. 308

X. Идеалы и идолы.—Ошибки исторической перспективы.—„Черезъ сто лѣтъ“ Беллами и „Крушеніе цивилизаціи“ Буажильбера. 350

XI. О г. Розановѣ и о томъ, почему онъ отказывается отъ наслѣдства.—О мозаичности культуры.—Славянофилы, „Московскія Вѣдомости“, „Гражданинъ“ и благонамѣренность.—Изъ поѣздки по Волгѣ и изъ исторіи русской цензуры. 378

XII. Г. З. Елисеевъ 417